ВСЕВОЛОД

ИВАНОВ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

●

Издание
осуществляется
под редакцией
Т. В. Ивановой,
А. И. Пузинова,
С. В. Сартанова

●

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974



ТОМ ТРЕТИЙ

●

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1924—1933

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Р 2
И 20

Подготовка текста и комментарии
Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

И $\frac{70302-195}{028(01)-74}$ подписное

ПОВЕСТИ

ЧУДЕСНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ПОРТНОГО ФОКИНА

1

Город Павлодар и его окрестности, кроме мельниц

О городе Павлодаре я упоминал, наверное, тысячу раз. Мне не стыдно еще раз напомнить.

Там главное — пески, и не поймешь: на небе, на земле ли облака, и среди облаков (а они часто походят на деревянные домишки), среди облаков, государи мои, — тюрьма! Всю Рассю-матушку, каторжную и бунтующую, прогнали через эту тюрьму на сибирские кровососные каторги.

Впрочем, портной Фокин о тюрьме не думал, да и какой веселый человек думает о тюрьме? Веселый человек не думает также о каменных домах, если даже и во всем его родном городе был один каменный дом, к тому же необычно названный тюрьмой, «банкой».

Портной Фокин сидел все время смирно. Был он сутул, как павлодарские заборы, криворук и на один глаз косил, да и все в нем было на один бок, так что удивлялись наши павлодарские комиссары: «И откуда у него такая достоверность в игле?!»

И вот накануне вербного воскресенья сидит Фокин, Иван Петрович, у себя на верстаке, хозяйка квартирная вербы ему принесла, рыбой праздничной пахнет, а на верстаке и на стульях френчи накроены, неимоверное количество френчей. Со всего уезда, а может, со всего Семипалатинского округа, заказывали Фокину френчи.

Смотрит Фокин на френчи эти и говорит хозяйке:

— А как вы полагаете, Гликерия Егоровна, долго мне придется шить френчи?

— А френчи вам, Иван Петрович, я полагаю, шить долго придется, так как война не окончилась.

— Как так, Гликерия Егоровна, война не окончилась? Чай, завтра вербное воскресенье двадцать третьего

года, а последними-то кто с нами воевал? Поляки,— это в котором году было? Вон попу, сказывают, какой-то племянник из столицы коробку папиросную прислал, и можно различить на ней гражданские моды...

— Так ведь это картинки, Иван Петрович, а вам-то все заказывают френчи. Кабы война закончилась, зачем бы им заказывать френчи?

Оглянулся Фокин, и точно: вся комната френчами заросла, даже будто дышать трудно.

— А если,— говорит Фокин,— если я, Гликерия Егоровна, френчи шить откажусь?

— Через почему вы это откажетесь, Иван Петрович?

— А через потому, что не хочу я воевать больше, Гликерия Егоровна, через потому, что хочу шить гражданские фасоны.

— Как же, Иван Петрович, воевать вам, когда вы навсегда освобождены по физическим билетам. Шейте с богом, и пускай другие в ваших работах воюют.

— Откажусь я от себя, Гликерия Егоровна, я упорный ведь.

— Насчет упорства не спорю, Иван Петрович, так как за квартиру вы платите аккуратно, а вот как бы вам заказы свои не потерять!

— И потеряю, мне ничего не жалко!

Вскочил Фокин, волос его пестрый, руки его на три пальца одна короче другой, собрал в охапку все френчи, но тут выкатилась со страху из комнаты Гликерия Егоровна, а через пять минут или того меньше знала вся Проломная улица, что пожег непонятный Фокин все френчи даже из лучших материалов.

К вечеру стали собираться со всего города заказчики. На лавочке за воротами сидела Гликерия Егоровна в новом пестротканом платке и каждому в отдельности рассказывала, как портной Иван Петрович вдруг не захотел войны. И жалко, что ли, было заказчикам своего материала, и, боясь увидеть пепел его, не входили они в дом, или достовернейше хотели знать событие, только толпа все увеличивалась, и скоро, по щиколку увязая в песке, вся Проломная улица наполнилась заказчиками.

Даже те, которые пять лет назад променяли шитые Фокиным одежды, которые слабо помнили — у Фокина они заказывали или у кого другого, и такие, что, возможно, в другом городе встречали похожего портного.

И когда лавиной опрокинули Гликерию Егоровну заказчики (песчаная эта лавина чрезвычайно пахла сапогами, крепко промазанными стерляжьим жиром), опрокинули калитку и перед входом стали было голосовать, кто больше всех пострадал и кому входить первому, весело распахнулась обитая войлоком дверь, и Фокин вышел с охапкой френчей.

— Граждане, — сказал он, наступая ногой на охапку френчей. — Граждане Проломной улицы, поднимите Гликерию Егоровну, она ни при чем, я во всем виноват, в чем и каюсь. Тут через тюрьму все граждане прошли, может, и Ленин прошел, которые создали рософесорс и мир народам. Вы же, граждане, продолжаете шить френчи, не переходите на мирное положение, втайне надеясь на войну! А я войны не хочу и вам, мирным людям, френчи шить не буду, я портной статский и жду от вас статских заказов... Возьмите свои материалы, которые даже скроены и начали пошиваться, мне ни ниток, ни работы своей не жалко!..

Первую неделю Фокин придумывал новые статские фасоны, во вторую зарисовывал, а на третью стал ждать заказчиков.

Лужи повысохли, показалась, как первый шов, робкая трава, поднялась выше, распустилась листочками. Гликерия Егоровна просила за квартиру, а заказчиков не было. Пришел вдруг кладбищенский поп и заказал подрясник, а через час вернулся и отобрал материал.

Фокин не спал ночь и только под утро увидал легкодремный сон, который всего страшнее: будто шьет он подрясники на кресты всего кладбища.

Утром спросил хозяйку:

— Не купите ли, Гликерия Егоровна, швейную мою машину фасона Зингер?

— А для чего ж вам продавать ее, Иван Петрович, я с квартирой могу подождать, а вы, может, передумаете.

— Отцы и деды мои видали многое, Гликерия Егоровна, даже одно время жили против теперешней тюрьмы, я человек упорный, я намереваюсь покинуть пределы моей жизни возможно дальше.

— Господь с вами, Иван Петрович, стоит ли обращать примету на кладбищенского попа, когда он пьяница и охальник!

— Не с попа я, а с желания мирного существования, — купите, так как уезжаю я за границу, в неизвестные дебри...

— Да что вы, китайцев не видали, Иван Петрович?

Промолчал Фокин, поглядела на его азартно вспотевший курносый кусочек тела и начала торговаться Гликерия Егоровна.

Устроил духом одним древнюю странничью котомку Фокин, положил туда иглы, кусок яичного мыла, вздохнул, — потому что ни с одним заказчиком проститься охоты не было, съел на дорогу яйцо и пестрые волосы свои крепко забрал под фуражку.

2

Фокин в дороге и его встреча с паном Матусевичем

А в вагоне, хотя и шел он медленно (был всегда страх Фокина перед коровами и медленностью), испугался вдруг чего-то Фокин. Разговоры идут о человеке, который скупал у всех удостоверения, соскабливал чужие фамилии резинкой и вписывал свою. Большая карьера и большой почет у этого человека были. Всю дорогу почти об этом говорили, и непонятно: от зависти ли пред карьерой или большим количеством мандатов, дающих такое спокойствие человеку.

Мутно стало Фокину, — удостоверений нет, паспортишко какой-то завалящий, — спросил о костюмах. Похвалили всю московскую жизнь, а о костюмах ничего сказать не могут, точно ходят там голыми. Только встретил он портняжку на затхлой какой-то станции, в Сибирь тот ехал. Шьют, говорит тот, точно, шьют в Москве статское, однако мало и преимущественно кальсоны, даже поговорка есть — материи в окнах горы, а ходят голы.

— В Сибирь еду постольку, поскольку слышал — там на статское много заказчиков, Сибирь — страна хлебная, и мужик там любит, чтоб под мышками не жало!

— Сдурел мужик, — ответил ему со злостью Фокин, — либо френч заказывает, либо на дому самостоятельно шьет, а самостоятельно — черт его знает, что шьет, неизвестно, — может, противогазы...

— Я, — говорит портняжка с радостью, — я могу и френчи, и даже противогазы шить, так как френчи в Москве шьют сами военноученые портные в солдатах.

Огорчился Фокин, а тут за огорчением не заметил — московский вокзал, и суетня такая, точно вся Россия переселяется. Влезть в такую сумятицу страшно, сам себя потеряешь, притулился в своем вагоне Фокин. А если на границе такой же город, да у поляков встречный городище, с гонору построенный, втрое крупнее, — как тут перейдешь? И в огорчении замолчал Фокин и так молчал до Изяславля, что за городом Минском, на самой польской границе.

А к храбрости Фокина станция Изяславль самая обыденная, даже по российскому обычаю станционный колокол голуби обсидели, и только меж зеленоокольшных пограничников мельтешат мельчайшие людишки. То есть сначала не поймешь — человек ли, тень ли, или просто телесное воспоминание. Очень неудобно от разговора с таким, — ходил-ходил Фокин, поправлял-поправлял сумку, а если странник сумку поправляет, значит — неладно, потому что сумка прилаживается навечно, — эх, думает, не обойтись мне без такого человечка. Только подумал, а он тут как тут, — усы в кольцо, руки в кольцо, и только неестественнейшей прямоты и длины нос.

— Разрешите, — говорит скороговорным говором, — разрешите рекомендоваться, — пан Казимир Матусевич.

— Здравствуйте, пан Матусевич, — только успел ответить Фокин и чувствует: вот он уже за станцией, у какого-то прокисшего заборчика, пан на него перегарами туманными дышит, и шепот у него мельче дыханья:

— Без паспорта изволите через загражденья, мы можем рекомендовать первоклассного для пана переводчика!.. Из Сибири изволите, с Дальнего, золото в песке везут, а что ценнее — нефрит-камень, в европейских организациях большой спрос на этот камень, потому что в моде сейчас китайская физиономия Европы.

— А как же платье?

И понимает, — не то надо у пана спросить, а что — не может вспомнить, потому что шипит тот, как блин, и к тому же такой же круглый и ласковый.

— В платье нефрит не прячут, больше в котомочку, вроде вашей, скажем...

— На китайский фасон теперь платье шьют разве?

Засмеялся пан Матусевич контрабандным смешком, заподмигивал, завинтились кольцами ноги его, и вот уже вечер, вот уже ветлы выпрямились и зазвенели по-птичьи, и портной Фокин в такой ночи, что слов своих не поймет, не то что ноги увидать. Идут они болотом каким-то, трава от страха словно на голове растет, и шепчет будто иглой Фокин:

— Эх, вернуться разве, пан?

Да, вернуться бы тебе лучше, Фокин, и много бы ты горечей и не увидал и не познал! Сидел бы ты у себя на родине в Павлодаре и шил бы френчи комиссарам и всем честным советским гражданам, а то вот из-за тебя работай, — мне надо ехать на Кавказ, Воронскому надо лечиться, а он должен редактировать твой путь, и Лазарь Шмидт и Зозуля в «Прожекторе» должны следить за тобой, да что Лазарь Шмидт, когда сотни тысяч читателей «Прожектора» и сотни тысяч «Правды» заинтересуются твоим путешествием, и когда Госиздат захочет издать тебя в сотне тысяч экземпляров и заплатит мне не по пятьдесят рублей с листа, а больше, — что мне делать тогда с тобой, Фокин? Многого ведь ты не понимаешь, и за многое мне стыдно, — прости меня, просвещенный читатель «Правды», — один из нас только портной, а другой только попутчик.

И пока с вами рассуждаем, читатель, и пока смеется Воронский, — пан Казимир Матусевич шепчет портному:

— Теперь поздно, теперь одна надежда, пан, — вперед!..

И вот светает, вот ветлы опять кривые пахнут алыми мокрыми листьями, — такие же ветлы, как у станции Изяславль, а пан Матусевич скидывает шапку и говорит:

— Цо есть Польша, а цо есть расчет з паном!

Поклонился ему также Фокин и ответил:

— Спасибо тебе, добрый человек, укажи ты мне прямо дорогу в Варшаву и вертайся с богом.

— Вернуться-то я вернусь, а як же заплатит мне пан, чи нефритом, чи золотым песком?

— Нет у меня ни нефрита, ни золота, — все деньги на билет потратил, добрый пан Казимир, а только сей-

час я уразумел, — ведь надо бы еще на Изяславле объяснить тебе, — зачем я поехал!

А пан хотел не объяснений причин, а денег.

— Может, пан Фока какой ни на есть организации, которых в России не водится, а в Польше, может, пан Фока даст небольшую цидульку туда, чтоб уплатили?

Обиделся Фокин, когда узнал, какие большие деньги требуются пану.

— А тебе разве правда не дороже, я всю землю теперь обойду, а найду такую страну, чтоб было там статское платье и почет статским портным, а если тебе не дороже, веди меня обиженно назад, потому что заболело мое сердце без нужды.

С визгом каким-то расставил ноги пан Матусевич, забранился так, что стыдно автору, — не в состоянии он напечатать такую великолепнейшую брань, — кулаком залез в шею, а пальцы вдруг очутились в портновской сумке.

Завертелись они на шоссе, пан хочет все в скулу, а портной под ребро, и такое жилистое ребро у пана, никак не может попасть туда портной.

Здесь бежит из-за пригорка жандарм, — совсем как царский, только будто за это время еще больше отжирел, сукнами оброс до невозможного блеска, усы золотые с пепельной сединой, и над усом розовая бородавка. И не бежит, а как поп венчанье совершает, — уже так он уверен, что никто от него не уйдет. За ним другой, почернее.

— Цо ест, — кричат, — настоящи контрабандисты... зло делят!..

Здесь-то и высказалось мельтешенье пана Матусевича, был вот, — а вдруг и нету, только кусты шевелятся, да и то, возможно, от ветру. А тощий да маленький остался на шоссе; черта ли в нем, они его всегда догонят, думают жандармы, — главное тут — мешок!

И, не дотрагиваясь до веревочки, нюхом узнали — пустой, — и опрятно, точно не людей берут, а колбасу, наиопрятнейшие пальцы протянулись к воротнику Фокина.

А у того по телу какая-то необыкновенная муть; тот как-то изловчается, золотоусому стоптанным каблуком под сердце, ёкает тот и оседает на пол. Прыгает Фокин, изумленнейше тыкается его кулак в черный напома-

женный висок, и валятся двое больше от страху. В аксельбантах путаются револьверы.

Уткнулись усами в шоссе и выговорить не могут:

— Як то случилось, что выпустили самого великого контрабандиста!

Эх, и легка же земля польская!

Легче птицы порхает портной Фокин по лугу, по кустам, по каким-то огородам, и стесняются лаять на такое чучело опрятные польские собаки, а на шоссе сидят двое, записывают в бумажку приметы, и приметы у них все необыкновенные, даже самим неловко, что в такое короткое время и таким конфузом нашли столько примет.

Велика только трудность объяснить свою необыкновенность, а дальше все достанется легко.

Будто скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а вот быстрее сказки пришел портной Фокин в Варшаву.

3

Разговор Фокина у дворца гетмана Дениско в Варшаве, также и лебединый сон ксендза Винда

Вот дворец такой, что зашить его в футляр и только на восход вынимать, пока все спят, посмотреть бы и опять уснуть: лучше сна дворец. Стоит у решетки ледащий мальчонка и торгует конфетками, будто смерть, а не конфеты продает.

— Как мне пройти, — спрашивает Фокин, — к портным всех фасонов?

И хоть по-русски запрещается говорить, и потому показывают больше пальцами, а мальчонка был торговец, — оттого, что ли, ответил он по-русски:

— Ступайте вы, дядько, прямо аж на улицу Ново-Липки, и на тех Ново-Липках от портных дышать невозможно.

— Так, — сказал Фокин, — а для чего же здесь дворец этот построен? Не для того ли, чтоб носить в нем гражданские фасоны, и кто в нем живет?

— А живет в нем, — ответил опять-таки мальчонка, — царь украинский и гетман Дениско.

— Ишь, сукин сын, и почему ж он так далеко от царства своего живет?

— А потому, что из своего царства его выгнали.

— А отчего ж он тогда царь?

— А оттого, что в Варшаве много дворцов, и кому в них жить, как не царям... А гражданских фасонов они не носят, им стыдно...

Подивился на умного мальчонку портной и пошел на улицу Ново-Липки.

А на улице Ново-Липки нашелся ему квартирный хозяин по прозванию Моисей Абрамыч, чрезвычайно любивший голубей — больше своих жил, — и любил он голубей не оттого, что был неимоверно толст и все свои доходы тратил на крепчайшие стулья и была у него мечта завести железный стул, — а потому, что на всем его варшавском хозяйстве было это единственное чистое пятно. И, любуясь весной на своих голубей, не обращал глаз Моисей Абрамыч на грязь своего двора, а была она такая, что жирные его детишки все порывались плыть по ней на досках, но не осуществляли такое плаванье по причине своей тяжести.

Стоит Фокин во дворе, любуется, и подходят к нему четверо портных, у всех одинаковые бороды и пиджаки такие, только в грязь ползти.

— Ну, как живется-то? — спросил Фокин.

Переглазились портные, бог весть что подумали, и так — не говорят, и только долго спустя сказал один:

— Живется, что ж, пан Фока, — живется ничего. Упрекают у нас все, пан, что жиды правят в России, перекрестили бы вы их, а то очень дюже тяжко.

Оглядел легонько пол Фокин и, словно мечтая, сдунул с него вековечную пыль, вздохнул:

— У нас вера отменена, у нас однообразно, только непонятно, почему не хотят шить гражданских фасонов. Расскажите, какие у вас тут фасоны гражданские шьют и много ли?

— Ой, шьют, пан, и много шьют, за последнее время блузы черные стали шить, и пуговицы на тех блузках так...

И двумя пальцами изобразил варшавский портной:



— И удивительное, пан, дело, как наденет блузу, так лезет драться до рабочего классу. А что пан думает шить — смокинге или фраку или еще что?

И с гордостью ответил Фокин:

— А я все могу, даже пальмерстону!

Опять по-чудному переглянулись портняжки, бороденки точно спички, — такие убогие и так одна на другую походят, переглянулись и, бороды в одну склеивая, сказали:

— Не тот, панове, не тот!..

И тотчас же разошлись поодиночке.

Веселый вернулся Фокин в номеришко, да и какой номеришко, единственное, что там и было на дверях, — номер, а все остальное измызгано, как старая подошва. Весь клопами пропах, даже мыло клопами пахло.

Думает весело Фокин: «Теперь главное — паспортишко какой ни на есть достать, и работать можно». Выглянул на радостях в окно, на двор тощий, как вздох, — ксендз лупит суковатой палкой работника Андрея, дышит ксендз, точно щепы из горла кидает, — а хозяин стоит в отдалении и глядит с сожалением — не то оттого, что сам не может побить, не то — работника жалко.

«Вот поповская пропадь», — подумал со злостью Фокин и хотел было вступиться, вспомнил: где пробежишь, живешь во втором этаже, паспортишка нет, да и не в России он. Здесь за ксендза кишки развесят.

Пока он так думал, ушел ксендз, работник под навесом чинил сбрую, грохотал вдалеке поезд, и вообще Варшава была опрятна, как носовой платок попадьи, и тут-то вспомнил Фокин поля песчаные, Гликерию Егоровну, широкую, как пески, и как утречком приносила она ему крынку снятого молока, да такого, что лучше сметаны!

Мужики, пожалуй, сев окончили и занимаются домашними делами, разговаривая о сенокосе.

А сумерки здесь такие же и так же хрипло орет петух.

Но тут постучали в дверь, и входит работник, которого так усердно бил ксендз и который так усердно подставлял спину.

— А пан не спит?..

— Еще рано, — ответил портной, — на новом месте, как в новом галстухе. Садитесь, пан работник, и расскажите, за что вас так охально бил пан поп...

Сел работник, руками колени охватил, словно душу свою охватил, и говорит:

— А бьет меня ксендз Винд за то, что невзначай испортил я ему однажды лебединое дело. Теперь жениться мне надо, а он родителям невесты говорит, что я большевик, и кому же охота, судите сами, пан, кому же охота за мертвого отдавать дочку?

— Да какой же вы, пан Андрей, мертвый, когда вы быку горло перекусите легче, чем я нитку?

Потрогал его за рукав пан Андрей, точно показывая, что не был он мертвым, и была его рука горячее угля.

— А так, что всех большевиков и коммунистов кончают тут незамедлительно, и через это ждет Моисей Абрамыч, мой хозяин, ждет моей смерти и не платит мне жалованья, — родным, говорит, твоим заплачу, а родные, перепугавшись моей большевицкой смерти, возьмут и не приедут, и останется у него, пан, мое жалованье!.. И к радости скажи моей, пан, скоро русские на Варшаву пойдут?

— Неизвестно мне это, пан работник.

— А как же неизвестно, разве пана прислали не за шпионством?

Мирный же нрав у Фокина, даже подскочил на кровати от таких мыслей:

— Да что же мне каждому объяснять, зачем я пришел, я и без шпионства узнаю, как шьют гражданские фасоны.

— И выходит, быть вам, пан, мертвым напрасно, а зря мертвым быть жалко, пан. Окончательно не знаете, когда пойдут?

— Ха, да зачем мне знать, пан работник, когда пойдут на Варшаву, и зачем создаете вы мне смертельные мысли?

Но тут запридвигался к нему пан работник Андрей, зарасстегивал пиджак, а пиджак у него до колен, и сейчас только заметил Фокин — сюртук это.

— А может, это знает пан?

И вытянул кусок синей материи.

Как рыба на горох, глядел на него Фокин.

— Тут, пан, на костюм, собственно на рубаху, пан. Скройте мне по своему ремеслу такую рубаху, пан, такую рубаху, которую носят большевики.

— Комиссары?

— Та не, можно и поменьше, а як хватит у пана смелости, то и на комиссара меня.

— Скажу тебе, носят у нас комиссары френчи.

— Какие?

Не хотелось Фокину обидеть доброго парня, объяснил, хотя и приврал немного, — внизу большущие карманы, такие большие, что во всю полу,— эти карманы для мандатов.

— Буржуев резать?

А вверху — два маленьких, один для партийной книжки, а другой для профессиональной.

— И делай же мне скорее, чтоб не зря умирать, — в большом запале сказал пан Андрей, — делай, пан портной, быстро, не буду тебе мешать.

И вышел.

«Ну, — подумал Фокин, — не успел приехать, как уже и френчи шить приходится».

Вот кроит, вот шьет портной, — и быстрее машинки бежит из рук его игла. Тут рукав, там пола выскакивает, и надивиться не успеешь.

Только слышит — в соседнем номере за дощатой перегородкой кто-то тяжело дышит, точно щепы кидает, — по сухим таким вздохам сразу можно узнать ксендза Винда. Стучит о стол деревянными локтями и спрашивает коридорного:

— Скоро, говоришь, придет она?

— Так скоро, пан добродже, так скорехонько, что и ответить нельзя.

Шьет портной, и мысли всякие веселые в голову: вот и женщины к ним хорошие идут, и добрых людей они бьют, а нам от женщин какие лоскутки остаются, и за битье хотя бы и жандармов — в тюрьму садят. Какая такая справедливая выкройка!

Час сидит и шьет, два сидит и шьет, и самому удивительно — как это быстро, словно мысли, создается одежда.

А ксендз все щепками в горле играет и ждет.

«Эх, шить легче, чем ждать», — думает портной.

Отворяет дверь работник.

— Примерить не надо ли, пан портной?

— Да что примерять, когда почти готово, — говорит Фокин, — одни пуговицы. Носи на счастье.

Надевает тому на плечи, и вдруг работник, словно

другой человек, выпрямился, грудь, как волна, поднялась, и в полной радости говорит:

— Пуговицы я сам пришью, а вас, пан Фокин, не забуду.

И оголтелейше выскочил. Фокин даже полюбоваться не успел.

Разделся затем портной, погасил лампу и подумал перед сном: «Хоть бы приходила скорей ко ксендзу паненка, — не кидался бы хоть щепами из глотки».

Но только царапают ему легонько в дверь, словно пыль соскребают, и есть в этом скребете какая-то нежность, или со сна так кажется. Открыл Фокин дверь.

Лампочка тусклая в коридоре, клопам такой бы свет, а не людям. Стоит человек в кожухе работника Андрея, и поверх темно-бордовая шаль, и прямо в щель дверную лезет.

Шепчет по такому случаю Фокин:

— Эх, проходите же, пан работник, что вас так по ночам таскает...

А сам уже по-внутреннему понимает — не он.

Мелькнул кожух, скинулся кожух, и вот под руками и на руках у Фокина женщина, да такая, что по запаху (да и в темноте не стыдно мне быть банальным) — лебединая у ней шея, глаза с поволокой, и вся в такой пазушной широкой дрожи.

Бормочет она пагубными словами: «Пан милый, почему кашляете, я ж вам дала превосходные капли?»

От удивления не может Фокин сказать, что он не кашляет, а пан ксендз за перегородкой.

И к тому же будто в пене она, и русскому ли человеку понимать тут слова и спрашивать — почему?

Какие паршивые собачьи кровати со скрипом делают в Варшаве, будто качели! Кашляет кровать, словно пан ксендз за перегородкой!

Тем временем пан ксендз Винд, поправляя опрятнейший, как Варшава, воротничок и поглаживая, словно асфальтовую, лысину, рассказывал коридорному:

— Такой сон, пан коридорный, такой необыкновенный сон. Лежу я с панной, я не буду называть ее имени, лежу я у пруда на мураве, и как приласкаю однажды панну, так и плывет по пруду лебедь неизреченнейшей белизны, опять приласкаю — другой, и под утро покрылся весь пруд лебедями, даже воды не видно... Ведь

не отпускает же наяву создатель такой способности человеку!..

Но недаром широко, по-степному, вздохнула панна.

— Ой, до чего ласковы вы сегодня, пан Винд!..

Все равно не понимает польского языка портной и помогает ей натянуть кожух работника; зажечь было лампу хотел, чтоб рассмотреть ее, а она, как волос меж рук, — и в дверь.

А из соседних дверей, уставший ждать, выходит тогда же ксендз Винд.

И вдруг, словно щепы посыпались из его рта, и рот огромный, как щепа, — такой рот ногой целовать нужно.

— Грешная панна Андроника, как вы смеете выходить из соседнего номера, когда вам надо быть в другом?!

Заплакала пышнорукая Андроника:

— Ой, пан Винд, пан Винд, то, значит, не вы были. Не видала ли я грешный сон в соседнем номере, куда меня ошибкой направил работник Андрей.

Помялся, помялся ксендз, заглянул в ее заплаканные очи, немного успокоился.

— Значит, там никого не было, и вы ошиблись, легкопамятная Андроника, вернемся с вашего разрешения в тот номер.

— Дурные сны снились мне там, пан Винд, — не лучше ли пройти к вам?

Пробует ручку двери пан Винд.

А Фокин чувствует, вот словно вынули все кости, и там тесто.

Драться нет сил, запер на ключ дверь, распахнул окно и любуется небом. Впрочем, одна крыша виднелась над его головой, а он все-таки ухитрялся найти там звезды.

Гнет медленно дверь ксендз, медленно, дабы не было скандала, и, словно дверь, трещит:

— Там есть вор и большевик!..

Коридор визжит: «Вот, вор», — и вдруг чувствует себя Фокин вором. «Что же я украл?» — думает он. Зажигает спичку.

Маленький огонек у спички, как душа у пана Пилсудского, а, однако, видно при нем — лежит на стуле часть дамского туалета, которую, по словам Пильняка, англичане рекламируют на облаках.

Думать в такой усталости трудно; хватает он свою сумку и прыгает в окно.

Дверь трещит, перегибается, падает; ксендз выгибается в окно, трещит, и летят на голову спускающемуся по водосточной трубе портному — стаканы, оловянные тарелки и даже чайник. Сумка у него соскользнула на голову, защищает, а только странные шипы издает она.

По трубе, — а нет легче такого лета, — падает Фокин в бочку с водой и от великой свежести приобретает желание драться.

Из бочки его вытягивают толстые объятия харчевника, и голос, что толще его рук, гудит над бочкой:

— И зачем вам, пан русский, надо лезть в бочку, или мало у вас бочек в России, что вы приехали в Польшу?

А Фокин оглядывается вверх, на мелкоизгрызенные, словно молью, ступеньки лестницы,— и по ним вдруг несутся ксендз и панна Андроника. «Влип»,— думает портной, а они почему-то мимо, под арку, через ворота, и вот бричка грохочет где-то далеко по улице.

Бормочет ему работник Андрей:

— То я крикнул, что вона воровка, а пан Винд испугался, что донесут на него преосвященному, и утек...

Жильцы расспрашивают портного, как его воры ухитрились выбросить в окно и даже попасть им в бочку.

— Потому, что он мелкий,— говорит один хриплым сонным голосом, и все расходятся.

Пощупал Моисей Абрамыч в темноте портного и все-таки ничего не понял, а поэтому заинтересовался профессией Фокина.

— Портной,— сказал он, все еще почему-то стоя над бочкой,— а почему это вы в первый же день приезда попали в бочку и почему у вас воры, да и что, разве мало у вас за революцию пообносились, что вы в Польшу приехали? Может, вы по-простому объясните мне, зачем приходили к вам четверо очень плохих портных на улице Липки и очень любящих рассуждать о большевиках? Нас полиция и без того много беспокоит, пан; у меня с ней свои разговоры, но я не хочу из-за вас иметь своих разговоров. Не зайти ли вам ко мне и не попробовать ли пошить на моих бед-

ных детей, или есть, лучше, у меня такой знакомый, который может дать вам работу и очень простую, нисколько не унизительную вашему знанию...

4

Фокин действует в немецкой фильме

Легко неся свое тучное тело, ведет Фокина харчевник Моисей Абрамыч к своему знакомому.

Лавочка, приступочки,— и внизу, за толстыми стенами, неизвестно для чего неимоверно толстыми,— семейство Станислава Перемышля, которое обладает такими толстыми стенами своего жира, что на Липках говорят: «Бог — и тот тоньше Перемышля».

Впрочем, не подумайте ничего скоромного про самого пана Перемышля. Он совсем не походит на знаменитую крепость,— вся вина в его супруге и в сестрах ее. Сам Моисей Абрамыч мог быть гвоздем или, вернее, перстнем на одном из ее пальцев!

Так вот, ткнула она пальцем на Фокина и словно обмазала того жиром.

Сел Фокин и начал шить.

Стосковалась, что ли, рука его по игле, или спокойствие хотел он найти в работе, только скоро словно растопилось от удивления семейство Перемышля, а сама панна Ядвига даже вытрясла откуда-то из себя изумленный смешок.

Кажется, штаны, самые верные польские штаны должны получиться вот из этого куска материи через день, а тут — смотришь — через полчаса, словно перестриг волосок,— совсем готовы штаны. Крепость их — топором не разрубить, и складка, будто тончайшая проволока вложена или острие бритвы.

Дивятся все, немеют на необыкновенного портного, а тут еще прибавляется чуда — прибегает дня через два работник Андрей и...

Эх, обождите,— забыл я вам описать работника Андрея. Я долго не задержу. Он белокур, бородку чешет в ладонь и очень любит помечтать о деревне, да и не о своей, а о русской. Там, верит он, давно коммунизм и все люди — братья. В городе много жуликов и попов, а в деревне всех попов давно перерезали. Сто-

нло бы описать, как он проводит вечера и какие разговоры ведет с извозчиками, но об этом после.

Итак, как только умеют растроганнейше говорить поляки, начинает Андрей.

— Вы,— говорит,— спаситель мой, а также, не забуду, благодетель. Тетка меня вдруг признала, назначила своим наследником и на свадьбу прислала денег. Против такой тетки сам ксендз Винд ничего не поделает, да и нечего ему, собачьему сыну, поделывать, когда епископ узнал, что пойман он и избит мужем панны Андроники, и избит так, что у ксендза от страху на голове волосы выросли. Узнал про то епископ и выгнал его с позором из костела. Брехняком оказался ксендз, и буду я скоро жениться, и дети мои будут думать о России и о русском портном, сшившем мне счастливую блузу.

— Суеверный опиум,— сказал Фокин, а блуза того уж на дворе, — и, неизвестно отчего, еще быстрее заработал портной.

Дотронется пальцем — пуговица, глазом моргнул — и шов идет, как пламя; мерку с заказчика чует еще на улице.

И вот, от слов ли брешливых или от необыкновенной радости Андрея, вдруг пошло по несчастной улице Ново-Липки, где профсоюз мешали с потребиловкой, а коммунизм с винной монополией,— вдруг понесло, закрутило вихрем, и многие в этом вихре понимать дельное кое-что стали,— пришел из России неизвестного имени портной, и как сошьет, так счастье на того, а на кого откажется,— лучше в Вислу.

Однако молчит все, потому что кто же о счастье просит, — но заказов и гордости у панны Перемышль больше, чем иголок на всех Ново-Липках.

И замечают еще одно — не заканчивает работы неимоверный портной. Начнет пару и к другой перескакивает, а заказчики не хотят, чтоб оканчивали подмастерья.

Так и ходят все около счастья, и все боятся поторопить.

Сидит он так как-то, оглядывает костюмы и все не может выбрать, который окончить, и еще-то хочется начать. Так страстный рыболов натычет в берег десяток удочек: и по всем-то клюет — и нельзя все сразу вытащить.

Звенят в прихожей шпоры и каблуки, как молотки.

— Здесь ли живет портной, который шьет очень счастливо?

«Их, арестовать пришли»,— думает Фокин и оглядывает: успеть разве платье какое-нибудь дошить! Вспомнил заказчиков, и ни один не улыбнулся перед глазами.

— А, ну их,— говорит,— к черту!

Шпоры же за перегородкой на гордые вопросы панны Ядвиги:

— Нам его надо не как военного, а как штатского.

Робко, словно в первый раз, отворяется дверь, и гуськом — жандармы, которых он встретил на шоссе под Изяславлем, и пан ксендз Винд, и панна Андроника, и даже пан Матусевич.

Но так было велико желание иметь счастье, что промолчали все о ранних встречах, и одна панна Андроника с поперхом выговорила:

— Это и есть портной.

Но тут так тесно стало от гордости панны Перемышль, что Фокин на край верстака к стенке продвинулся и смотрит оторопело на всех.

Стоят жандармы и все хотят подумать, что это, может быть, и не он, а дабы показать — не зря пришли, а за счастьем,— рассказали они свои несчастья.

Судьбу панны Андроники мы отчасти знаем, и можно лишь добавить, что выгнал ее муж за измену с ксендзом Виндом, а так как последний раз она изменяла не с ксендзом, а с портным, то была она очень обижена на мужа. О ксендзе добавлять нечего,— а жандармы со страху тогда на шоссе так много описали примет и по этим приметам арестовывали даже честных патриотов, и в жандармерии поняли, какие это дураки и как проводят их контрабандисты, и, выгнав, грозили их посадить в тюрьму. Пан Казимир Матусевич,— столь были известны его приметы и столь много стражи стояло теперь на границе, что блохе бы не проскочить,— пан не мог попасть в Россию и к тому же на последней спекуляции в Варшаве жестоко пострадал последними деньгами.

— Как же мне с вами разделаться, добрые люди? — спросил Фокин.

— А сшейте вы нам, пан Фокин, по костюму!

— Почему не сшить, сшить я могу, покажите мне материю!

И вот подала панна Андроника ту парчевую материю, которую напоследки выторговала у мужа.

Ксендз Винд надел лучшую свою лиловую рясу, в которой последний раз конфирмировал нежнейших паненок. Жандармы — превосходные свои мундиры, в которых делал им смотр сам пан Пилсудский. И, наконец, пан Матусевич — кусок синего сукна, под честное слово занятый у приятеля.

Оглядел их Фокин, и тут выдала свое раннее знакомство панна Андроника:

— И не зайти ли мне, пан портной, позже,— я очень беспокоюсь за свою парчу, я сейчас чувствую себя усталой, и моя фигура ослабла.

Посмотрел Фокин на аршин, вспомнил бочку и сказал:

— Нет, пока примерки особой не требуется, заходите все скопом через три дня, у меня дело верное, я крою в точку.

В тот же вечер привел работник Андрей четырех своих приятелей и девицу.

— Вот,— говорит Андрей,— вот, отложи свои работы, добрый человек: эти несчастные только что вышли из тюрьмы, их надо одеть, я куплю тебе материи. Они за Россию сидели...

Слетел с верстака Фокин:

— Да что вы ко мне все с Россией пристаете, я хочу мирного шитья, а вы с Россией!.. И материи мне твоей не надо!...

Мотнулся он в угол, схватил материю Матусевича, а дальше и жандармскую, и ксендза, и парчу панны Андроники, сплюнул так, что чуть угол не проломил, и сказал:

— На Иртыше,— небось, плоты ладят! Ну, становись в ряды: сейчас из этой материи шить буду.

И как примерил, так сразу забыл, чья материя.

Шьет и свистит.

Самая красивая птица в Варшаве — воробей, потому что нет там иной живой птицы.

А свистеть воробьи не умеют, в этом их портновский недостаток.

Пришли на примерку пятеро приятелей Андрея, совсем уже готово,— кое-где сборки разгладить, а сборки оттого, что на грубом русском сукне попортил слегка себе руку Фокин.

В это же время входят пять заказчиков — и жандармы, и ксендз, и панна, и Матусевич. Видят свои материи на четырех здоровеннейших детинах и спрашивают:

— Это что, манекены?

Обиделся Фокин:

— Сами вы манекены, да разве на манекенах так материя лежит? Ясно, на людей шью и безо всяких там манекенов, по-павлодарски, если угодно знать.

— Тогда они на нас велики будут.

— Кто?

— Костюмы.

— Какие?

— Что на этих господах.

— То не господа, а мои заказчики.

— А как же так, что у заказчиков наша материя?

— Тут мое дело,— ответил Фокин,— я портной и могу соответствовать свой вкус на лучшие фигуры даже и во вред заказчикам. Человек есть обшитое украшение природы.

Первой обиделась панна Андроника, и обиделась не за парчу, а за свою фигуру. Случилось так, что пальцы ее очутились в волосах тюремной девицы, а пальцы девицы у нее в шее, и случилось ей закричать.

Тогда за панну Андронику вступился седоусый с розовой бородавкой жандарм,— он попросту опустил свой кулак вблизи уха одного из парней. Вскоре дальнейшие разговоры перенесли в прихожую, и тут приняли участие швейные машины, швабры, легкая мебель, иголки втыкались в неподходящие места...

Очень странно иногда передвигаются вещи!

Я видел, как прилетают птицы весной и садятся первый раз на гнездовища, скажем — у озера. Это, конечно, плохое сравнение, но сейчас шесть часов утра, и я гашу лампочку в своей комнатке в «Круге», в комнатке, которую Бабель зовет предбанником. Хорошее сизое утро в моем окне, и я говорю: «Эх, весна ведь, Иван Петрович Фокин,— весна и шесть часов утра, и много на свете замечательных людей, помимо нас с тобой». Ты же отвечаешь: «Катай дальше...»

...Но у людей со шпорами были свистки, и пока Андрей, сидя на одном из них, бил другого,— нижний свистел.

По приближающемуся топоту определили парни — надо бежать.

И по опрятным весенним улицам Варшавы, словно только что выпущенным из кондитерской, бежали опрятно одетые, даже прекрасно одетые молодые люди, женщина в парчовом платье и почему-то ксендз с окровавленной макушкой.

Люди останавливались и говорили:

— Наверное, немецкую фильму снимают, иначе кто же, кроме немцев, загримирует ксендза под ксендза Винда.

Парни волокут Фокина, топот сзади смолкает, и молочники не останавливаются и не глядят им вслед.

На перекрестке парни чистят костюмы, портной выдергивает нитки, которые называются «живульками», жмет им руки, и только они заворачивают за угол — уже слышны лобызанья и восклицанья. Они нашли радость.

Портной не интересуется знать,— большая это радость или маленькая, он идет прочь из города.

У дворца гетмана Дениско стоит еще мальчуган с конфетками, Фокин бросает его ящик о панель и говорит:

— Пойдем со мной, я тебе штаны сошью, нельзя же в таких штанах ходить.

— Зачем мне ваши штаны, вот если бы вы были пан Око.

— А что?

— Нашелся из России такой портной — пан Око; так шьет: кому сошьет,— тому и счастье. Я эту коробку, которую вы разбили, давно хотел грохнуть.

— Тебя как зовут-то?

— А зовут меня, пан,— Оська.

Тем временем шли они мимо огородов, остановился портной прикурить и слышит: тоже говорят огородники о нужде и о чудесном портном, товарище Око.

— А куда мы, пан, направимся и как вас зовут? — спросил Оська.

— А пойдем мы, скорей всего, в Германию, так как понял я по многим причинам, не Польша это, а Польская губерния; я же хочу спокойных фасонов гражданского житья, и зовут меня, пан Оська, портным Фокиным.

— Очень рад,— наивежливейше ответил Оська,— я еще в предыдущий разговор у дворца подумал, что наверно-то вы и есть самый портной Око. Очень уж вы на жулика походите!

5

Глава в духе, соответствующем стране, в которой она обитает

Теперь, читатель, как я упоминал раньше, весна,— приятно ходить рука об руку, и вот дайте мне край вашего рукава, я буду прикасаться очень нежно, а возможно, и совсем не прикоснусь,— и мы с вами вслед за Фокиным пойдем по цветущим полям Германии. Многие из нас не читали Версальского договора, и я тоже не читал, и портной Фокин не читал, так что изрядно будет и нам и ему в диковинку.

Не татары и не скифы гонят стада с тучнейших пастбищ, вбивают их в вагоны, и вагоны с воем (вой животных и вой железа) мчатся во Францию; день и ночь сыплется в мешки или просто в ящики пшеница и ячмень. Щупленький секретарь дает радио: ускорить репарации,— и умирают от голода дети, девушка ложится гнить в землю, и старинные смешные колокола в городках под острыми красными черепичными крышами успевают еще отбивать отходную, пока их не увезли.

Не умеем мы говорить жалобно, и в революцию научились проходить мимо многого!

Мимо бы надо проходить Фокину, мимо, но курносый и веселый портной (в сумке у него объемистая краюха хлеба) останавливается, и мы останавливаемся с ним, потому что ни я, ни читатель и ни портной не знаем немецкого языка, и один у нас переводчик — конопатый Оська, да и тот плохой переводчик. Уговоримся же все говорить по-русски и выкинем скверный обычай, введенный серапионами, имитировать речь областную и заграничную,— у нас и так много горечей, и надо события понимать в ясности, не останавливаясь на пустяках, вроде точно переданных разговоров или, хуже того, сентенций в стиле Чуковского.

Вот о портном Фокине идет слух!

Вы думаете — сами грузятся стада в вагоны и быки исполняют обязанности машинистов. Увы, этого еще пока нет: гонят их погонщики, один останавливается и говорит:

— Вместо быков-то — пушки бы, чтоб скатить их под Парижем и развалить в один чишек собачье гнездо. Сошьет мне такое платье Окофф?

Остальные погонщики и машинист, до странности похожий на быка, кивают ему сочувственно.

А в элеваторе! Нет, не могу рассказать этой истории, хотя, признаюсь, очень хочется. Закончилась она тем, что один рабочий со вздохом сказал:

— Для исполнения такого желанья даже Окофф не сошьет платья.

Сел незамедлительно в тюрьму.

Вот и бредет Фокин от села к селу, от города к городу, направляясь к самому Берлину.

Пока шагает — весело, остановится — тоска!

Однажды (хотя в Германии краны через пять шагов) захотелось ему напиться в доме. Или слава так балует, что приятно обращаться с просьбами к незнакомым людям. Стоит у дверей девушка, и спрашивает ее через Оську Фокин.

— Разрешите, — говорит, — гражданка, напиться — утолить жажду?..

Его чаще всего через Оську узнавали.

— Что же, можно,— отвечает та и подносит ему в кружке порцию молока,— только скажите вы мне, правда ли, что русский народ послов вроде вас по всей земле, и даже во Францию, послал?

Спрашивает незамедлительно Фокин:

— А чем вы страдаете и что вам нужно?

— А страдаю тем, что если послали бы такого посла, как вы, во Францию, то лучше бы вам, герр Окофф, сюда не являться. Возможно так, что я вас убью или другая... Все наше молоко Франция выпивает.

Вздохнул привычным вздохом Фокин.

6

История переводчика Оськи и его собак

«Жизнь моя, дяденька Фока, густая, будто каша.

Тятенька мой, Евграф Тимофеевич Зипа, был разбойник и браконьер: самых любимых зайцев у барина бил, а матушка у моего тятьки, по причине службы, у барина любовницей была. Мне тятька в пьяном виде сознавался.

По случаю такой игры попал я очень рано в подчиненные. Чтоб не стрелял я дичи и не имел несчастную

тятькину судьбу, приходил каждый полдень и бил меня тятька, воспитывая хороший дух.

Я теперь очень точно могу время полдня определять.

Надоели мне его побои, и стал я смирнее перед барином, по прозвищу Бороздо, и чудно так получалось, что чем больше я смирнел, тем сильнее бил меня батя. Дальше по смирению вышла бы мне смерть, потому что с каждой нашей встречей кулак его прибавлялся еще на пять фунтов. Тогда, по случаю необыкновенной моей смирности, определил меня барин ухаживать за собаками.

Избил тогда меня смертно отец; еще бы такой один побой — и не знать бы мне немецкого языка, но тут убухали его в тюрьму за расстрел любимого баринова зайца.

Били меня за людей, а чтоб хорошо к собакам относиться — такого уговора не было, однако очень я полюбил собак, и больше всего Фингала, примесь фаундлена с догом.

Зверь тебе ростом с корову, а смирный, — только перед пасхой и лаял. Перед пасхой все постились, и его еще меньше, чем людей, кормили.

Так он все ждал и лаял как раз в самый момент пасхальной заутрени. Тявкнет, и в это же самое время колокол. Сбегались все на тявканье это смотреть и радостно говорили: «Скоро, значит, и скоту праздник».

Вырастил я его, и получилась большая любовь по прозванию Фингал.

Тятька у меня, очень довольный, сидел в тюрьме, мамка спала часто с барином, бить меня было некому, и смиренность моя постепенно уходила. Барин Бороздо говорил мне, — настоящий я собачник и что назначит он мне совсем необыкновенное жалованье.

А я себя чувствовал очень хитрым и был сильно этим доволен: так же, как батя тюрьмой, — очень он себя не любил за разбойничество и браконьерство. Ему все церковным старостой хотелось быть.

Подарил мне барин Бороздо бархатные штаны и куртку с галунами и назвал «доезжачим».

Тут я от радости на долгое время забыл и полдень определять.

Стали меня кормить хорошо; в светлых комнатах начал появляться и хожу постоянно за барином. Впереди барин, собака Фингал, а позади я — тоже в ошейнике.

Полюбил мой барин Бороздо барыню, по прозвищу Марина. Цветы ей ношу, коробки разные, а она мне — гривенники.

Собачонка у ней постоянно под ногами таскалась, вся в курчавой растительности, зовут Аврелка. Собачонку ту целовала больше, чем барина.

Говорит мне барин Бороздо:

— Отнеси ей опять цветы, Оська.

А дело было перед пасхой; пес мой Фингал тоскует, жрать хочет, а я был очень почтительный к людям, пса жалею, но не кормлю. Ноет тот, я ему и предложил:

— Пойдем со мной, Фингал, для развлечения.

Я иду с цветами, а у пса голова больше цветочной корзины, и гордости у него больше, чем у цветов.

Заходим в дом, прислуги нет, мы прямо в гостиную. Фингал хоть никогда в гостиной не был, однако идет спокойно и только слегка аппетитно нюхтит. Кричит мне барыня из спальни:

— Это ты, Оська, с цветами? Подожди немного, я оденусь и выйду.

А Фингал у меня привык,— скажешь «куш», он лягет и может до смерти залежаться. Я ему только хотел было сказать такое слово, чтоб он у порога успокоился, и он на меня так посмотрел соответственно, как вдруг откуда-то там из-под дивана, из-под тумбочек, с привизгом, с драньем горла, выскакивает гривенничная собачонка Аврелка и под морду Фингала — шасть!

А тот от визга, от лая ее аж перетрясся весь с испуга; никогда с ним в хозяйских покоях такой истории не происходило. Там муха помирает — и то слышно за пять комнат, и лакеи бегут.

Вздрогнул Фингал от испуга за две недели до пасхи, мати боска ченстоховска, раскрыл рот и только один раз: «Аауу!..»

И так ухнул, что сильнее, чем на пасхе!

Покачнулась Аврелка, колеском так покрутилась разиков пять и от разрыва сердца издохла.

Барыня сначала била меня цветами, дальше корзиной, а в конце и рук своих не пожалела,— у меня сейчас под глазом след есть. Ладно, что теперь, да и тогда я на нее не сердился.

И барин Бороздо бил меня. Набившись до отказу, указал рукой на дверную ручку и говорит:

— Уходи к черту, пся кревь!

Тут мое счастье, дяденька Фока, и кончилось.

Барыня барина выгнала, а он меня, а мне кого выгонять? И стал я, несчастный, гнать слезы и ездить по фронтам. Теперь вот хожу все и ищу такую же гривенничную собачонку Аврелку. Найду, принесу барыне, и тогда опять буду я иметь бархатные штаны и серебряный галун по всему воротнику и, может, дальше.

В Галитчине меня казаки пороли, спустя немного поляки шкуру содрали, я на них рассердился и ушел к карманникам. Если не на что будет мне купить собачонку, так я украду. В Париже, сказывают, собачонок много, пойдем, дяденька, в Париж. Я для такого дела не то что французский язык выдолблю, — я и все другие».

7

Фокин рассуждает и размышляет

— А если Бороздо-то разлюбил уже барыню? — спросил Фокин.

— Этого не может быть, он даже дога Фингала после такого случая убил.

— Тогда и дога тебе выращивать надо?

— Зачем же, дяденька, дога, когда будет барыня? Тогда если дог, то опять Аврелка сдохнет.

Шевельнул Фокин палкой костер, вздохнувши, посмотрел на искры:

— Вот и выходит опять-таки, Оська, бревном мне шелк шить. Зачем в тебе такое неимоверное сотрясение предрассудков и почему ты мало в России жил? Возьми, в каких инстинктах воспитала тебя среда и другие дни... Как мне с тобой поступать, любимый ты мой сейчас человек, а как я по праву советского гражданина могу окончательно из тебя раба делать и шить тебе на счастье штаны и другие сооружения!

И от жалости, и от того, будто и в родных местах, а будто и нет, заговорил Фокин с неослабным пылом:

— Для чего тогда существует земля, если так чудно устроено человеческое счастье и не могу никак в меру отмерить своего российского счастья — тебе, Оська, и другим. На заводах в мое счастье не верят, и не на что им шить новое платье. Да и какие пути портному на заводы, идут там кругом человека машины. Видно, не того

человека послали из Павлодара, а кого бы можно послать вместо меня — неизвестно, будто и в самом деле некого послать... Добрые люди и товарищи немецкой земли! Говорю я вам по совести, — живете неправильно, необходима разверстка на российский фасон; легче мне будет тогда шить вам счастливое платье... До чего, скажем, вот этого мальчонку изнахратили,— смотреть совестно, какого он счастья хочет... Добрые люди и товарищи!..

— Wohltatug, gut das arme Volk, Genosse,— орал за ним во весь голос Оська.

Стоял он за костром, голосом в поле, и из слова в слово в тьму и полевые запахи яростно переводил речь русского посла.

Одежонка на нем тощая, а ночь свежа, прыгал он, словно подныривая под каждое слово. Искры ныряли в листья, и гукала какая-то свирепая птица.

А Фокин говорил уже про Интернационал, хотя и знал об нем только то, что в песне. Русские песни теперь обстоятельные,— по ним многое объяснить можно, и очень многое объяснил Фокин.

В горле пересыхало, и только хотел он коснуться Красной Армии и военных фасонов, объясняя кое-что и самому непонятное,— завизжало, заулюлюкало в кустах. Ойкнул Оська:

— Втикаем, дяденька Фока, аж до самого дому втикаем!

— Да что ты, Оська, мало ли какой зверь орет по лесу!

— А есть это не зверь, а самый настоящий хозяин, дяденька Фока, и будет он нас бить за такие речи пять дней подряд или того больше! Я ж переводил-то как для рабочего-пролетария...

А Фокин от своей длинной речи пересмелел через меру, он азартно сплюнул в костер, так что зола зашипела:

— А вот и не пойду! Имею я право говорить в чистом поле для своей души и для своей храбрости. Переводи дальше!..

— Я-то переведу, дяденька Фока, только дай ты мне в кусты залезть,— тебе-то ведь слава, а мне чистые колотушки. Я тебе-то из кустов еще лучше буду переводить.

Но в кусты ему влезть-таки не удалось.

Из кустов мелькнули сначала палки, да эти палки и удалось лишь рассмотреть Фокину, — тотчас же Оська расшвырял костер, засвистел по-преисподнему всеми военными свистами.

Первую палку почувствовал Фокин где-то под ребром, вторую на затылке, а третьей не стал ждать. Мотнул он в чьи-то зубы кулаком, чья-то жирная шея скользнула и завыла у локтя, — и вот бежит он полем, огромные собаки ловят и, визжа, никак не могут поймать его обтрепанных сапог.

Вот он один, а в поле кого-то бьют — Оську, должно быть, — и в канаве под изгородью, пахнущей краской и навозом, вздохнул вслух Фокин:

— Их, ты, Оська, летяга!

— А я здесь, дяденька, — услышал он рядом с собой, — я вас здесь давно жду, долго вы гулять изволили. Пожалуй, пора нам и спать?

— Ну, как тебя, Оська, здорово били?

— Меня не побьешь, я так одного трахнул, — давно, наверное, в больнице, а другому глаз навылет. Вот вас, должно быть, тронули слегка, вы ведь с детства к этому предприятию не привыкли?

— Да нет, все мимо они, — сказал Фокин тускло, — и что за привычка драться ни свет ни заря. Там они еще бьют?

— А уж теперь они бьют самих себя, так как темно и страшно; ихняя же профессия — фашисты. Здесь поля предводителя ихнего миллиардера Тиниха, свиные охоты тут.

— Все-то у них есть.

— Свиней, дяденька, разводят тысячу, скажем, а потом в поле их пустят и автомобилями давят, кто меньше надавит, тот и проиграл, и плохой охотник. С утра у них тут свиная охота будет, может, посмотреть желаете?

— Посмотреть-то я посмотрю, а ты вот скажи мне, как у этой сволочи «ура» кричится.

— Es lebe der, дяденька.

Фокин вспрыгнул на забор, сложил коромыслом руки и закричал в поле:

— Es lebe der, сукины дети, es lebe der Ленин, der!..

Мальчонка Оська любил больше военное, так он грудь в колесо и тоже с забора:

— Ausjeichret, herzlich!

Всюду в поле замелькали огоньки выстрелов. За каждым возгласом, словно эхо,— ружейный треск. И под конец сами они напугались, точно тоже стреляли. К тому же охрип Фокин.

А как охрип, так все понял, и стало скучно. Лег опять у канавы на траву, расстегнул пиджак.

И ночь стала известной — жаркой, такой, что задыханье свое от себя отложить нельзя.

Так промчавшиеся по дороге автомобили не входили в разум и в страх, как и всадники, как и прожекторы, делившие небо.

Сообразно этому сказал Оська с восторгом:

— Ищут, сволочи, даже в небе ищут. Нас ведь, дяденька Фока, ищут.

Все эти старанья мало занимали Фокина. Смотрел он на лес, ждал, когда прожектор осветит своих, фашистов. Немало обождав, спросил:

— А ты, Оська, часом, не слыхал, как они одеваются? Не в частную ли, отразилось в моей голове, одежду? Особенно самые охотящиеся на свиней.

— Совсем, дяденька, в частную.

— Манишка и петля на вольную нитку или, единодушно сомневаюсь, ворот наглухо?

— Категорически, дяденька, одеваются, как все торговцы.

Показалось Фокину, что не он вздохнул, а все звезды. Отвернулся даже от такой обиды.

— У мирвольников плутам житье... Дома-то, пожалуй, спят теперь все. Пойдем, Оська. Теперь, наоборот, как самого главного-то зовут?

— Зовут его, дяденька, Тиних.

— Был у нас будто при царице Елизавете такой, ну, может, и не родственник, все равно. Веди ты меня к нему, хочу я его несчастья посмотреть, и, может, найдется такой человек с миллиардами, что не надо будет ему моего шитья.

(Общие места в разговорах друзей я стараюсь упускать.) Ложась, Фокин сказал (и я не успел это вычеркнуть):

— Спать, как ни спи, а проснешься — опять ничего не понимаешь.

Продолжение 7-й главы,

со включением счастья швейцара Ганса Брейма

Вот на самом деле Фокин у дворца Тиниха. За версту еще начинает подбираться земля, ровняться для одного человека, и, если судить по этому, — замечательный должен быть человек Тиних. Так, например, на фронтонах такие завитки, каких самая любимая женщина под самый первый поцелуй не завьет.

У тощего швейцара настолько же впавшие и подвижные глаза, насколько блестящи и пышны его одежды. И, главное, видно, страдает от тощи и длины, видно, ест он, стараясь растолстеть, что зубы у него стесаны, как у сорокалетней проститутки тело.

И все же на ступеньках он медленнее памятника.

— А не преувеличивая, скажешь ты мне,— спросил Фокин,— скоро твой барин выйдет и скоро ли я ему понадоблюсь?

Ответил швейцар с невозможной гордостью:

— Никто моему хозяину не нужен, он всем надобен.

Всем жаром своим пошел Фокин:

— По таким сведениям, счастлив твой хозяин, и не может он мной воспользоваться.

— Видно, дело, правда, расстроится, — проходите, господин, проходите.

Будто зайчики от глаз Фокина по стенам дворца пошли. Хотел было уйти спокойно, но решил напомнить счастливому о счастье, — веселей как-то самому становится.

— Хоть и тошно мне, гражданин швейцар Ганс, тошно мне слышать, что счастливы буржуи, однако я человек добрый и говорю — слава богу. А хозяину своему передай, что был, мол, тут портной Иван Петров Фокин из Павлодара, который бесплатно всем счастье доставляет, был, мол, и ушел обратно, довольный по своей профессии, потому что очень ему трудно живется, и согласен он даже на буржуе сердцем отдохнуть.

Здесь памятник на ступеньках покачнулся осторожненько.

Быстро, словно разрывая бумажную ленточку, развел руками и так же осторожненько спросил:

— Каким же образом вы подтвердите существование свое герром Фокиным и имеется ли у вас заграничный паспорт?

— Зачем мне заграничный паспорт, стоячая твоя душа? Ничего у меня нет, только Оська может тебе подтвердить, — брехней я никогда не занимался. Иду я по земле без паспорта, добротой человеческой.

Тогда пожаловался швейцар:

— Я, что же, плохой человек, разве я сомневаюсь? Не будет ли проще, герр Окофф, зайти ко мне выпить кофе и посмотреть на мою прекрасную дочь, которой я очень счастлив?

Привык Фокин сразу чувствовать то место, куда направлялись все людские желания. Потускнели у швейцара и побледнели глаза.

У постаментных людей возбужденьица всегда крысиные.

Со скукой отошел Фокин и ответил решительно:

— Надоело мне ваше кофе, чаю кирпичного хочу.

Швейцар его за руку, швейцар ломает свой честный немецкий язык, чтоб скорей его понял русский.

— Герр Окофф, добрый герр Окофф, не лишайте меня места. Если узнает хозяин о нашей достопочтенной беседе и как реагировал я на это, — немедленно же прогонит меня.

Фокин удивился.

— Да ведь он же счастлив.

Полетела с памятника вся кожура. Близко разглядишь — морщинистый, продымленный табаком нос, три дня не бритую губу и тощие остаточки зубов. Трудно разве узнать человеческую жизнь?

— Ну, не могу же я каждому оборванцу болтать, чем несчастлив мой хозяин. Он несчастливее всех людей на земле, герр Окофф, несчастнее любого турка,— французы отбирают деньги, коммунисты — заводы и даже жизнь. Болезни такие, каких не продашь и не выкупишь. А также даже моя дочь выскальзывает из-под рук, и не по чему-нибудь другому, а по причине его слабости. Трудно ли соблазнить, но труднее всего стало после войны соблазн этот привести в исполнение. Не обижайте, герр Окофф, моих седин, загляните...

Отогнал швейцар Оську в сторону для размышления, выгодно ли здесь торговать папиросами, и также — часто ли будут отбирать здесь папиросы безденежные блестящие офицеры — как случалось это у дворца гетмана Дениско в Варшаве.

Вернувшись, ему пришлось переводить то же самое, что и до того:

— Загляните. Вы, конечно, странник, и некогда вам жениться на моей дочери, но со всем ее счастьем она будет ваша, сколько вы зажелаете... У меня же мыслей не будет, так как вы будете мне вторым отцом.

Чудно стало Фокину,— дочери своей не жалеет,— и спросил он: какое же великое счастье нужно Гансуаф-Брейму.

— Есть у меня акции в других обществах, с которыми конкурирует мой хозяин. Тиних, знаете, ничего не понимает, ему просто везет. Я хочу справедливости, я хочу, чтобы акции моих обществ поднялись, я их продаю, я перекидываюсь в более выгодные предприятия, я основываю трест, —у меня уже разработан план акционерного общества концессий в России,— и вместе с вашей родиной, герр Окофф, мы разоряем эксплуататора и злодея.

Лицо его совсем стерлось от жадности, ливрея сжалась и стала похожа на фрак. Он ссутулился, и даже шапка стала походить на цилиндр.

Посмотрел на него Фокин и лениво подумал:

«А что, разве, в самом деле, сшить ему сюртук и разорить свиного охотника?»

— И на свиней охотиться будете? — спросил он.

Мотнулся тот восторженно:

— Герр Окофф, герр Окофф, только двадцать первый век, только прогресс и цивилизация позволили выдумать такое прекрасное и вполне безопасное развлечение. Я вношу дополнение, великое дополнение в эту охоту, герр Окофф. Я выращиваю йоркширов, таких, что автомобиль сможет только опрокинуть, но не раздавить. И вот, вы видите, автомобиль едет по ним, сшибает, изящный охотник наклоняется и метко стреляет в голову. «Ура, ура!» — кричат окружающие. Здесь двойное — умение шофера и глаз охотника. Такая великая мысль, герр Окофф.

— Великая-то великая, — ответил Фокин, — только не понимаю я вас, сволочей! Что же, ты на самом деле думаешь, что я на этом свете существую, — одного швейцара другим заменять?

Плюнул и пошел тихонько от дворца.

Ринулся было швейцар Ганс за ним, но у ворот зазвонило, — значит, Тиних выехал из гаража.

Открыл было ворота, затем опять захлопнул и, словно себя захлопывая, мотнулся перед Тинихом.

У каштана, на углу улицы, подле будки папиросника, интересующийся Оська, расспрашивая, задержался.

Думать Фокину все равно — стоя ли, на ходу ли.

Стоял он у дерева и ковырял легонько кору. Полицейский наблюдал осторожно за странным человеком — почему тот скребет кору ногтем. Во-первых, дерево портит, во-вторых — ногти. Подошел полицейский ближе и по раскосым глазам догадался — русский. Отошел. Русские уже многому обучены и большого вреда не делают, разве что кору поковыряют.

А ни полицейский, ни Оська, ни, наконец, Фокин не заметили, как с неимоверной быстротой промчался мимо них автомобиль и как сидели там рядом с вытаращенными глазами швейцар Ганс и миллиардер Тиних.

Оглядывались они неимоверно быстро во все стороны. Автомобиль носился неимоверными кругами, и вечерние газеты сообщили, что миллиардер Тиних пробовал автомобиль необыкновенной конструкции «сильных ощущений», и такой, что его и слугу подбрасывало из стороны в сторону с риском выкинуть совсем. А как сконструирован он внутри и в чем суть — неизвестно.

«Впрочем, — добавляли газеты, — всякие причуды бывают у людей».

А Фокин стоял в это время пред батраками, пред нищими, пред всякими опустошенными людьми, которые ничего не могли объяснить и которым никто бы не смог ничего объяснить.

Было это в каком-то подвале. Плесенью несло и от стен и от людей, хотя и одеты они были с возможной, давным давно описанной, немецкой опрятностью.

Стоял Фокин на бочке.

Окраина как ржавый обруч на бочке, именуемой городом. Дома словно из мусора и грязи — того и гляди, расползутся; воздух как гнилая тряпка.

Весь мир шатается и скрипит, как бочка под ним, и весь мир несет перегаром спирта.

— Счастье я думал найти, братишки, товарищи, в штатских фасонах. Получается кругом кукиш или, по-сибирски, фига. Наблюдаю я, наблюдаю, и мутит меня от штатского платья, которое дошло вплоть до охоты на свиней, не говоря о худших мелочах. Что ж, посмотрю я, посмотрю да и...

Впрочем, мысли его о событиях этих отступили назад пред тоскливыми до слепоты глазами слушавших. От разговора его глаза не менялись и еще более ждуще тускнели. Мотнул головой Фокин, за шею схватившись рукой, начал быстро:

— Ребятишки, товарищи, вы на меня надейтесь, я, ребятишки, не выдам, я всем там скажу про вас,— так, мол, и так, видел, мол, все портной Фокин и решил: ждать невозможно!.. Повырезать и вообще многих пустить голыми, пусть добывают сами себе фасоны. Я, может быть, самому Владимиру Ильичу скажу так, я всей Красной Армии и, может быть, за свиные их охоты, Чека скажу. А сам я все-таки, братишки и товарищи, пойду дальше, и найдется же ведь мне, поди, случайно, какая-нибудь странишка, где можно в спокойствии шить гражданское платье. Как страна эта называется — может, и обитателям ее неизвестно, а вы, братишки, не унывайте и, вообще,— кройте. Пошил бы я вам, из жалости к вашим глазам, но какую одежду пошить — нет у меня, братишки, инструкций, а без инструкций мне, по советскому своему нраву, шить совестно...

Про страну и про инструкцию, в конце концов, Оська, будучи человеком положительным, пропустил при переводе. Батраки и нищие были довольны и, потрясая опрятным тряпьем, кричали:

— Es lebe der Ленин.

А шить-то им не из чего было и не на что, и только какой-то, самый опрятный и самый смелый, подошел и спросил:

— Не проще ли, будет der Bruder Окофф, сшить нам красное знамя?

Потер смущенно ухо Фокин, руку спрашивавшего отвел.

— Ну, обождите, ради бога, я еще на знамя фасона не придумал.

Ответили столпившиеся около бочки:

— Мы подождем.

8

От Нубелгайма до мельниц в Бельгии

Найдутся ведь такие люди, даже из братьев моих Серапионов (Каверин, например), — упрекнут-таки меня в отсутствии бытовых особенностей страны, в коей пу-

тешествует Фокин. Каюсь, мало их, и описаний природы тоже мало, но сильно-сильнешенько надоело мне это в России, чтоб тащить быт за Фокиным.

Дабы не обижаться на меня, возьмите, честный читатель, хороший учебник географии и найдите там Нубелгайм и все местечки, которые я буду перечислять ниже. Возможно, в учебнике, изданном Госиздатом, не найдется таких городов и местечек, — не отчаивайтесь, возьмите другого издателя, а если и там нет, поверьте мне на слово, — есть такие места, сам видел! Также прибавьте сюда — в меру своей фантазии — горя, нищеты, голода и драхму сытости, — из прежних моих книг возьмите немного красок и запахов, и мы расстанемся взаимно довольными.

А с Оськой в Нубелгайме случилось такое событие.

Отправился он в булочную за хлебом (тут вот вы бы потребовали в прежнее время описать булочную и хлеб, а я щелкнул пальцами беспечно и пошел вслед за Оськой).

Вдруг из-за угла автомобиль, обитый внутри розовым шелком, в автомобиле дама, обитая тоже шелком, но снаружи. И на коленях у ней собачонка.

Любите ли вы собак? Клянусь вам своим «кабинетом» в Петербурге, который я, кстати, мало посещаю, влюбились бы в нее, подобно Оське!

Глазенки красные, как моченая клюква, шерсть торчком, как осенняя трава, и нос — винтом.

Крякнул Оська, булки на асфальт выронил.

Дама впорхнула в магазин. Оська — в автомобиль и со всей своей прежней сноровкой уткнул собачонкины зубы в рукав (главное — зажать ей уши, тогда собаки почему-то перестают кусаться,— однако это не всегда и не всем удается). И, не подняв булки, помчался Оська со своим счастьем домой.

Заскочил Оська дорогой в общественную уборную, оглядел — такая ли собака. Такая в точности, и, если даже позвать: «Аврелка», — хвостом машет и, главное, сейчас же, несмотря на неприличный запах, начала ластиться.

Спешит Оська, словно передала ему собака всю свою невыбеганную прыть. Квартал за кварталом, как волоски, дверь за дверью — не поймешь — одна сплошная дверь.

Нужно сказать, что затруднений за последнее время у Фокина встречалось как-то мало. К человеческому счастью стал он относиться несколько легкомысленно и вдруг ни с того ни с сего поделал по дороге некоторые пошивки. От легкости своей слегка поправился и будто посвежел.

Затруднения от такого посвежения пошли с другой стороны.

Стоит он во дворе домика приютившей их какой-то старушки, разговаривает с прислугой, девушкой. Девушка Паулина хорошо знала любовные дела и еще больше, к несчастью читателей (благодаря ей повесть похождений Фокина растягивается), и еще лучше знала, где поговорить, а где помолчать, — стояла она перед ним и как будто глядела, а как будто и касалась его вскользь.

Он же говорил руками или бровью, которая имела способность двигаться по всему его лицу, не избегая и губ.

Признаем, что господствующей чертой Фокина было стремление к покою. Ну, и как же тяжело достается, хотя бы, скажем, любовный покой.

Мнется Фокин, ерошится, говорит:

— Фокин... Око!.. Окофф... герр Окофф, леший вас дери.

А она обрадованно повторяла за ним:

— Фокинг. E, spötter!

И опять непонятно, чему радовалась. И Фокин не мог решить, какого она счастья хочет: через него или просто от него.

Так он, малостью своего роста объясняя свое трепыханье и сверлёж, — чувствовал себя не Фокиным, а черт знает кем.

Солнце сушило луг, словно косить здесь должны были не траву, а прямо сено, крыши черепичные аж темнели от жары, коровы сытее неба, и девица наделена землей в изобилии всеми соками.

Да, тяжело подымать чужеязыкую землю.

Едва лишь Фокин понатужился приступить к любовным действиям от плеча или с пуговиц кофты, — из близлежащих кустов выскочили трое в черных блузах со значками, похожими на кусок изломанной тюремной решетки. Судя по их рожам, объяснение должно было следовать незаурядное.

Фокин, привыкший к вежливости, отдернул руку от девицы.

Но тут вдруг кулак одного из черных потянулся к его уху и не совсем удачно опустился у затылка. От второго, более увесистого кулака Фокин качнулся, от сотрясения во всем теле почувствовал боль под ложечкой.

— Да что вы, спятили, сукины дети!— крикнул он.— Я же Фокин!

Тогда один из черных закричал: «Веревку»,— девица оползла от страха на землю, и мельком только видел Фокин — в последний и в первый раз — некоторые результаты крепкого телесного ее воспитания.

Откуда-то бежали еще черноблузники.

«Теперь мне влетит так влетит», — подумал Фокин, засучивая рукав (другой ему успели ободрать), и по излюбленной своей привычке заехал первому черноблузому под нос. И тут же, только успев ободрать кому-то на животе платье, обнажить волосатую заросль,— упал, и показалось ему черным небо.

Девица, неизвестно почему, орала, черноблузые дрались страшно, молча, гулко,— кулаками выговаривая по его телу:

— Окофф!.. оки!.. око!.. окофф!.. оки!..

Тут-то и прибежал Оська с собачонкой.

С демонстративнейшим визгом и свистом, схватив за задние ноги собачонку, ворвался он в средину драки.

Оська кусался. Кусалась, закатив глазенки, собачонка. Фокин бил руками и ногами.

Обалдели на минуту черноблузые и слегка выпустили Фокина.

— Втикаем, — закричал Оська истошно, — втикаем, то тюремные хвашисты.

Он сунул собачонку к оголившемуся брюху в обнаженно выдранные штаны черноблузника. Собачонка вцепилась в волосатую кожу, девица Паулина заорала: «Бешеная», и черноблузые полезли на заборы, лестницы, чердаки.

А портной с Оськой — по улице.

Из кабаков и кафе выходят люди, смотрят вслед бегущим, пожимают плечами и говорят:

— Какие странные спортсмены!..

На веранде пустующего кафе, мимо которого бегут двое, сидят человек с толстым носом и с тонкими

седыми усами и человек с тонким носом, но без усов. На обоих гетры, клетчатые кепи и пальто из коверкота.

Рядом, третий в кафе, газетный фотограф, господин Морли. Он в резиновой куртке и с аппаратом, и скорее аппаратом своим быстро произносит:

— Клянусь, это — Фокин!

Морли упоен выдумкой, он щелкает бегущих, толпу зевак, кафе с двумя посетителями, улицу, мчащиеся мимо автомобили, — он еще бы щелкал, но вспоминает редакцию.

Так, через три часа в вечерке «Sveltiihig» появляется первый портрет знаменитого советского агитатора, авантюриста и разбойника Ивана Окофф, иллюстрации и портреты русского князя Михайлова и жениха дочери Михайлова, шевалье Андре де Олесью, первые граждане, хладнокровно наблюдавшие погоню.

В кафе же толстоносый спекулянт из рязанских купцов Михайлов и владелец газеты Олесь продолжают пить кофе.

Так же тонко, как его нос, Олесь говорит:

— Слышали, пробежал Фокин?

Толстоносый лениво:

— Полиция арестует.

— Вам легче.

— Мне воопче наплевать. Я теперь русским вопросом не интересуюсь.

— А я интересуюсь французским и, в частности, газетой своей. Немцы выдумали очередную штуку с пророками и христами, дабы не платить репараций и иллюстрировать дружбу с Россией. Это — только начало. Задача нашей прессы — борьба за национальные задачи.

— Так.

— Фокина надо прекратить, и на прекращении без полиции увеличить тираж газеты.

— Так бы давно, об тираже. А задача всегда останется задачей, милый.

Машина гудит, в автомобиле почему-то люди всегда выпрямляются, и Олесь оказывается вдруг на целую голову выше Михайлова.

Тот говорит лениво:

— Эк вас вымахало!

— На такой жизни вымахаешь.

Автомобиль на прямых знакомых дорогах, а Фокину и Оське надо дороги свои искать в переулочках, в са-

дах, где фонтаны походят на выпрыгивающих из воды рыб и где все танцуют неустанно: деревья, люди, скамейки. Наконец *машина* и двое потных людей встречаются.

Толстоносый в таком румянце, что приподнятая шляпа тоже словно наполнена румянцем до краев, спрашивает наивежливейше:

— Не вы ли будете, случайно, герр Окофф?

Бежать дальше нет сил, и Фокин отвечает с достоинством:

— Бывает, что бываю я Оковым, по правде зовут меня Иван Петрович Фокин, павлодарский портной и гражданин, и вам спасибо, гражданин, за русскую речь. Умучили меня здесь, сукины дети, языком и, главное, не объясняют, почему я их бить должен.

Шляпы еще в воздухе, обильно пахнущем бензином. Усталый Оська просит у шофера попить.

— А не вы ли будете, случайно, начальником тех, что дерутся, или объясняющим все эти канители, а также как ваше имя-отчество, гражданин?

Михайлов говорит имя-отчество. Изморенно оперевшись об автомобиль, Фокин бессмысленно смотрит на Олеся, и тому почему-то неловко. «Разбойничья рожа»,— думает он и еще больше выпрямляется, и похоже, выпрямится сейчас до небес.

— Папироски нет, Геннадий Семеныч? В драке все папироски растерял, вот до чего тут драчливые нации,— даже трудно объяснить. Сегодня во славу батюшки Ильича семь носов пришлось расквасить, благо носы тут крупные, особого вреда не произойдет для организмов населения. Вам как, Геннадий Семеныч, тоже всыпают, или вы предпочитаете по старости от них на автомобилях?

Оська подходит, тянется тоже за папироской, садится на крыло машины и кричит шоферу:

— Собачонку погубил из-за девки. У нас бы в таком деле просто,— линнула бы в шары кипятком, и кончено...

Михайлов опасливо шепчет Олесю: «Может, плюнуть нам на эту затею, разбойники ведь». Олесю тоже как-то не по себе, но он лезет в небо, — притом же здесь не Россия, и можно предупредить всегда полицию. Жизнь здесь — квадратики, из которых дети складывают

картинки: как ни бейся, а ничего, кроме следуемых картинок, не сложишь.

Оська же юрко шепчет Фокину: «Ушел только от тебя, ты и успел подраться, а я собаку захотел».

Тогда Михайлов крепко уминает шляпу на голове и говорит небрежно:

— Есть слухи, Иван Петрович, будто бродите вы по Германии, ища штатского мирного костюма, или, иначе говоря, тишины. Мы идем к тому же в штатский комитет.

— Да что ты, постой, что ты... есть такой таки, а?

— Есть, Иван Петрович, есть.

Хотел было перекреститься тут Фокин на радости, но, сплевывая, сказал укоризненно Оське:

— А ты мне еще брякал, — не найдем мы, случайно, ни государства, ни мирного фасона. А здесь имеются целые комитеты. И машина комитетова тоже, Геннадий Семеныч?

Оглядел Оська машину, посмотрел на небо, подумал: «Если может портной шить счастье, почему же не сшить ему комитет и даже целое государство». Подумавши так, хлопнул одобрительно шофера по плечу.

— Штатский комитет всех стран поручил мне свезти вас на заседание и одновременно на бал и показать вам стремления народов земли к спокойствию, миру и штатской одежде. Ближайшее заседание будет в Париже через четыре дня.

— Так, — протяжнейше сказал Фокин, — а комитет вам, часом, не заявлял, когда он власть в наши руки передаст?

— Позвольте, Иван Петрович...

— Нет уж вы мне позвольте, Геннадий Семеныч, по порядку дня и постольку, поскольку мы являемся представителями Советского Союза, и когда за нами — да... Мы к этим делам насчет организации привыкли и завсегда непорядки видим, так как представители рабочих и крестьян. Скажем, первое слово, заседание, хорошо. А при чем тут бал и бессмысленное расходование народного имущества? Загогулина!

Он посмотрел с сожалением на смущенного Михайлова и сказал решительно:

— Едем! С балом разберемся на месте, возможно — манифестация под видом бала. Еду. Крой, Оська, горе сбрось-ка!

Тот влез на сиденье рядом с шофером, стукнул в стекло, свистнул, заглушая свист машины, и запел:

Собачка моя,
Сучка-невеличка...
. . . .
. . . .

...Из старых песен рассказать разве о мельницах, лениво шевелящих крыльями, как сытые птицы на сытых холмах Бельгии. Тихие города, благовест колоколов и благость ладана в прямых, словно нащепленных церквах.

Забудем про это!

Мельницы там темные, огромные фабрики с отвратительным дымом, густой грязью перекрасившим небо. Грохот во дворах мельниц, словно мелют не зерно, а камни. В церквах служат попы, состоящие в фашистских орденах и после обедни идущие со свинчатками избивать рабочих. В Льеже, Генте, Намюре и прочих местах на неубранных полях сражений жирные буржуа сбывают свой жир в фокстроте и шимми. В Шарлеруа, в Люттихе и иных благословенных городах найдешь ты, читатель, остатки разбитых баррикад, и кое-кто расскажет тебе о красном знамени, подымавшемся и падавшем на ратушах.

Тихая земля моя, степи!

Тихий мой Фокин и смущенный Оська,— почему вы в экспрессе, мчащемся на Париж, почему сонный слуга стелет вам туго накрахмаленные простыни, когда в сибирских павлодарских озерах — караси ищут клева?

Видно, не из старых песен делается теперь жизнь!

9

Фокин на балу штатских в Париже

...Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки...

Хм, что ни говорите, а куда легче жилось писателю в старину! Я не завидую имениям или виллам, — нет, формальный метод приучил нас к другому. Вот попробуй, опиши бал! Бал! Ах ты, какое дело! Та ли работа изобразить монгольские степи или, скажем, Самарскую

губернию? Пустил бы я там лишний раз ободранного мужика, суслика или, на худой конец, во все мои краски раскрашенную мышь. А тут — бал! Если по совету критика Правдухина, открывшего, что к такому способу прибегали Сейфуллина и Л. Толстой, показать видимое глазами героев... вполне возможно, а вот ведь тоже скучно.

Многое, милые мои, сейчас скучно делать, оттого что очень многое мы поняли.

Стоит Фокин за колонной. Проходят мимо в покроях самого разного фасона самые разнообразные люди. Трудно упомнить все земные фасоны, но понятно одно — военных мундиров нет, но и от этого не легче портному.

Подводит к нему парижанин Михайлов девушку и говорит:

— Позвольте представить — дочь моя Вера, невеста нашего спутника Олеся.

Платье на ней из парчи, туфли на золотых каблучках и высокая грудь, как мука, вдруг посыпавшаяся из мешка. По-другому, но с таким же сожалением и завистью смотришь на сыплющуюся муку.

И даже немного оторопев, словно мука была золотая, спросил ее Фокин:

— Давно ли сюда попали и как изволите жить, гражданка Вера?.. Любопытные места кругом, и народ тоже, больше занимающийся танцами, чем мыслями о скоропроходящей жизни!..

Видит,— не то язык несет: ускакал черт знает куда, и остановить невозможно, надо бы ему о другом, да и та, видимо, о другом спросить хочет.

Оська же зашел за колонну покурить и перочинным ножом вырезать на ней: «Оська и Фокин» — число и месяц. Совсем смутно портному, будто мука по рту.

— Почем же за платье берут и велика ли здесь безработица у портных, не говоря о музыкантах, которые играют непрестанно танцы?

А у той зрачки как иглы, и чувствует — шьет она другого Фокина, и нет этому спасения, другой сейчас Фокин будет. Сухим, как нитка, голосом спрашивает:

— Почему вы ушли с родины?

Обвел вокруг себя, указывая на толпу руками, Фокин и совсем неуверенно ответил:

— А из-за этого... штатское...

У Веры же брови метнулись, как из-под ног в лесу ночная птица. И вдруг так же строго отвернулась.

И, весь в поту, подумал Фокин: «Могила, а не девка».

На возвышении стол, вокруг него народы в своих народных костюмах гражданского фасона: греки, итальянцы, испанцы, негры, англичане. Лица у всех — словно неустанно, всю жизнь танцевали этот фокстрот, который тянется нескончаемо, словно штука солдатского сукна.

Седой старик с бородой ниже земли звонит за столом в колоколец величиной с ведро и кричит по-русски:

— Го-оспода!

И чудно Фокину, и тревожно, почему же говорят все по-русски и хохочут при этом. Одна только Вера супится среди них, и одну ее не снимают бесчисленные фотографы, и одной ее ради не вспыхивают огромные лампы, похожие на молнии.

— Господа, — кричит старик, — приехал из России честный человек, знаменитый русский портной, шивший все время на засильников в Кремле. Ему надоели военные замыслы большевиков, ему надоело издевательство над православной русской церковью. Господа, представители всех народов, покажите и докажите, что не дремлет в вас стремление раздавить засевших в Москве гадов, что вы полны стремлением переменить свою штатскую одежду...

Наклонился портной к Оське и спросил шепотом:

— А ведь молчат все, Оська, ведь, значит, мы двое с тобой не согласны с ним. Что он несет, а, что?

Пожал пренебрежительно плечами Оська:

— Просто брешет от старости; послухаем еще, я тебе потом это все по-французски переведу, смешнее. Тут ведь все сплошь русские.

Старик же, путаясь руками в бороде, кричал:

— Конец приходит извергам и кровопийцам, болтаться им всем скоро на столбах... Крест скоро взметнется над Кремлем, и собакам глодать выкинутые кости, которых ни один человек не согласится хоронить.

Шепчет совсем смятенно Фокин Оське:

— Парень, да ведь это — сплошь контрреволюция и позор... Тут ведь так влипнуть можно... Нет, брат, пойдем, Оська, от греха подальше: тут такой заговор, тут такая игра, что мне ни один комиссар не только что френча — подштанники не закажет.

Обалдело вильнул он за колонну, нырнул вниз по лестнице и рад был неслыханно коврам, на которых шаги как иголка в тесте. Оська спешил за ним, в утешение бормоча, что всех собачонок в Париже он собственной рукой перережет и что ничего ему не надо.

На углу лишь опомнился Фокин. Деревья бульвара в пыли, дождик серенький моросит, и нет нигде у фонаря Ваньки-извозца

— Тут, брат Оська, почище уголовщины, и, главное, милицию не позовешь. Ну страна — разговоры какие допускает. Пойдем-ка поищем лучше портных в этом завалящем городе.

А рано, часов пять утра — не больше.

Улицы моют машинами, и людей в машинах не видно. К полицейскому подойти спросить про портных — опасно. Может быть, ищут их, потому что на бал-то ради них потратились, и, возможно, такие здесь обычаи, что должен сбежавший гость оплатить расходы по балу.

И вот идет мимо в промасленной куртке, по виду похожий на машиниста или кочегара с паровоза.

Подходит к нему Фокин и видит вдруг — под самым сердцем у него, от копоти совсем почти незаметная, пришпилена маленькая жестяная звездочка.

Твердо протянул ему Фокин руку и сказал:

— Братишка, умучали... очень тошно здесь, братишка!

Машинист пожал ему руку со всей охотой и спросил:

— А что, эмигрант?

— Фокин я, Иван Петрович Фокин.

Улыбнулся тот вежливейше, и, видимо, Фокин для него так же известен, как кедровые орешки.

— Если не эмигрант, то что у вас нового и почему вы здесь?

И с радости начал тут Фокин врать, и врал так, что самому стыдно до озноба стало, и оглядывался он очень часто. Оська переводил его речь с великой и ожесточенной охотой, что пятьдесят миллионов пролетариев, одетых в одежду, придуманную им, Фокиным, и вооруженных танками, пойдут скоро на Европу, разденут догола всех буржуев и заселят ими киргизские степи и что, в первую очередь, будет полякам, как самым легковерным брехунам, — трейле.

Лицо у машиниста было строгое, квадратное, будто слегка и слушал он так, словно знал все это давно (хотя

и не имел обыкновения читать эмигрантских газет, — ибо врут они так же, как Фокин), но слушал все-таки не без удовольствия.

И под конец хлопнул его по плечу Фокин и сказал с восхищением:

— Ну, а вы как живете, туго?

— Туго, — ответил рабочий и ухмыльнулся.

Русские жалеть любят.

— И насчет одежонки, пожалуй, туго?

Промолчал машинист.

Шевельнул Фокин плечом и спросил:

— Газеты читаете?

— Читаем, товарищ.

— Так вот портреты Фокина видел?

И слегка удовлетворенно шевельнул грудь.

— Я все знаю, мне теперь все подземности известны. Я тебе... Есть у меня до тебя такое желание. Укажи ты мне, братишка, свою квартиру, и сошью я тебе новое платье.

— У меня достаточно платьев имеется. Разве у русских такой обычай, что ради гостя хозяин должен платье новое шить? Я тебя, дружище, лучше вином угощу.

— Вина мы потом выпьем, когда ты в новом платье будешь, и неизвестно, из чьих погребов ты тогда вином меня угостишь. А сейчас выбирай ты себе, парень, материю покрепче.

Рассмеялся машинист.

— Да не надо мне платья, милый друг, и нет у меня лишних на то денег.

— А ты знаешь, какие я платья-то шью?!

Машинист шевельнулся подозрительно.

— У нас в газетках печатали, что при царях в Москве лучшие во всей Европе портные жили. Мне стыдно было подумать, что ты из таких портных, такому портному много найдется работы и в Бурбонском дворце...

— Я счастливое платье шью, как сошью — так человеку и счастье...

И вдруг самому стало непонятно тяжело объяснить такую простую и испытанную историю.

Тут рабочий взял его легонько за плечи, качнул его слегка и сказал:

— Мы люди взрослые, нам для чего такие сказки? Счастье, милый друг, в борьбе, и счастье мое в рабочей блузе, и больше никакой одежды мне не надо.

Оська был очень доволен и ответом, и тем, что перевел его портному совсем по-газетному. Поглядел было на того Фокин огорченно, но крепкое, словно из чугуна отлитое лицо и даже ноздри не колышатся, когда дышит.

Больше для своего спокойствия сказал:

— Чудно! И, думаю, притворяешься, парень. Однако наше дело предложить.

Позвал его было с собой рабочий, но не пошел Фокин. Уткнулся он сапогом в тумбу и думал. Оська же переводил на русский язык вывески, получалось по-глупому длинно, и он хохотал.

Но тут по бульвару пронесся автомобиль, затем вернулся, и толстоносый человек со всей вежливостью спросил найденного Фокина:

— Что ж вы, герр Окофф, покинули собрание и что могло вас так встревожить?

Молча сел Фокин в машину, молча кивнул головой на предложение Олеся — подписать под своим портретом, что не большевик он, что слухи, распускаемые немцами о нем, — ерунда и что ждет он не дождется возвращения штатской жизни в Москве.

Открывались банки и конторы, автомобили с блестящими верхами вытряхивали людей в цилиндрах, похожих на верхи автомобилей.

С гордостью рассказывал ему парижанин Михайлов, какими богатствами владеют эти банки, какие миллионы текут из Египта, Рура, Персии, Африки, какие миллионы черных войск готовы защищать черные покрышки.

Одним глазом взглянул на это Фокин и спросил с тоской:

— А какой месяц теперь в России?

— Такой, какой здесь, — август.

— Погода другая, — ответил Фокин и опять замолчал.

А Оська видел — удручен портной и уничтожен; согласен был Оська на все, чтоб только утешить его, и ничего не придумал. Посмотрел на толстоносого Михайлова, как уверенно он увозит Фокина, и подумал: «Придется, видно, и для дяди Фоки собак разводить».

В кабинете (куда провел их Михайлов, умчавшийся за фотографом, дабы запечатлеть отречение Фокина) сидел низко в кресле Фокин и не заметил даже, как вошла Вера.

И резко, точно отмыкая заржавленный замок, спросила она портного:

— Вы что тут делаете, вам не стыдно сидеть здесь?

Раскрыл уныло губы Фокин.

— Такая жизнь, голубь, такая косолапая наша жизнь!..

— Жизнь строится, а не с неба валится.

Фокин махнул рукой.

— Сегодня второй раз такое слышу!

— Почему ж вы не строите жизнь у себя в стране по-своему, зачем вы сюда приехали?

Надоели уже Фокину упреки, и ответил он с легким раздражением:

— А вы давно, барышня, из России?

— Я там не была десять лет.

Оглядел ее с легким недоумением Фокин.

— Так вы ступайте туда и попробуйте, постройте! Вы думаете — жизнь строить, это пуговицы пришить?

Окна все в кабинете выходили на юг, метнулась было к ним Вера, но отошла. Глаза у ней вспыхнули, руки задрожали, и Фокин поднялся за ее словами, хотя и пропахли они насквозь запахами газеты «Накануне».

— Домой хочу, портной, домой, на родину! К полям, к просторам, к серому небу, — меня тоска ест от злости, вокруг меня льющейся на мою родину, на Россию. Я не хочу второй родины, не хочу окон на юг и лощеного, как цилиндр, моря... Я — домой!

Оська вдруг подсвистнул, подпрыгнул.

— Крой их, стервь, эх, перевести бы это кому-нибудь, мамаша! Собачонок-то ихних еще, собачонок наплодили, суки!

Выровнялся как-то от возгласа Оськина Фокин, с легонькой смелостью взял Веру за руки.

— А ты, девчонка, плюнь, и по откровенному делу сейчас садимся в аппарат и по-ошли...

Оська же предпочитал страшное, так он, выглянув в окошко, предложил:

— Дяденька, через окошко лучше на полотенце спуститься...

— Я люблю в России ее буйное начало, — сказала Вера и как-то выпрямилась (по-видимому, кое-какие привычки от жениха она успела приобрести), — ты вызвал во мне все, что так давно таилось во мне, тоску и таинственность российских просторов...

Фокин не читал «Накануне» и потому ничего не понял, но сказал значительно и твердо:

— Совершенно верно, и насчет манаток буржуазных не беспокойся, проживем и без них...

— Что такое манатки?

— Манатки значит барахло.

Фотографы, думая, что так и нужно, сняли Фокина и Веру спускающимися по лестнице. Фотографии были попорчены гневным отцом, но и поломанные все-таки их вечером газеты напечатали с подробным объяснением относительно коммуниста и авантюриста Фокина, уворовавшего дочь князя Михайлова, русскую красавицу Веру.

Простите меня, друзья мои, читающие эту книгу!

Ее конец тривиален, как большинство теперешних книг, и нет ничего чудесного в возвращении Фокина, — и мне была бы такая тоска, такое одиночество написать по-иному.

Родные степи и холмы мои, Россия!

Мне ли, другому ли, но говорит, стыдясь, возлюбленная: «Не целуй и не люби мои большие груди, у тебя сердце и губы варвара».

Но в теплом лиловом ветре вечеров — не так ли женоподобны поля и холмы, прикрытые золотым колосом, и не сосцами ли кажутся там золотые костры странников?

Россия!

От женоподобной и широкой щедроты твоих полей скоро тысячи странников пойдут мимо хат, мимо городов. Их мозоли до твердости камня пропитаются твоей глубиной.

И я позавидую каждому и буду думать, что придет день, когда березовый колок распахнет предо мной пахучую березовую дорогу и конец моей палки будет шипеть по сухим стеблям трав. Палка залоснится от этого шипа и с другого конца от моих ладоней.

— Или ничего такого не случится и ничего не нужно? Такая жизнь, Фокин, такая жизнь!

Почему ж ты молчишь?

10

Доказываю, что все же конец повести не в предыдущей главе

Возвращаясь, мельком на польских станциях видал Фокин старых знакомцев — пана Матусевича у самой русской границы, ксендза, сбирающего подаяния, оборванных жандармов. Бегали они все вдоль поезда, в руках у них были газеты и журналы с изображением Фокина, — и в каждом разный был изображен Фокин. Но последняя польская газета печатала чей-то портрет с надписью: «Известный русский авантюрист, выдающий себя за Христа, портной Иван Око».

А самого Фокина никто из них не мог признать, и проходил он мимо них с легкой тоской. Хотелось ему спросить про панну Андронику, но так и не подошел, да едва ли бы кто из них ответил, спросить бы лучше об ней варшавские улицы, где не однажды валялась панна Андроника, избитая сутенерами.

Больше всего был доволен Оська. Каждоминутно вбегал он в купе к портному и, тыча в окно пальцем, вопил:

— Мы ж шли тут, пан Ока, тут...

— Шли, — не глядя в окно, отвечал Фокин.

Любовь, по крайней мере европейская, очень одинакова, — и только мы, писатели, из профессионального тщеславия разнообразно описываем ее.

Любовь, конечно, мешает воспоминаниям. Любовь, конечно, мешат спать, но ехать, имея любовь, можно великолепнейше.

Так и доехал Фокин до Минска.

Здесь почему-то и пришлось ему остановиться. Не то родные у жены оказались, не то понравилась Белорусская республика, — поселился Фокин на Преображенской улице, вывесил доску, изобильно размалеванную: «Принимает заказы штатский и военный портной из-за границы Иван Фокин», — и стал ждать заказов.

Жена быстро забыла лексикон «Накануне» и стала просто красивой женой, купившей к тому же керосинку в Металлотресте.

И заказы не замедлили.

Первым пришел томный, волоокий человек (фу-ты, господи, не умею я описывать красивых людей, и даже банальным стать не страшно), спрашивает волооким голосом:

— Знаете ли вы парижские фасоны?

— Мне ли не знать парижских фасонов, — ответил Фокин, с удовольствием взял аршин и стал измерять волоокость.

Вера Геннадиевна тоже близ и кое в чем объясняет, и приятно Фокину, что, словно нарочно, запомнила жена парижские моды и даже может объяснения давать.

— Вот там, — говорит она, — нужно сделать поуже, а вообще для вашей шеи необходимо пустить широкий воротник, дабы оттенить полное благородство лица.

И вот стал ходить на примерку заказчик. Фамилия у него была Стрежебицкий, и уже на второй примерке стал он говорить с Верой Геннадиевной по-французски и так, что приходилось убегать Оське, дабы, часом, не пришлось ему переводить таких разговоров.

А в конце заказа выяснилось, что платить-то платит заказчик по-честному, но вместе с костюмом парижского фасона берет с собой и жену портного, Веру Геннадиевну.

— Как же так? — спросил Фокин. — Зачем же мы приехали?

— Затем, — ответила Вера, — что ехала я сюда, думая видеть в тебе воплощение идеи русского, восставшего от векового гнета народа, а ты просто курносый портняжка.

Ничего не понял Фокин, но обиделся, и так как приобрел за границей достаточный запас гордости, то ответил с вполне отличным презрением:

— Тогда возьмите ее, гражданин Стрежебицкий, как остаток приклада.

Но не понял остроты заказчик, оттого что приклад, согласно ряда, должен быть поставлен Фокиным.

Жена быстро ушла, захватив парижский свой чемоданчик. Поглядел Фокин в окно — дождь, слякоть, осень. Заборы шатаются и вообще мокрые, как тряпки. Сказал он грустно:

— Надо и тебе, Оська, уходить, так как кому ты теперь будешь ходить на базар, запалять керосинку и покупать молоко? Со всем этим делом я один справляюсь. Иди, если хочешь, за ней, она теперь женщина будет богатая и платья будет шить у других портных.

А Оська в слезах ответил:

— Хочу я, пан Ока, учиться у вас в подмастерья,

Обрадовался Фокин, но, виду не подавая, сказал строго:

— Будь оно неладно, это штатское платье... все-то мне кажется, шью будто ладно, а заказчику все в пахах и под мышками жмет. Буду учить тебя другому, а потому и позови-ка, Оська, художника.

И приказал живописцу на новой вывеске написать неимоверной величины френч, чтобы пуговицы там были каждая со сковородку и внизу синим: «Шью точно и аккуратно. И. П. Фокин».

На этом и продолжалась его жизнь.

Пробовал было по честолюбию своему пройти на выборах в управдомы, но на общем собрании, когда начали говорить о ремонте драной крыши, вспомнил Париж, тут как-то рассказал к слову о заговоре Штатского комитета, на что и возразил ему ехидно молодой монтер, сам метивший в управдомы:

— Несмотря на седьмой год пролетарской революции, есть еще у нас такие вруны.

Кандидатура его провалилась, и с той поры потерял Фокин охоту рассказывать о загранице.

Сидит, шьет, — все собирается поехать в Москву, дабы сравнить ее с Парижем, но не то заказов много, не то уж очень хорошую наливку выпустил Госспирт, назвав ее игриво — «русской горькой».

Крепости в ней совершенно достаточно, как в Алексее Максимовиче (да простят мне российские литераторы плоский сей каламбур, — очень я люблю Алексея Максимовича, и вот — себя не пожалел).

Итак, пьет он наливочку и все сбирается найти иностранные газеты и справиться: где ходит теперь Фокин, потому что, ехавши домой, чувствовал он, что каждая страна приобрела себе своего Фокина.

— Купить бы нам с тобой, Оська, карту планеты. Однако большая земля, насколько я помню, дорого, пожалуй, карта стоит.

— Дорого, я думаю, дяденька.

Поглядит на него хитрым пьяным глазком Фокин и хитро спросит:

— А ведь ходит где-нибудь теперь Фокин, ходит, стерва, и смущает человеческие выкройки?

— Ходит, — отвечает со всем восхищением Оська.

— И мальчонка какой-нибудь, переводчик, с ним ходит, и зовут его, возможно, Оська?

— Зовут, дяденька.

А на рождество получил он вдруг из Сибири, из Павлодара, посылку — замороженного поросенка и письмо при нем от Гликерии Егоровны. Правда, отгрызли по дороге крысы уши поросенку, но ничего, — на вкусе это не отразилось.

Пьет он настоечку и читает письмо:

«Когда вы вернетесь, Иван Петрович, стосковалась я по вашим просвещенным разговорам... Поп насчет подрясника справлялся несколько раз, и еще завелся у нас статский для вас заказчик, парикмахтер по маникюру, тот, что по воскресеньям на гулянье, на яр в белых штанах выходит и в шляпе, прозванной за безобразие цилиндрой».

Поросенок промерз до души, а такая закуска очень глубокодушно человека настраивает. Отложил письмо Фокин, подумал, подумал, посмотрел на свет рюмочку с наливкой.

Хороший, золотистый загар у наливочки.

Тогда, выпивши не спеша и не спеша закусив, дочитал:

«а я все прихварываю, и некому мне рубашку смертную сшить...»

— Нда-а... — сказал Фокин и налил еще рюмку.

Но здесь попросил позволения Оська сшить старухе рубаху и послать обменным подарком за поросенка.

Фокин, помедлив малость, согласился.

— Пошлем, однако она, старуха, нас переживет, значит, рубаху надо шить самую крепчайшую, чтоб не обидеть ее перед смертью, а то хватится, а рубаха-то сгнила и развалилась.

Разложил газетные листы Оська, делая выкройку смертной рубахи. Звякал он ножницами и подсвистывал шимми. Многое об Европе Оська забыл, и только весь квартал и все папиросники Минска научились у него ходить нараскорячку и свистеть шимми.

Поглядел на него еще Фокин, потянулся, разминая в жилах наливочку, и, сплевывая, сказал в угол:

— Давно я что-то карасей не удил. Все республики в России одинаковы, и, значит, едем, Оська, в Павлодар.

— Едем, — ответил очень спокойно Оська.

1924

ХАБУ

Сообщается, между прочим, о геологических пунктирах к югу от города Айкеня, там, где обозначено «си»

Ступни у Егора были твердые, четырехугольные, и ходил он так, словно хотел оттолкнуть от себя землю. И в нарте сидел так уверенно, что казалось, не олени мчали его грузное, жилистое тело, а эти его ноги, сталкивающие эвенка-возчика с сиденья.

Свыше тысячи верст промчалась без поломок оленья упряжка «анасы», свыше тысячи снежных верст промчались за ними следом — верст, наполненных пургами, заледенелыми горами и промерзшими до дна речушками.

Тысячу верст (а еще осталось двести) мчаться до городка Айкеня.

— Удивительная земля, — сказал Егорке сосед его по анасы, — совершенно невозможная земля: один снег да чумы.

— А вам что ж, яблоков хочется? Сказано коротко: Великий Ледовитый океан.

— Так до океана, товарищ, еще тысяча верст.

— Тысяча? Может, и больше. Я не спорю. Мое дело: дали мандат — и еду. А про океан там ни слова, а если ни слова — должен ли для нас существовать океан без мандата? Не должен. К тому же, товарищ, не могу я вести политических разговоров по такому холоду, у меня жидкость в каналах замерзает, а вы тут с политикой.

— Я что ж, товарищ, — обиделся даже слегка Лейзеров, — вы же сами начали про океан и про китов.

— Каких китов?

— Вообще. Кстати, и меня киты мало занимают. А вот почему вы ямщика тунгусом зовете, когда он по возвращенному социалистической революцией самоназванию — эвенк?

— Привычка.

— В некотором смысле привычка, извините, оскорбительная. Указывает отчасти и на невежество. Тунгусская языковая группа — одно, а народности: эвенки, орочены, мургены, манегры — другое. Этак можно называть тюрками казахов, узбеков, туркмен.

— Привычка. И нет в этом ничего обидного. Постепенно отвыкнем, извините.

— Насчет постепенности не возражаю, тем более что и многие классические писатели называли эвенков тунгусами. Что же касается китов...

Но замолчал уже товарищ Лейзеров. Был он, надо сказать к слову, тощ. Из одной ноги Егора Кушнаренко получилось бы три таких Лейзерова, разве что не хватило бы обмундирования на громадные роговые очки, да волосом он был черен необыкновенно, так черен, что голову постоянно со стыда брил, и все-таки выше носа стлалась у него черная, иссиня-черная полоса, как тропическая ночь, будто не череп был, а целый остров Ява накануне новолунья.

Дали им двоим мандаты на том пригорочке, где лежит, изогнувшись в тупике, как лыжа, последняя рельса и откуда начинается, вплоть до городка Айкеня, снежное полуторатысячное поле, в котором снег тверже льда и копыто оленя дает след не толще древесного листа, где солнце лежит в снежной мгле и где больше всего легенд о солнце, а пурга занимает половину человеческой жизни.

Эвенк Каргу перевязывал анасы ременными веревками, а значит, и пассажиров, — перевязавши, гнал оленей от чума к чуму. Он пел иногда песню в свой воротник, потому что песня мерзнет на таком холоде, как рыба. Песню приходится петь про себя.

У очага, когда дым разъедал глаза и эвенки спрашивали, скоро ли новые русские повезут в тундру спирт, Лейзеров вспоминал, как при Алексее Михайловиче еще «скрытные людишки» клали путь от чума к чуму к староверческим скитам, именуемым Айкенем, и как брали дань «узорочьем»: мехами от соболей до горностаев.

Так от царя Алексея Михайловича и держат дорогу эвенки. Летом водой через речушки, где на оленях, где волоком везут нужных и служилых людей в Айкень, муку и мясо тамошним жителям. Деревянные дома в Айкене так же островерхи, как при «скрытных людиш-

ках», и походят они на топоры, кинутые озорным плотником лезвием вверх.

— Будто и нет существенной разницы, — спрашивал у эвенка пытливейший путешественник Мосей Лейзеров, — будто и нет ее между царским правительством и советской властью?

— Одна идет дорога, — отвечал ему (мча последние двести или триста верст до Айкеня) эвенк, возчик Каргу. — Говорят: ух, как далеко от нас идет колесо по железу, а на колесе дома и в этих домах... э... в этих домах будто сидят русские без шуб и чай все время пьют от радости. А колесо катиться может и неделю, и две, и год, куда пожелаешь.

— Есть такое колесо, и называется оно надземная железная дорога как последнее слово техники, а есть и вообще железная дорога.

— Э, врут, — бормотал эвенк в малицу. — Как русские врать могут! Кабы я так врал, я бы давно над всеми оленями богом был и баб у меня было, как вшей.

Возмутился такой антисанитарности товарищ Лейзеров.

— Существует, тебе говорят. Вот дорога есть простая, камнем выложена (в Сибири таких дорог нету). Название у ней несколько странное — шоссе.

— Такая дорога может случиться, — согласился возчик, — просто надо рубить такую дорогу по камням. Этому я верю...

И от радости так хлестнул оленей, что в синем сумраке зажелтели огоньки городка, остроперые крыши. Впрочем, желтели так они еще несколько часов вдали, пока наконец нарты не ворвались в узкие, занесенные сугробами улицы, пока не остановились они у высокого забора, у тесовых ворот которого болтался на шесте пучок сена; и, указывая на сено, пояснил эвенк:

— Тамаша будет от твоего приезду, тамаша у Сократа Пузырькова.

— Это о чем же он? — спросил Егор.

И всезнающий путешественник Лейзеров пояснил:

— «Тамаша» — значит обоюдоприятный праздник, а клок сена заменяет вывеску постоялого двора, что, по-видимому, не избавляет его от внимания финотдела, работу которого я, впрочем, выясню.

Взглянул он радостным взором в окошко и, несмотря на промерзшую свою душу, отвел в сторону Егора и спросил таинственно:

— Замечаете, товарищ?

— Промерзло окно, действительно. Это оттого, что рамы вторые поздно вставили, товарищ.

— Я не об этом. Вы на свет, на свет обратите внимание.

— Действительно... Да... действительно желтый.

— Да не желтый, а электрический. Электрификация здесь, которая...

Егор уже шел к крыльцу.

— Не электрификация, такое слово к промерзшим местам и употреблять стыд. Просто поставили аппарат и светят. А мне что? Жалко? Свети.

Только любопытному путешественнику Лейзерову было занятно и чудно в этой сибирской просторной избе, где лавки шире лежанок, где чело печи больше паровозной топки и все срублено, словно на тысячи лет, — видеть лампочку, похожую на мыльный пузырь, в которой волосики тоньше ребячьей мечты.

Чудно! И потому даже закоченевшим пальцем, не снимая тулупа, дотронулся до лампочки Лейзеров. Дотронулся — и будто тело все оттаяло.

— Чудно, — повторил он.

В громадном чугуне варил пельмени сам Сократ Пузырьков, постоялого двора хозяин и города Айкеня гражданин. Чугун клокотал паром так, что животы приезжих будто втянул в себя этот пар. А Егор Кушнаренко говорил уже о своих мандатах, и как вообще он намерен ревизовать город Айкень, и какие тут претензии.

— Претензии тут какие же, — сказал Сократ Пузырьков, — претензий, слышь, наберу тебе больше, чем волос в твоем тулупе. Однако... Однако если у всей Руси такая жизнь, то наша претензия может быть одна. Уборные национализировали.

— Почему же так? — спросил Лейзеров и вынул записную книгу, где вправо писалось «за», а налево — «против». — В каких целях произведена эта национализация или, как я склонен думать, учет?

— Видите ли, гражданин, — сказал Пузырьков, наливая пельменей с такой лихвой в глубокие тарелки, что пельмени имели желание плыть не по тарелкам, а по

всему столу, — правительство наше говорит, что Айкень в смысле жилой площади очень плох, строить некогда. Ну, и приспособили уборные для жилья. И получилось так, что холодные переполнены желающими, а на улице сорок градусов мороза, да и кто их тут считает, градусы, когда и цифры в термометре все перемерзли, и ртутью мальчонки разучились играть из-за ее отсутствия. Нельзя с голым телом, разве что блаженному, по таким градусам на сугробы бегать.

— Чудно, — сказал Егор, отправляя от смеха вместо одного в рот шесть пельменей.

— Чудно, — повторил Лейзеров, отстраняя от себя пельмени, чтобы не подавиться, потому что есть и записывать было неудобно.

Еще один чугун наполняя для Егора пельменями, продолжал Пузырьков.

— Однако и горазда же Русь на выдумки. Я это иду седни и смотрю, — штобы те язвило, — идет пар бырдто из чугуна и...

Но не удалось ему договорить своей речи. Пар хлынул в распахнутую настежь дверь, две пары розовых расшитых валенок, которые выделывает с таким великолепием прославленный город Барнаул, две пары валенок показались на пороге, и голос такой, что человек, всю жизнь проходивший босиком, сразу бы забыл про валенки, спросил:

— Тять, кто приехал-та?

— А мандаты, — ответил Пузырьков.

Но тут дюжину пельменей чуть не проглотил Егор Кушнаренко, но задохся, схватил ковш квасу, выдул его, не подымая наполненных слезами от обжога глаз, — выдул и тогда только спросил у расшитых валенок:

— Выходит, хозяин, и здесь красавицы живут?

Но не умещались уже пельмени в ложке Егора, как не умещались в его голове расшитые валенки, белое, как пельменное тесто, лицо и словно расшитые брови. Да и нельзя же пельмени брать пригоршней! Нельзя и глядеть так на девку.

А в то время Лейзеров развернул карту и, тыча в пунктир пальцем, просверлил пространство неожиданно басом:

— Лобопытно, какова производительность труда теперь в районе мелких медных рудников к югу от Айкеня, обозначенном здесь как «си»...

— Сыт, — сказал Егор и отложил ложку с откусанным краем. — Не могу больше смотреть.

А девка прошла в горницу и тоже на него не поглядела.

Долетит резкий голос поморника...

Так в задней горнице и поселились приезжие. Лейзеров сразу же достал откуда-то из мешка бритву «Жиллетт» — ту бритву, что горит как солнце, а бреет как пресс-папье. Сам себе выбрил голову, посмотрел в зеркало и заговорил:

— Не находите ли, товарищ, возможным выдвинуть в укоме предложение об установке в Айкене радио?

Егор же надевал сапоги, а надеть ему сапоги все равно что одному человеку построить дом. Вообразите — портянки длиной чуть ли не три сажени, толстые и твердые, как ковер. Портянки превращали ногу в куль, и вдруг этот куль со свистом, гиканьем и причмокиваньем лез в голенище. Ушки у голенищ были из медных цепочек, но и те часто рвались. Пыль и грохот наполняли комнату, и только обильный пот с лица увлажнял пол.

Егор, подпрыгивая, носился на одной ноге, тщетно пытаясь всунуть вышеописанный куль в кожаное его логово, а Лейзеров, путешественник и любопытник, говорил, обтирая ваткой бритву:

— Каковы же, товарищ, ваши соображения о радио?

— Развезло!.. — хрипло прокричал где-то в пространствах портянок Егор.

— Я же вам говорил, товарищ, что надо в России теперь носить штиблеты как наиболее гигиеничную и дешевую обувь.

— Не о том... Ты в окно смотри, там развезло.

И точно — будто выломали окно. Не было уже в нем ледяных узоров, можно было разглядеть, как по двору, высоко подобрав юбку, прошла Маньша, дочь Сократа, и хотя было так, будто прошла она не по двору, а по лицу Егора, но и на это не обратил внимания Лейзеров. Лед покрылся выступившей водой, приятно пахнущей мятой.

Лед трясся, дрожал. Он понимал, что завтра скопившаяся вода прорвет, искромсает пласты снегов и льдов. Воды поднимут льды на своих хребтах и ринутся к океану.

в проталинах так же быстро, как волос на лице Лейзерова, выступит трава. Ива и полярная березка выпрямят стволы и брызнут в небо листьями.

Весна здесь коротка, как первая любовь, и так же быстро, как распустятся листья, тундра наполнится гоготом птиц, и клочья перьев и кровь покроют новую зелень. Это самцы будут драться из-за самок за ласку.

— Развезло, — задумчиво согласился Лейзеров, вздохнул и вместо коробочки аккуратную бритву «Жиллетт» положил в кармашек своего вязаного жилета. Впрочем, он быстро вспомнил, где она должна лежать. Складывая ее в синюю коробочку, он спросил Егора, все еще глядящего в окно:

— Как же с радио? Надо сообщить, что желаем здесь установить радио.

— Некому везти пакета, — задумчиво сказал Егор, разглядывая, как ветвисторогий олень тыкался широким носом в ладонь Маньши, — вдрызг развезло, и надо нам ждать лета. Весна. Ишь ты, и олень интересуется.

— Чем? Весной?

— Жратвой, — с раздражением ответил Егор, — вишь, у ней краюха в руке. А может, и нет краюхи.

— Значит, нельзя пакета?

— Нельзя, — подтвердил Егор сурово.

— И газеты не будет до лета?

— Не будет.

И Егор так загрохотал сапогами, словно пошла вдруг печь.

— Как же, товарищ Егор, без газеты? И нельзя ли о таком бедственном положении сообщить? Имеются здесь, поди, почтовые голуби?

— Почтальонов-то нет, не то что почтовых голубей. И тех бы съели со скуки. Да и о чем тут через голубей сообщать. О таком ведь...

Он опять посмотрел на лучистые глаза оленя.

— О таком не сообщишь...

Он гулко высморкался.

— Голубей захотел почтовых. Посмотрел бы я в России теперь почтовых голубей, на что они похожи. Вы в ссылке-то были, товарищ Мосей?

— Конечно же был. И отсюда недалеко. Но то была ссылка, а теперь так жить нельзя.

— Нельзя, — подтвердил Егор, вздыхая легонько: сапоги у него оказались надетыми.

Егор вскинул ружье, оправил патронташ, а Лейзеров взял портфель, измызганный и протертый, словно пронеслись по нему все революции и войны.

Один из них пошел на охоту, а другой в уком секретарствовать.

Все сутки в небе — солнце, как неразменный рубль в сказке. Лучи его — незаходящие и мягкие — заставляют глазом разглядеть, как идет из земли трава. И такая же незаходящая и мягкая тишина растет над тундрой, и гогот стай тонет в ее неоглядном пространстве, как перо в море. И только, как поморник над океаном, с резким криком пронесется мимо твоего лица, обдавая брызгами, весенний ручей, и опять широкая нога Егора в тихой траве.

Так подле озерка, имени которого нет, а если и есть, то оно даровано эвенками и похоже — словно выдумано во сне, — подле мелкого озерка встретил Егор охотника из Айкеня, старика, облысевшего и обдряхлевшего до того, что он и говорить-то разучился, а стрелять умел только из своего ружья.

Стая птиц неслась из-за гор, и, глядя им вслед, спросил Егор охотника, прозванного Нямнямом:

— Через горы дуют прямо к морю?

— А? — наклонил к нему изодранное медведем ухо ветхий Нямням.

— Говорю, нет им объездного пути, который нам цари оставили. Теперь вот полторы тысячи верст крюку даем, объезжаем горы. А по-над горами птица летит к морю.

— Летит, — прошамкал старик, поправляя курок: есть ли пистон и не снизится ли стая к озеру, — ишь летит прямо.

— Над горами, говорю, летит прямо.

— А как же ей, милай?.. — спросил старик, не видя разозленного лица Егора: в жизни он замечает теперь только зверя.

(И счастье же у того, кто на пороге могилы видит зверя!)

— А человек в обход?

Но человеком не занимался Нямням, отошел на другую тропу было, но Егор догнал его и прокричал в лицо:

— Как оно зовется-то, если птица летит, не сворачивая?

Старик вдруг выпрямился, словно получил обратно вчерашний день, разыскал где-то на своем лице глаза и, натужив брови, сказал:

— От стариков, от дедов, а може, и раньше, нам так и говорят — будет она называться «пролетная дорога», которая для птиц, а не для человека. А пойти по той птичьей дороге — к смерти.

Оглядел Егор его нескладное ружьишко, оправил сумку.

— Все, дед, мечта. Очень просто.

Наметив спустившегося на берег гуся, ружье в руке Нямняма полегчало. Старик скрылся за пригорком, отыскивая свою птицу.

Даже и не посмотрел любопытный путешественник Лейзеров настрелянную Егором дичь, будто картошкой одной питается человек.

— Мечта, — сказал Егор, усаживаясь за стол, — все в мечте пройдет, если жрать не будешь. Хряпать хочу, а Маньш? Тоже, лететь!

— А и сейчас доспею, — сказала ему Маньша.

Лейзеров же достал записную книжку — ту, где было «за» и «против», — и по графе «за» сказал Егору:

— Принципиально, товарищ Егор, после моего доклада, уком принципиально согласился провести кратчайший путь к железной дороге через горы, уничтожив объездную дорогу как приносящую несоразмерные расходы и эксплуатирующую бессмысленно население. Надо собрать митинг и пояснить населению, что советская власть...

Егор встал, расстегнул для чего-то ремень и опять сел.

— Пролетная? — спросил он.

— Как, товарищ?

— Старик тут, охотник один, говорил. Дорога, говорит, у них такая называется — пролетная. По которой птицы летят.

Захлопнул Лейзеров книжку и взял ложку, подумал — опускать ли ее в миску; очень жирные были щи.

— Докладчиком назначили вас, а насчет пролетной...

Он еще раз посмотрел в щи.

— Какие же мы птицы, когда я щи жирные есть боюсь? Вдруг желудок расстроится! Просто — дорога, простая проселочная дорога в две колеи.

Уже окончились заседания уездного Совета, и весь немудрый портфелишко Лейзерова был туго набит резолюциями. Тут же лежала и та, ради которой выступал Егор на эвенкском митинге. Собрав в памяти немногие слова, оставшиеся после ссылки, говорил Егор о сокращении древней дороги на тысячу верст и о том, какая воспоследствует тунгусам — то есть, извините, эвенкам — выгода.

— Так, — проговорил ему один эвенк, снимая для легкости мыслей ушатую шапку, — так! По птичьему пути лететь хочешь? Так. Тотем нашего рода — оленьи рога, твоего — звезда, похожая на те, что летом прибивает море вместе с теплой водой и чужим для нас лесом, который нельзя ни строгать, ни жечь. Дерево это черно и крепко, как железо. Из звезд можно было бы точить ожерелья, так они красны. Под всякими тотемами ходят люди, как вот ушел Нямням...

— Куда ушел Нямням?..

— А ушел... Он твердый охотник, как те деревья, о которых я могу тебе спеть даже. Такие деревья, что о них мягким языком надо говорить. Так! Ушел.

Все же после разговоров о новой дороге пошло по Айкешо, что скрылся в горы охотник Нямням, в молодости носивший имя христианское Хрументил, а прозванный Нямнямом за дряхлость. Имена же такие эвенки дают словно во сне, а охотник вел на удивление нам свою жизнь, окончив уже видеть человека, умерев для человека, — видал он только зверя, вел он звериную жизнь. И вот получились разговоры, что в горах — там, где должна проходить новая дорога, — встретил Нямням невиданной красоты черно-бурую лисицу, князька лисиц, самого Хабу, сказка о котором будет дальше.

Вот и скрылся Нямням в горы, и с ним следом еще три охотника.

Об этом сказали Лейзерову на одном из заседаний. Он, не дослушав рассказа о Нямняме, позвонил в немудрящий колокольчик и проскрипел:

— Прошу ближе к делу.

Представителю же промысловой кооперации, дюжему помору Каргасову, послал записку: «Необходимо, не ускользнула чтоб шкурка в спекулятивные руки. Ценно для Республики. Л.».

Думая о сметах и возможности внеочередного кредита для прокладывания дороги, а также и о том — не мешает ему, пожалуй, завести болотные сапоги, — поравнялся с тесовыми постоялыми воротами Лейзеров.

Уже птица готовилась выводить потомство, и теснился камыш, приготовляя ей место для гнезд, уже осока пахла вяло, по-летнему, и змеей обвивалась вокруг ног; уже сеновал, где Лейзеров перед обедом любил отдохнуть часок-другой, скоро набьют сухой травой, и, мягко колыхнувшись, можно будет лишний раз перевернуться с боку на бок.

Лестница скрипела, — похоже, катилась под гору, словно не ноги, а бревна были у Лейзерова, но и то, заглушая этот потрясающий скрип, свистали и визжали в сеновале жерди навеса. Лейзеров хотел было спускаться обратно, но, любя устанавливать причины, он открыл ветхую дверку. Открыл, заглянул и захлопнул.

Сошел вниз, уже не слыша скрипа. Попробовал зачем-то замочек портфеля.

«Какая грубость, — подумал Лейзеров, — какая грубость, не хватало еще, чтобы вместо козловых ботинок здешние девушки носили болотные сапоги».

— А носят же, — сказал он, не оборачиваясь, услышав за спиной мутное, смущенное сопение Егора.

— Приходится, — со вздохом ответил Кушнаренко, хотя, конечно, не знал мысли Лейзерова.

— Это дело личное!

— Безусловно, — опять вздохнул Егор, косо заслоняя плечом лицо Лейзерова, чтобы тот не видал, как Маньша проскользнет к высокому крыльцу избы, — говорят, князек лисий в горах появился и пошел, сказывают...

— Да? — спросил Лейзеров, выныривая из-под его плеча и стараясь увидеть Маньшу. — Да? Я отдал соответствующие распоряжения.

Егор еще больше надвинул плечо. Оно было громадное, как сибирский забор, крепко рубленное, будто из бревен, и тщетно пытался заглянуть за него любопытствующий глазок Лейзерова.

— По-моему, товарищ, — наклоняя голову, дабы снизу, где-то между ребер, скользнуть ужом, сказал Лейзеров, — голые предрассудки, и вам не стоит верить вышеуказанным князькам.

— Вы находите? — пробурчал Егор, отступая вправо, туда, куда направлялась Маньша.

— Ну да. — И Лейзеров тоже подпрыгнул вправо.

— Ага! — И Егор сделал еще один шаг. — По-вашему...

— Как же иначе. — И Лейзеров вдруг нарочно уронил портфель вперед, чтобы нырнуть за ним и тем самым руки Егора оставить за своей спиной.

Но дверь сеней уже захлопнулась, и Маньша, наверное, смеясь над неловким Лейзеровым, приводит теперь в порядок лицо, неимовернейшие свои косы и, возможно, платье.

— Я все к тому,— сказал Лейзеров, отряхивая жирную пыль с портфеля,— вел с вами переговоры, что уком выдвигает вашу кандидатуру в руководители работ по проведению вышеуказанной дороги через Гайленский хребет к ближайшему железнодорожному полотну. Нам необходимо разбить у населения всеми мерами сомнение в неосуществимости данного проекта. Вы, товарищ, как хорошо знающий местные условия, сможете...

И Лейзеров, потрясая портфеликом, уже направлялся в горницу.

Удивительный он был человек! На Маньшу больше не взглянул, а подошел к шестку печи, где жирная стряпуха варила бычьи ноги, готовя студень. Ну, что ему надо в горшке? Так нет, мало того заглянуть — щепочкой вытянул оттуда бабку и с большим аппетитом обглодал. Поставил затем бабку на попа и, весело ухмыльнувшись, сбил ее карандашом, оставив на жирной кости легкий фиолетовый след. Карандаши он всегда употреблял химические.

Сократ Пузырьков с неудовольствием глядел на такие манипуляции своего именитого гостя. Ситцевая рубаха у Сократа синими цветочками, плисовые шаровары незнаемой ширины — словно ковер, а не штаны.

— Не отдадут вам, граждане, — сказал он с явным злорадством, — тунгусье своего лисичьего князька, названного Хабу. А такой зверь на заграничных рынках продается во многие тысячи рублей.

— Для чего ж им хранить такого зверька или, вернее, его шкуру? — спросил Лейзеров, опять заглядывая в горшок.

— Для счастья. Талисман.

— Экономическая необходимость поборет все суеверия. Надо только организовать тверже промысловую кооперацию.

И тут Лейзеров, в свою очередь, с таким злорадством оглядел плисовые шаровары Сократа, словно громадными буквами напечатал на тех шароварах: «Старый ты, толстый и к тому же лысый, как полтинник, дурак. Какое тебе дело до лисьих князьков, за которыми гоняются по тундре эвенки и выжившие из ума горе-охотнички, вроде Нямняма? Почаще бы ты, старый дурак, заглядывал в сеновал, а то не только жерди выскочат из навеса, но кое-что и поценнее...»

Не могу не повторить: поразительный человек был Лейзеров. Ведь промолчал, с самым невиннейшим видом предложив вошедшей Маньше:

— Недурно бы нам чайку, хозяюшка, говоря вашим диалектом — доспеть.

Брачный период раннего лета

Ветер приносил из тундры линялое перо птицы. Оно липнет, как снег на мшистых крышах Айкеня; засоряет глаза пожарному на каланче, и тот багровое, незаходящее солнце едва-едва не принимает как зарево.

Козарка и гусь потеряли крылья и, голые, прячутся в глухих озерах и долинах.

Такое перо, мчащееся из низкой моховой тундры, оседало на поджарый портфелик Лейзерова, когда шмыгал он по расширившимся вдруг уличкам (сугробы растаяли когда еще!). Воротник френчика поистерся от постоянного поворота вправо или влево: «Вы еще что имеете сказать, товарищ?»

И спрашиваемый товарищ, увидав пытливейшие роговые надносицы, смущенно смолкал.

— Значит, возражений нет? Мы направляем...

И Лейзеров, окончив заседание, пытался чистить свой френч. Но он постоянно был в пуху, точно Айкень всунули вдруг в перину.

— Вы вот, по-видимому, давний старожил, — остановился однажды Лейзеров подле землянки, где во всю роскошь своего ситца и плиса восседал Сократ Пузырьков, — не обратили ли внимание, почему тут вокруг пух летает и нельзя ли его утилизировать?

— Летает оттого, что птица перо потеряла, — ответил ему Сократ, — куда ж ему деваться, если не лететь. Вот и летит, раз никому не надобен...

Наклонился к нему с записной книжкой Лейзеров и карандашик занес над «за».

— А если, повторяю, утилизировать?

Сократ же только повел тем местом, где должна бы находиться бровь, а на самом же деле, по причине лысины, — синяя жилка.

— Птенец прет, вот и линяет. Нонче насчет птенца, однако, легко. У меня вот животина тоже за птенцом ушла.

Хитрый этот Лейзеров. Знает, о чем тут речь, да и сам, наверное, не раз говорил об этом. Вид же из себя соорудил, словно невдомек ему.

— Удивительная дрессировка. Что же, она живыми и приносит?

— Кто?

— Да собака, подозреваю.

Бить бы его прямо наотмашь в роговые его очки, бить за такие издевательские разговоры! Но, во-первых — власть, Совет, а во-вторых — черт его знает, какую он механику ведет на таком деле!

— Не собака, гражданин, — а дочь, Маньша. Ушла в горы к Егорше. Хочу, говорит, тоже на дороге робить. Однако не робит, а спит с ним без креста и венца. Вот тебе и линяй после этого.

Посмотрел Лейзеров в горы так, словно их сам составил в полчаса, как резолюцию.

— Не огорчайтесь, пройдет, — сказал он наиласковейше. — Уже двадцать верст проложили. По пять верст в день идут. Пятью пять — двадцать пять, пятью шесть — тридцать, пятью семь — тридцать пять. Удивительно.

— Чего?

— Удивительно, говорю. Тридцать пять верст в неделю.

— Кому удивительно, а кому одна пачкотня.

Лейзеров в это время запнулся о косилку, выставленную на дождь и ветер, но перед окнами, наружу. Потому: все смотрите, какой богатый Сократ, под окнами стоит косилка.

— Удивительная неряшливость. Надо записать и разъяснить.

И карандашик его ткнулся несколько раз в записную книжку.

Поглядел на этот синенький карандашик Сократ и даже ноги вытянул от неожиданной мысли. И ноги свои показались ему необыкновенно длинными.

Горница его опустела так же, как весь город Айкень, занятый на работах. Долго бродил Сократ, разыскивая перо, оставшееся еще с тех времен, когда Маньша ходила в школу. Оно заржавело, и порядком оттирал его толченым кирпичом Сократ. Чернила уцелели от последних постояльцев, только, загустев, превратились в кашу, и Сократ развел их самогоном. Потом такую же чернильную густоту почувствовал он в желудке и решил для легкости пустить тоже слегка и туда самогона.

Ну и веселые же загогулины, приседая и ломаясь, поскакали по бумаге! Что тебе тундровые кочки, искривленные полярные березки или синие, густо наполненные тиной озера!

Неимоверной замысловатости его доноса долго дивовались в земельном отделе губисполкома, куда он попал через три недели вместе с пакетом от Айкеньского Совета рабочих и крестьянских депутатов, сообщающего, что граждане Айкеня решили проложить сокращенный путь через хребет. Долго лысые землемеры, склонясь над картой, думали — можно ли проложить дорогу, и наконец самый молодой, который еще надеялся зализать оставшимися волосиками пустующие пространства своего черепного покрова, отважно проговорил:

— По-моему, это мое личное мнение, такую дорогу провести невозможно.

— Невозможно, — подтвердил другой, у которого уже не было надежды зачесать на лысину волосы; такой длины они не достигали: нагло секлись.

И немедленно собрание согласилось, что мысли, высказанные в анонимном доносе, весьма и весьма здравые мысли, и что, во-первых, правоту их можно выяснить только на месте, и, во-вторых, такой далекий путь могут выдержать только молодые и здоровые люди, для которых тундровый комар легок, как поцелуй или вообще что-нибудь легкомысленное в этом же роде.

А, исходя из высказанного, молодых землемеров — одного с лысиной зачесанной, другого не зачесанной — направить в Айкень.

Ясное и жаркое лето было в этот год в тундре. В болотах и по краям озер выше плеч человека поднялась осока. Сизая, тусклая дымка затягивала открытый простор равнин.

Берестяный долбень, выпрыгивая на волны, весь облепленный пеной, мчал землемеров в тундру. Худые, источенные тысячелетними бурями скалы нависали над рекой.

В редких — через пятьдесят или семьдесят верст — избушках ждали их эвенки.

Они молча, слегка откинув назад туловище, осматривали печати подорожной и выгоняли оленей или спускали лодки.

И рога оленей и лодки были одного цвета.

Так они ехали неделю и еще шесть суток. Все такие же лишайчатые скалы и незнаемо прозрачные реки были на их пути.

А на седьмой — незакатное солнце все так же мерцало над тундрой — эвенк-проводник поднялся с ними на гору Татын.

Вдруг тусклая дымка на краю неба дрогнула, словно расплавилась, и в желтом мареве увидали они ринувшиеся в небо острые крыши домов, синий купол церкви и каланчу, занявшую полнеба. Если б присмотрелись они, то внизу, на площади, в мираже, они узнали бы скользнувшего с поношенным портфеликом человечка в роговых очках и, кто знает, даже пух, приставший к его плечу. Пух линялой птицы тундр! Такое было ясное марево.

Но ничего не успели они разглядеть, потому что эвенк, всматривавшийся в равнину, спокойно поворачиваясь, сказал:

— Ошибся мало. Триста верст в сторону уехал. Поехал обратно, батюшки, эта не Татын. Не тот гора.

И они еще три дня разыскивали избушку, от которой повернули было на гору Татын.

Ямщики исчезли. Избушка была пуста.

Старик эвенк, оставленный для смерти, сказал:

— Сломал дорогу. Ушел весь род короткую дорогу делать. Весь род в Айкень ушел. Теперь новой дороги в Айкень жди.

— Как же теперь? — спросил инженер.

— Довезу, — ответил им последний ямщик сломанной дороги. — Довезу.

Он долго кипятил чайник и долго пояснял им, что он остался один и ему себя беречь надо. Никто его сменять не будет. Потом, напившись чаю, он долго, смотря на потухающий огонь и умирающего старика, пел — какой он герой, последний ямщик покинутой дороги, и как он повезет русских в губернский город, где ему дадут за его подвиг часы и водки. Сначала он выпьет водку, затем пропьет часы, оленей и свою малицу. Потом русские вновь подарят ему часы и оленей, и он вновь их пропьет. Тогда русские обругают его и на летающей лодке увезут его в тундру, потому что в губернском городе он может спиться. Русские иногда умеют жалеть. Айкень-город сошел с ума, сломал анасы и хочет жить один. Ему плевать на Айкень, он самый храбрый хозяин анасы во всей тундре и может в один присест съесть оленя.

Землемеры тоже смотрели в огонь. Один из них на божнице нашел кожаную сумку. В ней лежал кусок пергамента, и славянской вязью «холоп Ивашка, сын Свищев» писал царю, какую дорогу он сделал от Мангазеи до Студеного моря и как по дороге той идет до царя «соболь, да горностай, да чудная из морского слона выделанная утварь. А и слон тот лохматый да страшный ходит по морскому дну, а на клыках, что с добрый дуб, носит ледяные горы. А еще есть тут другое зверье, которое и ловить крещеному грешно. То зверье живет в подземных ямах и на дух выходит в канун Нового года. Повели, государь, слуге твоему и рабу отчинить еще прислуги и пороху, да и нет терпежу пробыть тут до Нового году!»

— Который у нас месяц? — спросил землемер.

— Июль, — ответил другой шепотом.

Но тут ветер нанес на избу густую пелену облаков со стороны океана. Закрывая небо, заморосил холодный дождь. Толстые покровы мхов тундры наполнились водой. Ремни возов анасы ослизли и потемнели.

Бесконечный дождь будто промочил шкуру оленей. Наклонив ветвистые головы, шлепая широкими, как тарелки, копытами, они шли понуро и медленно.

Из-за скалы выскочил верхом на олене оборванный, без шапки, старик. Он, низко наклонив голову, осматри-

вал землю и, так и не взглянув на встречных, умчался дальше в дождь.

— Это Нямням, — сказал ямщик, — он ищет Хабу.

Они не спросили: кто такой Нямням и кто такой Хабу. Они даже побоялись сказать о дороге — не спросить ли старика о ней? И ямщик, угадав их мысли, стегнул оленей.

— Я, батюшки, доведу.

И он действительно довел их.

Так землемеры вернулись в губернский город, не найдя Айкеня, и репортер местной газеты (он был в то же время корреспондентом РОСТа) сочинил телеграмму в центр, что из-за разлива рек город Айкень отрезан от культурных центров.

Первоочередные вопросы товарища Лейзерова

Г. Айкень.
30 июня 1923 г.

Уважаемый товарищ Кушнаренко!

Техника указывает нам возможный путь борьбы с различными невзгодами. Несомненно, огромные лесные и пушные богатства нашего Севера привлекут в непродолжительном времени всю технику Республики в нашу страну. По всей вероятности, это произойдет года через три, не меньше. Однако, судя по вашим сообщениям, многие сомнения попали вам на пути. К числу таких мне даже стыдно относить комаров, однако я нахожу необходимым сказать об этом биче природы нашего Севера.

Как вам известно, товарищ, говоря местным языком, улусная полутoратысячная дорога оказалась «сломанной». Я не виню товарищей, проводивших кампанию за строительство краткой дороги через Гайленский хребет. Из этой кампании получилось так, что все эвенки ушли к вам на работы и старую дорогу отказались держать, отчего мы оказались отрезанными от культурного центра, который с последней почтой я просил об установке в Айкене радио. Ответа не последовало, да и не может быть, так как эвенки разбежались.

Я, из-за нарушения нормальных сношений с центром — даже телеграфные столбы, недавно проведенные

до половины пути к Айкеню, смыло ливнями, — я, товарищ, не мог затребовать для ваших работ сеток от комаров, и президиуму Совета пришлось прибегнуть к героическим мерам, а именно:

1) конфисковать все тюлевые занавески у мещан;

2) взять в больнице всю марлю, отчего для перевязок пришлось употреблять коленкор;

3) объявить в местной прессе конкурс на приготовление лучшей мази от комаров.

Последнее предложение отпало ввиду перерыва сношений аптеки с центром. Лекарства и так не хватает, а тут еще опыты. Последнее предложение не мое, а здравотдела.

Некоторую прозодежду посылаю.

Таким образом широкая плановая работа помощи вам продолжается, — от себя же добавляю:

Да, товарищ Егор, многое с вами пришлось мне пережить даже в последнюю нашу командировку. И что же получилось? Мы прилагаем все усилия к проложению дороги, а смущенная мещанством некоторая часть Совета упрекает нас в демагогии и инсинуациях. В чем дело? Оказывается, они сомневаются — можно ли провести дорогу и стоит ли прилагать столько усилий, когда:

1) хлеб для города с юга теми путями, какими он шел нам летом, не подвозится. Мы же опасаемся, что на лето нам хлеба не хватит, да и санный путь, ввиду ухода эвенков, уничтожен;

2) рабочих на дороге трясет малярия, или для мягкости здешнего ее проявления назовем — лихоманка. Медикаментов для указанной борьбы нет;

3) продвижение вперед значительно замедлилось.

Товарищ Егор, по революционному долгу советую вам напрячь все усилия, дабы завершить дело Республики, так как я полагаю, в наше достижение центр не верит и благодаря прерыву сношений может подумать —

не восстание ли на Крайнем Севере СССР?!

Берегитесь такого толчка, товарищ!

Еще добавляю. Мещанство хотя разлагается, но оно в нашем глухом углу еще крепко. Сократа Пузырькова, например, поймали с самогонным аппаратом. Приговорили условно. Дочь его, как ваша жена, кажется, женщина сознательная и хорошо знает местные условия.

Извините, что вмешиваюсь в частную жизнь, но теперь дорог каждый час, и мы должны думать о судьбе города, одного из немногих на Крайнем Севере СССР.

С коммунистическим приветом

М. Лейзеров.

Некоторые размышления на Тверской, 48

Удивительно, но никто не подумает — ведь летом в Москве бывает ночь. То есть солнце скрывается, наступает тьма. В трамваях горят огни, и буква «А» несется по бульварам. Буква «А» походит на прохожего в дождевом пальто, с портфелем в руках. Да, действительно, и дождливейшее же лето было в 1923 году! Будто смыть хотело тот ремонт, который неумело еще, после долгого перерыва, проделывала над собой Москва. Дождь стрекотал по улицам, топил колеса автомобилей и пролеток; из-за грязи огни машин словно светили из реки. И вот — в такую ночь на Страстной площади из буквы «А» вылез человек. Назовем его Рыкин, да и это почти так (его настоящая фамилия Рукин). Рыкин был ночным выпускающим газеты «Знамя труда», печатающейся на Тверской, 48. Этой ночью ему нездоровилось, человек он был нервный, а ночная газетная работа очень утомительна. Чувствуя озноб во всем теле, он прошел в наборную и взял оттиски информации и статей. Развернутые пасти ротационок ждали своих белых челюстей, чтобы нащелкать за ночь девятьсот тысяч номеров газеты. Рыкин должен был проверить правильность установки зубов. Челюстями мы зовем отлитые матрицы, а зубами — ну, хотя бы статьи, гранки. Очень сильно пахло скипидаром и свежей бумагой. Все как будто было в порядке, и только одна заметка смутила Рыкина. В телеграмме сообщалось, что вследствие разлива рек город Айкень отрезан от мира. Продовольствие доставлять туда затруднительно. В общем, девять строк. Но какой губернии — РОСТа забыло вставить, по-видимому. Какой губернии и где этот город? Ночной редактор достал энциклопедический словарь и не нашел Айкеня. Может быть, это в Австралии, в Мексике? Удивительно, но такого города нигде не было. Голова у него болела. Буквы словно

плавали, и ему хотелось скорей сверстать номер. «Эту заметку надо рассыпать»,— сказал он метранпажу. Утром на другой день Рыкин подумал: а вдруг в другой газете ночной редактор оказался умнее его, Рыкина, и нашел, где находится город Айкень. Он торопливо раскрыл газету. Нет, и в другой газете не было злополучной заметки. Значит, и тот не нашел такого города. По утрам Рыкин сам варил на примусе кофе. Шел густой дождь. Он смотрел в окно на противоположную мокрую стену громадного здания, большими глотками пил густой и горячий кофе. О выкинутой заметке он давно забыл и решал, как бы ему достать бесплатный билет в Художественный театр.

Привал на сто третьей версте

У старых приискателей и каторжников есть привычка — шагать вперед, упираясь на левую ногу. Правая приподнята всегда и готова к удару. Зверь ли, пень ли гнилой, торчащий перед шагом. Правая нога сильнее и тверже, и лапотина на правой оттого изнашивается быстрее.

Так вот, все незакатные месяцы правой ногой и правой рукой вперед билось становище, предводительствуемое Егором Кушнаренко.

Были здесь и приискатели, потерявшие счастье в золоте и явившиеся в Айкень на немногие работишки, были и каторжники, загубившие не одну душу и давно забывшие свое молодое имя; было несколько красноармейцев из крохотного айкеньского гарнизона, и мещане были айкеньские, степенные остатки торговцев пушниной, рыбой и мамонтовым клыком. Кто знает, как они попали в это оголтелое, бессонное становище, с ревом и неимоверными матерками врубившееся в тайгу и горы.

У Егора в левом латаном кармане гимнастерки бился компас, за плечами гремела землемерная цепь, и эвенк Каргу носил за ним, как паникадило, медный треножник.

Смолевой, янтарный дым от костров!

Неусыпное солнце всегда на полдне!

Всегда плечи жжет мошкара, комар-гнус и неустанный, незакатный пламень, прожигающий тайгу, мхи и лишайчатые, пепельного цвета, скалы.

А позади русских, позади матерков, махорочных окурков, остатков дрянного тряпья и полугнилой пищи, шли эвенки. Они убирали сваленные деревья, выжигали пни и тщательно, как своих идолов, выстругивали версты, а подле них ставили чумы. Слышались крики на собак и оленей. Чумы походили на рога, а маленькие лохматые собачонки — на клочки тумана. И дорога стала человеческой дорогой.

Подле чумов белели остовы рыб. Хромой старик Хаймень расставлял силки, и кто-то к своему шалашу нес песцовую шкурку.

И вдруг — сырая, полуистлевшая чаща. Словно дорога уткнулась в громадный гнилой пень. Каждая пядь натужисто пропахла плесенью.

— Здеся, паря, надо бы спирту, — хрипло сказал один из рубак, сидевший на камне. Громадный топор лежал у него меж ног, а борода была шире и, казалось, тверже топора. Так он упорно держал эту бороду, напряженно глядя в фиолетовую чащу.

— Не мешат, — ответил корявый Петрован Щокур, поглядывая на Егора.

Раньше о спирте они упоминали перед сном, — как иногда в изморозь, где-нибудь в скалах, приятно потянуться и вздохнуть: вот бы сейчас да на лежанку, да блинков бы...

Лопотина у них пахла дымом и мхами. Они упорно глядели в чащу. Какая-то незаметная тропка не тропка, а легкий следок разгляделся вдруг в чаще. А когда разглядел Егор, то почему-то захолодело от этой тропки сердце.

— Разве тут ходят? — пошел он ближе к Щокуру.

— Кто когда, — ответил тот, мотнув волосатой головой, — поди, так и ходют.

И, отложив лопаты и топоры, приисковые остановились у тропки, а Егор достал карту и присел в стороне. В паужин всякий делает что хочет, и не мог он мешать своим становщикам стоять у тропы.

— Разве ждут? — спросил он тихо у Маньши. — Кого бы им ждать?

Одну только Маньшу не брали комары. То ли так крепка и смугла была ее кожа, то ли знала какую мазь, выдуманную затейливым Сократом, но ходила она с открытым лицом, глубоко вбирая в рот пухлые, широкие губы. Кажется, в губы только и кусали ее комары.

Ночью, под пологом, рядом с Егором — попробуй отыщи ее губы комар!

Чудовороженная жизнь проходила тайгой, и будто поэтому выдумала тайга, чтоб задержать эту жизнь, — выпустила жухлый мертвый лес, который нельзя ни пилить, ни жечь, а отгребать, как золу, лопатами. Лес этот столетиями валится во всяческом беспорядке, гниет, оставляя пустоты. Идет зверь — и вдруг провалится меж бревен на трехсотенную пропасть, в гниль.

И в такой жухлой чаще вдруг тропка.

— Спиртоносов ждут, это ихняя тропка, — ответила Маньша, — стрелять надо им навстречу. Вели стрелять.

— Откуда тут спиртоносы? Насколько понимаю — глухота, и, кроме медведя, кто в такой чаще способный есть, поднимается на ноги?

Маньша ему на ухо. Слова у ней быстрее, чем пламень незакатного, обжигают шею:

— Я тебе говорю, стреляй, покудаль не пришли. Чего воззрился?

— Врут! Маревится им.

— Не маревится, а прииска где-то тут. А на приисках тех уцелели старатели.

И точно: вспомнил он пунктирную карту и место, обозначенное в Салаирской долине «си»: мелкие медные рудники. Но какие же старатели на медных рудниках. и кто может плавить здесь медь? Только самодурному Строганову пришло на ум основывать медные рудники в двух тысячах верст от железной дороги! Построили бараки, может, пару машин в разборке привезли на оленях. Бараки теперь истлели, а машины давно по частям расковали эвенки и источили для наконечников стрел.

— Ерунда, — Егор и карту сложил на восемь частей, хотя раньше она складывалась на четыре, — какие тут спиртоносы?

Все же не последним расслышал он далекий и крохотный, словно из кедрового орешка, лай собачонки.

Синего жука разглядел он на прелой тропке, что словно вымывалась из чащи.

И не он один разглядел синего жучка.

Вот белый клубок лайки выпрыгнул из чащевой норы. Да, надо было б стрелять Егору, надо б солда-

тами гнать подходивших и сипло перекликавшихся людей.

Маньша сидела вдали на пне и, щурясь, злорадно глядела в сторону от него. Может быть, назад?

Выскочившая собачонка тоже щурилась. У ней были разноцветные глаза и усики, необычайно завитые в колечко, словно не усики, а паучок.

— Ваши мандаты! — крикнул Егор в тропу. — Зачем в такие места попер? Чего тебе здесь надо? Проходи!

Только собаки становища поддержали его крик. Люди, как жена его Маньша, смотрели туда, куда упиралась напряженная жилистая его спина.

Несколько мужиков с котомками, с пистонными ружьями, в истрепанных броднях, покрытых, как ржавчиной, пылью гнилушек, вышли на полянку. Они перекрестились. Громадный овод с сухим шипеньем закружился вокруг передового старика.

— Слава те, истинному Христу, — протяжно проговорил старик, — выбрались мы из тех треклятых мест.

— С рудников? — спросил быстро Егор. — Старатели?

— Какие наши старанья, голубь. На одном мясе да на морошке жили. Цинга-то вот...

И они, словно сговорившись, разом обнажили кровавые беззубые десны.

— Пальцами теперь жуем. Хлебушка бы, нету ли хоть сухарика, го-лубь!

Позади своей жалости опять разобрал Егор шепот Маньши.

— Врут... все как есть врут. Забирай их, в город забирай! Там разберутся, а здесь про них теперь никто правды не скажет.

— Топоры слышим, — тянул старик, — динамитом скалу взрывали. На сотню верст гу-ул пошел. Слава те, господи, думаем, человек-то проснулся. Про тайгу вспомнил и напролом пошел. Самому с собой-то воевать ему надоест, и не найдется ли тут нам, убогим, что...

Отстраняя ладонью шепчущую Маньшу, Егор сказал с превеликой жалостью:

— Накормить и приписать к нам!

Что ж, и накормили и приписали к становищу. Мужичонки к тому же оказались ледащие, рыхлые, как этот встречный лес. Работа их темная. Увидал мельком Егор, позже, когда жадно ели мужики у костра хлеб,

пузырек из-под лекарства, — пузырек тот, наполненный желтой жидкостью, ходил по рукам становщиков.

— Спирт! — быстро подскочив, крикнул Егор.

— Золото, — ответили ему.

Все время сидения в тайге приисковые мужики, как монетой, пользовались таким пузырьком. Орочены и еще какие-то незнакомые люди бродят по тайге. Питаются они морошкой и диким зверем. Медведя ловят так: накатают в два кулака величиной клубок соломы, натычут туда гвоздей, острием вверх. Клуб как железный еж. Выскакивает встревоженный медведь на тропу, поднимается во весь свой смертоносный рост. Тут ему кидают железного ежа. С ревом охватывает он его лапами. Гвозди впиваются в мякоть лап, — и юркий таежник всаживает ему в сердце нож. Впрочем, не утверждаю, что это именно так происходит. Сказок, от таежной скуки, составляют здесь немало.

Становище спало. Чадили костры из сырой хвои и помета — дым от комаров. Певучие волки выли в горах. Из шести пришедших по тропке двое куда-то исчезли.

Куда?

Шел Егор становищем, и словно дымом обвеяно его сердце. Тошно.

А дорога — как в паужин, когда заприметили становщики жухлую тропку, будто пахнущую спиртом, — так и остановилась на сто третьей версте.

С утра (каменный сон лежал на Егоре) поднялись на становище пьяные песни о Байкале, баргузине и кандалах. В голенищах туго обрисовались спрятанные ножи, и обильная слюна омочила сваляные и грязные бороды.

Напрасно звонил в колокол Егор, призывая к работе, напрасно он назначал штрафы.

Как-никак нож легче топора и человеческое тело — не сосна!

— Тащи, — ревел Петрован Щокур, — все тащи! Все пропью!

— Жись! К лешему такую комариную жись!

— Крой!

До хрипоты пролаяли на них глотки собаки, не привыкшие к такому вою.

И Щокур, с бутылкой в потных руках, шатаясь, ходил вокруг пня, где сидел Егор, и, непрестанно сплевывая, бормотал:

— Желаем праздновать, желаем горе горькое запить, чтобы заместо бродней были у меня на лапах лаковые полусапожки. Верно, парень?

Он ловил кого-то бутылкой в воздухе, глаза его посинели, и мир сузился в один пень.

— Старожилы говорят: идет за этим лесом дале одна скала и пропасть на сто верст. Никакого следу туда нету. Зачем зря рубить просеку? Не хотим рубить — и шабаш! Старожилы всю твою жись наизусь знают, почему ты хозяйство хрестьянское бросил и из какой выгоды в ссылку пошел. Не хотим!.. А?..

Подле валившегося с сонным храпом Щокура стояла вся обожженная злостью Маньша и, тыча в слюнявую бороду, упрекала пьяного:

— Я же баяла тебе, Егор, на какую бабью веру ты меня принял? Я тебе щепа, что ли, сгорела и другую брось. Я рази за твоим огнем пошла в тайгу?.. Я ж тебе баяла — стреляй их, бей их с тропы!..

— Надо тут, — ответил хмуро Егор, — общее собрание. Порицание чтоб вынести... или там меры. Проспятся — и общее собрание. Очень все просто. А над спиртоносами — следствие.

«На сто тринадцатую версту товарищу Кушнаренко» — таков был адрес пакета от товарища Лейзерова, полученный Егором на сто третьей версте.

2 × 5 = 10.

Пять верст в день!

Два дня пьянствовало становище.

Десять нетронутых верст приобрела тайга.

Совсем какой-то пьедестальный человек был товарищ Лейзеров. Написать такое письмо. Прежде всего, ну, кому в голову придет изобретать мазь от комаров? Да мало того, выдумку эту приписывает здравотделу. Очень уж глупо, должно быть, показалось, и, себя пожалев, обвинил в глупости целый отдел.

Тысячу лет едят комары людей, а он — мазь!

Медикаменты, черт бы вас драл!

А не лучше б подумать, откуда появляются в тайге спиртоносы? Империалисты подсылают? Значит, карты совершенно точные есть у империалистов. Карты всей тайги, такие карты, по которым знаменитую пролетную дорогу, что теперь, как пьяный мужик, уткнулась в гниль и грязь, — можно провести с легким сердцем в три дня?

— Значит, есть карты? — подошел гневно Егор к спиртоносам.

Они сидели — прямые, цинговатые и трезвые. Кто знает, откуда они добывали спирт? Раз пять уже безрезультатно обыскивал их Егор.

— Поди, так десять лет не играем в карты, милай! Тебе али со скуки в картишки перекинуться хочется? Которые ведь искусники, дошли — сами рисуют, а нам куда же...

— Значит, можно же спирт носить? Значит, можно туда, на ту сторону, пройти?

— Едва ль, голубь, едва ль. Да и какой спирт в тайге? Людишки-то твои мухоморы, сказывают, настаивают и пьют. Гриб такой, с того ли гриба?..

Пропасть бы всему! Или, верно, мухоморы? Нынешнее лето, горькое и сухое, наплодило их, как листьев. Оранжевые, голубые с черными крапинками, кроваво-красные — по всем прогалинам хохочут они над Егором.

Если мухоморы, если настой?

На сто восемнадцатой версте надо бы перечитать письмо Лейзерова, а Егор перечел его на сто третьей.

3 × 5 = 15.

Густой и тяжелый вечер принесла с собой таратайка, в которой примчался вдруг товарищ Лейзеров. Поверх драного его пальтишка болтался на его плечах брезентовый плащ, больше похожий на палатку. Обильная пыль оседала на плащ, и на эту пыль всю дорогу любовался Лейзеров. Дьявол ее дери, какая замечательная пыль на этой дороге! Если бы солнце знало свои часы и закатывалось — совсем жизнь, как в центре. Две колеи, меж колей разная там травка болтается, чахлые лошаденки (из пожарного обоза) пригубляют эту траву, колокольчик звенит. Ты дремлешь, коробок потряхивает лениво. Здорово закручено, черт возьми!

— Итак!.. — весело было крикнул Лейзеров, со злостью давя комара на щеке.

Но тут взгляд его остановился на верстовом столбе. Голос упал, и десяток комаров сразу безвозбранно облепил сухую его щеку.

— Итак, товарищ?.. Почему же сто три, когда надо... — он порылся в записной книжке, — надо в этот час сто двадцать. Куда же, товарищ, девали вы семнадцать верст? Семнадцать верст куда девали, я спрашиваю?

— Они, — мотнул Егор головой на спиртоносов, — я их под арестом в чум, а народ пьет. Как тут...

Гмыкнул Лейзеров, брезентишко скинул, портфелик подхватил, и засверкали его роговые очки по всему лагерю. Во-первых, посверкали вокруг инвентаря. В порядке ли? Весь инвентарь был в порядке. Во-вторых, по страницам путевого журнала. На сто третьей версте они размышляли долго, затем под очки торопливо нырнуло перо и ручка. Где запись сто третьей верстой запнулась — ровненьким почерком вывело перо:

«Нахожу необходимым назначить ревизионную комиссию».

Отложил перо, покрутился по пню, понюхал воздух. И точно, будто пахло спиртом.

— Нда-а... — протянул он слегка визгливо, — нда... Назначьте митинг.

— Пьяны все.

— Все?

— Красноармейцы ничего. Но что ж их...

— Нда... Красноармейцы, конечно. Нда!.. Отправить с красноармейцами этих... волосатых, без зубов, в Айкень! Посадить их. Пускай сидят, не шляются. Делали ли вы ультимативные требования и не приводило ли это к ускорению работ? Нет? Пьют? Нда-а... Дайте мне ваш револьвер, товарищ, я еду к эвенкам. Мой без патронов.

Отстегивая револьвер, Егор сказал:

— Старожилы находят невозможным провести дорогу, тут позади Салаирских медных рудников начинается...

— ...Глупость начинается, товарищ. Глупость. Вы по происхождению — крестьянин, должны понимать. Н-да... А вы верите старожилам. Никаких пропастей существовать не может, если...

Но он не счел нужным окончить фразу.

Что — «если»? Почему Лейзеров не счел нужным окончить фразу?

Лейзеров любил Егора, любил эту внешнюю, большую и живую силу. И жалко, что сила эта тратится так безумно-строптиво на Маньшу. Потерял парень голову! Лейзеров сам влюблялся, — он был порядком влюблен прошлой осенью в Курске, где преподавал на дорожно-строительных курсах, на которые попал прямо из армии, — и она его любила, и отличная могла бы получиться жизнь в Курске. А вызывают в горком: «Угодно

к тунгусам, или эвенкам, поскольку вы родились и воспитывались, кажется, на Енисее?» А ей тоже угодно, но она оканчивает институт! Вера в любовь, конечно, вещь хорошая, но расстояние и время есть все-таки расстояние и время. Он не повесил носа, не спился, не ослабел, — нужно ехать, нужно мобилизовать культурные способности и не отказываться применять их там, где они нужны государству. А тут неожиданно Егор... Он даже склонен дезертировать! Нет, это не любовь, а самое мрачное сладострастие. Любовь должна вдохновлять, поднимать голову, любовь должна кудрявить тебя, а тут голова, поди, стала плоской и можно ее употребить лишь в качестве могильной лопаты. Очень грустно, Егор, очень грустно. А говорить тебе? Что говорить, если на сердце твоем, Егор, нерассветный и вместе с тем певучий мрак. Сожалею, по молчу. Неспособен убедить. Понимаю.

Крутой обрыв спускался к реке, имеющей запах крови

Вспрыгнул Лейзеров в таратайку, вот уже портфелишко его под боком, очки блестят у плетеной из ивы стенки.

— Понесла, — кричит он ямщику.

Лошаденка трясется, пыхтит. Лохматая ее шерсть от напряжения несется клочьями. Обратная пыль на брезентишко, что именуется плащом. Визжит ось, не успел ее смазать ямщик, — так торопил любопытствующий комиссар, всю дорогу вслух высчитывавший: выгодно ли ямщику самому ладить упряжь или покупать в кооперативе?

Несмотря па полную прыть лошаденки, рядом, левой рукой, с коричневыми от табаку пальцами, слегка касаясь облучка, шагал великоногий Егор.

— Я вам говорю, товарищ, не срамитесь по чумам. Ну, как вы поднимете эвенков на такую скаженную работу, когда и русский с тяжести запил. Вы и языка-то не знаете.

— Он переведет, — ткнул Лейзеров записной книжкой ямщика в спину. — Гражданин, как по-эвенкски — объединение? Экономическое объединение безо всякого идеализма? Садитесь, товарищ, сюда рядом. Чего вы шагаете... как буран?

И он засмеялся своей шутке.

— Сюда, на мешок. Рядом на мешок. Вы им добавите возвышенно там как-нибудь про религию. О вреде ее тоже слегка. Их тронуть легко.

— Не сяду я с вами, — ответил Егор, сдернул фуражку, пахнул ею на разгоряченное лицо, — не верю я вам. Это Маньша вас хвалит.

— Хвалит? Сознательный она индивидум, если хвалит, — не без гордости ответил Лейзеров, — вы бы ее к работе среди эвенкских женщин приспособили. Необыкновенно талантливый народ, я их, правда, изучил мало, но так, по достижениям некоторых. Удивительно быстро ездят, например. На собаках так ездят...

— А по-моему, дранковый вы человек. Не поеду с вами.

Даже обернулся слегка Лейзеров. Уходящие ноги ступают твердо, словно колотушки, которыми сейчас будут разбиты эти аккуратные колеи.

— Товарищ, вы забываете ответственность. Быт целого города республики в опасности.

Колотушки, заглушая стук колес, ухали по колеям. «Солидный мужчина», — подумал Лейзеров, но тотчас же проговорил вслух:

— Однако! Как он про дранковый... Дрянь. Дрань. Драный. Драиь. Ага! Это — та драиь, которую для штукатурки употребляют. Ну, какая же я штукатурка, то есть для штукатурки? Не понимаю! Разве дерево в смысле красоты? Из какого дерева драиь? Кажется, из дуба.

И с легким удовлетворением, кладя портфель на острые колышки, добавил:

— Конечно же, из дуба. Солидный и умный мужчина... да, и женщина его ничего, милая.

Пьяные становщики бродили в обнимку по поляне. Штаны, выпавшие из голенищ, треплясь, подымали желтые копны пыли. Из этих копен виднелись только неподвижные, наполненные мертвым хмелем лица. Они ревели такие же неподвижные песни.

Егор лежал под сосной на куске войлока.

Со скуки думал оп об отъезде, о губернском городе, где нет тайги, где единственный сад разбили назад тому два года, где дома из кирпича. Надоел ему запах прели, грибов, деревья, которые прут в небо, словно смеясь над

человеком. Жалко было действительно бросить дорогу, но теперь только он понял, какими дураками они были, когда одни без землемеров пошли. Пролетный, птичий путь! Нет, видно, опять веди эвенков на улусную дорогу, опять мчись на анасах полторы тысячи верст, опять...

И он с усмешкой закрыл рваным мешком землемерную цепь и свой компас с дрожащей сизой стрелкой. Сделал это он как-то боком от Маньши и, чтоб веселее было, — даже слегка засвистел.

Характерное цоканье оленьего бича донеслось по просеке. Егор обернулся. Какая бронзовая прямая просека! Кому не жалко, если зарастет она? Сначала робкий березняк, затем осина и, наконец, давя всех, в сопровождении медведя, выпрыгнет со своей шипучей кроной сосна. Обовьет корнями, сгнившими стволами, сольется крепкими, как кремень, ветвями и скажет: «Будет, побаловались!»

Трехпарная упряжка оленей, анасы, показалась на колеях. Неистово, не глядя на русских, гнал ее эвенк. За ней вторая, третья, седьмая. Все возы наполнены гикающими эвенками. Еще анасы, еще...

А позади всех, блестя очками, трясется в трашпанке Лейзеров и вопит чуть разборчиво:

— Топоров, топоров, товарищи!

И вот сотня неумелых топоров врезается в жухлую чащу.

Не успел Егор подняться на ноги, отбросить кошму, как завалена тропка спиртоносов срубленным стволом. Ствол этот оттащен. Валится другой. Тропа на поларшина засыпана маслянистыми желтыми щепами.

Значит, не совсем сгнил лес, коли смолистые щепы?

Значит, не совсем завязают в прели топоры?

Не совсем!

Потому что в ряду с эвенками, звеня лезвием, как при улыбке зубами, идет на чащу Маньша.

У Лейзерова руки на портфелике, револьвер сбоку неумело, как кожаная заплата на ситцевой рубахе. От умиления, что ли, или от гордости пропотели очки.

— Мой разговор с ними, — сказал он Егору, — был чисто экономический. Я говорю: привез вам для зимней охоты мешок, восемь пудов. Это на котором я вас сидеть приглашал. Восемь пудов пороху. Пойдете рубить — отдам бесплатно, не пойдете — на золото менять не буду, хоть фунт на фунт. Промысловая кооперация своей че-

редой, а интересы Республики дороже. Сознательное племя. Моментально согласились. Даже качать хотели, да я отказался.

О качанье он, положим, соврал.

— Пока я, товарищ, руководство беру на себя. Нда... На себя. До заключения ревизионной комиссии. А эти субъекты пьют?

— Пьют.

Он посмотрел на неподвижное лицо Егора. Где-то у левой брови билась, стремясь к векам, розовая жилка. Так билась, что казалось — бьется все лицо.

— Ничего, товарищ, они перестанут. Вы передайте — они могут идти по домам. Считаем невозможной дальнейшую совместную работу. Очень просто — и нечего им пни облевывать. Такая грубость!

Становище чуть тлело сонными искрами костров. Давно костры эвенков перегнали русские костры. Изредка, от гула взрываемой скалы, проснется пьяный, посмотрит на дымный столб, подумает — грезится ему во сне взрыв, солнце, светящееся ночью, у костра громадный неподвижный Егор Кушнаренко. Опять опустит будто прелую голову.

Сыплется тленью, червями от каждого взрыва, сыплется на просеку жухлый лес. Целые насыпи мелкого, как пепел, лесного праха по краям просеки, но если даже налетит буран — не заест жухлядь колеи.

Широкую, как на масленицу, радостную просеку прокусили руки эвенков.

Охлябью на лошаденке подскакал молодой красноармеец — подрывник. Шлем у него на нос, и грязная захватанная звезда словно подмигивала с его лица Егору.

— Дяденька, товарищ Лейзеров командировал насчет динамиту. Весь студень израсходовали, а скала над самой рекой. Не взорвать, обходу никакого нету. Горы кругом — могила.

Он как-то по-детски охнул.

— Динамит весь вышел. Незачем и посылать. Товарищу Лейзерову было известно, я докладывал. Все-таки где, говорит, может, завалялся?

— Весь. Шнура могу дать.

— Нам не вешаться. — И он с обиды даже звезду передвинул на затылок.

— Так и скажи.

— Видно, так и придется сказать. Ничего, мол, нет!

Красноармеец лихо ударил голыми пятками в пузо лошаденки. Пузо глухо екнуло, и лошаденка понеслась.

Взрывы прекратились. Лейзеров объявил отдых. Дорога уперлась в скалу. За скалой круто ревела река. Эвенки легли спать. Они спали в ряд, на спине, с открытыми лицами. Чадили костры.

Плохо дремалось ямщику Каргу. Думал он завести себе малицу после зимних охот. Малицу разошьет цветными сукнами. Говорят, где-то там, за тундрой, где летом закатывается солнце, люди шьют малицы сплошь из цветных дорогих сукон. Все-то врут. Шубу из цветных сукон. Ведь тогда бы он, Каргу...

От таких мыслей не поспишь.

Каргу решил пройти к скале, которую завтра обещал взорвать человек с глазами позади круглых окон. Оконный глаз, Мосейка. Обещал порох. Куль с порохом у него крупнее куля муки. Сколько зверья помрет из-за такого мешка? Много! Сильно много. Как мух, много зверья. Ого! Какой Каргу умный! Как комара, много зверья.

Да еще сегодня говорили меж собой, будто старый леший Нямням нашел лисьего князька Хабу и будто бы убил.

Врут!

Его убьет из этого пороха... Ха, кто его убьет? Только не Нямням, старый безглазый леший. Давно бы ему надо подохнуть.

Каргу шел босиком. Это на работу ходят в обуви. Гуляют веселые люди всегда босиком.

Так-то так, но почему не спит стеклянный глаз, Мосейка? Спиной к Каргу, без верхней рубахи, наклонился он к мешку, в котором у него порох. Крадучись (здесь Каргу, по охотничьей привычке, присел) идет он с кожаным портсигаром, в котором он ищет всегда какие-то бумажки. Портсигар величиной, правда, в три кирпича, и в него папирос вошло бы столько, сколько сосен в тайге. Портсигар плотно набит, почти круглый. Мосейка несет его с трудом. Оглядывается. Каргу приседает. Оглядывается. К дыре, просверленной для гремучего студня, от которого скала рассыпается, как старуха... В дыру сует портсигар. Забивает, и только, как язык, торчит из дыры красный шнур.

Всегда показывали эвенкам, как закладывают гремучий студень, а тут Мосейка сказал:

— Отойди в сторону!

Отойти, почему не отойти? Своя голова не скала, жалко. Но, отойдя-то, и сказал хитрый Каргу друзьям. От малицы к малице и пошли его слова:

— Почему ходил Мосейка к дыре, ходил и нес кожаный мешок? Почему прячет куль с порохом? Почему не показал нам сегодня, как кладут гремучий студень?

Открывшаяся после взрыва река имела сырой запах крови. Острые камни, словно ножи, торчали из пены.

И в открывшемся проходе, глядя на реку, громко спросил Мосейку хитрый Каргу:

— Почему ты шел ночью с кожаным мешком к дыре, Мосейка? Кому ты еду нес в мешке?

— Я хотел ловить рыбу и нес приманку на удочку,— ответил Мосейка. — У меня есть сильно длинные лески, которые возьмут через всю скалу.

Разве с русскими поговоришь? Русский — если не пожалеет языка — языком взорвет скалу.

— Или врет, или вправду, — сказали эвенки, — надо, выходит, пойти к другому русскому. Тот очень счастлив, сидит на поляне и жрет спирт. Счастливые всегда справедливы.

— Надо, — подтвердил и хитрый Каргу.

Лейзеров, близоруко щурясь, стоял там, где крутой обрыв спускался к реке, имеющей запах крови. Через реку ревел лес, скаты Гайленских гор дымились вдали, и небо было пустое, серое и низкое.

Закон тела — любовь, закон тайги — топор

Толпа сжалась. Сухой перегар водки и давно немытого тела, как пологом, застлал Егора. Ему захотелось подняться на цыпочки.

— Вре-ет!.. — закричали из задних рядов.

— Конешно, врет, какой там расчет? Погулять нельзя?

— Сместили его, вот и мутит. Рубить не пойдут, дескать, без него.

Чей-то тонкий дрожащий локоть упирался ему в бок. Махнув рукой, он рванул рубаху, и большой клок гнилого сатина остался в его руках. Он растерянно держал тряпку. За толпой у костров валялись солдатские ма-

нерки. Тощая собака, поджав хвост и оглядываясь, тащила одну манерку в кустарники.

— Согласно приказанию товарища Лейзерова мне поручено сообщить вам о расчете. Такие прогулы мы не потерпим. Скажу кратко: идите в город, там и разъяснят...

— Сто верст? Сам шагай, сволочь!

— У бабы уселся в штанах! Пищишь! Иди сам!

— Товарищи становщики...

Гул пронесся над толпой. Чей-то камень попал в собаку, волочившую манерку, и на визг все обернулись. Собака, ощерясь, присела на задние лапы, а передние лежали на чьей-то брошенной лопате.

— Бери струмент,— завопил Щокур,— пшла, стерва, с лопаты. Обгадишь еще со страху. Струмент, паре, бери! Пошли к реке на работу!

Он подхватил лопату, по дороге со всей мочи огрел ею собаку. Та, исступленно визжа, закружилась. Становщики захохотали, и кто-то ткнул ей, подкравшись, головню в бок. Запахло шерстью. Хохот увеличивался.

Мотая похмельными тяжелыми головами, они затянули песню и пошли к дороге. Последний замешкавшийся степенный и рослый мужик, в синем озяме, поднял было кирку, чтобы добить собаку, но раздумал и, держа кирку на отвес, сказал Егору:

— Тебе бы лучше за бабой следить, если нашей работы не уберег. Тунгусов выпустил! Еще по-приискательски котелок расколют да на голову. Потом и думай.

И он легкой походкой пустился в догонь.

«Так ли? Будто не так»,— думал Егор. А все же остался он один на поляне подле разметанных костров. Нет даже угля в кострах. Закурить не от чего. Опасаясь пожара, тщательно залили становщики костры. Ему угля не оставили. Словно он труп. И никто не подумал — а не пойдет ли он с ними в глубь тайги, к Мосейке. Робить.

Визжала израненная собака, но и она скоро убежала за становщиками. Она хромала, и кровь ее в пыли скатывалась черными шариками.

Все то же бессонное солнце посредине неба! Бессонная у него здесь, в тундре, кровь!

Кровь? Разве следить за бабой? Кровь следит? Будто — следит. С такой бабой — камень кажется мягче

гагачьего пуха. От твердых, словно замороженных щек скользит рука по длинной и круглой шее. Такая осина бывает один час, когда снимешь с нее кору. Горький сок течет по белому стволу, и рука, дрожа, застывает на горле, где кадык походит на только что родившегося цыпленка или воробушка в руке. Чье-то сердце, чья-то кровь течет под твоей ладонью. Будто по тем извилинам, по которым гадают цыганки. Ниже — крутые ребра, готовые поддерживать в тугом животе хотя бы пудового ребенка.

Прямая у него всегда была борода. Лежа с ней рядом, от горячего ее дыхания завивал бороду лучше, чем на огне.

Разве можно не следить за такой бабой?

Вот для остуживания крови, той, которую он не мог остудить, она подняла топор. Не таким топором рубят кровь, не таким, матушка!

И, сам не помня своих мыслей, облепленный жужжащими комарами, в расстегнутой рубахе, шагал Егор по следам становщиков.

Товарищ Егор Кушнаренко, ссыльный крестьянин из Златоустинского уезда, позже комиссар Четырнадцатого Вятского полка на деникинском фронте — трижды раненный, герой, удалец, не дурак выпить, — как ты попал в Айкеньскую тундру?

Мандат. Чрезвычайно просто. Знает местный быт. Поезжай. А тут кстати — пролетная дорога. Птичий путь через Гайленский хребет, через Салаирскую долину, мимо реки Чала, через нее, вернее, по горе Тагасы, по тайге, через поток Обо, выше по... Но кто знает, что там дальше. Птица?

Здесь опять мысли о бабе. Ей простое слово:

— Пошли!

— Куда?

— К черту, обратно. От сумасшедшего дурака Лейзерова, от его окуляров, портфелика и жидких кисельных ног.

Но вот на повороте перед скалой, которую Лейзеров взорвал порохом, стоит плетеная таратайка. Лошадь, отмахиваясь хвостом и даже слегка лягаясь, косо следит влажным глазом за носящимися оводами.

Под тележкой портфелик, жиденькие ноги на брезентике.

И сразу Егор вспомнил весенний сеновал, свое плечо, заслонявшее роговое лицо Лейзерова. Что ж, лошадь

будет теперь заслонять своим плечом его, Егора Кушнаренко?

— А, сволочь!..

Но Лейзеров уже поправляет на потном носике очки, уже крутит круглые свои глаза — кедровые орешки. Гнилые орешки, третьегоднишние.

— Нда... Поскольку женщина имеет право распоряжаться собой и поскольку она ищет любви той, которую она себе намечает для своего счастья, мы должны не мешать ей. — И он продолжал с той книжностью фраз, которая была свойственна ему и которая смягчалась его нежным и словно светлым голосом. — Рост разумного существа обусловливается содружеством особей, к тому расположенных... Если она наметила меня?..

Маньша стоит, прислонившись плечом к коробку трашпанки. Смуглая кожа ее плеча поцарапана и ворот кофты без пуговиц. А ногти у Лейзерова давно не острижены и словно заржавели.

Посмотрел Егор вниз так, будто ногти того внизу валялись под телегой (хотя они недурным жестом торчали из кармашек гимнастерки), и для себя больше спросил:

— Кокнуть его?

Лейзеров — сообразительный, словно всю жизнь сам у себя наиответственнейшим секретарем был. Он-то знает, какое яичко хочет кокнуть Егор. Лейзеров — круглоголовый, но он выпрямляет грудь и говорит:

— Сделайте ваше одолжение, гражданин. Но предупреждаю, что перед Республикой ответите. За все. У медведя кулак вдвое больше вашего, на него я бы не обиделся, а от вас глупо и слышать. К тому же не мешает подумать о ревизионной комиссии. Личные же дела лично и устраивайте. Но вековые цепи рабства пора сбросить.

Какие тут личные дела? Так, мзга, туман на горизонте, там, где небо сливается с землей. Вот и наша жизнь!

И не оттого, конечно, так подумал Егор, что Маньша улыбается во весь свой сильный рот.

И не оттого — пошла, колыхнулся кузов трашпанки ей вслед. Кофту оправляет на мосту, сооруженном из четырех пар сплотненных бревен. Становщики крепят бревна, сами по грудь в воде, в пене по бороды. Кричат:

— Юбки выше подымай, потонешь!..

И хохот.

Будто помнится — каким узлом учили его становщики вязать плоты. Узел, помнится, проходит две петли. Ива, которой крепят бревна, скрипит, вьется, скользит и пахнет илом.

— Упадешь, моржовый нос!..

— Не терпится, подождала бы. Не на свадьбу.

— А и крой ты, иди, медвежья невеста!

— Угу-у!.. Иди!..

На медведя такой крик. На силу, которая идет.

Поднял Егор кулак, махнул.

Тоненькая, словно сквозь нее оводов видно, грудь топорщится перед ним.

Кулаком он — о кузов трашпанки.

Метнулся внутрь, схватил веревочные вожжи и какой-то слегой — по спине, так, что пот брызнул, будто баба вальком по белью ударила. Из конской спины пот и кровь.

Всеми копытами забилась лошаденка об колеса. Завились, как вожжи, оглобли.

Ноги его вышибли прочь облучок. Высоко над головой Лейзерова пронеслась эта просиженная доска.

И пыль. Вопль вслед:

— Документы!.. Товарищ Егор, портфель выкинь! Увезете!..

Несется слега над лошадиной спиной, вожжи кольцом, колени навертываются на колеса.

Оглядел свой револьвер Лейзеров — тот, походивший на кожаную заплатку по ситцу. Кнопку было отстегнул.

— Что касается стрельбы, то нелепо стрелять в такого идиота. Портфель жалко. Ясно, если вдумчиво и внимательно отнестись к его нуждам. Ясно... нда...

А у становища, на сто третьей версте, ждали Егора хитрые эвенки. Тут был Каргу, для храбрости попросивший у одного из красноармейцев шлем. Он его держал в руках и тыкал все время в звезду пальцем.

— Твой тотем — такой. Мой — оленьи рога, зачем нам друг друга врать? Ты счастливый был, спирт пил — зачем тебе меня обманывать? Если Мосейка к мешку с порохом, который нам обещал, наклоняется и берет? Кожаный мешок делается полный, и в дыру, которую надо разорвать, как мышь, пулей — в дыру еле-еле лезет, — не от этого ли мешка взрывается дыра, и скала расползается, как сметана? А? Подожди, русский, натя-

гивать вожжи. Каргу хитрее тебя сто раз. Каргу легонько берет вожжи из рук русского.

— Я там больше не служу. Моей работы там нет. Я ничего не знаю, граждане.

Да, вот языки у русских. С такими языками только святыми быть. Сам по каким-то делам, может, за спиртом, едет в город на трашпанке Мосейки. Поговори с такими!

Хотелось бы посмотреть эвенкам: есть ли кто хитрее Каргу. Они хохочут даже раньше, чем он откроет свой мудрый рот.

— Пускай не знаешь. Тогда ты мне скажи, есть ли еще в Айкене такие кули с порохом, или этот последний? Если есть, нам что ж беспокоиться?

— Не знаю я ничего.

Ну, нашла стрела на стрелу, костяные наконечники. Однако посмотрим, как выкрутится Каргу.

— Если не будет пороха — хорошо. Мы думаем из луков стрелять! Мы же привыкшие. Спрашиваем, много ли заготовить мы должны пороху. У!..

Они все улыбаются. Ну, да, они поэтому только и спрашивают.

— Удалось!

— Ай да Каргу! Вот лиса.

Русский перегнулся с тележки, смотрит в глаза и говорит медленно, даже со страхом:

— А коли порох-то последний?..

Каргу, одерни тех трех дураков, схватившихся за нож! Рожи их одерни! Ведь не подыхаешь еще, ведь деды твои когда-то хорошо попадали из луков, а теперь — лук в западне, а в руке твоей мозг — ружье. Губы одерни, не скаль зубы! Не горло же рвать зубами!

Будто и хотел русский Егорка сказать. Или торопился и некогда было ему думать. Быстро подобрал вожжи.

— Другим порохом взрывает. Динамитом. И в Айкене пороху — амбар. Советская власть сильна.

Поглядели на закрутившиеся колеса эвенки. Довольные переглянулись, и Каргу сказал:

— Надо бы мне посмотреть в тундре того, кто хочет убить князька Хабу. Хоть бы и старого дурака Нямняма.

— Да, найдешь. Есть ли еще в тундре кто хитрее тебя, — ответили с восторгом эвенки.

Из северных областей тундры шли к лесам кочевники со своими стадами. Себе — за топливом на зиму, стадам — нетронутые пастбища. Несколько таких незнакомых чумов увидал Егор.

Под сырыми длинными тучами встретил Егор возвращающихся из Айкеня красноармейцев. Егор тоскливо, вяло оглядел их и, словно удивившись, что с ними нет спиртоносов, спросил:

— Куда вы их доспели?

— Сперва в милицию. Пожалел их кто-то и выпустил. Теперь у Сократа живут.

— У Сократа? — переспросил он. — Ну, и пускай у Сократа.

Долго стояли красноармейцы, словно ожидая, не вернется ли зачем Егор. Копчик сделал много кругов над осокой и три раза падал в траву.

Тогда один со всей ему доступной мудростью сказал:

— Баба. От нее. А без бабы нельзя.

— Без ба-бы — столб.

Ясно видно кругом желтоватые лайды и бурые гребни далеких холмов

Он был одиноким, этот день. Так ясно, что за версту, казалось, разглядишь крыло птицы, лениво свисавшее с ивового куста. Птица думает — не пора ли подымать свое крыло на юг? Ей лень, и она смотрит на север, где от моря по тундре начинает завывать пурга и ледяные горы упрямо тычутся звенящими синими лбами в желтые береговые скалы.

Но если в лайдах была осенняя озерная ясность, то в горницах Сократа Пузырькова словно все залито вязкой тиной.

Стлался желто-серый махорочный дым, мелькали серо-красные десны спиртоносов; хватая потрескавшиеся стаканы со спиртом, они, словно киркой породу, долбили судьбу ругательствами.

А позади стола, расставив опухшие (будто шире туловища они теперь) ноги, с пустой деревянной чашкой, — Егорка, прозванный теперь спиртоносами почему-то Речкой. От беспрерывного пьянства его лохмотья тоже кажутся распухшими и склизкими.

— Налей! — ворчит он над чашкой одинаковым голосом последние две недели.

— Чем платишь? — спрашивает старый спиртонос.

Спиртонос не зол, не скуп. Вспоминая хорошую встречу у тропки из жухлого леса, он иногда дает водки даром. Но город через две недели будет в пургах, город сдохнет, из Айкеня надо бежать и нечем больше разбавлять спирт.

— Налей!

— Сиди... сиди... Чем платишь? Вшами. Ружье отдашь?

— Не дам ружье.

Эти три слова он говорит вяло. Он и сам не верит: разве ружье не пропито? Зачем ему ружье с одним патроном? Да и последнего патрона пистон покороблен. И чем заряжен патрон? Дробью? Бекасником? Нет, картечью. Оленей бить?

Егорке бить оленей?

Обносивший вокруг стола похлебку из брюшины, Сократ щедро плеснул в деревянную чашку Егорки.

— Мне спирту.

Сократ уже выдавал по тоненькому ломтику хлеба. Ломтиком Егора он обнес. Айкень готовится к буранам, а пищи с юга так и не везут. Говорят — будут выдавать в городе по осьмушке на рот.

— Не будешь жрать? В обрат вылью.

— Съем.

Без ложки, забыл о ней, роняя брюшину на штаны, Егорка торопливо пьет похлебку. Чисто собака! Что, ему лень протянуть руку за ложкой? Каторжник и тот в тайге носит с собой ложку. Спиртоносы глядят на него с презрением.

Похлебка обожгла ему горло и желудок. Голос у него потвердел.

— Какое седни число?

— Осень, — кратко, сопровождая пояснение канальным матерком, отвечал Сократ. — К могиле дорогу ведут!.. Сказывали седни на площади, будто наступила новая революция, и наши большевики для спасения выдумали дорогу через хребет. А дорога та в пропасть.

— Я ему когда говорил, — кивает спиртонос на Егорку, — он человек справедливый, понял, ушел. Али согнали тебя с партейного билета-то?

Егор молчит. Бутыль обступили люди. Они все прибывают. Пол в горницах затоптан и захаркан, словно с ухода Маньши не мели его. И толстый Сократ,

у которого всегда были такие запашистые ситцевые рубахи и синие глаза, тоже словно захаркан.

Пьют от дороги, пьют от тоски. В омут идет дорога, и к тому же заставили верить всех, что в рай. На дорогу убухана вся городская жратва.

— Налей, — говорит один, кидает монету спиртоносу и уходит, выругавшись на пороге.

— Налей, — говорит другой, останавливается у стола и кричит Егору: — Ты мне правду скажи!

— Какую правду? Сами ее выдумали, сами и верьте!

Плевать Егору на все дороги. Пропьет оставшееся ружье и поступит на службу. Делопроизводителем хотя бы, бумажки подшивать.

Сам он не ест который день. Много верст прошла дорога с той поры, когда он пообедал последний раз.

— Пей, — наливает ему какой-то курносый с синим прыщом на широкой губе, — пей и поцелуемся.

Егор целует и еще пьет.

— Дуй! Я тебя за удальство люблю. Захотел девку — упер. Захотел плюнуть — и прямо в шары.

— Ты мою девку не лай, — несется на него Сократ. В кулаке у него разливальная ложка.

— Была девка, а теперь баба Мосейки, — визжит прыщавый, подставляя под бутыль стакан. — Ты за Мосейкина сына выпей, она так режет — в очках, грит, непременно рожу.

Егор выхватывает стакан у прыщавого и глотает. Стакан вдребезги. Об пол.

— Бе-ей, — визжат у простенка в истошном веселье незнакомые голоса, — хозяев в первую голову дуй!

Егорка подымает громадный опухший кулак над прыщавой губой угощателя.

— Мой сын, говорю! Не может от Мосейки быть сынов. Мой!..

Прыщавый приседает, нырнул меж ног и хлопнул костлявым кулачком по заду.

— Там по волосам разберемся.

— Мой, — орет Егор, — убью!

А прыщавый носится где-то в темных углах. Сейчас только разглядел Егор — нет давно электрической лампочки, тюлений жировик на столе. Найди-ка меж лавок теперь прыщавого. Лавки шире кровати!

— Тише ты, черт, — кричит один из спиртоносов, у него необыкновенно плоская, как тарелка, голова.

— Я черт? — спрашивает Егорка.
— Нет, архангел Михаил!
— Я черт?
— Отлипни ты, халипа...
— Значит, я черт?..
— Привязался. Черт в ботале! Ну?..
— А, в ботале!
Раз! В глаза.
Спиртонос на стакан. Стекло в нос. На стекло — кровь.
— Крой Егорку, — вопят спиртоносы, — режь его на нашу голову.
— Режь!
— А, меня резать? Егорку?
И широкая, как кровать, скамейка понеслась по головам. Жировик зашипел синим огнем. Потух.
— Матушки, зарезали, — охнул кто-то по-бабьи.
И в хрипоте, вое и смраде выскочил Егор в сени. Схватил из кладовой свою берданку.
Вдруг вспомнил.
Один патрон.
А в темноте, может, в зряшного человека всадишь.
— И ну ва-ас...
Распахнул тесовые ворота и понесся по улице.
Уже солнце исчезает с тундры. Уже осень и лиловый мрак над осоками, ягелями и хвощами.

...Несется Егор, размахивая ружьем, вдоль острокрыших улиц. Выцветшие сизые окна. Люди от голода пьют морошковый густой чай, пекут лепешки из грибов. Там, за сизыми окнами, тоже тоска о дороге.
— А...

...Вот первая верста. Он вкопал ее своей лопатой. У лопаты, помнится, крашеный черный черенок. Кто же красит черенки? От почтения разве? К Егору, конечно.
Дальше — мелькают лайды, изогнутые полярные березки. Волк сделал несколько легких прыжков в кустарники.
Версты мелькают, как пальцы.
Началась просека. На сухой наклоненной сосне сидит белая сова. Легкая морозность заволокла даль, и сосна

за десять шагов кажется моржом. Да, осенью иногда глаз обманывается еще хуже.

Просека скачет и вьется. Версты все короче и короче. Несколько овражков. Гуси лениво поднялись при его приближении.

Еще лайды. Еще бурые холмы. Морозность унес ветер, и стало ясно, как утром.

Вот сто третья верста! За ней поворот и жухлый лесок; похоже, что дорога кинулась, надломив свою душеньку. Взорванная скала и тут.

Тут Егор сорвал с плеч ружье и вставил патрон.

— А, су-ука!..

Нет, пистон не покорябан. Пистон зажжет порох. Как она тогда распахнула дверь. Как она тогда зажгла сердце.

...За последней хатенкой, у айкеньского кладбища, нашел возвращавшийся в тайгу ямщик Каргу счастливого становщика Егора. Он был ободран, в крови и спал головой к тайге. Ружье лежало в паре саженей, рядом. Лежит, счастливец, и бредово воет.

— В тайгу хотел идти, — решил хитрый Каргу. — Погулял и будет. Надо работать, нельзя же быть все время счастливым. — Каргу взвалил Егорку на воз, накрыл гусом и понюхал рот.

— Опять пьян, — прошептал он с восторгом, — и где он только находит?

Так и спал почти всю дорогу под гусом Егорка.

На повороте сто третьей версты подтянул к себе винтовку.

Нет, единственный патрон давно лежал в ложе. И пистон все-таки был покорябан. Видно, пригрезилось, что цел. Видно, пригрезилось, что в час прибежал на сто третью версту.

Мост над бревнами

Разведчики опоздали с возвращением на три дня. Охотились они или заблудились?

Лейзерова в эти дни схватила лихорадка. Его отрепанная записная книжечка подпрыгивала в его иссохших пальцах. Но глаза все с прежним же любопытством

наблюдали, как Маньша варила осиновый настой, заменяющий в тех местах хину.

Лоб, казалось ему, свертывается, как береста, от жары. Он обижался, что не мог на слух определить, сколько топоров звенит в тайге. Маленькие серебряные молоточки, заглушая топоры, звенели в ушах.

— Пропорцию осины впиши в книжку, — даже привставая, сказал он, когда она наливала настой, — надо сообщить по инстанции, как народное средство. Нда... Разведчики не стреляют?

А вечером в широкий поток Обо начала прибывать вода. Она постепенно пеной заглатывала торчащие бурые камни, лепилась по сваям моста, все выше.

Единственную лодку становища пришлось привязать к кустам, втянуть ее к яру.

— Пройдет, с дождей вчерашних, — сказал Лейзеров, выглядывая в прорез палатки. — Разведчиков не слышно?

— Говорят те, нету.

— Волнуются только неорганизованные индивидуумы, имеющие перевес инстинктов над сознанием.

И он долго, пока не охрип, говорил о зверином воспитании. Чуть что — за нож. А надо — за мысль!

— Только мысль обуславливает движение прогресса, то есть передовая мысль. Иначе...

Сначала будто и скучно слушать эти книжные слова, а потом все же прошибает. Пылко говорит человек, резво, а главное, от чистого сердца — для всех.

К вечеру возвратились разведчики. Предводительствовал ими Петрован Щокур. Одно ухо у него было порвано в чаще; длинную и гибкую какую-то, как веревка, шею он держал вкось.

— Ливень в горах был матерущий. Така волна на нас прет. Быдто гора! Все к едреной бабушке смоет! Из речушки одной бугор размыла в промежье и с нашим Обо соединилась.

Однако и воды! Пока мост не снесло, надо идти обратно.

Выставив острый нос, по которому скакали роговые очки, Лейзеров лежал под двумя тулупами и гусом.

Очки его при словах Щокура подскочили еще выше.

— Ни в коем случае! Жду из Айкеня нарочного, Каргу едет. Должен быть на месте следования, то есть

у нас, завтра утром. Раньше завтрашнего никаких разрешений не будет.

— Мост снесет, а там, товарищ, жди, когда река замерзнет. С голоду подохнем, поколь холода.

— Превосходно, превосходно, товарищ. Каковы результаты разведки? Проходы есть? Дневник путешествия согласно распоряжению моему вели? Каковы те скопления воды в горах, которые могут ринуться на нас?

Дневник по неграмотности своей разведчики вести не могли. Гайленский проход существует, разве что зимой будут снежные обвалы. Там криволесье и пропасти.

Тулупы поползли с тощих его коленок.

— Меры, меры примут! Я ж говорил — пройдем. Через проход, а там по скату вниз. Маньша, сколько нам предписано еще верст пройти?

— Пятьдесят, — ответила Маньша.

— Надо спешить, осень. Надо провизию везти в Айкень. По всем данным — голод. Каковы объемы вод? Много воды вверху, говорю?

— Да, воды много.

— Надо было отвести в сторону, где нет поселенного жилья.

Чудак этот Лейзеров! Провел какой-то хилый мост через Обо, дал ему имя какого-то революционера, становище разбил возле потока и утверждает — не беспокойте моего жилья. Отведите горные реки.

Черта ли горным рекам от твоего жилья? Разнесут твой скрипучий мост по щепочке, по клинышку, саданут по тайге, с треском ломая столетние деревья, — разыскивай там после твою брезентовую палатку.

Воды, густопенные и тугие, прибывали.

О сваи бились несущиеся с верховьев подгнившие стволы. На одном из деревьев, тесно прижавшись к коре, проплыла рысь.

Услышав про зверя, Лейзеров попросил помочь ему выбраться к реке. Ноги его подламывались, как гнилая кора.

Тогда эвенки положили на жерди малицы, а на малицы — Лейзерова. Острый сучок давил ему в бок, но он промолчал, так как вспомнил «Полтавский бой» и даже стишок оттуда:

...В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.

И потому, может, взглянув на бушующую реку, сказал:

— Величественное зрелище.

Хотел перевернуться на спину, но носилки чуть не рассыпались, и он приказал тащить обратно. Он теперь попробует еще компрессы.

Щокуру очень-то не верили. Полагали, вода от дождя понесет, побьется и перестанет. Ночью с тундры полетел северный ветер с косым дождем, задул костры, промочил, как сквозь сито, шалаши, засвистел, загукал по мосту, сорвал с цепей лодку и разбил ее о сваи.

И тогда становище кинулось к палатке Мосейки. Шубы его были тоже промочены, палатку сорвало с прикольев.

— Граждане, — сказал он, — не волнуйтесь. Верному человеку, при первой вашей попытке к возвращению через мост, приказано стоять и караулить его неподвижность. Я думаю — выстоит. И нет нужды падать вам вместе с этим сооружением в поток. Возвращайтесь и разжигайте костры для обсушки. Верный человек стоит на мосту н стережет.

А верный-то его человек, на самом деле, в это время разыскивал по кустам унесенные ветром штаны Мосейки.

— Главное, ждите терпеливо...

Теперь мы перейдем к продолжению истории о хитром ямщике Каргу.

...Видите ли, Каргу давно подозревал — неладное там делается с порохом. Почему один Мосейка с Маньшей делает взрывы и где они держат гремучий студень? Поклясться всеми идолами можно — опять нас желают надуть.

Вот об этом, боком, переспросил Егора по дороге.

— Порохом взрывает, — сказал спокойно Егор. — Давно в Айкене нет динамита, и порох, что у Мосейки, — последний.

Захлопал, заударял по самым больным местам себе Каргу. Хо, какой хитрой и грязной веревкой опоясан мир! Как пойдешь по этой веревке, так и в яму!

— Почему ты, Егор, раньше не говорил такие слова?

Егор подтянул колени к бороде, опухшие красные веки его неподвижны. Молчаливый и скрытный, как колчан.

— Поди — так врешь. Надо же и тебе подсмеяться над хитрым Каргу.

И пристал: врешь и врешь.

Сунул ему Егор патронташ. Пустые патроны, и только ружье заряжено — последним.

Выходит — правда.

Выходит эвенкам другая дорога.

— Как же? Работали и не спали, Егор? Сон был короче рюмки. Лучше приисковых рубили тайгу и ворочали камни, порох, думали, получим. Белка за вашу войну наплодилась больше комара. Как же?

Молчит Егор.

Борода у него грязная, спутанная, словно торф жует. Колени стукаются в ухабах. Жует бороду, как сжевал он эвенкскую жизнь. Счастливый, пил, — теперь еще что-нибудь выдумает. Эвенки все передохнут, а об нем песни будут петь.

Паршивый, вонючий барсук! Так бы тебя надо ругать.

Ночь спустилась. Играли сполохи.

Стучит трашпанка, так стучит, будто Каргу со злости.

Несет из тайги запахами мхов. Лошадь прядет ушами.

— Да и то гоню, — говорит, оглядываясь, хитрый Каргу, — куда тебе еще быстрее!

Егорка молчит. Поставил ружье меж колен и молчит.

Каргу согласится спеть о своей хитрости и ловкости. Два веселых человека едут, о чем им скучать!

Молчит паршивый барсук. Его из милости, пьяницу, подобрали, а он с хозяином и разговаривать не хочет. Трусит, должно быть, как бы Каргу не разозлился и не прогнал.

Долго ли Каргу рассердиться? Насупит густые свои брови, губу отставит и...

Но тут оглянулся. Человек не человек, кедр не кедр в трашпанке.

— Да, гоню же, гоню!..

Так и молчал он до последнего рассвета.

А на последнем...

И сильно же шумит тайга, словно злится, что поток Обо пересекает ее темный густой халат. Как к потоку ближе, так словно с ума сошла тайга. Клокочет, захлебывается, ревет. Будто горы обвалились на тайгу.

Послушал. Вожжи натянул.

Так.

— А ведь шумит вода, Егорка. А через воду мост.

Вот здесь-то и крикнул действительно Егор:

— Гони!.. Гони, курва!

Словно откидывая от себя не грязь, а свое мясо, обезумело понеслась лошаденка. Дорога, приближаясь к потоку, словно уже срублена. Словно нарочно под колеса попадают камни.

Выскочили на берег, а на том яру — через ревущий и дрожащий мост — кричат:

— Скорее!.. Скорее!..

Подхватил ружье Егор и, прыгая через пять бревен, через вырванные настилы, в которые все тело обдавало студеными брызгами, побежал по мосту. Сутунки, обтесанные рукой человека, визжат об сутунки, обтесанные рекой. Гнутые вылезают сваи.

А Каргу...

Лошаденку — под уздцы, пакет за пазухой, жратву промочит, пускай. Только вступил на первую плаху моста, вдруг легонькая неживая рука отстранила его. Короткая, вылинявшая малица, стоптанные бродни, словно на жерди, отстранила его.

А в руках коротенькая шкурка лисички с белыми кисточками на ушах. Синяя шкурка. Синяя с серебром.

Кто скажет — это не пушной князек Хабу?

Кто его убил? Кто — великий охотник?

Кто скажет, что это не Нямням?

Старик легонечко, словно лисичка несла его, скользил по мосту. Скрылся на яру в толпе Нямням.

А оттуда все еще кричат:

— Скорее!.. Скорее!..

Кричите; хоть оглохните от крику. Кому вас жалко, дураков! Зачем Каргу пойдет теперь к вам? Ждите.

Несколько человек кинулись на мост. Наверное, помочь Каргу. Мост, с левого конца, затрещал. Полезли деревянные клинья. В разрыв хлынули покрытые пеной, вырванные потоком, деревья.

Каргу привязал лошадь к молодой сосне. Засыпал ей овса. Сел на пень и запел.

Пел он о своей хитрости. О порохе. О пушном князьке Хабу. О старом дураке Нямняме, который

получит теперь десять тысяч за черно-бурого лисьего князька. Пускай бунтуют на том берегу, пускай кричат. Каргу долго будет петь, чтобы песня об его отчаянии прославилась на всю тундру.

Ясно!

Только детальное обследование сумело бы выяснить технические условия работы

Прыгая с последнего бревна, перекинул Егор ружье с плеча на руку. Чье-то рукопожатие помешало положить ему палец на курок. Одноухий Петрован уже хрипел над ним.

— Тебя, что ли, послали?.. — пошутил Петрован.

А Маньша — за толпой стояла, будто нарочито выпятив живот. Лицо ее ожухло, как будто какая-то кора покрывала щеки. Если приглядеться, каждую весну разного цвета бывает кора на дереве. А рот все так же широко смеялся.

Его били кулаками в плечи, радостно хохотали в бороду и, как листок по воде, передвигали в толпе.

Немного смеющихся ртов все-таки было тут. И для одного Маньшина живота соврал во весь крик, через всю толпу, Егор:

— Отец твой помер с голоду. Перед смертью мне — повидай, грит, ее.

— Царство небесное, — ответила она.

Видно, не от вести о смерти отца скинет она ребенка. На него, на ребенка, как на скалу, стоит, опираясь, она.

Всякие бывают сердца.

— Каково в городе-то? — кричали ему становщики.

Как бы ответить ему?

— Ждут, — ответил он.

И все понимали, чего ждут в городе.

— Привез, что ли?..

— Чего молчит та, лапа?

Но тут-то и спрыгнул на яр примечательный охотник Нямням. Тут-то треснул и расползся мост.

А Каргу на той стороне сел подле трашпанки петь о своей хитрости.

Твердо, как в дверь, вошла в Егоровы глаза Маньша. Скинула приставшую к ее рукаву ляпку грязи и сказала:

— Ты б к Мосею прошел...

Всегда-то по-особенному крутится этот смешной Лейзеров. Теперь влез под тулупы. От цинги, надо думать, от лихорадки опух и посинел. Все же портфелик рядом, на раздвижном стулике, и очки протерты тщательно оленьей замшей.

— Временные технические комбинации задерживают несколько продвижение вперед. В технике лесных дорог многое не предвидено. Голодают там?

— В Айкене?

— Странные вы вопросы иногда задаете, товарищ Егор. Кажется, вы достаточно знакомы с моими практическими навыками. Нда... Мандат у вас есть?

— Какой?

— А что в партию и на работу обратно назначили. Без мандата я вас не приму. Не говоря уже о реабилитации, все мои уступки...

И завел свою пречуднейшую разговоринку товарищ Лейзеров. Со стороны посмотреть — паршивенький аршинный человечишка лежит под шубами. Желтые, высохшие от лихорадки ручонки, отеки под глазами. Так нет ведь! Рассказал подробно, как можно гнать древесный уголь, какая может быть осуществлена здесь белая энергия, или белый уголь, какая польза от выгаданных тысяч верст.

— У столетий вырвали тысячи верст!

Через неделю будет он иметь тысячу верст. Неплохо хочет аршинный человечишка.

Задохся, закрутился, закашлялся.

— Какой грубый табак вы тянете, товарищ Егор. Все махорка?

— Все.

— Нда... Вредна! Легкие ваши бычьи, а вредно. Температура у вас бывает? Редко? Любопытно, какая у белки температура! Она как птица носится с одного раскидистого дерева па другое. Удивительно быстрое животное. — И опять о новостях в укоме. — Не перемещали никого?

Что Егору до этого дурака, до себя, наконец, до дороги? Дойдет ли она или нет? Если явился сюда, то не для насмешечек же Лейзерова. Врать так врать.

— Мандаты мои и документы у Каргу. Я отдохну и пойду через мост.

Хлебнул Лейзеров какого-то отвару, посмотрел отвар с отвращением на свет, отставил подальше, но тут же сразу придвинул.

— Я вам верю, товарищ. Формальности после.

Действительно же верит, дурак. Действительно заблестели жирным южным солнцем глаза.

Вытянул руку, обтер об шубу, и все-таки пот тотчас же выступил вновь, сильно увлажнив ладонь Егора.

— Поздравляю!

А там позади, в палатке у дверей, десятские тоже лезут с поздравлениями. Давно не щупали Егора эти мозоли, давно не пахло подле него пропотевшей кожей бродней.

Молчать ему, — чтобы подумали: врет? Одно осталось.

Разгладил бороду свою, словно по всему телу.

— Мне поручено, — сказал Егор, глядя в пол, — привезти к вам на работы добавочную партию... в сто человек рабочих. Ускорить производство, значит, через них. Они позади идут. Следом за Каргу. Я отдохну здесь и вернусь за ними.

Тут Лейзеров даже привскочил на кровати. Выскочила из-под шубы грязная его рубашка, с полуоторванным воротом, показались жалко торчащие сухие ключицы.

— Я ж вам настойчиво, товарищ Егор, повторяю: мост разорван совершенно. И вообще за такое безобразие надо к стенке. Еще недавно просил я в Айкене помощи. Сказали — нет и не будет. Что же видим мы теперь?

Он натянул на себя шубу, очки прыгали где-то у него на лбу.

— Как вы полагаете? — спросил он с кашлем Егора.

Егор отошел на шаг и сказал:

— Я ж ничего...

Поморщился болезненно Лейзеров.

— Терпеть не могу бессмысленного оружия. Период гражданских войн уже окончился, и не к чему носить без надобности, когда эпоха экономического строительства... Сняли бы вы свой пулемет.

И Егор послушно спустил ремень берданки.

В крыло передовой птицы дует теплый ветер с юга. Ноги ее плотно прижаты к телу. Она не оглядывается на обгоняющие вереницы.

А внизу, на Гайленском хребте, дует ветер с севера, с тундр!

Сиплым свистом провожает птиц пролетная дорога, сиплым свистом в криволесье.

Здесь, на перевале, становщикам кажется, словно они опять попали в тундру, словно не прорубались сквозь мачтовые леса. Серые, в плечо человека ростом, на многие десятины тянутся густые заросли криволесья.

Издали кажется поросль, а наклонишься к коре и поймешь: от суровой полярной зимы — без снеговой защиты (все снега уносят бураны в тайгу, ниже), в леденящем ветре — эти деревья на десятки лет зачахли, скрючились и серым пластом жмутся к заболоченной земле.

И будто труднее их рубить, чем мачтовые леса, чем жухлость Саланрской долины.

В руки передового, Егора, дул колючий серый ветер с тундр. Он словно гвоздями прибивал пальцы к топорищу, тяжелил — леденил сапоги, ноги не держались на узловатых корнях.

Птица летела на юг и не удивлялась, что в этом году, как бакены на реке, на ее пролетной дороге виднеются черные чумы, и голубой дым из них тоже несется на юг.

Звук топоров словно замерзал.

К звонку колокольчиков в ушах Лейзерова прибавился еще какой-то шип.

Никому не жалуется криволесье. Оно упорно на многие десятины ползет Гайленским перевалом. Миллион, наверное, искривленных, сутулых деревцев. Кора у них в болезненных наростах, а корни — словно в ревматизме.

С кем бы плакать Лейзерову? Смешно подумать.

— Ты им содействуй, — говорит он Маньше, с печалью глядя на свою бритву «Жиллетт». Она заржавела, и нет у него силы отчистить ее. Других просить брить его? Или чистить заржавленную бритву?

После Октября нет слуг в Советской Республике!

Но не успела Маньша выйти — Лейзеров окрикнул ее.

— Помогите мне подняться!

И какой же он смешной, этот Лейзеров! Неужели не понимает, что у него нет сил подняться и сесть, не

думая уже о ходьбе. Так нет, говорит, хочу идти! Эвенки несут носилки. Жерди теперь не распадаются, носилки вырублены прочно, и Лейзеров каждый раз словно видит их впервые.

— Откуда здесь носилки? — спрашивает он удивленно.

И ему стыдно спросить, не Егор ли ему срубил носилки. Он спрашивает о другом:

— Я вас, граждане, не отрываю от работы?

— Нисиво, — отвечают эвенки. — Плохо, вот табаку нету. Травы сырой, мох сырой, дождик.

— Да, дождик, — соглашается Лейзеров, подтыкая под бока брезент.

Носилки качаются. Впереди сверкает топором Егор. Одна его спина шире носилок.

Голова Лейзерова укутана кругом шарфом, только остались одни очки. Слезящиеся глаза упрямо глядят на корявые, оттаскиваемые эвенками деревца.

— Не находите ли вы, — свешивается он головой с носилок, — что колеи будто становятся у́же?

— Не нахожу,— отвечает Егор, оборачиваясь. Только топор сверкает ярче его глаз.

— Эвенку и вообще кочевнику, товарищ Егор, самое ценное в его хозяйстве — олень... Он питает, одевает и возит. Короче говоря, вся жизнь эвенка в оленях. Мне поэтому необыкновенно тяжело было отдавать распоряжение резать оленей эвенков. Но тем не менее река разливается шире, и ваша пища окончилась. Вы, как мой заместитель, сообщили бы становищу, что...

— ...что Каргу приехал?

— С чего вы взяли? Да и вообще плюньте... об нем.

Егор повернулся. Томительнейшая тоска была на его лице. Очки у Лейзерова сразу пропотели, и медленно сказал он эвенкам:

— Прошу вас, пожалуйста, подымите мои носилки.

Так и не отошли очки у Лейзерова. Так и остался у него в памяти Егор с опущенным топором, серым, как криволесье, лицом и растопыренными по-детски пальцами.

— Готовится оленье мясо, товарищ! Возможно, поспело, вы бы объявили паужин. Насколько мне известно, рабочие не ели со вчерашнего утра.

А в паужин принесли миску Лейзерову. Достал он оттуда своей складной вилкой кусочек поменьше, поднес ко рту — и отложил.

— Тошнит!.. И вообще за последнее время наблюдаю у себя отсутствие аппетита. — Сморщил веки, добавляя: — Также энергии... необходимой...

В тот же день на берегу разлившегося потока Обо ямщик Каргу закончил свою песню. Вяленой рыбы у него было еще достаточно; шалаш дожди промочить не могли; сено для лошади было. К тому же сидел он на высокой скале, как орел сидел, видел бурлящий поток, горы, голос его почти совсем-совсем заглушал поток. Долго бы мог петь Каргу, но помешали глупые эвенки. Со всех чумов, стоящих по краю дороги, от самого Айкеня, собрались они к скале и сказали:

— Сегодня улетел с Таймыра последний гусь. Через три дня падает на реке лед. Нам надо порох, мы ждем льда на Обо, мы хотим получить порох с Мосейки, разве не пора охотиться?

Да-а!.. Вот тут и хотел бы Каргу, чтоб десять дней еще не было льда на Обо. Десять дней пел бы он песню о Мосейке, его порохе, о гремучем студне... о многих хитрых вещах.

Но и десяти слов не выслушали эвенки.

— Так нет пороха? — спросили они.

— Нет, — ответил Каргу, при виде таких лиц сразу спутавший песню.

— Так. Едем с нами.

— Я не люблю быть свидетелем, — ответил Каргу, — я бедный, и у меня нет оленей, которые питают богатого человека, ездящего по русским судам.

Молчат эвенки. Смотрят со злостью, как будут смотреть на русских, когда переправятся через Обо.

— Мне делать нечего, я прогуляюсь, — говорит Каргу. — Еду.

Как улетел последний гусь с Таймыра, так и выпал через три дня на Обо лед.

Первым через лед переправился большой герой и хитрец Каргу.

Первого сентября в Айкене престол и ярмарка. У престола — в золоченой ризе поп. У престола — лавки; в ситцевой рубахе, вымытой так, что блестит ярче парчи, — купец. Эвенки привозят пешку для пыжиковых шапок, непляй для малиц, постель для замши, красную лисицу, росомаху, песца и нерпу. Олени хрипят подле чумов. Купец щупает меха, борода его краснее лисицы, а голос нежнее пыжика.

Поп молится. Поп еще молится, а купец...

А вместо купца за прилавком товарищи Каргасовы — представители промысловой кооперации. Они в полушубках, на манер зырян, подпоясаны широкими цветными опоясками. Задатков не дают, спиртом не поят. Чудной народ!

Каргас — назвали их эвенки, а как назвали, так про купца начали рассказывать сказки, и «это было тогда, когда ездил по тундре купец»...

Резные наличники над окнами по всему Айкеню. Есть еще в некоторых домах и по сие время слюдяные окна. Ставни расписаны петухами. Петухи же наполовину засыпаны сугробами, торчит лишь красный гребень.

В зале, построенной тогда, «когда ездили еще по тундре купцы», один из таких Каргас рассказывал пленуму Совета:

— Я могу сделать только одно замечание: необходимо поспешить с доставкой товаров на ярмарку. Имеющиеся запасы наши вывезены на площадь, их едва хватит на три дня. Запасы не пополнялись. Из-за отсутствия связи с центром. Необходимо запасы увеличить.

Люди в дохах, с опущенными капюшонами, крутят поморские густые усы (такие, будто на меха готовят). Посылают нескладные записочки на махорочной бумаге. Не поймешь — слова ли там или остатки махорки. Председатель машет обмороженной рукой (он командирован недавно и до сего времени не может понять: вчера осень, а сегодня полез в карман за платком и отморозил пальцы)...

— Товарищи, вносится предложение: направить по новому проложенному пути через Гайленский хребет обозы за товарами. Других предложений нет?

Каргас бормочет секретарю Совета тайну, сокрушившую его душу. В тайге какой-то охотник, кажется

Нямням, убил необыкновенной ценности черно-бурую лисицу — ту, порода которой называется князьком Хабу. Шкурки нет на ярмарке. Идет разговор, а шкурку не везут.

— Талисман, — поспешно бормочет секретарь, царапая протокол, — берется кусочек шерсти на счастье. Суеверие. Волосок от такой шкурки ценят дороже любого идола. Неумеренно желаете, так же, как и одеваетесь... Суеверие проходит не сразу.

И он с презрением глядит на купеческую опояску Каргаса.

— Президиум Совета, с согласия профессиональных организаций поморов, в ознаменование неимоверных трудностей, пережитых при прокладке пути через хребет, постановил, товарищи, выдать отряду, предводительствуемому товарищем Лейзеровым, красное знамя, — продолжает председатель.

Барабанщик, тощий флейтист и какой-то волосач за пианино весьма согласно играют «Интернационал». Председатель говорит о заслугах перед революцией, затем опять возвращается к ярмарке, к товарам, наконец, к попу, к религии и престольному празднику. Он находит, что необходимо бороться с суеверием и в противовес мистическому одурачиванию масс выдвинуть здоровые развлечения. В данном случае президиум организует оленьи бега по новой, так называемой Пролетной дороге. Бега, привившись, повлияют на развитие оленеводства, создадут здоровое соревнование и отвлекут массы от суеверий, от мистического дурмана, вроде каких-нибудь легенд, скажем, о зверьке Хабу!

Совет шумит, перебирает вслух оленьи запряжки, лучших беговых быков. Широкие малицы, мягко шурша, сбираются в кучи. Пахнет мехом.

Так бы и крикнул: легковые сани — к высокому крыльцу, занесенному до перил синим сугробом!

Снег звенит.

Узда на олене без удил, на шее его широкая и мягкая, расшитая цветным сукном лямка.

А под нею мускулы — твердые, как полоз. От лямки под брюхом оленя, меж ног, ремень, тянущий нарту. Через блочки мамонтовой кости скользят эти ремни, соединяющие оленей.

Скользит по ним свистящая прыть четверки. На всю четверку одна вожжа у крайнего левого оленя.

Ах, черт подери!

Алое полотнище в санях исполкома.

Эх, черт подери — пустыня!

На десятки, да что — на сотни верст в лощинах, прячась от ветра, острые чумы. Снег от копыт звенит, попадая в ветвистые рога оленя, бегущего следом за передовым. В длинных оленьих рубахах, с капюшонами, мехом наружу, несутся пустыней люди. Шесты тычут в спины оленей. Полозья скрипят. На тысячи верст — пустыня вековечных снегов, упавших властно на свое хозяйство, занявших тундру в три дня.

Ни птицы, ни следа зверя в пустыне, и ветер даже стих, поклоняясь такой силе.

Полоз визжит. Кашлянет изредка на бегу олень.

Голубой дымкой задернута даль.

Кой-когда откроешь заледеневшие ресницы, наберешь духа — и, как в драке, мелькнет обрыв берега над незнаемым озером или низкая волна пологих, как груди тридцатилетней, холмов.

Да, черт подери! Пустыня, моя пустыня! Жена моя, тундра, — бег задержи свой ровный, — так, как через каждые полчаса задерживает олень. Отдохни. Наклони косматую голову и широкой, веселой ноздрей выдуй в снеге ямку.

— Далеко ли нам мчаться? Нет ли огня?

Шест погонщика — каюра — тычется в спину оленя. Резкая тень на снегу от ветвей.

— Хайто, хайто (далеко, далеко)!

Или подует ветер! Одним порывом, другим! Кабы да не снежные змейки по гребням застругов и сугробов на краях лощин — о чем бы ты смог подумать?

Буран одевает нас в тьму. Наклонись ниже, присмотрись, как несется ветер, как он режет людей и оленей снегом. Теснее сдвигайтесь, нарты!

Велика пустыня, хотя ты и проложил Пролетную дорогу, человек!

Подбирай подолы, теснись!

Да, такая чертовская жизнь! Такой горячий снег и такое полночное — полдневное — небо.

Гони! Гони!

Будем гнать, пока не задохлось сердце.

Будем!

Вбил оштол — палку тормоза нарты, — вбил передовой каюр Илибем. Промчалась исполкомовская нарта. Гайленский перевал, криволесье, нанесенные снегом гольцы и Невзгодная гора, что лежит у самого спуска в долину, где, как две черные нитки, как две иглы, блестят под сполохами рельсы.

— Сделали, — сказал каюр Илибем, — сделали легко, как птицы, дорогу.

В долине редкий березняк. Словно из снега точеные стволы, прозрачные, как сосульки. Заяц лупит березняком, напугался до смерти. Ишь ведь сколько несется оленей, пар от них гуще тумана и к тому же желтый. Занозил заяц ухо о сучок.

А налево от березнячка, да и налево от дороги — толпа эвенков, чумы — кольцом, нарты — длинной дугой.

Хотя пал снег, но земля не застыла. Могилу копать легко, как летом. От земли даже прелый запах.

На возу, прикрытый жалким брезентишком, лежал коротконогий труп. Подле выла высокая баба, одетая в бараний тулуп и расшитые барнаульские валенки.

Секретарю исполкома (он уже догадался, что это за покойник) как-то неловко было поднимать черешок знамени.

— Лейзерова хороните? — спросил он, наклоняя знамя.

— Его, — ответил какой-то становщик.

Эвенки поодаль шептались о порохе. Каргу рассказывал для чего-то вслух, как они примчались всеми чумами к Мосейке за порохом, а пороха давно нет, и сам Мосейка час тому назад умер. Хитрее Каргу был мужик, единственная надежда — ждать теперь, когда подъедет на колесах целая огненная деревня телег. И какой-то старый эвенк сказал убежденно:

— Найдется ли такой дурак, чтоб ехать, не ломая себе шеи, по узеньким этим полозьям?

— Надо думать, найдется, — подтвердил Каргу.

Секретарь, фамилия его была Рассохин (был коряв и слегка хром), увидал Егора:

— А мы про вас думали, спился? И вы здесь? Простым рабочим поступили?

Егор стоял в стороне с ружьем, в котором по-прежнему, тесно прижавшись к стволу, лежал последний патрон.

— Я?.. — спросил он. — Я... так... по ближней дороге до станции дошел. Так, в одиночку, и вообще, чего вам от меня надо? Я поезда жду. Простое дело — уезжать. Заносы, второй день нет поездов. Знал бы — из Айкеня не спешил. Приехал бы, когда дорогу обкатали.

Представитель промысловой кооперации Каргас не терял надежды приобрести шкурку лисьего князька. Выспрашивая, обошел он все чумы. В одном видел старого охотника, прозванного Нямнямом. Охотник ел ряску — поджаренные на огне куски теста. В чуме было чадно и пахло горелым салом. Охотник притворялся непонимающим или на самом деле не понимал человека? Был такой, как говорили о нем.

Каргас, огорченный, шел по небольшой тропке к могиле, куда закапывали Лейзерова. Каргас не любил мертвецов и ждал в стороне, когда окончатся салютные выстрелы из последнего пороха. Он видел, как выстрелил Егор, и почему-то подумал с неудовольствием: «И этот туда же». Толпа быстро разошлась. Каргас, пропуская ее, сошел даже в снег. Было глубоко, и ком снега попал в валенок. Когда он вытряс валенок, поднялся на ноги, подле могилы, прикрытой красным полотнищем, сидела на снегу только одна очень рослая и очень красивая баба в желтом тулупе. «Должно быть, жена», — подумал Каргас, направляясь неизвестно почему к могиле. Из могилы торчало большое, обтесанное сосновое бревно, с грубо нарисованной на нем звездой. А внизу кола, рядом с красным знаменем, за ушко была прибита, мелким железным гвоздиком, синевато-бурая пушистая шкурка.

— Да... — растерянно проговорил Каргас, расставляя ноги и даже щупая шкурку. — Ишь вы... племя!

Плачущая баба не подняла головы. Да и как бы спросил ее Каргас, почему здесь шкурка князька Хабу, почему пожертвовали эвенки и почему не продали ее ему. И как заставили Нямняма отдать шкурку, и что ему заплатили? Тогда надо было бы спросить и о том, почему умер этот черноглазый еврей, родившийся в ссылке на Енисее, учившийся в Минске, усердно воевавший почти на всех фронтах гражданской войны, вновь попавший в тайгу и тундру? Почему плачет баба и почему такой холодный и чистый снег?

Промолчал Каргас, постоял, снял шапку и направился обратно к железнодорожной насыпи, подле кото-

рой, тесно прижавшись, сидели эвенки, и упрямый старик продолжал уверять:

— Надули русские, не пойдет. Только в песнях поется, будто ходит. Мало ли я песен слышал на своих годах!

— Пойдет, — упрямо сказал Каргу, — если Мосейка сказал пойдет, значит, пойдет и еще будет свистеть.

— Пойдет, — отвечали эвенки, сдвигаясь еще ближе.

Вскоре густой гудок донесся из тайги. Синий с искрами пар поднялся над покрытыми снегом кронами.

С непонятным трепетом услышал Каргас стук колес. Что он, в первый раз видит поезд?

От чумов в лес поскакали олени. Чумазый машинист высунулся из паровоза и махнул рукой. Поезд прокатил дальше.

— Та-ак... — сказал старый эвенк. — Мы сколько работали, а он мимо прошел. Даже не остановился выпить чаю.

— Коли Мосейка говорил, — сказал Каргу, снова усаживаясь на снег, — значит, вернется обратно, обратно прогонит, но подле остановится. Надо подождать.

— Тогда подождем, — ответили эвенки, усаживаясь подле Каргу.

Неподалеку от эвенков, дрябло опустив пустое ружье в снег, сидел Егорка. Он вяло глядел в тусклую березовую рощицу и, видимо, ничего не ждал.

Каргас оглянулся, подумал: «Какая темь», — и поспешно спросил:

— Граждане, нет ли у кого спичек трубку зажечь?

Но все молчали.

1925

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ, КОТОРОЙ ЕЩЕ НЕТ

1

Прежде нежели начать наше повествование о событиях осенью тысяча девятьсот двадцать восьмого года в долине Тба: о последних днях разведок, производимых инженером Сожей; о жизни и ошибках его жены Ульяны Михайловны; о любви и страданиях сыновей жителя долины Власова и о многом другом, получившем широкую известность на Кавказе,— мы считаем своим долгом сказать несколько вступительных фраз к биографии главного действующего лица нашего повествования — Тасан-Мукатая, более известного по его псевдониму «Павликов».

Сергей Дмитриевич Тасан-Мукатай родился и юность свою провел в Семиречье в одной из казачьих станиц подле города Лепсинска. Отец его Дмитрий (Тасан), крещеный киргиз, приписанный к семиреченскому казачьему войску, был сидельцем казенной винной лавки. Крестился он из тщеславия, желая получить на пуговицы орлы, но орлы не прилетали, а когда началась империалистическая война и казенные винные лавки прикрыли и Дмитрий (Тасан) пожелал быть чиновником и подал соответствующие прошения, то ему дали должность помощника станичного писаря. К тому времени Тасан-Мукатай, поощряемый своим тщеславным отцом и его двадцатирублевыми пособиями, уже обучался в Петербургском горном институте, и вот совсем незадолго до слухов о киргизском восстании Тасан-Мукатай-младший получил письмо от отца, который радостно сообщал сыну, что наконец-то добился повышения: он уже станичный писарь, и ходят слухи, что скоро писарям дадут форму чиновников, впрочем, он торопится... и обещал написать подробно через три дня. Но прошла неделя, другая, пи-

сем не было, Тасан-Мукатай сильно беспокоился. Среди земляков его поговаривали, что киргизы, в ответ на приказание правительства о мобилизации, устроили резню в Семиречье. Тасан-Мукатай крепко ненавидел войну, тщеславие и водку. Он с упоением читал пораженческую «Летопись», слухи о киргизском восстании против войны наполняли его гордостью. Он уже пописывал статейки на экономические темы в газетах, имеющих социал-демократические стремления; статейки эти (в честь некоей девицы Павлины Николаевны) он подписывал псевдонимом «Павликов». Псевдоним за ним так и укрепился, а позже, когда он стал социал-демократом, крайне левым, противником войны и империализма, он получил партийную кличку «Сережа Маленький».

Однажды, вернувшись со сходки в комнатку свою на Сампсониевском проспекте, что на Выборгской стороне, он увидал плетеные корзинки, узлы и картонки с моделями шляп (его мать Агриппина Степановна была уездная шляпная мастерица). И сестра его и мать его стояли у окна, смотрели на Медицинскую академию, что раскинулась против, через улицу, и, сами не замечая того, плакали. Их рассказ был краток. Подавляя восстание киргизов, казачий отряд занял станицу. Начали допрашивать Тасан-Мукатая-старшего: «Как так он и вообще все крещеные киргизы, зная, по всей видимости, о предстоящем восстании своих бывших соплеменников, все же не донесли начальству вовремя?» Тасан-Мукатая повесили на крыльце станичного правления, а старуху и ее дочь выпороли... Жизнь в Петрограде дорога, но и в Семиречье они не могут вернуться! Тасан-Мукатай рассчитывал быть нефтяником, а значит, жить впоследствии на Кавказе, и он предложил матери своей направиться или в Тифлис, или в Баку. Она выбрала Тифлис. Здесь она открыла мастерскую шляп.

Пропагандистскую работу Сережи Маленького в кружке Невского судостроительного раскрыли. Он ушел за границу. После Февральской революции он вернулся в Петроград. Павликова сильно волновала борьба кавказского пролетариата, его влекла нефть, кроме того, он страстно желал повидать свою семью, да и мать начала сильно прихварывать... А он участвовал в июльских днях, Октябрьский переворот проводил в Казани,

дрался на Урале против атамана Дутова, в Туркестане работал с броневиками, и с этими же броневиками его перебросили на открывшийся польский фронт. Однажды наши части захватили у белополяков железнодорожный состав, груженный танками: подарок французов полякам. Все с недоумением и восторгом глядели на эти гигантские диковины. Никто не знал, как с ними обращаться. Вспомнили Павликова, эмигранта и техника. И назначили Павликова командиром танковой роты.

2

В древнем монастыре, на берегу Днепра, он наскоро организовал школу танкистов. Срок обучения (и их и себя) он назначил самый крайний: три недели, а уже через шесть дней он получил приказ о выступлении. Танковую роту везли в направлении к станции К., подле Лысой горы, где третий день шел бой. И вот танковый эшелон мчался среди красноармейских частей, возбуждая всеобщее преклонение. Командам махали шапками и кричали «ура». Павликов решил вести самый изношенный танк «марки пять со звездой», и команду назначили на него наименее подготовленную. В команду эту вошли: Лев Сожа, бывший заведующий канцелярией N-ской бригады, два писаря из его же канцелярии — Корсаков и Цитовский и Мотя Рентулич, веселый и храбрый, но чрезвычайно мало одаренный в смысле техническом... он был очень польщен честью находиться под командой Сережи Маленького.

Нестерпимо воняя (они частью шли на скипидаре), танки выкатились на шоссе. Пять шоссейных дорог кружили и поднимались па Лысую гору. Было пыльно, жарко. Танки смяли передовые польские части, и от бегства их пыль на шоссе еще больше увеличилась. В узкую прорезь окошечка Павликов искал шпиц колокольни в местечке К., которое они должны были увидеть спустя час после выхода. Шпица не было. Пыль. Обстрел. Танк «марки пять со звездой», отстреливаясь, увеличил скорость. Но скоро и стрелять стало трудно: они катились под гору. Команда тщетно пыталась затормозить: оказалось, что тормоза лопнули.

Местечко К., занятое белополяками и третий день атакуемое красными, было переполнено ранеными людьми, убитыми и брошенными конями. Все время в местечке стягивались и вновь расползались из него резервы. Население не вылезало из подвалов. Слухи о красных были и чудовищные и смешные. Нескольких польских офицеров расквартировали в аптеке. Случайно они оказались уроженцами одного города, и это сдружило их, но, с другой стороны, быстро и поссорило, так как они пожелали высказать друг другу все, что они думали и о родине и о большевиках. Кроме того, им было известно, что из Варшавы к Лысой горе шли танки и что эти танки исчезли. В аптеке было грязно и пыльно, изредка из подвала выползал аптекарь, для безопасности напяливший на себя длинный белый халат с огромным красным крестом на груди. Аптекарь обладал обширной семьей: ему хотелось задобрить весь воюющий мир. Он добыл картофеля, но труба в кухне оказалась сбитой, и тогда он обошел соседей и выпросил несколько керосинок и сковородок. Он желал угостить господ офицеров жареным картофелем! Аптекарь был сед, с громадным, похожим на подкову ртом. Он изредка посматривал в окна. Тяжелая осенняя пыль предвещала обильные дожди!

Едва аптекарь расставил и зажег керосинки, как спор опять разгорелся. Чахоточный капитан Марцинкевич, сухорукий и в дымчатом пенсне, презрительно воскликнул:

— Довольно, господа, воспринимать москалей как скифов! Мы шею себе сломаем на этом. Мне известно не только то, что сюда придут танки, но и то, кто командует танками.

Он торжествующе оглядел офицеров. Всем в высокой степени было безразлично, кто командует танками, и только один аптекарь испуганно пошевелил свою подкову:

— Кто же бы мог командовать ими, пан Марцинкевич?

И капитан Марцинкевич воскликнул:

— Ими командует длинноволосый эмигрант, генерал большевиков, именуемый Сережей Маленьким; еще и раньше по его плану москальские броневики били и гнали нас под Млечино!..

Юный поручик Хваля возразил капитану (больше для своего успокоения):

— Танки! Смешно подумать. Прислушайтесь, капитан, весь день и ночь с Лысой горы, помимо прочих орудий, харкают навстречу москалям сто десять пулеметов!

И все офицеры вспомнили эту Лысую гору, всю заросшую прекрасными соснами, теперь уже порубленными; кладбище на ней, теперь уже срытое; церковь, теперь уже взорванную. Скромные могильные холмики были украшены бумажными венками, мальчишка пас коз, и когда начали устанавливать эти грозные сто десять пулеметов, то мальчишку отогнали камнями, а он все не уходил, и тогда кто-то подумал, что это москальский шпион. Мальчишку арестовали... и, кажется, позже пристрелили.

Полковник Скрежевицкий, худой и высокий, похожий на переносную лестницу, попробовал помочь аптекарю переворачивать картофель. В аптеке запахло маслом, еще жирнее засверкали цветные бутылки на окнах. Аптекарь, подобрав полы халата, расстилал скатерть на прилавке. Юный поручик Хваля расставлял тарелки. И вдруг капитан Марцинкевич, сам пугаясь своего вопроса, сказал:

— Извините, господа, но не кажется ли вам, что уже полчаса или более пулеметы Лысой горы молчат?

Аптекарь послушал, подкова его рта обвила весь подбородок, он подтвердил: «Молчат!», и юный поручик Хваля (тот, который по ночам тихо звал во сне: «Киса, киса!», чему все умилялись) тоже прислушался, почувствовав боязнь, и ему захотелось ободрить других, а главное — себя. Он выразил желание сбегать в штаб, и все согласились, хотя легче всего было послать денщиков, отдыхавших в сенях аптеки... Аптекарь посмотрел ему вслед и обратился ласково к капитану Марцинкевичу:

— Попробуйте отличного картофеля, капитан. Я думаю, что мало ли кто и почему смолкает, и только молодость может беспокоиться из-за умолкнувшего пулемета, хотя пан ушедший отчасти прав: самое страшное и самое тяжелое в жизни — неизвестность.

— Да вы мыслитель, пан аптекарь!

— Как же поступать, дорогой капитан, продукты столь тяжело доставать, что поневоле задумаешься над жизнью. — И шутка эта, видимо, страшно понравилась

аптекарю. Он опустил полы халата, сосчитал тарелки, хватит ли на всех, и вдруг ему стало стыдно: он забыл вилки.

— Вилки! — воскликнул он.

— Совершенно верно: на вилки их! — раздался голос в дверях.

Все повернулись. На пороге стоял возвратившийся веселый и юный поручик Хваля.

— Победа же есть! — крикнул поручик Хваля.

Запыленные и раненые офицеры, появившиеся за ним, — он привел их угостить картофелем, — подтвердили его радость. Москали отступают! За окнами послышался топот погони, ржание коней, возгласы. Офицерам захотелось есть. Они, смеясь над аптекарем, брали картофель руками. Хваля, глядя в сторону капитана Марцинкевича, сказал ласково, что слухи о танках распускают не трусы, а дети. Аптекарь был рад утихшей перебранке, он подвел капитана Марцинкевича к стойке и сказал, торжественно держа его под руку:

— Господа офицеры, я осмеливаюсь поднести вам второе удивление: не успели москали побежать, как вы уже имеете москальские трофеи.

Он склонился под прилавок. Долго моталась его костлявая спина, похожая в халате на вершину сугроба в холодную и ветреную зиму. Офицеры с хохотом смотрели на эту спину. Наконец он вытащил огромную бутыль водки. Офицеры достали с полок аптекарскую посуду. Юный поручик Хваля запел:

Гей, славане! Докуль наша
Речь свободно льется,
Дотуль наше верно сердце
За народ свой бьется...

Капитан Марцинкевич отказался от водки. Он устал. Он понял только сейчас, что никакая победа поляков не принесет мужикам успокоения. А его отец и дед были мужики. И сейчас ему подумалось, что мир придет на землю тогда, когда мужики будут обладать танками, и он понял, что мысль: «они уже начали обладать танками» — только что обрадовала его... Ему было и стыдно и страшно. Стыдно, что он воевал против мужиков, и страшно, что понял это только сейчас. Юный поручик Хваля пил за Польшу от моря до моря. Капитан

Марцинкевич отошел к окну. Смеркалось. На пригорке, за домиками, откуда начинался барский парк, он увидел луч прожектора. Луч этот вначале упал на бутыль из цветного стекла. Затем он услышал гудение. Огромная, похожая на утюг масса неслась сверху, по улицам. Впереди ее скакал, низко опустив голову, конь без всадника... Капитан Марцинкевич, кажется, попытался крикнуть что-то предостерегающее, но уже колебалась почва и дрожали стены аптеки, и уже без его предупреждения офицеры кинулись к выходу. У всех у них были лица как в детстве, и юный поручик Хваля скакал по комнате, высоко подняв локти, и никак не мог найти дверь. Капитан Марцинкевич вытолкнул его. Они выбежали вместе, перепрыгнув через большую семейную перину аптекаря. Капитану было на одно мгновение неприятно увидеть старую жену аптекаря, седоволосую, которая тащила трех ребят, и самое неприятное в ней были обнаженные ее плечи и спина: белые и молодые. На дворе ревел теленок. Откуда-то, прямо в лицо, стрекотал пулемет. Офицеры бежали навстречу этому стрекотанию и не могли остановиться. Вот они увидели катящиеся навстречу жерла танка. Жерла эти гремели, как горный ключ. Холод и восторг охватили капитана Марцинкевича. Он поднял руки вверх. Пуля навылет пробила его чахоточную грудь, он упал, и этак закончилась неудачной смертью его неудачная, как он сам только что понял в аптеке, жизнь.

3

Команда с трудом и осторожностью приоткрыла дверцу замка. По броне сыпалась штукатурка. Запахи аптеки преобладали над запахом земли. Танк стоял в проломе, упершись в прилавок. Перед самой дверцей они увидели кассу, скатерть на прилавке, несколько потушенных керосинок и картофель на тарелках. Они зажгли фонарь. На полу валялись фуражки польских офицеров, расшитые галунами, с орлами, годными больше для вывесок: но иначе и быть не могло, потому что этим только тогда и ограничивалось все национальное обмундирование белопольской армии, ибо остальное было подарком с французского плеча. Эти фуражки напоминали Рентуличу фуражки городовых. Он перескочил

через прилавок, обежал весь дом, выскочил на улицу. Везде было тихо и безлюдно. Рентулич вернулся, уперся в сковороды: разбитая водочная бутыль скорбно и нагло лежала перед ним. Он пригладил широкие свои ноздри и вздохнул: «Водкой же пахнет и жареным же пахнет на настоящем коровьем масле, честное слово!» Павликова умиляло в Рентуличе то, что для него все в жизни было просто и ясно, он в полном порядке нес среди различных затруднений огромное свое тело. Он был сыном портняжки из Винницы. Он любил поесть, выпить, он гордился тем, что рожден в такую счастливую эпоху, когда можно и нужно уничтожать буржуазию и помещиков, и если что ему было непонятно, так то, что Сережа Маленький не одобряет выпивки; но тут, думал он, есть какая-то высокая политика, до которой он, Мотька Рентулич, еще не дошел, и ему даже понравилось, когда командир в ответ на восклицание о водке и масле ответил сухо:

— Сожа, проверь состояние машины!

Цитовский походил на воробья, Корсаков, его друг, походил на голубя. Цитовский был сер, востер в движениях, тонок голосом; Корсаков же сиз, голос у него был воркующий, ласковый, и волосы всегда, даже сейчас, приглажены и пахли мазями. Корсаков сказал:

— Извините, но я раньше Сожи могу ответить категорически, что нет ни смазочного, ни горючего, ни оружия. Пришла, извините, что называется амба.

— Амба, — подтвердил Сожа.

Он был тонок, красив, носил зашнурованные гетры и красную фуражку. Лицо у него было наивное и слегка припухшее. Сын инженера-нефтяника, он при мобилизации попал в технические части, но оказался негодным, и его назначили заведовать канцелярией, а когда производили набор в танковую школу, слова «Франция и танк» прельстили его, он пожелал выдвинуться и вступил в партию: многие изумились, но он был принят. Он предполагал, что при известном усилии он сможет быть командиром если не танковой роты, то хотя бы одного танка... А Павликов сразу невзлюбил его и не поверил ему. Командир школы, известный под кличкой «Сережи Маленького», эмигрант с таинственным псевдонимом, высоким голосом и длинными волосами, был

противен Соже, да и к тому же волосы у Сережи Маленького некрасивые...

— Я бы рад проверить и проверю, конечно, товарищ Маленький, но поляки, по общему нашему впечатлению, возвращаются, и кроме того не направили ли они нам в тыл кавалерию?.. — Сожа оглянулся, стряхнул штукатурку с платья, посмотрел на свои пальцы: — Руки бы вымыть, что ли...

Возражение Сожи не лишено было резона, будь оно высказано кем-либо другим, но высказанное именно Сожей возбудило в Павликове негодование. Команда, по всему видно, расслабла: в ней нет воинского единства, это — стыд для армии! Павликов готов был винить себя, что, переоценив свои силы, взял командование худшим танком. Павликов, строго разделяя слова, потребовал, чтобы Сожа немедленно проверил состояние машины, состояние оружия, количество гранат...

— Гранат нет, — ответил Сожа без смущения.

— А личное оружие каково?

И тогда он со стыдом и горечью услышал, что забыли оружие: имеется лишь у Рентулича плохой наган, да сам Павликов обладает кольтом.

— Безобразие! — воскликнул Павликов.

Сожа молча указал ему в окно на парк. Там, среди аллей, рыскал польский прожектор.

— Поляки, поляки! — застрекотал Цитовский.

Сожа, язвительно и намеренно подчеркивая его псевдоним, сказал:

— Что же, товарищ Сережа Маленький, просим вынести предложение и, если возможно, приказ.

Цитовский подхватил отчаянно:

— Именно приказ! Спасайтесь! Врезались в середину белополяков, здесь на вас вся надежда, вы обладаете картой и замыслами, а мы команда... Сергей!.. Нам даже неизвестны полная ваша фамилия и имя... Я не в смысле сообщения на вашу оплошность, а в смысле того, что хоть бы знать ваше отчество, как вас величать перед смертью...

Павликов посмотрел в лицо Цитовского. Оно уже давно бежало и покинуло танк. Оно устало, проклинало командира, замыслы которого ему были и неизвестны и непонятны. Сизый Корсаков стоял, боком прислонившись к Цитовскому, глаза Корсакова были опущены,

плечи его вздрагивали: он боялся... Сожа подошел к ним, он их понял, обрадовался, приосанился.

Павликов сказал быстро, резко, высоким своим голосом:

— И хотя мною, товарищи, избрана другая, нефтяная, так сказать, специальность, и хотя я принял командование данным танком, будучи более осведомленным в броневиках, — я тем не менее нахожу, что ты, помощник командира, Лев Сожа, поступил неправильно! А именно: ты не осмотрел танка перед операцией, ты взял мало горючего и благодаря только и только тебе танк пострадал и мы врезались в аптеку... Что же касается фамилии, то вы повинуетесь революции, а не моей фамилии!.. Факт?

Рентулич отложил картофель, прислушался. Стреляли.

— Факт, и, по-моему, добавлю: конденсированный факт, — сказал он.

Павликов подошел к окну, влез.

— Препирательства, таким образом окончены. И как ты думаешь, Сожа, нашей пехоте известно направление, где мы находимся и куда мы ушли? Нами заняты позиции, которые мы не должны уступать.

Сожа, догадываясь, куда может привести этот начавшийся разговор, хотел промолчать, но не мог найти такой формы молчания, которая бы сразу уничтожила сокрушительную напыщенность Павликова в самом ее начале, и он отвечал опрометчиво:

— Откуда ей знать, пехоте?..

Павликов так и вонзился в эти слова:

— Тогда нам остается одно, товарищи: мы должны известить приближающуюся пехоту, дабы она не заблудилась, соответствующими ракетами! В этом есть известный риск, конечно, но наша неудачная операция с танком обязывает нас пойти еще на больший риск. Сожа, я прошу вас дать мне две ракеты!

Сожа вспылил: команда считает операцию законченной. Корсаков и Цитовский согласились с ним, и только Рентулич его не поддержал. Сожа заявил, что все-таки на его стороне большинство. Он отказался и отказывается доставать ракеты!

— Рентулич! Защищайте вход и выход!

— Есть!..

Рентулич промычал что-то, скинул рукавом с толстого своего носа картофельные крошки, переставил бутыли на подоконнике; лицо его вначале стало красным, потом синим. Затем Рентулич полез в танк, достал ракеты, положил их на подоконник, подумал и, сняв бутыли на пол, еще подумал и оттащил их подальше, к дверям. Он поставил маленький фонарик среди бутылей и опустился на пол, держа в руках наган.

— Начинайте, — сказал он Павликову.

Трое, оставшиеся у танка, начали нерешительно выбирать кирпичи из пролома. Павликов, прикрепляя ракету, проговорил:

— Но, дабы не сосредоточиваться на недостойных думах, я продиктую наше донесение в штаб, и пусть команда мысленно проверяет точность сообщаемых сведений... Не волнуйся, Сожа, я сообщу, что команда работала нынче героически.

Он посмотрел, как Рентулич достал бумагу, помусолил карандаш и, положив наган за пазуху, приготовляется писать. Павликов начал:

— «Наступал с пехотой, но вследствие густой пыли было затруднительно сохранить верное направление. Достиг первой цели, Лысой горы, в семь десять вечера. Успешно уничтожили пулеметный заслон и направились ко второй цели».

4

— Внимание, команда, мы пускаем первую ракету!

Ракета в небе похожа на светящуюся кляксу. Почти мгновенно после ракеты из парка послышался пулемет. Услышав пулемет, Сожа потребовал, чтобы командир немедленно выдал команде план местности. Павликов смолчал. Трое опять вернулись к пролому. Кирпичи сыпались. Они вытаскивали их весьма поспешно и усердно. Рентулич раскрыл было рот, готовый прокричать что-то вроде «назад», но Павликов громко диктовал, и Рентулич, забыв свои слова, понесся в тяжелые дебри донесения.

— «Почти немедленно после этого танк попал под прямой обстрел противотанковых орудий и пулеметов. Обстрелом повреждены гусеницы, зажжен запас горючего в баке, и, возможно, нанесены другие повреждения...»

Сожа прервал:

— Наша пехота безмолвствует! Пулеметы приближаются! Нам даже защищаться нечем!

Павликов ответил весело:

— Бедный Сожа, ты болен, иначе как и почему ты мог бы забыть оружие. Даю тебе оружие! — И Павликов бросил ему свой кольт.

— Отлично!..

Сожа побежал было к кольту, но Рентулич перехватил. Сожа молча и быстро вернулся. Рентулич хохотал, размахивая кольтом, и тогда Павликов сказал, что сейчас будет послана вторая ракета, и, если к тому времени трое не освободят проход в проломе, Рентулич откроет перед ними двери, а пока, если они опасаются репрессий белополяков, пусть уничтожат свои документы. Они рвали бумаги. Цитовский через голову ухмыляющегося Рентулича кинул обрывки в окно. Павликов диктовал:

— «Я посылал две записки с голубями: одну в шесть тридцать вечера, вторую в семь двадцать. Положение танка указано. Команде удалось уйти невредимой. Подпись: командир танковой роты...»

— А карта, командир?

— Вот карта! Ловите!

И он бросил Соже карту операций.

Цитовский, желая, видимо, досадить чем-то, чрезвычайно глубоко и язвительно спросил:

— Но теперь-то, надеюсь, вы не скроете вашей фамилии, товарищ Сергей?

— Не скрою, — ответил Павликов. — А перед подписью вставьте, Рентулич, еще абзац: «Несмотря на трудность и новизну работы, несмотря на малую опытность, команда все же вела себя спокойно, выдержанно и была убеждена в своей непобедимости. Командир танковой роты...»

Пулемет прострочил верх рамы и тотчас же упал вниз. Павликову показалось, что стекло распластало его в непостижимо огромную и непостижимо страдающую плоскость. Покой и теплая темнота распростерлись над ним. Он хотел было рассмеяться от радости, но губы у него были стеклянные...

Командир несколько мгновений стоял грузно и сутуло, задумавшись. Стекла падали. Рентулич вытянул к командиру руки. Павликов упал. Из правого глаза у него била кровь. Он уже не дышал. Пулемет взвился выше, лязгал крышей. Рентулич опустил тело на подоконник и обернулся к трем. Пролом был освобожден. Сожа стоял, склонившись над картой, Цитовский держал фонарь. Рентулич не мог сначала понять, откуда у Сожи карта, затем вспомнил: Павликов ее бросил, когда велел Рентуличу вписать еще абзац о доблестях команды. Сожа читал карту:

— Мы направляемся влево, через перелесок около пруда, мимо мельницы, отмеченной здесь... А затем через шоссе, у каменного креста, мы выходим...

— Рентулич, идем?

Рентулич указал на подоконник.

— В глаз же, ребята! — крикнул он горестно.

Цитовский всезнающий отозвался:

— Да, уж если в глаз, то наверняка.

Сожа, не поднимая головы от карты, подтвердил:

— Наверняка, конечно. Сбирайся быстренько, Мотя: командование перешло ко мне, да и ответной ракеты нету. Быстренько...

— Но вы же в донесении штабу, ребята, отмечены героями, и таковыми, и не иначе, вы отсюда и уйдете!

Сожа понял это по-своему. Он умерших недоброжелателей уважал. Он снял шапку и сказал:

— Привет герою! Все сняли шапки? А теперь вперед!..

Рентулич желал видеть достойный конец этому вечеру подле танка, но он не знал, как и чем ознаменовать этот конец. Он отпихнул сапогом хилый свой наган и, подняв к глазам кольт командира, полюбовался на достойное оружие. Он подумал: «Во-первых, они должны унести труп командира, а во-вторых, поскольку командир вел себя геройски, они обязаны вынести из его смерти соответствующее поучение». Он поднял кольт и, путаясь и заикаясь, сказал речь, из которой всем стало ясно, что Мотя Рентулич готов выпустить оставшиеся в кольте четыре патрона, если команда достойно не почтит командира.

— Он погиб, спасая нас и наши заслуги, нам стыдно отсюда убежать. Мы должны, например, дать обе-

щание в верности его заветам, в верности революции и пролетариату!

Сожа возразил ехидно и справедливо, и все согласились с этим возражением, что несколько странно и даже смешно под пулями белополяков и пользуясь отсутствием у возражавших оружия предлагать им различные обещания.

Рентулич угрожал кольтом.

— Черт с тобой! Слушайте, вы, слушайте!.. Можете назвать мои предложения даже глупостью, но мне некогда придумывать какое-нибудь подобное размышление. Даете ли вы вышесказанное, вполне исполнимое обещание?

Цитовский примиряюще встал перед Рентуличем.

— Какой никчемный и вынужденный разговор, Мотя! Ты предлагаешь? Мы с удовольствием принимаем. Тебе, может быть, формула нужна? Пожалуйста. «Если кому-либо из четырех будет тяжело, остальные трое, где бы они ни находились, по первому зову зовущего придут друг к другу на помощь...»

— Но это же личное! — воскликнул Рентулич обиженно.

Корсаков немедленно и горячо добавил:

— Да, но откидывая всякие личные счеты!..

И Сожа напыщенно заключил:

— Живя только для дружбы и революции!

Рентулич растрогался. Он смотрел на труп командира и плакал. Все здесь исполнили, как могли, свой долг. Сейчас они возьмут тело командира и, как в песнях, понесут его на штыках. Пулемет смолк. Рентулич слушал: из парка доносились обрывки польской команды, топот коней. Он обернулся к друзьям. Аптека была пуста. Убежали! Он вознегодовал, выскочил в пролом — никого. Он повернулся, осмотрел даже танк, затем вышел на крыльцо. Прожекторы, рыская по местечку, наткнулись на него. Огонь встретил его. Он упал. Он смутно помнил, что по нему бежали солдаты, и в околотке только ему рассказали подробно, как белополяки подскочили было к танку, но тут наша пришедшая на позывные ракеты пехота встретила их... Ух!.. Рентуличу прострелили плечо. Позже в околотке навестил его Сожа. Он сказал, что уцелевшие танки перебросили на другой участок фронта, а он опять заведует канцелярией. Рентулич спросил о Павликове. Сожа ответил:

— Сказать откровенно, я и не знаю, нашли его труп или нет.

Рентулич быстро выздоровел, его назначили в авиацию, но там проявить себя достойно он не смог: война окончилась, и Рентулич поехал в Винницу, где детство свое начал пастушонком, а юность подручным у сапожника...

5

Когда красноармейцы овладели остатками тапка «марки пять со звездой», Павликов чуть слышно стонал. Его унесли в госпиталь, долго лечили, и, выздоровев, он стал носить на месте правого глаза повязку, и через лоб шел у него громадный шрам. Вернувшись с войны, Павликов начал работать по нефти в Грозном; оказался он способным и прилежным; его направили в Америку, в Пенсильванию, изучать нефтяное дело. Он вернулся высоким и уважаемым знатоком. Его мать Агриппина Степановна и сестра его Шурочка уже много лет жили в Тифлисе. Шляпки Агриппина Степановна делала неискусно: она старалась, чтобы они получились самых новейших фасонов, а шляпки шли своими путями, и всегда в них заказчицы находили нечто уездное и старомодное. Долго присматривался к матери своей Павликов и наконец понял, что Агриппина Степановна дальше того времени, как умер ее муж, ничего не помнит. Мимо нее прошли гражданская война, многие правительства, но она о них знала столько же, сколько о том, почему меняются фасоны шляп. «Меняются и пусть меняются», — думала она. Увидав, что сын ее явился с войны одноглазым, она начала проявлять большую, но неумелую заботливость, писала в Америку письма через день и все намеревалась выслать туда две пары собственноручно связанных чулок. Она очень обрадовалась, когда Павликов вернулся, и от радости прихворнула даже. Призвали доктора. Доктор сказал, что у старушки слабое сердце и что если можно, то лучше ее не волновать. Он посмотрел на неподвижный, искусственный глаз Павликова, на шрам, пересекающий лоб, не сдержал кривой и досадной улыбки и ушел, весьма чем-то недовольный. Павликов поговорил с сестрой об Агриппине Степановне; из этого разговора ему стало ясно, что и у Шурочки понятия

о жизни весьма странны и весьма выспренни: в жизни она все ждала, что вот-вот на нее обрушится некий водопад, и она все прислушивалась... «Образовать ее надо, и образовать решительно», — решил Павликов, но тут сначала подоспела женитьба на Кате Рождественской, а затем — дискуссия о долине Тба.

Изредка Павликова мучили дикие головные боли. Иногда они продолжались день, два, но иногда — целую неделю. В такие дни ему хотелось внимания, нежности, и в один из таких дней он познакомился с Катей. Катя была нежна, внимательна и весела. Она смело и быстро вошла в дом к Павликову, похвалила шляпки Агриппины Степановны, Шурочке весело сказала, что водопадов в жизни не бывает, а бывает... она и сама не знала, что бывает! И Шурочка рассмеялась и поцеловала ее. Они подружились. В доме стало мельче: появилось много открыток, тряпок, начали есть ненужные кушанья, но было весело и приятно. Появились даже гости; захаживал уважаемый в городе человек Тавчавадзе, о котором позже.

Что же касается дискуссии о долине Тба, то сущность ее заключалась в следующем: где-то на границе Турции и Армении, в трехстах километрах от железной дороги, лежали Тбинские горы и среди них долина Тба, и посредине долины — небольшое соленое озеро с целебными грязями, весьма, говорят, помогавшими людям со слабым сердцем и больными нервами. Летом и осенью в долину Тба приходили караваны с больными из Персии, Турции и даже Туркестана. Способствовало этому и то, что несколько перевалов (троп и колесных дорог) вело в Турцию, и всего один перевал — в сторону Закавказских республик. Долину населяли богатые баптисты, владевшие даже небольшими солеварнями и отличными виноградными плантациями. И вот в 1925 году геологическая партия нашла подле Тбинских гор большие залежи смеси озокерита и асфальта, называемой на Кавказе киром. (Из кира на соответствующих заводах вываривают асфальт.) Исследователи пошли дальше. Подле озера Тба, уже, значит, перейдя горы, они нашли еще более богатые залежи кира, и кроме того была надежда найти асфальт в голом виде, так как в скалах у озера наткнулись на застывший асфальтовый деготь. В Тифлисе возникла мысль построить небольшой асфальтовый завод подле Тбинских гор, но

вдруг геолого-разведывательная партия сообщила, что в долине, по всем данным, должна быть нефть. Тотчас же Нефтесиндикат направил в долину небольшие разведывательные партии. Поиски нефти продолжались в течение почти трех лет. Наблюдались небольшие выходы нефти, не имевшие практического значения.

Вот тогда-то Павликовым было выдвинуто предложение построить не один, а несколько асфальтовых заводов внутри кольца Тбинских гор, возле озера, а, главное, увеличить разведки, оборудовав их новейшими машинами. В 1925—1926 годах с его мыслью мало спорили: она просто казалась неосуществимой; но, как только заговорили о пятилетнем перспективном плане, вновь всплыл проект Павликова. Но теперь на этот проект уже нападал профессор Содман, автор книги «Кавказские нефтяные местонахождения». Профессор Содман был стар, книга его уважалась, его ценили в Закавказской горной академии, где работал и Павликов. Павликов же защищал свой проект, опираясь на свою «геологическую интуицию» и кое-какие указания разведчиков, которым никто, кроме него, не придавал значения.

Но вопрос о нефтяных местонахождениях неподалеку от турецкой границы имел и большое политическое значение. Вот почему закавказская пресса, особенно техническая, уделяла долине Тба большое внимание. К началу осени 1928 года, в общем, вопрос этот еще не был решен, и два варианта — Павликова и профессора Содмана — странствовали по различным комиссиям, разбухали и зацифрялись.

К специальному заседанию нефтяников, посвященному долине Тба, Павликов разработал следующее предложение: послать высокоавторитетную комиссию в долину. Комиссия эта сразу решит: усилить до отказа разведки или прекратить их; работать ли пятидесяти бурильным станкам, или же баптистам разводить виноградники и варить для курдов соль. Павликова поддерживала молодежь академии, и Павликов надеялся, что председателем комиссии будет назначен человек, разделяющий взгляды Павликова, или же сам Павликов. Но в день заседания из Москвы получили газету, посвященную экономическим вопросам, в которой была на-

печатана статья профессора Содмана с язвительными нападками на идею постройки цепи или, как теперь говорят, комбината асфальтовых и нефтеперегонных заводов в долине Тба. Тотчас же представитель Нефтесиндиката в академии и в Тифлисе, Тавчавадзе, до этого не высказывавший своего взгляда, стал на сторону профессора Содмана.

Накануне заседания у Павликова были молодые геологи, работавшие в разведывательных партиях в долине Тба. Вопрос о председательстве Павликова в специальной комиссии они считали решенным, и когда один из них, розоволицый Голиков, предложил Павликову увезти с собой Агриппину Степановну и полечить ее в тбинских грязях, а Шурочке поехать вперед и найти квартиру у баптистов, то и Павликову, и его семье очень понравилось такое предложение, тем более что геолог опять уезжал в этот же день к Тбинским горам и мог таким образом проводить Шурочку почти до самой долины.

— Превосходно, — сказал Павликов, — превосходно!

И в полчаса собралась восторженная и довольная Шурочка, геолог крикнул извозчика, Агриппина Степановна, встревоженно охая, проводила их на вокзал. Катя пошла торопить прачку, купить себе горные ботинки, — суматоха поднялась в их квартире.

И, только придя на заседание в академию, Павликов подумал сконфуженно: «А, кажется, я поторопился! Ясно, поторопился! А все оттого, что хочется, чтобы «они» приняли проект. Нехорошо, нехорошо!.. — И еще ему подумалось, что странная какая-то у него семья: семь лет сидели неподвижно, а тут в полчаса сестра собралась и уехала... — Хорошо — хоть старуху не отправил!..» Он был сильно недоволен собой.

6

Представитель Нефтесиндиката Тавчавадзе собирал картины кавказских художников. Он подарил несколько таких картин Горной академии, картины эти вывесили в коридоре, светлом и широком, перед залом заседаний.

Заседание окончилось. Тавчавадзе стоял у окна, в которое видна была гора Давида и ползущий на нее

фуникулер. Профессор Содман курил подле. Он был доволен: предложение Павликова провалено, а не проваленным оно и не могло быть, так как в книге «Кавказские нефтяные местонахождения» долине Тба отведено три строчки, в которых исчерпывающе доказывается, что в долине нет места нефти.

Павликов шел мимо, приподымаясь, как всегда, на цыпочки и одергивая короткую свою тужурку. Тавчавадзе взял его за руку:

— Обратите на это зрелище ваше внимание, Павликов! Никто еще не мог достойно, кистью разумеется, отобразить гору Давида.

Тавчавадзе разгладил масляиистую и черную свою бороду. Павликов обратился к профессору Содману:

— Я многословен и непонятен, наверное, товарищ. Я вас не убедил в целесообразности моих предложений, но надо признаться, что и вы меня не убедили.

Профессор Содман снисходительно относился к молодости, а кроме того он любил Тургенева. Он посмотрел на Павликова и подумал: «Бретер».

— Вы просто совершили некоторую оплошность, Сергей Дмитриевич, — защищать долину Тба бесполезно.

— Нефтяные разведки ведутся там неправильно, товарищ!

Но здесь в разговор вмешался Тавчавадзе. Он сказал строго:

— Я мало верю такому утверждению. Разведки ведет опытнейший горный инженер Лев Сожа. Между прочим, он обладает недурным слогом, и я вам рекомендую прочесть воспоминания его в «Делах и днях». Они написаны прямо-таки с жаром. Он затрагивает такой участок, как описание боев при участии наших танков на польском фронте. Признаться сказать, я и не знал, что на польском фронте у нас были танки...

— Танки? — спросил Павликов. — Лев Сожа?..

Тавчавадзе раскрыл окно. Гора Давида из синей стала уже розовой. «И никто не замечает», — подумал Тавчавадзе, а вслух он сказал:

— Да, танки... — Он взял Павликова за локоть. — Я люблю вашу семью, Павликов, я, как по-старинному выражаются, друг вашей семьи. Она замкнута несколько, но хорошая семья. Но и понятно... и мать и сестра ваши потрясены этими туркестанскими ужасами... и

кроме того сестра ваша часто читает неподходящие книги. Напрасно вы ее столь самоуверенно направили в долину Тба.

— Пусть отдохнет.

— Я понимаю... Но сестра ваша читает... Я видал в академическом саду — она читала стихи прославленного нашего поэта... читать его вредно в наше время. Вот возьмем текущие события. У вас отпуск?

— Кажется, да.

— Отпуск, я знаю точно. А вы сидите в городе, заседаете и отстаиваете некоторые проекты. Ваше здоровье, скажу вам прямо, слабое... а вы направляете семью и сами рассчитываете попасть в долину!

Павликов рассердился.

— Вернется обратно, если не понравится!

— Но там в это время года малярия, тают снега, обвалы заграждают дорогу в долину иногда на целые месяцы. Как вы попадете к вашей сестре, если, допустим, она заболеет?

— На лыжах.

— Что такое лыжи, Сергей Дмитриевич? Ребячество!..

Павликов вспыхнул: да и кого не возмутят унизительные эти разговоры! У Тавчавадзе красивая голова и борода, но полное отсутствие вкуса, он и картины-то подарил академии невыносимейшей бездарности! Профессор Содман с кантовским своим бесстрастием похож на цветной горшок с засохшей землей и погибшими корнями. И только глаза его блестят, как оставшиеся после поливки капли. Павликов отвернулся от Тавчавадзе.

— Вы со спокойной совестью, видимо, товарищ Содман, согласились председательствовать в комиссии?

— Академия выдвинула мою кандидатуру, Сергей Дмитриевич.

— Но вы же всегда отрицали нефтеносность долины, товарищ?

— Следовательно, академия в принципе согласна с моей точкой зрения, Сергей Дмитриевич.

— Вам уже шестьдесят лет, товарищ, а на Тбинском перевале тают снега и, возможно, грохочут обвалы. Вы же создаете какой-то новый труд, вам надо спешить его дописывать... Разве вы можете рискнуть и имеете ли вы право ехать через горы под угрозой обвалов?

Где-то в глубине профессорского горшка блеснула вода. Вода подумала о необходимости и важности отображений в ней. Вода ответила с признательностью:

— Вы рассуждаете здраво в данном случае, Сергей Дмитриевич.

Тогда Павликов наклонился к его уху и сказал:

— Вы точны и ограниченны, как гиря, профессор!

Вода возмутилась, от этого возмущения она почти испарилась. Сухой горшок покатился по длинному и белому коридору.

— Я не жду от вас вежливости, не говоря уже о прочих талантах и доказательствах, дорогой и почтенный товарищ!

Тавчавадзе готов был вступиться. Павликов обрушился на него:

— Тавчавадзе, я скажу правду: вы перегружены прошлым, как наши трамваи людьми!

Тавчавадзе попытался примириться:

— Я очень люблю вашу семью, Павликов, но все же...

Павликов приподнялся на цыпочки, одернул тужурку.

— Да что вы пристали ко мне с семьей? Вы перегружены прошлым, почтением к истлевшим авторитетам и не замечаете, что приближаются дни, когда пора пересматривать авторитеты — и вокруг нас и внутри нас! Мы опять открываем путешествие вперед, Тавчавадзе!.. Авторитеты!.. Они перешли на нашу сторону только потому, что у них нет физических сил поднять оружие против нас. Может быть, вариант, отстаиваемый профессором Содманом и с этой минуты вами, так как вы тоже вошли в эту комиссию, проще и дешевле, чем вариант мой, и подле гор Тба вы построите опрятный и чистенький заводик, не расходуя больших сумм на разведки и не неся ответственности, но это недоразумение, Тавчавадзе! В долине Тба мы должны иметь огромный, дышащий огнями и бесчисленными жерлами труб заводище!.. Пятнадцать, может быть, заводов! Вам известно, кто населяет долину? Нет? Там, дорогой друг, гнездо баптистов. Они собираются строить храм... или что-то подобное, молельный дом, как у них называется, не знаю. А к озеру из Турции ежегодно приходит

от одного десятка до пяти или больше караванов с больными и за солью. Вы слушаетесь, Тавчавадзе, почтенных людей с толстыми трудами, но с тупыми, как обух, головами, но вы совершаете политическое преступление, которое пролетариат Востока напомнит вам в свое время!.. Факт!..

— Спокойно, спокойно! Вопрос о долине Тба решен твердо и непоколебимо, как о временах года. Тоже факт.

— Она великолепна...

— Великолепна, может быть, но не нефтеносна.

Павликов побежал в библиотеку. Здесь он спросил книжку, в которой были напечатаны воспоминания инженера Сожи. Через дверь библиотеки Павликов видел, что Тавчавадзе по-прежнему стоит у окна и любуется горой Давида. Беря книжку, Павликов подумал: очень жаль, что он раньше не вспомнил фамилии Сожи, иначе давно бы можно было связаться с ним и пригласить к более горячему отстаиванию варианта Тба. Он читал. Библиотекарша, ухмыляясь, наблюдала, как он приподнимался на цыпочки и как пытался стряхнуть изумление с своего лица. Не дочитав, он кинул со злостью книжку и вышел. Но по дороге домой он зашел в книжный магазин, где немедленно купил ту книжку, которую не смог дочитать в библиотеке.

7

Шурочку, сестру Павликова, в ее поездке в долину Тба до самого пика Али-Магом, с которого начинался спуск в долину, сопровождал розоволицый и с розовыми мыслями геолог Голиков. Он восхищался всем: природой, голосом Шурочки, теснотой поезда, отвратительными арбами, в которых они ехали. Он был знаком с Сожей и написал ему длинное рекомендательное письмо, где Шурочку именовал товарищем Александрой Дмитриевной, и ей это было и смешно и трогательно читать. Пик Али-Магом наклонялся над долиной. Невеселую она увидала долину: черное озеро; желтые и плоские скаты; несколько селений; заброшенные вышки, похожие на аэропланы, делающие мертвые петли, и вокруг Тбинские горы, похожие на грязный и разорванный ситцевый полог. Корявый дуб рос на одной из площадок пика. Возле дуба валялись стальные тросы.

Несколько рабочих поднимались по тропе из долины. Геолог сказал, указывая на тросы:

— Товарищ Павликов прав, подчеркивая, что разведки ведутся неправильно, судите сами: вот год назад я был здесь, а тросы все еще не убраны.

Шурочка не понимала, зачем и куда их убирать, и тогда геолог, хотя ему хотелось говорить совсем о другом, стал рассказывать о тросах. Шурочка заскучала и сказала:

— Мне пора, темнеет.

Геолог Голиков хотел пожать ей многозначительно руку, но, так как разговор многозначительный не получился, он ограничился тем, что предложил ей свой адрес, который она и без того знала, но она взяла этот адрес. Они спустились ниже, к сторожке шоссейной команды, где ее ждала арба и сидел уже новый возница — баптист, который должен был доставить ее в долину. Баптист посмотрел на геолога и сказал:

— Землемер? На коммуну нас мерите?

Геолог пытался объяснить, баптист криво развел руками, ударил по лошади, арба понеслась. Голиков вверху, у дуба, махал ей фуражкой. Они ехали долго, баптист все молчал, затем обернулся и, наклоняясь к самому лицу Шурочки, сказал:

— Все они не имеют отношения, а все в землю смотрят, а нам все равно, кто нас ограбить хочет, как его зовут... Нам ото всех жить в темноте приходится!

— Вам должны рабочие разъяснить, — сказала Шурочка.

Баптист ответил:

— Рабочие только малярийные остались, чего они разъяснить нам могут? А из мастеров — только немец Сангигупор и сынишка его приемный Сангиглот...

— Как? — переспросила Шурочка, изумляясь мудрености имен.

И возница ответил не без удовольствия:

— Сангигупор и сын ихний Сангиглот...

8

Разговор в доме Сожи начался с конфуза, был неожидан, смел и показался Шурочке чуть ли не пророческим. Сожа и его жена, пухлогубая, с круглым и от-

рывистым смехом, похожим на янтарные бусы, Ульяна Михайловна, мельком просмотрев письмо, приняли Шурочку весьма любезно. Дом Сожи стоял неподалеку от нефтяной вышки, на небольшом холме. Дорога к дому огибала сначала духан, развалины какого-то селения, потом спускалась к озеру и, минуя вышку, упиралась в веранду. Во дворе дома стояло несколько сараев; валялись машины; запущенность и задумчивость чувствовались во всем. Шурочку провели на веранду. Здесь, возле стола, лежало несколько дешевых курдских ковров. Ульяна Михайловна, не спрашивая совета у мужа, сразу же предложила Шурочке снять у них комнату.

— Я с удовольствием, — ответила Шурочка, — но я не хочу затруднять вас и беру эту комнату временно. А как только я найду дом, то я тотчас же перееду туда. Мы думаем привезти сюда нашу маму. И ей и брату очень нужен отдых. Но как у вас с продовольствием?

— Если вы понравитесь баптистам...

Шурочка прервала ее:

— И брату здесь, у вас, поправится, он хочет ближе к разведкам.

— Нефтяных разведок нет, они окончены... — сказала Ульяна Михайловна резко.

Она подошла к окну. Пик Али-Магом и пятнышко на нем, то, что могло быть дубом, затянул легкий туман. Затем донесся и потряс стекла гул. Шурочка взвизгнула. Сожа сказал спокойно:

— Обвал.

— Обвал, — подтвердила Ульяна. — Не знаю, смогут ли попасть сюда ваши родные. Как бы им не пришлось обождать... месяца два, скажем...

Сожа возразил успокаивающе:

— Но они могут и проскользнуть перед самым обвалом, а что касается того, Ульяна, что разведки окончены...

Ульяна Михайловна рассмеялась круглым и ясным своим смехом.

— Ты сегодня больше смотришь, Лев, на дорогу, чем на свой письменный стол, а там с утра лежит телеграмма, в которой сообщается тебе, что на заседании в академии победило мнение Содмана, а Павликов ваш — уродец, болтун и...

— Простите, — сказала Шурочка, и голос и глаза ее ослезнились.

Ульяна подошла к ней.

— Это ваш возлюбленный? Извините.

— Он — мой брат.

Ульяна потрепала ее по плечу.

— Вот видите, как вредно не читать внимательно писем, во-первых, а во-вторых, сразу же не спрашивать друг у друга фамилий. Но я надеюсь, что, обидев вас, я тем самым не отняла у нас собеседницы и квартирантки. Нам скучно. Что же касается уродства вашего брата, то я это сплетничаю со слов других, а он, может быть, красавец и гений. Извините меня, вы воздушная, а воздушные обид не замечают, а я сама была такой, хотя мне тогда и страшно хотелось мужика с огромными лапищами...

— Вы шутите, надеюсь, Ульяна Михайловна?

— Да, я шучу.

— Обвалы совсем прекращают сообщения, Ульяна Михайловна?

— Совсем, Шурочка. Мы часто бываем отрезанными от так называемого порядочного мира.

— И надолго?

— Я же говорю — иногда на месяц, иногда на два.

Шурочка растерянно оглядела свои вещи. Сожа счел удобным сказать то, в чем он должен был давно сознаться Ульяне. Ульяна и Шурочка были уже на пороге, но он их догнал и сказал:

— Если обвалы окончательно не завалили перевала, то я рассчитываю с минуты на минуту на приезд своих фронтовых друзей... Они из центра... первоклассные и интересные люди.

Ульяна промолчала. Она проводила Шурочку в комнату. Баптист внес чемоданы. Ульяна посмотрела, как Шурочка расплачивается с баптистом, открыла окно, поставила графин с водой на стол и вернулась на террасу. Сожа ходил взад и вперед.

— Зачем ты так грубо начинаешь разговоры? — сказал он.

— Остатки гражданской войны... Вот ты описывал танки, а если бы ты описал мое тело, что оно перенесло на войне, статья бы куда и страшней и величественней получилась бы, Лев Иванович!

— Ты опять... Ты же знаешь, что мне слушать это тяжело... и зачем вспоминать... Всей земле надоела война, а не только мне одному!..

— Ну, ты же вспомнил о друзьях, Лев.

— Ну да, но это те, о которых я писал в журнале...

Ульяна подошла к дверям, Шурочка с полотенцем шла к умывальнику. Ульяна спросила:

— Между прочим, ваш брат женат?

— Женат.

— На ком, извините? Я когда-то знала всех тифлисских дам.

— Если вы помните Катю Рождественскую...

— С косой?

— Она стриженая.

— Но она и стриженая кажется, что всегда с косой.

Ульяна закрыла дверь.

— За каким дьяволом ты выписал сюда своих друзей, Лев Иванович, и что это за друзья, которые согласились сюда приехать?

— Обещание, клятва, Ульяна. Была настоящая жизнь, и мы были...

Он открыл дверь веранды, встал на крыльцо и, отбивая такт ногой по камню, торопливо и неумело начал читать:

Да, умереть мы обещали
И клятву верности сдержали...

— Зачем ты их выписал, Сожа, я тебя спрашиваю?

Сожа вернулся на веранду.

— Ну, поговорить, посоветоваться. А то смотри, бац, телеграмма! Три года я вел работу, и она признана бесплодной, и постольку, поскольку она бесплодна, скажут мне: «Катись колбаской со службы, Сожа». Что друзья? Друзья едут на свои деньги!

— Я не спорю, что подвиг, совершенный тобой в танке, описан поэтично и даже смело, но в таком вопросе, как приезд... ты должен посоветоваться со мной.

— В очень важных случаях жизни я привык действовать самостоятельно, и ты же сама как-то говорила, что больше всего во мне ценишь смелость.

— Да.

Он подошел к ней, потрогал ее по пухлым губам легонько пальцами.

— Так в чем же дело?

Он сказал:

— Мне пора выдвинуться! У меня голова полна планов, но посылать и писать их в долине нелепо. Я попробовал написать воспоминания, и, смотри, какой шум

они вызвали. Друзья меня сразу нашли!.. Я должен переехать в Москву. И ты на меня напрасно вознегодовала. Я их выписал как раз вовремя. Они сделали, судя по их письмам, головокружительную карьеру... Руки бы вымыть, что ли... Конечно, что и спорить, нехорошо, что я скрыл от тебя их приезд, но надо же мне действовать хоть сколько-нибудь самостоятельно от тебя, а то... — Он замялся.

Ульяна сказала задумчиво:

— Продолжай, Лев!

— А то я как-то чересчур послушно тебе подчиняюсь, Ульяна. Это всем заметно.

Ульяна помолчала.

— Да, может быть, ты и прав. Я полюбила тебя, потому что разуверилась в смелости одних и поверила в смелость других.

— Как?

— Я говорю: отлично, а наш виноградник?

— Виноградник? — переспросил Сожа недоуменно. — При чем тут виноградник, Ульяна?

— Я говорю, как же нам поступить с виноградником, арендуемым по ту сторону озера на мое имя?

Сожа вздохнул легко.

— Виноградник!.. Я подумал, какой это виноградник, — ты протянула это слово так значительно. Смешно думать о нашем винограднике, а особенно теперь, когда поворачивается колесо моей жизни в сторону фортуны. И, помимо всего прочего, он бесплоден.

— Ну, в смысле винограда! Ну да, ты прав, Лев!

— Я думаю, что баптисты, захватив самые лучшие и плодородные места, подсунули тебе бесплодную эту штучку, а не ты сама его выбирала! Ты можешь возразить: где же я был с этим мнением раньше? Раньше я был занят разведками, а тебе позволил его арендовать потому, что надо же тебе было чем-нибудь заниматься, иначе со скуки же сдохнешь.

— Ну да!..

— А теперь, если говорить начисто, то надо сознаться, что я рад отступить от него. Да и ты, кажется, не отрицаешь, что он бесплоден?

— Нет.

— В чем же дело? Зачем ты его держала тогда столько лет?

Сожа смотрел на ее пухлые губы победоносно.

Ульяна небрежно сказала:

— Я согласна потому, Лев, что даже детям известно: нефть не способствует произрастанию зелени.

Сожа удивился.

— Десять минут назад ты сообщила мне о телеграмме с таким видом, что ты признаешь победу и доводы профессора Содмана правильными. А он говорит, что нефти нет и не будет в долине!

— Действительно, для Содмана ее нет и не будет!

Она взяла его за руку и, поднимая и опуская ее несколько раз, протяжно сказала:

— А не замечал ли ты, Сожа, в засыпанном ныне колодце виноградника неких рыжих пятен, и то, что из этого колодца никогда не брали воду, и то, что когда ты выходил рано утром, не доводилось ли тебе чувствовать возле озера, у нашего виноградника, запах нефтяных газов?..

Сожа изумленно отнял руку, отошел.

— У меня такая профессия, что часто даже и во сне вижу нефть, и вполне понятно, что спросонья... Да нет, ты так это, играешь!..

— Ты видал ее и наяву. Ты во сне видал бурлящие газы?

— Да.

— Ты их и наяву видел! Ты путал, друг, сны с явью. Ты очень крепко спишь и не любишь вставать рано!..

— Нефть?

— Нефть.

Стемнело. Тропинка к озеру стала желтой и круглой. Возле духана фыркали кони и доносились обрывки незнакомых, но встревоживших Сожу голосов. Все, что говорила Ульяна, пугало и умиляло его. Пугало, потому что он три года, оказывается, покрывал преступление, и умиляло потому, что открытая Ульяной нефть принадлежала ему, и он эту свою нефть имел (хотя и неосознаваемое им) мужество не отдать государству.

— Горы, Сожа! Ты посмотри, Левушка, на горы! Пять или, может быть, пятнадцать проходов из Турции за солью, за лечением... А когда брызнет нефть, а когда соответствующие войска я встречу стаканом нефти вместо вина, то, будь покоен, Левушка, я смогу получить

свою долю в жизни, и не только в страданиях будет заключаться эта доля...

— Позволь... Но существует павликовский вариант?..

— Существовал. Он, надо тебе сказать, существовал далеко еще до теперешней власти...

— Не понимаю...

— Некий капиталист, чаеплантатор и вообще человек малоизвестный, Дмитрий... если хочешь, ты можешь узнать его фамилию... владел долиной, искал здесь нефть, не нашел... уехал, кажется, в Польшу... Может быть, и даже наверное, он отец теперешнего Павликова. — Она рассмеялась, пожала руки Соже и направилась в дом. — Я бы давно, конечно, могла сообщить кому нужно о капиталисте, но я с такими пустяками не люблю выступать!.. И все-таки ведь это же здорово, Левушка, что я нашла нефть?

— Здорово... Но, откровенно говоря, это же безумие!

Ульяна, закрывая за собой дверь, остановилась и проговорила в щель весело и протяжно:

— Может быть, и безумие иметь в социалистическом отечестве нефть, и, добавим, свою собственную нефть, но, согласись, какое это прекрасное и достойное твоей героической жизни безумие, Лев Иванович!

Сожа кинулся с крыльца вниз. Тропинка проходила мимо кухни. Ульяна была уже там. Она раздувала самовар. Пухлые и сильные ее губы со свистом выпускали дыхание. Самовар походил на опущенные руки. Искры летели у него из ногтей. Тоскливым и одиноким почувствовал себя Сожа.

9

Он прошел было уже развалины, озеро уже увидал он, но возвратился. Навстречу ему неслись голоса. Он подумал, что это гости к Ульяне, баптисты — сын Власова, высокий Анисим, и двоюродный брат его Богдан, — по-видимому, влюбленные в Ульяну. Соже не хотелось ни с кем разговаривать. Он влез на камень, чтобы пропустить всадников. Внизу он увидал фонари и чью-то белокурую голову и папаху над ней. Да, многое ему стало ясно в этот вечер, думал он, и многому он научился! Какое сердце надо иметь, чтобы хранить столько

лет нефть и столько лет молчать! Весь характер Ульяны пронесся возле него, как обвал, обдав его и холодом и огнем. Он должен быть достоин этого характера, и он будет достоин... Он выпрямился и погладил широкую свою грудь.

С тропинки неслись раздраженные голоса. Фонари дрожали.

— Что толкаешься?

— А на кого ты прешь, дурацкий заправила?

— Извините, граждане, в такую эпоху нужно закалить свои ряды, а вы ругаетесь, как в трамвае!

— А если он на трудящегося наехал?

Сожа узнал их. Он опустил руки. Отчаяние овладело им. Он закричал:

— Граждане... граждане!.. Произошла неувязка! Сожи здесь нет! Сожа в отпуске!.. Он в Ленинграде, что ли. Здесь охрана разведок, назад!

Он спрыгнул с камня.

Светлобородый, высоко вздымая фонарь, орал на тропе:

— Как в отпуске?.. Но, но, потише, мы тоже с громадным опытом!

— Дорогу укажи раньше, зарвавшаяся военщина!

Светлобородый захохотал.

— Дорогу я тебе давно указал, иди вдоль стены!

— Уверяю вас, что это не стена, а склад.

— Не стена, а замок!.. Остатки феодализма или, более пространно говоря...

Светлобородый завопил:

— Братцы, но ведь это же Цитовский?

— А, Мотя, здорово, поцелуемся!

Они подошли к развалинам. Мотя Рентулич освещал фонарем камни. Был Рентулич бос, оборван, в папахе и подпоясан громадным пастушеским бичом. В одной руке держал четверть красного вина, в другой — прут для шашлыка и громадный кусок баранины. Цитовский, наклонившись с седла, с изумлением смотрел на него. Корсаков держал на седле два небольших опрятных чемодана, мальчишка-баптист, сморщенный и похожий на лапоть, вел под уздцы его коня. Корсаков облегченно вздохнул:

— Здорово, Сожа! Разыграл ты меня, черт, я на самом деле подумал: уехал инженер, и придется переть нам с этими неприспособленными чемоданами обратно! Пустыня, действительно, и насчет баб, должно быть, тоже пустыня... Ну, поцелуемся!

Они слезли с коней. Рентулич принял их чемоданы. Они поправили толстовки, несколько раз присели, разминая ноги, и, уже приседая, Цитовский хвастался:

— Но вы же, субъекты и объекты, благодарите виновника. Кто же вас соединил? Кто прочел сожины воспоминания? Кто же списался?

Он поцеловал Сожу.

— Все я, милые мои, отличные мои!

Рентулич хлопнул ладонью по дну бутылки. Кони вздрогнули. Мальчишка-баптист пропищал:

— Рассчитайте меня.

— Прекрасно, превосходно, — вопил Рентулич, — сейчас мы выпьем, закусим и будем всеобще благодарить!

Корсаков осторожно подошел к нему. Корсаков попрежнему походил на голубя, и голос его стал еще нежней, тягучей и убедительнее.

— Что же, ты по-прежнему пьешь, Мотя? — спросил он.

Рентулич подумал.

— Пью. И много пью. Ежедневно пью. А ты?

— Ну, давно бросил. Однако же по случаю встречи, думается, массы не будут протестовать, если руководящие несколько разрешат. — Он выдернул пробку, понюхал. — Кислое? Я сладенькое возлюбил вообще, а вино в частности.

Цитовский смотрел вбок. Он не слушал. Он, как все великие люди, мог и считал долгом слушать прочих только на заседаниях, а их разговоры в обычной жизни его не интересовали. Да, он всегда держит себя с огромным достоинством, наш несравненный Цитовский!.. Он сказал все же с достаточной небрежностью:

— Сожалею, но солидаризуюсь с тобой, Корсаков, в смысле вина, — у меня, знаешь, Сожа, желудочек начал что-то пошаливать.

Рентулич подхватил Сожу под мышки, поднял. Сожа вскрикнул:

— Осторожно, ты!

И мальчонка-баптист опять пропищал:

— Расчет пожалуйте.

Рентулич поставил Сожу на камень и, тыча ему пальцем в живот и освещая его фонарем, прокричал:

— Что вино? У него разве такое? К Соже лучшее вино в долине привезли.

Сожа, недовольный, соскочил с камня.

— Откуда тебе это знать, Мотя?

— А как же мне не знать, я в долине Тба третий год пастухом у баптистов служу!

— Пастухом?

— Да-с, — проговорил Цитовский ехидно. — Да-с, этот приехал.

И он внимательно оглядел Рентулича. Борода Рентулича, видимо, больше всего потрясла Цитовского. Она была неестественно светла и беззаботна, репьи торчали в ней, щепа величиной в три пальца сияла где-то подле уха.

— Третий год? — спросил Сожа удивленно. — Третий год здесь, в долине?

— Так, угадал. По ту сторону озера, там, где твой виноградник.

При слове «виноградник» Цитовский подтолкнул Корсакова, тот подтолкнул Сожу, Сожа смущенно подошел к Рентуличу и потрогал его за палец.

— Но почему же я писал тебе в Москву, Мотя?

— Потому что у меня в Москве дядя безработный, который и заведует моей корреспонденцией, своевременно пересылая ее сюда ко мне. Вот и твое письмо попало в число прочей корреспонденции.

— Но почему же бы тебе, Мотя, в эти три года проживания в долине не зайти ко мне?

— Сожа, Сожа! Без приглашения? Я совершал много ошибок, Сожа, но до такой невежливости я еще не опустился.

Цитовский ласково отнял палец Рентулича у Сожи и протяжно сказал:

— Чрезвычайно странная манера выработалась у твоего разговора, Мотя. Суди сам: этак всех нас могут заподозрить, что мы, скажем, не москвичи. Ты дискредитируешь нас, Мотя! Пожалуй, можно с тобой согласиться, что ты действительно опустился.

Рентулич восхищенно сжал пальчищем руку Цитовского, тот выдернул, встряхнул, подул на ладонь и отошел. Рентулич кричал:

— Я всецело принимаю твои соображения, Цитовский! Но ты зато здорово поднялся. Честное слово, но ты уже до пояса на какого-то вождя похож.

— Да, я работаю в Госплане.

— Где?

— Весьма странно, что ты не знаешь Госплана, Мотя.

Корсаков важно и медленно вставил, опираясь ногой на чемодан:

— А мною занят пост в Кремле.

Рентулич ошеломленно присел на камень:

— Но вижу же, своими глазами вижу, до чего же вы возвысились, ребята! Я провинциал! Я, извините, если начну говорить, либо напутаю, либо навру! Но, мамой своей клянусь, такого шашлыка, каким я вас угощу, вы не едали ни в Кремле, ни в Госплане!!

Мальчонку с конями отпустили. Рентулич, связав ремнем чемоданы друзей и взвалив их на плечо, ушел вперед. Сожа шагал медленно. Цитовский и Корсаков, стараясь идти с ним в ногу, смеясь и толкаясь, рассеянно слушали его.

— Тут, понимаете, прежде всего я должен перед вами объясниться, что обстоятельства с того момента, как я вам писал, несколько переменились. Тбинский вариант отменен, разведки закончены и фактически почти отменены, покинуты... У бурильных станков остались только рабочие, захваченные малярией. Лето было, надо сказать, дождливое, жаркое, вот и малярия...

Корсаков прервал его:

— А конкретно, дамы здесь есть?

— Дамы? — оторопело ответил Сожа. — Видимо, есть. Но при чем: малярия и дамы?

Цитовский внезапно всполошился:

— Позволь, позволь, какая малярия? Субтропическая малярия?..

Корсаков оттолкнул его.

— Сожа, но мы же девулю встретили возле пика, у шоссейной сторожки!.. Торопилась она сюда, в долину, но боюсь, как бы ее обвалом, того, не прикрыло. Жалко будет. Ножки-то, волосики-то...

— Позвольте, — закричал Цитовский, останавливаясь, — субтропическая здесь малярия или просто малярия?

Сожа ответил:

— Всякая.

Цитовский рассердился.

— Всякая! А тебе известно, Сожа, что для приезда сюда мы подогнали наши отпуска?

— Тут, понимаешь... я не успел еще вас поблагодарить, но...

— Натурой, натурой, — ринулся было на него Корсаков, но Цитовский встал перед ними и сказал наставительно:

— Ты, знаю, Сожа, сейчас начнешь говорить насчет клятвы...

— Собственно, обещания... — поправил Сожа.

— Это все равно. Но ты подумал ли, Сожа, что должны ли мы съезжаться только на основе нашего, детского почти, обещания? Безусловно нет.

— Нет?

— Нет!

— А почему же нет?

— Нет! Разве мы разуверились в мощных силах революции? Нет! Тогда почему же? А потому, что нас ведут массы, и мы ведем массы, и строим мы жизнь не на обещаниях дружбы, а на классовом чутье! Понятно?

— Что же делать? — сказал Сожа растерянно. — Понятно-то понятно...

Корсаков отодвинул Цитовского.

— Подумаем, разберем, освежимся, Сожа. Мы и не в таких смутах разбирались. Сколько у тебя в доме комнат?

— Три.

— Три? Только? А веранда есть?

— Есть.

— Ну, так мы тебя на веранду уложим в случае чего...

— Да я одну и сдал, понимаете, вдобавок.

— Кому?

— Девушке...

— Соответствовать может? — И Корсаков звучно проглотил слюну.

— Ну, я не знаю, Корсаков.

— С девушкой никогда не поздно сговориться, Левушка... А оклад твой каков? Пятьсот, восемьсот?..

— Триста.

— Да... — Он понизил голос. — Значит, стороннпе доходы имеешь, дядя? С баптистов много содрал?

— А за что мне с них драть, Корсаков?

— Содрал, говорю, или нет?

Сожа даже руки поднял вверх.

— Да ничего я не драл!

— И напрасно! Я тебе могу пути к ним подыскать... Они тут церквушку строят, то... се... А ты тут и хапни, Левушка!

— Понимаешь, я даже растерян слегка, Корсаков.

Цитовский похлопал его по спине.

— Ничего, мы к растерянности привыкли!

Корсаков твердо направился вперед.

— Верно! Но растерянность, Левушка, имеет свои достоинства в эпоху катаклизмов.

— Ну, ты, знаешь, шутник, — кисло сказал Сожа.

— Что мне шутить, вот ты действительно шутник. Ведь, по воспоминаниям судя, мы решили, что ты какой-нибудь провинциальный вседержитель. Но ты же, оказалось, дико наврал, Сожа. Пойми, так врать, как ты наврал в своих воспоминаниях, имеет право только человек, у которого дела чрезвычайно устроены и которого никто не осмелится опровергать!.. Твое счастье, Левушка, что мы отягощены опытом и вооружены великим оружием: это применение единой, объединяющей содержание мысли. Мы ехали по долине и видели содержание, а этого вполне достаточно. Этот твой дом?

— Этот.

— Провожай вовнутрь!

Сожа взял фонарь.

10

Рентулич настаивал на том, что если жарить шашлыки, то жарить их надо только на чистом воздухе. И он развел огромный костер на тропинке, возле веранды. Рентулич, как казалось ему, был доволен костром, веселыми разговорами в доме, смехом Шурочки, которую занимал Корсаков, и смутило его только то, что Ульяна внезапно не пожелала выдать ему молотого перцу. Она стояла у огня, возле которого бродил Рентулич. Порыв мелочной скупости доставлял ей, по-видимому, наслаждение. Пухлые ее губы дрожали. Рентулич подбросил веток и взмахнул железным прутом с нанизанными на нем кусочками мяса. От костра пахло сухим деревом.

— Положительно, — кричал Рентулич, — положительно откажешься от ответственности! Выдайте мне перцу, Ульяна Михайловна. Жалеть перец на такой шашлык — уголовщина!

— Напьетесь и без перцу. И, кроме того, я не люблю романтических кушаний, Рентулич!

— Она не любит романтических кушаний! Тогда навсегда откажитесь есть шашлык! Тогда ешьте борщ, цветную капусту, окрошку, вареники. Каким лентяем был человек, придумавший вареники. Я презираю его!

Вечер был теплый, тихий. Поднялась луна.

Внизу, на тропе, послышался женский голос. Ульяна направилась было туда, но остановилась. Размахивая платочком, женщина звала:

— Сюда, Павликов, сюда!.. Я не могу спать в духане... Там клопы в ладонь!..

— Вот это голос, — сказал с уважением Рентулич и отложил шашлык. — Исторической важности голос!

Ульяна озабоченно и со злостью отозвалась:

— Боюсь хвастаться, но, кажется, это моя знакомая. Катя... из Тифлиса. Говорят, она вышла за ученого... Павликов его фамилия.

Рентулич уже обогнал ее. Он мчался навстречу Кате. Он думал, что хоть она достанет ему перец и поможет ему разговориться по душам с друзьями.

— Самоотверженная фигура. Здравствуйте, Катя!

Катя испуганно вздрогнула.

— Что это? Кто там?..

Ульяна догнала Рентулича:

— Это я, Екатерина Петровна, здравствуйте.

Испуг у Кати прошел. Она уже обиделась на то, что Павликов позволил ей испугаться. Она опять обернулась к духану и выкрикнула:

— Я лучше соглашусь ночевать на камнях, Павликов!

Все в ней было легкое, простое и быстрое. И эта легкость и простота наверное столь внезапно и ошеломляюще подействовали на Рентулича. Она направилась к костру. Ульяна шла за ней, смеясь коротким смехом.

— Да, на камнях, Ульяна Михайловна, да!..

— Зачем вам ночевать на камнях, когда у нас вам приготовлена комната и вас ждет Шурочка? У нас веселая и молодая компания. Мы будем кататься на лодке, есть шашлык и пить вино!

— Я вам очень признательна, Ульяна Михайловна. Но разве это муж? Ему, как вы говорите, приготовляют комнату! Ему явно выказывают уважение, а он говорит мне: «Поздно, не будем беспокоить и потому переночуем в духане».

— Какое же беспокойство? А кроме того, в духане живут больные рабочие.

— Больные? Вот видите. Я просто накануне разочарования!

Она развеселилась, тропа была розовая, под цвет ее платья, и, кроме того, она радовалась большому костру и воскликнула, как могла, жизнестойко:

— Павликов, иди сюда! Я поцелую тебя накануне разочарования! Иди, милый, полупрофессор Павликов!

Рентулич обошел вокруг нее. Она его не заметила. Он еще бросил охапку дров в костер. Она смотрела на огонь! Он высморкался. Тогда она подняла глаза и увидала его бороду. Борода его была цвета сосновой, прозрачной почти, смолы. Борода эта и широкий нос, похожий на седло, должно быть, рассмешили ее. Она отвернулась. Рентулич смущенно сказал:

— Удивительно, но никогда не видал профессоров!

Катя расхохоталась.

— Чистая случайность! А я вот в жизни не видала пастушеского кнута. Щелкните, гражданин! Мелодично. Павликов, иди скорей, с тобой желает познакомиться товарищ... Как ваша фамилия, товарищ?

— Рентулич. Матвей Осипович Рентулич!.. Из Москвы тоже.

Она вспомнила что-то, взяла руку Ульяны и пожала. Усталость овладела ею, она благодарила Ульяну за комнату, она слабо позвала: «Павликов!» — и опустилась на камень. Она вздохнула, зевнула, ей хотелось спать, да и шашлыки пахли отлично и сонливо.

— Вы знаете, Ульяна Михайловна, каково идти целый день на лыжах? И, кроме того, нам все время угрожал обвал, и все-таки мы шли и шли! Проводники отказались идти с нами! Я, признаться сказать, перетрусила!..

— Я рада, что вы избрали нашу долину местом своего отдыха, Екатерина Петровна.

— В Тифлисе очень жарко. Я с трудом переношу жару... Я пожелала видеть долину, но, как я вам сказала, я уже раскаялась в этом. Здесь убого и скучно.

— Ваш муж доставит вам много развлечений.

— Едва ли. Он мне их и в городе доставляет не ахти сколько, да и к тому же какой город — Тифлис. Вот Ялта — город так город; там море каждый день можно видеть. А кроме того, Павликов пишет книги, но его книги совершенно невозможно читать: сплошь цифры, и совершенно нет разговоров.

— Как вы можете быть недовольны своим мужем! Он достиг очень многого...

— Что же, знаете, каждый муж добивается, чего может.

Катя поняла, что, должно быть, она сказала что-то неладное. Но ей хотелось спать, трудно было извиняться, и, кроме того, она боялась, что, извиняясь, она совершит еще большую неловкость. Она ласково кивнула на слова Ульяны, когда та, уходя, сказала, что «осмеливается покинуть их одних, так как ее призывают хозяйственные заботы».

Катя протянула отсвечивающий костром ноготок в сторону ушедшей Ульяны. Зевнула, потянулась.

— Вы знаете, товарищ Рентулич, я многих обижаю, но часто сама не знаю чем. Что она вам, сестра?

Рентулич ответил, сматывая бич:

— Отнюдь.

— Любовница?

— Было б чрезвычайно показательным для меня иметь такую любовницу.

— Я ее обидела?

— Бывает. Голос у вас самоотверженный!

— Как?

— Исторической важности, говорю, у вас голос.

— Да, да... Возможно. — Бич тревожил ее мысли. Она подумала, оттого это, что ночь и что в детстве еще ее пугали цыганами. Они проезжали всегда через город в фургонах, с громадными бичами и ножами за поясом. Она посмотрела на привешенный к поясу Рентулича нож. — Вы собственник или пастух? Вы цыган?

Рентулич ответил гордо:

— Убежденный пролетарий. Я был цыганом, коновалом, многим я был! — Он присел на камень рядом с Катей. Она посмотрела на его нож и улыбнулась. Рентулич вдруг обнял ее за талию. — Чего отодвигаться? Чего ж, повторяю, отодвигаться?

Катя встала.

— Ботинки жмут.

Она вышла на тропу. Рентулич шел за ней.

— А давно вы, товарищ Рентулич, пастухом и коновалом?

Рентулич легонько придвинул локоть к ее плечу.

— Дело, собственно, началось с польского фронта, так как и тогда еще...

Катя отодвинулась и рассмеялась.

— Да вы настойчивый!

— Мотя! — услышал он.

У огня стоял Сожа. Он стоял криво как-то, опустив голову и напряженно вытянув вперед шею. Рентулич назвал ему Катю. Сожа молча пожал ей руку. Затем он, все так же криво держа тело, отошел к камню, на котором недавно сидела Катя. Рентулич сунул в огонь шашлык. Мясо шипело, и с прута капала в огонь густая кровь. Катя на разные голоса звала Павликова.

— Явится, — хмуро проворчал Сожа.

От дома с фонарями, с кочергой, к которой был прикреплен нож, выкатился Корсаков. За ним появились Цитовский, Ульяна Михайловна и Шурочка. Поравнявшись с Рентуличем, Корсаков быстро проговорил:

— Я им показываю настоящую рыбную ловлю с самодельной острогой по способу волжских военных флотилий. — Тут он снизил голос и, легонько толкая Рентулича в бок, засмеялся: — Цитовским организован нажим на хозяйку, а я циркулирую возле девули.

— Тише...

— Чего?

Увидав Катю, Шурочка устремилась было к ней, но Ульяна Михайловна удержала ее.

— Но мне же надо, — пропищала Шурочка.

Ульяна положила ей руки на плечи.

— Я знаю, что надо, Шурочка! Но вы посмотрите, какие прекрасные и веселые люди! А если мы им надоедим и они возьмут да и уедут завтра? Давайте ловить рыбу, это дивно придумано! А Рентулич велит приготовить вашим приехавшим внезапно родственникам постели, и завтра, или когда мы приедем, вы наговоритесь вдоволь. Хотите, Шурочка, я к вам прикреплю навсегда Корсакова или Цитовского?

Шурочка всплеснула руками:

— Обоих, обоих!..

Цитовский взвизгнул:

— Гордимся, гордимся! — Он обернулся было: — Но где же Сожа?

Корсаков ткнул его в спину:

— Обойдемся и без мужей. К черту Сожу!

Кате очень хотелось спать, и она обрадовалась даже, что Шурочка не подошла к ней. Сожа смущенно посмотрел на улыбающегося Рентулича и сам попытался улыбнуться. Понятно, что его на камне не заметили! Да, ему все понятно!..

— Дело в том, Мотя, что в озере нет рыбы, и Ульяна знает это отлично. . руки бы вымыть, что ли... Как ты думаешь, Мотя, они меня разыгрывают? Я же не прятался и они не ослепли!

— По-моему, разыгрывают.

Сожа оживился, но на минуту. Он поспешил домой, но вернулся и с глиняным лицом и темными губами сказал:

— Теперь я убежден, что разыгрывают! Но я их тоже, смотри как, разыграю.

Он уныло направился к озеру. Оттуда доносился лязг цепей: отмыкали лодку. Катя сонно посмотрела ему вслед.

— Женщины чаще всего погибают от настойчивости, — сказала она. Рентулич убежденно подтвердил:

— Настойчивость есть цель жизни. — Он широко указал ей рукой на озеро, на лязг цепей и на голоса. — Лодка вместительная, большая! Присоединимся к предыдущим, а?..

Павликов видел их.

Да, мимо него прошли и Корсаков, и Цитовский, и еще попозже Сожа. Да, Сожа постарел, хотя и попрежнему красив, а Корсаков и Цитовский, о которых Павликов давно уже слышал много недоброго, видимо, стали еще наглее. Его удивил приезд их в долину, и он подумал: «Если Сожа не знает или не хочет знать настоящее их лицо, то как сказать об этом Шурочке, которая с восхищением держит руку Корсакова, и не столько сказать, сколько доказать немедленно?.. Поторопился ты в долину, Павликов, поторопился!..» Он приподнялся на цыпочки, одернул короткую свою тужурку и, пропустив людей с острогой, с фонарями, послушав, как они спорят у лодки, вышел к костру. До этого

Павликов бегло перекинулся несколькими словами с рабочими, живущими в брошенном духане, но и по этим нескольким словам ему стало ясно, что положение дел на разведках неважное; не понравилось ему также и то, что Шурочка наняла комнату у Сожи, и то, что Катя ушла кверху. Его обрадовало только то, что она не в лодке, а дремлет у костра. Когда вышел на свет, он не сразу узнал Рентулича. Борода очень меняла его, но не старила, а делала каким-то неуклюжим и трогательным. Широкий нос его был облуплен солнцем и покрыт некоторым подобием стружек.

— Павликов, — сказала Катя, — тебе же, оказывается, приготовлена комната в единственном культурном месте долины!

— Да, но она шумна для меня, Катя!

— Уж не находишь ли ты, что в духане тише?

Павликов направил на Рентулича стеклянный и неподвижный свой глаз.

— Приятный вечер, Рентулич! Мы встретились-таки?.. Я не люблю мемуарных встреч и мемуарной литературы, но что поделаешь, если жизнь более выспренняя, чем мы о ней думаем!

11

«Человечество жило в чудовищно прекрасные дни, каких оно не видало никогда раньше! Над океанами и над материками проносились летающие корабли; люди разговаривали друг с другом на расстоянии тысяч километров; исчезали религии; величайшие художники и философы воспевали радость жизни, строились гороподобные здания, и население столиц и городов во много раз превышало некогда блиставшие царства древних. На земле исполнялось все то, о чем писали утописты, книги которых наконец-то стали смешными и наивными, и вот на гигантских равнинах, называемых некогда Российской империей, произошло самое чудеснейшее нз чудес земли: несколько миллионов людей, признавая истину и перенеся жестокие сражения, болезни за эту истину, которая заключалась в том, что недостойно звания человека работать так, чтобы его трудом пользовался другой, лентяй, может быть, или негодяй, — эти несколько миллионов человек решили закрепить свои

мысли на деле и показать всему работающему миру, всем угнетенным и страдающим, что машины, изобретения, науку, фабрики и заводы, которые обслуживают теперь капиталистов и аристократов, должно и пора обратить против них так же, как в гражданскую войну было обращено против них же оружие! И с этой целью, начиная с 1928 года, на равнинах, некогда называемых Российской империей, должны с невероятной, чудовищной и напряженнейшей быстротой воздвигаться заводы, фабрики, лаборатории, вскрываться недра, взрываться горы... Мысль эта, исповедуемая многими миллионами, и ясна, и прекрасна, и выполнима, и люди, казалось, должны бы плакать от умиления, что живут и видят такую эпоху; но все же находятся и такие, которые всеми доступными им средствами, иногда понимая то, что делают, но чаще всего от глупости и трусости, препятствуют пролетариату и его лучшим друзьям!..»

Так думал Павликов, стоя возле Рентулича у костра в сухую осеннюю ночь долины Тба.

— Итак, мы встретились-таки? — начал он.

Рентулич глядел на него ошеломленно и растроганно. Он страдал от радости, и его светлая, почти прозрачная, борода больше, чем когда-либо, походила на кусок сосновой смолы, охваченной пламенем. Он даже готов был и рад признаться в каких-то своих прегрешениях, но у него не было никаких прегрешений, кроме молодости. Он все же завопил с горечью:

— Товарищ командир!..

Павликов сказал, чтобы успокоить Рентулича, с возможной для себя униженностью:

— Ну, какой я командир, Рентулич?.. Однако раньше каких бы то ни было разговоров я скажу вам откровенно, Рентулич, что мне ваши друзья не понравились, и я даже пойду дальше, признаюсь, что больше, чем таинственность, я не люблю мемуарных встреч, и я обязан заявить вам, что не желаю встречаться и не встречусь с ними и встрече буду препятствовать, как могу. Вам не нравятся мои мысли? Вы можете покинуть меня... — Он обернулся к жене: — А чтобы доставить тебе все удобства, Катя, я думаю, что нам лучше поселиться не в духане, а в баптистской деревне.

Катя, стараясь придумать что-нибудь обидное, ответила:

— Баптисты такие волосатые и старые. Я боюсь их, Павликов. И, кроме того, нам придется по камням сейчас возвращаться: нет ни коня, ни машины!

— Катя, но ты же сама вызвалась проводить меня сюда.

Вот теперь она действительно обиделась! Да, она вызвалась, но разве можно женщину упрекать такими недоразумениями в ночное время и при постороннем человеке! Да, она многое прощала Павликову, хотя, если признаться, он был всегда отменно вежлив, и если несколько возвысил свой голос, когда сегодня шли через снега, то потому, что она совершенно явно боялась обвала. Но все же она прошла через снега, там, где редко кто пройдет! Теперь уже она возвысила голос, но, как только она его возвысила, она поняла, что из возмущения ее ничего не выходит: она устала, желает спать, и эта усталость так ее растрогала, что она готова была прослезиться, и вскоре она, точно, легонечко прослезилась.

— Да, — наивозможно острее упрекала она, — да, но вы столько кричите об индустриализации, что я поверила вам и решила, что в России нет больше дебрей! А вот проехала целый день в невозможных горах и снегах и поняла, что, в сущности, я хочу в Крым. И, кроме того, почему ты, Павликов, пишешь такие книги, о которых нельзя со знакомыми побеседовать? Что я им скажу, зачем мы сюда приехали?

— А ты промолчи.

— Хорошо молчать Рентуличу, но я-то как-никак жена ученого! Я настойчивая, а женщины, как утверждает все тот же товарищ Рентулич, чаще всего погибают от настойчивости.

Павликов стремительно указал рукой на стену:

— Бабочка, Катя, честное слово, бабочка!

— Где бабочка? — тотчас же забыв свои слезы, оживилась Катя.

— Над мостиком пролетела, туда, ниже. Долина Тба, Катя, славится редчайшими бабочками.

— Почему же ты раньше мне этого не сказал?

Теперь ей стало совестно своих слез. Года три тому назад она как-то подумала, что стареет (сейчас ей было двадцать пять лет) и что для нее остались немногие дни, когда она еще может показать свою бегущую лов-

кую фигуру, красивые ноги в коротком платье, — она и увлекалась ловлей и коллекционированием бабочек, а кроме того, ей нравилось думать, когда она прикалывала бабочек, что ее, молодую и цветущую, тоже кто-то сильный и ловкий ловит... Она сказала Рентуличу:

— Долгое время я думала, что меня с Павликовым соединяют чисто научные интересы, так как надо сознаться, что изучение бабочек на Кавказе совершенно почти непочатое предприятие! Здесь увлекаются чем угодно, а не бабочками. Но почему ты, Павликов, раньше мне ничего не сказал? Я, может быть, говорила бы с тобой как равный с равным.

— Я хотел тебя обрадовать.

Катя осмотрела фонарь, расправила на пальцах носовой платок и деловито начала красться к стене, и вот уже Павликов слышал, как она бормочет среди камней:

— Мне некогда идти за принадлежностями, но у меня и из носового платка не выскользнешь!..

Рентулич с обидой на себя подумал, что он осмелился вздрогнуть от ее голоса, но тотчас же он утешил себя, что вздрогнул он не оттого, что уже предчувствовал: она жена командира, во-первых, а во-вторых, почти ученый, профессор, специалист по бабочкам! Рентулич успокоился: все уладилось за этот вечер, многое стало ясным, он опять сунул мясо в огонь, и, так как от лодки еще доносились голоса и особенно был резок визг Цитовского и так как командир желал отдохнуть, он предложил скрыть его в тьму, за камень, за костер.

— Сожа несколько озлоблен? — спросил Павликов, послушно усаживаясь на камень.

— Не замечал.

— Зачем им на лодке ночью плыть?

— Баб щупать, — начал было Рентулич, но, вспомнив Катю, сконфузился и торопливо добавил: — А может быть, и с нефтяными целями?

— Что говорят баптисты о нефти?

— Я же больше по скотоводческой части, я коновалом и пастухом был.

— А вы подумайте и припомните: что они говорят о нефти? А?..

— Слушаюсь. Они о виноградниках больше, о боге и о колхозах...

— Вы не читали мою книгу о нефтяных местонахождениях в долине Тба, Рентулич?

Рентулич устыдился опять.

— Признаться, я замотался и давно-таки не почитывал по разным таким вопросам.

Павликов удовлетворенно подумал, что Рентулич искренен.

— Я пошутил, Рентулич, я тоже замотался и давно-таки не пописывал по разным этим вопросам. У меня нет таковой книги.

— Хо-хо-о!..

Рентулич был чрезвычайно удовлетворен этой затейливой шуткой, которой он совершенно не понимал, но которая насмешила его необыкновенно. Он хохотал долго и с упоением, и даже Павликову, глядя на его сверкающую бороду, захотелось рассмеяться; но так как после операции рана его мучила долго, то он привык держать лицо неподвижным, и только несколько гмыхающих звуков изображали у него смех. Он растянулся; Рентулич, услышав приближающиеся голоса, подбежал к нему и передал длинный железный прут с шашлыком. Павликов с удовольствием ушел бы спать, но он не знал иной тропы к духану, и он шепотом ответил на приглашение Рентулича:

— Благодарю, съем, дайте мне нож. — И Рентулич сунул ему острый свой коновальский нож.

Шашлык пах медом, луком, огнем, костер походил на желтую птицу, и люди в черном, с веслами, мокрыми и пламенеющими, остановились у костра. Они догоняли встревоженного Сожу. Сожа звал: «Рентулич!» — и Рентулич шепотом своим чуть не сорвал ухо Павликову:

— Ешьте, все ешьте, ну их к лешему! — и еще глубже утолкнул его в темноту.

12

Лицо у Сожи было унылое и голос глух. Цитовский лез ему своей круглой грудью прямо на лицо и попискивал весьма испуганно и страстно:

— Да дело не в Рентуличе, не в Рентуличе. То, что ты сказал, Сожа, невозможно осуществить, ты доведешь меня до апелляции по инстанциям, Сожа!

Ульяна, с веселым и ясным своим смехом, уведя Шурочку к веранде, быстро возвратилась и, видимо мало веря Соже, сказала протяжно:

— Действительно ты поступил неразумно, Лев.

— Мало сказать неразумно, — безумно!

— Потрясающе глупо! — подхватил возглас Цитовского сизый Корсаков.

Он жадно увивался возле Шурочки. Он жал ей руку, в то же время так получалось, что и не жал, а это только был намек на пожатие. Он изображал восхищение на лице, но и на самом деле он восхищался собой и тем, что вот умная и воздушная девушка понимает его и слушает его с удовольствием, и пройдет еще несколько дней, и сестра ученого Павликова пойдет туда, куда захочет он, Корсаков! Сейчас ему хотелось догнать ее; высказать ей те мысли, какие у него зародились впервые в его жизни о любви и счастье (эти мысли посещали его часто, но всегда ему казалось, что они посещают его впервые; впрочем, вымолвить их ему никогда и никому не удавалось, потому что он в таком случае тянул всегда что-то необыкновенно скучное и длинное); поэтому он воскликнул с негодованием:

— Да, здорово ты нас!

— Да, здорово разыграл я вас, — неожиданно оживленно сказал Сожа.

Его окружили. Он попеременно стал класть широкую и вязкую свою руку каждому на плечо, говорил два слова и снимал ее торопливо. Слушали его внимательно.

— Я вам сказал, что я переговорил с Павликовым и тот согласился временно, до приезда синдикатской комиссии и для поднятия духа в долине, взять руководство на разведках. Он предполагает организовать из приехавших сюда комячейку, профсоюзный актив и еще что-то на это похожее, а кроме того, наладить антирелигиозную пропаганду с целью внести некоторое успокоение среди баптистов, которые что-то стали молчаливы и скрытны!.. Вон даже Власовы уже три дня, как к нам не заезжают...

— Заедут, — сказала Ульяна уверенно и зло.

Ее злило, что Сожа, никогда не говоривший о Власовых, вдруг здесь решил почему-то намекнуть о заметных всем чувствах братьев, о посещениях их... О любви их...

— Ну и что же? — взвизгнул Цитовский.

— Так я вас разыграл! — повторил Сожа, опуская руки в карманы.

Даже Ульяна — и та удивилась.

— Как разыграл?

— А так и разыграл!

И Сожа сказал торжественно:

— Так как ясно, с чем сюда едет Содман, то я предлагаю: плюнуть на все это дело, не раздражать баптистов, пускай принимает синдикатская комиссия все наши манатки, ибо, сколько уже теперь ни отговаривайся, раз ты нефти не нашел, то слава богу, что не вредителем, а только сволочью и жуликом окажешься.

— Последовательно, — согласился Корсаков, — последовательно мыслишь!

— А посему я попрошу Сангигупора и Сангиглота...

— Кого? — оторопело спросил Цитовский.

— Я попрошу их просмолить нашу лодку с тем, чтобы мы могли возможно скорее переселиться на мой виноградник. Там я вас чествую собственным виноградом, солнцем, ибо там южная сторона...

Ульяна была довольна всем, что сказал Сожа.

— А если комиссия приедет? — спросила она только.

— Комиссия? Чтобы старая кочерыжка Содман согласился ехать под обвалами, так извините!.. Черту сейчас сюда не пробраться, а не только что комиссии. Ну, а если она выедет и известит нас телеграммой, то, пока она едет сюда из Тифлиса, мы двадцать раз успеем возвратиться.

Цитовский вздохнул, как он только смог, весело. Он уже начал раскаиваться в том, что приехал сюда.

— Тепло, — сказал он, — свет, виноградники, пляжики!.. Люблю я сочувствовать пляжикам и беспартийной жизни.

Корсакову хотелось уйти, и так как он знал, что уйдут только тогда, когда начнется разговор наивозможно практичный, поэтому он сказал глухим голосом:

— Я бы советовал, товарищи, предварительно улучшить охрану разведок, которая, как я заметил, ведется больными и малярийными рабочими совершенно неряшливо. Я видал, у склада со взрывчатыми веществами спит караульный, и ружье у него заржавленное и без патрона! Практическое мое предложение...

— Там и взрывчатки-то пустяки осталось, — возразил ему очень недовольно Сожа, — и когда ты успел к складам попасть?

— Ну, я-то успею! Я за свою жизнь шесть раз земной шар успел объехать!..

Корсаков угадал: все заторопились к дому.

Но вдруг Сожа расхохотался. Хохотал он редкими и вялыми взрывами, и всем неприятно было его слушать.

— От одного такого смеха не только рабочие, а и все население долины может разбежаться, — сказал Цитовский.

Сожа прекратил смех.

— Почему?

— Дожди так смеются, а не люди. Ну, над чем ты хохотал? Я глубоко убежден, что плакать придется над твоим смехом — и тебе в том числе!

— Придумал! Охрану разведок поручаем Мотьке Рентуличу. Он дурак, но исполнительный дурак. Ха-ха-ха...

Но тут Цитовский ринулся к Корсакову и завизжал:

— Очко! Обратите внимание, он всегда отказывается, очко!

Корсаков затрясся, злясь:

— Нет очка!

— Очко!

— Нет очка!.. нет очка!! нет очка!!!

Ульяна быстро пошла вперед.

— У вас страшно пронзительный и неприятный голос, Цитовский, но я вас все-таки попрошу объяснить мне: какое это очко?

— Очень просто, Ульяна Михайловна, — подскочил к ней Корсаков, — я объясню! Еще будучи в центре, до отъезда сюда, Цитовский меня упрекал, что я будто бы злоупотребляю фразой «ослащая узлы противоречий», а это есть фраза высокоавторитетного товарища... — Он поочередно прошептал всем на ухо чье-то имя, и все с почтением отвернулись от званий, столь громких и знаменитых. — Но и со стороны Цитовского я заметил жест хватания за голову, а это есть жест еще более авторитетного товарища в данное время. — И он еще раз наклонился к своим друзьям, и теперь уже удивление отразилось не только в лицах, но и в фигурах. — И что же мы решаем предпринять? Мы принимаем за исходное положение каждую нашу обмолвку, которую и считаем за одно очко, и устанавливаем финиш, который и будет после пятнадцати очков с той или иной стороны!

Выигравший этот финиш получает от своего противника тридцать пять целковых, а от меня вязаный заграничный жилет вдобавок! Я не верю в возможность моих обмолвок и не боюсь потерять свой заграничный жилет!

— Где же вы купили свой жилет? — смеясь круглым своим смехом, спросила его Ульяна.

— Сколько помнится, в Лондоне!

— И опять соврал, — сказал Цитовский тихо так, чтобы его не слышали: для своего утешения сказал.

13

На веранду выкатился Цитовский и пронзительным и длинным, как струна, голосом взвыл к Рентуличу и к его шашлыку. Шашлык остыл, костер погасал; Катя, поймав желтую и круглую бабочку и подняв фонарик над своей головой, рассматривала ее на ладони. У Кати было свежее, очень простое и очень хорошее лицо, у ноздрей были две глубокие и веселые морщинки: не от старости, а от обильного смеха. Павликову стало несколько жаль, что он поднял ее на поездку. Еще в Тифлисе, перед отъездом, ему подумалось, что едва ли правильно иметь революционеру столь легкую жену!..

— Вас кличут, Рентулич!

— Плевать!!

— Забавно... Но все-таки трудно согласиться, Рентулич, что если сердце у человека железное, то закон не должен быть для него наковальней.

Катя посмотрела ему в лицо, встревожилась:

— Но ты, Павликов, волнуешься! Ты опять начнешь крутить кольцо...

Павликов прервал ее, он, как только мог просто, чтобы это не показалось пошлостью, сказал Рентуличу:

— Она говорит, Рентулич, что когда я думаю о любви или дружбе, то я кручу кольцо, и не похожи ли все ее утверждения на то, что и рыба тоже бы пела о любви...

Рентулич понял это по-своему: Павликову стыдно, как коммунисту, носить кольцо, а кроме того, он думает о прошедших мимо, с озера, друзьях, об их выручке...

— Рыба? Что рыба! В озере нету рыбы, — сказал Рентулич.

— Но у рыбы полон рот воды, милый Рентулнч!

Рентулич почувствовал связь этой шутки с той, которой он не понял раньше, но которая его так насмешила. Он рассмеялся. Катю этот смех обидел, и она повторила:

— Но ты же, Павликов, все-таки крутишь кольцо?

— Катя! Катечка!.. Я наслаждаюсь твоей любовью и твоей заботливостью! Не зевай, Катя, — я верю, что ты устала.

— Да, я устала и хочу спать, долго спать.

— Итак, вы утверждаете, Рентулич, что обвалы закрыли вход в долину?

— Так точно. Закрыли, командир.

— Командир! Не будем потрясать старыми доспехами, Рентулич, — от них пахнет молью.

Катя сонно потянула его за рукав:

— Моль не пахнет, Павликов, пахнет нафталин.

— Ты, как всегда, права, Катя!

Он пошел было вниз, но вернулся к Рентуличу.

— Итак, Сожа отказался продолжать бурение, Рентулич?

— Почти что можно утверждать, Сергей Дмитрич.

— Вы возмущаетесь этим, не правда ли?

— Ясно!

— Вы думаете, что если бы вам поручили вышки, то вы продолжали бы это бурение с напряжением, достойным эпохи?

— Я же герметически необразован. Я ж коновал, Сергей Дмитрич!

— Вы полагаете, что вскрывать жилы с кровью легче, чем жилы с нефтью?

— Легче.

— Да, вас бы могли засыпать обвалы; вы б голодали; вас бы мотала малярия, и гнилая вода отравляла б ваше тело, вас бы могла забыть семья, и вы б забыли о семье, и баптисты бы вам угрожали дрекольем, но вы бы, покинув семью, любимую женщину, бурили!

Он говорил монотонно, тихим голосом раздумья, и эти монотонные и глубокие слова беззвучным громом пронеслись над Рентуличем. Ему хотелось закричать: «Укажите, как мне повернуться к этому делу, каким боком встать к работе!» А вместо этого он сказал:

— Ведь если герметически закупорено, так туда же даже и гадость не проникает, Сергей Дмитрич.

— И все же, Рентулич, попытайтесь вспомнить, что говорили баптисты о нефти.

Катя опять потянула за рукав.

— Разве мы остаемся здесь, Павликов? — сказала она сонно, но уверенно думая уже о том, как хорошо будет завтра уехать.

— Невозможно! Я согласен с тобой. В долине этой жить? Нет. Едва только стает снег обвалов, едва освободится перевал, мы немедленно возвратимся к мягкому вагону, и снова перед тобой откроются все обширности земли, Катя.

— А зачем мне обширности земли, если ботинок мне жмет ногу и муж мой специалист!

14

Пока в доме Сожи шли сборы, складывали вещи, сундуки, перемывали и чистили посуду и пока мастер Сангигупор, который знал все рукомесла планеты, — правда, все одинаково плохо, — пока он весьма неумело смолил громадную лодку, Рентулич все ходил вокруг дома и все вспоминал. Спал Рентулич на дворе, в небольшом сарайчике, служившем сеновалом (Сожа обладал двумя тощими коровенками, которых тоже решили переправить в лодке, так как обходом, вокруг озера, гнать их было трудно и далеко), и довелось ему проснуться утром от коровьего мычания: забыли коров за суматохой подоить! И под это мычание он вспомнил: давно, года три тому назад, когда он пришел в эту долину, и поступил к баптистам, и впервые угнал в горы табун, проходил мимо этого табуна старичок Никита, по прозвищу Гурьич, так как любил он говорить, что родом он из города Гурьева, из великих казачьих семей Яика. Старичок закурил у костра, сказав, что идет в услужение на виноградник к Ульяне Михайловне и что впервые за свою жизнь, — продолжал он с горечью, — приходится ему стеречь виноград, ибо раньше он всегда стерег нефть у больших и богатых людей; но времена теперь не те... — старичок испуганно и мгновенно замолк, так как все поняли его обмолвку, заторопился, — а когда он исчез, пастухи посмеялись, что не зря старичок липнет к виноградникам, много этот старичок нашел в своей жизни нефти и много получил и прожил денег, да и опять же не зря Власов копает че-

тыре колодца на этом новом винограднике... Нет ли там нефти?..

Вот о ком нужно знать Павликову!..

Павликов должен проверить эти четыре колодца, выкопанные на винограднике Сожи и его жены! Павликов должен крепко поговорить со старичком Никитой Гурьичем! А вот каков этот старичок собой, Рентулич так и не мог вспомнить. Беспокойство охватило его. Солнце только поднялось. Рентулич кинулся в баптистскую деревню, дабы нанять коня для Павликова. «Табуны в горах, коней нет», — сказали ему. Рентулич бросился в сельсовет. Весь сельсовет и два милиционера, охраняющие советское право в долине, ушли к перевалу, — поговаривали, будто обвалом кого-то и где-то засыпало!.. Подозрительным все это показалось Рентуличу, да и встретили его весьма сухо. Рентулич вернулся к разведкам и путано передал Павликову о старичке Никите Гурьиче и о том, что нет коней... Павликов сказал:

— Что же, попробуем на лодке!

И направились они к лодке, пристани, Сангигупору.

15

Давно уже собирался мастер Сангигупор возвратиться в Германию! Но вначале он был пленным и радовался, что не погиб на бранных полях; затем он стал свободным и радовался, что бьется за революцию; затем он полюбил и радовался, что может встретить такую огромную любовь в такой суровой пустыне; затем любимая его умерла, и, когда несколько улеглось в его сердце горе, он радовался уже тому, что встретил здесь редкого человека: на руках его остался младший брат его жены, пятнадцатилетний и бравый Сангиглот, который характером своим весьма походил на решето: дыр много, а выскочить некуда, причем под дырами подразумевал Сангигупор стремления Сангиглота, ибо Сангиглот стремился ко всему: к нефти, к радио, к виноградникам, к дорогам через перевалы, он все желал исправлять, переделывать так, чтобы людям было приятно и весело жить на земле! Но Сангиглот молод! Вчера, например, приехал (Сангигупор не видал еще его) профессор Павликов из Тифлиса. Вояка, боец, хитрец, путешественник!.. Сангиглот готов был прилепиться к Павликову, а Сангигупор почувствовал, что ему уже

пятьдесят с лишним лет... Размышления его прервал приход Павликова.

Павликов увидел тощий солонцовый берег, камни в озере, похожие на пчел, а озеро вокруг них вилось — черное и пустое как бы! Изредка ветер освобождал от туч противоположный берег с бледной зеленью и низкими домами баптистского селения. Хмурый и однорукий, в заплатанной фуражке ландштурмиста, Сангигупор скатывал лодку по маленьким бревешкам в воду.

— Почему вы предпочитаете чинить лодку, а не исполнять вашу прямую обязанность, мастер?

— То есть? — спросил спокойно Сангигупор: его, в противоположность Сангиглоту, сразу не восхитила привычка Павликова подниматься на цыпочки, оправлять тужурку и ходить правым плечом вперед, «по-бульдожьи», как военные привыкают ходить в узких траншеях.

— А именно — бурить.

Мастер ответил ему вопросом:

— Вы вчера очень выпили?

— То есть? — передразнил его Павликов.

— То есть вы, гости.

— Если я гость, то я ваш гость, я гость рабочих, мастер!

Многого не понимал в этой стране Сангигупор. Очень часто не понимал он; например, когда люди в этой стране шутят, а когда говорят и поступают серьезно и с сознанием долга. Сангигупор решил тоже пошутить:

— Вы гость? Нам трудно вас будет прокормить, гость, так как похоже, что баптисты категорически отказались продавать рабочим продукты. И не землемер ли вы, о котором говорят они?

— Нет, и не землемер!

— Тогда вы дачник?

— Да нет, я и не дачник.

— Тем хуже, тем хуже для вас, если вы не дачник! У нас нет ничего, кроме остатков сушеной рыбы, которую когда-то по весьма схожей цене продали нам баптисты... Да, некогда они продавали нам даже мясо, а теперь не дадут и сушеной рыбы!

Сангигупор отвернулся от ветра, дабы закурить и кстати посмотреть на гору: не спускаются ли приехавшие гости с вещами. А когда он повернулся, Павликов уже оттолкнул лодку, и лодка плыла уже в саженях

трех от берега среди камней, и Павликов рассматривал: правильно ли поставлен парус. Сангигупор был даже слегка растроган такой помощью и подумал, что Сангиглот умеет выбирать отличных и вежливых людей.

— Хорошо ли я засмолил, Herr профессор? Мне бы рыбаком быть, не правда ли, Herr профессор?

— Зачем же Сожа держит лодку, если в озере нет рыбы? — спросил Павликов, продолжая рассматривать парус.

— Берегом ездить и дороже и длиннее!

Но тут Павликов вздернул парус. Лодка рванулась вперед.

— Вы по ошибке, Herr профессор?

— Нет, я уплываю, Herr мастер.

— Куда ж уплываете?

— Куда мне понравится.

— Но я же отвечаю за лодку!

— Я вернусь не позднее завтрашнего вечера!

Сангигупор разозлился. Он засучил штаны, скинул сапоги и вошел в воду. Камни мешали лодке. Она медленно виляла среди камней. Сангигупор догонял ее, но уходил глубже и глубже. Вода по пояс, выше!.. На берегу показался Рентулич, затем Катя. Вода залила грудь Сангигупора и поднялась ему к шее, он вспрыгнул на камень, встал на четвереньки, вода лилась с него, лодка крутилась вокруг камня, и Павликов при каждом слове, поднимая вверх палец, увещевал:

— Товарищ Сангигупор, вы смолите лодку, но вы обязаны бурить! Товарищ Сангигупор, вы говорите — нет нефти, но не позже завтрашнего вечера вы получите от меня явные признаки нефти, имеющие практическое значение! Практическое!..

— Я желаю получить лодку! Сейчас!

— Бурите, мастер!..

Для того чтобы выйти в открытое озеро, лодка неизбежно должна была пройти мимо гряды камней, лежащих близко друг от друга. Гряда эта походила на змею, и крайний камень походил на змеиную голову. Сангигупор сообразил, что если поторопиться и быть ловким, то он успеет раньше, чем Павликов на лодке, забежать на крайний камень гряды.

— Вы говорите бурить? — крикнул он, прыгая на первый камень гряды.

— Бурить, бурить!

— Но нет же смазочного! — крикнул Сангигупор, прыгая на второй.

— Чего нет? — спросил Павликов, усиленно гребя.

— Смазочного! — прыгая на четвертый, вопил Сангигупор.

— Чего?

— Масла...

— Какого масла?

Павликов увидал Катю. Она спешила к берегу.

Забавные мокрые скачки волн, веселая черная лодка, лавирующая среди камней, Павликов рулевым, — все это очень радовало Катю. Она спросила, делая из ладоней рупор:

— А зачем тебе масло, Павликов?

— Ты же любишь сливочное масло, Катя?

— Да, я люблю сливочное масло, Павликов!..

Солонцеватый песок был тверд и укатан, словно хорошее белье, только что принесенное прачкой; Кате приятно было подпрыгивать по этому песку и перекликаться, как в море.

— Да, я люблю сливочное масло, Павликов!

— Вот я и пожелал доставить тебе в Тифлис баптистского сливочного масла!

— Наконец-то ты стал заботиться о хозяйстве, Павликов! Но, знаешь, я пришла к твоему выводу: «Ни черта, не сдохнет кошка».

Сангигупор ловко прыгал с камня на камень... Он, замечательный Сангигупор, так ловок для своих пятидесяти с лишним лет! Ему удалось вскочить на последний камень раньше, чем лодка миновала его. Сангигупор быстро протянул руки, но Павликов лег на противоположный борт, лодка накренилась, — и веревка и парус в двух вершках проскользнули мимо рук Сангигупора! Да, знатоком высокой брани показал себя Сангигупор! Павликов по достоинству оценил эту брань.

— Прекрасно, прекрасно, — прокричал он и затем обратился к Кате: — «Не сдохнет»?.. Что с тобой, Катя?

— А я знаю, что со мной? Возможно, я забочусь о тебе, а возможно, и что другое. — Она всплеснула руками. — Павликов, знаешь что, я, наверное, дурная и взбалмошная, и тебе не мешает со мной сейчас же поговорить, разрешить и...

— Да, да!.. Мы поговорим... — донеслось до нее. — Я боюсь, что ты не взбалмошная, а чересчур добра!

Ты сильна и добра, как подъемный кран, как пароход, груженный зерном и консервами...

Лодка уходила.

— Павликов, мне трудно тебя рассмотреть, но, по-моему, ты серый совершенно, и крутишь опять кольцо, и стоишь на этой адовой жаре...

— А ты думаешь, легко быть оптимистом, Катя?

Катя почувствовала раскаяние.

— А знаешь, Павликов, не лучше ли из Тба везти не масло, а зернистую икру? Я все-таки больше люблю зернистую икру.

— Да, да, именно, это блестящая мысль! — донеслось до нее.

Лодка, скрипя, звеня, мотаясь ветхими и рваными парусами, вдруг напряглась, прыгнула, — и понеслась, будучи похожа на старую клячу, из которой выбивают последние силы... Кате жалко было и лодку, и себя, и Павликова. Она даже всхлипнула слегка. Рентулич уговаривал Сангигупора:

— Если Павликов сказал, что будет нефть, значит, нефть будет; если он говорит: бурить, значит, бурить; если он сказал Сангигупору, что необходимо от вышки номер три проводить стоки для нефти, значит, нужно проводить, и Сангиглот, что важнее всего, уже роет эти стоки!

— Сангиглот всегда находит поводы, чтобы любить эту долину! — возразил Сангигупор, несколько смягчаясь.

Рентулич продолжал:

— Вы прекрасный оратор, Сангигупор, поговорите с рабочими, и они будут бурить, вы и ваш приемный сын покажете пример, и этого примера...

Сангигупор возмутился: пастух его учит, как работать, пастух, который простых труб от сварных не может отличить!

— Я и без ваших слов иду к своему станку! — сказал Сангигупор, и точно — пошел к станку.

У Рентулича, то ли от водки, то ли от трудности, с которой он вспоминал обстоятельства, при которых когда-нибудь раньше баптисты разговаривали о нефти, то ли от темных чувств, которые никак он не мог убрать со своего сердца, — сильно болела голова.

— Как будто в голову клинья вбили, — сказал он Кате.

Катя уже развеселилась. Лодка весело скрылась. Павликов бодр, ей нравился теплый и твердый песок, нравилась своя молодость и свой смех.

— Опять вы напились?

— Опять.

— А почему?..

А если откровенно говорить, то и Рентулич ей нравился! А если он оборван, то надо сознаться, что сейчас все мужчины в России достаточно оборваны, и если Рентулич оборван больше всех, то это даже доказывает, что он больше всех мужчин типичен для России и им можно гордиться, как самым типичным!.. Рассуждение это понравилось Кате, но пауза от слова «почему» показалась ей неприлично длинной и могла быть истолкованной именно так, как она думала, и поэтому она сказала:

— А почему вы без бича, Рентулич? Щелкните, сказала бы я вам, товарищ Рентулич!

— Мешают разнохарактерные мысли и чувства.

— Вам нравится, может быть, Ульяна Михайловна?

— Чисто как противник. Никаких, даже товарищеских чувств к ней я питать не могу!

— Врете!..

— И ко всему тому, я должен добавить, что виноградная водка все же водка!

— То вы мир хвалите, то водку!

— Человек и обязан хвалить мир, Екатерина Петровна.

— Да, мир, может быть, но не баб, набитых скупостью и наглостью, как селедка солью! У нее, обратили вы внимание, гора подушек! Она спит на перине. А когда я сегодня попросила через Шурочку дать мне подушку, так Ульяна Михайловна отказала!

16

Они, Катя и Рентулич, возвращались в духан.

Они искали среди скал тропу, а искали они для того, чтобы путь до духана сделать возможно длиннее. Сказав про подушки, Катя почувствовала опять досаду, но гораздо большую, чем утром, когда Шурочка принесла ей отказ Ульяны Михайловны. Впрочем, досаду свою

Катя всегда наблюдала с удовольствием, так как обычно досада эта помогала ей быть решительной. И она решительно опустилась на теплый и широкий камень и решительно сказала на слова Рентулича: «Дело не в подушках только...»

— Совершенно верно!.. Именно... Садитесь рядом, Рентулич. Где вы пропадаете? Да слушаете ли вы меня?

Рентулич с удивлением стал разглядывать теплый и широкий камень, но причины, по которой он рассматривал камень, он в себе найти не мог, — и он отрывисто проговорил:

— Откровенно говоря, нет... Да, понял я, почему водки в Москве пьют больше, чем молока. Потому что трезвым владеет и должен владеть долг.

— Какой долг? Разве вы картежник?

— Отнюдь. Хотя, кстати сказать, а сколько времени с того прошло — не помню, Цитовский проиграл мне в очко пять червяков и даже расписку отказался выдать, мелкота. «Ты ее при чистке, говорит, предъявить можешь». Я-то?

Катя нашла здесь возможным и неопасным вздохнуть поглубже.

— Да, вы правы, долг.

— А если перевести на язык принципиальный, то верность!

— Да, я понимаю — верность!

— Иначе мне пора бы объясниться с товарищем Павликовым, как того требует текущий момент, то есть — прямо!

Катя, с одной стороны, боялась запутанных отношений, а главное: нет ли в этих отношениях умственных, а не чувственных ошибок; с другой стороны, ей хотелось продолжать этот очень важный и в то же время очень скользкий разговор, который, однако, мог ей объяснить многое из того, чего она и сама не понимала в себе; в-третьих, она увидала, как по тропе за скалой навстречу им идут к берегу Сожа с женой, Цитовский, Корсаков, Шурочка, два брата Власовых и позади всех рыжий и ухмыляющийся Сангиглот, который, по всему видно, уже зная о похищении лодки, тащит чемоданы «пассажиров» с ехидным желанием полюбоваться на смущение Сожи.

— Да, да, я понимаю вас, Рентулич, иначе вы сели бы рядом со мной.

Бревна катятся с горы и сшибаются друг с другом, но не смеются так люди, ибо от смеха Рентулича даже влюбленный в грохот Сангиглот уронил на тропу чемоданы!

— Ха-ха!..

— Что такое?..

— Ха-ха-ха!! хо-хо-хо-хо! о-ооо!!! Предпочитаю, неизвестно почему, — сидеть напротив! Из глаза в глаз!!

Этот смех был как эпидемия. И Катя захохотала, и захохотали стоящие на тропе, и чемоданы даже, казалось, захохотали.

— И напутали бы мы оба... хо-хо-хо!.. И наврали бы, Екатерина Петровна! И почему это?.. хо-хо-хо!.. и почему это, если люди сидят против друг друга, то они врут больше, чем в нормальном положении?..

Из-за скалы, что походила на запятую, выскочила Шурочка. На плече ее метался голубой шарф, принадлежащий Ульяне Михайловне. Катя и сама всегда сознавалась, что плохо знает людей, но даже она встревожилась тем исступленным весельем, которое чувствовалось в каждом движении Шурочки и даже в голубом шарфе, лихо пришпиленном к плечу. Катя, нисколько не сомневающаяся в том, что Агриппина Степановна здорова и рада за веселящихся и отдыхающих детей, также и не сомневающаяся, что золовка постоянно справляется в почтовом отделении о телеграммах, все же нашла нужным и важным сейчас именно спросить Шурочку, не получала ли она телеграмм и как давно была на почте. Этот вопрос должен был означать, что Шурочка слишком много думает о себе, — и Шурочка именно так и поняла его, но она как будто ждала этого вопроса, она воспламенилась почти болезненно...

Едва Шурочка показалась и заговорила, едва Рентулич увидел двух Власовых, — он подумал, что поступает глупо, неразумно, напрасно тратит время, которое он должен употребить на работу и на то, чтобы ребята бурили безостановочно, как бы ни пытался остановить их Сожа, — Рентулич снял фуражку, сверкнул бородой и скрылся. Взоры, проводившие его, были весьма двусмысленны, но он всегда и открыто презирал мещанские предрассудки. «Неважно!» — сказал он, выйдя на

тропу, и ему действительно многое в эту минуту казалось неважным.

— Я справляюсь, я справлюсь! — прокричала Шурочка (но она не справлялась о телеграммах уже два дня).— Вы меня извините, Катя, я уплываю с сожинцами на три дня в виноградники... Вы смотрите, как солнце парит!.. Оно льется на меня, как сквозь лупу, Катя.

— Вы похорошели...

— От голубого шарфа!.. Отличный мне шарф подарила Ульяна Михайловна?.. — Она наклонилась к уху Кати: — Но подумайте, как невежливо: Сережа все еще не нанес Соже визита.

— Неужели не нанес? Он мне обещал!

— Не нанес!

На тропе их ждали. Немедленно Сангиглот подхватил чемоданы, двое Власовых помогали ему...

Катя вспомнила все то, что ей передавали об Ульяне и этих двух Власовых: Анисиме и Богдане. После разгрома меньшевистского восстания в Грузии небольшой отряд меньшевиков, пробиравшийся в Турцию, покинул в долине Тба пятнадцатилетнюю больную девушку Ульяшу. Отца ее убили, что ли, — она не любила об этом говорить. Ее приютил состоятельный виноградарь долины, Власов. Сын виноградаря, высокий, худой, похожий на канат, Анисим, заботливо ухаживал за больной девушкой и полюбил ее. Помогал ему в уходе за ней троюродный брат его Богдан, рябой, с подбородком, похожим на сошник, приземистый и весьма завидущий. Богдану, по всей видимости, девушка не нравилась, однако с того дня, как она появилась в доме виноградаря, троюродные братья, выросшие вместе, раньше всегда и во всем согласные, начали ссориться. Старик Власов понял их, и, когда через год Ульяна оправилась, он предложил ей выбрать из двух жениха себе. А вместо свадьбы Ульяна пожелала ехать учиться. Она и уехала, но скоро вернулась из Тифлиса недовольной, однако с некоторыми знаниями, которые позволили ей занять пост сельской учительницы в селении, ее приютившем. В Тифлисе она познакомилась с Сожей, который немного спустя приехал в долину уже во главе разведок, а еще погодя женился на ней. Братья со всей баптистской сдержанностью пожелали ей довольства, спокойствия, но навещали ее часто и, как видно, мало верили в ее счастье с инженером.

Шурочка указала на Сангиглота:

— Вы его видали уже, Катя?

— Нет еще.

— Это самый забавный человек в Республике.

Ульяна спокойно и грубо сказала:

— Катя, наверное, найдет, что да, но после Рентулича.

— И вы будете правы, — ответила так же спокойно Катя.

Шурочка поправила чемоданы на спине Сангиглота, ей хотелось, чтобы он развеселил всех, чтобы Катя рассмеялась, как смеется всегда, и пусть все завидуют ее смеху.

— Объясните вы, молодой человек, почему вы называетесь Сангиглот?

Сангиглот ответил заученно, и непонятно было: шутит он или нет.

— Потому что приемный отец у меня Сангигупор.

— Ну, а дальше?

— Так и дальше, в последовательности.

— А именно?

— А именно, что он, будучи из пленных ландштурмистов, называется Александр Гуго Гигуппо, а по-советски сокращенно Сангигупор.

— Так. А почему же вы Сангиглот?

— Потому что я Александр, по приемному отцу Гигуппо, по предыдущей фамилии моей Глотков, а вообще Сангиглот.

Шурочка смеялась, но смеялась одна.

Братья Власовы мельком, но тяжело, тупо, как смотрят люди, когда приобретут единственную мысль, от которой уже никогда не отказываются, оглядели бархатную тужурку Корсакова, его вязаный жилет, легко и весело лежащий на приятном животике, — и Корсаков испуганно подумал, что он, пожалуй, чересчур близко держится возле Ульяны Михайловны, что он забыл Шурочку, и с той минуты он почувствовал к Шурочке и благодарность и привязанность и Цитовского подозвал к себе ближе! Катя, вспомнив про лодку, повернула было к духану, но Сожа, уныло шедший позади всех, сказал ей:

— Проводите нас. — И она пошла с ними.

— Но разве не весело, Катя? — обернулась к ней Шурочка.

— Да, я иду.
Шурочка развела руками:
— Я сегодня такая огромная и важная, будто кипарис!
Цитовского беспокоило общее молчание: он раскрыл свой портфель, в котором, как думалось ему или как он старался думать, находились исходы всех волнений. Бумаг в портфеле было много, но необходимой ему он не нашел.
— Веселенькая девица! — вскричал он тогда язвительно. — Веселенькая! С утра в груди у меня жжение такое, словно кто во мне папироску потушил! А мне говорят: плыть. Позвольте, а если на озере будет буря?..
— Я не еду, — сказала ему Катя.
— И вы разумно поступаете. А если на озере лодка потечет? Нет, я предпочитаю коней... — Но здесь он ухитрился проскочить раньше всех первым на берег, где должна была находиться лодка, пристань и мастер Сангигупор. Он не верил! И он оказался прав, сообразительнейший Цитовский!
Они увидели ведро с дегтем, остатки костра и соломенную шляпу, которая упала в воду, когда Сангигупор тянулся за лодкой.
Цитовский поднял розовую ладонь, вытер лоб и сказал испуганно:
— Позвольте, но у меня же весь лоб в поту. Значит, малярия?
Ульяна посмотрела на узенький и морщинистый его лобик:
— Нет, просто вы подумали, что Сангигупор утонул.
— Да, да, возможно, что я и это подумал. Значит, у меня нет малярии, Ульяна Михайловна?
— А подумав так, вы испугались, так как боитесь уголовных разных дел... И вы правы... Лодку просто угнали.
— Она утонула?
— Посмотрите на дно: оно прозрачно, и там нет ничего, кроме песка.

Сожа вынул бинокль. Озеро было беззвучно и неподвижно и напоминало пустой березовый портсигар.
— Да, уперли.
— Вот, разве это страна? Это джунгли, каменный век, крушение цивилизации! — вопил Цитовский, кото-

рому стало страшно не того, что украли лодку, а того, что он предсказал неприятности, а главное — что он не понимал, где и как кончатся эти неприятности.

Ульяна с упреком посмотрела на него.

— Вы коммунист и говорите так.

— Я диалектический коммунист, который может многим возмущаться. Сейчас я возмущаюсь, а через полчаса перехожу к действиям.

— А я перехожу к действиям обычно через пятнадцать минут, — сказал Корсаков и сам покраснел от сказанного.

Сангиглот весело и ехидно поднял чемоданы.

— Обратно нести, Лев Иванович?

— Обратно, — сказала Ульяна.

— Да, обратно, — подтвердил Сожа.

Шурочка потускнела:

— Значит, мы не плывем, Ульяна Михайловна?

— Значит, нет, Шурочка.

17

Угон лодки помог им разговориться и решить многое. Злились они за угон? Едва ли. Но встревожить — он их встревожил.

Цитовского еще взволновало и то, что безмолвный баптист Богдан Власов, за весь день не сказавший ни слова, вдруг подошел к нему и взял портфель.

— Уж я доставлю, — промолвил он тихо, и в этом «уж я доставлю» Цитовский узнал, что баптисту известны все слабости Цитовского и даже то, что он и портфеля теперь не в состоянии нести! Вспомнил здесь Цитовский со стыдом, как сегодня они с Корсаковым искали Павликова и не нашли, а затем, сказав друг другу, что идут к баптистам, начали искать его каждый в отдельности — и столкнулись в духане. Зачем Корсакову Павликов? Может быть, Корсаков думает донести на Цитовского или через посредство Павликова огласить перед всей долиной, что давно уже Цитовский не партийный и давно уже...

— Я утверждаю, — захлебываясь, воскликнул Цитовский, как только Сожа и его друзья остались одни, — я утверждаю, что все это подстроено Павликовым, и его нужно ликвидировать... не в смысле физическом... ликвидировать его влияние немедленно...

— Например? — спросила Ульяна со злостью.

— Например?.. Ну, вообще. Да вот, спросите у Корсакова! Я какой советчик.

— Нужно сообразить, — охотно ответил Корсаков, — дайте мне сроку хотя бы полчаса.

Ульяна опустилась на камень, взяла горсть песку и, медленно пропуская его через длинные и сухие пальцы, спросила:

— Может быть, теперь мой вариант примете, Сожа?

— Не могу, не могу, — замахал руками Сожа и пошел было от камня, но быстро возвратился.

— Какой же это у вас вариант? — осторожненько спросил Цитовский.

Ульяна бросила ему немного песку на ладонь. Цитовский понюхал. Песок издавал легкий запах йода.

— Я считаю, товарищ Цитовский, что нелепо бегать от комиссии. Поскольку комиссия выражает желание приехать в долину, но ее удерживают обвалы, я предлагаю телеграфно изложить ей мой проект и, буде она согласится, спустить ее в долину.

— На аэроплане?

— Нет. Озеро изобилует подводными скалами, а берега тоже каменисты, посадка аэроплана невозможна, товарищ Цитовский. Мне припомнился случай из гражданской войны. Дело в том, что одна из скал пика Али-Магом повисла над долиной, извольте обернуться, и вы увидите ее отсюда, и на скале... Дай, Сожа, им бинокль!.. И на скале, как вы видите, дуб. Теперь опустите бинокль ниже, через обвал, — еще ниже, здесь были тропы, пропасть и через пропасть мост, все засыпано, — ниже... вот. На полянке, называемой Коровьей, дорогой Цитовский, вы тоже видите дуб. Теперь поднимите бинокль. Вы видите возле дуба сероватую массу?..

— Нет.

— Вы ее и не могли увидать. Так вообразите ее. Эта масса — стальные тросы, которые везли для бурения к нам и которые задержали, так как получились сведения, что разведки сокращаются. Теперь, если от дуба к дубу, над обвалом, вы протянете канат...

— Это невозможно.

— Почему невозможно, Цитовский? Подобная переправа уже практиковалась во время гражданской войны.

— Довольно гражданской войны, я желаю гражданского мира!..

— Я согласна с вами, но для гражданского мира зачастую необходима предварительно гражданская война.

Она стряхнула с его ладони песок.

— Вы правы, Цитовский, два арбуза в руке удержать невозможно.

Цитовский посмотрел, как песчинки, обгоняя одна другую, несутся по камню и как бег их напоминает обвал...

— Не знаю, не пробовал, — сказал он тупо.

Помолчали.

— Как же вы посоветуете? — спросил Сожа друзей.

Цитовский подхватил Корсакова под руку и решительно двинулся вперед.

— Нужно подумать, Сожа, нужно крепко подумать. А вдруг комиссия свалится с каната и — бух в снег. Ведь нас же тогда в заговорщиков превратят, Сожа.

Ульяна все еще оставалась на камне. Сожа оставил друзей, вернулся, сел рядом и вяло сказал:

— Если ты настаиваешь, Ульяна, я готов! Я думаю, что комиссия согласится, — она встревожится, по-моему, что Павликов может напортить ей порядочно, если еще останется хотя бы, скажем, на неделю... Если бы хоть некоторая возможность повидаться с ним, но он явно ускользает от меня, Ульяна. Это даже недобросовестно, вот что я скажу!.. Руки бы вымыть, что ли.

— Каков же был их совет?

— Чей? Цитовского и Корсакова? По-моему, они не возражают... В общем, они славные ребята, Ульяна.

— Остатки огня, остатки долгов, остатки друзей и врагов — все это способно возрождаться и вредить, Лев Иванович.

18

На рассвете возвратился Павликов с Сожиного виноградника. Ветер спал, и весь обратный путь пришлось грести, и Павликов даже рад был этому: меньше думалось о неудаче. Впрочем, когда он и уплывал, он не особенно был уверен в том, что ямы, вырытые Ульяной и ее родственниками-баптистами, могли уцелеть, после того как долину столько посетило разведывателей, да и Рентулич даже мог вспомнить не то, что нужно и что

ценно; все же ему немного верилось, что не напрасно спешит Ульяна Михайловна от разведок к своему винограднику. На винограднике он увидел низенький глинобитный домишко о двух комнатах и землянку возле, — тут жил тот старичок Никита Гурьич, обличье которого так упорно не мог вспомнить Мотя. Старичок этот, едва услышав голос Павликова, показался среди виноградных стеблей, сухих и тощих, — он напомнил Павликову длинный пастушеский бич: шея у него была неимоверно удлинена, и волосы высоко росли в пространство, к облакам, и голос у него походил на щелканье пастушеского бича, короткий, резкий и молодой. Старичок Никита Гурьич тотчас же предложил ему винограду: виноград был дивен, сочен, ясен. Павликов с изумлением огляделся: но явно же, что земля здесь привозная, и стебли чуть ли не натыканы!.. Становище курдов с их черными палатками и необыкновенно пестро одетыми женщинами раскинулось возле виноградника. Старичок высказал желание сбегать и купить у курдов поднос для барина. Павликов пошел вместе со старичком в надежде расспросить курдов. Но курды лежали в каменных саркофагах, погруженные по горло в целебную глину. Они не отвечали Павликову. Женщины же мгновенно скрылись. Старичок придурковато и вместе с тем нагло посмеивался. Павликов возвратился к лодке. Он отплыл от берега полсотни саженей, затем вернулся, быстро вбежал по склону — ну да, так и есть, старичок уже спешил в баптистское селение. Зачем, если здесь ничего нет, все благополучно, бежит сообщать баптистам о приезде Павликова.

Всю ночь в доме Сожи, у разведок, горел широкий огонь, и Павликову было забавно править на этот огонь. Осторожно опуская весла, он высматривал камни, иногда внезапно перед ним из фиолетовой тишины выскакивало нечто серое, похожее на рыбу, — это скала; он объезжал ее. После полуночи около лодки сделали несколько кругов какие-то две круглые птицы с тонкими шелковыми голосами. Временами Павликову казалось, что он слышит запах нефти, бульканье газов, вырывающихся из воды, — он поспешно останавливал лодку, прислушивался, принюхивался. Нет, озеро пахло раскаленными камнями, солью, йодом, — и Павликов опять трогал лодку.

Троюродные братья Власовы, Анисим и Богдан, были посланы отцом своим к буровой № 3 для того, чтобы пригласить мастера Сангигупора и его ученика Сангиглота на работы по планированию баптистского молитвенного дома в селении Тба. Свезены камни, бревна, есть подрядчик, плата будет хороша всем, знающим дело... Но братья, вместо того чтобы переговорить с мастером Сангигупором, взревновав к бархатной куртке Корсакова Ульяну, огорчившись и обрадовавшись переездом ее на виноградник, — огорчившись оттого, что она едет вместе с гостями, и обрадовавшись, что она будет рядом с их селением, а значит, и рядом с ними, — братья согласились сопровождать Ульяну и ее друзей на виноградник, грести, если понадобится, утонуть, если понадобится... Многое думали братья. Отец им велел возвратиться к вечеру, а вместо того они остались, едва Ульяна предложила им переночевать. И вот ночью-то им разом пришла в головы мысль: и Ульяне, и Соже, и всем баптистам ясно, что могут колодцы нефтяные раскопать (вечером, что, собственно, и вынудило их подумать о Турции, прискакал старцелицый мальчонка из селения к Ульяне Михайловне и велел передать от имени самого Власова, что одноглазый человек приплывал к винограднику и ходил, высматриваючи), — будут судить, допрашивать, разорять — и не лучше ли уйти им всем троим, или скольким она пожелает, в Турцию?

На берегу лежал легкий лиловый сумрак. Павликов причалил лодку и медленно пошел в гору. От духана слышались голоса рабочих, плеск воды, и на вышке заревел Рентулич. Правее вышки, между трех скал, была землянка: там хранились взрывчатые вещества. Хранились они противозаконно близко к разведкам. Еще несколько недель назад землянку эту охраняла стража из красноармейцев, но Сожа попросил переправить нитроглицерин на другие разведки, по ту сторону гор, заимообразно, так сказать. Но перед самой погрузкой захромали две вьючные лошади, и несколько десятков литров нитроглицерина осталось... а тут начались обвалы, суматоха... Сожа попросил двух рабочих, наиболее слабых, болезненных, нести караул, да и точно — работа по охране была легкая. Рабочие, взяв две берданки, несколько патронов в холщовую сумку и то-

щие свои постели, отправились. Фамилии их были — Ядко и Карабевицкий.

Братья Власовы встали рано. «В Турцию, — неустанно думали они, — в Турцию!» Все же откровенно передать друг другу думы свои они не решились, и, когда они выходили со двора, влекомые своей мыслью, они увидали Ульяну, но и здесь они промолчали, отложив разговор этот до вечера, — впрочем, Ульяна не заметила их, она шла к духану, а они же более кратким путем, через скалы, мимо землянки с взрывчатыми припасами, направились в селение. Землянка была огорожена изгородью из колючей проволоки, дверь открыта, а перед дверью кинуты были постели, на которых и спали возле своих берданок охранители Ядко и Карабевицкий. «В Турцию! — думали братья, — в Турцию!» Они переглянулись. Ловкий, увертливый и более быстрый в мыслях Богдан перепрыгнул через изгородь, подполз к спящим, притянул к себе сначала патронташ, а затем и берданки.

— Сгодятся, — с благодарностью шепотом сказал ему Анисим.

— Еще бы не сгодились, — ответил Богдан.

И вот этих-то братьев с винтовками в руках увидел Павликов. Он принял их за рабочих, легонько окрикнул, — они бросились к нему, и по тому, как они бросились, он понял, что нужно защищаться, но револьвер был далеко, а в руках он держал бинокль и поднос с виноградом. Один из бежавших, высокий и сухой, замахнулся на него винтовкой. Павликов присел. Плохо дерутся баптисты! Винтовка пронеслась у него над головой. Высокий упал, но тотчас же вскочил и, вытянув вперед руки, кинулся. Павликов ударил его в подбородок биноклем и побежал. Он слышал, как позади щелкнул затвор, и ему подумалось, что очень неудобно будет падать на камни, и страшно захотелось обернуться, но он все-таки не обернулся и с холодеющим затылком бежал, ожидая выстрела. Но выстрела не раздавалось. Несколько скал уже осталось между Павликовым и щелкающим затвором.

Духан встал перед ним. Он увидал гигантские щели в духане, темный очаг и Катю с полотенцем в руках. Катя, должно быть, беспокоясь, что Павликова все еще нет, шла справляться к вышке. Солнце поднялось над пиком Али-Магом, воздух прозрачен, и ясно виден дуб

на вершине пика, а над громадами гор стелется туман, и грохочут обвалы, укладываясь в свои постели в пропастях. Что ни говорите, а приятно, когда пуля, предназначенная в твой затылок, остается в своем патроне!..

Почему Богдан не выстрелил в Павликова?

Едва только Богдан притащил берданки и положил в карман патроны, он и его брат сразу почувствовали, что внутри их произошло какое-то освобождение, что их шаг стал уверенней и веселей, что их глаза стали зорче, что их судьба определилась; а когда они увидали Павликова с биноклем в руке и с высокобортным деревянным подносом в другой, — возмущение их было огромно. Они припомнили ему все: и разговоры о колхозах, о землемерах, о нем, как о дьяволе переодетом (так старушки болтали в селении), об Ульяне, которую он хотел у них отнять. Одинаковым прыжком кинулись они к нему. Анисим ударил так сильно, что когда промахнулся, то ружье вылетело у него из рук и несколько раз перевернулось. Павликов защищался биноклем, а затем, все еще держа поднос в левой руке, кинулся за скалу, Богдан щелкнул затвором и, перед тем как выстрелить, посмотрел на брата: не стреляют ли они вместе? Брат лежал навзничь, подбородок у него был рассечен, кровь лилась ему в рот, и как только Богдан увидел эту кровь и этот подбородок с обнаженным мясом, ему вспомнился свой, конопатый подбородок, вспомнилась громадная телесная сила Анисима, его первенство, и подумалось, что даже там, в Турции, он, Богдан, будет у него слугой. Анисим приподнялся и посмотрел на него.

— Рукав оторви, завязать, — проговорил он неразборчиво.

Богдан наклонился к нему и вместо того, чтобы оторвать рукав у рубахи, вдруг схватил берданку за дуло — и опустил приклад прямо в лоб Анисиму. Голова Анисима стукнулась о камень, все тело его подскочило, скрючилось, — невыносимое отвращение овладело Богданом. Он схватил берданки и бросился вниз.

Он зарыл берданки возле поселка, прокрался в баню, в которой спали они с Анисимом, накрылся тулупом и мгновенно уснул. Голос старика Власова разбудил его. Старик стоял перед ним босой, в длинной холщовой рубахе, веселый, и борода у него была в сивых кольцах.

— Анисим-то там остался ночевать? — спросил он.

— Спит, — сказал Богдан, — я ушел, мне холодно что-то было.

— Любит поспать, — сказал старик.

В полдень на телеге привезли тело Анисима. Возле телеги шла Ульяна, вся в слезах. Анисима омыли, положили в передний угол, старик Власов взял молитвенник и прочел, не запинаясь, истово, положенные молитвы. Богдана допросили: он показал то, что раньше сказал старику Власову. Милиционер и председатель сельсовета, по всей видимости, думали, что Анисим поскользнулся в темноте, упал — и головой о камень.

19

Увидав подходившего к вышке Павликова, Катя надулась. Он сер, утомлен, всем видно, что ноги его подкашиваются, а он, видите ли, несет еще виноград. Павликов, точно, нес поднос с виноградом.

Бурили неустанно, всю ночь. Рентулич уговаривал рабочих, рабочие — мастера, а рано утром мастер получил от Сожи бумагу: приказ. Приказ, написанный спешно карандашом, без мотивировок, повелевал немедленно свернуть работы. Мастер Сангигупор остановил станок, да и к тому же в скважине показалась вода.

— Я могу не обращать внимания на приказ, Герр, профессор, — сказал Сангигупор, — и работать до приезда комиссии, но Рентулич утверждает, что вы хотели принести подтверждения присутствия нефти.

Павликов передал Кате поднос с виноградом.

— Катя, Рентулич, какое утро! Земля прохладна и сладка, словно клюква, засыпанная сахаром. Любите ли вы клюкву, засыпанную сахаром, мастер Сангигупор?

— Я люблю целесообразную работу, — ответил мастер. — Имеются ли у вас доказательства практического присутствия нефти?

Павликов, привстав на цыпочки, одернул тужурку, прислушался: безмолвие висело над скалами. «Что же произошло с баптистами?» — подумал он.

— Привет вам, граждане бурильные мастера, — тихо сказал Павликов, — я хотел вам предоставить многие миллионы... а принес только деревянный поднос и немного винограду...

Рентулич почувствовал раскаяние.

— Извините, — начал он.

— Ваше сообщение было правильно, Рентулич. Но у нас нет сил в данное время раскопать колодцы!..

Он оглядел рабочих. Рубнис, Смолищенко, Настельников, Грунин, Жуков да еще двое, те, которые проспали свои берданки — Ядко и Карабевицкий, — вот и вся его армия. Все они бледны, исхудалы, еле держатся на ногах, желты от малярии, и, если им сейчас рассказать историю о нападении баптистов, не вызовет ли у них эта история окончательного упадка духа, потому что прежде всего она доказывает, что баптисты теперь уже окончательно озлоблены, насторожены...

К вышке рыжий и веселый Сангиглот тащил вазу. Он всю ночь с фонарем рыл сток и вот вырыл глиняную вазу.

— Сангигупор, мастер, у вас стакан в руке, честное слово! Спешите сюда со стаканом, добрый наш Сангигупор.

Сангигупор угрюмо ответил:

— В скважине, Herr профессор, показалась вода.

Катя всплеснула руками.

— Вот, видишь, вода, Павликов! Но ты зверски бледен...

— Вода? — переспросил Павликов.

— Показалась вода, — глядя в мутный стакан, ответил Сангигупор.

Павликов протянул к нему руку.

— Вода? Остановитесь-ка, Сангигупор! Разрешите вам прежде всего задать вопрос: ошибусь ли я, если стану утверждать, что инженер Сожа кидал скважины, как только в них показывалась вода?

— Вы угадали или вы узнали истину, Herr профессор.

— Genosse профессор, — поправил Павликов.

Сангиглот, разглядывая вазу, подтвердил, что правильно нужно говорить «геноссе». Сангигупор по-прежнему угрюмо помешивал пальцем воду в стакане. Нет, ему не нравится беспокойный одноглазый профессор. Он желает уйти на родину. Опять он сегодня ночью видел во сне брата и Верхнюю Силезию...

— Сожа — невежда и трус! Как только он придет сюда, я ему это скажу в лицо.

— Сожа не придет сюда сегодня.

— Почему же он не придет? Он же руководитель разведок, а вы без его приказа продолжаете бурение.

— Он направился к дубу на Коровьей полянке, дабы помочь комиссии спуститься в долину.

— Значит, тем более любопытно и лестно вам найти нефть. В его отсутствие!.. Ведь над этим будет хохотать весь Кавказ!

— Но мы сегодня решили уехать в Германию, профессор.

— Вы уезжаете в Германию? Это невозможно, мастер!

— Все возможно. Мне уже пятьдесят с лишним лет, и я свыше десяти лет живу в России. Я много воевал... чересчур много... я потерял на этой войне, как видите, руку... и в последнее время мне что-то часто стал сниться мой брат...

Павликов прервал его:

— Как всегда, вы правы, мастер. А что же думает ваш сын? Он тоже сегодня уходит в Германию?

Сангигупор оживился. Везет этому парню Сангиглоту! Красив, смышлен, выдумщик... Проводя какой-то негодный сток для нефти, он и здесь находит для себя удачу: ваза! Правда, она отвратительна, эта ваза, но ведь если он еще пороет, то может найти другую, полную, предположим, древних золотых монет...

— Весьма важно, по-моему, Herr профессор, показать сыну моему Германию. У вас здесь слишком много героев, и если отец его боролся за Советскую Россию, то не будет ли более полезным сыну побороться за советскую Германию?.. Сына моего, как вам известно, зовут Сангиглотом.

Павликов подскочил к жене.

— Катя! Какое имя! Сангиглот. Это имя похоже на адскую машину! Оно напоминает пироксилин! Оно блестит, как бездымный порох! Отличное имя у вашего сына, Сангигупор. Итак, вода?

— Вода. Дальше бурить бессмысленно...

— Принесите воду поближе, па солнце! Не отсрочите ли вы на неделю ваш отъезд, Сангиглот?

— Простите, Herr профессор, но меня зовут Сангигупор.

— Катя! Рентулич! Товарищи! Вы слышите, какие у них замечательные имена. Сангигупор! Сангиглот! Они изумительно характеризуют вашу изумительную

профессию, граждане бурильные мастера. Я люблю вашу страну, граждане!.. — Он скривил лицо в гримасу, и непонятно было: говорит ли он это всерьез или же выпытывает, как к его словам относится мастер. — Германия! Германия — разве не мозг Европы, черт возьми!..

На мгновение мастер растрогался.

— А Россия ее большое сердце, Herr профессор! Richtig!..

Павликов выхватил стакан. Павликов налил воды на ладонь, понюхал, и Катя с ужасом увидала, как он пробует эту воду на язык.

— А теперь понюхайте воду, мастер Сангигупор!

Мастер понюхал.

— Я не вижу на вашем лице восторга! Еще раз понюхайте воду! Вы желаете покинуть долину ночью или днем?

— Мы уйдем на рассвете.

— Мы любим пробуждающуюся природу, — добавил Сангиглот.

— Вы любите пробуждающуюся природу? — подскочил Павликов к Сангиглоту. — Скажем, в три часа?

Сангигупор подумал.

— Да. Превосходно. В три часа! Встает солнце, роса...

Павликов обрушился на Сангиглота:

— Вы не откажетесь утверждать, мастер, что сегодня понедельник?..

— Понедельник, — повторил Сангиглот.

Павликов понесся к Сангигупору.

— А если я вам обещаю, Сангигупор, что ровно через три дня, в четверг, в три часа утра перед вами откроются все обширности земли?..

— А эти три дня?

— Вы будете бурить.

— Нет!.. Видите ли, профессор, я буду откровенен. Сначала я должен пойти к баптистам и преподать им несколько советов относительно постройки молитвенного дома, так как иначе они мне не дадут проводников через перевал... Я думаю, что эти три дня мне более полезно будет употребить как раз на преподание советов...

— И без помощи баптистов вас проводит опытнейший проводник. Вы пойдете на лыжах!..

— Я думаю, что наш разговор бесцелен, Herr профессор. Иных проводников, кроме баптистов, нет!

Павликов взболтнул воду в стакане.

— Чем же пахнет вода, Genosse Сангигупор?

— Она, боюсь утверждать, пахнет глиной!

Огромное удивление и негодование исказили лицо Павликова.

— А по-вашему, Genosse Сангиглот?

— Вода и вода. Сыростью, на худой конец, пахнет.

Павликов понесся со стаканом к Рентуличу. Тот нюхал сосредоточенно и вдумчиво.

— А по-вашему, товарищ Рентулич?

— Будто бы и вином, но, может быть, и мокрой бумагой.

Павликов передал стакан жене.

— Что же ты скажешь, Катя?

— Грязь, отвратительная липкая грязь, а не вода! Вода должна быть, даже если ее только нюхать, дистиллирована.

Павликов выплеснул воду.

— А все это оттого, что вы курите, а ты, Катя, слишком обильно пудришься. У вас испорчено обоняние, граждане! Вода пахнет нефтью! Превосходной черной нефтью, похожей на кожу и на металл! Если б мне иметь счастье ее встретить. Как бы я ее встретил! Я даже не знаю, как бы я ее встретил!!

Он подбежал к Сангигупору, дотронулся до его плеч, отскочил:

— Я вам рекомендую зацементировать трубы, граждане и товарищи, и продолжать бурение. Вы накануне нефти!

— Цемента нет.

— Нет цемента?

— Его забыли привезти, Herr профессор.

— Тогда мы вставим сварные трубы, товарищи бурильщики...

— Но нет и сварных, Herr профессор...

Павликов негодующе понесся к Рентуличу.

— Вы же утверждали, Рентулич, что у дуба на Коровьей полянке лежат еще не доставленные на разведки сварные трубы?..

— Лежит несколько метров...

— Их необходимо доставить!

— Разведки уже не имеют перевозочных средств.

— Их необходимо найти!
— Да, но кто будет их сваривать?
— Я буду их сваривать, Рентулич! Я!..

20

Рабочие окружили Павликова.

На разведку в долину Тба пошли отчаянные ребята: привлекли их и большие оклады, и то, что в случае удачи синдикат обещал им трехмесячное вознаграждение, и то, что они любили свое трудное и рискованное дело. Они любили хвастать, где и какие фонтаны они поднимали: как и по каким, казалось бы, неуловимым признакам находили нефть, и какие великолепные руководители были с ними. Но розыски в долине Тба велись монотонно, казенно, и теперь, глядя на Павликова, им подумалось: «А вот это парень! Вот это молодец, и малярия-то у нас, товарищи, не со скуки ли и не от неустанной ли картежной игры началась?»

Павликов понял их мысли. Он снял серую свою кепочку, достал золотые свои часы, перешедшие к нему по наследству от отца, и воскликнул, бросая их в кепочку:

— Тебе, Рентулич, нужны средства на перевозку труб. Для начала я жертвую свои часы.

— Я — гармонь! — закричал Смолищенко.

— Я — портсигар! — завопил Грунин.

И Рентулич утер слезы:

— А вот мне, товарищи, кроме кольта, пожалованного некогда командиром, нечего положить... Душу я могу свою положить разве?..

— Достаточно, — воскликнул Павликов, — завтра же сюда курды привезут трубы, требуемые для вас, товарищи бурильные мастера!

Он посмотрел на свою руку. Давно бы пора снять ему кольцо, и так над ним посмеиваются... он попробовал его стянуть... но не мог... «Пальцы от волнения распухли...» — подумал он и поднял глаза, чтобы найти Катю. Перед ним стоял Ядко, один из рабочих, охраняющих землянку со взрывчатыми... Лицо его с длинными седыми усами было испуганно, в руке он держал бинокль Павликова. Павликов спокойно взял бинокль и спросил:

— Ну как?..

— Да вот, — запинаясь, ответил Ядко, — баптиста кто-то ухлопал, и берданки у нас кто-то упер... А чей бинокль — не знаем... Мы его...

— Благодарю вас, — сказал Павликов, кладя бинокль в карман.

Ядко замолчал и растерянно опустил руки по швам.

Рентулич выписывал расписки на вещи, пожертвованные в «фонд перевозки», как он отмечал в этих расписках. Сангигупор неодобрительно и растроганно смотрел на эти расписки.

— Долина, что ли, наша имеет способность нагонять на людей сомнение, — сказал он задумчиво Павликову, — но мне всегда казалось, а сейчас в особенности, что работы здесь были больше необходимы жене нашего инженера, чем...

— Вот именно, вот именно! — подхватил Павликов, стараясь после потрясения от слов Ядко о неожиданной смерти баптиста вернуться к прежним своим мыслям и думать, что разгон, который он взял с рабочими, позволит ему вновь овладеть собой. — Но сваливать все на женщину, это значит признавать свою слабость, Сангигупор! Вы пристрастны к женщинам, Сангигупор! Вот Рентулич их идеализирует... Что вы хотите сказать, Рентулич? Молчите! Вы лентяй, и притом лентяй, склонный к самоанализу, а это худший сорт лентяев. Вы получили вещи? Прекрасно! Вы немедленно же направитесь к курдам и немедленно же доставите сюда сварные трубы. Расписки после, после!!

Он пристально посмотрел на вазу, которую держал Сангиглот:

— Откуда у вас эта вещь, Сангиглот?

Сангиглоту стало несколько не по себе: он, вместо того чтобы работать, носится с вазой. Он ответил смущенно:

— Урыльник, думаю...

Павликов схватил вазу и поднес ее к Ядко.

— Вы видите, Ядко! Он выкопал амфору! Она похожа на уснувшего журавля. Вам это сравнение кажется неудачным, Ядко? Но, даже выкопав амфору, как ни странно, Сангиглот доказывает, что кавказцам давно пора добывать не вино, а...

Он выжидательно пожевал губами.

— А нефть! — подхватил Сангиглот.

Сангигупор совсем растрогался, да и все окружающие растрогались. Сангигупор мысленно повторил изречение смышленого своего сына: «Кавказцам давно пора добывать из земли не вино, а нефть! Отлично сказано, превосходно, по-настоящему». И Павликов тоже растроганно подтвердил:

— Крепко он закрутил насчет вина, мастер? Поднесите сюда вашу амфору, Сангиглот! Дайте мне ее понюхать. Быть может, в ней курдские женщины некогда носили вино, но, всего верней, мы можем предположить, что в ней...

Ядко и Карабевицкому уже сказали о «фонде перевозки». Они смотрели на Павликова задумчиво и с нежностью. Да, они поймут его!.. Павликов успокоенно вздохнул:

— ...в ней держали самородную нефть долины! Нефть в этой амфоре служила курдам, горела в светильниках, лампах, друзья мои!.. Отнесите куда-нибудь подальше и покрепче берегите ее, — она драгоценна, она должна лежать в долине Тба, как первый вестник нефти. Прекрасный сын у вас, мастер Сангигупор.

— Он сообразительный, напряженный, он...

— Не то, не то. Он умен! Смотрите, как он ловко сказал нам о нефти и о кавказцах! Он любит свое дело, товарищи, он, несмотря на все опасности и невзгоды, несмотря на всех наших врагов, ведет и доведет его до конца!.. Учитесь у него!..

Сангигупор вскочил и скинул пиджак.

— Вы заражаете меня энтузиазмом, Genosse профессор. Мой костюм... Мои силы...

Со смехотворным испугом отскочил от мастера Павликов. Рабочие поняли его испуг и захохотали:

— Помилуйте, помилуйте, мастер! Как мы возьмем ваш костюм, подумайте! Вы приедете в Европу без пиджака? Это здесь мы можем ходить без пиджака и часов, но там... над вами будут смеяться и вас будут презирать, мастер! Они строят социализм без пиджаков! Вы в четверг отправляетесь в Европу или раньше, Genosse?

Сангигупор ответил возмущенно:

— Извините, но вы заразили меня своим энтузиазмом, Genosse профессор! Мы остаемся здесь настолько, насколько пожелаете.

Рабочие с веселым хохотом навалились на него. Сангигупор пожимал им руки. Ядко поцеловал его.

— В пинжаке, в пинжаке поезжай, братишка!

— Без пинжака тебя могут и не пустить.

— Они без пинжака подумают, что ты не человек!

— Хо-хо-хо!!

— Валяй к курдам, Мотька!..

— Нанимай передвижение, Мотька...

— Валяй, Мотька!!

И кто-то под хохот и свист крикнул ему вслед:

— Мотя, посмотри на баптистских виноградниках, не уцелела ли на пугалах от постреляпных буржуев шляпа какая? Мы в шляпе его отправим.

— Поищи, Мотя!

21

Как и предполагал Рентулич, баптисты отказали в конях, и трубы суждено было перевезти курдам. Но курды в оплату согласились взять из собранных вещей только часы. Они требовали денег. Рентулич ходил среди темных палаток растерянный. Трудно ему думать и придумывать выходы. Он опять вернулся в баптистское селение. У входа его встретил Ядко, тот седоусый рабочий, который передавал Павликову бинокль.

— Часы одни берут? — спросил он, ухмыляясь.

— Часы! — ответил Рентулич, даже не спрашивая, откуда Ядко знает, что курды согласились взять только часы.

Ядко полез за пазуху, вытащил конверт — без адреса, но с маркой, что очень удивило Рентулича. В конверте этом лежали червонцы и крохотная записочка от Павликова, в которой он напоминал, что за Рентуличем должок: обещано письменно изложить свои соображения насчет разговоров о нефти среди баптистов и соображения эти представить комиссии; «одним словом, соответствующий доклад», — заканчивал письмо свое Павликов. Рентулич поинтересовался узнать у Ядко, откуда Павликов взял деньги и уж не свои ли, — Ядко ухмыльнулся и сказал:

— Знать, достал.

Переговоры с курдами быстро закончились. Мотя Рентулич и Ядко возвращались к разведкам мимо баптистского селения. Над ними и через них проходил томительный полдень Тбинской долины, тот полдень, когда будто и сухо и будто сыро, и когда мокрое платье ваше пристает к телу, и непонятное волнение охватывает вас, и все вокруг течет, наполненное каким-то молочно-желтым светом!..

У крайних изб селения они встретили арбу. Ее сопровождало несколько баптистов. Рентулич увидел Ульяну. В арбе, прикрытой скатертью, может быть той, на которой друзья по танку несколько дней назад справляли свою встречу, лежал труп Анисима. Арба, неистово скрипя, направлялась к дому Власовых. На крыльце дома стоял старик Власов. Ульяна, увидев его, громко зарыдала.

— Тяжело в горах жить-то, — сказал Ядко, — того и гляди, упадешь, расшибешься.

— В мое отсутствие ситуация могла измениться, — несколько виноватым голосом проговорил Рентулич, — любопытно знать, как думает о смерти этой товарищ Павликов?

— Так я же тебе сказал только что его думы.

Рентулич вспомнил упрямое лицо с остановившимся стеклянным глазом. Может быть, этот стеклянный глаз неправильно отразит мир и его стремленья, но сам Павликов точен, ясен и чист. Приятно быть современником такого человека!

— Долго ли упасть и расшибиться, — подтвердил Рентулич.

Возле духана Рентулича окликнул Сангиглот. Он передал вазу. Павликов велел хранить эту ценность. Это будущий музей. Рентулич возразил:

— В духане темно, ваза тоже темная, — разобьют!

— Как угодно, дело Сангиглота передать!

Рентулич прошелся по духану: ни полок, ни шкафов, только и добра, что два стола и три скамейки. Вот и основывай здесь музей, вот и пиши здесь доклады для комиссии! Рентулич, схватив вазу, устремился к вышке.

Среди томительных молочно-желтых камней, на тропе, с текущей и жаркой пылью, Рентулич встретил Катю. Она была в белом, веселая, легкая. Она обрадовалась

Рентуличу, заулыбалась. В руках у нее была стопа бумаги.

— Товарищ Павликов наверху?

— Наверху.

— Как вы предполагаете, должен ли я ему сказать?.. Про и об...

— Нет, — быстро и легко ответила Катя. — Я думаю, нет. И кроме того, он же говорит, что вы желаете написать доклад. Я попросила бумаги у Сожиной супружницы... Она вынесла мне целую стопу! Странно, не правда ли?

— Брат у ней умер, кажется... — пробормотал Рентулич, ставя на камень вазу. — Так вы говорите, не стоит... Хрену бы мне с огуречным рассолом.

Катя возмутилась:

— Да вы опять напились.

— Где мне теперь!.. Мне бы про и об... поговорить... так же...

— Перестаньте, Рентулич!

По тропе с полотенцем в руках спускался Павликов. Мысль, которая вначале показалась ему дикой, но которая чем дальше, тем больше занимала его, мысль эта была такова: «А что, если ты, Павликов, ослабел настолько, что память начала тебе изменять и в мозгу у тебя образуются некоторые провалы? Например, ты мог ударить не в подбородок баптиста Анисима, а в висок, и ты его убил, а теперь память тебе изменила, и ты думаешь, что он упал, ударился виском о камень...»

Он присел на камень рядом с вазой, вытер пот полотенцем.

— Действительно душно, Катя?

— Душно.

Он снял серенькую свою кепочку и положил полотенце на затылок.

— Вы наняли коней, Рентулич?

— Еще бы не нанять...

— Хорошие кони?

— Еще бы не хорошие. Я же коновал и...

— Ах да, вы коновал! А скажите, товарищ коновал, наберется ли на складе взрывчатки литров двести или триста нитроглицерину?

— Ключи от складов, кажется, у Сожи?..

— Ключи! Но замки же всегда веселей ломать, Рентулич?

— Как прикажете, товарищ...

— Похоже на то, что у нас не хватит времени сваривать трубы и нам придется спустить в недра нитроглицерин.

— Почему, разве масла не достали? — спросила Катя.

— Масла? Какого масла? Ох, да, смазочного!.. Ты, как всегда, права, Катя! Нет смазочного, и мы решили прибегнуть к нитроглицерину!.. И что же — вы, товарищ коновал, исполняли обязанности лекаря?.. Вы, например, пускали кровь диким коням?

— Пускал.

Павликов закрыл глаза, глубоко вздохнул и наклонил голову к плечу. По всей видимости, он заснул. «А может быть, — подумал Рентулич, — Катя мешает нам вести серьезный и ответственный разговор?» Катя, прикрыв прозрачным своим шарфом лицо Павликова, на цыпочках подошла к Рентуличу.

— Над чем вы задумались? — шепотом спросила она. — Вас волнует смазочное, Рентулич?

— Смазочное, что смазочное! — также шепотом ответил Рентулич. — Мы в Туркестане в гражданскую войну паровозы сушеной рыбой топили... Блюют, а идут!

Катя тихонько рассмеялась. Забавный этот Рентулич!.. Огромная, похожая на перламутровую пуговицу, муха закружилась над Павликовым и вдруг тяжело грохнулась на шарф. Павликов вздрогнул, но не проснулся. Катя резко отогнала муху. Муха начала описывать кольца вокруг Кати, Павликова, камня, вазы...

— Какая муха крупная... Разбудить может...

— По моим наблюдениям, Екатерина Петровна, после революции муха пошла гораздо крупнее. Жирнее питаться стали, видимо. Или как иначе?

Катя опять тихонечко отогнала муху и тихонечко сказала:

— Видите? Крутится. Вон!.. Вы меня осуждаете небось, Рентулич, что я мухи не могу поймать, но я же больше по бабочкам специалистка.

Рентулич опустился на камень и лениво прошептал:

— Тогда гоните ее в мой район!

Желтая стопа неуклонно напоминала ему об его обязанностях и обещаниях. А здесь мухи и чувства... Неудобно же устроено человеческое бытие!

— Как же, поймать вам! — шептала Катя пренебрежительно.
— Почему бы и не поймать? Лавливали и не то.
— Где вы лавливали?
— Мало ли где!
— Но где же? Уж не на фронте ли? Да, на фронте все бывали героями!
Всякий признает, что Рентулич вправе был обидеться. Он и обиделся. Но, обидевшись, он возвысил голос, а Кате не нравилось, когда на нее возвышают голос, тогда и она возвысила свой голос. Даже если бы Павликов и заснул, он неминуемо должен был бы проснуться от этих все возвышающихся голосов. Павликов дремал, и дремота эта походила на разрешение некой туманной задачи... Ему все думалось: «Мог ли он забыть?.. мог ли он ударить биноклем в висок?..» Сквозь голубую кисею шарфа он увидел, что Катя и Рентулич гоняют вокруг камня и вазы муху, которая упрямо желала попасть на голубой шарф. У мухи был испуганный и все же храбрый полет...
— Я в точности был героем. Я, если хотите знать, многих побивал, Екатерина Петровна!
— Хоть вы и побивали, но вас-то главным образом били.
— То есть кто нас бил?
— Да вот хоть сегодня... Я вспоминала с Сангигупором войну. И он утверждает, что и он вас тоже бил!
— Где он нас бил?
Катя растерялась. Прежде всего она не умела соображать, когда на нее возвышали голос, затем она забыла, на каком участке Сангигупор бил Рентулича. Ей стало стыдно, она желала вспомнить весь разговор, и она сказала упрямо:
— Сейчас... сейчас... я вспомню!
— Так вы вспоминайте скорей! — наступал на нее Рентулич.
Катя его оттолкнула:
— Да что вы на меня кричите? Я вспомню!.. Он бил вас... — Она вспомнила и от радости подпрыгнула даже, но с ответом медлила, желая возможно точнее передать слова Сангигупора: — Он бил вас...
— Где он мог бить нас? — кричал Рентулич исступленно.

— Да ведь еще в детстве пели об этом песни... Как это!.. Ну да, вспомнила. В Карпатах и в Восточной Пруссии!

Рентулич с негодованием и радостью потряс себя за бороду.

— Так это же в империалистическую били! Пожалуйста! Я за империалистическую ответственности не несу.

Пока они спорили, муха проскользнула мимо них и торжественно и устало опустилась на музейную вазу, вырытую Сангиглотом.

— Ловите, — сказал Рентулич, задыхаясь, — ловите! Села!!

Катя нацелилась — и вдруг, покраснев, отступила.

— Знаете... Я боюсь, Рентулич. А если она ускользнет? Вы ловите. Вы — мужчина, и к тому же вы смелый мужчина.

Выступил Рентулич. Да, и он, и все окружающие теперь должны понять, что в этом единоборстве победил он. Катя сдалась. Рентулич небрежно направился к вазе. С ловкостью, которая даже и самому ему казалась удивительной, он крался к вазе и бормотал:

— Муха. Что есть муха? Ничтожное существо. Нет, от меня не ускользнет...

Он подумал мгновение и совсем уверенно добавил:

— От меня ничто не ускользнет! Даже и...

И он хватил муху пятью своими напряженными до содрогания пальцами. Муха взметнулась, может быть, даже завизжала от испуга... Ваза качнулась кокетливо, поднялась на ребрышке дна — и молочно-желтый полдень устремился на ее молодые осколки.

Катя ахнула.

Только сейчас она увидела, что Павликов давно откинул голубой шарф, давно не спит и не дремлет.

— Ха-ха-ха!.. — сухо хохочет он.

Стыдно Кате...

Катя побежала вниз.

Рентулич горестно смотрел на обломки.

— Нет, не общественник я, товарищ Павликов!

Павликов засмеялся.

— Помилуйте... Но муху-то по крайней мере поймали, Рентулич?

— Совестно сказать, упустил!

Рентулич, неумело изображая на лице своем раскаяние, бросился собирать черепки. Когда он наклонился, из кармана его выпал коновальский его нож. Павликов поднял нож.

— Оружие или орудие, Рентулич?

Рентулич встал с руками, полными черепков. На красном и потном лице борода его была как древесные стружки, охваченные пламенем!

— Удивительно, что при таком пьянстве и нож мог у меня уцелеть. Стыдно мне тебя видеть, Мотька Рентулич, пьяница и трепач!

Он опять увидал стопу.

— Да, стыдно и то...

— Ваше искусство славится в долине, Рентулич?

— Что мне от того?

От дремоты, или от усталости, или от солнца, или, может быть, от начавшейся малярии Павликов чувствовал, что тело его расслабло, ноги отяжелели и куда-то скрылась ясность мысли.

— Видите ли, Рентулич, как я вам уже говорил, возможно, что нам придется применить в скважине взрывчатку. Но для этого требуется некоторое время для подготовки, а если спускать, то мы должны спешно спускать, пока не вернулся Сожа... Кроме того, будем откровенны: после смерти Анисима Власова...

— Так точно...

— После смерти Анисима Власова баптисты могут озлобиться на нас. Сейчас они несколько опешили, мысль о мести их еще не занимает, но немного погодя как бы нам не пришлось прибегнуть к самообороне.

— Верно, но...

— Верно, но — у меня мутно в жилах, Рентулич. Вам, как лекарю и коновалу, известно, что если коня загнали, если у него дурная кровь, то весьма полезно...

Павликов засучил рукав гимнастерки и протянул ему коновальский его нож.

— То весьма полезно вскрыть тому коню жилы.

— Так точно!..

— Вот и режьте!..

Рентулич отрицательно мотнул головой. Он не может резать! Тогда, раньше чем резать, он должен бы

сказать о чувствах своих к Кате, к его жене, сказать о своих недоумениях; о своей слабости, наконец. Он понимает, что запутывается, он, Мотька Рентулич...

Павликов резко повторил:

— Режьте!

— Кому угодно, но не вам!

И, кроме того, режут полнокровным, сильным, а он усталый, сухой и болезненный, что же он вместо крови пустит в жилы, мозги свои разве?..

— Не могу, товарищ...

— Я сомневаюсь, были ли вы на войне, Рентулич, и не вы ли говорили только что Кате о том, какой вы герой!..

Который раз в этот день упрекают его, Рентулича! Негодование овладело им. Он схватил нож, положил руку Павликова на свое колено, прикрыл ему шапкой лицо, и ему подумалось...

— Опускаете, что ли? — прервал его мысли Павликов.

— Да, опускаю! — сказал Рентулич.

Павликов почувствовал легкий укус и холодок в руке. Павликову одно мгновение захотелось отдернуть руку, но тотчас же он вспомнил свою мысль: «Куда же он ударил биноклем: в рот или висок, и мог ли и должен ли он был вообще ударять?..»

— Чем перевязать? — услышал он голос Рентулича.

Он открыл глаза. Рентулич стоял над ним со злым и тяжелым лицом.

Павликов хотел приподняться, но Рентулич положил ему руки на плечи.

— Надо ж перевязать!

Павликов начал ощущать, что тело его проясняется, становится бодрее, и мысли об умершем баптисте отхлынули.

— А где ваш доклад, Рентулич? Написали вы доклад?

Рентулич, перевязав руку Павликову, тоже сразу же почувствовал, что злость его прошла и что многое в мире можно уладить, если основательно об этом подумать.

— Вы угадали, его нет!

— Но я вижу бумагу подле ваших ног, Рентулич.

Павликов закрыл глаза.

— Пока я несколько соберусь с силами, вы прочтите мне свой доклад.

Рентулич мял стопу, она винтом скользила в его руках. Павликов сидел перед ним на камне с лицом, заметно порозовевшим и повеселевшим. «Вот это человек, — думалось Рентуличу, — выпустил свою последнюю почти кровь для того, чтобы быть непреклонным, чтобы в долине Тба была нефть, а он, Мотька Рентулич, влюбился в его жену и даже осмеливается думать, что нужно бы об этой любви поговорить с ним!.. Стыдно тебе, стыдно тебе, Мотька Рентулич, стыдно тебе пребывать в подобном положении!»

— Я слушаю вас, — раздался опять голос Павликова, все еще сидящего с закрытыми глазами.

И тогда Рентулич разорвал стопу. Листы веером рассыпались по тропе. Он схватил первый попавшийся и, глядя в белый и чистый лист, начал громко и плавно читать свой доклад. В этом докладе описывались невзгоды и страдания людей: неправильные взаимоотношения их на разведках, подлость и жадная смелость баптистов; их разговоры о нефти, которые никто не мог осмыслить, пока сюда не приехал Павликов; отсутствие руководства, воды, пищи, орудий... И вот теперь какая-то комиссия, у себя в кабинетах выработав заранее возражения, спускается с уже готовыми решениями и резолюциями в долину, спускается, охваченная не пролетарским мироощущением, а боязнью утерять нечто из своей ученой карьеры...

— «Основная ошибка всех разведывательных партий заключалась в забвении того, что, помимо природных богатств долины, здесь имеются еще социальные силы, которые примерно расположены так...»

— Чересчур мягко пишете! — прервал его чтение Павликов.

— Чем же мягко, товарищ?

— Вы постоянно забываете, что если враг твой с муравья, то его нужно считать слоном. Но все же я с вашим докладом согласен, Рентулич. Вы прекрасный работник. Дайте я его подпишу...

Он встал, выхватил листки у Рентулича и, продолжая, видимо, думать о своем, написал, не глядя и не видя того, что перед ним чистый и белый лист бумаги: «Всецело поддерживаю и присоединяюсь. С. Павликов». После этого он сунул карандаш в карман, одернул

тужурку, по всегдашней привычке своей приподнялся немного на цыпочки и сказал:

— Пора мне и кверху направляться, Рентулич. — И он направился кверху.

23

В те сутки, когда нашли Анисима убитым, когда его увезли в баптистское селение и Ульяна ушла его провожать, а Сожа отправился к дубу под пиком Али-Магом, дабы помочь принять тросы, Шурочка провела в доме Сожи отвратительную и тяжелую ночь. Дом был тих, грязен, всюду валялись окурки и ползали обеспокоенно тараканы, на веранде стояло несколько упакованных чемоданов и сундучков с добром Ульяны и Льва Ивановича, а в комнате, которая служила столовой, на груде рваных и дрянных курдских ковров, постоянно возлежал Цитовский и жаловался на малярию, которая будто бы схватила его. Но к вечеру Цитовский выздоровел и вместе с Корсаковым отправился в баптистское селение. С уходом их в доме стало еще томительнее, Шурочка попробовала убрать свою комнату, но так и не могла; попробовала поискать Катю, но духан был пуст. Шурочка опять возвратилась в дом и чрезвычайно обрадовалась, когда появился Корсаков с четвертью вина и за ним Цитовский с курицей и с тремя калачами белого хлеба. Оба они побрились, и Цитовский начал готовить чохохбили — нечто вроде кавказского рагу, с пряной и крепкой приправой, а Корсаков решил искупаться, и, сколько помнится, Шурочка его долго уговаривала (ей не столь жалко было его ухода, сколь она скучала и боялась чего-то): она горячо говорила, что тают обвалы и вода грязная! Эту ее горячность он понял, должно быть, по-своему, чрезвычайно обрадовался, начал накрывать на стол, попробовал вино, и, к радости его, оно оказалось сладким, и ему нетрудно было уговорить Шурочку выпить.

— Повеселимся, что ли? — крикнул он.

— Повеселимся! — ответила Шурочка и выпила сразу целый стакан. Ей очень хотелось действительно повеселиться. Она понимала уже, что впредь ей едва ли удастся повеселиться в долине, что придется из дома Сожи переселиться в духан, что даже в баптистском се-

лении теперь нельзя жить... А когда растают снега и когда можно будет уехать отсюда?.. Да и стоит ли отсюда уезжать?

— Налейте еще, — сказала она. И этот второй выпитый ею стакан Корсаков истолковал по-своему. Он подмигнул Цитовскому, тот пробормотал что-то вроде того, что, мол, отлично, и без тебя знаю, когда уйти!.. Она вспомнила, как ей было хорошо и легко в первые дни приезда в долину. Ей подумалось, что, как только кончатся разговоры о смерти Анисима, опять все настроится, можно будет кататься на лодке, уехать на виноградник. На виноградник! А не догадаются принести женщинам винограду, а приносят вина, сладкого и хмельного.

— Еще налить? — спросил быстро Корсаков.

— Еще, — ответила она.

Комната освещалась керосиновой лампой. Буровые станки были на разведках. Озеро лежало темное и густое, цвета моченой вишни.

Корсаков звонко закричал, что он к ней относится чудно, он готов на ней жениться, она замечательно пьет и вообще бой-девуля. А разве они плохие женихи? И они не то шутя, не то всерьез стали переругиваться между собой, отбивая право первенства на сватовство. Шурочке было это приятно и лестно слушать, она налила еще стакан, поднесла его ко рту, и вдруг голова ее прояснилась, и ей стало неимоверно стыдно и видеть и пить вино. Она отставила стакан и подумала, что, должно быть, сейчас-то она окончательно захмелеет. Но хмель не приходил, голова ее была по-прежнему ясна, и только сильно ослабели руки и ноги. Ее обняли. Она отбивалась слабо, но стыд и омерзение овладевали ею все больше и больше, и это омерзение потрясло ее нестерпимо. Когда Корсаков горячей и восторженной рукой коснулся ее шеи, ей подумалось, что если сказать какие-нибудь слова, то это в какой-то степени обезвредит все то, что происходит сейчас, и, главное, придаст происходящему некоторую возвышенность. Керосиновая лампа коптила. Шурочка сказала:

— Уверните фитиль.

Корсаков яростно посмотрел на лампу, на Цитовского. Цитовский погасил огонь, и тогда Корсаков навалился на Шурочку. Она протянула руку и схватила его за нос; он испуганно и гнусаво закричал, отскочил.

Шурочка вышла на крыльцо, и ей слышно было, как Цитовский чиркал спичками, все не мог добыть огня и все спрашивал:

— Да она тебе что, нос отрезала или как?

Корсаков кричал на весь дом:

— Задавалка, братец-то баптиста ухлопал, а она с чем носится? Меня за нос хватать! Я душу всю ей теперь вымотаю! Шурка, иди сюда, дрянь!

Шурочка, заплакав, направилась по тропе к духану. Сухая и неимоверно высокая, бледная груда развалин поднялась перед ней. Она испугалась страшно. Она хотела обойти ее, но не могла. Корсаков кричал в доме, она кинулась на этот визг, наполненная отвращением и радостью. Но в дом войти она не решилась и влезла в свою комнату через окно и, не раздеваясь, упала в постель. Ей было столь омерзительно и так хотелось до конца исчерпать в себе и к себе омерзение это, что она подумала: «Если постучатся, — как бы ко мне ни отнеслись и что бы со мной ни сделали, открою». Но никто к ней не постучался.

2

Ее разбудили рано. Сангиглот принес из селения телеграмму. Агриппина Степановна спрашивала о здоровье. Обыкновенная материнская телеграмма, которая в иное время слегка бы растрогала Шурочку, теперь же потрясла ее необычайно. Она зарыдала и рыдала громко, долго, преисполненная растущим негодованием к себе, к Павликову, ко всей долине, отвратительной и грязной, которую она некогда могла даже находить красивой. «Умирает мать от тревоги, — рыдала она, — а мы здесь забавляемся, мечтаем гулять при луне, лежать на пляже и добывать нефть!..»

Под окном она увидала Рентулича и Катю, они шли, озабоченно споря о чем-то.

— Уезжать! — открывая окно, крикнула Шурочка. — Немедленно отсюда уезжать!

Катя преисполнилась скорбной и виноватой какой-то радостью.

— Да, я тоже думаю уезжать, Шурочка, но вот Рентулича трудно уговорить.

— Уезжать! — крикнула Шурочка, захлопнув окно.

Она выскочила на крыльцо, но, пробегая по дому, она успела рассмотреть, что и вино, и все закуски, жалкие и дешевые сласти, убраны и Корсакова и Цитовского в доме нет.

— Сейчас же взять лыжи Павликова и уезжать! — крикнула она на крыльце и опять зарыдала.

Рентулич растерянно теребил бороду.

— Если я вчера сомневался, что Павликов уедет, то сегодня, кажется, сомнений нет... Трубы все еще не привезли, и подозреваю, что курды, захватив деньги, просто откочевали, дабы не надсаживать коней непосильным грузом. Нефти нет, да и сваривать трубы поздно уже, а нитроглицерин вводить как будто бесполезно, так как все ударные грузы увезли еще раньше... вообще ерунда! А бурение все еще, граждане, идет через твердые породы, по свидетельству Сангигупора... Я только что от бурильной... Я думаю, он уедет!

Катя, глядя на Шурочку, тоже начала всхлипывать.

— Да, да, уезжать, — бормотала она. — Разве это жизнь, — я за все время только одну бабочку заколлекционировала...

— Вот в том-то и дело, — подтвердил Рентулич.

Рентулич врал.

Но дело было вовсе не в том, — дело было в том, что сегодня ночью и он и Катя хотя и не сказали друг другу ни слова, хотя и виделись всего несколько минут, но поняли, что больше вдвоем им оставаться нельзя, что их тянет друг к другу, что они милы друг другу, и так как оба они были хорошие, веселые и честные люди, то им нестерпимо стыдно было понимать, как плохо обманывать, кидать Павликова в те дни, когда он так напряженно и так безрезультатно ищет нефти! Катя поняла, что лучше всего и храбрей всего — это уехать отсюда немедленно, и она так была занята этой своей мыслью, что даже не поинтересовалась узнать, почему же и Шурочка хочет отсюда бежать и почему же она так горько плачет. Катя просто решила, что Шурочка понимает все, что происходит с Катей, и плачет, ее жалеючи, и от этой мысли Катя еще больше пожалела себя и сказала решительно:

— Мы идем к Павликову.

— Да, да, — обрадовалась Шурочка, — немедленно же, немедленно.

Павликова они встретили на тропе, неподалеку от того места, где вчера Рентулич столь трогательно разбил вазу.

— Вниз, вниз, — весело сказал им Павликов, — сейчас мимо здесь понесут взрывчатое. Мы все-таки, Рентулич, заряжаем скважину нитроглицерином. Авось: или найдем подходящий груз, или нитроглицерин взорвется от внутренней теплоты! Да спускайтесь же вниз и выдайте мне нечто вроде бутерброда. Вы знаете, Рентулич, сколько я спал в эту ночь? Десять минут. Нет, теперь мне понятно, что мне вредно заседать в залах академий! Десять минут, но я более свеж, чем Катя! Сравните!..

Встревоженное, утомленное и белое лицо Шурочки, более чем когда-либо похожее (это сравнение осталось у Павликова с детства) на засахаренную клюкву, ясно показывало, что она желает говорить с братом долго, серьезно, может быть так, как она не разговаривала ни разу. Ему стало даже несколько жалко ее. Жалость эта была б еще сильней, если б не раздражал шатающийся бестолково Рентулич, которому давно уже Павликов поручил иные, более важные дела, нежели утешать женщин.

Он поднял глаза. Высоко над долиной стремился пик Али-Магом, важный и гордый.

— Лучше бы тебе заседать, — сказала быстро и обиженным голосом Шурочка, — лучше тебе, Сергей, заседать в залах академий.

— Прекрасный же день, Шурочка!

— Прекрасный.

— Но у тебя такое лицо, как будто ты убеждена, что подобных этому дней ты не встретишь более. Я всегда в такие дни вспоминаю детство.

— Детство, — прервала она недовольно. — Детства у людей больше не будет. Вот про меня... Мне кажется, что я шагнула прямо в старость.

— Кто этому поверить может!..

Однако и Рентулич и Катя страстно и растерянно соглашались с ней. Преодолевая жалость свою к сестре, Павликов заговорил быстро:

— Ты желаешь говорить только о себе или о других, Шурочка?

— Я желала бы сказать тебе о всех нас...

— И еще?

— И еще о маме, Сережа.

— И еще о маме? Говори.

Она поспешно передала ему содержание телеграммы. Ей казалось, и он верил ее тревоге, что Агриппина Степановна чувствует себя хуже, и что напрасно они ее покинули... ее лучше всего вылечить присутствием сына и дочери... и невестки тоже.

— Кому это непонятно! — закончила Шурочка с возмущением.

— Всем, всем понятно, — подхватил Павликов, — сколько она перетерпела, трудно и думать! И теперь еще ее заставляем страдать. Да, ты говоришь больные истины, чрезвычайно тяжелые истины...

— Еще далеко не все решено, Сережа?

— Да. А как мы можем решить все? Иногда мы спокойно и верно работаем громадный, длинный год, а иногда спотыкаемся на каждом шагу. Подумай, сейчас мы предпринимаем задание на пять лет, в котором, между прочим, совершенно до неузнаваемости будет преобразована долина Тба...

Шурочка указала рукой на пик Али-Магом.

— Целы ли твои три пары лыж, Сережа?

— Три пары лыж? Да, целы.

— Ты, сколько мне помнится, всегда утверждал, что Тбинским перевалом можно во всякое время года, если не бояться обвалов, пройти на лыжах.

— При наличии опытного проводника? Утверждал.

— Ты опытен, Сережа.

— Ну, какой я проводник!.. Солнце сияет на снегах... У меня один глаз... Нет, я плохой проводник, сестрица.

Он скромно прислонился к скале. Скала гладкая и теплая, и ему подумалось, что совсем не плохо бы скользить сейчас на лыжах через пропасти, удивляя и других и себя. А как приятно взять рукой горсть холодного снега и провести ею по лицу!

— Мы решили, что ты обязан немедленно доставить и нас и себя по ту сторону гор, Сережа.

Павликов сердито оттолкнулся от скалы.

— Шурочка! Правильно ли я тебя понимаю: ты, скрывавшаяся от меня все последние дни, настойчиво желавшая жить здесь, вдруг требуешь, чтобы я увел вас отсюда. Откуда появилось такое требование и желание? Ты должна быть откровенной вполне, дабы я не подумал чего дурного.

— А что ж ты можешь подумать дурного?
— Не влияют ли на тебя баптисты?..
— На меня?
— Влиять могут не прямо, а косвенно.
Она рассмеялась.
— Ты столь мало знаешь меня, Сережа?
— Мало.
— Ты вырос вместе со мной.
— И я узнал сейчас, что напрасно не интересовался твоими идеалами.
Она потупилась угрюмо и упрямо, и Павликов подумал, что ее не так-то легко заставить взять обратно свои требования и жалобы.
— Мы желаем, чтобы ты увел нас отсюда, — повторила она.
«Не мог ли Корсаков поступать так, как он поступил, для того чтоб она убежала из долины и в бегстве своем увлекла брата? И поступил ли Корсаков по уговору с баптистами?» — думала она. Невозможно! При всем отвращении к Корсакову она верила ему. Пусть он горячий и пылкий человек, который любит женщину только как самку... Ее плечи и руки горели. Большого напряжения стоило ей разглядеть и понять, что Павликов (несмотря на то, что он хвастал отличным состоянием своего тела) стоял перед ней серый, истомленный, издерганный и негодующий. Ей захотелось быть более кроткой. Слезы навернулись у нее на глазах.
— Я прошу... — сказала она.
— Вот, ты даже просишь, сестрица. Странно. А кто-то, не помню уже, успел мне передать, и я порадовался за тебя, что ты любима, что ты чуть ли не собираешься выйти замуж. Все радовались и завидовали твоему счастью... А теперь ты бежишь, — сказал он горько и с горечью услышал:
— Да, хотя меня и любят, хотя из-за меня ссорятся и душегубствуют.
— Душегубствуют? Соперничают?
— Да. Я могу выбирать...
— Тогда торопись. Выбор, Шурочка, в нашей долине весьма ограничен.
Он посмотрел на Рентулича и отвернулся.
— Ссорятся? Кто же мог бы здесь из-за тебя ссориться? Душевное состояние жителей долины мне известно. Не в совершенстве, но... Не Цитовский и не

Корсаков ли из-за тебя душегубствуют? Они?.. Я не люблю, как тебе известно, Шурочка, говорить о незнакомых мне людях, но в данном случае с полной ответственностью я заявляю, что они негодяи! Если тебе нужно, я могу сказать более ясно, более фактами...

Он опять мельком посмотрел на Рентулича. Тот покраснел.

— Все же остальные души бери, Шурочка!

Шурочка вяло развела руками и качнулась.

— Я пробовала взять, но они скользят, как мокрый камыш меж пальцев... И вообще я будто закладка, выпавшая из книги и подхваченная ветром.

— Почему так оказалось, Шурочка?

— Оказалось, что я боюсь жизни, и мне пора домой. Мне даже не только пора, но мне необходимо домой. Немедленно! И мама...

— Мы уходим в четверг. В три часа утра, а сегодня уже вторник.

— Я не могу ждать до четверга, Сережа!

— Ты ребенок, Шурочка. Почему ты не можешь ждать до четверга?

От его слов она почувствовала некоторую бодрость.

— Если бы ты, Сережа, хотя помог нам перевалить через пропасти. Ты быстро затем сможешь возвратиться к своей работе.

— А если меня завалит снегом? Кто будет продолжать работу?

— Нужно жалеть старость, Сергей.

— Чем я обидел старость?

— Я тебе говорю о состоянии мамы, а ты... я ей сейчас же пошлю телеграмму, что мы возвращаемся... сейчас!..

Она вытерла тонкой и сухой ладонью раскосые свои глаза. Жест этот, ребяческий и неловкий, растрогал Павликова. Он сказал ласково:

— Перестань, Шурочка...

— Ты на меня не сердись, Сережа. Я обещаю тебе впредь быть хорошей и крепкой.

— А разве ты теперь слаба, Шурочка?

Шурочка обрадованно тормошила Катю, Рентулича погладила по бороде.

— Вы не должны, Катя, сопротивляться, когда я буду высказывать Павликову перед отъездом все, что ему необходимо понять.

Павликов прервал ее:

— Я и без тебя, Шурочка, многое понимаю. Все, что необходимо для налаживания производства в этой долине, мною проделано.

— А людей ты понимаешь?

— Производство строится людьми и благодаря людям.

— Нет! Основное наше несчастье, родовое, из-за которого произошла вся эта размолвка, то, что наша семья чересчур книжна, и я более всех. Как я могла поехать в долину! И горы, и камни, и это озеро, и нечистоплотные и горячие люди перепутали мою душу... Возвращение отсюда будет для меня целебно... Что поделаешь, если я уже городской житель и для меня даже дача как джунгли?.. — Она оборвала себя, оглянулась и несказанно была изумлена своими словами, и так как ей было стыдно того, что она сказала, то она, комкая фразы, закончила: — И вот... я решила... остаток своей жизни отдать и тебе, Сережа, и вам, Катя... остаток городской своей жизни. Я должна научиться дивно стряпать, стирать и шить. Я комнатный человек. Вот, например, какое твое любимое кушанье, Сережа?

Павликов задумался.

— Любимое? Хлеб.

— Я буду печь тебе отличный хлеб.

— Для этого есть пекарни.

Катя порывалась тоже что-то сказать, но Шурочка отстранила ее.

— Дайте мне высказать, Катя. Мы — твои друзья, Сережа, мы все! И как мы понимаем все происходящее здесь? Мы понимаем так, что мы, дачники, приехали сюда и вмешались нагло в чужие дела, в дела Сожи и его жены. Мы напутали... И теперь нам в первую очередь необходимо извиниться. Подожди строить возмущенную физиономию! Да, извиниться перед Сожей и его семьей. Не говоря о нас, ты, Сергей, ведешь себя возмутительно. Я не касаюсь твоих дел с рабочими, где ты, по моему скромному мнению, поступаешь совершенно партизански...

— Я согласен: плановость сейчас необходима более, чем когда-либо!

— Ну, вот видишь, теперь и ты согласился со мной. Но, приехав сюда, прожив больше недели, ты не удосужился нанести хотя бы пятиминутный визит Соже и

его жене. Подожди, подожди!.. Ты судишь по сплетням, но я уверяю тебя, что Ульяна Михайловна прекрасная и добрейшая женщина. Она измучилась в этой дурацкой долине, где муж ее неустанно бурил в продолжение трех лет, — и все бесцельно. А теперь ему грозит увольнение... А у нее пропала молодость!

— Молодость? — ухмыльнулся Павликов.

— Молодость!.. Стоит ли над этим смеяться? Ты ученый, Сережа, ты как будто профессор, и если не уважаешь себя, то хотя уважай людей, которые чтут твою ученость.

— Я всегда ему об этом твержу, — воскликнула Катя, — и теперь вы чрезвычайно удачно объяснились с ним, Шурочка. Вы правильно сказали, я их не люблю и не совсем согласна с вами, но мы обязаны извиниться перед всеми Сожами. Извиниться и уехать...

Павликов тронул Катю за плечо.

— Разве и ты, Катя, возвращаешься в Тифлис?

Рентулич рассматривал черепки недавно разбитого им кувшина. Шурочка подошла к нему и, указывая на черепки, спросила тихонько:

— Из-под молока?

Рентулич также тихонько и с грустью ответил:

— Кабы из-под молока!

— Да, вы удачно заметили... — И они смущенно посмотрели друг на друга.

— Мне важно уйти сегодня, сейчас, к вечеру, — услышали они голос Кати. — Я предполагала, что могу дотерпеть до четверга, а прослушав, что говорит Шурочка... и я готова даже к лыжам!

— Но у нас всего три пары лыж, Катя.

— На сегодня, Павликов, нам и нужно только три. — Катя старалась быть твердой, легкой и решительной. — Мне, тебе и Шурочке, — сказала она твердо.

Ей хотелось встать рядом с Рентуличем и попытаться так же, как и он, сосчитать носком черепки, перекинуться незначительными фразами с Шурочкой, уметь показать свою независимость и беспечность. Но и Рентулич, если присмотреться к нему, был багров, и борода его от смущения была влажна.

Павликов хмыкнул.

— А завтра разве понадобятся уже четыре пары?

— Сегодня три.

Шурочка указала на зеленое пятно у подножия пика, которое в долине называли Коровьей полянкой. Воздух был чист, и можно было разглядеть голые ветви громадного дуба, проход среди скал к пропастям, теперь заваленный снегом, из-под которого торчал кусок коричневых каменных перил.

— Наиболее опасно, — сказала Шурочка, — перевалить через снежный обвал возле полянки и моста, но я думаю, мы его успеем миновать еще до заката, Сергей.

— Если поторопитесь.

Он стремительно упал на край обрыва. Все ахнули. Указывая вниз обеими руками и не поднимая головы, он глухо прокричал:

— Наклонитесь! Ниже!! Видите?

Ниже, на одной из петель, которые описывала тропа вокруг Желтой скалы, поднимался вверх караван, груженный толстыми и короткими трубами. Караван этот шел, минуя землянку с взрывчатыми веществами, и тени каравана, падающие на землянку, были низки и расплюснуты. Впереди, на маленьком коне, ехал Ядко, рабочий, с длинными седыми усами и с короткой челюстью. От вышки навстречу каравану неслись приветственные крики. Одежды курдов, пестрые и лохматые, неистово развевались по ветру. Курды хохотали, и блеск их зубов, казалось, озарял всю долину. Курды были довольны и своей аккуратностью, и своими конями, и тем, что они так утащили искусно трубы, что прикреплявший стальные тросы к дубу на Коровьей полянке инженер Сожа ничего не заметил.

Павликов откинулся и уселся прямо на желтую пахучую пыль тропы.

Он хохотал с неподвижным лицом, чуть-чуть приоткрыв рот.

— Хо-хо-хо!.. Сам завидую себе, Рентулич, что живу в такой прекрасной стране... Хо-хо-хо. Сам себе!..

Рентулич молчал.

— Или вы необыкновенно глубоко убеждены, Рентулич, что мы обязаны извиниться перед Сожей?

— Думал я, думал...

— И что же вы придумали, глубокоуважаемый Матвей Осипович?

Рентуличу хотелось сказать, что ерундой оказались те как бы правильные и непреклонные мысли, с кото-

рыми он пришел, ерундой от слов Павликова к Шурочке: «Не влияют ли на тебя баптисты?..» Ему было стыдно, что он не расспросил Цитовского и Корсакова об их планах и намерениях и вместо этого бродил вокруг да около Кати, с которой ему так и не удавалось поговорить впрямую. Поэтому он сказал так коротко, как и сам не ожидал:

— Лучше всего прекратить подобную ошибку немедля! Кто знает, если мы действительно действуем по-партизански...

— То есть вне плановости? Так говорит Шурочка.

— Да, говорю, — со злостью, опять ее охватившей, ответила Шурочка.

Рентулич вцепился в бороду, вынул потную руку, сложил кулак и кулаком погладил себе по шее. Павликов захохотал.

— Так вы за плановость, Рентулич?

— Именно.

— И ты, Катя, и ты, Шурочка?

— Да.

— И я.

— Но мы не додумались еще до того, граждане, чтобы планово уничтожать дураков. Но что поделаешь, раз вы за плановость!

— Следовательно, ты согласен? — спросила Шурочка торопливо.

Она устала от разговора, от труда, с которым она старалась угадать мысли Павликова. Согласие его несколько ее обидело, так как, идя сюда, она рассчитывала, что разговор будет более тяжелым, более длинным.

Павликов рассматривал свои руки, выпачканные в пыли.

— Что поделаешь, если вы, трое самых близких мне людей и более жизнеопытных, признали, что нам лучше извиниться перед Сожей. Кроме того, как я догадываюсь, вы предполагаете, что рабочие из уважения к моим старым военным заслугам умолчат о моем постыдном пребывании здесь, а вы всегда можете сказать, что меня с вами не было. Комиссия только разведет руками и плюнет. Дорогие мои, выдумка ваша блестяща и упоительна, но она годна для поэтов, для театра, но в жизни...

Он хмыкнул, вскочил.

— Итак, вы остаетесь в долине, Рентулич?

— По-видимому, остаюсь.
— Возвращаетесь к баптистам?
— Говорят, стада они распустили без меня, и коновалы у них отвратительные...
— Как не распустить стада! Где много пастухов, там овцы постоянно без шерсти.

Тяжелый и странный поход по снегам обвалов пугал Шурочку, но она готова была его принять как искупление и боязливо радовалась и ему, и тому, что Павликов согласился. Она любит и уважает своего брата! Она спросила с уважением и деловито:
— Мне можно собрать вещи, Сергей? Мы берем самое необходимое, остальное нам дошлют. В частности, ты возьмешь свое одеяло, — оно теплое, напоминает Америку...
— Мое одеяло?
— То есть твой плед... лыжи...
Павликов резко сунул руки в карманы, насупился. Всегда вот так получается: если он говорит ласково, то люди его вежливость принимают как слабость. Но в данном случае его еще смущало одно: злой умысел или неряшливость и наивность увлекли Шурочку? Если злой умысел, он обязан найти злодеев, если наивность, то почему он раньше не заметил и не перевоспитал сестру?
— Да ты видала караван, Шурочка?
— Видала.
— И вы, Рентулич? И ты, Катя?
— Да.
— А почему мне не видеть, Павликов, я наблюдательна.
На такой жаре, когда будь бы часы в кармане, они бы раскалились, как уголь, вынутый из костра, глупо и смешно говорить с такими наивными людьми, как Шурочка или Катя. Но Рентулич! Рентулич его возмущал.
— Итак, вы находите, что сварные трубы нам не нужны уже, Рентулич?
— И отлично, что не нужны, — вмешалась Катя.
— Мой плед...
Катя забавно морщила веселый и плоский свой лобик. Она так же, как и Шурочка, любила плед, привезенный Павликовым из Америки. Плед этот, похожий

на тигровую, а также на козью шкуру, был величествен и как бы упитан.

— Мой плед я в числе прочих вещей отдал курдам за перевозку труб, Шурочка. Они все-таки понимают толк в добротном материале. А теперь Рентулич утверждает, что мы напрасно привезли трубы...

Шурочка вспыхнула.

— Ты отдал плед?

25

Сверху плечо к плечу по узкой тропе спускались: Ядко седоусый, с подбородком, похожим на гребенку; Карабевицкий, хилый, постоянно вытиравший мокрые губы, и низенький, по колена им, востроголовый и рыжий Рубнис. Увидав Павликова, они заулыбались. «Да, они любят Павликова, — подумала Катя, — и он их любит, но это было б ничего, если б не Шурочка, которую только тронь...» А Шурочка, точно, раздражалась нестерпимо. Она знала, что Павликов немедленно начнет говорить высоким агитационным своим голосом, привставать на цыпочки и одергивать тужурку, — и здесь его не остановить ни семьей, ни домом, ни женой.

Павликов привстал, одернул тужурку.

— Вы хотите сказать, Ядко, что караван у вышки?

— Так точно... И также насчет взрывчатых...

Павликов возвысил свой голос так, как будто его должна была слышать вся долина.

— Кашевар Карабевицкий, где ты потерял ногу и с какого года у тебя протез?

Карабевицкий посмотрел на ногу и неохотно ответил:

— Протез с двадцать первого... А потерял я ее под Уфой. А в чем тут дело-то?

Павликов кинулся к седоусому Ядко, рано утром сегодня выбранному предзавкома.

— Где тебе посекли пальцы, предзавкома Ядко?

— Полковники порубали их у Перекопа, — ответил Ядко, закручивая усы свои.

Он не в пример скромному Карабевицкому гордился своими ранами.

— А где тебе, Рубнис, нанесли семь колотых ран и с какого времени у тебя болезни?

Востроголовый Рубнис ответил:

— Я так полагаю, и все солидаризируются со мной, что семь колотых ран и одну огнестрельную получил я все на той же Висле, на которой я еще-таки буду стоять, опираясь на красное знамя!

Павликов отдал распоряжения о нитроглицерине. Рабочие, все так же плечо к плечу, по узкой тропе, наиболее кратким путем, направились к землянке. Рентулич смотрел им вслед. Лицо у него было смущенное и задумчивое.

— Спросил я их о ранах, Рентулич, не для целей агитации, а для того, чтобы вы их слова записали в известный вам доклад.

Он указал вниз, туда, откуда доносились голоса трех спускающихся, и добавил:

— Они вот никак не думают, что я могу удрать из долины!..

— Плакат, опять плакат! — воскликнула Шурочка. — Если тебе так здесь любо, то ты можешь остаться здесь на всю зиму и весну... Но нас ты обязан проводить через снег сегодня же...

Павликов тяжело вздохнул.

— Ты, подобно твоему брату, многословна, Шурочка. — Он повернулся к Рентуличу. — Я согласен с вашей мыслью, Рентулич: мы не будем сваривать труб, — это хлопотливо и суетно. Мы просто вольем в скважину взрывчатку. Мы разворотим всю желтую скалу, черт ее дери, вместе с домом Сожи, но нефть хлынет!

Шурочка поняла его вздох: его угнетает глупость, наивность людей, которые не понимают его шуточной манеры разговора.

— Итак, конечно, ты не поведешь нас, Павликов?

— Не поведу, Шурочка, конечно. — Он сказал с наслаждением: — Твоя надежда на мое бегство и весь ваш план сентиментальный и вычурный насчет обмана комиссии указывают только на то, что вы весьма мало уверены в моих знаниях. Здесь есть нефть! Именно...

Шурочку всегда раздражало его любимое словечко, так умилявшее маму, «именно». Что именно? Когда именно? «Именно» вылезало всегда, когда ее хотели обидеть, обделить, изувечить. «Всегда, — думала она, — при посторонних людях особенно, обращался он с ней как с юродивой или мелкой преступницей! Он не объяснял ей ничего толком, а выкидывал это тупое и бесцветное: «именно»! Тиская сухими своими ручонками голу-

бой шарфик, подаренный Ульяной, она хотела сказать ему одну какую-нибудь резкую и донельзя обидную фразу, но, как только она начала говорить, ее подхватил горячий поток гнева, слез, обиды и лжи, которую она никак не могла удалить от себя и которая вязала фразу за фразой, как бы пытаясь оправдаться в многословии. Ей хотелось, чтобы все сказанное было и правдиво и великолепно, чтобы могло мгновенно лишить брата той уничтожительной самоуверенности и наглости, которая всполошила всю долину!..

— Ты маниак, ты совершеннейший маниак, — закричала она, быстро шагая перед ним взад и вперед, — ты способен даже дойти до того, что можешь меня обвинять, что я в заговоре с баптистами. Ты сам создал этот заговор. Зачем ты приехал в долину? Зачем ты впутался в чужие дела? Зачем ты, — я буду откровенна так же, как и ты со мной, — зачем ты дрался с баптистом? — я не знаю, как его зовут... Всем известно это, и все тебя укрывают. Тебе кажется плохой выдумкой, что мы тебя хотели увести отсюда?.. Лучше пусть тебя судит твой партийный суд, чем тебя будут судить здесь баптисты! Понял? Смеяться ты мог надо мной только. А не лучше бы сообразить, что баптисты привяжут тебя к хвостам тех вот курдских коней, которые везли сюда твои дурацкие трубы; везли, везли и не успели привезти, как они уже оказались непригодными, и ты решил спустить нитроглицерин!.. Привяжут к хвостам и погонят коней в разные стороны... а мы должны будем страдать и раскаиваться всю жизнь, что не уговорили тебя, героя, отсюда уехать. Может быть, — все возможно, — тебе поставят памятник в Тифлисе и поставят еще на том месте, где тебя разорвали курдские кони, и никто не поймет, что ты загубил и себя, и нас всех!.. Подхваченный твоими цифрами и твоей статистикой, посредством которой ты думаешь перестроить всю Азию, окружающую тебя, ты ничего не замечаешь. А цифры, как метель под окном, промелькнут в твоей голове и ничего не оставят тебе, кроме холода. Ты хоть посмотри на Катю. На кого она стала похожа? Ты скажешь и еще приподнимешься на цыпочки, что она светла и радостна, но ведь это же последние усилия, с которыми она бережет свою свежесть, на них и страшно и противно смотреть, — она увянет в один час... Мы все только и знаем, что заботимся о тебе, а ты называешь эту долину долиной дура-

ков, — в этом вся твоя благодарность и все твое великолепие диалектического твоего мышления! Ты говоришь: «Ах, Шурочка, боюсь я, что ты с баптистами!» Да, я с баптистами, если против них стоят такие, как ты. Да, они меня подкупили хотя бы тем, что ясно намекают всюду, что смогут понять, кем и как убит...

— Ты больна, Шурочка, ты совсем больна, — сказал Павликов.

— Я больна тобой.

— Значит, и ты повинна вместе со мной в убийстве баптиста...

— Он признался, он признался, — кинулась с плачем Шурочка к Рентуличу.

Рентулич смотрел в землю. Она провела пальцами по своим мокрым и теплым глазам. Она хотела сказать: поднимите на своего командира возмущенные глаза свои, Рентулич, и, не сказав ни слова, высоко вздернула худенькие плечи и кинулась по тропе вниз. Голубой шарфишко, подаренный Ульяной, зацепился за камень — и остался там. Катя сняла шарфик, скомкала и растерянно опять положила его обратно.

— Нужно бы вернуть ее, Павликов, — проговорила Катя, зная, что вернуть Шурочку сейчас невозможно.

— Попробуй!

26

Но Шурочку действительно нельзя было вернуть, и она сама понимала это и сама мучилась этим. Она мучилась тем, что ушла, когда, если б она побыла там еще минуту, она бы раскаялась, и все было бы улажено. Она хотела досадить Павликову, и желание это не смогла победить в себе. Она понимала, и ей было стыдно, что она наговорила много такого, во что не верила, и самое главное, она не верила, что Павликов мог убить баптиста. Она оскорбила брата, который хотя и партизански, но исполнял очень большое, тяжелое и важное дело, могущее в случае удачи быть благодеянием тысячам людей. Она уговорила Катю и Рентулича защищать Сожу и его жену, которых ни она, ни Катя, ни Рентулич не уважали и не ценили. И теперь она спускалась по тропе прочь от дома Сожи! Вернуться ни в дом Сожи, ни к Павликову она не могла! Она идет к баптистам, — решила она горестно.

Да, она пойдет к баптистам, они христиане, они примут странницу, она идет к ним за помощью и исполнением своих надежд.

«Каких надежд, на что она может надеяться?» — спрашивала она себя. Она миновала землянку, развалины, спустилась на берег озера и направилась дорогой, которая, затейливо виляя, шла по высокому берегу озера к баптистскому селению. Дорога, узкая, гладкая, синяя, словно бы выструганная ножом в скалах, не походила ни на дороги степного Казахстана, ни на проселки России. Игрушечная она какая-то! Легко бы, казалось, идти по такой дороженьке. Кто-то впереди пел весело и грубо:

Ясну соколу быть пойманному,
Обескрыленному
Во неволе.
Добру молодцу, во солдатушках,
Помирать
В чистом поле...
А молодушке — во слободушке...

— Ульяна Михайловна! — крикнула Шурочка.

Ульяна обернулась.

— Догоняйте, — крикнула она, не останавливаясь.

И Шурочке вдруг подумалось, что брат видал у нее на плече голубой шарф, и не взбрело ли ему в голову, что она подкуплена этим голубым шарфиком. Мысль эта была и нелепа и глупа, но Шурочку как-то странно потрясла, обессилила, и она остановилась, и как только она остановилась, так тотчас же почувствовала, что шла она чересчур быстро, и что ей необходимо передохнуть, и Ульяну Михайловну ей не догнать. Она приложила руку к груди. Перламутровые пуговички на ее беленькой кофте были удивительно горячи. Небо было как пылающий костер, оранжевое и быстрое. Ей стало страшно. Она посмотрела на озеро. Дорога плотно шла по краю обрыва. Озеро лежало метрах в пяти от нее, внизу, окаймленное узкой и темной, как приводной ремень, полоской песка. Воды были неподвижны, наполненные какой-то прозрачной темнотой и приятным холодком. Не отрывая глаз, смотрела она на озеро.

— Красиво, не правда ли? — раздался возле ее плеча наглый и круглый голос Ульяны.

И тогда Шурочка внезапно вытянула вперед руки (так их вытягивают, как она видала в кинематографе,

пловцы при нырянии) и шагнула вперед. Ей хотелось и досадить брату и Ульяне Михайловне, которая, видя, что ее не догоняют, возвратилась и пристает. Ей подумалось еще (как в детстве, когда залезала под кровать): «Вот брошусь, досажу, все пожалеют и помирятся!» Последним неприятным ее ощущением было то, что ветер вздернул ее юбки, — и ей стало стыдно, стыдно... Огромные теплые круги, цветом своим похожие на цвет нефти, пронеслись над ней, вокруг нее, в груди узкой полосой рванулась острая свистящая тяжесть, чем-то похожая на песок, окаймлявший озеро...

— Спасите меня! — закричала было она, но вода неслась на нее отовсюду.

Ульяну Михайловну сопровождали предсельсовета и еще два мужика. Предсельсовета пришел к ней посоветоваться и пригласить ее в селение побеседовать с виноградарями, которые болтают такие глупости, что их и не уймешь. Предсельсовета заметно был испуган, и теперь, когда он увидал, что девушка бросилась в воду, что нет вокруг ни лодки, ни спуска к озеру, он уже перепугался окончательно и стоял, дрожа и крестясь.

— Как же быть-то, как же!.. — кинулся он к Ульяне.

— Придется вернуться, — сказала она спокойно и даже как-то обрадованно, — к разведкам вернуться.

Рентулич осуждал Шурочку. «Если это не долина дураков, — думал он смятенно, — то долина недоразумений во всяком случае». Нет, недостаточно еще они, передовые люди долины, сплотились! Вот хотя бы Катя... Но Катя держала себя с достоинством: громадная бабочка с желтыми полосками на крылышках летела мимо нее, села на какую-то травинку, схожую с часовой стрелкой, а Катя смотрела на бабочку с презрением. Кажется, Катя кое-что начала понимать в общественности и в общественном долге.

— Итак, Рентулич?

Рентулич ответил твердо:

— От влияния солнца, полагаю, бродил я бессмысленно по свету и в долине, особенно в последние дни, выводы делал, побуждаемый личными моими чувствами.

Рентуличу больше всего не хотелось, чтобы командир сказал ласково и вежливо: «Помилуйте, какие чув-

ства!» Нужно, чтобы командир признал его падение, осудил и выправил. А Павликов сказал:

— Помилуйте...

И Рентулич запылал. Он поднял руки, с бороды его сыпалась пыль, он вопил, изливая свое раскаяние:

— Неточные выводы, товарищ!

— Почему неточные?

— С кем, как не с вами, прошли мы сквозь стены аптеки? С кем тащили мы за собой на танке великое множество полок и пузырьков? И не я ли пел ту песню, которую переняло от меня капиталистическое население долины? И я не стыдился, что научил их этой песне...

Он запел было:

Ясну соколу быть пойманному,
Обескрыленному...

Борода попала ему в рот, он закашлялся и умолк, но затем опять заговорил, уже повернувшись к Кате:

— Обратите внимание, что мы шли в танке и одновременно пели эту песню. И белополяки бежали перед нами громадными испуганными стадами. И вот Варшава встала перед нами, и текла перед нами Висла. И что вы думаете, товарищи? Весь фронт пел со мной вместе. И шли поезда, наполненные пленными белогвардейцами, и машинисты пели вместе со мной. А теперь кто поет эту песню?

Он поник головой и направился вверх.

— Да, стыдно мне за тебя, Мотька Рентулич!

27

— Прекрасный человек, — глядя вслед ушедшему Рентуличу, сказал Павликов, — дивный человек! И даже трогательна его напыщенность, прекрасна, тем более нам известно, что напыщенность, перейдя в быт, часто становится удобной и полезной. Разговор с ним всегда наполняет меня гордостью, Катя.

Катя ответила с горечью:

— Может быть... Очень может быть! Но надо сказать, что мне сейчас, Павликов, неприятно и страшно.

— Почему же тебе страшно, Катя?

Кате хотелось бы еще поговорить о Шурочке, об Агриппине Степановне, о Тифлисе, но она понимала, что разговор этот впустую.

— Я одна, — ответила она быстро.

Павликов подумал, что теперь, когда Рентулич растроган, огорчен и жаждет труда, все эти его чувства можно употребить весьма полезно. Павликов намеренно нравоучительно сказал:

— Одиночество нам, Катя, часто просто необходимо. Оно конденсирует нашу смелость. Следует быть одиноким, но не больше трех дней.

И здесь она подлинно поняла свое одиночество. Она-то знает, что значит одиночество в нашей жизни! И, чтобы не пугать себя надолго, едва Павликов скрылся, она сказала как могла весело:

— Одиночество? Необходимо? Но при одиночестве всегда выползают мыши, а есть ли, хотела бы я знать, человек, который не боится мышей?

Она долго сидела одна. Ей думалось, что мимо, возвращаясь с вышки, пройдут Рентулич или Шурочка. Ей противно было вернуться в духан. Камни словно горели вокруг нее. Она с горьким наслаждением наблюдала, как солнце жжет ее руки и ноги ее без чулок. «Вот и пускай сожжет, — думала она, — раз одиночество, вот и пускай сожжет». Жаркая прозрачность, окружавшая ее, медленно превращалась в матовую. Звуки: падающий по склону камешек, листья кустарников, созревшие и звоном дающие знать о своем созревании и жажде ветра, пыль тропы, заливающая следы людей, — все это исчезало и глохло. Одиночество плотно обняло ее, так, как ни разу не обнимал ее муж.

И внезапно из матовости одиночества встала перед ней запыхавшаяся Ульяна.

— Катя, милая! Павликов наверху?

И Катя с горечью подумала: вот она, Катя, относилась как будто с пренебрежением к Ульяне Михайловне! А пройдет немного — день, два, — и Ульяна будет относиться к ней с пренебрежением! Кате стало обидно, и она тотчас же вспомнила все дурные поступки Ульяны, манеру выпытывать о Павликове, о его любви к матери, о семействе, о том, что и на чем они едят, из каких мест родители Павликова. Катя раздраженно ответила:

— Достаточно вам выпытывать у меня. Отстаньте! Мы с вами больше не знакомы, Ульяна Михайловна. Вы низкий и пустой человек.

— Дорогая Катя, некогда заниматься мотивами, по которым мы стали вдруг незнакомы. Сейчас нам необходим Павликов!

— Так точно, — подтвердил предсельсовета испуганно и торопливо.

Катя сказала предсельсовету:

— Если нужен, поищите.

— Да вы поймите... — начала было Ульяна.

Катя передразнила ее:

— Да, я все давно поняла. Вы быстры, ищите! Ступайте к вышке, к развалинам... к лешему, наконец!..

Ульяна Михайловна с силой схватила ее за подбородок, подняла ее лицо кверху и сказала раздельно и зло:

— И я! И вы! Все мы предупреждали эту глупышку: с любовью осторожней.

Катя тщетно пыталась освободить лицо из ее пальцев.

— Надоели мне любовные истории...

Ульяна съязвила:

— Верю!

Катя вырвалась.

— Зачем вы лапаетесь, мерзкая?..

— Я желала, чтобы вы услышали...

— Я все, все слышала...

— Даже то, что Шурочка бросилась в озеро?

Ульяне только и хотелось того, чтобы Катя сама побежала за Павликовым. Катя бежала вверх, смешно и высоко поднимая ноги в сандалиях с неимоверно широкими и скользкими подошвами. Ульяна сказала баптистам, сопровождавшим ее и предсельсовета:

— Ступайте к лодке, сейчас Павликов туда явится.

Баптисты ушли. Предсельсовета охал и жаждал отдохновения, но появившийся Павликов увлек его за собой.

От озера доносились крики.

— Может быть, простынями, если нет сетей! — кричала Катя возле духана.

Голос у нее был пронзительный и ребячий. Заскрипели весла, раздалось ловящее: «Правей, левей!» Кто-то нырял и, вынырнув, дышал с кашлем. Ульяна побывала в доме. Дом был пуст. Она постояла на крыльце. В низкой каменной ограде, среди заржавленных труб и разбросанных скатов колес, ходила белая с желтым курица. Ульяна покрошила ей хлеб. Послышался топот. У крыльца, на сивом длинноногом коне, в плоском седле

(подобранном вместе с Ульяной после меньшевистского бегства) она увидала Богдана Власова. Конопатое лицо его было бледно.

— Никита-то Гурьич,— сказал он быстро, не слезая с коня,— фельдшерскими знаньями обладает.— Он несколько раз вытер рукавом рубахи потное свое лицо и опять забормотал: — И открыл он фельдшерскими своими знаньями, что не упал Анисим-то, а убит.

— Слезай,— сказала Ульяна.

Власов послушно слез.

— Ты его порешил?

— Я,—ответил Богдан.

— За что?

— За тебя,— так же быстро ответил он.

Ульяна прыгнула в седло, хлестнула коня и ускакала.

Богдан опустился на крыльцо, ослабел, дышать ему было тяжело, а глазам смотреть больно.

— Бедный я, бедный! — сказал он и заплакал.

Курица подошла и легонько клюнула его в сапог. Он погладил ее, и она ласково собрала и распустила свои желтые с белым крылья.

— Сторонись! — услышала Ульяна.

Она натянула поводья. Конь остановил бег свой.

Из-за поворота вышел с кольтом в руке Ядко.

— Наше вам с кисточкой,— сказал он,— однако же поворачивайте назад и спуститься можете, когда пройдет мимо вас нитроглицерин.

— Воруете?

Ядко щелкнул предохранителем.

— Поворачивайте!

— Приказ Сожи о полном свертывании работ читали?

— А наш приказ общего собрания о полном развертывании читали?

— Плюю.

Он направил на нее темное дуло.

— Поворачивайте, иначе вместе с конем под откос.

Она начала пятить коня.

Конь храпел и норовил подняться на дыбы.

— Сытых коней имеют баптисты,— заметил Ядко.

Она остановилась.

— Отойди еще дальше.

Едва только рабочие пронесли бидоны со взрывчаткой и Ядко опустил черное дуло, Ульяна ударила коня по морде, конь взвился и ринулся вниз.

Ядко пригладил усы, сплюнул:

— Но насколько красива и ловка, настолько же и противореволюционна, ребята!

28

Рентулич, отправив взрывчатку к вышке, обуреваемый жаждой работы, вспомнил, что вчера еще Павликов просил его узнать, чем заняты сейчас Корсаков и Цитовский, и если болтовней, то насколько вредна их болтовня. Поэтому Рентулич направился в баптистское селение. У дома Власова толпились баптисты, но, как только они увидали Рентулича, они тотчас же закрыли ворота. Остался только тот старичок, который столь ревностно и долго караулил виноградник Сожи и фамилию которого и облик с таким трудом вспоминал недавно Рентулич. Рентулич решил сказать ему то, что он должен был ему сказать тогда, три года назад:

— И зачем ты, дедушка, без дела валандаешься и смущаешь человечество капиталистическими намеками?

Старичок ухмыльнулся:

— А вы все меряете, землемеры, меряете? Виноградники наши меряете? Догорает керосин-то в лампе.

— Какой керосин?

— А в Расеи, сказывают, так мужички с вами разговаривают: керосину в лампу мало нальют, когда вы на разговоры придете, вот он быстренько и выгорит, а как он выгорит, так вас и бить начинают, землемеров-то!.. И все по морде бьют, все по морде!..

Рентулич отстранил старичка.

— Небо заслоняешь, гражданин!

— На небо разве сбираетесь?

— В кооператив, — ответил Рентулич, — за справками.

Кооператив был заперт. Горбатый и курносый кассир в толстовке и в валенках сидел на перилах крыльца и курил громадную глиняную трубку.

— Заперт?

— А зачем ему быть открытому? — ответил кассир, с такой силой затягиваясь, что угли посыпались из трубки, словно из самовара.

— Где же покупатели?

— Покупатели размышляют.

— Над чем же они размышляют? И где они размышляют?

— Где размышляют? У Власова размышляют, а над чем...

Кассир так затянулся, что если б кооператив был деревянной стройки, то неминуемо должен был бы сгореть от искр.

— Я не покупатель. Я не знаю, над чем размышляют. Ты его спроси. — И кассир указал на старичка Никиту Гурьича.

Старичок хихикнул.

— Шутник, шутник! — пропищал он и, низко раскланявшись, пошел прочь.

— Правление необходимо переизбрать!

— Переизбрали,— меланхолически согласился кассир.

— И сельсовет!

— Ну, и сельсовет заодно!

— И все виноградное и прочее хозяйство.

— Вот после этого тебя и шмякнут, — вздохнул кассир, выбил трубку о каблук, высморкался громко, зевнул и спустился ниже, на скамейку. — Направлялся бы ты к своим стадам, Мотя, а то ведь вдруг вспомнят: еврей ты, никак, Мотя, и Христа ты на кресте распял совершенно несправедливо и подло.

Рентулич поднес к его носу кулак. Кассир плюнул на кулак.

— Ты на меня физической силой не действуй, Мотька. Ты на меня уговором. А на уговор ты не способен, так как ты дурак.

Со скорбью покинул Мотька кассира.

Он прав, этот горбатый и завидущий кассир, но нет у Мотьки времени, чтобы говорить речи.

Низенький домик в три окна с жестяной вывеской «Почтово-телеграфное отделение» встал перед ним. В окне он увидал зава и телеграфиста, большого своего друга, Еропку-механика. Еропка был лыс, розов всегда, всегда весел и суетлив. Сейчас же он встретил Мотьку испуганно и на все его расспросы отвечал:

— Нету у меня марок, и линия повреждена обвалом. И телеграмм вам, гражданин, нету.

И у телеграфиста так же, как и у кассира и старичка Никиты, он не добился причин, их смущавших

и тревоживших. Черт знает что!.. Может быть, он, Мотька Рентулич, действительно глуп! Ведь факты налицо: Цитовского и Корсакова не поймал, баптисты зловредно шушукаются, и колья блестят у них за оградами, и, кто знает, не коней ли они готовят для той цели, о которой кричала Шурочка?

Селение сытое. Вдоль улицы блестят крашеные рамы окон, и стекла во всех рамах целые и вымытые. Баптистские бабы, степенные, целомудренные, работящие, возвращаются с виноградников. Скрипят арбы — тоже степенно, с достоинством и с насмешкой над глупым Мотькой Рентуличем.

— А Сожа где? — спросил Рентулич у Еропки-механика. — Про Сожу ты смеешь ответить?

— Сожа, а также его два друга с утра еще уехали на Коровью полянку.

— Ну, так и я туда поеду, лысая твоя душа, Еропка! Я уже на пороге раскаяния, что пренебрег твоей дружбой.

Еропка поник лысой своей обруганной головой.

— Если бы я имел марки, то я бы чувствовал себя лицом государственным, — ответил он скорбно. — И еще вот что скажу я тебе...

Но Рентулич не слышал его: в клубах благовонной пыли, свистя и негодуя, размахивая руками и головой, спешил он на Коровью полянку.

29

На Коровьей полянке рос лохматый столетний дуб, возле дуба бил ключ, напоминавший очертаниями своими коровий глаз, отчего и полянка приобрела свое название. Был здесь водопой, и остатки пастушеских костров напомнили Рентуличу его недавнее прошлое. У дуба уныло дышал сивый конь под плоским седлом, а по ту сторону полянки стояла небольшая группа людей, среди них были Сожа, его жена, Корсаков и баптисты. Над ключом склонился Цитовский, смачивая водой свой затылок. Сумерки надвигались на долину. От вершины дуба к пику Али-Магом висел трос, быстро, на глазах Рентулича, выпрямляющийся. Рентулич с негодованием и с восхищением посмотрел на этот трос. Он подумал об Ульяне: «Смела баба, как не признаешь, смела!

В хорошие бы руки такую активную бабу». Он заломил голову. Высоко над ним, на одном из утесов пика, ворошился, натягивая трос, человек, в развевающейся бурке, похожий на птицу. Человек наклонился и крикнул что-то вниз, в долину. Шапка упала у него с головы, и все долго смотрели, как падала шапка, ныряя. Она шлепнулась на синий снег, и беззвучное ее падение почему-то сильно разозлило Рентулича. Он подбежал к Цитовскому.

Цитовский не удивился, не испугался, он только набрал полные пригоршни воды и сунул туда потный свой носик.

— Жалко, обратно не в состоянии поднимать, — сказал он, указывая на трос, — а то бы лучше уехать нам отсюда, Мотька!

Рентулич простер руку свою над пригоршней Цитовского.

— Выплесни воду.

— А зачем мне выплескивать воду, Рентулич?

— Вы-ыплесни-и во-оду-у!!

Цитовский выплеснул.

— Ну, а дальше?

— А дальше, я спрошу тебя: почему вы не каетесь?..

— В чем же нам каяться?

— Ах, тебе не в чем каяться?

— Моя душа чиста.

— Ты говоришь с ответственностью, Цитовский?

— А когда я говорил без ответственности? Думается мне, что ты обязан, Мотя, перед нами покаяться. И, по секрету тебе скажу, необыкновенно тобой недовольны баптисты, и если мы походатайствуем, то они могут тебя простить и принять в свою семью...

Носик у Цитовского был чистый, солидный и самоуверенный, и Рентулич, широко размахнувшись, ударил его в этот многозначительный нос. Цитовский пискнул, присел и дискантом рассыпался:

— Убей меня, убей меня, убей!..

Рентуличу стало стыдно, он быстро повернулся. Сивый конь под плоским седлом смотрел на него. Он отвязал коня, взгромоздился.

— Куда? — услышал он голос Ульяны.

Он сломил ветку дуба, стегнул коня и ускакал.

30

Вернемся несколько назад.

Скачка на сивом коне по сухой и пустынной долине к дубу на Коровьей полянке доставила Ульяне необъяснимое удовольствие. Возле полянки ее встретили Корсаков и Цитовский. Они кипятили на костре чайник, и со злорадством Цитовский сказал ей:

— А с тросом-то не получается, не выходит, баптистов пригласили, а они на обвал отказались идти ловить «легкость»!

Ульяна выпрямилась в седле, посмотрела на Корсакова.

— Шурочка утопилась, Корсаков.

Корсаков обмер. Цитовский поспешил принять у ней коня. Они прошли на полянку. Здесь спорили баптисты и Сожа.

— Они боятся? — спросила Ульяна.

— Конечно, опасно, что и говорить, — ответил Сожа.

Несколько пар узких лыж лежало перед баптистами. Снега обвала плотно подходили к полянке. По скалам пика Али-Магом карабкались люди в бурках. Они готовили «легкость».

— Глупости, — сказала Ульяна. — Чего ж думать, темнеет уже.

Она схватила первые попавшиеся лыжи, кинула их на снег. То приятное и порхающее чувство удовлетворения собой, которое она испытывала в скачке сюда, опять охватило ее. Снег ее и свежил и грел.

— Кидай! — громко и весело закричала она вверх.

Ее поняли, приготовились. На пути ее попадалось много трещин, и снег был чудовищно рыхл. Она быстро дошла до черных теней, которые падали от скал пика. «Легкость» вяло шлепнулась у ее ног и зарылась в снег. Она начала перебирать бечевку, и скоро стальная петля троса легла на ее плечо. Она двинулась обратно. Идти теперь стало значительно тяжелей, трос путался среди ног, и с каждым шагом лыжи ее глубже уходили в снег.

— Встречай! — крикнула она Соже. И тогда Сожа бросился к ней. На полянку она вышла усталая, злая. Мучительно ныло плечо, и кололо сердце.

Цитовский сказал, указывая на лыжи:

— Если смел человек, так легко на них по ту сторону гор уйти.

Ульяна собрала все лыжи, подтащила их к дубу и топором в три взмаха превратила их в щепы. Никто ей ничего не сказал.

Цитовский вспомнил про ключ и решил смыть огорчение, причиненное зловредным уничтожением последней надежды на бегство, вызванное его неуместной болтливостью. «Ну, что бы промолчать тебе про лыжи»,— думал он, поливая затылок. И вот здесь-то и прибежал Рентулич и, вместо того чтобы утешить приятеля, нанес ему оскорбление уже физическое и не смываемое никакими ключами.

31

На скалах пика Али-Магом беседовали члены синдикатской комиссии, товарищ Тавчавадзе и профессор Содман. Неподалеку от них под руководством молодого геолога Голикова натягивали трос рабочие шоссейной команды. Солнце закатывалось. Долина погружалась в мрак. Профессор Содман сказал задумчиво:

— Извините меня, но я никак не думал, что путешествие наше столь, я бы признался, страшно.

Темные бездны простирались под его старческими глазами. Он не видал ни дуба на Коровьей полянке, ни самой долины. Он жалел, что согласился. Тавчавадзе ответил ему:

— Ничего! Бывает еще страшней! — И он легонько ногой тронул плетеную корзинку с прикрепленными к ней блоками. В этой корзине должна была спуститься синдикатская комиссия. Несомненно, красивее было бы пройти по перевалу на лыжах, но, во-первых, ни Тавчавадзе, ни тем более профессор Содман ни разу не ходили на лыжах, а во-вторых, не было проводников. От пухлых и шумных снегов, перемещающихся по пропастям, несло свежестью и запахом золы, поднятой ветром с костра... Тавчавадзе жалко было Павликова, молодого и талантливого ученого, который (как нетрудно было это понять по путаным телеграммам Сожи) вмешался в дела нефтеразведок и со свойственной ему горячностью многое напутал... Голиков прервал его размышления:

— Разрешите сигнализировать о нашем спуске? Ночь тепла, и я боюсь, не угрожают ли нам поутру новые обвалы...

— Сигнализируйте.

Профессор Содман натягивал рукавицы, благодаря которым спускающиеся думали сдерживать скольжение корзины, да полезно это и на случай того, если блоки лопнут и корзина рухнет... Но о последнем опасении профессору Содману не сказали... Тавчавадзе было поручено партией беречь научные силы республики, и он, как мог, берег их. Профессор Содман, едва лишь узнал об отъезде Павликова, сам выразил желание немедленно ехать в долину. Он поднял воротник барашкового своего пальто, нарочно для сего случая вынутого и вытрясенного заботливой и удрученной его супругой. Пальто все еще пахло нафталином.

— Спускаем?

— Готово.

Профессор Содман, сложив крест-накрест ручки свои в громадных рукавицах на коленях, зажмурив глаза, хотя вокруг и без того стемнело, мысленно представлял себе рельеф долины. Он был уверен, что ему осталось жить на свете весьма недолго, и он желал последним этим путешествием доказать, что книга его «Кавказские нефтяные местонахождения» не лжет и если не бессмертна, то долговечна. Но ему не хотелось думать, или, вернее, он не мог думать, что книга его устарела и что у него уже нет сил переписать ее вновь на основании свежих данных.

Корзина спускалась медленно. Блок скрипел. Все, кроме профессора Содмана, крепко держались за стальной трос. Холод обнял их. Темные шумы снегов походили на прибой.

И вдруг в лицо им пахнул мягкий ветер долины.

Они заработали руками быстрей. Заговорили. Канат показался им даже толще и теплей. Блок весело повизгивал, напоминая балующуюся собачонку. Они увидали внизу костер. Костер был плоский. Они отпустили руки, и лишь один Тавчавадзе не убирал с каната рукавиц. Облегчение овладело ими. Они никак не думали, что опасность или, вернее, чувство поисков равновесия, которое овладело ими при спуске, столь сладостно. Профессор Содман сказал бодрым голосом:

— Некоторым образом мы испытали путешествие...

— Чего? — не поняв, спросил его Тавчавадзе.

— Не чего, а куда, — ответил профессор Содман, но ему не дали договорить: нежно зашуршали вдоль корзины ветви дуба, несколько рук подхватило ее.

32

Раньше чем приступить к изложению событий, последовавших за приездом синдикатской комиссии, мы возвратимся к тому моменту, когда Рентулич, ударив Цитовского и раскаиваясь в этом, ускакал на сивом коне, а Цитовский остался у ключа, к нему подбежала Ульяна, а за ней Корсаков. Корсаков обеспокоенно закрутился возле Цитовского:

— Надо было б спросить, откачали Шурочку или безрезультатно?

Цитовский стонал.

Корсаков обратился к Ульяне:

— Хоть бы вы меня вовремя полюбили, что ли. А то я и ее загубил и себя. Техника мною владеет, любовная техника. Съест она меня!

— И у девушки оказалось много техники.

— Какой?

— Техники верности.

— Кому?

— Самой себе.

Корсаков вспылил.

— Ну, и оставайтесь вы все при своей верности, а я к баптистам переселюсь.

— Нас покидаете?

— Ясно.

— Пора.

— И никогда я к вам не возвращусь, не думайте.

— Я знаю.

Она засмеялась. Корсаков остановился, обернулся.

— Беспечный вы человек, Ульяна Михайловна.

— А вы еще более беспечны. Вы хотите скрыться у баптистов. Ваше дело. Мы вас не связываем... и не привязываем...

— Еще бы привязали!

— Но есть другой человек, который вас все-таки к нашему делу пришьет.

— Цитовский?

— Нет, Павликов.

— Павликов меня не знает, а если что и слышал от вас, то вы, Ульяна Михайловна, известная пустомеля.

Ульяна опять засмеялась круглым и ясным своим смехом.

— Я? Нет. Он вас знает более крепко и более близко.

— Но почему?

— По танку.

— По какому такому танку, Ульяна Михайловна?

— Корсаков, вы, кажется, читали воспоминания моего мужа, поскольку собрались даже из-за них... сюда...

— Не отрицаю воспоминаний. Горжусь!

— Командира помните?..

Корсаков нагло посмотрел в пухлые ее губы, щелкнул языком.

— Напрасно вы меня не полюбили. Это бы нас крепче связало, чем выдуманный вами бред. Да, бред и демагогия.

— Милый Корсаков, а вы найдите Павликова и пристально посмотрите в его лицо.

Корсаков махнул рукой и завернул за скалу. Ульяна пошла к дубу. Она верила и знала, что Корсаков вернется. Она была довольна тем, что сберегла последнее свое знание для крайнего случая, а так как Корсаков решит, что она ведает еще больше, чем то, что сказала, что она, может быть, даже в сговоре с Павликовым и некоторым образом его сообщник и соглядатай... Корсаков вспомнит кое-что из своего прошлого и настоящего, разговорчики с баптистами... она ясно представила себе испуг на лице Корсакова, его взлохмаченную сивую фигуру... И, когда Сожа спросил ее, где же Корсаков, она ответила, что Корсаков скоро вернется.

— Сигнализировать пора, — показал Сожа список сигналов, прикрепленных и сброшенных вместе с «легкостью». Он спешил. Им владело угнетенное состояние, и он думал, что приезд комиссии решит многое и развеет в нем эту тоску и стремительное нежелаемое желание. Цитовский сидел скрючившись, зажав обеими руками голову и закрыв глаза.

— Ну, убивайте же, — вопил он, — убивайте, троглодиты, сутенеры каменного века!

Сожа наклонился к нему.

— Ты поразительно суетный, Цитовский. Ну, обругал тебя Мотька, так что же с него взять? Это же местный сумасшедший.

— Не обругал, а ударил.

Он открыл вздувшийся нос. Ульяна захохотала.

— А, так-то вы бережете друзей,— вскочил Цитовский,— вы факелы больше бережете, чем друзей.

— Какие факелы?

Цитовский указал на факелы для сигнализирования, которые Сожа держал в руках.

— Пусть дьявол сигнализирует этими дурацкими факелами...

— Вас трудно понять, Цитовский.

Цитовский визжал, брызгая слюной, размахивая руками своими коротенькими.

— Сигнализировать! А кто Мотьку подослал? Вы подослали. Понял я теперь все ваши комбинации... Но, товарищи! Чтобы старого Цитовского на такую удочку поймать, так будьте покойны. Недаром у меня, как тронутая папироской, грудь ныла... Но вам в пепельницу меня не обратить, сколько бы вы папирос об меня ни гасили.

Ульяна дотронулась до его щеки и сочувственно спросила:

— Рентулич вас?

— Рентулич,— с некоторой уже гордостью ответил Цитовский.

— В скулу?

— Довольно меткие у вас определения, Ульяна Михайловна!

Цитовский, удивляясь, и сам чувствовал, что гордость его возрастает и крепнет. Ему было уже приятно чувствовать себя мучеником, приятно, что он не зря приехал в долину, что он перешел какой-то рубеж и что лыжи сломаны — и то отлично...

— За что? Он подозревает, что я говорил с баптистами и высказывал им предположения, что Павликов — землемер, колхозник, строитель социализма в данной долине и большими полномочиями покрытая личность. Они встревожились, и они правы. Я еще и не то расскажу им... Да, война так война! Довольно с меня гражданского мира... Я...

Сожа прервал:

— А мне кажется, что с такими разговорами нужно осторожно... В теперешнее время лучше не обсуждать событий и людей, а принимать их. В этом плане я предупреждал...

— И ты на меня, Сожа. Он предупреждал! Кого ты предупреждал? Жену, к примеру, предупреждал?

Ульяна хохотала. Сожа посмотрел на нее недоуменно и ответил:

— Предупреждал и жену.

— Предупреждал?

— Да.

— Но директивы о подобном распространении слухов среди баптистов она мне дала, а не кто другой!

Сожа смутился. Ульяна щелкнула легонько Цитовского по носу.

— Директивы тем и ценны, милый Цитовский, что их исполнять нужно аккуратно и не всегда правильно, а как бы задевая плечом. Вот вы жаждете гражданской войны...

Цитовский уныло опустился на камень.

— Я раздумал. Нельзя ли меня хоть одного обратно поднять по проволоке? Мне пора в Москву!

— Конечно, можно, — ответила Ульяна ласково, — но зачем вам бежать, Цитовский? Вас здесь любят, ценят! Вон Корсаков говорит, что даже из-за вас Шурочка в озеро бросилась. Почему вы ее отвергли? В любви нужно быть решительным и чутким, Цитовский.

Цитовский круто выпятил грудь.

— Корсаков подлец и лгун. Я разоблачу его. В воду бросилась? А кто бросается в такую погоду? Она из-за Корсакова бросилась, а не из-за меня. Если меня любят, то меня любят благоразумные девицы, а Корсакова...

Ульяна повернулась к Соже.

— Ты напрасно слушаешь наши разговоры, Сожа. Тебе пора приготовиться к речи пред комиссией.

На полянку вышел Корсаков. Он возвращался независимо и гордо. Он желал показать, что ловушки Сожи и его жены он сможет обойти ловко. Сожа указал на него.

— Но вот Корсаков, который утверждает, что в давней дружбе с Тавчавадзе и профессором Содманом... руки бы вымыть, что ли... И не с знакомства ли Корсакова развернуть нам информацию перед комиссией?

Ульяна сказала на всю полянку:

— Но всем же известно, как врет Корсаков. — Она быстро повернулась к нему. — Ах, вы опять здесь, милый наш Корсаков. Мы рады вас видеть...

Корсаков решил овладеть тем же оружием, которым воевала Ульяна. Он ласково подошел к ней, взял ее под руку и на ухо ей, но достаточно громко, сказал:

— Я, гуляя между скал, Ульяна Михайловна, пришел к решению сказать вам: просматривая сегодня, между делом, состояние отчетов Льва Ивановича, я обнаружил кражи и подлоги.

Сожа потер руки и смолчал.

— Да, можно и должно воровать, Сожа, но воровать нужно систематически и организованно!

— Неудобно, неудобно-то как получилось! — тихонько, со страдающей своей гордостью прошипел Цитовский. Чем больше запутывалось все вокруг него, чем больше страданий грозило ему, тем нестерпимей гордость его росла и пылала.

Корсаков наклонился благосклонно и ласково к Цитовскому:

— И заглянул я также в твой портфель, Цитовский, по дороге...

— Так я и предвидел!

Корсаков раскрыл бумажник.

— Я нашел там, друзья мои, черновик сообщения синдикатской комиссии, в каковом черновике вскрыто и спаяно все и вся! Читайте!..

33

Ульяна с непонятным всем удовольствием рассматривала распаленные их лица.

— На кого ты здесь киваешь, Цитовский? — укоризненно потрясал бумажником Корсаков.

Цитовского понесло.

— Вообще киваю. Киваю и горжусь! Да, меня побили сегодня, но благодаря этому побитию я вплотную вошел во все дела долины и все оценил здесь. Вы еще можете благополучно удалить меня. Поднимите по тросу или дайте мне лыжи и проводника, или...

Корсаков захлопнул бумажник и положил его в карман.

— Ты просто бежишь, Цитовский.
— Я бегу?
— Да, ты, Цитовский!
— Бегу, Корсаков, угадал. Но бегство — не стыд, а признак тактики ума, а вот тебе соблазнять девуль, доводить их до самопотопления, а затем сваливать на других, — этот пункт никакие судьи не простят. Или я сообщу им... или...
Корсаков возмущенно поднял лицо к небу.
— Доносчик!
— Я доносчик?
— Ты...
Баптисты, влезавшие на дуб, задержались. Ульяна махнула им. Они опять, перебирая босыми желтыми пятками среди черных веток, полезли. Цитовский понял баптистское послушание. Холод охватил его. Он подумал: «А что, если она найдет лыжи и даст им факелы, и баптисты так же послушно, как они сейчас лезут на дуб принимать комиссию, столкнут их в пропасть и скажут: «Оступились, неопытные!» Корсаков укорял его:
— Ты доносчик, в то время как нам нужно говорить о командире!
Цитовский хотел бы, но не мог успокоиться:
— Если говорить о командирах, то командовала Ульяна Михайловна! И, нужно сказать правду, плохо командовала. Какая пища! Какое пойло! Я, извините меня, в корень замучился внутренностями. Я не могу идти на лыжах и не могу подниматься по проволоке вверх.
Корсаков ласково лип к Ульяне:
— Если уже Цитовский не съел здесь даже куска сахара, не говоря ни о каких иных сладостях, а мы знаем, как он ловок, то смеет ли он, циник и жулик, сманивший меня из центра, выдвигать меня как сладострастника и соблазнителя?
Цитовский бросился к Соже.
— Он прижимается к твоей жене, Сожа! Он! Берегись! Я его сманил из центра? Я?.. Запишите крепче, на камне запишите сказанное мной: он все последнее время рыскал по Кавказу, и главное его пристанище был Тифлис. Он торговал на толчке! Он еле-еле выпросил мою поддержку в утверждении того, что он из Москвы...
— А ты?..

Но здесь Цитовский пришел в себя и раскаялся уже в том, что сказал. Со страхом и трепетом прошептал он Корсакову:

— А я?..

— Ты сам не из Москвы, а из Сольвычегодска! И не из Госплана ты, а из промысловой кооперации, и притом низовой!!!

— Прохвост! Геолог!

— Кто, я? Изобью!

— Меня изобьешь?.. Петух! Шкура!..

Они размахивали кулаками, плевались. Баптист крикнул с дуба:

— Садани-ка!

Но второй шикнул на него. Дуб благочестиво стих.

Ульяна взяла Сожу под руку.

— Не будут они драться! — И отвела его к бурлящему и темному ключу.

Корсаков и Цитовский приумолкли. Сожа стоял у ключа, смотрел на них и непрестанно повторял про себя: «Разве можно было предположить, разве можно?..» Но скоро ему стало казаться, что он уже давно предполагал это, то есть то, что его друзья — мошенники, лгуны и приехали в долину не ради помощи ему или отдыха, а чтобы чем-нибудь поживиться, кого-нибудь обмануть. Припомнилось Соже, как они бродили по самым состоятельным баптистам долины, намекая им на какую-то пользу, которую они, Корсаков и Цитовский, смогут им оказать в борьбе за виноградники, в снижении налогов, в постройке молитвенного дома. Власов приходил даже к Соже узнать, подлинно ли они, его приятели, столь могущественны. Сожа подтвердил. Власов все-таки, по всему было видно, мало верил им и еще меньше Соже. А Сожа тогда, кажется, еще на него обиделся... нехорошо оборвал старика, и старик ушел мрачным и задумчивым. С того часа и остальные баптисты стали относиться к Соже хуже, скупей, и только Ульяна смогла уговорить их принять участие в работе по спуску комиссии. Чем больше думал Сожа, тем все ясней ему становилось, что действовал он с того момента, как написал и напечатал свои воспоминания, поспешно, легкомысленно и глупо... Даже брехун Корсаков, бегло просмотревший его дела, и тот смог понять,

что он обсчитывал рабочих, воровал («Да, воровал»,— повторил он про себя с наслаждением) на пище, транспорте и прочем... воровал неумело и тоже глупо. Разве он не мог прожить без воровства? Мог бы! Может быть, он чуть хуже питался бы или чуть хуже одевался и чуть меньше откладывала бы его жена... да и что она могла отложить? Две, три сотни рублей! Возможно, что она обменяла эти сотни у контрабандистов... Сожа не спрашивал у нее никогда отчетов... Грустно стало Соже, скучный стоял он рядом со своей женой у темного и бурлящего ключа.

34

Ульяна дышала крепко и сильно. «Да, таких женщин, как она,— думал Сожа,— мало осталось в долине и небось во всей России. Она дальновидна, смела и редко ошибается. Она знает, зачем спускается комиссия, верит себе...» И Соже остается только верить ей. Он ласково прижался к ней. Она рассмеялась тихонько круглым и теплым своим смехом:

— Выдержим, Сожа, выдержим, милый!..

— Да я никогда и не сомневался, Ульянушка.

— Передавал ли тебе Корсаков нечто о Павликове?

— О Павликове? Сколько помнится, нет.

— Труслив.

— Что же он должен был мне передать, Ульянушка?

— А должен был тебе передать, Соженька, что Павликов как раз и суть тот самый товарищ С., о котором ты столь красиво написал в своих воспоминаниях.

«Я так и думал»,— мелькнуло в голове Сожи, но он тотчас же отогнал от себя эту трусливую и смешную мысль. Нет, он никак не думал, что Павликов суть тот товарищ С. ...Он не мог подыскать своих мыслей. Со страхом он понял, что думает словами Ульяны.

— Руки бы вымыть, что ли...

Ульяна указала ему на ключ.

— Это я... так... Он бывший командир танковой роты? Павликов?

— Да.

— И танка марки пять со звездой?

— Да, Левушка. И марки пять со звездой.

Он отошел от ключа.

— Но пуля, Ульяна, попала ему в глаз!

— Рана в глаз не всегда смертельна, Левушка. Он отделался кривизной.

— Он крив?

— Да...

Сожа сказал задумчиво и тихо:

— Его на фронте называли Сережа Маленький.

— Теперь он счел безопасным открыть свою настоящую фамилию.

— Безопасным? Что ты еще этим хочешь сказать, Ульяна?

Она не ответила. Он беспокойно потер руки свои.

— Следовательно, он наблюдал за мной, знал обо мне? Не с бухты же барахты он приехал сюда?

— Значит, наблюдал.

Беспокойство охватило его всего. Он почувствовал слабость в ногах, шум в голове. Он сел на камень.

— Ты убеждена, что он читал мои воспоминания?

— Несомненно.

Он встал. Сделал шаг вперед, вернулся и сел совсем изнеможенно.

— Он крив, — продолжала Ульяна сухо и насмешливо. — Когда ты увидишь его, обрати внимание на его уродство, на его кривизну. Но он окривел не только глазом, но и сердцем, Лев. Придирчивый, тупой, болезненный и завидующий всему здоровому и нераненому, всему: здоровому мозгу, желудку, нервам... он примчался сюда, подстрекаемый ехидством своим и желанием посмеяться над твоими поэтическими воспоминаниями...

— Зачем ему читать воспоминания какого-то рядового бойца?..

— Ты умаляешь свои заслуги, Левушка.

— По сравнению с ним!

— По нескольку раз он должен перечитывать твои воспоминания! А в особенности то место, где ты, осторожно, правда, но все же намекаешь, что товарищ С. весьма бездарно руководил танковой ротой и танком марки пять с звездой!

Она засмеялась.

Сожа вяло сказал:

— Дурная у тебя привычка смеяться совершенно в неподходящих случаях, Ульяна.

— Но ты же намекал, Лев?

— Да, я намекал!

— А теперь, перед его лицом и уродливым глазом, ты не откажешься повторить свои намеки, Лев?

Сожа задумался.

— Отказываешься?

— Если необходимо тебе, повторю.

— А часть команды, участвовавшей при инциденте, и Мотька Рентулич, хотя и дурак, но искренний человек, как ты думаешь, тоже поможет тебе повторить?..

— Что повторить?

— Не повторить, а вскрыть твои намеки о его бездарности... и трусости?

— Я уверен, что да. Команда повторит. Вскроет!

Сожа устал, изнемог. Смеркалось, — и на пике Али-Магом зажгли сигнальный костер. Пора отвечать на сигналы. Они мерзли там на пике. Он знает, как там холодно и ветрено. Ему противно было думать о Павликове, о пустых и лживых своих воспоминаниях, и он мало верил в то, что команда согласится поддержать его, — разве только Ульяна сумеет припугнуть и Цитовского и Корсакова... а Рентулич все забыл, и ему воспоминания Сожи кажутся истиной. Кроме того, Сожа почему-то думал, что Павликов, может, и не появится, может быть, он уже ушел на лыжах в Тифлис... к тому же, кажется, и семейные его дела не ахти как благополучны...

— Придется вскрыть, — повторил Сожа.

Ульяна собрала факелы, уроненные Сожей. Двигалась она весело, уверенно, и голос был у нее густой и смелый:

— Превосходно! Честное слово, превосходно.

— Чем же превосходно, Ульяна?

Ульяна наклонилась к его лицу. От факелов пахло смолой и керосином. Лицо у нее было круглое и белое и неподвижное. Она сказала тихо и медленно:

— Превосходно, если он появится, Лев.

— Павликов?

— Я объясню, почему превосходно.

Легонько постукивая факелами, переминаясь с ноги на ногу, хозяйственно оглядывая дуб, трос и скалы пика, она начала:

— Более чем когда-либо, мне ясно теперь, что Павликов трус.

— Невозможно!

— Однако ты сам намекал в своей рукописи.

— На фронте случаются всяческие ошибки и недоразумения... мог быть единичный случай.

— Не прерывай. И кроме того, у тебя четко описан не случай, а характер командира, товарища С. Но допустим, что это случай, — а что же происходит с ним сейчас и что же я узнала от Шурочки и от Кати? Разлад чувств владеет не только им, но и его домом! Рана, уцелеть при которой можно только чудом, рана принесла с собой болезни, недомогания, рана притворила за ним дверь в прошлое и оставила ему очень слабую память! Он старается превозмочь себя, он перегружает себя работой, но страх потерять остатки памяти господствует над ним. Ему очень страшно и очень тяжело, Лев. Разгадать этот страх было трудно, так как он кажется ему очень унизительным, и он скрывает его. Вот почему он боялся прийти к нам и боялся увидать нас и пожелал встретиться только с Рентуличем, тогда как Мотька ничего не понимает и ничего не может объяснить. Этим же чувством страха он разрушил свой дом, свою карьеру, иначе почему бы ему не прославиться? Он достоин нашего сожаления, Лев!

— Я тоже так думаю, Ульяна...

— Даже баптисты, темные и глупые, как все думают, люди, даже и те кое-что поняли в нем, кое-что разгадали. Он ходит, рассматривает на берегу озера камешки, глины, нюхает, не пахнет ли нефтью, но непреодолимый страх преследует его всюду. Из-за скалы внезапно выходит Анисим. Ему кажется, что Анисим преследует его, хочет убить, это какая-то тень из прошлого. Он бьет неожиданно Анисима камнем в лицо...

— Ты уверена?

— Баптисты так уверены, а не я. На мой взгляд, могло быть и проще и глупей. Мог и Богдан убить Анисима... из ревности... — Она коротко рассмеялась.

— Из ревности? К кому?

— А хотя бы и ко мне, Левушка!

Сожа хрустнул пальцами, вздохнул и глухо сказал:

— Продолжай... о Павликове...

— Сестра его Шурочка сказала как-то на днях... она была полупьяна... он может так закрутить свое кольцо, что из этого кручения не вывернется...

— По-твоему, Ульяна, выходит, что он... то есть его раненый мозг не перенесет какого-то потрясения... И ты

намекаешь, что тебе известно, какого именно потрясения?

— Известно.

— Но если его не потрясло убийство Анисима...

— То ты думаешь, есть ли что другое, что сможет его потрясти. По-моему, есть! Он скрывался от нас, но будет ли он скрываться от синдикатской комиссии? Всякий скажет, что нет! Он придет. Что же он здесь узнает? Во-первых, он узнает, что жена его влюблена в Рентулича и жена уходит от него...

— Уходит?

— Шурочка выловлена из озера, но выживет ли она, сомнительно, а ухаживать за двумя больными, то есть за Павликовым и его матерью, Катя едва ли захочет и едва ли сможет. Катя слишком влюблена в кратковременность жизни, она думает, что жизнь плоти есть единая и непререкаемая действительность и, кроме нее, нет ничего.

— Ты тоже влюблена в эту, как ты ее называешь, кратковременность?..

— Что ты, что ты! Я верю в переселение душ. Понимаешь ли ты меня, Левушка?

Сожа устало ответил:

— Признаться сказать, плохо, Ульяна! — Он мечтательно развел короткими своими руками: — Но ты передаешь интересные факты. Кстати, я сам видел, как Рентулич и Катя шли по песку, возле озера, чрезвычайно увлеченные друг другом... Пожалуй, ты права.

Ульяна со злорадством и чуть уловимой жалостью думала о Павликове. Она вспомнила «бульдожью» его походку, его израненную какую-то ловкость, он чем-то ей напоминал Сожу, того Сожу, который был в ее воображении до самых последних дней. Последнее время она много, чрезвычайно много думала о Соже, о его поступках... многое уже не нравилось ей в нем. Она преодолела свои мысли и нежно взяла Сожу за руки.

— Когда пыль в нашей стране уляжется, то и про нас смогут сказать люди: вот, мимо своего виноградника прошли влюбленные... прошли и не оставили следов.

Соже представился тихий и низкий дом на холме, прозрачные и холодные грозди, в которых косо отра-

жается темное озеро, и новенький парус на новенькой, свежеокрашенной лодочке. В озере катается его жена. Он сорвет лозу, тяжелую и как бы покрытую малиновым бархатом, и крикнет в озеро: «Пора домой, Ульяша!»

— Да, хорошо бы уехать на виноградник, переждать...

Баптисты возились в ветвях. К дубу подошел Цитовский, упоенно и гордо куря папироску за папироской. Корсаков примиряюще увивался возле него.

— Нельзя на лыжах — уйдем на чем-нибудь другом, — твердил он.

— А когда «это» может с ним произойти? — спросил Сожа тихо.

— Вначале вы скажите ему, что он трус!

— А дальше?

— А дальше он получит телеграмму, извещающую о смерти его матери. И здоровый человек вряд ли выдержит два таких потрясения! А его и без этого волнует и приезд комиссии, и то, что он спустил нитроглицерин...

Сожа вспомнил, что, прискакав, она, еще не слезая с коня, сказала ему, что Павликов отступился от бурения и от рабочих, что Павликов расслаблен, узнав о спуске комиссии... Сожа рассердился.

— Что это значит, Ульяна? Два часа назад ты сказала, что Павликов отступился.

— Два часа назад мне казалось, что тебе необходимо спокойствие, а теперь трос натянут, комиссия приготовилась, — ты можешь узнать истину: в сущности, Павликов захватил разведки.

35

Сожа наклонился и взял горсть снега. Снег напомнил ему вату, — запах больницы был в нем.

— Когда получена телеграмма о смерти его матери?

— Телеграмма еще не получена.

— Откуда же тебе известна ее смерть?

Сожа стоял сутуло, быстро потирая рука об руку. Ульяна подумала: «Всякий растеряется на таком деле. Сколько ему пришлось узнать тяжелого в последние дни. Пора, пора тебе, Сожа, отдохнуть на винограднн-

ке...» Ей было трудно говорить, но она решила высказать все, и она сказала:

— Но ясно же всем, что старушка, узнав о смерти Шурочки, окочурится немедленно...

— Предположения!.. А ты говорила о телеграмме, Ульяна.

— Телеграмму напишу я. У меня заготовлен соответственно составленный бланк. Если ты не хочешь передать ее лично, ее передаст, скажем, тот же Тавчавадзе. После того как с Павликовым свершится все то, что должно рано или поздно свершиться, мы изорвем бланк!

— Невозможно!

— Почему невозможно, Левушка?

— Потому что это противоестественно, ужасно, и я не могу обороняться такими способами. Это, если хочешь знать, я считаю даже глупым!..

Ульяна ухмыльнулась:

— Милый мой Левушка! Ты говоришь прекрасные, возвышенные и справедливые слова. Ты умиляешь меня! Поэтому всю подлость и низость того, что я придумала, я беру на себя, и так как я взяла на себя все, то я объясню тебе, почему и зачем я это делаю. То, что мы с тобой утаили некоторые суммы, это прошло бы незаметно, если б Павликов приездом своим не усилил внимания к разведкам, производимым тобой. Каждая цифра твоя будет теперь проверена и просмотрена по десятку раз, каждый твой счет будет контролирован, елико возможно... Но не страшно и это и то, что нам придется сидеть на суде и покаянно стучать головой в пол. Страшно то, что мы погибаем и погибнем из-за Павликова, полусумасшедшего твоего командира, полуклинического субъекта! Кто такой Павликов? Он потомок некоего кавказского купеческого рода. Если кающееся дворянство было величественно, то кающееся купечество омерзительно. Павликов — кающийся купец, который за покаяние свое все же получает мзду. И отличную мзду! Он взял молодую и красивую жену. Он имеет квартиру, деньги... ему жалко все это потерять. Чтобы скрыть от жены мучающие его по ночам боли, он затыкает подушкой рот, не спит, а утром, стараясь казаться бодрым, идет на заседание и часто там засыпает. Героя уважают все — и не показывают вида, что заметили его сон. А жена все знает, но боится его, мучается и блудит на

стороне! И вот, если мы попробуем с тобой рассуждать, учитывая те остатки гуманности, которыми мы еще владеем, то, когда дадим ему возможность «закружиться», не исполним ли мы просто некий врачебный долг, не дадим ли мы просто-напросто некий облегчительный напиток, некий опиум или морфий. Когда порвется то волокно в его мозгу, которое столь томительно связывает его с жизнью, не станет ли мир перед ним легким и ясным, таким, каким он мог быть для него только в детстве, не шагнет ли он куда-то далеко, куда и не предполагал шагнуть, и не исчезнут ли его боли и страдания, и не упростится ли его кольцо? Я не сомневаюсь, что произойдет так, как мы рассчитываем. Мы пресечем... Мы более врачи, чем недоброжелатели...

Сожа слушал ее и смотрел на пик Али-Магом. Там широко пылал костер, и доносился оттуда чей-то тяжелый голос. Соже казалось, что голос требует: «Подай». Сожа взял факел, достал спички. Ему трудно и омерзительно было держать коробочку. Пальцы его, вялые и сухие, сломали несколько спичек. Он бормотал:

— Мне думается, Ульяна, что ты многое понимаешь в людях. Ты отзывчивый и прямой человек. Руки бы вымыть, что ли...

— Я говорила неразумно, по-твоему?

— Отнюдь. Но я не могу передавать телеграмму ни Павликову, ни Тавчавадзе! И вообще категорически отказываюсь от подобного опрометчивого образа действий.

Ульяна взяла у него спички.

— Отказываюсь, отказываюсь, — повторил он.

Долгий их разговор вдруг испугал Цитовского необыкновенно. Он понесся к ним, но вернулся и потащил за собой Корсакова.

— Они нас тоже подведут, — бормотал он, — им бы только насладиться нашим угнетением. Смотри, как они радуются, что меня побили, а как они будут радоваться, когда тебя бить будут!

— Меня никто не смеет бить, — обиделся Корсаков, — меня даже в детстве не били.

— А здесь и бога побьют, не только что тебя! — крикнул Цитовский.

Он круто задержал свой бег перед Ульяной Михайловной и угрожающе сказал:

— Я сообщу обо всем происшедшем и комиссии и Павликову. Никто не смеет меня бить, даже бог!

Ульяна глядела на него весело и молча.

— Каковы же ваши предположения? — завопил он разозленно.

Она протянула ему факел:

— Держите!

Подала Корсакову спички:

— Зажигайте!

Затем она развернула бумажку, полученную с пика, на которой кратко была изложена система сигнализации. Корсаков зажег факел. Запахло сначала керосином, а потом и густой смолой. Факелы были оранжевые. Дуб над ними расширился, зашелестел, ветви его теплые и простые, полянка бела и как бы несется вокруг дуба и вокруг факелов.

— Махните два раза вбок, налево, два раза направо, один раз вверх, — командовала Ульяна. — Отпустите на землю. Опять два раза вбок...

Услышав ее голос, Сожа понял, что он должен быть ей верным так же, как она ему верна, и он твердо повторил про себя: «Сделаю и верю», и, как только он повторил это, ему стало легче и веселей. Слабость из его пальцев уходила. Он поднялся с камня. Ключ, который раньше казался ему темным и бурлящим, был попросту жалок, и пахло от него навозом.

Он поднял голову. На сучьях дуба сидели баптисты, вцепившись руками в трос.

Сожа громко позвал:

— Эй, вы, на дубе, готовы?

— Мы-то готовы, — отозвались баптисты, — как у вас вот?

— И у нас хорошо!

Ульяна поняла то, что он думал передать этим восклицанием. Она подошла к нему и ласково погладила его по шее.

— А если он не «закружится», — спросил Сожа, — и если баптисты думают не то, что ты говорила? Они могут просто сдрейфить.

Она уверенно ответила:

— Милый мой Левушка, но я-то не сдрейфлю. Если баптисты пропустят его и с телеграммой не выйдет,

так пусть «они» слопают меня с жадностью, как последний кусок хлеба, но перед тем я его угроблю!..

— То есть ты думаешь?..

Цитовский прервал их:

— Граждане, пик отве-ечае-ет, видите?

— Отвечает, — подтвердила Ульяна и, выхватив у него факелы, затоптала их. — Принимайте, Сожа, комиссию.

Трос, медленно раскачиваясь, переливался синим блеском. Вначале это раскачивание было незаметно, но вскоре он стал пригибать со свистом ветви дуба, с ветвей летела кора, и запахло мокрой древесиной. Трос от тяжести мчащейся корзины свисал почти до земли. Баптисты навалились, навалились и Корсаков с Цитовским, трос поднялся несколько выше и меньше стал раскачиваться.

— Сожа! — позвал Цитовский.

Повис на тросе и Сожа.

Есть же люди, которые жалуются на скуку и серость жизни! Посмотрели бы они на эту желтую корзину, которая мчалась в дикую ночь над снегом и над обвалами. Корзина эта походила на кондора или на какое иное заграничное и удивительное пернатое. Луна хохотала между туч, озаряя седым и лукавым своим светом портфели и громадные никелевые замки на них. Вот уже к дубу стали доноситься простуженные, но все еще важные голоса членов комиссии, и вскоре над полянкой, в легкой дымке снежного тумана, кидая пляшущую и издевательскую тень на одураченные обвалы и на пропасти, показалась корзина. Она была прекрасна и походила теперь или на воздушный шар с выпущенным газом, с осевшей и сморщенной оболочкой, или на карусель в какой-нибудь высокоторжественный праздник. Комиссия сидела в ней в бурках и в папахах, и бурки те были словно опрокинутые дубовые столы! Дуб, многое видавший в своей многостолетней жизни, дуб на Коровьей полянке — и то удивился мужеству и непреклонности комиссии. Раскачиваясь ветвями своими, похожими на затейливые подписи какого-то спешного доклада, дуб встретил ее восторженным свистом.

Скажите же мне теперь, дорогой читатель, ужели наша жизнь сера, убога и тускла? Никогда вам не сказать этого!..

36

Теперь, я думаю, позволительно нам приступить к прагматическому и несуетливому изложению тех тяжелых и сложных событий, которые произошли в ночь на 10 сентября 1928 года в доме Сожи возле буровой номер три в долине Тба.

Все подтверждало подозрение Тавчавадзе, что Павликов имеет близкое отношение ко многим запутанным делам разведок: рабочие без ведома Сожи приступили к бурению; со склада взрывчатых исчезли остатки нитроглицерина, которые вскоре оказались спущенными в скважину; возле вышки лежали сварные трубы, привезенные неизвестно кем и зачем... Недовольной комиссия вернулась в дом. Была поздняя ночь. Профессор Содман зевал.

— Вы бы вздремнули,— сказала Ульяна любезно и весело,— а то от баптистов, того и гляди, делегация нагрянет. Сильно они вас ждали.

— Разве они нам дадут сведения о нефти?— спросил Тавчавадзе сердито.

— Не о нефти, но сведения дадут важные.

И сам Сожа, и его жена не понравились Тавчавадзе. Он разостлал бурку на дрянной тахте, положил портфель и папаху под голову.

Сожа раскладывал по столу отчетные свои бумаги в аккуратных синих папках с длинными тесемными завязками. Профессор Содман, круто упершись ногами в дощатый простенок, спал. Молодой геолог Голиков посмотрел на его сон и тихо спросил у Тавчавадзе:

— Не снести ли мне записочку к товарищу Павликову, чтобы он к нам зашел?— Голикову хотелось узнать о здоровье Шурочки, да и Павликова ему увидать тоже хотелось. Тавчавадзе написал записочку.

Сожа растерянно перебирал папки, расправлял тесемочки. Он поглядывал на Тавчавадзе, хотел что-то, должно быть, сказать, но не решался. Тавчавадзе презрительно закрыл глаза и от презрения и скуки задремал. Исчезла эта дремота от стука двери. Голиков возвратился. Он сел на табурет.

— Придет? —спросил его Тавчавадзе.

Голиков ответил:

— Сестре его, товарищ Тавчавадзе, сильно плохо, так плохо...

Вошла Ульяна, прислонилась к простенку, припухшие слегка веки и губы делали статную внешность ее тревожной и дикой.

Тавчавадзе еще более раздражил вид Ульяны. Она передала какую-то бумажку мужу, и тот с этой бумажкой направился к столу, положил ее на одно из дел.

— Телеграмма Павликову! Из Тифлиса, — сказал он громко и решительно, — передайте ему. Я не желал бы с ним встречаться.

Слова его показались резонными Тавчавадзе, он взял запечатанный бланк. Чувствовалось, что ночь предстояла тревожная.

— Вы говорили, что у вас полевой телефон? — обратился Тавчавадзе к Соже. — А председатель сельсовета далеко?

— Телефон до шоссейной будки по ту сторону перевала. Обвалы провода, кажется, испортили... Можно такого... Еропку-механика пригласить...

— Что же касается председателя сельсовета, — заговорила вслед за мужем Ульяна, — то я рассчитываю, поскольку собираются сюда баптисты, он, как должностное лицо, придет раньше их.

Она распахнула окно во двор, прислушалась. Накрапывал легкий и сверкающий дождь, пахло теплым камнем.

— Идут! — сказала она не без радости.

— Идут! — подтвердил тревожно Сожа.

Она открыла дверь, и, — точно из кармана вынула, — в сенях стояли предсельсовета Митрохин, с вековечным своим сизым ячменем на глазу, и за ним Еропка-механик с ящиком инструментов в руках.

— Устроится, устроится, — быстро заговорил Митрохин. — Народ у нас в долине любит покрякать, попреть, поговорить сообща, а там, глядишь, и разойдется по домам! Я им и то говорю: «Куда вам, на ночь-то глядя, переть?» А они мне: «Да ведь комиссия-то пока со свежей головой и пока ей разное про нас не наговорили, лучше пусть уж ночью, раз так спешно спустились, как ангелы с неба, пусть ночью и разберется во всех наших делах!» А какие у них дела, мне даже, соответствующей власти, неизвестно!

Он хлопнул себя по голенищу и указал на Еропку-механика:

— Ему тоже непонятно!.. Но страшно... Действительно страшно по нашему селу идти ночью. Но мы уж пошли, что даст... — Он хотел сказать «бог», но сконфузился и сказал Соже: — Папиросочки не найдется ли, земляк и товарищ?

Тавчавадзе взял бурку, папаху. От шума его громоздких одежд проснулся профессор Содман, вскочил и быстро сказал:

— А я, коллега, с вами.

— Куда?

Профессор Содман закашлялся сконфуженно:

— Фу-ты, сон какой нехороший приснился... пренеприятный и пустой! Мне, пожалуй, немножечко поразгуляться. Вы к Павликову?

Тавчавадзе удивился его проницательности:

— Вы это во сне?

Профессор Содман вздохнул:

— Представьте, да. Крупное от него одолжение увидал. Наяву я не желал бы подобного одолжения. Итак, к Павликову?

— Да, к Павликову, — ответил Тавчавадзе.

Тавчавадзе хотелось сказать Павликову и о делах долины, и о болезнях, окончательно овладевших его матерью: Агриппина Степановна, перед отъездом, просила Тавчавадзе торопить сына и дочь. Лежала она в постели и слаба была и телом и душой. В сенях он взял под руку профессора Содмана и сказал тихо:

— О недомоганиях матери его, я располагаю, умолчать.

Визгливый голос раздался где-то с полу:

— Как можно умолчать!

Вспыхнула спичка. Упершись в поленницу дров, на кадушке сидели Корсаков и Цитовский, бледные, дрожащие и опять-таки похожие один на голубя, другой на воробья.

— О чем нельзя умолчать? — спросил Тавчавадзе.

— О том, — провизжал Цитовский, — что Павликов убил баптиста и свою сестру столкнул в озеро.

Тавчавадзе, держа профессора Содмана под руку, молча прошел по двору. У калитки от них посторонились несколько черных людей в длинных одеяниях. Тавчавадзе и Содман вышли на дорогу. Цитовский и Корсаков семенили за ними.

— А они, баптистики, собственно, за этим, о чем

я вам намекал. Мы только что из деревни! Они нас за землемеров приняли. Мы вынуждены были покинуть село. Они кольями грозят! Вы понимаете, что такое кол и что такое вилы?

— Понимаю, — ответил Тавчавадзе, — колом обычно по голове бьют, а вилами в бок.

Цитовский взвизгнул раздраженно:

— Ну, а мы, что же, за это должны бока свои под вилы подставлять?!

— Дорога из селения идет мимо духана? — спросил Тавчавадзе.

— Есть и мимо, а есть и сокращенная тропа.

— Павликов в духане?

— Жил. Сейчас — не знаю. Сейчас он нас предал и давно сбежал. Напоследки он подговорил Мотьку изранить меня! Но меня трудно изранить!..

37

Подошли к духану. Внутри духана ярко горели лампы, слышались встревоженные голоса, выделялся приглушенный голос Рентулича: «А что они могут конкретно вредного?..» Видимо, и там рассуждали и спорили о баптистах.

— Удобно ли входить? — подумал вслух Тавчавадзе.

— Удобно, еще как удобно-то! — всплеснул руками Цитовский. — Он кто? Подсудный, убийца!

Цитовский зажег спичку и осветил двери духана.

— Видите, прислонены, прислонены. Они нелепы, лыжи на Кавказе, но приготовленные здесь для бегства имеют большую цель...

Корсаков несколько начал приходить в себя. Медлительный и высокий Тавчавадзе действовал на него успокаивающе. Ему уже начало казаться, что баптисты в селении шутили...

— Да, лыжи на Альпах более уместны. Был и я на Альпах, хотя и не с Суворовым, — сказал он.

Цитовский опять зажег спичку и ткнул ею в лыжу.

— Выход! Извольте. Павликов намерен покинуть нас в наиболее ответственный момент. Мои соображения сегодня наиболее точны, так как я избит Рентуличем умышленно и болезненно. Что же касается Корсакова...

Болтливость Цитовского казалась Корсакову чересчур витиеватой и темной. Она обжигала его. Он желал ясности, а потому выступил вперед.

— Раньше, чем вы войдете к Павликову, вам необходимо знать мои показания, так как Цитовский, видимо, успел уже наклеветать вам на меня. Допустим, он умен. Но даже то количество очков, которым он располагает...

Цитовский встал с ним рядом:

— Но твои-то очки совершенно жульнические, Корсаков.

— Извините, какие очки? — задумчиво спросил Тавчавадзе. — Если вы геологи, то нужно добывать нефть, а не очки!

Корсаков возмутился:

— Нефть! Вот оно, типичное ослащение узлов противоречий.

— Финиш, финиш! — вцепился в него Цитовский. — Свершились мои пятнадцать очков! Гони мои целковые! Снимай вязаный свой жилет!

— Позволь, Цитовский! Эта текущая фраза не в счет. Она сказана по общественной линии, а не по личной.

— Как не в счет?

— А так и не в счет.

— И с таким негодяем я блокировался. Я мог поверить его дружбе в течение семи лет. Я мог его целовать!

— Плюю я на твои поцелуи.

Тавчавадзе уже и тогда, когда они подошли к духану, подумал, что послушаться Корсакова и Цитовского, то есть войти в духан, не совсем правильно, а теперь, когда он услышал фразу о поцелуях, он был возмущен необычайно.

Воскликнув негодующе: «Он плюет на поцелуи друга», Тавчавадзе подхватил опять профессора Содмана под руку и направился прочь от духана. Но Цитовский не унимался. Он уцепился за лыжи и, путаясь в веревках, стуча палками о камни, бежал по следу Тавчавадзе и кричал, что не позволит никому убежать из долины, что он припечатает казеннейшими печатями лыжи, что он сейчас всем покажет газетную вырезку о капиталисте Павликове и разоблачит всех и вся, что ему известно многое множество прегрешений и преступлений

Павликова и его семьи и что лыжи — это только ничтожнейшая иллюстрация, даже глупая иллюстрация, но весьма характерная и четкая. Он отомстит Рентуличу! Рентулич еще почувствует его железную руку и его железное сердце старого бойца.

Профессор Содман благодарно и встревоженно прижал к боку своему тяжелую руку Тавчавадзе.

— Знаете, этот баптист, — сказал он, указывая на Цитовского, — видно, крупный проповедник.

38

В тот день, когда в долину спустилась комиссия, Павликов многое продумал, многое решил и многое перечувствовал. Утомленный бессонными ночами, жаром раскаленных камней и холодными ветрами от обвалов, он словно в тифозном сне помогал рабочим ловить тело Шурочки, греб, командовал, и едва лишь Шурочку вытащили, откачали, едва она раскрыла глаза, тотчас же Ядко и его приятели вскочили в лодку, чтобы плыть на виноградник, копать колодец, — они горели рвением и мщением. С огромным трудом, пересиливая точащую его силы вялость, напрягая свой мозг, свое тело, едва смог уговорить их Павликов остаться, кое-как доказал, что если теперь и вырыть в колодце нефть, — комиссию эта нефть не убедит. Если бы вдруг ударил гигантский, невиданной мощи фонтан... Но порыв новых друзей растрогал его, помог ему собрать свои силы. Шурочку перенесли в духан. Худое ее тело пылало, она лежала, напряженно вытянув руки и бормоча неразборчивые слова. Она бредила. В соседней комнате сидел Рентулич, рабочие перешли на кухню, кто-то из них вспомнил, что сторож на Сожиных виноградниках, Никита Гурьич, обладает некими лекарскими знаниями, и вспомнивший побежал за сторожем. Но старичок отговорился неведением, и тот же рабочий сообщил Павликову, что баптисты ищут комиссию.

Павликов понимал, что он должен идти и пойдет в дом Сожи, куда собирались виноградари. Но идти ему не хотелось. Не хотелось ему идти потому, что приход его вряд ли успокоит баптистов, вряд ли убедит комиссию в справедливости и правильности того, что он делал, да и рабочим было бы неприятно, если б он пошел,

так как появлением своим в доме Сожи он как бы признавал свою вину, неуверенность в задуманном деле. А обязан он был идти потому, что Тавчавадзе приехал сюда, чтобы закончить на месте научный спор о нефтяных местонахождениях в долине Тба, и откладывать дискуссию не было никаких причин, и никакие баптисты не могут помешать их научной работе, к которой их призвали академия и советская общественность.

Павликов вернулся к постели сестры. Он много видал смертей на своем веку, и обмануть себя он не мог: она умирала. Медленно раскрыла она большие прозрачные свои глаза, и на лице ее отобразилось такое изумление, — горькое и тревожное, — что она с радостью опустила веки, и густые тени побежали к вискам ее.

Ядко на носках вошел в комнату и сказал шепотом:

— У двери возятся из комиссии и те двое, которые виляют! Двинуть им по усам или как?

— Я сам выйду, — ответил Павликов.

В соседней комнате он увидал Катю. Рентулич сторожил возле дверей, за которыми визгливо кричал Цитовский. Катя не смотрела на Павликова, но по лицу ее было понятно, что думала она. «Ты погубил сестру,— думала она,— и как бы ты теперь ни оправдывался и ни старался работать, — хотя бы в результате этих работ сегодня же все Тбинское озеро оказалось сплошь из нефти и революция получила бы гигантские энергетические запасы, — все равно тебе не успокоить себя, и никто не скажет, что ты поступил справедливо!»

«Ты охвачена жалостью к Шурочке, — мысленно ответил он Кате, — твои чувства запутаны, и ты во многом права. Да и как я могу осуждать человека, умирающего, погибшего, если бы даже этот человек поступил неразумно. Разве тогда, разговаривая с ней на тропе, я мог думать, что она почти угрожает мне и другого выхода из наших разногласий, кроме как в смерти, не видит... Действительно, беседу нашу я начал слишком легкомысленно, обидел сестру, рассердился на нее, но ведь и она должна была бы подумать, какую работу проделываем мы!..»

Павликов открыл дверь. Катя шагнула за ним. На тропе, поднимающейся к дому Сожи, видны были несколько людей. Павликов заметил блеск своих лыж.

— Пускай тащат, если они им более нужны, чем мне, — сказал он.

— Но ты опять крутишь кольцо...— начала беспомощно Катя.

Влажная темнота привисла к ним.

Павликов подумал: «Превосходно,— предстоящий разговор важен и нужен ей!» Он знал ее хорошо. Она любит говорить о своих слабостях, но все-таки она женщина волевая и сильная. Дочь певчего из церковного хора, она была модисткой, швеей, скопила несколько денег и поступила на курсы иностранных языков. Она училась упорно и долго, затем ее взяли библиотекаршей по иностранному отделу в академию, и здесь она была прекрасной работницей. Покинула она службу, потому что хотела воспитать ребенка от Павликова, но ребенок умер четырех месяцев... Она, как могла, старалась понять Павликова, но вот, должно быть, Рентулич стал ей и понятнее и ближе.

— Тебе показалось, дружище,— ответил ей Павликов,— если я кручу кольцо, то лишь потому, что оно спадает... рука моя, должно быть, похудела за последние дни.

— Я знаю.

— А знаешь ли ты, Катя, что Шурочке осталось жить... не часы уже, а минуты?

Катя всхлипнула. Ей было стыдно, так как перед словами Павликова она подумала смятенно, что разговор с ним для нее сейчас важнее, чем даже смерть Шурочки.

Глухие и медленные голоса послышались на тропе. Мимо духана прошло несколько фигур. Костер, на котором недавно кипятили чай, дымил, погасая. Отделился человек и молча затоптал головешки.

— Хозяйственный народ баптисты! — сказал им вслед Павликов.— Пьяницу, жулика, пригородного орловского мужика так разительно могут изменить колонизация и религия. А кто-то еще сомневается, что маловероятен социализм! Дайте мне, как этим мужикам виноградники, построить в этой долине заводы...

— Ты мне хотел сказать другое, Павликов?

— Конечно, другое... Я виноват перед тобой, Катя. Я понял это еще в Тифлисе перед отъездом сюда. Мысль тогдашнюю мою необходимо было бы взвесить, но я был вне себя. Надо мной, как над преступником, висел смертельный спор в академии. Я много работал над проектом долины Тба; мы, молодые, воз-

лагали на него огромные надежды и, хотя на мне была только теоретическая часть его, все же...

— И я, оказывается, не включилась в твой проект?— прервала Катя, обиженная тем, что он первый намекнул о разводе. Ей всегда казалось чрезвычайно обидным, когда мужчина первый покидает женщину. Она всегда думала: «Ну, меня первую не покинут...»

— Я виноват и в том, что напрасно вернулся домой. Тень повешенного отца вела меня туда. Я должен был бы погостить... и возвратиться к своему одиночеству. Но мне хотелось показать матери, что я достойно и доблестно смог отомстить за его смерть... но из всех моих поступков и мыслей матери моей понравилась только ты, Катя.

Насколько Кате раньше хотелось побольше узнать об его отце, об его стране, той патриархальной Средней Азии, где медленно идут по зеленой степи стада, где круглые юрты, улыбаясь ворсом своим в сторону ветра, дремлют на холмах, где женщины несут в деревянных бадьях остро пахнущий кумыс, — настолько же теперь скучно было ей слышать об его отце и об его стране, в которой круглые юрты наполнены суевериями и мучительно страдающими детьми...

Она жестоко сказала:

— Да, в отношении отца тебе себя упрекнуть не в чем!

Павликов промолчал. Ей было стыдно, что она сердится тогда, когда необходимо говорить спокойно, основательно, продуманно. Но она не могла побороть себя, — все оттого, что он сказал первый о разводе.

— Нужно было слушаться, когда тебя уговаривали, Павликов. Шурочка говорила совершенно логично. Отлично, ну, приехала комиссия. Чего ты достиг? Что ты имеешь? Выборы предзавкома? Но его более удачно могли бы выбрать и без твоего участия. Дело совсем не в предзавкоме...

— Конечно, не в выборах. Выборами я просто пытался легализировать свои работы на разведках.

— Значит, ты согласен со мной?

— В чем?

— В том, что ты ошибся.

— Конечно же, не согласен, Катя!

Голос его был грустный и твердый. Мысли ее о нем стали рыхлы и неуследимы. Но вот мало-помалу в голове

ее стало преобладать сознание, что она не может говорить просто и понятно... Ей захотелось прислониться к кому-нибудь, посоветоваться. Раскаяние овладело ею, и она быстро решила, что преобладающим чувством в ней всегда было раскаяние.

— Я виновата не меньше тебя, Павликов. Я оказалась для тебя плохим другом и плохой сестрой милосердия. Я дурная. Я откровенно скажу, что боюсь и всегда боялась больных и болезней. — Она с трудом высказала эту резкость, но так как хотела быть откровенной вполне, то взяла его за палец и добавила: — Выбрось кольцо, Павликов! Я дурная.

Павликов потрогал на пальце тонкий серебряный ободочек. Ему вспомнилось, как недавно академический остряк, хранитель библиотеки, Дулов, сказал: «Ты бы и крест к кольцу надел...», и как остряк этот удивился, когда Павликов посмотрел на него тяжело и зло: «Я не крещеный». Остряк отошел ошеломленный, подумав, что Павликов носит кольцо со специальными какими-то заданиями. Странности? Нет, никаких странностей не должно водиться за коммунистом! Какие бы он заслуги ни имел перед революцией, странности и слабости, особенно на теперешнем этапе, непростительны...

— Но ты ни в чем не виновата, Катя.

Он резко сдернул кольцо:

— Возвратить? А не лучше ли будет, если мы передадим кольцо Рентуличу?

Ей вспомнились бабочки, которых она накалывала. Она всегда с большими мучениями проделывала эту операцию, но проделывала ее потому, что хотела казаться ученой, равной своему мужу. «Кто знает, наука о бабочках, может быть, через триста лет будет более нужна, чем нефть и прочее...» Но в ней мало было ученой смелости, последовательности, любви к делу.

— Я дурная.

— Катя, Катя, какая же ты дурная?

— Я дурная, Павликов. Не останавливай меня! Я последний раз повторяю тебе, Павликов, что тебе совершенно необходимо презирать меня. Я виновата, но немножко и не виновата. Как же мне быть, если мне хочется видеть вокруг себя здоровых и простых людей? Какая я ученая и какая во мне углубленность, если мне жалко прокалывать бабочек! Я бы должна их прокалывать, как тряпки... Мне трудно учиться. Я боюсь и всегда

боялась читать твои книги... и, по правде сказать, не понимаю ни причин, ни следствий спора твоего с этими учеными, которые спустились сюда по проволоке. Ты презирай меня, Павликов, презирай, тебе станет легче!

Павликов взял ее за руки. От нее шло приятное тепло. Он подумал, что прав был он, что не уклонился от мучительности этого разговора:

— Презирай. Почему презирай? Ты была для меня редким другом.

Она оживилась. Ей стало легче. Она боялась, что сказала Павликову не те слова, которые нужно, и теперь была рада, что он ее понял.

— Ты находишь, Павликов? Возможно. Я же старалась, как могла. Очень, очень тебе признательна, Павликов.

— Мы сказали друг другу как будто самое важное, Катя?

— Самое важное оказалось не самым простым.

— Ты мудра, Катя. Я расстаюсь с тобой, уважая тебя еще более, чем тогда, когда встретил.

— И я тебе то же самое хотела сказать. А если ты меня уважаешь, то ты обязан перед уходом, Павликов, дать мне слово, что поменьше будешь писать книг, реже волноваться и меньше, как можно меньше быть на солнце. Ты постоянно забываешь, что ты должен быть человеком в тени.

Опять мимо духана прошла группа мужиков. Они шли медленно, степенно, заложив руки за спину, и Павликов подумал, что есть и было в этих орловских переселенцах много надуманного, не русского, чья-то хитрая рука ловко инспирировала каждый их шаг...

— Народ к Соже, — сказала Катя с удивлением. — Почему так поздно? — Но она быстро нашлась: — Днем жарко заседать, а вечером приятно.

Павликов спросил ее:

— Так как ты очень сообразительна, Катя, то скажи мне, что ты думаешь об убийстве баптиста?

— Я не говорила Шурочке... Ей сказал кто-то другой. Я от нее узнала.

— Но ты ей поверила?

— Я так мало знаю тебя, Павликов. Баптист мог быть и шпионом, не правда ли?.. Мог быть и скрывшимся преступником? А ты так мало вводил меня в свои предприятия. Ведь не мог же ты на самом деле из-за

какой-то цистерны нефти бежать сюда и подвергать свою сестру угрозе смерти... Я бы не могла оправдать такого научного энтузиазма!

— А убийство шпиона или преступника ты оправдываешь?

— Об этом страшно и тяжело подумать, но нельзя не согласиться, что это величественно, это почти... — Она не могла найти сравнения и замолчала. Разговор утомил ее. — Но ты не забудь мою просьбу, Павликов. Уходи от солнца.

— От солнца? Совершенно верно. Я запомню. Я даже запишу.

— Ты опять смеешься надо мной. А я, Павликов, расстаюсь с тобой страшно довольная. Я многому научилась возле тебя, ты показал мне много почтенных людей и многие обширности земли. Теперь же, знаешь, мне пора отдохнуть в тишине и глуши.

— Отдохнуть?

— Отдохнуть, Павликов.

— Значит, ты раздумала ехать в Крым?

— Знаешь, раздумала. Никто мне не может гарантировать, что там еще не худшая пустыня, чем здесь, а здесь я кое к чему привыкла. В нашей долине так много работы! Кооперации настоящей у баптистов нет. Изб-читален нет. Даже радио — и того не провели!

Павликов подал ей кольцо.

— Да, Катя, без радио баптистам не жизнь.

— Радио, Павликов, для советской революции все равно что изобретение телеграфа для французской! Помнишь, у Олара...

— Да ты страшно много читала, Катя, ты удивляешь меня... — Он дотронулся до кольца. — Теперь ты сможешь с чистой совестью, не страдая, сказать: «Примите мое кольцо, Рентулич». Правда, он тебе ответит тотчас же: «Я колец не ношу принципиально, а золотых тем более». На это ты, ничуть не умаляя своих достоинств, сможешь ответить: «Оно серебряное, и, кроме того, Рентулич, кольцо нужно понимать иносказательно». Завершится этот краткий разговор, наверное, тем, что Рентулич скажет удовлетворенно: «Ну, если иносказательно, то я принимаю». И он опустит кольцо в карман своей рубахи, рядом с коновальским своим ножом.

Ей стало и больно и весело.

— Принимаю! Но меня беспокоит, Павликов, что

он ходит постоянно без кашне, а здесь смотри какие ветры и какие вечера! Того и гляди, наступит зима.

Лампа осветила в окне бороду Рентулича, похожую на кусок смолы.

— Сергей Дмитрич, подите сюда, — сказал он испуганно. — Шурочке...

Катя убежала в духан. Рентулич стоял у окна неподвижно. Павликов подошел и оперся о подоконник.

— Вы слышите, — показал Павликов на тропу, — вы понимаете?

Рентулич прислушался.

— Баптисты?

Он увернул фитиль.

— Не к нам, Рентулич, не к нам, но за нами!

39

В доме Сожи было три комнаты и большая, по всему фасаду застекленная веранда. Две маленькие комнатки (в одной из которых жила Шурочка) отделялись от главной, большой и светлой, выходящей на веранду, крошечным коридором. Коридор этот имел двери в сени, сени выходили во двор, обнесенный каменной оградой и заваленный трубами, машинами, поломанными арбами, бочками. На веранде, как мы помним, встречал Сожа приехавших своих друзей, но теперь двери веранды были забиты и окна завешаны рогожами. В большой комнате, служившей столовой, два окна, тоже завешанные рогожами, смотрели во двор, остальные — на дорогу — уже забиты были досками. Ульяна Михайловна любила разводить цветы, веранда вся почти была заставлена горшками.

Так как в столовой было шумно и суетился народ, то профессор Содман перенес плетеный из камыша диванчик свой на веранду и дремал здесь. Тавчавадзе просматривал бумаги, трое мужиков из баптистского селения сидели на низеньких табуретах, ехидно посматривая на узлы, сваленные под стол, на Сожу, молчаливо бродящего вдоль стен, на испуганного предсельсовета и на Еропку-механика, который суетился с полевым телефоном. Среди мужиков был и Власов, высокий старик в неправдоподобно длинной рубахе.

— Отцы наши, обратясь в истинную веру, поехали сюда из Орловской возделывать, как в Евангелии ска-

зано, виноградники... — говорил Власов монотонно. — Возделывали мы усердно и при царской власти, а уж как она нас мучила, как мучила, и передать невозможно... Мы терпели такого...

— Зачем врать, — сказал Тавчавадзе, откладывая бумаги. — Разве ты был революционером, что тебя царская власть мучила? И при царской власти, и теперь ты был и остался кулаком!

— Ни на кого я кулака своего не поднимал. Я христианин, и китайского мне твоего звания не надо.

— Почему китайского?

— Такой в Китае большой кулак был, поднимался в свое время...

— Тоже контрреволюционер?

Мужики встали. Власов снял шапку.

— Так мы подождем во дворе, — сказал он.

Тавчавадзе возмущенно поднял папку с бумагами к лицу своему, как бы стараясь скрыть негодование.

— Чего вам ждать, граждане? Ступайте спать и нам дайте спать, а завтра предсельсовета соберет сход, и мы все факты и вскроем и выясним. Вас волнует убийство? Мы откроем убийц. Вас волнуют слухи о колхозах? Мы объясним вам все. Вам хочется строить молитвенный дом, мы поднимем вопрос этот на собрании. Еще что?

— Нет, уж мы лучше посидим подождем, пока вы все тут рассмотрите, ночь-то длинная, светлая, прекрасная, божеская ноченька... А то ведь вы люди занятые, сегодня спустились по проволоке, а утречком, смотришь, вы и поднялись обратненько. Вон вы и телефон проводите для дела. Нет, уж мы лучше пообождем.

— Пообождем, — дискантом подтвердил слова Власова второй мужик.

— И то пообождем, — альтом пропел третий.

И мужики вышли. Третий остановился в дверях, потер длинный и желтый свой нос, обильно украшенный рыжими волосами, и проговорил: «Что же касается убивцы, так нам убивца известен!» Но чья-то сильная рука мгновенно утянула мужика в коридорчик.

Цитовский быстро переставил лыжи из правого угла в левый, но Корсаков отнес их обратно. Затем они оба сели у того окна, что выходило на дорогу. Ульяна подошла к ним:

— Вы в простенок садитесь, в окна чаще всего стреляют.

Цитовский и Корсаков кинулись искать простенок. Но все простенки оказались занятыми. Они подошли к столу, за которым читал бумаги Тавчавадзе.

— Вы не возражаете, — запищал Цитовский, — если мы сядем возле стола? Смелость смелостью, но в революции побеждают чаще всего осторожность и тактика. Я предлагаю вам, Тавчавадзе, собрать сюда на чрезвычайный совет всю колонию.

— Какую колонию?

— Европейцев. Вы понимаете, что нам грозит?

Со двора донеслись возмущенные возгласы. Кто-то катил бочку и с силой прислонил ее к дому. Они услышали топот ног, стук калитки, скрипы арб. «Костер разводи», — раздался голос того третьего мужика с длинным носом, который говорил, что ему известен настоящий «убивец».

Цитовский легонечко сдвинул рогожу с окна и поспешно отскочил.

— Рожа в окне, граждане, совершенно африканская рожа. Они подкатили бочку и с бочки смотрят в окно. Азия. Африка!..

Он выбежал в коридорчик и поспешно вернулся.

— Бурильщики сюда идут. С баптистами во дворе спорят. А баптисты съезжаются, съезжаются! Бурильщиков они теперь за главных агентов, посланных для сбора сведений о их благосостоянии, сочтут. Ясно вам или нет? А чем мы теперь их убедим, что нефть искали, а не кулаков? У них же у каждого кубышка... Выпустила наша республика серебряные рубли. Где они? В кубышках у баптистов. И полтинники там. И золото там!

Он задохнулся и присел на пол, возле стола.

— Расхлебывайте, товарищ Тавчавадзе!

— Я расхлебаю, — ответил Тавчавадзе.

Из коридора с палками и лопатами, крича и ругаясь, ввалилось шесть рабочих: Ядко, Карабевицкий, Рубнис, Смолищенко, Настельников и Грунин. Ядко обернулся к сеням:

— Я вам задержу! А продовольствия нам почему не отпускали?

Голос мужика с острым носом ответил ему со двора:

— Щепу вам в глотку, а не продовольствие!

Ядко подошел к столу.

— Самое обидное, — обратился он к Тавчавадзе, — за рабочих не считают. Расследователи мы, видите ли, какие-то! Чиновники!..

— Что я говорил? Что я говорил? — возопил Цитовский. — У них уже и обрезы, наверное, приготовлены! Нет, подобные люди, как Павликов, всегда губили и губят революции. Слушайте меня!..

Тавчавадзе перекинулся через стол и простер руку над Цитовским. Когда тот увидал лохматую и огромную эту, как бы каменную, длань, он смолк и прислонился скорбной своей головой к ножке стола.

— По порядку, — сказал Тавчавадзе.— Как твоя фамилия, товарищ?

— Ядко. Предзавкома Ядко.

— Так вот, предзавкома Ядко, каково состояние здоровья сестры товарища нашего, Павликова? Состояние ее здоровья, надо думать, тесно связано с его появлением здесь.

— Умерла.

Тавчавадзе сел и опять начал перебирать бумаги. Они велись неряшливо, плохо переписаны, плохо занумерованы... «Лучше бы, — думал он, — лучше бы ей не читать стихов прославленного нашего поэта!..» И он горько посмотрел на молодого геолога Голикова. Скорбно стоял тот в углу, низко опустив голову. Еле слышный шепот Цитовского донесся из-под стола:

— Я считаю неправильно? Извините! После троса в горах — три очка? Два на озере? Один в камышах?..

— Остальные принимаю, — таким же шепотом отвечал ему Корсаков, — но только на озере одно очко.

— Два!

Тавчавадзе разозлился. Он опустил громоподобную свою длань на стол и крикнул:

— Да замолчите вы наконец!

Цитовский кругло выкатился из-под стола. Гордость опять захлестнула его. Он завизжал:

— Нет, не замолчим! Вы знаете, кому говорите?

Мучимый усталостью своей, спокойной уверенностью Ульяны, неожиданно собравшимися баптистами, отсутствием Павликова и смертью его сестры (в смерти этой он был уверен раньше, но и ему все же было жалко эту восторженную девушку), — Сожа хотел при-

мирения хотя бы с друзьями, которые согласились его поддерживать, но все время шли по каким-то боковым путям. Он обратился извиняюще к Тавчавадзе:

— Видите ли, они мои друзья... еще с давних пор...

Цитовский припомнил все обиды, нанесенные ему в этой долине, но последняя обида, нанесенная ему Тавчавадзе, казалась ему горше всех. Он терзался под тяжестью замысловатой своей гордости, гордости, которая хотела заявить всему миру о своем существовании если не поступками, то хотя бы визгом:

— Ах, теперь уже друзья! Почему же ты позволяешь кричать на меня: молчите, Цитовский. Нет, дудки!

— Да, дудки! — подтвердил Корсаков.

Голосами их был разбужен профессор Содман. Потирая кулачком отлежалую щеку, он подковылял к Тавчавадзе и скромно спросил:

— Простите, но что значит дудки?

Тавчавадзе развел руками.

— Дудки... Но дудки значит просто дудки!

— Дудки значит негодование! — потрясал коротенькими своим ручонками Цитовский. — Мне сказать: молчите! Не для молчания, черт возьми, несли мы с польского фронта наши обещания и наши торжественные заветы.

Корсаков встал с ним рядом.

— Всецело присоединяюсь! Да, не для молчания поклялись мы у танка!

— Товарищи, подождите, — кинулся к ним Сожа.

41

Действительно они должны подождать! Они говорят те слова, которые так тщательно подбирал им Сожа, для того чтобы выкрикнуть их перед ошеломленным командиром. Но теперь командир не идет, да и как он пройдет, когда остроносый баптист довольно ясно намекнул, кого они считают за «убивцу». Толпа запружает двор. Толпа эта сможет достойно переговорить не с одним Павликовым, а с десятком подобных ему... Но ведь это даже хорошо, если толпа поговорит с ним сама и достойно «уговорит» его. Никто же не подумает, что Сожа мог как-то воздействовать на баптистов. Мало ли какие эксцессы случаются в деревне! Темнота и ропот...

И отлично, что Павликов не пришел сюда раньше, так как приход его поставил бы под угрозу не только его жизнь, но и жизнь всех находящихся в доме. Сожа почувствовал даже некоторую благодарность к рабочим, которые пришли, но Павликова с собой не привели. Мысли эти и чувства ободрили Сожу. Глядя в хмурое и злое лицо Тавчавадзе, он проговорил, указывая на Цитовского и Корсакова:

— Они, мои друзья, правы. Не для молчания собрались мы, а для того чтобы вскрыть перед лицом ошеломляющих событий, свидетелями которых мы являемся, все наши истины и все наши заветы. Как в двадцатом году коней, мы крепко держали под уздцы наши заветы и предания, как в двадцатом году...

Звеня, треснула и выскочила рама.

Деревянный высокобортный поднос с виноградом показался на подоконнике. От озера запах йода и воды пронесся по веранде и комнате. Все повернулись к окну.

Рогожа упала.

На подоконнике сидел Павликов.

— А что вы делали после двадцатого года, солдаты танка марки пять со звездой? — спросил он.

Цитовский с горделивой злостью осмотрелся. Взгляд его говорил: «Да, бей, бей до конца, чтобы все, весь земной шар видел, как обижают Цитовского, вы его никогда не ценили и всегда издевались над ним!» Корсаков подумал. «Погиб», и тихонько на всякий случай плотнее прижался к ножке стола; трусливенькая мысль пришла ему в голову: «А что, если сказать Павликову, что он потолстел? Некоторые люди любят толщину и неожиданность». Он попытался встать с узла и не мог. С ужасом смотрел он, как Ульяна, улыбаясь пухлыми своими губами и даже веками своими, тоже припухшими, подошла к Соже. Сожа, увидав ее, поднял глаза на Павликова и смотрел упорно. «Да, будут дела!» — думал Корсаков, ежась. Вслед за Павликовым через окно впрыгнули Рентулич с кольтом в руке и за ним усталая Катя. Павликов поставил поднос на пол, одернул тужурочку, привстал на носки. «Черт меня впутал, — подумал Корсаков, — в двадцатый год, черт меня впутал в танки и в это обещаньице... и в двадцать восьмой год!»

Кольт в руках Рентулича необыкновенно встревожил профессора Содмана. Он посмотрел на Павликова, ученого, как-никак работника академии, и подумалось ему: «Но ведь он не только бретер, но и вдобавок разбойник! Он заманил нас сюда, может быть, с целью выкупа... А сколько бы могла дать за меня советская власть выкупа? — раздумывал он. — Дала бы она сто тысяч или не дала? Если б провести соответствующую кампанию, то и сто тысяч могла бы дать!»

Ему стало стыдно глупых своих мыслей, и он обратился к Ульяне:

— Романтическая страна!..

— Глупая страна, — ответила она, — глупая и напыщенная, как всякая глупость! Вы посмотрите на это лицо, которое должно, видимо, олицетворять непреклонность и неустрашимость. Часы какие-то, а не лицо!

При всем своем неуважении к Павликову профессор Содман все же не мог согласиться с Ульяной. Да и она вряд ли искренне так думала, слишком весел был ее голос. Лицо Павликова было, правда, кругло и напоминало часы, но шрам и тонкие кривые брови, как ковыль, поднятый ветром, и желтая его гладкая кожа, и острый поворот скул, и темный неподвижный взгляд, и даже фарфоровый глаз его, — все это указывало на несомненную силу и целеустремленность.

Он проговорил высоким и гортанным своим голосом, обращаясь к профессору Содману:

— Извините, товарищи! Мне не хотелось ломать рамы, но рама дурно вставлена, сгнила, и вреда я ей не причинил. А через толпу баптистов мне по причинам, вполне понятным вам, идти не подобает.

— Вы считаете, Павликов, — спросил его со злостью Тавчавадзе, — что подобное вхождение ваше в дом нормально?

— Дом будет покинут завтра. А произойдет через неделю буря и вырвет дряхлые рамы. Кроме того, я оплачу вам, Сожа, все убытки! Вы уже беседовали с баптистами, Тавчавадзе?

Тавчавадзе сухо ответил:

— Вы чрезвычайно таинственно держали себя здесь, Павликов. Скопление кулаков возле этого дома весьма нежелательно. Я склонен бы вас обвинить, Павликов,

в производстве суматохи и в том, что вы нарушили тихий быт долины.

— Что мы слышим! Вы защищаете тихий быт долины, Тавчавадзе?

— Отнюдь!.. Но я, как командированный сюда в качестве нефтяного специалиста...

— В бурке своей вы сливаетесь с темнотой ночи, Тавчавадзе! Вы похожи на ножницы, дорогой оппонент, на ножницы, которые могут разрезать всяческие сомнения. Ваша шапка похожа на паровой молот...

Тавчавадзе снял шапку и положил на табурет бурку, которую он взял в руки, когда Павликов вскочил в окно.

Тавчавадзе происходил из семьи рабочих, сначала бывших пастухами, а затем работавших на заводах в Черном городе. Он прожил тяжелую и умную жизнь. Он сражался за Сибирь, за Яик, ранен был дутовцами, затем тридцати пяти лет вернулся в Москву, поступил на рабфак, а оттуда в университет. Он показал большое упорство и большие успехи. Тогда же он возлюбил живопись...

— Видите ли, — сказал он Павликову, полуоправдываясь, — вы, возможно, и правы, когда издеваетесь над моей специальностью. Конечно, я солдат революции, мне отпустили мало времени для учения...

— Я издеваюсь? Наоборот. Вы многое, очень многое знаете, Тавчавадзе!

— Но я думаю, и без особых знаний можно понять, Павликов, что у нас в СССР слишком много людей, которые, желая играть большую роль, чем им отведена, часто превышают свои полномочия и даже умственные способности.

— Согласен. И вот именно потому-то я и пришел сказать вам всю правду, даже если б правда эта грозила мне смертью. Именно смертью!

— Почему смертью, Павликов? Вы обязаны жить еще долго и плодотворно.

Павликов перешагнул через поднос с виноградом, взял Тавчавадзе за руку и подвел его к окну, в которое недавно выглядывал Цитовский и к которому подкатили баптисты бочку.

— Вы видите?

— Костер?

— Да, костер, арбы, коней, людей?

— Баптисты?

— Нет, виноградари, у которых могут отнять виноградники!

Павликов опустил рогожу.

— Виноградари не отдадут даром виноградников, и, кроме того, близка турецкая граница, Тавчавадзе.

Он возвратился к подносу.

— Именно смертью!

Тавчавадзе посмотрел на Еропку-механика, лысая голова которого блестела возле аппарата полевого телефона.

— Вы требуете от меня превышения моей роли, Павликов. Вы знаете, полевой телефон, так же как и телеграф, испорчен, и я не могу справиться о размерах своих полномочий в Тифлисе. Испорчен ли телефон, механик?

— Испорчен, — пропищал Еропка.

— Испорчено все, — отозвался Цитовский, исступленная гордость которого начала уже спадать.

Тавчавадзе накрылся шапкой.

— Он прав, — сказал он, указывая на Павликова.

Все молчали, и только Цитовский провизжал:

— Не понимаю, гражданин председатель, не понимаю ничего окончательно!

Тавчавадзе обратил к нему каменное свое с черной бородой лицо и подбородок свой, похожий на арбу. Цитовский смолк. Тавчавадзе продолжал:

— Он прав в том смысле, что я обязан превысить свои полномочия, пока не наступило утро, пока мы не создали здесь соответствующий актив и не произвели расслоения среди баптистов. Поступки его мы должны выяснить, хотя бы это выяснение, поистине, и грозило ему смертью.

— Именно! — подтвердил Павликов.

Томительная тоскливость овладела всеми присутствующими в комнате.

43

— Тем более необходимо такое решение, — сказал Павликов, — что нитроглицерин со склада нами взят не весь, и баптисты, овладев его остатками, могут поднять нас на воздух, соорудив приличную случаю мину. Знаний для этого не требуется. Да и у них, подозреваю я, имеются соответствующие инструктора.

Цитовский охнул, но охнул как-то всем телом. Пот полил с его лица. Даже глаза его и те побелели.

— Случаются же ужасные события, — добавил Павликов, ухмыляясь на него, — и в нашу ли эпоху, когда у нас имеются враги на всем земном шаре, — так же как и друзья, впрочем, — нам ли изумляться, милый Цитовский?

Ульяна заслонила Цитовского. Павликов отвернулся от нее. На ней была белая батистовая кофточка с низеньким воротничком, короткая юбка с карманами, и в руках она держала бечевку, которой недавно перетягивала какой-то узел со скарбом. Веселая отчаянность видна была на ее лице.

— Вы обмолвились или намекали, гражданин Павликов, — сказала она протяжно и громко, — что вы спасли нас от взрыва тем, что украли нитроглицерин, который будто бы опустили в скважину. Вы как бы совершили акт не преступления, а предвидения! Охромевший конь, благодаря которому мы не смогли отправить из долины нитроглицерин, дал вам возможность совершить завидный подвиг.

— Я не утверждаю своего геройства, — ответил ей ласково Павликов, — я не спорю с вами. Вам-то известно, сколь я уважаю женщин!

Ульяна воскликнула, указывая всем на него:

— Вам понятно, что он спасает свой мозг!.. Он уважает женщин!..

— Извините,— прервал ее Тавчавадзе, — я вижу необходимость ввести если не регламент, то порядок в прениях. Секретарь, товарищ Голиков, возьмет бумагу, а Павликов имеет слово. Вы не отрицаете факта, Павликов, что вами самовольно взят со склада взрывчатки нитроглицерин и так же самовольно опущен в скважину? — Тавчавадзе обернулся к предзавкома Ядко: — В которую скважину?

— В скважину номер три. Однако от имени...

Павликов прервал его:

— Виноват, но ваша речь, Ядко, от имени моих помощников или сообщников, как решит собрание, будет впереди. Взял ли я нитроглицерин? Я взял его, и, если б мне понадобилось еще, я бы еще взял. Избранный предзавкома...

— Завком ввиду ликвидационных намерений синдиката распущен уже три недели назад. Предзавкома,

и мастера, и рабочие давно уехали...— Сожа указал на папки.— Здесь, впрочем, все объяснено и обосновано.

Тавчавадзе поднял лохматую свою длань: тише, мол. Павликов продолжал:

— Сожа узнает в свое время, при каких обстоятельствах и почему мы решили избрать завком и предзавкома. Мы постараемся представить тому приличные объяснения. Важное и большое преступление и то, что я взял нитроглицерин и что испортил его. Да, я его испортил! Мало того!.. Миновало шесть часов с того момента, когда по нашим расчетам должен был произойти взрыв. Его нет... Я ждал внутренней теплоты, тех неуловимых геологических влияний на почву, которые могли оказывать происходящие обвалы. Я даже опускал самодельные ударные грузы! Но это мое преступление невелико по сравнению с тем, что я вам скажу сейчас. Всем вам известно, что, помимо виноградников и боязни за их судьбу, привлекло сюда баптистов. Умер сын Власова, Анисим. Баптисты вначале думали, что он умер от падения, но пьянчужка фельдшер, который живет на вашем винограднике, Лев Иванович, фельдшер этот сумел им доказать, что Анисим умер не от падения, а от злоумышления. Баптисты едва ли поверили б этому преступлению, если б новое событие на разведках не доказало им, что на разведках гнездо преступников... Моя сестра умерла. Они пришли узнать: кто из нас убил Анисима? Они правильно думают. Рана не такова, чтобы можно было решить, что человек расшибся. Он убит! Кто ж его мог убить? Вам горестно подумать и высказать свои соображения? Но не опасайтесь необходимости притворства, я сам скажу. Я его убил, граждане!

44

Волнение овладело Тавчавадзе. Он снял шапку, повертел ее в руках, опять надел.

— Учитываете ли, Павликов, то, что сказали?

— Я говорю вам это с полной ответственностью, Тавчавадзе.

Тавчавадзе горестно вздохнул.

— Вы совершили гигантски глупый поступок, Павликов. Я вынужден вас арестовать.

Павликов сел на подоконник, поставил себе на колени поднос с виноградом, попробовал. Лицо его было неподвижное и желтое.

— Арестовать меня? Неразумно, Тавчавадзе! Через пятнадцать минут сюда придут баптисты, которые уже услышали мой голос и которые теперь окружили уже весь дом, так как поняли, откуда я сюда явился. Они опасаются нашего побега. Баптисты потребуют объяснений — и убийцу. Лучше всего будет, если я выйду и переговорю с ними. Я бы мог переговорить с ними, не входя в этот дом, но тогда бы я не был уполномочен этим домом, и они, должным порядком воздействовав на меня, все-таки потребовали бы от вас объяснений. Вот почему я испортил раму, Ульяна Михайловна.

— Вам невозможно говорить с баптистами, — сказал Тавчавадзе.

— Почему?

— Свободно могут убить.

— А разве вам легче будет, если убьют и вас всех, и профессора Содмана, который оканчивает весьма важный труд?

— Да, мне необходимо закончить мой труд,— сказал с живостью профессор Содман.

Тавчавадзе поднял руку. Павликов продолжал:

— Видите ли, граждане. Главная и позорная моя ошибка, из-за которой могут погибнуть не только я, но и все вы... Кроме Ульяны Михайловны... Ошибка моя заключалась в том, что мне показалось, будто комиссия академии недостаточно внимательно учла те социальные моменты, которые необходимо учесть при рассмотрении варианта проекта Тбинской долины. Я не подозревал комиссию в сознательном вредительстве, нет! Просто синдикатское обследование долины производилось слишком неряшливо и непланомерно, — думал я...

— Да, это ваша ошибка, — сказал профессор Содман деликатно.

Вмешалась Ульяна:

— А вторая его ошибка, родство...

Тавчавадзе вознес руку. Павликов кивнул головой в сторону Ульяны.

— Вы намекаете на известную газетную вырезку, Ульяна Михайловна? Я про нее не забыл. Она будет оглашена, если нам позволит время... и баптисты. Так как для моего окончательного и важного признания

необходимо еще пятнадцать минут по крайней мере, то не сочтет ли председательствующий возможным направить Рентулича или Ульяну Михайловну, — баптисты их знают, — во двор с тем, чтобы они передали «волнующемуся народу», — он ухмыльнулся, — что перед ним через несколько минут выступят не только члены комиссии, но и тот человек, который им нужен.

— Это значит, что мы признали твои преступления, Павликов?

— Зачем? Человек, который им нужен, может быть инструктором по колхозам или что-либо похожее... А кто знает, через полчаса признаете ли вы меня виновным и признаете ли также желательным мое выступление перед баптистами? Не возражаете вы против кандидатуры Рентулича?

— Не возражаю, — ответил Тавчавадзе, и Рентулич, гулко и широко ступая, направился к баптистам.

Павликов снял с колен поднос, передал его Кате, потер колени, одернул тужурку свою цвета хаки.

— Простите, что я говорю перед вами сидя, но это не из презрения, а я устал и у меня, вы знаете уже, большое семейное горе. У меня икры дрожат... и несколько знобит. Итак, на чем же мы остановились? Да, баптисты. Я попрошу вас переждать, пока возвратится Рентулич, который огласит вам вторую и следующую из моих главных ошибок!..

Тавчавадзе спросил задумчиво:

— Вы так прямо и скажете баптистам, Павликов, что вы его?..

— А вы боитесь смерти, Тавчавадзе?

— Я?

— Понятно и мне и остальным, что вы хотите сказать, Тавчавадзе. Для нас важно, чтобы мы не пресмыкались ни перед собой, ни перед другими! Пресмыкающиеся — позор, самый отвратительный для нашего социалистического отечества, нравственной силой сынов которого должна восхищаться вся земля. И она восхищается, что бы ни говорили и ни писали о нас капиталисты! «Смерть», — подумали вы, Тавчавадзе. Важнее смерти, чтобы я не пресмыкался! А если меня шлепнут, хотя бы из обреза, к примеру, и в мое тело войдет кусок олова, свинца или гвоздя, и я упаду за год или за

десять лет ранее положенного мне наукой срока, и кости мои пойдут на удобрение виноградников долины Тба?.. Ну, шлепнут, так пусть шлепают. Мне бессмертия не нужно.

— Вы рассуждаете здорово, Павликов! Но скажите мне, для какого лешего вам понадобилось угробливать этого баптиста?

— Я все объясню, — сказал Павликов, весело взглянув на возвратившегося Рентулича. — Они обождут, Рентулич? Баптисты?

— Обождут.

Обыкновенно думают, что как людская ложь, так и людская правда заключается только в словах произнесенных и в поступках, сделанных людьми по тому или иному поводу. Убеждение это основано на том, что люди боятся сознаться, что они гораздо консервативнее и неподвижнее, чем это показывают они в жизни, так как они наиболее глубоко и остро воспринимают окружающих только тогда, когда эти окружающие подходят под тот или иной шаблон, под то или иное положение или фразы, которые восприняли люди с детства. Люди могут называть себя новыми, совершать новые и необыкновенные поступки, но искусный лоцман может вывести корабль их мыслей на прежнее, старое и вредное, отвратительное русло. Заставить людей понять и ощутить эту их самую вредную слабость более тяжело и сложно, чем пробурить Кавказский хребет.

В соответствии с этими мыслями Павликов и действовал. Он видел, что сейчас он не может вскрыть истинных причин поступков Сожи, вернее, он мог бы их вскрыть перед комиссией, но главным судьей и комиссии, и его, Павликова, и супротивника его Сожи были сейчас баптисты, те, которые бродили по двору, сидели на поломанных арбах, шмыгали возле окон. Они верили Ульяне, а значит, через нее и Соже, и его друзьям. Зачем же Павликову нужно было убедить всех присутствующих в своих злодеяниях? Он их так любил и так желал спасти от лишних оскорблений и, может быть, увечий? Да, он любил их. Он любил рабочих, которые бурили с ним и перевозили трубы. Он любил и уважал Рентулича, Тавчавадзе с бородой, похожей на весло, он даже к профессору Содману, такому сухому и важному в академии и такому растерянному здесь, чувствовал некоторую нежность. Пусть его оканчивает свой труд!

А помимо всего этого, он прекрасно знал, насколько несовершенна наука геологических разведок, сколько в ней случайного и как разведовательные партии часто работают втемную, обманывая и себя и других. Вот почему и Сангигупор, и сын его приемный Сангиглот все еще стояли на страже у бурильного станка буровой номер три.

Павликов обратился к Рентуличу:

— Не огласить ли ту вырезку, о которой говорила Ульяна Михайловна и которая приложена к вашему докладу, смелый друг наш?

— Оглашу, — ответил Рентулич.

Рентулич боязливо достал несколько все еще чистых тетрадей бумаги, на первой странице которых было четко написано «Доклад» и к полям прикреплена английской булавкой длинная измятая вырезка из какой-то старой провинциальной газеты. Он показал эту вырезку, прикрывая локтем белый лист. Ульяна кивнула головой: да, мол, вырезка та, о которой я намекала недавно. Рентулич начал торопливо читать:

— «В тысяча девятьсот четвертом году инженер Диопик, корреспондент английской газеты «Таймс», неожиданно в Лондоне опубликовал брошюру «Нефть подле Желтой скалы», где необыкновенно ярко расписывал нефтяные богатства долины Тба. Сообщение его немедленно перепечатали бакинские и тифлисские газеты. Нефть на границах Грузии и Армении!..»

Ульяна вставила нетерпеливо:

— Читаете вы плохо, Рентулич, боюсь, как бы вы не проглотили известную фамилию...

Павликов прервал ее:

— Он не проглотит. У него честная глотка, Ульяна Михайловна.

Он взял вырезку и, показывая ее Тавчавадзе, сказал:

— Комплект газеты, из которой я достал эту вырезку, принес мне букинист перед самым моим отъездом сюда. Я наверное смог бы предъявить и раньше эту газету вам, Тавчавадзе, но дело в том, что в комплекте, имеющемся в нашей научной библиотеке, эта статья вырвана. Ее заглавие имеется только в перечислении содержания номера на первой странице. Я попросил справку, кто за последние годы читал этот комплект. Его брал только один человек, и, к сожалению,

я должен назвать вас, Ульяна Михайловна. Но, кто знает, может быть, причины вашего поступка извинительны.

— Вы сами знаете, что они извинительны,— ответила Ульяна. — Читайте, Рентулич, дальше.

45

На дворе шумно заговорили. В комнату вошли трое мужиков, те, которые были недавно здесь. Власов степенно сообщил, что «сидеть народу во дворе скучно и недостойно. Если землемеры назначили собрание, то пора его открыть! Да и кроме того, — сообщил он, — курды тоже подошли, а они племя слепое, поняли, что округа тревожится, ну, как бы грабительские их души не поднялись к оружию! Пора открывать сход, землемеры, пора!»

— Курды? — спросил Тавчавадзе. — Какое отношение имеют курды к нефти и вообще нельзя ли пригласить сюда представителей курдов? Я объяснился бы с ними.

— Представители придут, зачем им не прийти, — со злостью ответил Власов.

И мужики, низко поклонившись, вышли. Павликов указал на их следы:

— О курдах вам наврали, Тавчавадзе. Баптисты наливаются злостью и имеют желание в случае эксцессов свалить ответственность на курдов. Поспешим с выяснением нашего дела. Читайте, Рентулич!

— «Участки в долине Тба, — читал Рентулич, — покупались нарасхват. И так как долина Тба принадлежала известному на Кавказе своими спекулянтскими проделками мелкому нефтепромышленнику, господину Павликову, то этот нефтепромышленник нажил большое состояние. Поиски же нефти оказались безрезультатными».

— Дальше тут насчет того, как пробовали судить этого Д. Павликова... читать?

— Достаточно, — сказала Ульяна, — вам ясно, граждане?

Профессор Содман прискорбно покачал головой:

— Весьма уничтожительный факт для репутации научного работника. Гораздо было бы удобнее, если бы

вы достали эту вырезку раньше, коллега Павликов. Он родственник вам, этот нефтепромышленник, я так понимаю?

Павликов пожал плечами и промолчал. Затем он взял кисть винограда и нежно подал эту кисть Кате. Катя испуганно взяла виноградину в рот — и выплюнула. Он был кисел, он испортился, этот виноград, и, помимо этого, она не знала, что и думать о Павликове. «Не напрасно он умалчивал о своем отце, — промелькнуло у нее в голове, — не напрасно он был такой скрытный!» И ей еще больше, чем раньше, стало жалко и его, и себя, и всех окружающих.

Сожа тоже с жалостью, но с особой, озлобленной жалостью смотрел на Павликова. Он думал: «Как же это он раньше не догадался, почему Павликов стремился в долину? Недогадку эту можно объяснить только его, Сожиным, благородством! Теперь ясно всякому, что Павликов желал здесь нажить советский капитал, подобно тому как его родственник уже нажил здесь капитал императорский. А теперь, когда Ульяна раскусила все его поступки, он сознает необходимым сказать, что он убил баптиста Анисима, для того чтобы «колония» защитила его от гнева виноградарей. Павликов будет еще унижаться и не так». Бодрость и свежесть прошла по телу Сожи, и он с некоторым соболезнованием высказал свои мысли:

— Мне ни в коем случае не хочется обвинять Павликова в том, что он из личных соображений проводил кампанию за то, чтобы председательствовать в этой комиссии, которая так любезно согласилась спуститься к нам. Что касается убийства баптиста, то он объяснил нам свои мотивы, и вопрос о ликвидации или продолжении разведок, я полагаю, закончится быстро и к полному нашему удовлетворению.

— Ликвидация! — подходя к столу, промычал профессор Содман. — Моя книга «Кавказские нефтяные местонахождения» права и всегда будет права! Я не говорю, что я написал бессмертную книгу, подобно...

— Извините, — прервал его Тавчавадзе вежливо и ласково. — Вы закончили свою речь, Сожа?

— Но поступки Павликова внушают нам дурные мысли. Я приведу вам яркие примеры явной его неграмотности в нефтяном деле. Он опустил нитроглицерин в скважину ранее, чем узнал, есть ли ударные грузы для

производства взрыва. Он ввел рабочих в заблуждение, сказав, что нитроглицерин взорвется от внутренней теплоты, но до присутствия этой внутренней теплоты он не добурил еще ста метров! Поступок этот можно объяснить только демагогическими целями.

Павликов наклонил голову:

— Я согласен с вами, Сожа! А как вы полагаете, профессор Содман?

— Я полагаю, гражданин Павликов, что книга моя опять права, так как там утверждается, что в районе Тбинских гор необходимая внутренняя теплота появляется на глубине не менее девятисот метров. А пробурили сколько? Восемьсот, Сожа?

— Восемьсот, так точно.

46

Павликов подошел к окну, которое выходило на двор, и снял рогожу. Явственнее донеслись в комнату шум и споры. Виноградари бродили по двору, перекликались, собирались в кучи, расходились. Сколько их было? Могло быть и двадцать человек, могло быть и пятьсот.

— Невозможно не разделять негодования, выявившегося на ваших лицах, граждане, — сказал Павликов, глядя в окно, — поступок и преступление мои отвратительны. Повторяю: да, я велел сломать замки у склада взрывчатки; да, я не учел гениального утверждения профессора Содмана и спустил нитроглицерин, надеясь на внутреннюю теплоту на глубине восьмисот метров. Улики все налицо. Я виноват!

Он отвернулся от окна и направил темный глаз свой на предзавкома Ядко, который смущенно щипал длинные седые свои усы.

— Да, я виноват, Ядко! Я скрыл газетную вырезку. Спекулянт нефтяной Д. Павликов — мой ближайший родственник. Сергей — расшифровка первой моей инициалы, Дмитриевич — вторая... А у него первая — Д... Для полного успеха остается только сказать, что спекулянта звали Дмитрием. Я виноват, но из всех моих вин самая большая вина перед вами, товарищи бурильные... Многие из вас участвовали вместе со мной на одних и тех же фронтах гражданской войны. Многие из

вас слышали имя Сережи Маленького. А теперь я безумно глупо заставлял вас растрачивать свои силы, лучшие силы рабочего класса! Я уговорил вас остаться здесь, хотя вы больны малярией, плохо питаетесь и теперь вам угрожает расправа баптистов. Я вас заставил потерять здесь не только здоровье...

Ядко возмущенно вскинул усы:

— Что нам здоровье!

Рубнис подтвердил:

— Нам плевать на здоровье, нам перед лицом идеи важнее встать!

Павликов кивнул головой:

— ...не только ваше здоровье, но здесь страдали и ваши семьи, так как в сундучках, из которых вы отдали мне последний свой скарб, чтобы перевезти сюда трубы, остались письма с вашей родины, из деревень. Вы дали мне возможность ознакомиться с этими письмами, так как я интересовался или делал вид, что люблю ваш быт.

47

Сожа с тревожной враждой наблюдал за Павликовым. Бодрость уже начала покидать Сожу. Он понял, что Павликов прервал его речь и его мысли и вторгся во внимание собравшихся. Собравшиеся относятся к нему враждебно, но жаждут выслушать его... И рогожу он скинул с окна затем, чтобы на дворе было видно, что он, Павликов, никого не боится и встал к свету, чтобы если вздумают стрелять в него, то могли бы верней целиться. Появление покрытого конопатой бледностью Богдана Власова подтвердило Сожины сомнения: Павликов нагло и свирепо махнул Богдану рукой, и тот испуганно скрылся, так и не сказав причин своего появления! Павликов уже завладел большинством собравшихся. Он говорил резко, отчетливо, махая рукой своей, как маятником, — и даже Ульяна и та не могла найти сил оборвать его речь, скомкать и унизить ее. Страшно стало Соже.

— Что же я прочел в этих письмах, товарищи и граждане? — звенел Павликов. — Не будем закрывать глаза перед страданиями. Матери пишут отцам: дети в деревне сидят за пустым столом в пустой избе, из которой

все продано на пропитание. Сломанная крынка с водой, в которой размочен последний гнилой сухарь, стоит перед ними. Сизые жадные мухи реют над столом и липнут к голодной слюне, которую испускает мать, потому что она отдала последний этот сухарь ребятам и сама согласилась умереть. Трудно не возгореть любовью к отцу, который, преодолевая болезни и страдания свои, стоит на скале, поедаемый сухим солнцем долины,— и бурит, бурит... ради детей и будущего!..

Слова эти сокрушили сердце Тавчавадзе. Он встал, подошел к окну, погрозил в темноту пальцем, шумящая темнота точно утихла на некоторое время.

— Вы красиво видите жизнь, Павликов,— сказал Тавчавадзе, возвращаясь к столу.— Они нас могут убить, но мы и мертвые свершим наше правосудие над врагами рабочего класса! Я продлил вашу речь, Павликов!

— Уже дети от голода даже не могут плакать. Они уже черны почти, как те деревянные кресты, которые скоро встанут на их могилах. Мать пишет: «Мы ждем еще немного, отец!» Они ждут. Они надеются. И как им не надеяться, когда разведками руководит высокоуважаемый инженер Сожа, автор известных воспоминаний о гражданской войне, о подвигах танкистов. Он отлично чувствует людей и природу. Вышку номер три, снабженную самыми лучшими американскими бурильными станками, он поставил возле Желтой скалы, где романтические развалины средневекового армянского замка, и где подле его дом, и в доме его любимая жена, хотя правильнее было бы воздвигнуть вышку номер три подле его виноградника. Но здесь природа поэтичнее!.. А как же он относится к людям, к тому классу, который взял его к себе на работу? Никто не посмеет сказать, что он дурно относится!.. Но все же...

Ульяна громко прошептала Соже: «Почему ты отдал ему слово, Сожа?» Сожа и сам не знал почему. Он ответил ей: «Я сейчас...» Но Павликов уже гремел над его головой:

— Но все же рабочие спят вповалку в грязном и отвратительном тряпье на сыром полу духана, потому что Сожа весьма искусно смог употребить ассигнованные синдикатом квартирные суммы на иные, более ему необходимые, нужды. Почитайте, Тавчавадзе, повнимательнее его отчеты. Мало того, он под подлыми и гад-

кими предлогами, которые я не могу назвать, задерживал заработанные деньги... Но это, конечно, мелочь, как мелочь и то, что малярийные туманы желтой ватой окутывают духан, давно покинутый его коренными обитателями, изгнанными оттуда болезнями. Но однажды — как не восхищаться его человеколюбием — однажды вечером спустился в духан инженер и в целях культурно-просветительной работы прочел больным людям отрывки из своих воспоминаний на польском фронте...

— Не вам говорить о подвигах на польском фронте, — взвизгнул Цитовский.

— Мы еще вас поясним! — подхватил Корсаков.

Павликов поклонился им.

— А, Корсаков, Цитовский, сподвижники, герои! Справлялся я о вас, тоже справлялся! Не тебя ли, Цитовский, уже пять лет как выгнали из партии, а ты и по сие время разъезжаешь по Союзу, потрясая остатками партийных фраз и бумажками полуистлевших удостоверений? И не ты ли, Корсаков, уже два раза «печатал» в Угрозыске пальцы за растраты, подлоги и кражи? Вы имеете возразить? Председатель, они просят слова?

Тавчавадзе посмотрел на них.

— Нет, они не просят слова, — сказал он, — продолжайте, Павликов.

— Самовольно распоряжаться, вопреки решению академии и представителей Нефтесиндиката, быть виновником смерти сестры, подвергнуть рабочих несчастью дальнейшего пребывания в долине, убить Анисима Власова... Совершили б вы подобные поступки, Тавчавадзе?

— Никогда.

— Подобный поступок достоин названия измены социалистическому отечеству?

— Да.

— И вы, профессор Содман, ни при каких обстоятельствах не совершили бы подобного проступка?

— Ни при каких, гражданин.

— Вы раскаиваетесь, Павликов? — спросил Тавчавадзе.

— Если б мне суждено было прожить второй раз мою жизнь, то я и второй раз повторил бы то же самое! Я потерял здесь друзей... — Он взглянул на Катю и ска-

зал твердо: — Я потерял жену. У меня умерла сестра. — Он приподнялся на цыпочки, одернул тужурку свою. — И я прошу дать мне возможность первым выступить перед баптистами, с тем чтобы объяснить им, как и почему я убил их собрата!

48

Чтобы пополнить знание того, что испытал в этот вечер Рентулич, обратимся к тем думам, которые владели им. Более чем когда-либо, он сейчас именно не верил Павликову в том, что тот убил баптиста. Не верил Рентулич не оттого, что он любил жену своего командира, и, возвышая его, он как бы мог умалить свою вину, а не верил он потому, что сознаться в своем преступлении Павликов счел необходимым именно сейчас, когда и двор и сени наполнены баптистами, прислушивающимися к его голосу. Сомнения Рентулича усилились после неосторожного сообщения Павликова, что нитроглицерин взят не целиком и что баптисты могут его подвести под дом. Рентулич сам ломал замок, сам проверял, весь ли перенесли нитроглицерин: он был перенесен весь, без остатка! Павликов опять так же, как и в польскую войну, спасает всех и так же, как и тогда, никто не оценивает этого, никто не замечает, и лишь один Тавчавадзе следит за внутренним смыслом всего происходящего, но и Тавчавадзе может ошибиться и понять не так, как это есть на самом деле. Рентулич мучительно позавидовал сосредоточенности и целеустремленности Павликова, позавидовал удачной мысли объявить себя убийцей баптиста. Рентулич сам желал бы объявить себя убийцей, но он сознавал, что слова его могли бы теперь вызвать только смех и еще большую путаницу.

Но бывшие подчиненные вновь готовы предать Павликова, и вновь, как восемь лет назад, беспокойно смотрит Сожа, и это торжествующее беспокойство и наглость, которыми был сейчас наполнен Сожа, окончательно убедили Рентулича в правильности его мыслей и предположений.

— Как же, как же, — подбежал Сожа к столу, за которым сидел Тавчавадзе, — как же вы не вручили Павликову телеграмму? Прочитайте ее. Может быть,

она говорит о новых, еще более жутких преступлениях. Я требую огласить телеграмму, — почти воплем закончил он свое обращение.

Сожа замолк. Рентулич смотрел на него ленивым и задумчивым взглядом. Нечто новое и тревожное увидал Сожа в этом взгляде, но тревожность эту он приписал своей ошибке: не вовремя он напомнил Тавчавадзе о телеграмме и не вовремя он оскорбил Павликова. Оскорбление звучало как издевательство! Оскорбление это звучало как торжество! И движение Рентулича, враскачку подошедшего к Соже, несомненно, было вызвано этим торжественным возгласом.

— Ты бы не мешался, Рентулич, — пробормотал Сожа, глядя с отчаянием, как Тавчавадзе достал телеграфный тщательно запечатанный бланк.

Сожа подумал: «Еще не поздно вырвать этот дурацкий бланк с дурацким подделанным сообщением, против которого он не смог бороться и вовремя порвать, спрятать его, не допускать до Павликова. Пусть Павликов выйдет к баптистам, пусть он попробует с ними поговорить, и тогда проверим — выдержит ли его мозг баптистские колья и кулаки!»

Но отступать было уже поздно. Рентулич с руками, заложенными за спину, и со светлой бородой, похожей на кусок смолы, бородой вздыбленной и как бы пылающей, Рентулич стоял перед ним.

— Подробно рассмотри и разбери свои слова, — сказал он сурово.

— Не выступай, Мотя, беспорядочно! — устремляя к нему свои руки, смущенно остановил его Сожа.

Рентулич вздохнул горько:

— Надеюсь, председатель не возразит против моих слов, если я сознаюсь тоже, что имею отношение к смерти Анисима.

— Продолжайте, — сказал Тавчавадзе.

Рентулич указал на кольт свой, который лежал подле подноса с виноградом.

— Товарищи, друзья! Мне было тяжело много и много дней. Я голодал. Помимо этого, всеми способами я пил водку. Я, ужасаясь самому себе, бродил босой по России, так как спешился, отстал от масс, которые скачут вперед к светлому будущему, — но не будем вдаваться в подробности. Много раз мне предлагали продать мой кольт! Но я его не продал. Вспомните, граждане

из команды, как командир у танка в достопамятный день велел мне передать кольт Соже. Я отказался его передать. А теперь я сознаюсь, что был неправ. Что же теперь предлагает своему командиру Сожа и что он говорит? Мне совестно, и мне невозможно повторять его слова, так как слова эти Сожа имеет полное право обратить против себя. Что же, я ругань предлагаю? Нет, товарищи. Я хочу видеть ваше подтверждение моей мысли, я передаю сейчас кольт этот Соже, с той целью, чтобы он вышел немедленно в соседнюю комнату и применил его сообразно нашим принципам! Я сказал все.

Он повернулся к бурильщикам:

— Все кончено, ему нужно не больше, чем один патрон, а после мы возьмем у него кольт для самообороны. Не получить тебе от нас, Сожа, Павликова! Как бы ты ни клеветал!

— Не получить, — подтвердил Ядко.

И все остальные бурильные подтвердили, что не получить.

— В этом отношении вам виднее, — сказал Тавчавадзе рабочим, — но точно ли Сожа более подл... я буду откровенен... чем, с известной минуты, можно считать Павликова?

Павликов ухмыльнулся косой своей ухмылкой.

— То, что я имел возможность говорить с вами у окна, Тавчавадзе, доказывает, что баптисты еще не потеряли терпения. А значит, у нас есть время обсудить вопрос о том, имеет ли Сожа большее право на «принцип», чем я. Спросите рабочих, Тавчавадзе.

— Но вы ловкой своей речью расположили их сердца в свою пользу, Павликов. Вы всегда плохо знали искусство, дурно отзывались об отличных художниках, но логика и психология вам известны.

Рептулич спросил у Ядко:

— Был ли Сожа первопричиной всех безобразий в Тбинской долине?

— Был, — ответил Ядко.

— Заслужил ли он право на передачу ему кольта?

— Заслужил.

— Кто возражает? Баптисты на дворе и те не возражают.

Рентулич медленно взял поднос, ссыпал с него виноград на стол, стер влагу рукавом рубахи и положил на середину подноса кольт.

Тавчавадзе кинул телеграмму на стол. Сожа быстро подошел и взял телеграмму, но поступок этот, желание уничтожить подлую выдумку, на которую он согласился, не успокоил его. Ульяна наблюдала за ним, но ее превосходство, бывшее ему раньше заметным и приятным, теперь вдруг испарилось. Ульяна показалась ему глупой и пустой. Вот она сидит у дверей, как бы приготовляясь к бегству, сидит, выпятив пухлые свои губы и беззвучно смеясь, как всегда она смеется в совершенно неподходящих случаях. Он желал бы кинуть сейчас перед всеми, а перед Ульяной в особенности, такие же отличные и веские слова, какие только что говорил Мотька и каких Ульяна не могла найти, — но он не находил в себе ни слов, ни, главное, решимости произнести эти слова. Он мял телеграмму. Он перехватил взгляд Ульяны — смеющийся, всепонимающий и, кажется, издевательский, и этот взгляд еще более расслабил его!

— Руки бы вымыть, что ли, — сказал он тихо таким голосом, что всем в комнате стало и противно и горько.

Рентулич опять стоял над ним: грозный, огромный, с деревянным высокобортным подносом в руках. Отполированный кусок отвратительной стали блестел на подносе.

— Возьми кольт, Сожа! В нем один патрон.

49

Сожа кинул на поднос смятую телеграмму. Ему подумалось, что как бы хорошо было, если б в комнате рассмеялись над его поступком, таким ребяческим и смешным. Но никто не улыбнулся. Сожа отскочил на шаг назад.

— Весьма странно, что вы все зло перекидываете на меня. Зачем мне кольт, Мотя?

Он попробовал оттолкнуть Рентулича, чтобы увидать лица рабочих, но увидал Корсакова и Цитовского, испуганно прижавшихся друг к другу под столом. Разглядев их лица, Сожа ощутил, насколько тяжело и насколько страшно его положение. Вязкая тяжесть спустилась в его ноги.

— Мне не нужно кольта, товарищи! Я устал от оружия и крови. Я могу...

Что мог он? Он сам меньше, чем кто-либо, знал, что он может сейчас сделать. Он может взять кольт и вернуть его Моте Рентуличу, отличному товарищу и верному своему другу, и сказать: «Не шути, Мотя, вложи туда все патроны». И тогда ему подумалось, что Павликов никогда не убивал баптиста и придумал и проделал всю эту канитель для того, чтобы изловить его, Сожу. А Сожа поддался! Глупый Сожа!.. Он поверил и стал браниться и совать командиру поддельную телеграмму. Вся слабость в нем из-за этой детской выдумки с телеграммой. Ну, какая телеграмма, когда всем известно, что провода повреждены и уже двое суток возится Еропка-механик и никак не может наладить сообщение хотя бы с пиком.

Комната показалась ему необычайно милой и простодушной. Есть большая прелесть в слабо ведомом хозяйстве, и приятно покидать дом, который ты плохо держал. Приятно видеть возле стола связанные узлы, крепко-накрепко перетянутые новой веревкой. Из этого дома он пытался шутить с революцией, идти каким-то своим, выдуманным путем от нее. И вот он пойман. Но ведь поступок его был не подл, а просто глуп, глуп, глуп! Именно глуп!! Ибо кто будет ослушником законов революции? Он опять взглянул на скомканную телеграмму. Как она далека от него, эта выдумка, которая еще три-четыре часа назад казалась ему необыкновенно ловкой, блестящей и новой. А ведь достаточно Еропке-механику сказать, что никакой телеграммы он не получал, — и как будет стыдно Соже, как стыдно.

Сожа решился.

— Товарищи, я могу... Если я в чем-либо преувеличивал, товарищи, то я могу взять свои слова обратно. Да, я написал неправильные воспоминания... но всякий, кто пытался вспоминать, тот каждый раз обманывался. Это понять легко! Прошло много: восемь лет, я запамятовал, перепутал... здесь я виноват, товарищи, действительно. Но я ли один? Во многих моих заблуждениях виновата также и Ульяна... началось мое заблуждение с того, что она стала утверждать, основываясь на газетной вырезке, что Павликов — родственник нефтяного спекулянта, пытается...

Павликов направился к столу и потрогал груду винограда:

— Извините, глубокоуважаемый, но утверждение Ульяны Михайловны чрезвычайно наивно...— Он положил руку на виноград.— Сегодня днем друзья мои пытались направиться на ваш виноградник, Сожа, с тем чтобы раскопать там колодец... нефтяной колодец. Если бы я их не остановил, кто знает, возможно, что мы сейчас вместо этого винограда смогли бы поставить на стол бутыль с нефтью.

Он положил кисть винограда рядом с кольтом на поднос. Рентулич по-прежнему стоял неподвижно. Павликов ухмыльнулся.

— Но разве мы этой бутылью убедили бы комиссию, что нефть долины имеет практическое промышленное значение? Нет. Здесь должен ударить фонтан, и фонтан емкостью не менее десяти тысяч тонн в сутки, и на основании моих предположений и догадок я утверждаю, что фонтан этот ударит, может быть, и после того как меня не будет в живых! Что же касается моей фамилии, глубокоуважаемый, то надо сознаться, что Ульяна Михайловна собирала неудачные вырезки по истории долины Тба. Павликов суть мой литературный псевдоним.— Он пояснил предзавкому Ядко:— Павликов — мое прозвище. Им я подписывал статьи свои еще в довоенное время, к нему привыкли, и мне как-то не хотелось менять.

Ульяну злили тоскливые глаза Сожи, ползущая по всему его лицу жалкая улыбочка и то, что все уже забыли о преступлении Павликова и заняты чем-то другим... Все, что она придумала, оказалось пустым и брошенным, как тот телеграфный бланк, который лежал на подносе рядом с кольтом и над которым стремительно неслась светлая борода Рентулича. Ульяна резко сказала:

— Да врете вы, Павликов!

— Вот и Тавчавадзе знает мою настоящую фамилию.

Тавчавадзе не слышал его, так как телефон, подле которого возился Еропка-механик, начал издавать какие-то весьма странные звуки, похожие то на писк мышей, то на звук разрываемой бумаги. Тавчавадзе жа-

ждал телефона, связи с внешним миром... Однако он повернулся в сторону Павликова:

— Извините, как вы сказали, Павликов?

— Я говорю им, Тавчавадзе, что вы знаете мою настоящую фамилию и мою национальность.

Тавчавадзе взмахнул руками:

— Нашли время справляться о псевдонимах! Да, я знаю, Тасан-Мукатай, твою настоящую фамилию и твою хорошую семью, но скажи мне, пожалуйста, почему же ты не объяснишь, зачем ты ухлопал баптиста! Какие чувства руководили тобой, какие мысли?

— Я объясню.

50

Два дня и две ночи бессменно стояли мастер Сангигупор и приемный сын его Сангиглот возле бурильного станка на вышке номер три. Они доблестно старались уловить думы недр. Но недра безмолвствовали! Ночь спустилась на вышку. Длинные и как бы волосатые тучи стремительным и легким дождем пронеслись над землей. Мимо вышки, к дому Сожи, группами проходили баптисты, тихо и благочестиво разговаривая. Баптисты с того времени, как он узнал, что не получит от них проводников, мало интересовали мастера Сангигупора. Его куда больше интересовали недра. Недра не отвечали ему. Давно уже в недра сбросили самодельные ударные грузы, но взрыва не последовало. Давно прошли сроки для самовзрыва, но тут мастер думал так же, как и Genosse Павликов: человеку далеко еще не все ясно в природе, и существуют различные возможности, а кроме того, Сангигупор обладал лучшей возможностью, чем Павликов: ему, мастеру, некуда торопиться.

— Ты бы соснул, — сказал он сыну. Сангиглот прислонился к лесенке возле станка и задремал.

Сангигупор нежно глядел на него и думал:

«Никак нельзя поверить, чтобы Павликов был невеждой и глупцом и потому совершил все то, что уже приближается к своему законному концу. Не может быть, чтобы так позорно провалилось то, ради чего горели и мастера и рабочие. Сколько лет прошло с того случая (почти с гражданской войны), как он мог говорить с рабочими так задушевно, как он говорит и понимает их сейчас? К нему почти вернулась его моло-

дость. Как они вспоминали! Что они вспоминали вчера и сегодня у этого станка! Они много хорошего узнали друг от друга. Узнали, что у Ядко молодая жена и он скрывает, что понемножечку ревнует ее; что у Карабевицкого отличный в хозяйстве жеребчик, от которого он ждет быстрого хода и чести для республики, и что вообще в Тамбовской губернии, откуда он родом, большие любители есть конного спорта, и по этому поводу Мотька Рентулич, удивительный еврей из Винницы, сообщил уйму новых сведений и анекдотов; что Рубнис мечтает найти такую любопытную книгу по всем вопросам, которую он мог бы читать целый год не отрываясь, — и ему пообещали найти или указать с точностью таковую книжку; что у Смолищенко грыжа, но он надеется вылечиться, потому что сейчас рабочих лечат по-настоящему, он может отправиться, если пожелает, в санаторий... вообще все они отличные и простые ребята, которые уверены, что из этой страны, которая воистину принадлежит им, они смогут соорудить нечто такое замечательное, что вся буржуазия планеты сдохнет от злости и зависти! Они покажут, как нужно по-настоящему применять богатства земных недр и богатства человеческого ума!»

Вот почему мастер Сангигупор отказался идти на заседание в дом, а предпочел слушать недра.

Он жег трубку за трубкой. Сын его уже глубоко спал. От дома Сожи доносились крики и шум. «Заседают так, как будто любовь творят», — подумал Сангигупор. Ему хотелось спать. Он, с трудом превозмогая себя, курил и курил. Вдруг его легонько кольнуло в сердце. Он узнал его. Этот окаянный и веселый шум постоянно раньше, чем в ушах, отражается в сердце. Неопытный человек сразу бы решил, что это обвал. Сангигупор решительно подошел к станку и положил на него руку, станок вздрагивал еле уловимо. Сангигупор тоже вздрогнул и положил обе руки. Гул рос. Сангиглот проснулся.

— Опять обвал? — спросил он.

Сангигупор ждал такого вопроса. Он захохотал. Хохотал он громко, долго, весело и нежно:

— Ха-ха-ха!.. Зачем нам обвал... Ха-ха-ха!..

— Нефть?!

Сангигупор хохотал и не мог остановиться. Слезы текли у него по лицу.

— Ха-ха-ха... Ты угадал, мой Knabe! Ты так замечательно мыслишь! Но вот теперь и мой брат, надеюсь, простит меня и не будет мне сниться лишний раз. Я запоздал в Верхнюю Силезию, но из-за чего я запоздал? Он будет доволен, так как все бывает, все случается, а тем более случается удивительное в такое время, как сейчас у нас.

51

Серенький комочек телеграммы смешно вздрагивал рядом с кольтом на подносе.

— Мы забыли про телеграмму, — воскликнул Павликов. — Сожа угрожал мне телеграммой?

Он быстро подскочил к подносу и схватил бумажку.

— Из Тифлиса? Срочная?

Он устремился к Кате.

— Ты хочешь сказать, Катя, что это могут быть дурные вести от мамы? Верю, верю.

Он поравнялся с Ульяной:

— Я не огорчу вас, Ульяна Михайловна. Я не доставлю вам тяжелого зрелища моего огорчения...

Он уткнулся в Сожу.

— Сожа! Я прочту телеграмму позже. Для меня специальность и моя обязанность на первом месте!

Он усмехнулся и сунул телеграмму в карман своей тужурки.

Если бы даже не забренчал телефонный аппаратик шипящим своим звуком, если бы даже Тавчавадзе не взял трубку и не спросил: «Ало, пик?», все равно Сожа, отлично понимая, что до Тифлиса добрые три сотни верст и по телефону можно только говорить не дальше, как с шоссейной сторожкой возле пика Али-Магом, все равно Соже показалось бы, что Тавчавадзе спрашивает о решении судьбы его, Сожи, в Тифлисе; все равно подумал бы он, что Павликов отлично раскусил историю с телеграммой.

— Граждане, выслушайте мою историю, граждане! — воскликнул он отчаянно.

— Да возьми ты себя в руки, Сожа, — сказала Ульяна и с утомлением и с презрением. — Ты трясешься, и губы у тебя отвисли.

Рентулич заслонял Павликова. Сожа попытался оттолкнуть Рентулича. Тот стоял неколебимо, и деревянный поднос с высокими бортами и в зеленых завитушках как бы расширялся, как бы цвел в его руках.

— Мы виноваты, пожалуй! Мы запутались! — кричал Сожа.

Павликов радостно подскочил к столу и локтем подтолкнул Тавчавадзе.

— Помилуйте, в чем же вы запутались, Сожа? — поспешно спросил Тавчавадзе.

— Мы виноваты, — повторил Сожа.

Цитовский пискнул под столом:

— Да-с, влипли!

Корсаков подхватил:

— Он виноват. А кто же, если не он, виноват? Вот когда наконец общественность разглядела тебя, Сожа!

— Хо-орош, хо-орош! — повизгивал со сладострастием Цитовский.

Если Сожа и его жена внушали Павликову омерзение, ненависть, злость, то к Цитовскому и Корсакову он всегда относился как к утомительным и мелким жуликам. Павликов сделал пальцем в воздухе полукруг, и Ядко понял его. Он кратко, кулаком предложил Цитовскому и Корсакову уйти в соседнюю комнату. Они прошли мимо Сожи, как смогли, негодующе и, как смогли, прямо. И по-прежнему Корсаков походил на голубя, а Цитовский на воробья.

— Они, видишь, предали меня, Ульяна, — сказал Сожа.

Цитовский обернулся.

— Мы его предали? Хвастун, писатель!

— Доносчик, следопыт, циник! — закончил Корсаков.

Рентулич шагнул на шаг ближе к Соже:

— Я прошу тебя принять мой подарок, Лев Иванович!

Сожа покачал головой:

— Я не думаю, что ты с кем-нибудь в сговоре, Мотя. Я знаю, что ты поступаешь от чистого сердца, но я не могу взять твой кольт.

— Возьмешь!

Сожа отступил еще назад.

— Мы каемся, товарищи, — проговорил он тускло и быстро, — но примите во внимание, что здесь пустыня

и что мы были всегда и во всем одиноки. Я заблуждался, граждане. Я не скрываю. Я поверил сам в верность и других заставил поверить.

Он вдруг грохнулся на колени:

— Я ослабел, граждане!

Он действительно ослабел. Это было всем видно, и только разозленный Рентулич, сорвавшись с места, не зная, как можно разговаривать с человеком, который стоит на коленях, носился вокруг него большими шагами, держа поднос свой под мышкой и кольт за поясом. Сожа оперся о пол руками, ботинки его, тупоносые и со сношенными каблуками, стучали мелко, и особенно неприятно было смотреть на протертые его подошвы. Он бормотал исступленно, при каждом слове далеко втягивая в рот губы, и как будто какое-то неуловимое наслаждение испытывал от своего бормотанья.

— Я открою все, как не открывал ни матери, ни жене, никому... Я не раскаиваюсь, но я сознаю, что я глуп, потому что не понимал законов революции. А вы обратили внимание, какие мы глупости натворили? Обратили? Могут ли люди в ином, не ослабевшем состоянии их мозга предаваться тому, чему мы предались. Мною руководил рок. Вы мне можете не верить, но ведь и я никому не верю, и мне никто не верит...

— Я до сего времени верю тебе, Сожа,— сказала ему Ульяна,— ты просто устал, и усталость свою ты воспринимаешь как несчастье. Последние ночи ты плохо спал. Поднимись, Левушка-а!..

Он не слышал и не смотрел на нее. Рентулич подвинул к нему грязный табурет с широкой трещиной на одной из ножек, трещиной, почему-то замазанной известкой. На кончик табурета Рентулич положил кольт. Рентулич дотрагивался непрестанно до плеча Сожи и повторял:

— И я верю в твою совесть, Сожа! Встань, возьми кольт и сделай себе честный конец.

Но и его Сожа, должно быть, не видал. Ерзая всем телом, мотаясь руками, он гонялся своим мокрым и вялым лицом за темным и неподвижным глазом Павликова. Павликов внимательно смотрел в окно. Ульяна

поняла, что Сожа не возьмет кольта и Рентулич не осмелится применить насилие.

— Встань, Лев,— сказала она,— встань и обороняй меня, если не в состоянии оборонить себя. Вставай, га-адина-а!..

Но и здесь не услышал и не понял ее Сожа. Он обратил лицо свое к Тавчавадзе,— тот уткнулся в папку. Он кинулся к Содману,— тот с испугом подумал, что не его ли собственное лицо смотрит на него, и зажмурил глаза знаменитый профессор и горько пожалел, что спустился в эту сумасшедшую долину.

Сожа взывал:

— Вы ободряете Рентулича на зверские поступки, командир! Он убьет меня, когда вам прямая выгода, чтобы я сказал все. Командир! Профессор! Отойдите от окна, незачем баптистам вас убивать. Я знаю, кто кончил Анисима. Богдан Власов его! — Сожа, качаясь, подбежал к окну, кулаком выбил стекло и крикнул во двор: — Власов, старый Власов! Богдан твоего сына убил. Спроси Богдана!

После короткого молчания:

— Я-то уж спрошу! — послышалось со двора.

Сожа вяло присел на подоконник.

— Видите, командир, я искренне каюсь! Я все расскажу, так как стрелка на судьбе моих часов указывает полночь...

Павликов не мог не ухмыльнуться на эту книжную фразу.

Он вспомнил, что она из его, Сожиных, воспоминаний.

— Боюсь, что ваши часы идут вперед, Сожа.

— Я расскажу все свои поступки и все свои изуверства. Вы спрашивайте, про что хотите. Телеграмма? Да, вы правильно поняли. Телеграмма поддельна. Она написана мной! Можете сейчас же сверить почерк и спросить Еропку, получал ли он на ваше имя телеграмму. Не получал, Еропка? Видите! Но и кроме телеграммы...

Он скользнул взглядом своим по Ульяне и — отвернулся.

— Мы должны во всем сознаться, Ульяна! Руки бы вымыть, что ли... Нужно торопиться, Ульяна. Я расскажу вам, граждане, про колодец, про нашу нефть. Нефть давно найдена нами, Ульяной и мной. Я во всем...

— Нефть? — заревел Тавчавадзе.— Вы давно обнаружили нефть?!

— Давно...

Ульяна подскочила к мужу. Он наклонил ей навстречу голову свою, уже лысеющую, длинную, с аккуратно подстриженным теменем. Он бормотал в пол:

— Обо всем, обо всем, Ульяна. Мы должны поторопиться, так как баптисты не ждут, — свежеет уже, скоро рассвет...

Ульяна наткнулась на табурет, на котором сидел Рентулич. Рентулич вскочил. Кольт упал. Рентулич донельзя изумлен был признанием Сожи, и поэтому понятно, что не успел сообразить, зачем Ульяна наклонилась к его ногам, зачем припала. И только успел он рассмотреть пламя, метнувшееся с ее колен прямо к темени Сожи.

— Вот тебе и не будет рассвета! — сказала она и отбросила кольт.

Сожа, подгибая под себя странно расползающиеся руки, с сухим и вывернутым ртом, валился на пол. Ноги его, в коротеньких, выпачканных пылью брючках с беленькими полосками и тщательно заштопанными отворотами, делали такие движения, как будто он собирался плыть. Ульяна прошла в ту комнату, в которую забились Цитовский и Корсаков, быстро вернулась и с порога сказала, указывая Тавчавадзе на Сожу:

— Он был и умер дураком!

52

Павликов плохо слышал ту часть разговора после признания Сожи, которая предшествовала выстрелу Ульяны. Как только Сожа разбил стекло и ему ответил Власов, баптисты удивленно смолкли, Павликов услышал странный и в то же время знакомый шум. Шум этот походил и на течение обвала, и на морской прибой, и на лязг громадных масс железа, и на шум разрываемого шелка. Шум этот взволновал его несказанно! Он растерялся. Он пытался понять, что говорит Ульяна, — и не мог понять.

— ...Вот и Сожу-то я убила не потому ли, — говорила Ульяна, глядя на Тавчавадзе, — чтобы он не увидал, как я испугаюсь на суде, и дабы не показалась

ему противной моя трусость. Я его полюбила как сильного,— и он меня полюбил как сильную. Я ошиблась в нем. Он во мне нет. Он, гордясь мной, ушел на тот свет...

Но и Тавчавадзе не слушал ее. Он тоже устремился на тот шум, которому с болезненным напряжением внимал Павликов. Один только Цитовский выкрикнул:

— Но как же вы это так быстро его, Ульяна Михайловна. Я не заметил даже!

Гул поднимался, заполнял собой сознание, и, хотя дом стоял неподвижно, казалось, что он колышется до основания. Рабочие выскочили на крыльцо. Светало. Двор очистился. Баптисты рассеялись. Внизу с тропы доносились возгласы мужиков, скрип и треск поспешно катящихся арб, топот. А возле калитки, вцепившись руками в шапку свою, лежал с проломленной головой мертвый Богдан Власов.

Сангигупор, счастливый, весь выпачканный грязью, с потушенным фонарем, которым он все норовил себе вытереть лицо, схватил Тавчавадзе за руку и, перепрыгнув, не замечая, через труп Богдана, втащил Тавчавадзе в дом.

— Гасите огни, гасите огни! — кричал он исступленно.

— В чем дело, почему я должен гасить огонь? — спросил Тавчавадзе.

Павликов стоял все на том же месте и все так же неподвижно смотрел на Катю. Лицо его кривилось. Сангигупор завопил ему в лицо:

— Тушите огни! Тушите, иначе будет пожар на промыслах Тбинской долины!

— Обвал? — сказал Павликов.

— Нефть! — ответил ему Сангигупор.

— Обвал! — повторил Павликов упорно и упоенно.

— Нефть! — так же ответил ему Сангигупор.

Ульяна бросила из соседней комнаты:

— Вода ударит, а не нефть. Взрыв произошел в скважине. Бывает...

Тавчавадзе с изумлением смотрел и на Ульяну, и на папки, которые вдруг стали ненужными, и на профессора Содмана, который вдруг тоже стал не нужен. Тавчавадзе

разгладил свою бороду и сказал если не убежденно, то думая, что находчиво:

— Извините меня, но грузинские женщины такими не бывают.

И после этих слов задул лампу.

53

Ульяна устало сидела на кровати, на которой еще недавно спала Шурочка. Окно комнаты было завешано рогожей, но рассвет уже пробивался, розовый и как бы пахучий. Заглушая все голоса и мысли, пронесся над домом взрыв. Камни упали на крышу, песок. Затем сильно запахло нефтью, и по крыше потекла влага так, как бы тек масляный дождь... Ульяна не сердилась и не жалела ни о чем. Она понимала, что и Сожа и она поступали так, потому что иначе они поступить не могли; ей было только немного обидно, что вот она убила человека, мужа своего, а никто на нее не обращает внимания, а все выбежали смотреть фонтан, как будто они знают уже, что она никуда не убежит. Да и куда она может убежать? К баптистам? Они, наверное, так перепуганы теперь... смешные, тупые виноградари, вот и не будете вы давить вино, вот и прекратились ваши мечты о молитвенном доме и о том, что когда-нибудь сможет приехать в цветущую долину какой-нибудь знаменитый проповедник из Америки!..

Грохот несколько улегся. Она услышала голос Павликова:

— Итак, нефть?

— Нефть, Genosse профессор.

Павликов пожал руку Сангигупора.

— Здравствуйте, Сангигупор.

Сангигупор улыбнулся масляным своим лицом.

— Простите, Genosse профессор, но вы здороваетесь со мной сегодня шестой раз.

Павликов указал ему на лыжи.

— Вы смотрите и на них и на меня с осуждением, Сангигупор?

— Как я смел бы подумать об осуждении.

— Я вам обещал, что вы уйдете из долины в четверг, в три часа ночи?

— Да. Но я отказался.

Павликов остановил его:

— Не возвращайте мне, пожалуйста, моего обещания. Что сейчас? Четверг — два часа ночи и приближающийся конец одиннадцатого года пролетарской революции. Нет причин, чтобы я не исполнил своего обещания, Сангигупор. Что вы думаете, профессор Содман?

— Я думаю, — с возможным достоинством ответил профессор Содман, — что книга моя отнюдь не бессмертна и что вы, Павликов, один из тех людей, которые совершили путешествие в страну, которой еще нет.

— Но которая будет?

— Да.

54

Когда они поднялись к избушке шоссейных сторожей, и долина уже лежала внизу, и нежно-лиловый фонтан, похожий на кожу и на металл, несся вверх над озером, Сангигупор оглядел проводника своего — Павликова, сына своего — рыжего Сангиглота, вспомнил, кого он сам и кого Павликов оставил в долине. Но у него есть хоть сын, а что есть у Павликова? Он оставил в долине труп сестры, оставил жену и твердо и неколебимо идет утешать больную мать! Гордость, радость и слезы охватили Сангигупора. Какой в Стране Советов народ! Какая здесь республика! Какая прекрасная у нас планета! Люди склонны преувеличивать несчастья и горести своей эпохи, но Сангигупор всю жизнь свою был и останется объективным. Сангигупор последний раз посмотрел на фонтан и сказал:

— Фонтан!.. Но он клокочет, как революционная Германия!

— Он клокочет, как мир, Сангигупор! Он клокочет, как человечество!

1930

ПОВЕСТИ БРИГАДИРА М. Н. СИНИЦЫНА, РАССКАЗАННЫЕ ИМ В ДНИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

КИСЛЯЙ, ИЛИ ЖИЗНЬ В ШУТКУ

1

Красноводский залив Каспийского моря, товарищи, замыкается к югу пустынным островом Челекен, небезызвестным по добыче соли, озокерита и нефти.

Две пристани, группа туркменских парусников, на которых происходит сообщение с материком (отстоящим от острова на 60 километров), четыре ржавых нефтяных резервуара, дом и невыразимое количество песков — вот вам и весь вид челекенского порта.

Что же, спросите вы, представляют собой важнейшие из перечисленных объектов полезных ископаемых названного и посещенного бригадой под моим, Михаила Николаевича Синицына, благотворным руководством острова Челекен?

Для нас всех, несомненно, в первую очередь необходимо остановиться на вопросе о нефти, но в силу различных и таки неприятных обстоятельств я коснусь вопроса несколько ниже, а сейчас же, по приезде то есть, мы остановились и не могли не остановиться на озокерите.

Озокерит, товарищи, есть продукт отложения парафинистой нефти, из озокерита-сырца на специальных заводах способом вываривания добываются стандартный озокерит и церезин, представляющие собою искусственный воск.

Из церезина раньше всего рекомендуется производить выделку свечей, полотерного воска, искусственной вощины (для нужд пчеловодства), граммофонных пластинок, сапожного крема и прочее.

Мы, сопровождаемые инженером Нур-Клычем, раньше бывшим стрелочником и вообще железнодорожным пролетарием, а ныне выдвинутым на высокий пост неф-

тяного специалиста, каковой приехал в кратковременный отпуск к своим сыновьям: Ширмамеду (забойщику в промысловой шахте) и Кидыр-баю (председателю правления промыслов, имеющих пока полукустарный характер), видели, как подле нас катились тачки по рельсам, и на тачках — черная масса руды, состоящая из глины и маслянистой смеси. Это и есть озокерит!..

Шахты весьма и весьма примитивны.

Над шахтой представляется вам деревянный помост, и вскоре появляется бадья, и товарищ Кидыр-бай как ответственный за наше спускание осторожно объясняет вам:

— Садись одной ногой в бадью, а другую держи на весу и вниз не смотри, а то голова закружится со всеми последствиями.

Я возразил ему, что нас кружением голов не испугаешь, однако же последовал его совету.

Сырой полумрак окружил нас, товарищи!

Но вот вдали замелькали огоньки, и к нам приблизилось несколько ламп-шахтерок.

Мы шли по проходу в деревянных рамах ощупью, медленно.

Изредка раздавался легкий треск: это под напором земли подавалась деревянная рискованная рама. Дышать было трудно, так как мешали газовые испарения, и вообще, по непривычке, всякий испытывает здесь легкое волнение.

Издали неслись и замирали мягкие удары: и вот перед нами туркмены киркой выбивают горные пласты.

Мы залюбовались на одного туркмена. Тусклый свет шахтерки освещал его продолговатое и с кривыми бровями лицо. Товарищ Кидыр-бай объяснил:

— Этому товарищу имя Ораз-Кулу, он один из лучших забойщиков промыслов, с которым разве что сможет посоперничать Ширмамед, мой брат, но и то после длительной, не менее, приблизительно, двухлетней тренировки. Но с товарищем Ораз-Кулу вышло некоторое переключение.

— В чем же заключается это «переключение»? — заинтересовались мы.

— А переключение это заключается в том, что неделю назад организовалась у нас ударная бригада забойщиков и Ораз-Кулу был один из первых в ней. Сего-

дня же он заявил о выходе, не мотивируя такового, и пример его, как пользующегося известным авторитетом, может быть весьма опасным для молодого дела.

— В чем же, по-вашему, заключаются причины его «переключения»? Нельзя ли собрать нам бригаду забойщиков, включая сюда и Ораз-Кулу, и вскрыть таковую ненормальность? Имел ли, работая здесь, Ораз-Кулу какие иные цели, например, связан ли он был с родом своим, так как известно, что у туркмен еще большую роль играет родовой быт.

— Трудно уяснить, — ответил нам товарищ Кидырбай,— но попробуем.

2

На собрание озокеритовых ударников совместно с московскими Ораз-Кулу не явился, мотивируя свое непоявление болезненностью и усталостью.

Нам было неприятно это слышать, но мы открыли совещание без него.

Выяснилось, что действительно Ораз-Кулу в силу своей физической мощи пользуется известным авторитетом среди туркмен.

Спросили тогда: «А как же насчет рода?» — и тогда выступил со словом некоторый старичок с лицом, похожим на морковку. Старичок этот заявил:

— Хотя я еще не принадлежу к ударникам, но я рад работать вместе. Я видел и знаю, что к Ораз-Кулу приезжали с материка родственники его, которые упрекали его, что он ведет себя недостойно мужчины. В чем же выражается эта недостойность, мне пока неизвестно. Я предполагаю, что темные и ветхие эти туркмены, охваченные родовыми предрассудками, имеют также намерение и на некоторые сбережения, которые сделал Ораз-Кулу, так как норма его выработки велика. Исходя из всего этого, и нужно вести нам собеседование! Несомненно, что подобное дезертирство с трудового фронта должно быть строго караемо и, главное, ликвидировано, дабы на наши ударные бригады не падал позор. Я и сам бы взялся встать на место Ораз-Кулу, но старость и некоторые мои слабости...

Инженер Нур-Клыч, присутствовавший на совещании, прекрасно знавший туркменский быт и сам принадле-

жавший некогда к роду иомудов, но теперь с корнем вырвавший родовые предрассудки, человек, вызвавший как у меня, так и у остальных бригадников полное и неколебимое доверие, которое им не было никак скомпрометировано, сказал мне:

— Дорогой товарищ Синицын, нам важно вплотную подойти к полному бедняку Менгли-Мамеду, который только что выступал, так как это одна из ярких личностей острова Челекена и преданный советскому строительству активист.

— Прекрасно,— сказал один из наших бригадников, товарищ Медведев,— полностью прекрасно! Товарищ Синицын ценен в нашей бригаде тем, что всегда предусматривает жизненное направление с точки зрения пролетарской общественности. Я же, как более молодой и менее воспитанный гражданскими бурями общественно, скорее склонен понимать шатания людей по линии их бытовых и сердечных бурь и натисков. Помимо влияния рода и родственников, я так понимаю, что Ораз-Кулу тащится по жизненному конвейеру, всецело подчиняясь року и случайностям. И если мое предположение верно, то этот рок и случайность легко вытереть из его души, так как он, видимо, человек способный к размышлению и понятию истинного пути, который для нашей страны один: выкорчевать безжалостно остатки старого быта!

Речь товарища Медведева все похвалили, и председатель собрания товарищ Нур-Клыч опять обратился к старичку Менгли-Мамеду, тому, который походил на морковку:

— Менгли-Мамед, ты уже выразил желание вступить в ударную бригаду и содействовать ее процветанию и успеху, за это тебе наше пролетарское спасибо. Но нам жалко все-таки упускать Ораз-Кулу, не выяснив целиком причин и обстоятельств, вызвавших его дезертирство с трудового фронта.

— Желаю высказаться.

— Вы желаете высказаться по личному или же по общему вопросу, Менгли-Мамед?

— Пока по личному.

— Просим!

Менгли-Мамед ответил:

— Я, Менгли-Мамед, приготовляясь к очередному отпуску, который намерен провести не так, как всегда, среди своих родных на полуострове Доржа, а наме-

рен поехать в Ашхабад, где, говорят, есть помещение, называемое цирком, в котором борются необычайно сильные люди, съехавшиеся со всей Туркменской республики и со всех соседних республик.

Менгли-Мамед много видал борцов и много сам боролся, и перед смертью, которая приближается, ему хочется видеть конференцию борцов, хотя в этой конференции он, по старости исключительно, а не по трусости, сам участвовать не может. Однако же, если просит ударная, он согласен отложить свой отпуск на некоторое время, а значит, и свою смерть, и попытается показать, как еще может состязаться в работе Менгли-Мамед и какова его кирка!

Совещание всемерно одобрило такую пылкую речь старика, а инженер Нур-Клыч рассказал нам:

— На берегу Каспия, товарищи, южнее залива Кара-Бугаз, находится песчаный полуостров Доржа, и на нем живут и кочуют туркмены рода кенан, к которому принадлежит только что выступавший оратор Менгли-Мамед. Этот род прославился тем, что все мужчины в нем очень опытные «изчи», то есть следопыты. Возьмем, например, Менгли-Мамеда. Когда он знакомится со следами верблюжьей самки, то он всегда может узнать и узнает след ее детенышей. Он знает следы всех жителей полуострова Доржа и следы всех животных, принадлежащих к роду кенан и к окружающим родам... Он узнает по следам не только зайца, лисицу, волка, но он узнает также — самка или самец, и если самка, то беременна ли она. Он узнает по следам людей следы их детей, и достаточно ему видеть след человека один раз, он его запомнит на всю жизнь.

Приведу вам следующие характерные случаи из его жизни. Однажды паслись на пустынном островке Огам бараны, принадлежащие Менгли-Мамеду и его ближайшим родственникам.

На таких безлюдных островках бараны пасутся без пастуха и сторожей.

К островку Огам пристала лодка из аула Гасан-Кули, лежащего от полуострова Доржа свыше трехсот пятидесяти километров. Гасанкулийцы похитили двух баранов.

В непродолжительном времени, явившись на остров, Менгли-Мамед осмотрел следы баранов и людей и сказал, что баранов похитили посторонние люди. Спустя

два года Менгли-Мамед на острове Челекене, в ауле Эне, строил на берегу моря лодку. И вот однажды мимо него прошли два туркмена, оставляя на влажном песке отчетливо отпечатавшиеся следы.

Менгли-Мамед никогда до того не видал этих туркмен, взглянув случайно на их следы, крикнул им:

— Подождите, я имею к вам вопрос!

Туркмены остановились и насмешливо ответили:

— Любопытно, какой ты вопрос задашь нам, старикашка, похожий на морковку?

Менгли-Мамед сказал:

— Зачем вы два года назад украли наших двух баранов с острова Огам?

Туркмены попытались было отрицать свою кражу, но Менгли-Мамед описал им подробно, как они сошли с лодки, как ловили баранов, как тащили и как один из них остановился провести в жизнь то, что за него и аллах не может провести.

Туркмены необычайно испугались этих подробностей и немедленно заплатили за баранов.

Или однажды у Менгли-Мамеда по дороге от станции железной дороги, куда он ездил в кооператив, пропал курджум, ковровая сумка, в котором он вез некоторое продовольствие и некоторые гостинцы для ребятишек.

Шесть месяцев спустя он поехал в Красноводск и зашел на пристань.

На палубе одной из лодок сидело много туркмен, которые пили чай.

Менгли-Мамед подсел к ним, и во время общего разговора он обратил внимание на ноги незнакомого ему человека.

Этот человек сидел, вытянув ноги, и Менгли-Мамеду были видны его ступни.

Менгли-Мамед сказал, дотрагиваясь до ступней:

— Шесть месяцев назад вы, гражданин, проезжали на товаро-пассажирском мимо станции Н. Поезд стоял долго, и вы гуляли, размышляя, по степи. Здесь на дороге вы увидали сумку, курджум. Пять минут вы были честны, вы отошли от этой сумки, будучи уверены, что хозяин, обронивший ее, вернется. Но через следующие пять минут вы сами вернулись и утащили ее с собой. Я прошу вас, гражданин, вернуть мою сумку и оплатить мои гостинцы.

Человек исполнил требуемое.

Так вот, мы попросим нашего Менгли-Мамеда узнать, чем и почему лично страдает Ораз-Кулу и как мы ему можем помочь!

Менгли-Мамед ответил:

— Попытаюсь, но сейчас могу вам сказать одно: Ораз-Кулу ненавидит кошек. Увидав кошку и услышав ее запах, он, всегда ходящий по прямой, сворачивает и трет себе затылок. Я предполагаю, что в детстве кошка поцарапала ему таковой.

Нур-Клыч ответил резонно, что на таком наблюдении вряд ли возможно делать какие-либо выводы и что нам необходимо, чтобы Менгли-Мамед работал в полную силу.

Мы согласились с ним, и на том совещание закончилось.

3

Три дня потратила наша бригада на ознакомление с озокеритовыми промыслами и постановкой и улучшением дела на таковых. И на нефтяные мы заглянули — и охнули!

Оказалось что же, товарищи? Нефтяные промысла просто-напросто стояли и бездействовали.

На наши возмущенные вопросы администрация выдвинула такой вариант ответа:

— Нет, мол, товарищи, глубоких американских насосов, а без таковых мы работать не можем.

— Позвольте! — возразили мы им.— Ведь вы же не будете отрицать, что в тысяча девятьсот одиннадцатом году на острове Челекене было добыто двести тринадцать тысяч семьсот тонн нефти. Это — в то время, как вся потребность Среднеазиатской железной дороги исчисляется в пятьдесят тысяч тонн и нефть везут сплошь из Баку, через Каспийское море.

— Нет, не возражаем,— отвечают они нам,— но нет же глубоких насосов.

— Таковые глубокие насосы необходимо применить к вашим головам и мыслям,— ответили мы возмущенно, и я полагаю, что ответом на наше возмущение служат последние сообщения среднеазиатской прессы, которая говорит, что на острове Челекене обнаружена вредительская организация.

Соответственно этим обстоятельствам мы заметно волновались, и нам было не до вопроса о лицах ударных бригад на озокеритовых промыслах, однако же вопрос этот всплыл, так как однажды вечером перед нами появился старичок Менгли-Мамед — тот самый, который походил на морковку.

Менгли-Мамед — не успели мы его приветствовать — распахнул окно нашей комнатенки и сказал, указывая на красивую туркменскую женщину с дробовиком под мышкой, которая возвращалась, по-видимому, окончив свою работу.

— Заметили ль вы ее? — спросил нас Менгли-Мамед. — Она работает с тачкой у правой шахты, и зовут ее Авадан Бердыева. Она пришла сюда с материка в поисках свободы и просвещения. Ее насильно отдавали замуж, и, так как бегством своим она нанесла известный ущерб как материальный, так и моральный и семье своей и роду, она, опасаясь мести, в защиту себя от таковой носит повсюду дробовик, заряженный картечью. Носит его отчасти и потому, что живет она не в ауле, а за аулом, в поле, сама соорудив себе землянку. Здесь, окончив работу, она зажигает семилинейную керосиновую лампу, дабы изучать историю революционной борьбы и вообще классиков диалектического материализма.

— Ее стремления, — заметил я, Синицын, — подчинить общество разумной дисциплине и себя обществу прогрессивны — это даст человечеству огромную личную свободу.

— Совершенно верно, — ответил Менгли-Мамед, удивляясь точности моего мышления. — Должно, однако, заметить, что ей приходится туго. Она привыкла спать в кибитке, на полу, но она принципиально отказалась от кибитки и пола, и, как ей ни противно, она спит на кровати, не уговаривая к тому свою старуху мать, которая пришла с материка вместе с дочерью и из любви к ней соглашалась даже спать на кровати.

Мы подумали и сказали:

— Отлично! В нашем списке, следовательно, имеется еще товарищ, который не преминет принять участие в ударной бригаде.

— Так-то оно так, — сказал Менгли-Мамед, — но я клонил свой показ вовсе не в целях записания Авадан Бердыевой в ударную бригаду, хотя она к тому согласна.

Я клонил свой показ к тому, что с ней связано удручение и умельчение Ораз-Кулу.

— Каким же это образом?

— А таким образом, что я нашел обильные следы Ораз-Кулу возле лачужки Авадан. Я имею основания, — которые не буду приводить здесь, дабы не загружать вашей памяти, — думать: Ораз-Кулу желал бы приложить свое сердце к сердцу Авадан, другими словами, начать с ней свою семейную жизнь. Но на пути к тому лежит его тьма и неясность его мечтаний по общественной линии. Здесь он весь во власти своего рода и родовых предрассудков, и здесь наушничали ему разные родственники. Они не придумали иного выхода из его мрачных размышлений, как на его скопленные деньги приобрести в пустыне верблюда и коня, на острове Челекене — лодку и парус.

— Зачем же ему конь в пустыне и лодка и парус на острове Челекене? — спросил я.

— А затем, как я вам сказал, что родственники его, ветхие мозгами, не видят иного выхода, как поступить согласно законам своего рода и преданиям пустыни, которые приказывают тебе похитить невесту, если ты не имеешь денег на выкуп. Для того чтобы доказать, какой он джигит, он вступит в обладание ею, мчась в то же время на коне!

— Дурацкий и неудобный закон, — сказал я, и все немедленно согласились со мною.

— И вот теперь, исходя из такового закона, как вы совершенно правильно отметили — дурацкого, Ораз-Кулу ждет темной и бурной ночи.

— Зачем же он ждет темной и бурной ночи?

— Так как Авадан желает и будет защищаться от всякого покушения на ее личную свободу и так как она обладает редким слухом и чутким сном, то, учитывая это, Ораз-Кулу утащил обрывок каната, расщипал его на мелкие кусочки, так что образовался солидный клубок пакли, а сегодня сходил в кооператив, в порт, и купил четвертную бутыль керосина.

— Опять не понимаю, при чем здесь пакля и керосин?

— Вполне понятно. Вы не «изчи» и не туркмен. Керосин понадобился Ораз-Кулу для того, чтобы, облив керосином паклю и запалив, кинуть ее через трубу в лачужку Авадан. Женщина, рассчитал он, полузадохнется

от дыма, кинется к дверям, и он здесь ее подхватит на руки, отнесет к морю, поставит парус и устремится на материк, где его ждут и верблюд и конь. Он может скрыться и в Каракумах и умчаться в Персию... Если вы, товарищи, мало мне верите, я могу призвать Ораз-Кулу и ему в глаза подробно рассказать о допущенных им в своем мышлении грубых ошибках и о тех следах, которые он оставил от своих ошибок на земле. Но только, поскольку мы уже нашли приготовленный замысел, не лучше ли использовать таковой для поучения Ораз-Кулу, так как одни наши разговоры на него не повлияют? Он прослушает, обругает нас и на следующий раз выдумает что-либо более сложное и более мерзкое, — так закончил свою речь Менгли-Мамед, и мы поизумлялись разумности его предпосылок.

Нур-Клыч спросил:

— Замечательно, конечно, ехать в Ашхабад и смотреть, как борются самые сильные люди Союза Республик, каждый из которых одной рукой выжимает не менее семидесяти пяти кило; но не менее замечательно и то положение, что когда соберутся хитрые, то они всегда победят сильных с их семьюдесятью пятью кило. Нет ли в вашей голове, Менгли-Мамед, такого силлогизма, который смог бы безболезненно рассосать образовавшийся прорыв?

Менгли-Мамед сказал, что такой силлогизм имеется, и в первую очередь, для благополучного образования его, необходимо, чтобы девушка Авадан оставалась по-прежнему не осведомленной ни о чем; второе: в лощинке, рядом с лачужкой Авадан, имеется место — земельная площадь — для того, чтобы построить в течение одного дня аналогичную лачужку, и так как у Менгли-Мамеда завтра выходной день, то и он примет с нами участие в таковом сложении лачужки, со всеми приспособлениями, которые он и предложит, и третье, наконец, — действовать не голым администрированием, а личным трудом и примером.

— За нами, — ответили мы, — неприкосновенный и специальный фонд личного примера, чем мы и побеждаем.

Должен, однако, сказать, что этот личный пример в тот памятный день построения лачужки достался нам тяжело. Жара была не менее 65° по Цельсию. А прихо-

дилось орудовать топором и тесать бревна. Приходилось ворочать камни и месить глину, которая ссыхалась на наших руках.

Бодрый смех и шутки замирали на устах. Пыль превращала нос в раскаленный кирпич.

Но мы сложили лачужку, правда с более тонкими стенами, чем у Авадан. Затем мы притащили с промыслов дверь и выпросили семилинейную лампу.

Затем Менгли-Мамед сказал нам:

— Вы прекрасные работники, и жаль вас упускать с промыслов, куда следовало бы вас зачислить в штат. Приходите сегодня ночью, барометр падает и указывает бурю, и попросите только Авадан погасить в эту ночь свет и не заниматься просвещением.

Мы так и поступили.

4

На барометре было катастрофическое положение. Приближалась буря. Нам необходимо поэтому отметить те мероприятия, которые предпринимал Ораз-Кулу.

В результате хозяйственного года, который он провел в накоплении денег, он действительно предполагал поступить так, как ему внушили родственники и как изложил собранию знаменитый «изчи».

С момента прихода к нему пагубной и гнусной мысли, которую он считал правильной, при детальной помощи родственников в таковом направлении, он к концу стал испытывать даже известное наслаждение, когда перебирал подробности своего плана.

Он бросит горящую паклю через трубу, которая по несовершенству туземных очагов закрывалась сверху, с крыши, плиточкой, вроде сковородки.

Естественно, что девушка, почувствовав запах пакли и видя вырвавшиеся из печи клубы удушливого дыма, подумает, что старуха мать, не отличающаяся хозяйственными способностями, особенно в той области, где необходимо применить известные культурные навыки, как, например, в обращении с керосином, — старуха могла поставить керосин подле огня, и керосин вспыхнул! Девушка выскочит за двери, чтобы несколько отдышаться, но тут-то Ораз-Кулу накинет ей на голову мешок и поволокет ее к лодке...

Ночь он выбрал бурную потому, что тогда легче и неслышней можно пробраться по крыше лачужки.

И вот ночь приближалась.

Низко и быстро неслись над землей низкие тучи, на которых зловещими зигзагами сверкали далекие молнии, слышались раскаты грома. Все предвещало, как мы отмечали раньше, грозу.

Ораз-Кулу проследил, как девушка, по-прежнему держа под мышкой дробовик, направилась с работы в аул и оттуда к своей лачужке. Она шла засветло, и поэтому Ораз-Кулу лег возле бархана, ожидая темной ночи и прижимая к себе сверток с паклей и керосином.

Ночь не замедлила прийти.

С моря подул сильный ветер, и остров, площадью свыше 400 квадратных километров, гудел, как буровой барабан. Но Ораз-Кулу не боялся моря, он был опытным мореходцем и не раз проплывал на туркменских парусниках от Красноводска до Персии.

Учтя, что приближается полночь, и преследуя свои замыслы, он без всякого колебания вышел на дорогу и направился прямо на огонек, мерцавший в лачужке, где несчастная Авадан изучала основы диалектического материализма.

«Она будет красивой женой и с большими знаниями, которыми можно похвастаться мне и в городе, и даже в пустыне: везде люди чтут ученость», — думал он.

Он подошел к ее окну. Окно, завешанное розовой тряпкой, которую он замечал не раз, когда, обдумывая свои намерения, приходил сюда, бросало на него робкий и тихий свет, как бы уговаривая его опомниться. Но он был во власти предрассудков, культура не обломала его, и он не понимал еще полностью ее ценности и ее грозной силы.

Он потоптался.

«Пора приступать», — думал он.

Сапоги показались ему обременительными и для данного поступка несколько тяжеловатыми, так как шаги в сапогах по крыше она могла услышать. Он скинул их, накрыл камнем. Также он скинул и свою папаху, которая могла случайно вспыхнуть и загореться от керосина и пылающей пакли.

Затем ему подумалось не без нежности, что вот он понесет на руках свою невесту, а она, если понюхает его новый халат, в который он нарядился, и если его

халат будет отдавать керосином... Размышляя подобным образом, он остался в одних штанах и рубахе.

Он на цыпочках подошел к трубе и снял глиняную заслонку, которой та была прикрыта, а затем просунул туда огромный пучок пакли, облил его осторожно керосином, поджег и длинной палкой протолкнул вниз. В лицо ему ударило едким и густым чадом. Должно добавить, что он еще керосин слегка разбавил водой, для большей вони.

Он прикрыл заслонкой трубу и быстро, теперь уже не опасаясь шума, направился к краю крыши, дабы спрыгнуть как раз против дверей. Но, не доходя до края, Ораз-Кулу споткнулся о что-то продолговатое, похожее на веревку, и не успел ощупать такового, как почувствовал, что ноги его уходят в землю и крыша под ним зыблется.

Он распростер руки, но все было тщетно! Он ухнул вниз, как созревший плод с дерева. Когда он падал вниз, какая-то тяжелая слега ударила его по голове, и он пожалел, что напрасно снял папаху. Но и падая, он не отставал от своих мыслей, так как ему подумалось, что даже хорошо, что он падает, ибо, упав, он сможет немедленно схватить свою жертву и вынести ее за дверь.

Упал он на какие-то доски, и сверху еще на него упало несколько досок, от которых он испытал неприятную боль.

В комнатенке было чудовищно чадно и, что его испугало больше всего, тихо, безмолвно, неподвижно. В очаге пылала пакля, а было темно! Он бросился к дверям, но попал в какую-то кадушку с вонью и грязью. Он, чихая и ругаясь, торопливо выбрался из кадушки, и здесь на него сверзлось полено, которое угодило ему в грудь так, что он заорал!

Он кинулся в другую сторону — и вдруг понял, что заблудился в этой комнатенке.

Чад его ел; его всюду встречали какие-то палки, крючки, обручи, он падал, нырял, скользил, ухал, вскакивал, чихал, кашлял и плевался, и опять падал, и отовсюду на него неслись удары и вонь.

Он чувствовал, что пройдет еще полминуты, и он вспыхнет, как керосиновая цистерна, и от дикого ужаса и страха он заорал невозможным голосом. Здесь ему показалось, что перед ним мелькнула щель двери, и

тогда, закрыв окровавленный лоб руками, он, наклонив голову, побежал в эту щель — и это было окно.

Он упал в окно, но не порезался, так как стекла там не оказалось. Но вылезти он не мог, а кроме того, перед окном почему-то очутилась груда колючек, и он попал прямо ртом в эти колючки.

Кроме того, глина начала — от керосина и жара, должно быть, — оседать на него со всех боков, а в голые ноги ему неслись обрывки пакли, которые их жгли. Он опять заорал: «Спасите!» — и стены несколько ослабли, и опять показалась щель, и он разбежался и, уже не закрывая лица, ударился в эту щель.

Дверь оказалась распахнутой. Он запнулся о порог и ехал добрый десяток шагов носом по земле. Тучи неслись над ним, но самые страшные и темные тучи были у него внутри. Тело его болело, и он горько стонал.

Еле набрал он силы подползти к тому камню, которым была прикрыта его одежда, и он первым долгом протянул руку к папахе. Резкий кошачий запах ударил ему в нос.

«Что же, я в кошку превратился, что ли?» — подумал он с испугом и понюхал скорей сапоги. Сапоги как будто не пахли, он их торопливо, стоная и кляня жизнь, натянул, — и ноги его погрязли в кошачьи запахи.

Он закричал от ужаса и отвращения.

— Кошки — и те насмеялись надо мной! — кричал он, и горькие слезы полились у него.

Таковым мы его и застали.

— Не подходите, — сказал он нам, — я по глупости своей так запутался, что, кажется, превращаюсь в кошку для того, чтобы самому себя унижать и над собой смеяться.

Инженер Нур-Клыч спросил:

— За что же вы так наказаны?

— Я хотел противопоставить свободной женщине законы рода. Я думал, иного пути нет, и этот путь привел меня к гибели.

— Почему же вы думали, Ораз-Кулу, что нет иного пути? Вы погибли из-за женщины. А не пробовали разве вы говорить с женщиной, как свободный человек со свободной?

Ораз-Кулу ответил с великим изумлением:

— Удивительно, но как раз это-то и не приходило мне в голову. Я полагаю теперь, это оттого, что я сам

был рабом, я и мыслил по-рабски. Но теперь я ниже раба и ниже кошки, потому что кошка — та не может говорить о своих позорах и унижениях, а я кричу на весь остров Челекен.

Инженер Нур-Клыч сказал:

— Любопытно было б спросить нам женщину, виновницу вашего позора, Ораз-Кулу.

Здесь выступила вперед Авадан Бердыева и сказала:

— Я согласна быть при вас, Ораз-Кулу, и потому, что вы мне нравитесь, и потому, чтобы показать, как я свободна и как я отношусь к тем детским позорам, которые так удручают вас. Мы сможем противопоставить глупцам, которые меня преследуют, с одной стороны, мой уход из рода и, с другой, — ваши смешные похождения, и таковое противопоставление мы будем вместе защищать. Нам нечего делать в пустыне.

— Нечего, — согласился радостно Ораз-Кулу, превозмогая свои боли и вставая. — Родственники хотели использовать меня. Плюю я теперь на весь род!..

Он посмотрел на все еще пылавший в избенке керосин и сказал не без удивления:

— Но почему это я не сгорел, пробыв столько времени среди чада и пламени? Когда я хотел похитить Авадан, я рассчитывал, что она задохнется на второй минуте, а обстоятельства сокрушали меня, по крайней мере, минут пятнадцать, и хотя я страдаю, но еще могу думать и удивляться всем чудесам, которые со мной произошли.

Мы рассказали ему о нашей шутке. Он не обиделся, а вдоволь посмеялся вместе с нами и над той ветхой ерундой, которая повеяла на него из пустыни, и над тем, как он думал защищать эту ерунду.

На последние его слова ответил я, бригадир Синицын:

— Нужно в порту подтянуть кооперативщиков. Они подбавили в керосин воды, а вы подлили, гражданин, еще. Мы вернули озокеритовым промыслам двух преданнейших работников и, кроме того, открыли жуликов из кооператива. Эту ночь мы провели не зря, и нам пора спать, чтобы завтра не опаздывать на работу, дать в срок республике ту необходимую ей тысячу тонн озокерита, вместо которых мы даем только четыреста пятьдесят. Ориентировочный подсчет определяет срок испол-

нения задания приблизительно в восемь или девять остающихся месяцев. И мы его выполним.

— Выполним, — ответил Ораз-Кулу.

Как? Вы спрашиваете, при чем же тут Кисляй? А при том, товарищ, что в нашей стране кислям у станка, или у кирки, или у книги нет места, и жизнь их переделывает, чистит и поучает, как может.

XIII

1

До сих пор разворачивание шелковой промышленности в Средней Азии замедлялось из-за кустарщины, из-за крайне первобытных способов как производства шелка, так и ухода за греной (яичками) шелкопряда. Воспользуясь греной туземного происхождения, вы, червовод, получаете плохие по качеству коконы. Сейчас, дабы освободиться от заграничной грены, в Средней Азии выстроено несколько гренажных заводов. Но, развивая червоводство, необходимо обеспечить его кормом, — и вот строятся и развиваются питомники шелковицы. Наряду с ростом шелководства бурно развивается и шелкообработка. Организуются крупные совхозы, где шелководство получит полную форму фабрично-заводского производства. При совхозе сооружаются шелкомотальные фабрики, — короче говоря, в сегодняшнем нашем собеседовании я, бригадир Синицын, намерен вам осветить события, которые мне пришлось наблюдать в одном из таких строящихся совхозов, приблизительно, скажем, в районе города Мерва.

Естественно, что при всяком высоком деле происходит некоторая душевная сумятица, не обходящаяся и без гадостей, но тот факт, который я вам хочу сообщить, прошу ни в коем случае не обобщать. Я сам знаю и сам часто этим страдаю, то есть способностью к обобщению, особенно если нужно прищемить какого-нибудь гада.

В ответ на мое обращение вы скажете, зачем же, дорогой Синицын, тогда предавать гласности этот факт, если вы не желаете его обобщения? Вы же знаете, кому рассказываете — писателям! А писатель, помимо того,

что расскажет ваш факт, он еще и от себя наврет и наврет зачастую ни к селу, ни к городу, так что сам себя потом за виски щупает, думая: «Да неужели это я мог написать, неужели на меня такая тьма напала?» Нет, я знаю, кому рассказываю и знаю, кто меня слушает, и предать это гласности я имею желание исключительно с целью убеждения многоуважаемого Умакбеева, строителя совхоза «Кара-Чала» и при совхозе шелкомотальной фабрики.

Но начнем сначала! Говорит нам предисполкома:

— У нас в совхозе, который вы осмотрите, темпы необыкновенные и многозначительные. Строитель Умакбеев — голова, а его помощник Харитон Матвеевич Корнеплодов по уму и характеру нечто необъятное, некий гигант с клюкой! Боец на всех фронтах! За гражданскую войну шестнадцать серьезных ранений! Планы переустройства такие, что в одной руке Средняя Азия, а в другой Азия вообще. Ехать же в «Кара-Чала» рекомендую верхами, так как тракторы, это живое чудо нашего века, настолько дорогу искорчевали, что на автобусе человек обретает в себе такие уязвимые места, которых он во всю жизнь не подозревал.

Вскарабкались мы на коней и погрузились в пыль и в ухабы, которые открыли в среднеазиатском человеке незнаемые до того уязвимости. Ухабы были точно глубокие, систематические и, уставши больше от этой систематики ухабной, свернули мы в придорожную чайхану, где и расположились на коврах. Вдруг видим, мчится мимо нас грузовик-полуторатонка, тот, что здесь заменяет автобус и против поездки на котором предостерегал нас предисполкома, грозя открытием уязвимостей необыкновенного свойства. Поверили мы ему!

Кабы был я моряком хотя бы эпохи гражданской войны, то я сказал бы вам: представьте, товарищи, стоите вы на какой-то скале, подле которой мчится, претерпев двухнедельный шторм, корабль без единого матроса. Обитатели корабля ни во что не верят, кроме боли и тошноты. Лица у них истасканы, как портфели ответственных работников!.. Уже на что мы и по обязанностям, и по складу характера ребята были великодушные, но тут даже, с высоты своих ковров взглянув на пронесшееся мимо страдание, испытали, прямо сознаюсь, ехидство и затем благодарность к восторженному предисполкома.

Не успели мы закончить обсуждение своего удовольствия и похвалу конному сообщению, как опять слышим грохот и столб лессовой пыли оттуда, куда улетела только что полуторатонка. «Любит же здесь страдание народ»,— удивились мы, а тем временем автобус воткнулся около самой нашей чайханы, шофер достал из кармана полбутылки утешительницы, хватил, крякнул, закусил горстью риса, отчаянно мотнул головой и опять скрылся в грохоте и пыли, а из оставшейся пыли выявились перед нами два пассажира, которых я слегка и опишу, так как они оба окажутся нам полезны.

Впереди шагал старичок в туркменской одежде, в папахе и туфлях и с лицом, похожим на морковку. Старичок показался мне несколько знакомым, но я обратил внимание на второго пассажира, который одет был в заношенное европейское платье, то есть трусики и сверху прорезиненное пальто, лицом же он был тоже туркмен. Идет последний товарищ к нам, за пятнадцать метров руку протягивает, походит сам на долото — ровный весь такой, металлический, и понять можно сразу: доброты и внимания к людям необыкновенной, собой же, в общем, молод, комсомолец, каковое выдвижение видеть для нас было вдвойне приятно. Еще он и не пожал нам руки, но мы поняли, что стоит перед нами Умакбеев, знаменитый строитель совхоза и шелкомотальной фабрики «Кара-Чала», с ее необыкновенными и невиданными темпами.

Мы это к нему сразу же о темпах: в чем дело, мол, объясните. А он скромно так и со скромной и тихой восторженностью:

— Я объяснять вам недостоин, но я сам удивляюсь, а потому могу ошибиться в информации, я вам представлю немедленно же, прямо сознаюсь, фактического руководителя нашего строительства, Харитона Матвеевича Корнеплодова, для краткости прозванного нами «Хм!». Но наш великий и прекрасный Хм, к сожалению, встретить вас не смог, так как занят в данное время операцией.

— Операцией,— удивились мы,— разве в вашем районе басмачи имеются?

— Какой разговор! Никаких басмачей у нас и быть не может! Я должен сказать прямо: Хм настолько тонко знает науку и технику во всех ее отраслях, что в данное время, за отсутствием хирурга, во вновь отстраиваемом

здании больницы производит одному из своих земляков операцию аппендицита.

— Аппендицита? — удивились мы.

— Да что — аппендицита, он и мозговую операцию может произвести. Какая голова! Какой ум! А ранения! Шестнадцать ранений на всех фронтах, защищавших нашу республику, и, между прочим, не болтун. В день не больше как десяток слов из него выкорчуешь. Но какие слова, товарищи! Какие слова! Лозунги, а не слова!

Пораженные, прямо сказать, неимоверными способностями Корнеплодова, приятели мои вонзились в расспросы, и я хотел было примкнуть к ним, но второй пассажир, старичок с морковной головкой, заканчивал питье своего кок-чая, искоса посматривая на меня, — и я не замедлил к нему подойти поближе, и как только подошел я к нему поближе, так сразу же узнал: с острова Челекена, «изчи» — следопыт, Менгли-Мамед, который жаждал увидать борцов в цирке Ашхабадском, а затем хотя бы и умереть, так старичок любил человеческую силу и ловкость!

— Сколько помнится, Менгли-Мамед, — сказал я ему, — вы участвовали в ударной бригаде на озокеритовых промыслах, а затем собирались в отпускное время посетить цирковое представление?

— Так оно и случилось, — ответил мне Менгли-Мамед, — посмотрел я цирк и, вместо утешения того свойства, что можно теперь и умереть, почувствовал, что еще большее любопытство у меня разгорелось к жизни, и, чуя это разгорающееся любопытство к жизни, подумал я однажды: родом ты, по матери, конечно, Менгли-Мамед, из-под Мерва, и мать твоя всегда любила вспоминать, как ей тяжело было в юности работать по шелководству, когда даже грену приходилось выращивать (для теплоты) за пазухой, и работа эта ее юность значительно сократила, а рассказы ее убивали во мне желание осматривать самодержавный Мерв, а теперь, когда народ сам строит свое счастье, почему бы мне не посмотреть Мерв и его окрестности, а в частности шелководство, от которого почти погибла моя мать! Какие улучшения и какие достижения в этой области, и чем мне нужно восхищаться.

— Ну, и чем же вы восхитились, Менгли-Мамед?

— Нет успехов без ошибок, — с тихой злостью сказал Менгли-Мамед, — и нет ошибок без успехов. Много

в жизни видал я следов, но такого следа, как у великого Хм, не встречал. Он оставляет свой след на полметра в глубину и на полметра в ширину!

— Умакбеев и все товарищи, связанные с Хм по работе, относятся к нему чрезвычайно восторженно. Их восхищают особенно необыкновенные темпы, поэтому я не могу принять ваши высказывания, Менгли, иносказательно, так как они тогда бы представляли товарища Хм в весьма невыгодном для него свете, но и не могу поверить вам, зная ващу точность, чтобы следы Хм были полметра глубиной. Оставим вопрос о следах до личной встречи, а скажите мне, как Умакбеев — относится объективно к Хм, или же есть у него иные соображения, родственного, скажем, или иного порядка?

— Родственного могли бы быть, так как Хм женится на сестре Умакбеева, называемой Насу и похожей на коробочку распускающегося хлопка, но Умакбеев не такой человек, чтобы к общественным делам мог примешивать личные отношения. Он вне таковых низостей, он добр и высокопоставлен душой. Он выше всех родственных чувств и ценит строительство, которое поручили ему.

— Насу красива, по-вашему, Менгли, поскольку вы ее сравнили с коробкой распускающегося хлопка? Я не видал коробки хлопковой, кроме как в музее, где она производит невыгодное впечатление, но тут безусловно и плохое освещение, и пыль оседаемая...

— Она красива!

— Значит, и Хм, несмотря на его ранения и страдания, тоже сохранил красоту, стройность и легкость?

— Он отвратителен! Он во сто раз хуже, чем мой дедушка, а о безобразии моего дедушки рассказывали не только в русском Туркестане, но и в Афганистане!

— Но он хоть с белыми кудрями, которые так любят на Востоке?

— Он рыж, полулыс, он бабник, трепач, лгун.

— Тогда я не понимаю, Менгли, чем же смог Хм обольстить не только девушку, — девушку иногда можно обольстить совершенно неожиданными способами, — но он обольстил правление Шелкотреста, председателя исполкома Мерва и, наконец, Умакбеева, который тоже в политических делах не лыком шит. Не заблуждаетесь ли вы, Менгли? Если, как можно понять из ваших слов, Хм — жулик...

— Жулик? Разве я сказал, что он жулик? Жулик — это блоха, а кто же грустит о блохах? Только нервные люди, а воин даже радуется обилию блох, значит, говорит он, война идет по-настоящему. Воин не боится блох — это неизбежное следствие всякого похода. Он — Хм! Понимаете, дорогой бригадир, что такое Хм? Хм верит и кричит всюду, что он обладает великими талантами. Он пишет о своих талантах всем своим друзьям, он пишет за границу, может быть, даже к незнакомым людям, он выписывает каталоги для учености, он заполняет все пространство вокруг себя сметами и цифрами. Постепенно ему начинают верить! Он собирает вокруг себя молодежь и нежно относится к ее проектам, а иные из них при случае все-таки незаметно упрет. Упрет! Он все прет, что можно. Он прет цифры, цитаты, доклады, проекты, рассказы героев о своих подвигах. Он верит в свои таланты, и ему начинают верить. Его уважают. Он является, думают про него, одним из людей, яростно перестраивающих мир. Он везде получает квартиру, но в квартире своей он живет с такой брезгливостью и на мебель свою смотрит с такой ненавистью и небрежностью, что посетитель спрашивает: «Да это что же, не ваше?» — «Мамашино, — говорит он, — мамаша у меня такая скупая, ну я и потакаю старости». Например, здесь, в Кара-Чала, он с благосклонностью смотрит на совхоз, куда приехал после настойчивого упрашивания. Он переделывает этот совхоз. Он ходит по рощице, где предполагается разбить парк, вдоль арыка, опираясь на свою клюку, сам собой умиляется и высматривает девушек. «Жизнь уходит, — говорит он, — а девушки не любят стариков, девушками нужно пользоваться, пока ты молод». Вот он увидал Сапарову, инструктора по шелководству, девицу, разносящую грену... Он подбирается к Сапаровой! Затем перед ним мелькнула Насу. Он кричит самому себе: «Гони сюда Насу». А там какая-нибудь третья... А так как он хочет, видимо, прожить долго, то он уважает медицину, лекарства, больницы, да и сам подлечивает — не себя, а других. Исходя, видимо, из этого уважения к медицине, а также из того положения, что в нашей республике не хватает врачей и врачи к нам едут очень неохотно, он рассчитал так: «Пока там найдут хорошего врача, а мне, если строительство совхоза не выйдет, мне дадут заведование больницей». Вы спросите, а Умакбеев, разве

он его в расчет не берет? Как не берет! Хм все берет в расчет. Но Умакбеев, хотя в данное время человек могущественный, крепок в туркменском комсомоле, инструктор, — он изобрел какую-то там деталь, очень важную в шелкомотальных станках, которая и удешевляет и ускоряет производство, — хотя и любит и знает свое дело, но Умакбеев имеет огромный недостаток, который может быть сейчас и незаметен, но позже, когда Умакбеев развернет свое строительство шире и сам не сможет за всем уследить, а авторитета его будут слушаться, этот недостаток может принести ему прямой и явный вред. Этот недостаток Умакбеева заключается в том, что он безмерно добр.

— Ну, уж и нашли вы, Менгли, недостаток.

— Доброта эта не есть доверчивость, — спокойно продолжал Менгли-Мамед, — доверчивость ко всем и каждому. Нет, он чувствует доброту и снисходительность и даже восторг к людям с большими горизонтами. Едва он увидит, что человек обладает таким горизонтом, направленным в сторону пролетариата и беднейшего крестьянства, так он способен учесть в хорошую сторону все, что бы такой человек ни наделал.

— Так, но зачем же сидеть Хм в больнице, если у него есть всюду связи и всюду переписка?

— А затем, что ему нужно пересидеть, так как Умакбеев может из-за своих горизонтов влипнуть и потащить за собой Хм. А Хм прикреплен к больнице, тем более что всегда можно выдумать эпидемию! Хм ни при чем! Ведь выдумал же он в своих диаграммах и обследованиях, что в Кара-Чалинском районе в данное время семьдесят восемь процентов населения больны сифилисом и два и три четверти процента — проказой!

— Вы говорите чудовищные вещи, Менгли!

Менгли-Мамед не обиделся на мою горячность и про себя пробормотал:

— Эпидемия на случай того, что по случаю вашего приезда строительство будет обследовано.

— А как дело обстоит с рабочей силой и с пищей?

— Рабочей силы почти нет, она разбежалась. С пищей тоже плохо.

— А профсоюзная работа?

— Она замерла.

— Извините меня, Менгли, но, может быть, вас раздражила как раз эта сторона дела на строительстве.

Известно, что на строительствах, где плохо обстоит с хлебоснабжением, — в условиях Средней Азии это вещь вполне объяснимая, — естественно, что там рождаются и растут самые отвратительные слухи о руководителях строительства.

— И я поддался им?

— Могли, незаметно для себя.

— А председатель рабочкома кто? Товарищ Чевелев, родственник Хм. А кто продовольствием заведует? Мордвинова, родственница Хм, приехавшая из Саратова. А кто агитработу ведет, просвещением ведает и разъясняет пятилетку? Сеид Юсупов. Родственник? Тоже родственник, а вообще картежник.

Менгли-Мамед поправил папаху и скорбно посмотрел на дорогу.

— Счастливо быть, бригадир. Когда меня везли сюда на автобусе, я подумал: «Стоило тебе, Менгли, жить семьдесят лет, к концу шестидесятилетия быть в ударной на озокеритовых, чтобы вытрясти внутренности таким позорным способом». Отсюда я решил идти пешком. Я понимаю наслаждение пешеходства, но оно будет испорчено тем, что вы, бригадир, не уразумели сути вопроса, высказанного мной. В этом смысле нам не мешало бы еще побеседовать, но я должен спешить, так как поздно вечером в Доме дехканина трудно получить ночлег.

Мы расстались с Менгли-Мамедом вроде как бы несколько смущенными — он тем, что не смог полностью убедить меня, а я тем, что защищал неизвестное мне лицо, именно Хм. Но защита моя вполне понятна, так как мы, искренне любящие стройку в СССР, всегда с горечью и медленно рассматриваем недостатки таковой. Многому, конечно, мешает процесс переделки человека как внутренне, так и внешне, — но все-таки... одним словом, с легкой грустью вскарабкался я в седло.

2

Признаться, разговоры Менгли-Мамеда навели меня на различные соображения. Стал и я выспрашивать Умакбеева. Вижу, парень толк имеет, но в пункте о Хм и его работе сведения его сбивчивы и больше все восторженностью отделывается, каковую нам хотя и

приятно иметь, но деловой подход и, главное, спокойствие лучше. Кроме того, стал я думать, что, имея такой наступательный размах и темпы, Хм может испозорить нас, то есть московскую бригаду, в доску, — и потому предложил я товарищам, во избежание подвоха и пока не выяснено подлинное отношение Хм к строительству, занять выжидательную позицию и, главное, не учить. Медведев, наш сотоварищ по бригаде, как я уже сообщал неоднократно, обладавший отличной выдумкой, когда я ему передал слова Менгли о Хм, выразил жестокое желание вступить в стычку с противником, вогнать такового в угол и вообще вскрыть.

Однако же все шло отлично и гладко. Приехали мы к конторе, где временно расположилось управление совхоза; помещалась эта контора в покинутом медресе — духовном училище. Сидим мы это на веранде, где кругом деревянные крашеные столбики (колонны), неизменный чай и неизменные расспросы о Москве и ее строительстве.

И вот идет по направлению к нашей веранде человечище, с клюкой и с такими челюстями, что за версту их видно! Видно и всем понятно, что если ухватит он такими челюстями хоть тысячу пудов, — не выпустит и будет нести многие километры. Вообще-то весь он походил, как бы сказать, на клещи, заржавленные, рыжеватые, самодельные такие, и возраста неопределенного. Хм! Опустился он подле нас, пропыхтел и говорит так, как будто кому диктует, с остановками и вдумчиво. И всем нам показалось даже, что пишущая машинка рядом стучит и чей-то тоненький, тоненький и почтительный голосок отзывается: «точка!»

— Вы как?.. По документам... ударите... или... по натурвидам? — спрашивает нас Харитон Матвеевич Корнеплодов, он же Хм.

Умакбеев посмотрел на нас с удовольствием, дескать, вот голова, вот подход! Без всяких предисловий, в лоб! Но мы тоже насмотрелись, шатаясь и по Азии и по Европе, разных подходиков. Мы тоже знаем, что дело не в документах и что со стороны документальной тут не подкопаешься, все обосновано и все согласовано. Умакбеев было по своей молодости начал, указывая на него:

— Упорный, скала! Непременно желает у больницы второй корпус достроить и, когда я сегодня в лесоматериале отказал, страшно обиделся. В шорах ты, милый

Хм, в шорах! Стройматериалу я тебе не дам, а то ведь даже и товарищи, не знающие наших необыкновенных темпов, могут заметить, и спросить, и написать даже: почему это у тебя, дорогой Умакбеев, больница выстроена, а под шелкомоталку только фундамент подведен? Как я им отвечу? Нет, не могу я дать тебе стройматериалу, вот при всех говорю: не дам! Обождет второй корпус.

Здесь Харитон Матвеевич отпустил такое мощное «хм», что я сразу понял и почему его прозвали так неблагозвучно и коротко, и всю его духовную суть. «Хм» это было такого свойства, что испустить его мог только или слон, или паровоз самой прекрасной и новомодной марки; от этого «хм» содрогалась в человеке вся его внутренность, и все мы, привыкшие к различным боям и снарядам, слегка конфузились; это «хм» говорило нам, сколько прочитано и усвоено им книг, брошюр и докладов, на скольких конференциях он побывал, сколько он слышал ораторов и сколько раз сам выступал как в ревизионных комиссиях, так и в резолюционных. А какие он имел собеседования! А какие он развивал и исполнял проекты! Да, мы поняли.

— Начнем с натурвидов, — сказал я, — мы в шелковом деле мало понимаем.

На том наши разговоры и кончились — решили мы осматривать совхоз «Кара-Чала» с завтрашнего утра.

Принесли плов, но и за пловом Хм не сказал больше ничего, хотя все, и Насу, сестра Умакбеева, существо еще не оперившееся, видимо едва покинувшее школу (действительно похожее на коробочку с хлопком, еще не распустившуюся: откуда-то и вата торчит, откуда-то и нити, из которых соткет время полезные ткани), и Чевелев, и Мордвинова, и Сеид Юсупов, человек с постоянно ныряющими руками, смотрели внимательно и ждали от Хм речей и лозунгов. Увидав плов, Хм достал из кармана деревянный футляр, а из футляра того ложку с какой-то стертой надписью.

— Ложка! Шестнадцать ранений! — восторженно обронил Умакбеев.

— Всем говорю... — загудел Хм, — не преувеличивайте... шесть, а не шестнадцать... Хм...

— Шесть! — пискнул Чевелев.

— Совершенно верно, шесть! — подхватила Мордвинова с жадностью необычайной.

Хм посмотрел на них строго — и опустил ложку в плов. И все прочие опустили пальцы, так как плов ложками в тех местах не едят.

Подзаправившись, пошли мы гулять по кишлаку, но, видно, так уж пришлось, что с Хм встречаться нам нужно было в тот день не раз.

Вторая наша встреча произошла у окна комнатки, в которой жил Умакбеев. Услышали мы только обрывок разговора, но и тот обрывок был очень поучительный. Говорил взволнованно Умакбеев:

— Позволь, но как же я могу отдать тебе лесоматериалы? Мне необходимо строить наконец. Достаточно для тебя и одного корпуса.

— А если?.. недостаточно?.. — протянул Хм.

— Подождешь! Мне шлют бумаги, требуют отчетов, а я им все — больница и больница. Им может, наконец, надоесть больница. Я за все строительство отвечаю или не я?

— Ты!

— Так вот и суди, я должен строить, а ты мне говоришь — отдай стройматериалы. Не могу я их тебе подписать! И не суй распоряжение. Не суй, Хм.

Молчание. Затем Умакбеев сказал пониженным голосом:

— Ну, хотя половину мне оставь.

— Пиши все. Ты еще достанешь.

— Да где же я достану, я и так этот в счет второго квартала взял!

— Пиши. — Молчание. — Хм! Пиши. — Молчание.

— Ну, черт с тобой, не дыши ты так на меня, подпишу!

В окне показалась рыжая, довольная и потная голова Хм. Он осмотрел весь горизонт, нас не увидал, конечно, а если и увидал, так из-за злости не подал виду. Дыхнул на весь горизонт добродетельным постным маслом — и скрылся.

Признаться сказать, от окна мы отошли ошеломленные. Медведев, как наделенный более веселым воображением, передразнил голосом Умакбеева: «А вот и не дам на больницу стройматериалы!»

Третья наша встреча произошла возле арыка, вдоль которого направились мы несколько попозже в надежде найти такое глубокое место, где можно было б окунуться: жара замотала до скуки. Так нет же, возле этого

самого тенистого и, видимо, самого глубокого места лежал растянувшись Хм. Клюка его была приставлена к тополю, босые ноги его в нарочито рваных сандалиях упирались почти в лицо Насу. Плюнуть бы на такие корявые и вонючие ноги, а не сидеть бы возле них с разинутым птичьим, доверчивым ртом, как то проделывала Насу. Эх, молодые товарищи, молодые товарищи, как часто и как легко вы заблуждаетесь! Хм тянул медленно, как самой плохой машинистке; с презрением, стервец, тянул, с усмешкой, уткнув в среднеазиатскую небесную бесконечность рыжий клок своих патл:

— Итак, ты утверждаешь, что в строительстве... нашем... они, приезжие, больше понимают, чем я, технорук?

— Когда я утверждала это, Хм?

— Я вас просил не однажды бросить эту собачью кличку и звать меня так, как меня звали не только в России, но и в моих заграничных командировках, то есть Харитон Матвеевич. Или трудно?

— Трудно.

— Ах, для вас трудно называть меня с тем почтением, которое я заслужил многими трудами в пользу республики. Возможно, вы и труды мои презираете и не признаете?

— Их все признают!

— А вы? А вы признаете? Отвечайте, гражданка!

— И я признаю.

— Отлично. Вот почему я хочу, чтобы вы звали меня Харитон Матвеевич, а если для вашего восточного языка трудно это запомнить имя, которое упоминается во многих энциклопедиях, выпускаемых нашими издательствами, имя, которое никак и нигде не было опорочено и в чистках упоминалось не иначе как с полезными и форсированными прилагательными, то я вам предлагаю компромисс — вы можете звать меня просто товарищ Корнеплодов. Полезная фамилия! Фамилия, которая напоминает вам, что вы должны неустанно думать о сельском хозяйстве и его развитии. Я — технорук, я строю шелкомоталку, но в то же время я кричу своей фамилией: «Корнеплоды, думайте о корнеплодах, думайте об увеличении посевной!» А вы, Насу, утверждаете, что приезжие больше меня в строительстве понимают!

— Да я не утверждала этого и не думала утверждать. Наоборот, я все время хвалила вас, и брат мой вас все время хвалил.

— А... хвалил. Меня мало хвалить, меня нужно поощрять, а поощрение должно быть не только устное, но и деловое. Зачем пускать сюда бригады? Кому они нужны? Осмотрят, и нос кверху! Дескать, мы можем построить больше и скорей. Так и стройте, так и нечего вам разъезжать. Ставите вы мне вопрос о доверии, я вас, Насу, спрашиваю?

— По-моему, нет.

— Это по чьему — по-моему? По вашему лично или по мнению вашего брата тоже?

— По моему лично.

— Удивила, удивила! Очень мне нужно ваше доверие. От вас мне нужно поклонение и уважение. Сколько я имею ран для того, чтобы вы спокойно развивались, учились и других учили?

— Шесть.

— Так вы поверили, что шесть. Шесть — это тяжелых шесть, а остальные десять легкие. Итого, выходит — шестнадцать! А душевные раны? А за то, что я передумал? Палку видишь? Клюку?

Она уставилась на громадную клюку, прислоненную к тополю. И клюка-то у него походила на все его движения, на его голос — ровная, квадратная и как бы с зубами.

— Вижу.

— Подай!

Она направилась. Грозное «Хм!» распростерлось над нею. Честное слово, товарищи, но она присела, да и мы, привыкшие ко многим человеческим словам и звукам, вздрогнули дюже. Он опять начал диктовать и диктовал-то как: медленно, изображая, что ему тяжело и противно говорить, хотя сам, видимо, наслаждался говорением этим:

— Как идешь? Так ли должен свободный человек, свободная женщина нареченному своему, в тяжелых и горестных боях потерявшему опору, подавать его клюку? Ты должна радоваться, что подаешь клюку, что человек еще может, напрягая свои силы, работать на пользу социалистического строительства, что мозг его еще не иссяк! Ты, думая такие возвышенные мысли, подавая клюку, даже подпрыгиваешь от радости, и ты

даже от радости и оттого, что достойному человеку поднесла свою молодость, ты перепрыгиваешь через клюку. Радуешься ты или не радуешься?

— Радуюсь, Хм.

— Опять Хм!

— Радуюсь, товарищ Корнеплодов!

— Так прыгай, прыгай, не бойся. Ты совершаешь прыжком этим прыжок в сознание, что мы на правильном и неизменном пути.

— Но мне смешно прыгать через клюку, когда я через нее перешагнуть могу.

— Перешагнуть каждый может, нет, ты перепрыгни!.. Из уважения перепрыгни!..

— Если вы настаиваете, товарищ Корнеплодов...

— Между нами нет никаких производственных отношений, чтобы я мог настаивать. Я мысли свои, относящиеся к молодому поколению, желал бы видеть воплощенными. В этом суть вопроса. Вы недостаточно энергично мыслите...

Ей, должно быть, надоело слушать поучения, и она прыгнула через клюку и, прыгнувши, засмеялась. Хм чрезвычайно обиделся на этот смешок, он вырвал у нее клюку, пробормотал, что дальнейший разговор продолжит в свободное время, и направился вперед по арыку. Девушка смотрела ему вслед задумчиво, и задумчивость эта мне чрезвычайно понравилась, а мой приятель по бригаде, Медведев, был разозлен необычайно и сказал, что Хм гуляет не зря; Хм как бы проверяет свои посты и организует на нас нападение; мы же, в силу поставленных им условий, должны его или уничтожить, или ликвидировать до полной его безопасности, вскрыть его, а посему сейчас же следовать за ним дальше и слушать то, что он будет изрекать. Как нам ни было противно, но мы не могли не согласиться с мнением товарища Медведева, и в результате он оказался прав.

При разветвлении арыка, возле хлопкового поля, Хм встретил вторую девушку, тоже, по-видимому, из туркменок, и мы сразу догадались, что это была инструктор по шелководству Сапарова. Девушка эта была с виду гораздо простодушнее, чем Насу, но зато превышала последнюю здоровенным своим сложением, легкостью и свободой движений, к тому же, как мы узнали несколько позже, легкость ее движений и явная ее

любовь и уважение к своему здоровью обуславливались тем, что она считалась чемпионом бега Мервского оазиса. С ней Хм держался иначе, не так капризничал, не так был многословен, здесь он брал на здоровье и на решимость. Когда мы подошли поближе, он норовил ее уцапать, но девица выкатилась из его рук так ловко, что мы слышали, как он стукнул ладонями своими одна об другую.

— Верите ли вы слову старого бойца? — воскликнул он.

Девушка с удовольствием смотрела на свои босые ноги.

— Обедать мне пора идти. Я обед сама готовлю.

— Я вас спрашиваю, верите?

— Чему?

— Тому, что я вам обещаю.

— А именно?

— Ну, тому самому...

— Вот вы мне уже неделю говорите, что откажетесь от женитьбы на Насу, а где же ваш отказ?

— Сегодня же... Нет, сегодня не могу.

— Ну вот, а лезете с объятиями!

— Сегодня у меня доклад перед ответственными товарищами из Москвы, завтра днем — показ производства, а вечером... что же, вечером завтра на ваших глазах я откажусь от Насу и от всего, связанного с этим. Но вечером же вы должны содействовать тому, чтобы мои ладони не шлепались бесцельно в воздухе, мои ладони еще понадобятся республике, моими ладонями не нужно бросаться.

— Кто ими бросается? Вы сами бросаетесь. Но вы утверждаете, что скажете на моих глазах?

— Утверждаю.

— Скажете: «Насу, я отказываюсь»?

— Да, и еще более резко.

Она впервые, наверное, посмотрела на него с уважением.

— Я верю вам, для меня понятны та честность и те знания, которые видят у вас, Хм. Вы представились для меня в новом свете. Бегать вы не пробовали?

— Бегать?.. Как бегать?

— Для начала на короткую дистанцию.

— Ах, так, нет, не пробовал.

— Я вас научу. Это очень приятно, Хм.

— Я больше теоретик, особенно по такому делу, как бег.

— Итак, разработаем необходимые организационные меры. Когда и куда мне приходить завтра вечером, Хм?

— В девять вечера к тумбе, возле которой умер Индус.

— В девять вечера к тумбе, возле которой умер Индус? Буду. Пока.

— Пока.

3

Если бы мы сделали определенную целевую установку на злость, а не раскинули бы свои мысли шире (собеседования с рабочими, расспросы, чтение койкаких материалов), то, естественно, на другой день, при показе нам почти готового здания больницы совхоза и шелкомоталки «Кара-Чала», мы вынуждены были бы признать достижения и достоинства Хм. Показывает он нам палаты и надписи на дверях, что вот, мол, здесь хирургическое отделение, а здесь терапевтическое, а здесь зубное или какое иное, а мы бы и ходи, как ослы, хлопая ушами. Нет, с нами так не было! Мы уже многое знали к тому моменту, когда повели нас по палатам и возле изразцовых печей. Честное слово — изразцовые! В Средней Азии стоят и красуются громаднейшие изразцовые печи, которые разве что для Мурманска годны. Знали мы уже, что Умакбеев все на своем горбе несет и преисполнен всевозможного рвения, что он-то и есть и технорук и управляющий, а Хм диаграммы да таблицы составляет вместе со своими родственниками. Знали мы, что Умакбеев необходим и важен для строительства и что с Умакбеевым необходимо обращаться осторожно, — но как тут обращаться осторожно, когда в силу его доброты и восторженности произошла такая оказия, — и ума приложить некуда!..

Должно заметить, — и для пояснения кое-чего дальнейшего, кое-каких наших выводов, — что осмотр мы начали с фронтона. Видим — на фронтоне вывеска странной и даже невозможной формы — не то напоминает кастрюлю, не то ложку. Удивились мы, а Умакбеев, указывая на Хм, говорит:

— Обратите внимание, блестящая мысль товарища Хм! Вывеска имеет форму ложки.

— Ложки, — согласились мы.

— А почему ложки? — имеет право спросить нас всякий. — Замечательный замысел! Крепчайший замысел, достойный нашей эпохи. Что есть ложка? Ложка есть культура для Средней Азии, так как здесь все едят пальцами. Ложка, кроме того, есть и эмблема лечения, так как через ложку текут в человека различные препараты. Я и сегодня без того целую ночь каялся, что не дал лесу для внутренней отделки, но теперь понял свое заблуждение!

— То-то... — пробормотал Хм.

— Признаюсь, признаюсь!.. Ловко насчет ложки-то.

— Ловко, — ответили мы, входя в вестибюль.

Лестница. А во всю площадку на лестнице диаграмма: туркмен с провалившимся носом, в руке цифру держит: «70%». Это что, мол, такая за пакость? Что, мол, за гнусное обобщение и клевета?

Умакбеев молчит. Хм поясняет нам с презрением таким:

— Семьдесят процентов бытового сифилиса.

— Где?

— В нашем районе. Возможно, и во всех окружающих, которые еще не обследованы.

— А в вашем районе кто обследовал?

— Так... Разные люди.

— Вы их фамилии нам сообщите?

Хм немного осекся. Не догадался он, что на осмотре этого плаката многое нами замышлено. Он думал, ну, пройдут мимо плаката, разве что художника похвалят, а кому же в голову придет цифры проверять? Не предполагал он также, что для Умакбеева плакат этот, можно сказать, самое больное место был: не верил он, чтобы в Кара-Чалинском районе такой процент существовал, да и вообще такой процент невозможен. Но из деликатности своей в споры он не входил: мало ли какие, дескать, бывают заблуждения у великих строителей.

Услыхав наши разгоряченные возгласы, Умакбеев сказал:

— Возможна ошибка, но ведь должно и то понять, что диаграмма не закон, а есть штрих к закону, запятая. Вы самую мысль строительства больницы усвоили?

Здесь, и на производственных совещаниях, и у меня в кабинете, и в Шелкотресте дорогой товарищ Корнеплодов проводит блистательную мысль, подтверждая ее цифрами и фактами и цитатами. Он говорит: «Мы открываем больницу, и дальше, пока строится и развертывается совхоз и фабрика, я даю вам здоровье и крепкое рабочее окружение, которое к тому времени будет излечено моей больницей и моим персоналом от всех заболеваний». Вот, возвращаюсь ко вчерашней ошибке: не давал я стройматериалу! А Хм клуб при больнице оборудует, и стройматериал необходим ему для сидений и для оборудования сцены. Рабочая сила вольется в наш совхоз и в нашу фабрику, не только здоровая, но и веселая, и жизнерадостная, и культурно обслуженная, так как она перед тем будет пропущена не только через больницу, но и через кино и клуб! Блестяще!..

— Блистательная мысль, — сказал я злорадно и с такой силой, что и Хм и даже Умакбеев обеспокоились. — Как же, и семьдесят процентов будут излечены?

— Постараемся, — ответил мне Хм.

— Блистательная мысль, перспективная. И эти семьдесят процентов пройдут через клуб и кино?

— Постараемся, — опять бормочет Хм.

— Вы что же, товарищ Корнеплодов, врач или отношение имели к врачам?

— Никакого отношения к врачам я не имел и врачом не был, но я помню лозунг, что в здоровом теле здоровый дух, а в условиях Средней Азии тем более.

— Исходя из этой точки зрения, вы, товарищ Корнеплодов, считаете правильным подобное плакатное и диаграммное обвинение всего туркменского народа в семидесяти процентах? Для чего же вы считаете это обвинение правильным?

— Для оздоровления. Зачем и больницу строить?

— Согласен. А обеспечена ли эта больница, если вы осмеливаетесь повесить такой непроверенный плакат, обеспечена ли, спрашивает вас бригада, больница врачебной и медикаментной силой?

Умакбеев посмотрел на Хм в полном удивлении.

— Слушай, Хм, но ведь об этом-то мы и не подумали! А плакат вывесили.

Но хоть Умакбееву и не хотелось обижать Хм и как ни тяжело ему это было, но, будучи парнем искренним

(да и рад был удалить клевету на родной народ), сказал он с некоторым напряжением присутствующему при нашем разговоре служителю:

— Снять немедленно плакат!

Мы, признаться, ожидали, что Хм пойдет на ссору и брань и будет защищать свою клевету, но Хм был хитрее. Он сказал:

— Снимите. До проверки.

Итак, отягощенные различными мыслями, всяк на свой лад, направились мы после осмотра больницы к шелкомотальному строительству с его не только невиданными, но и неожиданными темпами.

Лёссовая дорога к строительству была изрыта тракторами. Мы ждали шума и ругани. Ждали, наконец, тракторов. Народ должен же наконец повстречаться. Тишина. На громадные пространства вокруг нас простирались саженцы тутовых деревьев. Поднялись мы на пригорок. Несколько туземных кирпичных заводов, похожих на пирамиды, как я их понял по картинкам, дымились нехотя. Десятка два каменщиков да еще родственники Хм лениво бродили по постройке, которая возвышалась не больше сажени над общим уровнем пространства.

— У вас ночью, что ли, работают? — спросил я.

Хм даже как-то обиделся язвительно:

— Зачем ночью? Ночью мы обыкновенно спим. Работаем днем.

— А сейчас перерыв?

— Зачем перерыв? Сейчас-то и есть работа.

Обратился я тогда недоуменно к Умакбееву:

— Бригада, надо сознаться, действительно удивлена такими темпами. В чем тут дело?

— Так я же объяснял, в чем дело. Дело в больнице. С нее мы и решили начинать темпы. С неожиданного конца! С такого конца никто к строительству не подходил. Вот товарищ Корнеплодов вам может огласить прекрасную и дельную записку, которую он недавно составил и еще не успел переслать в трест. Там и цифрами доказано...

Спрашивает бригада у Хм:

— Жилищные условия для рабочих здесь приблизительно таковы же, как и у строительства больницы?

— Приблизительно.

— То есть отвратительные?

— А вы разве наблюдали? — спрашивает он с некоторой опаской. — Когда это вы успели?

— Да вот пришлось. И пища такова же? Столовая есть? Нету? А много ли утекло за весну?

— Сорок три процента.

— А не преуменьшаете ли? А не шестьдесят семь процентов?

— Разве? Откуда известно?

— Да вот пришлось! В докладе вашем, товарищ Корнеплодов, вы кидаете мысль, что чем дольше будет продолжаться развитие строительства шелкомотальной, тем полезнее и для шелководства и для республики. Мысль парадоксальная, но если вдуматься, то очень и очень ясная, — говорите вы. С одной стороны, благодаря больнице и здравоохранительным мерам профилактики мы выдвинем на фабрику исключительно бодрый человекоматериал, а с другой — подрастут тутовые саженцы, которые дадут пищу для коконов. Так? Поэтому вы и взяли лесоматериал из первого квартала и то, что у вас должно было бы строиться в последнюю очередь, вы выдвинули в первую? А?..

— Совершенно верно, — пробормотал Хм, — но меня удивляет... ваш способ разговора! Установка и цифры верны...

— Вот и я тоже насчет разговора, резкости... — вставил было Умакбеев. Я его отодвинул:

— С тобой мы будем особо, парень, разговаривать. Я разговор пустил исключительно для Хм. Итак, из первого квартала вы взяли лесоматериал и вообще материал для больницы, из второго квартала вы взяли и берете стройматериал из того количества, которое необходимо для постройки бараков для рабочих? Вы строите кресла для клуба, в то время как у рабочих нет столов и коек для спанья и шестьдесят семь процентов их покинуло строительство. Вы напишете: от жары! Вы свалите на продовольственные затруднения, недостаток воды, может быть. Нет, гражданин, все теперь ясно. Станки для шелкомоталки доставлены, а где они стоят?

Умакбеев даже обиделся:

— Они стоят на месте. В специальном сарае.

— Простите, сарай сломан третьего дня.

— Как? А по чьему распоряжению?

— По моему, — ответил Хм мужественно и даже со злостью. — Мне понадобился лес, а для станков можно выстроить и глиняные сараи.

— Как глиняные? — закричал Умакбеев. — В период дождей — и глиняные! Станки же заржавеют, Хм? Безобразие! Бесхозяйственность!..

— Почистим кирпичом!

— Как кирпичом? Кирпичом чистят только самовары, да и то — глупые люди.

Мы с радостью наблюдали, что Умакбеев начал понемногу прозревать, но прозрение это необходимо было держать на известном подъеме, потому что в любую минуту Умакбеев мог прильнуть к цифрам и сметам, которые навалит перед ним Хм, и тогда опять закроются очи Умакбеева, да и, кроме того, даже сейчас, на наших глазах, после таких потрясений, которые он испытал, Умакбеев смотрел на Хм несколько с раскаянием, что возвысил голос и возмутился. Тогда я сказал Умакбееву то последнее, что я берег, и слова эти на него подействовали с жестокой силой. Он даже ровность свою потерял и немедленно же ушел.

— Я говорю вам, Умакбеев, как рабочий пастуху, которым вы являлись в вашем детстве и отрочестве и откуда вас выдвинули в строители. Мы с вами позорим те организации, которые послали нас переделать жизнь Средней Азии. Я утверждаю, и вы убедитесь, что Хм — прохвост и мошенник, и убеждение это явится к вам сегодня, не позже десяти часов вечера.

4

В связи с отпущенными сроками для окончательного просветления Умакбеева необходимо нам было форсировать события, и в форсировании этих событий мог нам помочь только один Медведев, наш приятель по бригаде, человек, награжденный умом комбинатора и весельчака. Мы не могли идти по линии административной, так как Хм и его сподвижники всегда могли доказать, что отчетность первого квартала строительства в полном порядке и целости, а во второй квартал строительство несколько сократилось, так как рабсила отхлынула на посевную хлопковую кампанию. Нам нужно было показать Умакбееву, что он-то и есть настоящий и честный

руководитель строительства, а что Хм — трепач и жулик.

Но как убедить человека, который, не в пример многим нашим строителям, думает, что делает не он, а другие за него, а он только вывеска от имени пролетариата и никуда не годный выдвиженец, которому пора вернуться к своим стадам и к своему пастушескому бичу. Трудность нашей просветительной работы заключалась еще и в том, что Хм был не просто жулик, а жулик убежденный; жулик с просветительными линиями в своей душе; жулик, который думал, что он несет обогащение и подъем хозяйства среднеазиатцам; жулик, который и родственников своих выписывал не так, чтобы черкнул: «Приезжай, мол, Миша», нет, он Мишу этого в Мерве сначала по профсоюзной линии пустит, по собраниям его протащит, речи ему составит и еще куда-то в сторону на практику пошлет, а затем сам же и расхвалит: «Вот целевой работник, вот мозги», — и тогда только вытащит этого самого Мишу к себе на отличный оклад и на прекрасно организованное воровство.

— Да, — сказали мы, — прав был «изчи», следопыт Менгли-Мамед, и верно раскусил Хм!

Главное, что нас убивало в этом деле и почему мы должны были приступить к нему с величайшей осторожностью, — эта разновидность молчаливого гада, называемая Хм, с его цифрами, и докладами, и планами, и цитатами, могла погубить высокоталантливого работника Умакбеева, потому что, случись какое несчастье или всплыви недостатки, так Умакбеев на себя всю вину принять может.

Некоторые из нас предлагали немедленно направиться в представительство Шелкотреста в Мерв с тем, чтобы провести там кампанию по вскрытию мощей Хм, но я, как человек несгибающийся и мало доверяющий нашим, по правде говоря, порядком обюрократившимся трестовикам, настаивал произвести вскрытие на месте, не щадя ни Хм, ни себя.

— Ну, — говорил я, — пусть мы скомпрометируем нашу поездку, пусть нас отзовут и дадут нам нагоняй наши организации, но польза все-таки для Умакбеева будет заключаться в том, что он будет на следующий раз более настороженно относиться к подобным Хм и их проектам.

Медведев лежал на койке в задумчивой позе и в зеленых трусах, лежал он так, лежал, слушал наши пререкания, а затем и попросил слова.

— Слово принадлежит товарищу Медведеву, — сказал я.

— Я буду краток. Не знаю, как для вас, а для меня основным и решающим условием вскрытия Хм является его личность. Вот он утверждает, что он не врачебная сила и отношения к тому не имеет Почему же он строит больницу? Почему же он кидается на каждом шагу терминами, и, главное, почему он вывеску делает вроде ложки, и откуда такой больничный восторг, в то время как вам известно по всей истории революционной борьбы, что не больницы исцеляли классы, а коренная перестройка всего быта. Итак, он не врач! Но надеяться на заведование больницей он, видимо, имеет какие-то основания и полагает, что он обладает достаточным количеством знаний для этого. Нет, здесь что-то неладно! Вы меня всегда упрекаете, товарищи, и правильно упрекаете, что я слишком много обращаю внимания на личную жизнь наших противников. Но личная жизнь зачастую помогает увидеть существо человека. Что есть Хм в личной жизни, поскольку мы успели наблюдать? Он есть прохвост! История с Насу, которая еще не развязалась и остановилась сегодня на девяти часах, показывает нам истину моего утверждения. А то, что он понимает во врачебном деле, для меня доказывает еще одно обстоятельство. Перед нашим расставанием Хм сказал нам о желании своем пройти вместе с нами к станкам для шелкомотальной, так как, мол, он в этом деле не понимает, и посмотреть на месте, портятся станки или нет... Кстати, вон идет он через двор... Что же предлагаю я? Я предлагаю вам лечь всем в постель, почувствовать себя больными после обеда, а я вас буду выслушивать.

— Зачем же ты будешь нас выслушивать, Медведев?

— А затем я вас буду выслушивать, что есть врачебная струнка в Хм. Попробуем уловить эту струнку...

— Он мог подвох задумать со станками?

— Тем более не стоит нам идти туда с ним.

Растянулись мы попрямей, а Медведев стал похаживать среди нас и постукивать нам по грудкам с видом лекаря.

5

Шальное предложение Медведева имело совершенно неожиданный и чудной результат. Вот и говори после этого, что есть мошенники с холодным сердцем! Хотя здесь можно принять во внимание, что Хм предполагал тем вечером осуществить свой соблазнительный замысел насчет инструкторши, а сами знаете — кто пользовался среди женщин малым успехом, тот обман над девицей ценит в высокую цену, почему Хм и волновался и не держался крепко на руле своих мыслей, а хитрейший Медведев очень ловко и здорово проколол его камеру, и машина застопорила.

Но вернемся к делу.

Входит Хм, деловито опираясь на свою клюку, осторожно притворяет дверь, как любивший показывать свою осторожность и вдумчивость, и вдруг пристально и недружелюбно осматривает те штуки, которые проделывает над нами Медведев. Недружелюбность на толстой и рыжей его морде быстро вырастает в презрение, и говорит он:

— Откуда у вас, товарищ рабочий, знахарские замашки?

— Это почему же знахарские? — с ловко деланным сокрушением отвечает ему Медведев. — Не знахарские, товарищ Хм, а диагноз ставлю!

Хм возмутился так, как мы его всеми предыдущими упреками и в сотой доле возмутить не могли. Покраснел неожиданно, клок у него на лбу вспотел, клюку отставил.

— Диагноз?

— Да, диагноз.

— Вы утверждаете, что таким путем исследуют и ставят диагноз?

— Утверждаю.

— Да знаете ли вы, что такое диагноз?

— Знаю!

Хм завопил и кулаки поднял.

— Черта вы знаете, а не диагноз! Диагноз — это в медицине все! На диагнозе зиждется и цветет слава врачей самого мирового свойства. Благодаря удачному диагнозу врач может подняться и может быть пропечатан во всех медицинских журналах нашей планеты.

А со второго удачного диагноза он уже станет чудодеем и прорицателем. А вы стучите пальцем по груди и хотите поставить диагноз. Инструменты надо иметь и практику!

Хм необыкновенно взволнованно пробежался по комнате, посмотрел в окно и, должно быть, думая, что перед ним больные, которые балуются, а не рабочая бригада, горячо заговорил:

— Вот я раз поставил диагноз, так это был диагноз! Фельдшером я околачивался в военном госпитале... в Крыму... Лежало у нас в отдельной палате и страдало некоторое виднейшее лицо. Все врачи его обследовали и щупали. «Да, — говорит это виднейшее лицо, — нестерпимые боли в желудке, а откуда и почему — неизвестно!» А между тем виднейшему этому лицу через две недели нужно в бой войска вести. Естественно, что диагноз поставить необходимо в самом скорейшем времени. Профессора и врачи в отчаянии. Стою я ночью на дежурстве, мучается мой больной, многочисленные стоны наполняют комнату, весна врывается в окна. Больной распахнулся в жару, и смотрю я на его живот, и думается мне, что очень странной формы у больного опухоль, от вечерних теней, соприкасающихся с весенним дуновением листьев, имеет вид как бы ложки. Да, именно ложки, а не чего-либо иного! В пот меня и в ужас ударило. Разбудил я его и спрашиваю: «Вы, мол, извините за нескромный вопрос, как-нибудь ложки глубоко не засовывали?» Смотрит тот на меня и даже обида в лице: такое значительное лицо и вдруг — ложка! «Я, я? — говорит он было мне в негодовании, но вдруг скис, опустил свою знаменитую голову и признался: — Точно, говорит, выпил три недели назад и что-то усиленно ложкой при закуске в горло пихал, огурцы то ли были, маринад ли какой — не помню. И еще с утра першило у меня в горле... А в чем дело?» — «Так вот, — говорю я ему, — и проглотили вы тогда ложку, и надо вам ту ложку выскребать!» Важное лицо так и осел. Пришли профессора и ассистенты, он им прямо в упор: «Режьте меня скорей по диагнозу старшего фельдшера Клементьева, режьте, у меня во внутренностях ложка!» Те меня было на смех, но резать больного все равно надо, взрезали. И как бы вы предполагали? — лежит внутри важного лица обыкновенная столовая ложка. Профессора даже плюнули, в таком, дескать, глупом диагнозе один фельдшер Клементьев может разобраться, а важ-

ное лицо дарит мне ложку и сумму и говорит... — Здесь товарищ Корнеплодов сконфузился, так как понял, что сболтнул лишнее, и остальную речь свою скомкал, сжал, и с трудом смогли мы разобрать ее конец: — Важное лицо, товарищи... был... академик Лазарев, тот, который известную Курскую аномалию нашел...

— Извините, — прервал я его, — может быть, академик Лазарев и командовал вооруженными силами на юге Крыма, я его анкету не читал, но вот скажите, почему вы себя, товарищ Корнеплодов, два раза фельдшером назвали и фамилию свою открыли, которая есть у вас Клементьев?

— Не так обстоит дело... ослышались вы или выдумали. Клементьев! Что это за важная такая фамилия! Я рожден и буду жить как Корнеплодов и иначе не умру...

Страх выражался на его лице, товарищи! Хм осекся. На какой ерунде осекся, небось и самому стало стыдно! Однако трусости он ни словами, ни жестами не выявил, сделал налево, забыл и о том, что к станкам нужно нас вести, и поспешно выскочил из нашей комнаты.

6

Приближалась полноценная среднеазиатская ночь. Деревья не шелохнулись. Птиц там нету, и вообще лес там, как в музее, спокойный и пыльный. Беседовали мы на веранде у товарища Умакбеева, был здесь, кроме всех прочих, и Хм. Между различными осколками разговора спросил я у товарища Насу, если помните, смирной сестры Умакбеева: что, мол, такое за тумба Индуса, где она находится и почему так непонятно прозывается?

Она мне отвечает, что тумба Индуса шагах в пятидесяти от жилища, возле карагача и почтово-телеграфного отделения, собой беленая и прозывается так странно вот почему. Года полтора или больше приехал в Туркмению за покупками индусский купец. Желал он купить золотистых каракулевых шкурок, которые в высокой цене ходят на международном рынке — до тысячи рублей! Редкость! Обещали ему найти эти золотистые шкурки в Мервском районе (здесь неподалеку есть каракулеводческий совхоз Госторга). Ну-с, ночевать тот Индус расположился под карагачем, возле беленой и

незаметной тумбы, которая до его приезда не имела еще своего названия. Расположился Индус, и вдруг захотелось ему на ночку фруктов покушать, а в эту пору у нас от всех осенних фруктов уцелевает одна только чарджуйская дыня. «Ах, дыня, — воскликнул Индус, — отлично, несите дыню!» Приносят ему дыню, он ее разрезал, с некоторой даже брезгливостью откусил небольшой кусочек, пожевал и понял.

Но как понял! Съел одну, говорит торопливо так: «Подавай еще!» Ему вторую; съел купец и вторую. «Еще!» — кричит. Местная власть, естественно, обеспокоилась и возражает. «У нас, говорят, никто больше двух дынь не съедал, повремените малость, гражданин Индус!» А тот не вникает, орет: «Давай дыни!» И съел он, не отставая от тарелки, шесть дынь, вздохнул так легко и свободно, взглянул веселыми глазами на мир и тотчас же умер. Очень тогда на чарджуйские дыни Госторг обижался: пусть бы, дескать, сначала купец приобрел шкурки, а затем его и дынями кормить. Вот почему тумба эта носит название «тумба Индуса».

Девушка Насу была обстоятельная, любила местные истории рассказывать, начала что-то еще, но здесь услыхали мы все взволнованный голос Умакбеева:

— Что ты, Хм, как это возможно? Да никак невозможно, Хм!

Оборачивается к нам строитель и говорит:

— Он же мне отставку только что подал, товарищи! Нельзя так срывать строительство в самом начале его деятельности!.. Мало ли как я тебя обижал, Хм, надо извинять людей. Да, я погорячился, покричал, может быть, но ведь я же в сутки двадцать часов работаю!..

Хм держит обеими руками бумажку, рыжую голову склонил и говорит, как диктует, а у самого, стервеца, такая блаженная и радостная морда, так он понимает, что строитель теперь от него никак не откажется.

— Извините меня, товарищи, я обязан был понять, что давно и чересчур долго занимаю место, которое необходимо занять молодым и более крепким нервам. Да, я износился на работе революции настолько, что фамилию свою стал уже путать и вместо присвоенной мне предками, рабочими уральских заводов, — Корнеплодов, произношу Клементьев. Стыдно при такой ослабленности держать в руках огромную массу строитель-

ства. Кроме того, раздаются голоса: «Женишься, в родственники пролазишь, да и сам родственников насадил». Да, я женюсь и не отказываюсь от Насу!

Умакбеев ужасно сконфузился, побледнел, засуетился, пыл его утренний пропал, мне его, признаться, даже жалко стало. Говорит Умакбеев:

— Товарищи, Хм нам пустить никак невозможно, он необыкновенно ученый и плодовитый человек! А какие горизонты! Какие у него перспективные планы!

Смотрю я на часы, а время-то к девяти приближается, и страшно мне интересно, как это, только что подтвердив свои намерения о женитьбе, Хм сделает так, что от этой женитьбы откажется. Думаю я: должно ему сейчас уйти, и потому он изобразит или больного из себя, или такого обиженного, который ни со строителями, ни с бригадой никогда не примирится. Так оно и произошло. Взял Хм свою клюку, низко всем поклонился и со склоненной рыжей своей головой вышел.

Любопытнее всего, что нареченная его невеста Насу, по молодости лет своих полагавшая, что строительство действительно пострадает и даже остановится, если оттуда уйдет один человек, сидела ни жива ни мертва и, посмотрела вслед Хм таким взглядом, что я и ей счел необходимым сказать приблизительно те же слова, которые сказал ее брату утром. А брат ее был тоже страшно потрясен уходом Хм, топтался все на месте, вздыхал, норовил выйти вслед, но и гордость тоже ему мешала.

Взял я его за руку и сказал:

— Обещали мы вам к десяти вечера вскрыть полностью Хм и обещанное выполним! Не думайте, строительство не остановится, и Хм не герой, не гений, а вообще Хм, и больше нет ему названия. Таких Хм у нас если не много, то, во всяком случае, имеются выгнанные, и ничего, как видите, мы не пропали. И не пропадем! Идем на операцию.

Идем мы с ними, то есть с братом и сестрой, и противно у нас в думах. Экая нелепость, думаем мы, куда мы их ведем! Подслушивать, как рыжий и старый дурак будет очки втирать молодой девице. Ну, допустим, он ей вотрет под тем или иным предлогом. С которой стороны это интересно общественности? Что, вам нет другого дела, московские пролетарии? Но, с другой стороны, надеялись мы и на выдумку Медведева, успех которой всегда нас сопровождал, и предполагали еще, что если

ничего не выйдет из задуманного нами, то мы просто развеем огорчения сестры и брата в легкой вечерней прогулке вдоль арыка.

Шагаем мы прямо к тумбе Индуса и вдруг видим... стоит эта тумба, беленая, и все как следует, а на тумбе той сидит в легкой наклоненной позе девушка, и в точности как Насу, так что если б не имел я возможности прикоснуться к ней рукой, то мне нельзя было бы подумать о ком-либо другом. И сама Насу вздрогнула и говорит мне тихонько:

— Но ведь она, товарищ, в моем праздничном платье! Она есть вполне я. Удивительно!

Делает Насу два тихоньких шага и возвращается ко мне, вся дрожа:

— Да это я, товарищ!

Я, как известно, человек, спокойствием обеспеченный, я ей говорю:

— Здесь два варианта! Или это вы, но так как вы около меня, то, значит, там не вы. Или это воровка, что мало вероятно, потому что рядом с нею стоит сам Хм, или это чучело, обнаряженное в ваше праздничное платье!

Насу шепчет мне:

— Кому же интересно обряжать чучело в мое платье и почему будет стоять возле моего чучела Хм? Он человек старый и не шалун.

Поворачиваю я ее лицо несколько в сторону и говорю:

— Видите ли вы по ту сторону карагача, в кустах, белеется платье?

— Вижу, — отвечает Насу.

— Так вот это и есть та причина, по которой обнаряжено в платье чучело и стоит подле него сам Хм!

Умакбеев страшно возмутился и хотел даже уйти.

— Никогда я со стороны нашего строителя таких глупостей ожидать не мог! Если бы хоть с какими высокими целями, а то...

— Вот в том-то и дело, — говорю я ему, — что у вашего Хм никогда никаких высоких целей быть не может. Он — Хм, и больше никаких!

Тем временем я отделился от нашей компании, которая неслышно хохотала над тем зрелищем, развертывающимся перед нею, и перешел обходом на другую сторону полянки, к кустикам, возле которых сидела

простодушная инструкторша по шелководству и она же беговой спортсмен Сапарова. Подошел к ней, видимо несколько мгновений до меня, и Хм, так как я услышал его голос:

— Итак, я говорю, а вы немедленно после моих слов направляетесь на лесоматериалы и будете мне во всем консолидированы!

Простодушный инструктор, замученный, видимо, всеми сложными приготовлениями и тем, что его заставили сидеть и подслушивать в кустах, сказал убитым и усталым голосом:

— Да, консолидируюсь!

Возвращаюсь я к своим ребятам, передаю слова Медведеву, а тот даже подпрыгнул от радости. Шепчет он Насу:

— Вам, при вашей гордости и нежности и неопытности жизненной, слушать ту ерунду, которую скажет Хм, совершенно и нет расчета и нет удовольствия. Лучше вы поступите, если послушаетесь меня, пойдете тихонько к лесоматериалам, до них отсюда шагов шестьдесят, прямой тропкой, сядете там на видное место и примете приблизительно ту же позу, которую занимает здесь ваше чучело. Говорить вам не нужно и не придется. Остальное разовьется, по-видимому, в такой плоскости, в какой проектирую я.

Насу отлично сделала, что послушалась предложения Медведева, потому что, спустя несколько секунд после ее ухода, Хм заговорил медленно и громко, размахивая руками и наклоняясь в презрительной позе к чучелу:

— Я удивляюсь вашей навязчивости, Насу! Неужели вы думаете, что я способен жениться на вас только потому, что вы сестра управляющего строительством? Всеми признано, что он дурак, а вы еще более заведомая дура! Я торжественно отказываюсь от вас.

Надо полагать, что простодушный инструктор по шелководству, Сапарова, вполне удовлетворилась и вполне поверила таковому объяснению, так как, не дослушав речи Хм и ответной речи чучела, немедленно направилась быстрым и гимнастическим шагом к лесоматериалам.

Я прошу вас, товарищи, представить ночь, еле освещенную скромной луной, горы горбылей и досок, горы кирпича — и девушка приближается к ним с тем, чтобы

выслушать окончательные слова о любви и, может быть, о свадьбе.

И вдруг перед нею, на горбылях, сидит в оскорбленной позе та невеста, от которой только что отказался Хм.

Не забудьте, что девушка, товарищи, очень любит свое здоровье и верит в свой гимнастический шаг и в то, что ее в Мервском оазисе никто в беге обогнать не может.

Следовательно, она должна думать, что или ее обогнали, или она бредит, то есть, иными словами, она больна!

Естественно, девушка встревожилась и поспешила подойти поближе.

Да, она увидала скорбное лицо Насу!

Повторяю вам, что Сапарова и насморком даже во всю свою жизнь не болела, не то что чем-либо более продолжительным, а тут сразу же начинается бред.

Она отскочила и помчалась в другую сторону, к тумбе.

Навстречу ей шел вполне удовлетворенный своей речью и своей выдумкой Хм.

— Где вы оставили Насу? — спросила его торопливо Сапарова.

— Возле тумбы Индуса, — отвечал ей Хм, — а в чем дело?

Но она его оттолкнула и помчалась к тумбе. Ну, ясно, она бредит! На тумбе сидит Насу. Явление Насу на тумбе встревожило инструкторшу необыкновенно. Инструкторша категорически верила и в свои ноги, и в свое здоровье — и, не взглянув в лицо сидящей на тумбе, кинулась обратно. Вот опять перед ней лесоматериалы, а вот та женщина! Сапарова подбежала к Насу и вплотную уткнулась прямо ей в губы.

Да нет же, товарищи, она дышит спокойненько и медленно.

Сапарова побежала обратно — к тумбе!

За пятнадцать шагов опять рассмотрела она встревоженными и обозленными глазами сидящую на тумбе Насу.

Ясно, чемпионка бега Мервского оазиса больна. И опасно больна! Ей необходимо проверить и состояние своих мускулов, и душевное состояние. Как же она может проверить?

Да, товарищи, много раз я удивлялся выдумкам Медведева, но на этот раз мое удивление далеко превзошло все предыдущее.

Все произошло приблизительно так, как он предполагал.

Сапарова совершенно правильно подумала, что виновником нарушенного ее здоровья является Хм и проверить здоровье можно только на нем. А вышеобозначенный Хм стоял в полном недоумении, приблизительно в половине дороги между складом лесоматериалов и тумбой Индуса. Здесь же остановились и мы.

Смотрит он на Сапарову, которая пронеслась перед ним дикими прыжками один раз, второй, третий, а затем и восклицает:

— Да вы больны, товарищ Сапарова!

Большего оскорбления ей нанести вряд ли возможно. Остановилась она против него, размахнулась, да как двинет в челюсть! Хм качнулся, привстал на цыпочки, словно бы для того, чтобы разглядеть, откуда и почему принеслась к нему такая буря, — и в это время Сапарова — два! — ему под челюсть. Этого второго числительного Хм не вынес, вздохнул он глубоко-глубоко и рухнул.

— Вставай! — кричит над ним Сапарова. — Вставай!

— Я-то встану, — отвечает ей Хм, — но вы мне объясните: от чего вы заболели?

Та ему, только он успел встать на колени, — в нос! Хм навзничь. Стоит над ним Сапарова и молит:

— Да помолчи ты, рыжий дурак, о болезнях!

А тот встанет на коленки, морду утрет и рот разинет только:

— Вам лечиться!..

Она его опять в глаз или в рот. Хм кубарем. Наконец растянулся Хм, ногами заболтал и со страху, подумав, что перед ним сумасшедшая, как завопит:

— Караул, режут!

Здесь мы уже не могли вынести и с хохотом вывалились на тропинку.

— Чучело!! Чучело!! — кричит Медведев девице-инструктору. Та за голову, отошла шага три, проплакалась, а затем вместе с нами начала хохотать и над собой и над Хм.

Легли мы спать веселые и довольные: Хм уничтожен по всем фронтам; Умакбеев полностью понял его

ценность, нам пора уезжать дальше, по прямым нашим обязанностям.

Лежу я это только ночью и слышу, что кто-то сел у меня в ногах. Открываю глаза, так и есть: Умакбеев. Трогает он меня легко за руку и говорит спокойно, но умоляюще:

— Завтра к вам утром Хм явится просить, что ввиду поданной им отставки жить ему здесь ни к чему, не можете ли вы его с собой в город захватить. Ехать он не хочет, я его знаю, а придет, чтобы поломаться, чтобы я его поупрашивал на ваших глазах остаться. А я всю ночь спать не буду и засну перед самым вашим отъездом, так что провожать вас не приду, а вы, сделайте мне уважение, как вам ни противно, захватите его! Увезите его! Ткните его куда-нибудь в городе! Я одичал здесь в глухой провинции!.. Я отупел от недосыпанья, от расчетов, от цифр, от циркуляров и ведомостей. Я могу с ним примириться! Или убить его!! Вот сейчас, перед приходом сюда, сел я проверять счета и подвернулся мне под руки его отчет. Читаю, знаю, что врет, а оторваться не могу! Убедительный и прилипчивый гад. В цифры верит. Как верит в цифры и статистику!!

Успокоил я его... И утром, точно, приходит Хм, груб с нами нестерпимо и в самой грубой форме предлагает, чтобы мы его захватили с собой в город. Я ему говорю:

— Пожалуйста! — И не успел он мигнуть, как мы его усадили рядком, чухнули на коней и помчались.

В городе он исчез, а у нас суетня да разговоры, и попали мы в шелкотрестовское представительство не раньше, как дня через три. А там перед завконторой представительства висит какой-то очкастый в портфеле и тянет:

— Редчайший человек к нам пришел. Некто Корнеплодов. Проекты! Цифры, скажу я вам. Мы ведь в Чарджуе намереваемся построить социалистический город, так для этого города он принес нам наметку клиники. Мы, знаете, обалдели! Здорово!..

— А ложка на фронтоне есть? — спросил я.

— Вот именно — ложка, — воодушевился очкастый, — вы совершенно правильно заметили, и ложка на фронтоне не забыта. А вы знаете, что такое ложка? Ложка, милый мой товарищ, есть символ всеобщего

лечения. Так сказать, здравоохранение целиком и вообще. Ложка есть очень мудрое и дальновидное слово...

— Ложка? — переспросили мы его со всей присущей нам яростью.

Вышеозначенный товарищ даже за портфель уцепился и в глаза нам так несколько оторопело смотрит. Думает, не подвох ли тут какой или его сбить на что такое сомнительное хотят...

— Да, — говорит, сомневаясь в своих словах, — за ложку я стою твердо и крепко.

— Не Корнеплодов ли развивал вам такие идеи насчет ложки?

— Да, — говорит, — насчет ложки Корнеплодов развивал, хотя мы его и зовем несколько отрицательно: Хм... Хм, значит...

— Мы знаем, что значит!

Ну, должен сказать, что здесь-то мы этого самого Хм и прищемили. Но как прищемили! Мы его через газеты сначала провели, показали в газетах, затем разработали на собраниях, каждое пятнышко на коже в лупы рассмотрели, рожу пропечатали вплоть до плакатов, а затем — суд. Всенародный, всетуркменский и всесреднеазиатский суд. Сначала в театре, а затем за невместимостью наружу выперли, под открытое небо. Жарынь, полный разлив Амударьи, река может новый строящийся город в доску смыть, а народ стоит на процессе — и не шелохнется.

Прекрасным и достойным образом был ущемлен Хм...

БУХГАЛТЕР Г. О. СУРКОВ, ЧЕСТНО ПОГИБАВШИЙ ЗА СВОЮ ИДЕЮ

1

Геннадия Осиповича Суркова вследствие неколебимости его лица, вызванного жесткостью волос и, значит, трудностью бритья, которое он все же производил ежедневно, в кишлаке Азрак-Су (находящемся возле города Керки, что у самой афганской границы) прозвали Скалой. Так же, я думаю, прозывали еще и за его черноту в смысле костюма, которая в условиях Туркменистана, хотя бы и весной, может тоже показать

в человеке известную неколебимость его бытовых установок. Те же выводы сделала и вся наша бригада, и те же выводы сделал я как лицо руководящее и, в некотором смысле, лицо, достойное этого руководства. Но угол зрения нашего в отношении Суркова оказался в корне неправильным, и это возымело некоторые последствия, которыми мы сейчас и займемся.

Должно вначале сказать, по какому случаю бригада наша посетила кишлак Азрак-Су и долго ли намеревалась там быть, я это сказать хочу для того, дабы вы поняли, что мы были не праздные туристы, а вполне активные строители новой жизни.

Намеревались мы пробыть там три дня, а приехали, с одной стороны, почествовать открытие Азрак-Сукского канала, только что законченного, протяжением в тридцать семь километров, а с другой стороны, пощупать некоторые неточности в проведении такового канала, каковые выразились в известных заминках, вследствие которых пришлось даже приобщить к судебному делу первоначального руководителя работ, инженера М. Н. Сыромятникова и вместо него назначить инженера Н. М. Сырокожникова. У Сыромятникова ничего не получилось: вода по каналу не текла, а распластывалась возле головного сооружения сплошным озером, но у Сырокожникова, после самых незначительных исправлений, вода тронулась и донесла себя до назначенных ей пунктов в полной сохранности! Учились они вместе, были в некотором духе друзья, а Сыромятников осрамился, а Сырокожников был накануне полной славы. Ну, добро бы они идеологически сколько-нибудь разнились, а то ведь даже водку употребляли в одинаковых количествах! Мы не спорили, инженера Сырокожникова необходимо вознаградить, поскольку он привел воду почти в сплошную пустыню и пески, но мы желали проконтролировать свои сомнения, и тут-то довелось мне столкнуться с Сурковым. Во внеслужебное время стоит он у окна своей мазанки, а на улице подле его окна туркмен, в достаточной мере оборванный и душой, видимо, робкий. Занимаются они тем, что Сурков покажет горшок в раскрытое окно туркмену, а тот его назовет по-своему, тогда выносит Сурков ухват или кочергу или что иное неодухотворенное. У ворот стоит жена Суркова, женщина красивая, статная, обходительная, полная, что в условиях туркменской жары, малярии

и общего изнурения еще более ей цены придает. Перед ней расстилается музейная, прямо сказать, окрестность: дома квадратные, аккуратные, заборы (по-ихнему дувалы) высоты сажен до трех и главное — дешевка все: один такой глиняный забор в версту почти длиною — от силы рублей двести стоит, так как материал под рукой, а материал тот — сплошная глина. Стоит это Елена Матвеевна и так сомнительно на музей, окружающий ее, смотрит. Осел голубой цокает мимо, на осле том туркменка, на голове вроде митры, радоваться бы Елене Матвеевне, что в такую чудную и поучительную землю попала...

Спрашиваю мужа ее:

— Для каких целей вы, товарищ бухгалтер, горшки туркмену показываете?

Отвечает мне Сурков:

— Родом я, товарищ бригадир, из Калуги, жил там и воспитывался на медные гроши и приехал сюда недавно в целях самообразовательных и самовоспитательных. Что же я увидал? Страна отсталая, действительно, хотя и изо всех сил старается повернуться лицом к социализму, но в дух народа я проникнуть не могу, так как не освоил еще его язык. Довольно быстро встретил я здесь туркмена, стоящего ныне перед вами, по имени Таш-Гельды Дурбуев, бедняка, с душою чуткой до того, что холодеет у меня сердце, когда я на него пристально посмотрю. Вы спросите, отчего холодеет, и я вам отвечу, товарищ, — от восторга. Он быстро и энергично пошел ко мне навстречу и предложил оказать услугу в смысле учения языка и всех беглых навыков туркменской жизни. Русским языком он владеет плохо, так как за свою жизнь был только в трех или четырех аулах, и к выводам языка, как видите, мы приходим больше осязательно.

Признал и я, что на практике, будучи пожилым человеком, трудно учить языки, тем более что все культурные люди в кишлаке были переобременены заседаниями, а в частности непосредственное начальство над Сурковым, его заведующий кооперативом, товарищ Захарушкин (человек, как помню сейчас, с зеленым чубом, — оттого с зеленым, что кооператив торговал «нассом» — туркменским табаком, и этот «насс» развешивал сам товарищ Захарушкин, низко склоняясь над развеской по причине своей некоторой близорукости).

Проходим в дом, садимся; Елена Матвеевна угощает, а Сурков, видя, что меня интересует подробно личность Таш-Гельды Дурбуева, говорит:

— Если вы на него смотрите с целью выдвижения, то это вполне разумно, хотя он и исполнен некоторыми предрассудками, к изживанию которых он уже, по-видимому, приступил. Он уже и без того оказал услугу советской технике в области орошения пустыни.

— Чем же это, — спрашиваю я, — может он оказать помощь советской технике?

— А тем, — говорит Сурков, — что деды и прадеды Таш-Гельды Дурбуева всегда занимались ирригацией, то есть водным делом. Обратите внимание на его лицо, оно как бы водой размыто, и глаза желтые под цвет амударьинской струи.

Нельзя было не согласиться.

— Нужно вам сказать, что инженер Сыромятников — тот, который обанкротился, — явился сюда из руководящего республиканского центра, не прослушав курсов туркменского языка, — тех, которые остался прослушивать Сырокожников, а курсы таковые теперь обязательны для всех работников водного хозяйства Туркмении. Непрослушание курсов оставило в мозгу Сыромятникова известную пустоту, которая немедленно же наполнилась неподходящими для водхозного дела чувствами: высокомерием и насупленностью, результатом чего явилось озеро возле головного сооружения Азрак-Сукского канала. Вследствие высокомерия Сыромятникова знакомый вам Таш-Гельды не осмелился подойти к нему, да и если б подошел, то они вряд ли разговорились бы, так как языка между ними не было. Но вот, прослушав курсы, появляется Сырокожников, появляется и останавливается в задумчивости возле головного сооружения. Сидит час, другой, сидит день, другой — ни черта не понимает, и вода хлещет, и озеро расширяется, — канал бездействует. Садится здесь возле Сырокожникова знакомый вам Таш-Гельды Дурбуев с мутным своим размытым лицом и говорит так скромно и тихо, про себя:

— Если бы слушали дехкан, то, возможно, было б инженерам легче.

А тут к нему Сырокожников оборачивается и спрашивает полным туркменским языком:

— Мы всегда готовы слушать, выскажи свои мысли, скромный человек.

Таш-Гельды Дурбуев смутился, отнекивался было, а затем и говорит так:

— Канал нужно подать несколько влево, так как при сооружении головы канала мерцание песков в пустыне незримо запутало измерителей, и они жались все к реке, а мы, жители пустыни, буде проводим канал, завсегда на это мерцание песков известный процент сбрасываем! И если бы моя воля, так чуть-чуть срыл бы я, Таш-Гельды Дурбуев, несколько аршин земли влево, у самого головного сооружения...

Послушался его инженер Сырокожников — и точно, двинулась вода по каналу. Прибавим ко всему тому, что Сырокожников жаждал славы, а Таш-Гельды Дурбуеву она к чему?

На такие слова, естественно, я возразил Суркову, что слава, особенно в нашем пролетарском государстве, нужна каждому человеку, который с нами работает, а бригада попробует сделать выводы из тех сообщений, которые он мне сделал.

— Вот вы рассуждаете о славе, — добавил я в заключение спора, — но разве не за славой приехали вы из Калуги в Туркмению?

На это мне Сурков возразил, что какая может быть у него, бухгалтера, слава и чего он может, каких почестей добиться, поскольку он человек беспартийный? Приехал он потому, что, всегда интересуясь литературой, купил он на толкучке в Калуге за полтора рубля романы и повести писателя Н. Каразина, который творил в старое время о Туркестане. Кроме того, какая же у нас в Калуге контрабанда, а жена переписывалась с другом детства Захарушкиным, который в кишлаке Азрак-Су заведующий кооперативом, и в переписке, возможно, намекал он и о чулках заграничных, и даже материях, которые, по слухам, пытаются неизвестные люди привезти из Афганистана! Ее тоже осудить нельзя, была она по происхождению поповская дочь, мучилась происхождением, а вдруг вышла за человека с незапятнанным прошлым, вышла, успокоилась и даже в весе заметно прибавила. Прибавила она в весе и вдруг задумалась: «А жизнь-то проходит, батюшки!» Точно, жизнь проходит, и никаких красот ты в ней не

видишь! Здесь и напиши бухгалтеру Суркову приятель ее детства: «Приезжай». Приехали...

Просматриваю я книжки Н. Каразина и говорю:

— Зачем вам надобно читать такую заведомо империалистическую дрянь, бухгалтер?

Он мне тихо и скромно так отвечает:

— Чувствую, что дрянь, — и глаза потупил.

Из-за этого потупления глаз понял я, что сомневается он в ценности и любопытности книг, вырабатываемых нашей советской литературой, и даже в понятности их.

— Да, — отвечает мне бухгалтер Сурков, — сомневаюсь я. Пробовал я по совету многих в целях обогащения своего сознания в непонятные места добавлять свое, но в таких случаях столь неведомая грязь и перхоть лезет в мозги, что лучше уж читать мне Каразина. Если гад, то что же с гада и спросишь?

Речи его эти я не одобрил и признал, что он еще своего мировоззрения не выковал, с чем он и согласился.

2

Сурков, как я сообщал уже, был человек в черном, роста и походки прямой, однако же в глазах его происходило заметное расслоение. Судить об этом расслоении я стал к вечеру, когда явился Сурков и прямо с заседания вызвал меня на улицу. Встали мы с ним под карагач — дерево там такое круглое, вроде зеленого самовара, скажем, прямо против нас работает чайхана. Я и говорю Суркову:

— Гражданин дорогой, для того чтобы бригадира вызывать с заседания, необходимо иметь для этого увесистые факты!

— Таковые имеются, — отвечает мне Сурков, — прошу обратить внимание на ковре, самый левый в оборваннейшем халате, человек с рассеченной губой, вам знаком?

Оглядел я чайхану, сравнил кое с кем.

— Нет, — отвечаю, — такового человека в оборваннейшем халате будто бы впервые встречаю и вижу.

— Но заметно ли вам, товарищ бригадир, — продолжает говорить мне Сурков, — некоторое вроде как бы

почтение, которое струится с лиц туркменов по отношению к этому оборванному человеку?

— Похоже на то, что заметно.

Тогда берет меня Сурков легонько под руку и ведет во двор чайханы, там, где коновязи, и опять почтительно и ехидно спрашивает:

— Понимаете ли что-либо вы в коврах и конях?

Провел я как пролетарий империалистическую войну и войну гражданскую, чем и горжусь! И на тех войнах доводилось мне бывать и матросом и кавалеристом; видал я и коней; рубал я в припадках ярости и ковры, и прочие драгоценности, которые всегда и всюду презирал! Такие соображения мои, видимо, не удовлетворили Суркова.

— Но торговать вы коврами могли бы, если б вас неожиданно назначили торговым представителем?

— Плохо вы осведомлены, товарищ бухгалтер, в истории назначений. Назначают человека, который имел раньше и опыт и стремление. Вы меня спросите вначале: проходил я соответствующую подготовку или не проходил?

— Так я вам должен сказать, товарищ бригадир, что мне с коврами приходилось сталкиваться, и те ковры, которые мы видим на седле и подле седла и принадлежащие туркмену с рассеченной губой, пмеют большую ценность.

Я согласился, что конь не плох, и тогда Сурков увел меня обратно к дереву, из-под которого мы рассматривали чайхану. Тут он опять обратил мое внимание на оборванного человека, и я пригляделся и увидал, что человечек тот, верно, обладает омерзительной рассеченной губой, за которую очень часто и внимательно закладывает он свой «насс», а через три туркмена от него сидит, опустив пиалу на ковер, второй оборванец, но уже с обеими рассеченными губами. Сурков мне пояснил:

— Первый с рассеченной губой — это гражданин Шарафутдин, бай, крупнейший скотовод пустыни и родоначальник того рода, к которому принадлежал кишлак Азрак-Су, а второй гражданин с рассеченными обеими губами называется Гавдал-басмач, человек из бывших разбойников, пришедший к полному покаянию и в данное время один из усердных и честно выполняющих свою контрактацию по шелководству дехканин.

Он хочет усердной работой искупить свое прошлое, и — посмотрите, как он задумчив! Шарафутдин приехал из пустыни в неурочное время, сын у него болен, насколько мне известно, малярия парня измучила, а сын единственный, вот и примчался старикашка за хинином...

— Что ж, это полезно,— сказал я бухгалтеру,— если туркмены покидают своих знахарей и пробуют лекарства культуры.

Сурков возразил мне горько:

— Кто бы стал с вами, товарищ бригадир, спорить, если это было б привито повсеместно. За лекарства надо еще бороться и бороться, а если мы баев научим лечиться, то какой нам от этого прок.

Бухгалтер привыкал рассуждать классово. Я стал слушать его внимательно.

— Шарафутдин взял лекарства и мог бы возвратиться в пустыню, но любопытство остановило его: он желает видеть торжество открытия канала!

— Что ж, пускай посмотрит, — сказал я, — как мы справляемся с водоорошением без эмиров, царей и помощи байства. Пусть посмотрит и огласит далеко за пределами пустыни и границ!

Смутные мысли отразились на лице бухгалтера Суркова, лоб его потемнел. Я начал приставать к нему с вопросами. Долго молчал бухгалтер, видимо взвешивая свои слова, и наконец у него вырвалось:

— Товарищ бригадир, являюсь ли я честным и преданным работником советской власти?

Я подумал.

— Есть у вас уклоны, бухгалтер, но поскольку вы пытаетесь ориентироваться и войти в более глубокое русло текущего потока пролетарской жизни, постольку вы таковым работником являетесь. Но за каким вам лешим читать, скажем, Каразина? Я вам составлю список более подходящих книг.

Прислонился здесь бухгалтер к дереву, утерял всю стойкость, которая была свойственна ему и за которую прозвали его Скалой, и с горечью сказал мне:

— А не произойдет ли так, что Шарафутдин обернет торжество открытия в свою сторону, то есть в сторону байства и вообще буржуазии, и торжество это разнесет не только по пустыне, но и за границу?

Я обеспокоился и, несмотря на жару, пригласил Суркова прогуляться по кишлаку. И он, несмотря на жару

и пыль оглушительную, согласился. Так вот мы и пошли беспокойно вдоль дувалов и вдоль домов, которые больше похожи на замки феодализма, чем на дома социалистического строительства. Думал я, глядя на бухгалтера: «Жил ты, Геннадий Осипович, тихо и спокойно в Калуге, и всего волнения в твоей жизни было, что жена с незаконным происхождением, а тут приперся ты в равнину возле Амударьи, а навстречу тебе всевозможный чад и гад. Тут тебе и скорпионы и фаланги, и в пустыне, среди песков, куда тоже тебя могут послать по какой-нибудь командировке, — там и кобра, и очковая змея, и шакалы, и волки. И ко всему тому жена тебя считает недалеким и трусом, и глаза ее устремлены в сторону друга детства, Захарушкина...»

Сурков прервал мои размышления следующим вопросом:

— Склоняется ли заседание к тому, чтобы, устроив торжество открытия канала Азрак-Су, тем торжеством почтить не только фактического строителя канала Сырокожникова, но и дехканство в лице сообразительного советчика, товарища Таш-Гельды Дурбуева, и склонность заседающих намерена выразиться в приглашении на постоянную службу в водхоз Таш-Гельды Дурбуева и поднесении ему подарков?

Я ответил бухгалтеру, что склонность заседавших ясна, и мы предложим Таш-Гельды Дурбуеву кусок полосатого шелка на халат, самовар полуведерный прекрасной тульской работы, несколько облигаций соответствующего займа и место постоянной службы. Таш-Гельды показал себя скромным и верным сыном туркменского народа и таковым останется. Конечно, можно было б обвинить местных работников в том, что они ранее не выдвинули Таш-Гельды Дурбуева на соответствующую ему должность, но местных работников тоже нужно понять: если им внимательно читать те инструкции, которые им шлют из республиканского центра и также иных центров, то им надо штаты увеличить впятеро, — откуда же им набрать столько выдающихся людей в околотке?

— Мне кажется, — возразил мне тихо Сурков, — да и не только мне, но и тот же Гавдал-басмач так думает, отчего вы и видели его грустно опустившим свою пиалу, что Таш-Гельды может поступить совершенно неожиданно, и неожиданность эта заключается в том, что все подарки ваши он отдаст начальнику своего рода, ибо по-

считает, что службу эту он получил от начальника рода или, вернее, через начальника рода, гражданина Шарафутдина. Родовой быт еще весьма крепок в здешних местах, товарищ бригадир, и через родовой быт может позор пасть и на все огромное сооружение Азрак-Сукского канала, и через канал на вас и вашу бригаду, а значит, и на весь московский пролетариат, который направил к нам вашу бригаду в целях связи и поощрения!

Негодование и жара ослабили мою волю, и я несколько преувеличенно громко возразил на всю ту путаницу, которую мне преподнес бухгалтер:

— Неколебимы наши пролетарско-бедняцкие ряды! Я верю в классовую чуткость Таш-Гельды Дурбуева, и ваши речи, бухгалтер, можно только понять в том смысле, что вы защищаете неправильную деятельность инженера Сырокожникова и выдвигаете необходимость единоличной для него награды и поощрения!

Бухгалтер обиделся, посмотрел на меня горько и отошел, а я долго старался овладеть своим гневом и с этой целью стоял без шапки на палящем туркменском солнце, но и солнце не оказало на меня никакого действия, и я, снедаемый гневными думами, присутствовал на трех заседаниях и бессменно просидел двенадцать часов до тех пор, пока местные власти не пригласили нас на торжество открытия канала.

Торжество как торжество, кто на нем не был, и кто не работал ни над водой, ни над землей, и кто не понимает, что идет по нашим республикам горячее строительство, тому описание торжества ничего не скажет, а может только навредить, так как он начнет думать: а вдруг из-за канала вред, и вред этот отразится на мне, если не прямо, то косвенно! Посему я буду касаться только личностей, так как против личностей вряд ли кто будет спорить или оспаривать, личности всякие существуют. Чествовали мы вначале строителей и, в частности, руководителя Сырокожникова, а затем перешли к декханству и выдвинули незаметного героя дня Таш-Гельды Дурбуева. Таш-Гельды посмущался вначале, но оттого ли, что туркмены природные ораторы, или оттого, что действительно почувствовал себя героем, как бы то ни было, но он вышел и сказал прочувствованную речь и с достоинством принял подарки и службу. Наблюдал я и за людьми, связанными с ним мыслями, в частности за баем и скотоводом пустыни Шарафутдином

и бывшим разбойником Гавдалом, но в лицах я их ничего особенного не нашел, кроме разве того, что бай Шарафутдин чрезмерно красовался на своем коне, и конь его казался прытким и легким по бегу иноходцем и глазом зол — в хозяина.

3

Все дальнейшее я вынужден рассказывать или со слов других, или на основании известных, но фактически проверенных догадок, следовательно, естественно, что я могу неправильно осветить ту или иную сторону дела, а значит, прошу задавать вопросы.

Было сразу же замечено, в частности Гавдалом (это тот, у которого обе губы враз рассечены), что Таш-Гельды Дурбуев смутился, получив подарки, и еще более смутился, когда проходил через толпу туркмен с таковыми подарками и когда увидал среди кишлачников родоначальника Шарафутдина, который вежливо поклонился ему и глаза которого алчно сверкнули из-под насупленных седых бровей и седой шапки (каковая выдавала в нем склонность к кокетству, ибо старику белую папаху носить считается не совсем приличным).

Сердце Гавдала заиграло. Взял он берданку свою за № 8765 и удостоверение союза охотников за № 9247, зарядил берданку пулей, той, с которой обычно ходил на кабанов (отнюдь не в целях промысла или охоты, а обороны посевов), и направился к дому Таш-Гельды Дурбуева. Мысль его посетила та же, что посетила раньше еще бухгалтера Суркова, а именно: сдрейфит перед бывшим родоначальником бедняк Таш-Гельды Дурбуев и отдаст подарок советской власти своему баю! Все считали Таш-Гедьды за темного человека, и преимущественно темного классово. Однако Гавдал полагал безрассудным врываться в дом Таш-Гельды и что-либо советовать, было более благоразумно подождать у ворот и, если пойдет Таш-Гельды с подарками, уговорить его, а если придет Шарафутдин, то соответственно воздействовать на гражданина Шарафутдина.

Приближалась темная восточная ночь, и звезды блистали бы открыто, если б не молодая луна, которая показалась вдалеке и сама, не освещавшая многого, закрывала тем не менее звезды. Все это накладывало извест-

ный отпечаток на сердце Гавдала, и он стоял у ворот и у высокой стены, смущенный и резкий в мыслях и поступках.

Поэтому вернемся к бухгалтеру Суркову, каков он был собой в тот памятный день. Не говоря уже о том, что его мучила злость и жаль было своего сердца, понапрасну встревоженного перед непоколебимым лицом бригадира Синицына, то есть передо мной, приводило его еще и в смущение лицо и фигура Елены Матвеевны. На торжество она не вышла, и как он ее оставил у окна, так она и сидела там грустная, подняв к небу очи. Хотелось ему поговорить с ней, но, видимо, получалось так, что понимать она его стала еще меньше, чем он, скажем, хотя бы Таш-Гельды Дурбуева.

Говорит ей бухгалтер, что уходит он в кооператив на всю ночь сверхурочно работать, и так как знала она, что он, боясь кишлачных зловещих собак, никогда ночью домой не возвращается (боясь, главным образом, испортить не тело свое, а единственный темный костюм) и ждать его, следовательно, нужно только поутру, то, не опуская очей с темнеющего неба, неожиданно сказала она, ища в себе твердости и любви к нему:

— Посидел бы лучше дома, Геннадий.

«А лучше мне не сидеть», — подумал он, но вслух сказал:

— Насижусь еще, — вот и очутился он в кооперативе.

Представьте себе теперь тесную каморку позади лавочки, заполненную пиалами и казанами (чугунными котлами). Низко клонясь над бухгалтерской книгой, сидит Сурков, и сидение его бесплодно, и вот наконец пламенная мысль прожгла его. Он схватил лихорадочно горящими пальцами красный или синий — не важно — химический карандаш и накидал проект заявления, в котором Таш-Гельды Дурбуев во всеуслышание говорил, что до сведения его докатилась сплетня о том, что он, Таш-Гельды Дурбуев, намерен передать дарованные ему народом подарки, как-то: самовар, отрез на халат, два кило кок-чаю и прочее своему бывшему родоначальнику Шарафутдину. Выступления эти против него есть полная недооценка его работы и сознательности! Он приглашает клеветников пожаловать к нему в дом и посмотреть поближе, чем занята его жена. Она занята тем, что кипятит дарованный кок-чай в самоваре

и шьет халат из дарованного шелка! Но не для баев, а для себя!.. Дальше он перечислил все злодеяния, которые свершил Шарафутдин... Но злодеяний его Сурков еще не знал и потому оставил пустое место с тем, чтобы Таш-Гельды смог сам заполнить соответствующими фактами.

Страшно было Суркову выходить из кооператива. Ночь была темна и тепла. В пустыне выли шакалы. Стены домов и дувалы были трехэтажного роста. В арыках шипела вода, которая переливалась из нового Азрак-Сукского канала. Арыки были полные, черные. А тут еще, надо добавить, вспомнил Сурков о собаках. Вспомнил, похолодел и прислонился к стене. Ему чудилось, что теплая злобная и молчаливая морда собаки приближается к его мясу! Теперь только понял он, что трусил он потерять не костюм, а кусочек своего мяса. Понял и — стыдно стало ему. Даже со стыда прослезился Сурков. «Трус ты, трус несчастный»,— шептали его бледные уста, но так как трусости в себе он преодолеть сразу не мог, то счел он за более полезное спуститься в арык и направиться к дому Таш-Гельды Дурбуева по арыку. Собака в воду не полезет, а если и полезет, то по плеску воды можно понять количество и качество собачьей злобы и хоть как-нибудь оборониться. В своем походе по арыку, он, наряду с сознанием трусости, которое охватывало его, понимал, что делает правильное дело, не всякому доступное, и тревожило его только одно: как бы не заплутаться. Шел он неслышно, почти не вынимая из воды колен, и вдруг слышит знакомый голос. Встревожился он, подошел ближе к берегу, а берег высокий, сажени полторы, не меньше, и на берегу кустарничек, и в кустарничке том сидят двое. Что же слышит он? Голос своей жены, и вторит ей голос его непосредственного начальства, Захарушкина. Взорвало его, но все же он решил смолчать до поры до времени.

— Всемерно, — продолжала Елена Матвеевна, — всемерно ему все содействовали, но всемерно же выясняется, что трус мой муж, и если женился на мне, то произошло это только от временного ослепления, а отнюдь не от отваги. А в нашей Туркменской республике трусу не выдвинуться!

— Где там выдвинуться, — ехидно подхватил Захарушкин, — вот и направляйтесь вы, Елена Матвеевна, за меня. Много я вам обещать не могу, но все, что дает

мне моя власть и что власть советская, все вы получите. Кроме того...

Но здесь, надо думать, схватил он ее не вовремя, что ли, так как его липкая и наглая речь прервалась, и она сказала сердито:

— Вы еще согласия не получили, а из-за отсутствия женщин совершенно с дамами разучились обращаться. Хотите вы продолжать душевный разговор, ради которого я вышла, или же я уйду? Вы думаете, что если поповская дочь...

— Да докуда вы будете кичиться поповской подлой славой, — воскликнул Захарушкин, — известно ли вам, что в нашей республике поповские дочери, как таковые, не караются?

И больше всего было обидно Суркову из всего этого разговора, что говорит Елена Матвеевна как раз те же самые слова, которые когда-то говорила перед свадьбой, и даже голосом тем же! Эх, женщины, женщины!..

Возможно тихонечко ступая, направился он дальше. Он желал выполнить общественный свой долг так, как он понимал его, а за тем уже перейти к личным делам. Пускай даже его собственная жена считает его трусом, но он не вылезет из-за мелкой ссоры, он пойдет по арыку, куда его ведет амударьинская густая струя. Он приближался к дому Таш-Гельды.

Здесь все еще стоял на карауле Гавдал, и по-прежнему дом был тих, и окрестные хлопковые поля тоже были тихи. Гавдал устал не столько от стояния на часах, сколько от мыслей о том, правильно ли он поступает, не предупредив кишлачную общественность, не будет ли он опрометчив в своих выводах. Таш-Гельды слаб, плохо ориентируется в делах культуры и быта, и не мешало б с ним провести беседу, но именно в силу плохой ориентировки своей он может счесть эту беседу как известное давление.

Мощный всплеск воды в арыке прервал Гавдаловы размышления.

— Кто идет? — крикнул Гавдал, вскидывая ружье.

Не то кабан, не то человек карабкался по берегу. Гавдал знал эти штучки: выманят на глупость, а сами проскочат в дом. Он опять окрикнул. Он окрикнул и по-туркменски и по-русски. Всякий честный человек не замедлил бы ответом. Но Сурков молчал. Бухгалтер думал, что если он отзовется слабым своим голосом,

потерявшим последнюю свою крепость, от действия арычной воды и от поступка жены, то, несомненно, отклик его будет сочтен как трусость и как трусость же перейдет событие это к его жене, а от жены к Захарушкину. Лучше проползти стороной, и путник, окликавший его, тоже пройдет стороной, и Сурков очутится прямо у ворот дома Таш-Гельды. Но он не учел того обстоятельства, что Гавдал был жителем пустыни, охотником на кабанов. Три раза окрикнул его Гавдал, и три раза тихо полз возле дороги бухгалтер Сурков. И здесь Гавдал не вытерпел, спустил курок, и на выстрел выбежал Таш-Гельды, который крикнул:

— Почему ты, Гавдал, мешаешь мирному гражданину и советскому служащему пить кок-чай из жалованного самовара и жене моей шить халат из жалованного шелка?

Подняли они фонарь и в кустарниках увидали трепыхающееся тело бухгалтера Суркова.

— Он действительно похож на скалу, — скорбно сказал Гавдал, беря из рук бухгалтера проект заявления.

4

В заключение, однако, считаю необходимым добавить, что Гавдал понес должное наказание, смягченное все же в силу его малой сознательности: Таш-Гельды на другой день огласил то заявление, которое заготовил для него бухгалтер, а Елена Матвеевна раскаялась в своем минутном заблуждении в сторону Захарушкина и уехала в Калугу. Я сам видал, как в Керках переправляли ее каюк на ту сторону Амударьи, на которой лежит желанная ей железнодорожная станция, и Захарушкин, провожавший ее, махал ей кепкой долго и горестно, а бухгалтер Сурков, к тому времени уже поднявшийся на ноги, хотя и с крупным костылем, сказал нам всем твердо:

— Страдания проходят, а жена, особенно если с неправильным происхождением, остается.

На это я, бригадир Синицын, каменно ответил:

— В личной нашей жизни случается много бед, несчастий и заблуждений, но я как бригадир и как представитель советской общественности заявляю вам, что мы преодолеем все неровности и кочки и план великих работ будет выполнен.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИНЖЕНЕРА НУР-КЛЫЧА

1

— Вы помните: Нур-Клыч есть туркмен, и таковым он себя осознает...

— А я возражаю вам, Давли! Он — туркмен постольку, поскольку это не мешает ему быть пролетарием...

— ...таковым он себя осознает и будет осознавать и в установленный для него час, подчиняясь страстям, свойственным туркмену! В его общественной работе получится быстрое ухудшение. Вот уже и пора, скажут, РКИ взяться за дело инженера Нур-Клыча...

— Вы клевещете на туркменский пролетариат! А я, Ширмамед, как гражданин и как сын Нур-Клыча, заявляю вам, телеграфист Давли...

— Предлагаю произвести испытание!

— Идет! — воскликнули разгоряченные спором сын Нур-Клыча, рослый Ширмамед, и воспитанник Нур-Клыча, поджарый Кидыр-бай: первый был забойщиком на озокеритовых промыслах острова Челекен (Каспийское море), второй — председателем кооператива, ведающего разработками озокерита.

2

Кто же был Нур-Клыч, и кто его сын, и кто воспитанник, и почему происходил такой горячий спор между последними и телеграфистом Давли? Нур-Клыч до революции и во время английской оккупации Закавказья служил стрелочником на станции Н., подле Красноводска. Здесь он вскормил сына своего Ширмамеда (в данное время достигающего 2,1 метра ростом) и здесь же принял на воспитание отставшего от поезда афганского мальчика Кидыр-бая (рост 1,7 метра). Здесь же он похоронил свою жену и хотя действительно, как утверждал Давли, обладал многими телесными страстями, но, затаив свои страсти, отдал себя службе пролетариату и своим детям. Я не буду рассказывать о том, какие меры принимались Клычом в целях успешного продвижения вдоль умственной области, детей же он, взрастив, определил на озокеритовые промыслы. И Ширмамед, как

парень, думающий медленно и склонный к грубой пище, стал забойщиком, а Кидыр-бай, как более легкий, направился в писцы, оттуда в секретари промыслов, а затем и председатели с окладом в 170 рублей ежемесячно, в то время как Ширмамед выбивал озокерита на 120 или 135 рублей с копейками. Но они не завидовали друг другу, полюбили промысел, и хотя естественно, что они желали бы более квалифицироваться, то есть коечему поучиться в центре, но они откладывали поездку, ожидая прибытия Нур-Клыча, который уехал сам квалифицироваться, а таковая квалификация его затягивалась. Ребята, надо прямо сказать, были веселые, простые, ни разу не женатые, и один у них был недостаток, толкавший их на частые разговоры с телеграфистом станции Давли: парни больше любили набивать животы, нежели головы.

Ничего дурного в том, что человек любит есть, я, Синицын, не вижу, лишь бы еда не выходила за пределы возможностей своего класса.

Телеграфист станции Н. Давли происходил из туркмен племени теке, носил белую и легкую щеголеватую папаху, халат в талию и был очень скрытен, состоя весь как бы в резерве. Единственно, что про него было доподлинно известно — это то, что телеграфист Давли любил покушать, и если возможно, то на чужой счет! Он любил заводить споры и наталкивать людей на пари и, должно быть справедливым, проиграв, угощал своих противников превосходным пловом и не менее превосходным кок-чаем — зеленым чаем, а выиграв, ел за троих и еще приводил на еду свою жену Гюзаль и своего осла Ташу, животное, как говорили, весьма прожорливое и с характером мало выясненным. Трудовой список Давли был заполнен явной брехней, осанка у него военная, и не исключалась возможность, как он сам проговорился, что он обучался в Оренбургском кадетском корпусе.

Но на станции Н. климат был отвратительный, и телеграфисты и вообще обслуживающий персонал туда ехал неохотно, и даже были случаи, что сбегал, оголяя станцию от технического состава. Пресную воду туда возят за 300 или 350 верст, из пустыни постоянно несет мельчайшими песчаными струями, от моря, которое лежит за барханами в 8 или 9 километрах, — гнилыми запахами, похожими на тухлые яйца. Естественно поэтому,

что приходилось мириться с некоторой кастовой отчужденностью телеграфиста, который на станции появился как раз в те дни, когда оттуда уезжал выдвиженец Нур-Клыч для дальнейшего обучения.

Нур-Клыч, бывший стрелочник, туркмен из племени иемудов, бедняк и партизан гражданской войны, быстро продвинулся. Через каких-нибудь три года Нур-Клыч был инженером, а через пять — видным специалистом по нефтяному делу. Я бы мог вам процитировать те отзывы и работы, которые произвел Нур-Клыч, но довольно сказать, что он долгое время являлся младшим директором нефтяной промышленности Главгортопа ВСНХ СССР. Он часто писал своему сыну и своему воспитаннику, ожидая от деятельности нужных темпов, но озокеритовые промыслы на острове Челекен как работали кустарно, так и продолжали работать.

Так вот, получив однажды отпуск, подумал Нур-Клыч, что не мешало бы ему посетить своих озокеритовых сыновей и, в частности, выяснить: нельзя ли снизить накладные расходы по перевозке озокерита с острова Челекен на материк? Мысль об этих громадных накладных расходах неотступно владела им, хотя, в сущности, расходы были не так уж велики (я, к сожалению, не записал цифр), и в конце концов ему подумалось, что под этими расходными мыслями у него кроется что-то сокровенное, и он стал рыться в себе, отыскивая эти сокровенности. Так размышляя и покуривая, доехал он до станции К., последней перед станцией Н. Именно на второй ждали его и спорили с телеграфистом дети его, Ширмамед и Кидыр-бай.

Упорство и настойчивость, с которыми спорил телеграфист Давли, помимо чисто животных директив, вызывались также и тем, что Давли ввел к себе вторую жену, приобретенную в пустыне у кочевников, молодую девушку по имени Озуль. Многоженство, как известно, на всей территории СССР запрещено, но никто не может запретить человеку поселить у себя в доме свояченицу по имени Озуль. Давли несказанно радовался своей выдумке, а темные женщины, две его жены, Гюзаль и Озуль, старались, как могли, жить друг с другом в мире, что и проводили они с громадным трудом. Давли был горд и чувствовал себя смелым и хитрым, думая, что теперь он может выиграть любое пари и съесть любое количество плова, тем более что кормить двух жен

гораздо труднее, чем одну. Давли полагал теперь, что он переплатил за свою вторую жену, и ему казалось, что он мало и плохо торговался и что вряд ли, если попытаться продать ее вновь, она пройдет хотя бы и за половину той цены, которую он за нее дал! Конечно, все эти мысли, как низкие, гнусные, он от себя отметал с негодованием, но все-таки ему подумалось, когда пари было заключено, что недурно бы было выдать свояченицу за Нур-Клыча, получив за пропитание и воспитание соответствующее денежное вознаграждение.

Разговор этот и мысли происходили в кабинете Подорожникова, начальника станции Н. Подорожников же страдал постоянным несварением желудка и жил на станции Н. только потому, что какой-то знахарь сказал ему: «Желудок может исцелиться от жары и пыли. Когда раскаленная пыль попадает в желудок, там происходит очищение стенок от наростов, которые мешают правильному выходу желудочного сока, — пыль, так сказать, исполняет те же обязанности, которые по отношению к металлу исполняет, скажем, наждак!»

А пыли больше, чем на станции Н., нигде на территории СССР не могло быть.

Оставленные втуне зубы Подорожникова росли необыкновенно, и особенно выделялся правый нижний резец, который, когда Подорожников смеялся, что происходило хотя и редко, но громко, достигал до бровей, да и весь Подорожников имел форму зуба, даже калоши и те походили у него на зуб-резец.

Почесал зуб товарищ Подорожников и сказал с завистью:

— Постоянно о пище спорите, а нет чтобы ударную бригаду создать. Впрочем, я не позволю вам сейчас создавать ударной бригады, вследствие неполучения печатных инструкций о том, как должны работать ударные бригады, какова их нагрузка, нормы выработки и оплата труда, а также каков порядок ведения картотеки!

Телеграфист Давли воскликнул:

— Подождем инструкций! А сейчас у меня план таков (в этом плане вы, Подорожников, сможете показать свой зуб выше бровей. И прошлый раз, когда вы смеялись, от вашего смеха рассыпалось два бархана, а теперь упадет не меньше десяти). Как вам известно, несколько недель уже ко мне приехала свояченица Озуль, девушка красивая и, самое главное, веселая. Теперь

представьте себе, что эта Озуль, держа в поводу моего осла Ташу, встанет на бархан, возле развалившейся водокачки, и когда Нур-Клыч подойдет к ней на ее призыв, она увлечет его в барханы и там, скажем, за четвертым рядом барханов Нур-Клыч (который должен бы подождать у станции своих сыновей, опоздавших к поезду, а он ушел с девушкой) — позор! — предлагает ей сесть на песок! Она соглашается, — и только они садятся, как из-за бархана раздаются выстрелы. Озуль кричит: «Ах, это, должно быть, следят за мной, но вы мне нравитесь, гражданин, и пойдемте подальше за барханы». Они идут дальше, возгласы и выстрелы кончаются, все успокоились, женщина говорит: «Садимся». Но только они садятся, опять выстрелы и крики. Так они бегут до самого берега моря, и здесь мы их встречаем, и я говорю: «Как хорошо, что вы, Нур-Клыч, привели сюда мою свояченицу, пусть она покушает плова, которым нас угощают сегодня твои сыновья».

— Нет, — в голос возразили Ширмамед и Кидырбай, — он будет ждать своих сыновей, которые запоздали. И будет ждать их на крыльце станции, которая глядит в пустыню. Но кто же будут люди, которые согласятся стрелять?

— Я вижу у вас берданки, — сказал Давли, — вы и будете стрелять!

Парни задумались. Давли продолжал:

— Отлично. Я ставлю против вашего сегодняшнего плова мой плов, который будет тянуться целую неделю. Ваш плов из барана, мой же будет из курицы, приправленный изюмом. Подорожников тому свидетель.

Подорожников пробормотал, что нехорошо, мол, столько думать о пище, лучше думать о том, чтобы ее получше прожевывать и поменьше есть.

Парни рассчитывали: потеряют они полчаса, а плов будет длиться целую неделю, а куриного плова с изюмом они уже не ели года два. Они согласились.

Давли сказал, что сейчас он зайдет домой и отдаст кое-какие распоряжения, так как он сам не может руководить операциями из-за своего дежурства на телеграфе, которое приближается. Но ему приготовят коня, и он приедет с женой Гюзаль на плов к берегу моря своевременно.

Парни направились за барханы, а Давли шел домой, рассуждая про себя: «Я буду прав! В человеке мало что

меняется. Возьмем хотя бы меня. Да, я сменил пуговицы на кителе. Но разобрать герб на этих пуговицах возможно, только приблизясь ко мне на два шага. А есть ли человек, кроме моих жен, который приблизился бы ко мне ближе? Такового нет. Сейчас, как потомок текинских ханов, я бы владел многими пастбищами Туркмении, и многие думают, что пространства эти отняты от меня, но они ошибаются: я почти каждую ночь проезжаю на верблюдах и караванах от колодца к колодцу по пустыне и опускаю кожаные ведра в колодцы с тем, чтобы напоить моих коней!»

Он действительно, товарищи, владел Туркменией, и владычество его в том выявлялось, что в комнате своей он соорудил искусственный рельеф Туркмении с горами, барханами, колодцами, и тропами, и саксауловыми зарослями. Возле колодцев он поставил крошечные стада верблюдов и овец, охраняемых такими же крошечными пастухами и собаками. У него имелось много юрт и ковриков, замечательно вытканных, но величиной с ладонь. Ложась в постель с новой женой Озуль, он говорил:

— В результате нашей правильной политики наш караван останавливается сегодня на ночлег возле колодца Су-ук-Су. Здесь мы разбиваем нашу юрту из белой кошмы (то есть войлока) и спутываем наших карабаиров.

Молодая жена радовалась таким частым остановкам и говорила, что по такой пустыне гораздо легче и приятнее путешествовать, чем по той, в которой она провела свою молодость. Но вот последнее время Давли стал утомляться путешествиями по пустыне, и жена Озуль намекала, что скоро, видимо, их караван начнет проходить через всю пустыню Каракумы не останавливаясь. На это первая жена Гюзаль сказала ей, что она быстро прошла через все пустыни земли потому, что Давли по сложению своему похож на чайник из тонкой жести: быстро кипит, но еще быстрее остывает. Озуль не смогла поверить такому сравнению и старалась всяческими веселыми разговорами и поведением склонить Давли на караванное путешествие. Давли говорил ей, что он целиком одобряет ее организационные мероприятия, но надо же понять: как и колодцы, так и верблюды нуждаются в отдыхе, и отсутствие отдыха есть та главная опасность, с которой необходимо вести усиленную борьбу. Однако и разговоры и поведение Озуль давали

ему повод думать, что она будет верна и поступит в деле с Нур-Клычом на основе тех предложений, которые ей сделает муж.

Оседлав осла, он дал оценку тех событий, которые развивались вокруг его выдумки, и Озуль согласилась с ним, что он поступил правильно. Он подчеркнул, что остановки у барханов, которые она будет предлагать Нур-Клычу, отнюдь не есть остановки возле колодца. Озуль прервала его, сказав, что она и сама прекрасно учитывает, что наряду с нуждой в остановке каравана есть и веления колонновожатого, то есть мужа ее, Давли. Давли, порадовавшись ее сообразительности и похвалив таковую, сказал, что он ее посылает не с целью испытания ее верности, а с целью чисто практической, смысл которой он откроет попозже. Одно его смущает в этой затее — осел Ташу, — как он отнесется к выстрелам и панике; у Ташу душа совершенно непроверенная.

Затем проводил и поставил ее на вершине бархана, расположенного у станции возле разрушенной башни, похожей на водокачку, которая раньше исполняла роль водохранилища. Маленькие щиты из камыша украшали гребень бархана, тщетно пытаясь защитить полотно железной дороги от ползучих песков (к борьбе с которыми мы, надеюсь, вернемся хотя бы и не в данной повести).

Давли, еще раз полюбовавшись красотой жены и пожалев, что красота столь дорого обходится, вернулся на станцию, ибо приближалось время дежурства.

3

Нужно сказать, что от Ашхабада товарищ Нур-Клыч ехал в товаро-пассажирском поезде, потому что скорый не останавливается на такой ничтожной полустанции, каковой по праву считается Н. Товаро-пассажирский поезд № 8 остановился на втором, обходном пути, так как первый путь был занят поездом с цистернами, только что доставившими на станцию Н. питьевую воду, хотя водохранилище лежало почти у самого полотна. Порванный и чиненный несколько раз рукав из-за своей короткости не позволял питьевому поезду остановиться на втором пути. Вода неслышно стремилась в водохранилище, неся с собой оживление и радость людям и животным на дан-

ной станции, а Нур-Клыч стоял с чемоданчиком у станционного колокола и размышлял о станционных порядках. Он обратился к товарищу Подорожникову:

— Извините, товарищ, а когда пройдет скорый?

Товарищ Подорожников, уже внутренне смеясь проделке над Нур-Клычом и вследствие смеха сосредоточивая свое внимание на ответе (в противном бы случае он не ответил, так как в зале для ожидания повешено расписание), сказал:

— Скорый должен был пройти уже два часа назад, но он запаздывает. Думаю, оттого, что на линию даны более мощные паровозы марки К., которые идут первым рейсом и не рассчитали силу своей скорости.

— Полагаете ли вы, — обратился к нему Нур-Клыч, — что скорый пропустят по обходному пути, или же к тому времени водный состав уйдет от водохранилища, исполнив все, что ему поручено?

— Полагаю, — ответил товарищ Подорожников, — что и скорый пройдет по обходному пути, так как это — случай обычный и поощряемый в целях рационализации транспорта.

— А как давно чинен путь и как давно менялись шпалы?

На это товарищ Подорожников, не найдя в разговоре с Нур-Клычом ничего такого забавного, что могло бы его хотя на минуту отвести от размышления по поводу желудка, который выпал ему на долю, сказал:

— Дайте соответствующий «предъявитель сего» на право задавать такие вопросы и требовать ответа на них, и я немедленно отвечу вам!

— Известно ли вам, — сказал ему Нур-Клыч, — что паровозы новой марки К. более тяжелы и обладают большей скоростью, чем прежние, и следовательно...

Но товарищ Подорожников, проводив товаро-пассажирский № 8, скрылся внутри станции. Нур-Клыч остался один на перроне. Он вышел на крыльцо: сыновья еще не подъехали. Он посмотрел на пустыню и барханы. «Какой рынок и какие перспективы для его расширения, если взяться за дело с большевистской стойкостью! — подумал он. — Какие можно закатить скотоводческие совхозы, и сколько из этого песка можно выплавить стекла или чего-нибудь похожего, хотя бы, скажем, стеклянного кирпича». Тут рядом с собой он услышал голос Давли, который спрашивал, не ожидает ли товарищ ин-

женер своих сыновей, которые задержались несколько в море, переправляясь сюда кратчайшим путем от острова Челекена. Возможно, товарищ инженер хотел бы посмотреть, что сделано на станции с тех дней, когда он ее оставил, в смысле технических усовершенствований? Можно подумать, мы забыты в период реконструкции и социалистического строительства. Нет! И у нас есть достижения. Вот смотрите, в чем царское правительство хранило воду: оно хранило ее в обычной стандартной водокачке. А что же придумала революционная мысль? Вода — драгоценнейшая влага — теряет от испарения в водокачке от 6 до 8 процентов! Так мы устроили подземное водохранилище, взяв на сей предмет опыт пустыни...

4

Естественно, что Давли заранее обижался тому, будто бывший стрелочник не узнает его и, даже узнав, не поздоровается, дабы выразить своему полуклассовому врагу презрение. Давли, по правде говоря, и сам не узнал бы стрелочника, кабы не рост в 2,4 метра, объем груди в 1,5 метра и силоподъемность, выразившаяся в чемодане, по-видимому, не менее 75 кило, и что во время речи телеграфиста Нур-Клыч съел не менее одного кило хлеба и полкило солонины.

Нур-Клыч не поздоровался потому, что всегда, когда он ел и в то же время думал, в нем происходило некоторое телесно-умственное брожение, и он, по его собственному признанию, как бы опускался в шахту, из которой он старался разглядеть небо с начерченными на нем знаками знаний.

Телеграфист Давли, впрочем едва ли сам понимая это, стремился к унижению человечества и пролетариата в частности. Поэтому-то, надо думать, Давли было даже приятно слышать, что Нур-Клыч отделывается молчанием в вопросе о таких важных производственных достижениях, которыми по праву гордилась станция Н. «Ясно, — думал Давли, — ясно, что Нур-Клыч, увидев пустыню, подумал об ее женщинах и об их способности любить, которой он не увидит во всем мире. Ясно, что он увидал задумчивую женщину, стоящую на бархане и держащую за узду осла Ташу». Давли было приятно видеть, что Нур-Клыч, отряхнув крошки с рук,

устремился к водохранилищу, а следовательно, и к бархану с ослом и женщиной. Давли, удовлетворенный, вернулся к своему телеграфному аппарату, но не успел он пропустить и прослушать полметра ленты, как ему пришло в голову: «А вдруг Озуль не осмелится окрикнуть Нур-Клыча, и он, следовательно, пройдет мимо?» Давли выбежал на крыльцо и вернулся тотчас же удовлетворенный: Нур-Клыч оживленно разговаривал с женщиной. Давли был очень удовлетворен унижением, которое он придумал для Нур-Клыча, доволен был также и тем, что сегодня он едой своей подорвет бараньи ресурсы семейства Клычей. Их обжорство становится уже хроническим явлением, имея тенденцию к подрыву животноводческого хозяйства республики. Такие паразитические элементы необходимо выкорчевывать с корнем! Сегодня они съедят барана, а назавтра (мало того — назавтра, они метят на целую неделю!) они хотят есть плов из курицы и с изюмом. Факт уменьшения баранов и рост цен на баранину уже налицо!!

Но тут порвалась лента в аппарате, и когда Давли выправил ее, ему пришла в голову унизительная для его достоинства мысль, и унижение ее состояло в том, что ему вдруг показалась чрезвычайно подозрительной та легкость, с которой Озуль согласилась участвовать в испытаниях Нур-Клыча. В пустыне сплетен больше, чем в каком-либо городе! И не дошло ли до слуха Озуль, что колодцы, возле которых имел обыкновение останавливаться Нур-Клыч, куда лучше, чем колодцы телеграфиста Давли, измученного сидячим образом жизни и долгими размышлениями как над своим унижением, так и над чужим? Кроме того, Нур-Клыч был оратором, и, как таковой, он может силой своего слова забрать Озуль, не заплатив за воспитание ее ни копейки денег и ни метра материи, в которой больше, чем в деньгах, нуждается Давли. Он смотрел на ленту, которая необычайно быстро бежала перед ним, и не мог ничего прочесть: до такой степени он огорчился. А лента запрашивала: «По какому пути думает станция пропустить скорый поезд?..» Давли подумал: пока он добежит до первой остановки Нур-Клыча и Озуль, пройдет не более пятнадцати минут, а это время лента пойдет сама, без его помощи.

Он выскочил опять на крыльцо. Да, ясно были видны следы по песку, через бархан, в пустыню. Но он не

мог бежать по этим следам, он должен стремиться в обход, потому что сбоку гораздо лучше можно было бы разглядеть то зло, которое предполагает причинить ему хитрая Озуль. И он, подобрав полы своего халата, устремился в обход среди бархан навстречу коварным и капитуляторским элементам.

Какова железнодорожная пятилетка в Туркменской ССР? В первую очередь будет построена и началась уже стройкой Чарджоу-Хивинская железная дорога. С прокладкой этой дороги богатейший Хивинский оазис получит возможность значительно расширить площадь посевов хлопка и других технических культур. В оазисе имеется до миллиона гектаров свободных и неиспользованных земель, которые будут засеяны, как только появится возможность вывезти хлопок, так как отсутствие удобных путей сообщения не позволяет сейчас полностью перевести поля дехкан под хлопководство, ибо для того, чтобы вывезти из оазиса урожай хлопка, понадобилось бы 700000 верблюдов, вследствие чего дехкане предпочитают возделывать поля под хлебную культуру. Вот о чем должен думать мыслительный аппарат человека, который хоть сколько-нибудь связан с железнодорожным строительством Туркмении как в прошлом, так и в настоящем!

Таким образом, мысли о Чарджоу-Хивинской дороге являлись для Нур-Клыча, когда он подходил на оклик женщины с ослом, вполне закономерными и нужными, так как он сравнил передвижения туркмен прежде и теперь. Напрасно, значит, думал Давли о плотском ущемлении Нур-Клыча. Однако же нельзя отрицать, что Нур-Клыч разговаривал с Озуль довольно долго и горячо. Несколько слов об этом тревожном разговоре.

Озуль окликнула его робким, еще не реформированным голосом забитой женщины. Необходимо констатировать, что Нур-Клыч своевременно учел происходящую в ней перегруппировку душевных размышлений, связанную с обострением как классовых, так и бытовых условий в ее жизни, и твердо возымел тактику участия. Нужно с удовлетворением отметить, что молодая женщина Озуль сконфуженно молчала и что Нур-Клыч не истолковал этого молчания в дурную сторону. Она думала и изумлялась сама себе: как это могло с ней произойти, что она стала второй женой телеграфиста и согласилась на предложенную глупость — осмеять человека с нео-

споримым революционным авторитетом! Нур-Клыч, учитывая свое могущественное положение в данном случае, обратился к ней с пожеланием, что, мол, она может от него требовать и он сделает все то, что возможно для него. Слезы показались у нее на глазах.

Отсюда ясно, товарищи, как прав был Нур-Клыч, который поставил своей задачей очищать мыслительный аппарат своих ближних от чуждых бюрократических элементов и навыков, чтобы сделать его более дееспособным.

Дабы сократить разговор (по времени) хотя бы на 60 процентов, Нур-Клыч спросил ее, как долго и давно живет она подле станции и как ей известны некоторые технические изменения, которые происходят на станции Н., в частности, сколь давно не ремонтирован второй обходной путь как в области шпал, так и рельсов? Она, всхлипывая, ответила, что живет здесь недавно, никаких технических сведений не имеет, но о шпалах может сообщить случайно, потому что отец ее, бедняк и полный инвалид труда, работал года три назад в ремонтной команде как раз на станции Н. и как раз менял шпалы на втором обходном пути. Случайно тоже слышала она разговор отца, за техническую правильность которого она не ручается. Срок жизни шпал из-за влияния песка и морского воздуха определяется на слух следующим образом: если ударите по шпале в край распиловки и услышите звук, будто вы бьете по бумаге, то это первый год шпалы; если нет звука — второй; а если есть звук мокрой кожи, то это конец третьего и последнего года,— в шпале, значит, произошло некоторое набухание, и она не может выдержать известного напряжения и давления.

— Вот и я так же предполагаю,— сказал Нур-Клыч,— и то обстоятельство, что вы со мной так говорили, вскрывает в перспективе вашего развития рост и возможность технического знания.

Он не стал настаивать на дальнейшем разговоре с ней, но и то, что произошло, произвело в ее душе возможность закрепления влияния Нур-Клыча.

Озуль взяла осла под уздцы и быстрыми шагами направилась через барханы в пустыню. Она еще не вполне победила в себе влияние Давли, и то, что она шла с ослом, указывало, что она желала хотя бы формально исполнить требования своего мужа. «Да и

муж ли он мне!» — мелькнуло у ней в мыслях. Хотелось ей также и сказать ребятам, сыновьям Нур-Клыча, которые должны встать из-за бархана и вскинуть свои берданки на плечи: «Вы должны получить на этом новом, технически совершенном, случае встречи с отцом мировой рекорд по уровню любви к отцу, как таковому».

Но вы будете правы, товарищи, выступая с трибуны своего внимания, если возразите мне, что, мол, сыновья Нур-Клыча могли погорячиться, но что на настоящую насмешку в сторону отца они не пойдут. Да, они призывали себя мысленно к большому вниманию: если мы не любим своих отцов, своих кровных специалистов, и способны сомневаться по первому слову какого-нибудь трепача, то мы все время будем в чужих руках!

Да, так рассуждали они, лежа на бархане и глядя на дымок проходящего поезда № 8. Нечего здесь доказывать, почему рассмеялся Ширмамед и, приглядевшись к нему, Кидыр-бай, целиком и полностью присоединившийся, тоже смеялся. Затем они пожали друг другу руки и в голос сказали:

— А хорошо бы закусить плова, но без Давли!

Они вскинули берданки на плечи и помчались к станции, между тем Давли стремился по гребням барханов, заглядывая в песчаные лощинки в поисках своей жены, которой мог показать Нур-Клыч мираж колодца каракумских плато. Барханов много, лощинок еще больше, а миражи, как известно, малозвучны, и Давли сильно устал, тем более что он понимал, как уходят минуты и как растет лента у брошенного им телеграфного аппарата. Но, раз взявшись за поиски, он не мог покинуть пустыни!

Его отец и дед были упорны, и он останется им верен.

5

Подскакав к станции, сыновья Нур-Клыча увидали в окно, что отец их горячо спорит с товарищем Подорожниковым в помещении телеграфа. Они подошли поближе. Нур-Клыч потребовал, чтобы товарищ Подорожников прочел в телеграфной ленте: не запрашивает ли узловая станция, по какому пути намерен товарищ Подорожников пропустить скорый, и нет ли намеков

на состояние обходного пути? Товарищ Подорожников отвечал:

— Я не могу проникать в чужое дежурство! Обождем товарища Давли. Мною отмечалось, что ваше утверждение, Нур-Клыч, о невозможности для паровозов новой марки К. пройти по обходному пути не выдерживает никакой критики. Если бы паровоз не мог пройти, то есть попортил бы рельсы и сошел под откос, то, естественно, его бы не направили к нам. Второе: для исполнительного и лояльного человека, каковым являюсь я, лучше крушение поезда по пунктам соответствующего закона, чем самовольное нарушение такового.

— Но мы уже ждем этого Давли больше получаса! — воскликнул Нур-Клыч.

Товарищ Подорожников ответил:

— Он представит по поводу своего ухода исчерпывающие объяснения, а если не представит, я подам на почве получившегося телеграфного кризиса рапорт.

Нур-Клыч сам понимал, что трудно приобрести здесь ведущую роль, но как раз сейчас-то эта ведущая роль имела громадное значение. Расставшись с женой телеграфиста, он направился к шпалам обходного пути. Они издавали звук мокрой кожи. Но что значит для товарища Подорожникова звук мокрой кожи, когда таковой не отмечен ни одной инструкцией! Может быть, думал товарищ Подорожников, такового звука и совсем в природе не имеется, а если и имеется, то он не зарегистрирован, а если не зарегистрирован, то какая ему цена и какая в нем необходимость разумно устроенной человеческой организации, каковой является станция железной дороги! Нур-Клычу угодно находиться в шахте своих раздумий и вымышлений, ну, так и пусть находится. Он предлагает убрать водный состав. Извините, у водного состава своя система движения, свои кондуктора, которые прекрасно могут крыть матом и подавать заявления, и свой машинист, который тоже может подавать заявления и ругаться даже крепче, чем кондуктора. Сравнительно хорошо обстоит дело у Нур-Клыча в области ораторской, но в области практических мероприятий у него намечается скороспелость и паникерство, он должен постараться извлечь все уроки из такового своего настроения. Если так беспокоиться из-за каждого поезда, то жизнь человеческая, даже если

человек и не страдает желудком, быстро может сократиться до четверти ее нормального размера.

— Телеграфиста нет на станции!— сказал, увидав сыновей своих, Нур-Клыч.

— Мы его доставим,—ответили сыновья и, тотчас же вскочив на коней, помчались в барханы.

Вот так встреча отца с сыновьями! Но товарищ Подорожников не оценил этого. Ни сам Нур-Клыч, ни его сыновья не были служащими станции и железной дороги, они были просто весьма надоедливые пассажиры, которые с высоты своего неведомого величия путаются в дела железной дороги.

— Пора, гражданин, освободить помещение,— обратился товарищ Подорожников к Нур-Клычу,— через двадцать минут проходит мимо скорый, а я не могу оставить пассажира в телеграфной. Если у вас есть ко мне претензии, запишите их в жалобную книгу.

Что же оставалось делать Нур-Клычу? Другой на его месте взял бы жалобную книгу и аккуратным почерком записал бы там о глупости и провинциальном бюрократизме начальника и всего обслуживающего персонала станции, в конце концов вызвавшего крушение скорого поезда. Да, товарищи, крушение! Нур-Клыч чем дальше, тем больше ощущал таковое. Ни в коем случае шпалы не смогут выдержать тяжести нового паровоза, тем более что скорый наверстывает некоторое опоздание и промчится с повышенной резвостью.

Нур-Клыч вышел на обходной путь. Знакомая, среди барханов, лежала перед ним черная линия рельсов. Нур-Клыч вспомнил свою молодость и то, как бегали по рельсам его сыновья, выросшие сейчас в добывателей озокерита. «Нужно признать непреложным, что если геологические слои пород одинаковы как на материке, так и на острове (в области озокеритовых шахт), то, несомненно, перпендикулярно железнодорожной станции Н. у моря должны находиться тоже залежи озокерита!» Нур-Клычу ясно представнлись берег моря и слои геологических пород. Да, несомненно, они таковы, как на острове. Но что дало ему мысль сравнить их цвет и расположение? То, что цвет и расположение шпалы, в которую он стучал, имели много общего с цветом и расположением озокеритовых пород.

Выйдя на путь, Нур-Клыч решил через пять минут вернуться обратно и взять в ленинском уголке станции какой-нибудь красный флаг и этим флагом остановить поезд. Но как только вышел он на путь и направился по нему размеренным шагом стрелочника и как только пришло ему в голову озокеритовое сравнение, это сравнение вытеснило из его головы мысли о поезде. «На материке, — думал он, — несомненно, легче будет устроить вторые озокеритовые промыслы. Во-первых, лучше и быстрее транспорт как продовольственный, так и промысловый: пустяки восемь километров!.. Кроме того, рабочая сила направится на материк с большим удовольствием, чем на пустынный и холодный остров Челекен, где к тому же отвратительные квартирные условия!» Он все глубже и глубже погружался в шахту своего размышления. А привычка к железнодорожным звукам, поставившая его как бы на прежнее место службы, заставила его пропустить мимо себя тот грохот, который слышался среди барханов. Мало ли проходит поездов мимо стрелочника, тем более что скорый, как он его определил по грохоту, должен идти главным, а не обходным путем!

Да, товарищи, многоопытная смерть знает массу поводов, чтобы закрыть нам незаметно глаза в то время, как мы нашли истинное планирование жизни. Но подлинный революционер и настоящий соратник своего времени не должен и не будет унывать! Вот уже каких-нибудь пятьдесят шагов или — скажу ли? — тринадцать осталось до товарища нашего, Нур-Клыча; тринадцать шагов от грохота и лязга и трепета колес скорого поезда, когда Нур-Клыч поднял свою задумчивую голову. Он увидал смерть! Он мог прыгнуть под откос, но он не прыгнул. Он протянул правую руку к левой, в которой он должен был нести знамя из ленинского уголка, но он забыл взять знамя! Стыдно стало Нур-Клычу, но, с другой стороны, он не мог себя обвинить: его увлекли вопросы производства озокерита. Он может сделать важное сообщение производственному совещанию озокеритовых работников. Однако в то же время он должен остановить поезд.

И тогда, товарищи, он вынул красную свою книжку, которую должен иметь каждый сознательный рабочий нашего социалистического государства, и поднял эту книжку над головой. Он не думал, чтобы от туркмен-

ской пыли, поднимаемой ходом вагонов, машинист мог рассмотреть его, но Нур-Клыч хотел сказать, что он погибает из-за своей ошибки, но твердо и высоко держит свою красную партийную книжку! Поезд летел на него, вот уже оставалось двадцать пять шагов, двадцать, восемнадцать...

6

Слово Нур-Клыча: «Телеграфиста Давли нет на станции» — молодые Клычата истолковали в веселом смысле, в предположении, что телеграфист или покаялся в своем замысле, или вскрыт и его решено наказать. Но наказания ему они не могли придумать иного, чем то, каковое он, телеграфист, придумал для самого Нур-Клыча. Впрочем, они мало надеялись на возможность осуществления такового наказания, и, порыскав среди барханов, они правильно подумали, что как и Давли, так и его жена придут к тому бархану, возле которого должен был возлечь с женщиной Нур-Клыч. Посмеявшись своему предположению, Клычи скинули берданки и залегли за гребни бархана. Солнце оживилось и, обращая внимание на основные груды песков пустыни подле моря, как бы устроило съезд всех систем и градусов жары,— поэтому здесь больше, чем в какой-нибудь области, было трудно дышать.

7

Вернемся же теперь к телеграфисту! Да, ему было тоже несладко. Чем глубже уходили ноги его в песок и в жару, тем ему все яснее думалось, что Озуль хочет его непередаваемо унизить и низвергнуть. Но бродить одному среди барханов даже для опытного человека очень неприятно и скучно, поэтому Давли выразил живейшее удовольствие, когда встретил Озуль, и еще более сильное удовольствие, когда он разглядел, что Озуль была одна. Но тотчас же он подумал, что за соседним барханом лежит, отдыхая, Нур-Клыч, нашедший колодец, тем более что Озуль стояла в ложбинке задумчиво и осел Ташу тоже был задумчив и многознающ. Давли сказал со злостью:

— Я знаю: ты его оставила отдыхать, и тебе стало стыдно, что его поганое ведро, продавшееся русским,

было в колодцах моей пустыни. Это возмутительно и мерзко! Остановись на месте и стой, дабы я мог подойти к тебе вплотную и плюнуть тебе в твои лживые глаза. Я тебе приказывал, чтобы ты была таким проводником, который во всей пустыне не мог бы для Нур-Клыча найти ни одного колодца!

Она не столько обиделась таким его оскорблениям, сколько обрадовалась, когда он появился. Радость эта, правда, должна быть отнесена к области той радости, когда человек боится заблудиться, но она не должна ведь бояться, так как намеревается жить самостоятельной жизнью! Давли истолковал ее молчание по-своему, он быстро подбежал к ней, стал ощупывать ее плечи и прочее, кричать:

— Все эти пространства принадлежали мне, законному наследнику ханов Туркмении, а ты их продала лазутчику русских, и хотя бы продала за что дельное, а то только за одни обещания. Дал он тебе денег? Нет. Дал он тебе мануфактуру? Нет. Я не вижу его чемодана на моем осле, на моем осле только остатки дыхания его страсти. Чего ради я кормил такое тело? Он и его руки скользили по тебе медленно и верно и не спеша, как опускается кожаное ведро в колодец пустыни.

Она молчала, и он воскликнул еще громче:

— Где ты его оставила?

Несчастная ответила робко:

— Я, как тебе известно, не брала с собой кожаного ведра!

Давли разозлился еще больше и возопил, что имеет в виду Нур-Клыча.

— Нур-Клыч,— ответила ему Озуль,— остался у станции, спросив меня только о шпалах и моем происхождении. Я одна пошла в пустыню. Я полагала, что если не смогла уговорить его пойти со мной, то, если тебе необходимо, ты сам исполнишь это.

Сказав эти слова, Озуль рассердилась, и как только она увидала, что Давли успокоился и даже почувствовал к ней нежность, так злость и желание причинить Давли крупнейшую неприятность завладели ею. Она стала нежно ласкаться к нему и незаметно тронула своего осла, и осел пошел вперед.

Давли, несмотря на свою усталость, быстро пошел ей навстречу в ее ласкательных движениях, видя в этом как закрепление своего мужского достоинства, так и

чисто практические результаты вроде того, что она вполне и во всем подчиняется и подчинится его власти. Когда ласки его привели к необходимости остановки (нужно добавить, что они в то время подошли к бархану, на гребне которого лежали братья Клычи), Озуль сказала:

— Да, ты прав, это единственный способ загладить споры и недоверие.

Она правильно учла, что братья Клычи поддержат ее шутку, и действительно, как только колодец пустыни из миража начал превращаться в реальность, братья, дабы заглушить свой хохот, подняли берданки и выстрелили в воздух, а выстрелив, вскочили на коней и умчались за несколько барханов вперед.

Давли перепугался, вскочил. Осел, напуганный и выстрелами, и неожиданными движениями своего хозяина, лягнул и попал копытом в ухо Давли. Давли упал, и осел промчался по нему. Поднявшись, Давли, который с перепуга забыл свой замысел против Нур-Клыча, торопливо сказал жене, что необходимо спешить к станции. Она взяла осла и повела его в сторону, противоположную станции. Так прошли они некоторое время, и, не видя станции, Давли вспомнил план своей проделки и, вспомнив, стал кричать громко:

— Ширмамед! Кидыр-бай! Я проиграл свое пари и готовлю для вас плов. Сюда!

Но никто не отвечал ему, и многие подозрительные мысли посетили его голову. Он знал, что если обещать плов братьям Клычам, то они не могут не откликнуться.

— Тогда это были охотники... Поставь осла у подножия бархана внизу,— сказал он и решил немного отдохнуть. Но едва они присели и едва Озуль возобновила свои ласки, к которым он относился теперь холоднее, опять раздались выстрелы, и опять осел промчался по Давли, уронив теперь на его жену и на него самого свои копыта. Давли долго стонал и мучился, пока выстрелы не затихли, пока всадники не умчались, и, поднявшись, сказал:

— Проклятый осел, кажется, копыта у него из железа! Я всегда относился подозрительно к его характеру. И почему ему понравились мои бока, и почему ты его не выпустила, а плясала вместе с ним на мне?

— Как же я могу выпустить повод,— ответила Озуль,— я начинаю бояться, что мы заблудились, и так

как ты достаточно помят, то тебе из пустыни без осла не возвратиться.

— Так-то оно так,— сказал Давли,— но нельзя ли обвязать ему копыта и нельзя ли обвязать твои желания,— ты же всегда говорила, что моя комнатная Туркмения хотя и более призрачна, но и более приятна, нежели та, в которой ты воспитывалась.

— Я согласна с тобой,— ответила Озуль,— но и сегодняшняя Туркмения мне кажется призрачной! Пойдем вперед и выберем спокойное место. Я уже вижу колодец.

— Нет здесь колодцев,— воскликнул Давли,— и когда случались среди барханов колодцы?

Однако он пошел за ней, и так как тело его ломило, то он не отказался опять присесть, попросив только поставить осла не у подножия бархана, а у вершины. Она протянула к нему руку — и опять раздались выстрелы, и осел кубарем с вершины бархана упал на Давли и всем своим седалищем опустился ему сначала на папаху, а затем и на лицо. Давли вылез, еле дыша и сморкаясь. Но здесь осел лягнул его в живот, и Давли покатился по бархану. Не успел он подняться, как на бархане что-то еще метнулось, и его жена с разбегу упала на него и с закрытыми глазами, вся дрожа от злости, начала его бить.

— Вот тебе, дурацкий осел, вот тебе за то, что ты лягаешь хозяина!

Давли кое-как вырвался из-под ее кулаков и сказал:

— Признаться сказать, никак не ожидал я, жена, чтобы ты обладала такими здоровенными кулаками! Осел мне вышиб два зуба и ты — один.

Она всплеснула руками и сказала:

— Жара совершенно сбила меня с толку! Я приняла тебя за осла, которого решила наказать. Действительно, безобразие! Если мы ставим его внизу бархана, он бежит вверх, а если его поставишь вверху, он бежит вниз. Теперь, я думаю, нам лучше сделать так: ты сядешь на него, и, чтобы он брыканьем своим не свалил тебя, я тебя привяжу веревками к седлу.

Давли сказал с трудом:

— Наконец-то я слышу разумное слово. Мне и ехать можно будет, и у тебя не будет возможности предлагать мне искать колодцы там, где их не может и быть. Привязывай!

Он, стеная и кляня свою дурацкую выдумку, влез на осла, и она крепко привязала мужа к седлу. Привязав, она сказала:

— Ты привязанный гораздо мужественнее выглядишь, чем тогда, когда ты на свободе. Я должна тебя поцеловать такого, каким я тебя не видала никогда в призрачной Туркмении.

Он протянул к ней руки.

— Подожди, подожди! Ты слишком много говоришь о призрачной Туркмении. Ты напрасно говорить не будешь. Какие у тебя на этот счет предположения?

— А такие,— ответила она,— что слухи о твоей точной и рельефной Туркмении дошли до тех людей, которые не имеют таких точных и верных карт. Но они боятся сами взять рельеф, опасаясь его поломать, и ищут тебя с тем, чтобы ты помог им. Может быть, это басмачи, может быть, афганцы или персы...

Руки у него опустились, он скорбно сказал:

— А как только я им соберу, и я им буду не нужен, они или убьют меня, или оставят на свободе, но тогда меня убьет советская власть за шпионаж.

— Ты умный,— сказала Озуль и поцеловала его. Тотчас же раздались выстрелы. Осел опять начал лягаться и прыгать, но так как лягать теперь ему некого было, то он упал на бок, перевернулся, Давли взвыл, осел испугался еще больше и понесся. Сделав несколько прыжков, он опять перекувырнулся, и опять послышался вой Давли. Затем, падая и подымаясь, тычась в песок, осел направился к станции, и телеграфист лежал на спине его, плоский и выжатый, как пустой и мокрый мешок. Мелким и веселым своим шагом вбежал осел Ташу во двор, где квартировал Давли, и первая его жена Гюзаль выскочила с криком:

— Где и кто тебя так покалечил, мой любимый муж?

— Снимай скорей,— сказал Давли,— разрезай веревки, если не можешь развязать. Мне дорога каждая минута.

Она разрезала веревки, и он на четвереньках, проклиная свою жизнь, вполз в комнату и, схватив лопату, начал уничтожать рельеф призрачной и прекрасной Туркмении. Гюзаль смотрела па уничтожение это со злорадством.

— Да,— сказала она,— теперь мне надеяться нечего, что я смогу получить хотя бы стертые тени призрачной

Туркмении. Ты сознался в своем полном банкротстве, но мало этого; я предвижу, ты намерен убежать от меня, захватив свои вещи. Этого не будет! Я направляюсь в женотдел и там расскажу о тебе все.

Напрасно Давли говорил ей, что уничтожение призрачной Туркмении не есть уничтожение совместной жизни втроем или даже вдвоем с ней: решение ее было твердо, и она ушла. Оставшись один, Давли горько смотрел на разрушенный свой уют, и вдобавок вспомнил он с ужасом: «Позвольте, а мое дежурство у аппарата! Положим, шесть лет я не манкировал, и есть надежда, что, учтя таковое неманкирование, меня простят, но все-таки...»

8

Первым из Клычей, при их совместной встрече с Озуль, начал говорить Ширмамед, не потому, что он обладал ораторскими способностями, а потому, что почувствовал некоторое желание поесть после долгих скачек среди барханов:

— Гражданка жена телеграфиста! Из отрывков разговоров между вами и мужем и из всего вашего поведения мы поняли, что муж не только угнетал вас, но и склонен был эксплуатировать в самых низких и подлых ситуациях, и поняли также, что таковая эксплуатация вами осознана и вы ею возмущаетесь. Мы многого предложить вам не можем, но...

Здесь он должен был прервать свою речь и задуматься, так как на дальнейшее у него не хватило организационного соображения, и понятно, что продолжал его речь Кидыр-бай, как человек более легкий и предприимчивый в силу и своей должности, и своих природных качеств.

— Гражданка жена телеграфиста,— сказал Кидыр-бай,— действительно, мы многого вам предложить не можем, но труд и уважение вы всегда встретите в нашем кооперативе по разработке озокерита на острове Челекен. Ударной задачей нашей является усиление производительности труда, и в этом вы сможете нам помочь — не личной работой в шахтах, которая в силу примитивности установок является и для нас очень тягостной, а тем, что возьмете на себя труды

по лучшей организации столовой в кооперативе промыслов, где, несомненно, внимательная женская рука может вызвать чудеса в жизни.

Он слез с коня и уступил ей седло, а сам уселся на круп. Беря в руки поводья, она отвечала:

— Дорогие товарищи, ваше внимание несказанно обласкало меня, и дух мой, упавший было, после того как я насмеялась над мужем, теперь окреп, и я с благодарностью не только приму ваше предложение, но и осуществлю его, как могу, до конца моих дней.

Разговаривая таким любезным образом, они подъехали к станции и увидали здесь толпу народа, остановившийся скорый поезд — и высоко над толпой мощную фигуру Нур-Клыча и рядом с ним не менее мощную фигуру бригадира Синицына, то есть меня, так как тот бригадир, после объезда Средней Азии (Казахстана и Туркмении главным образом), возвращался через Красноводск и Баку в Москву.

Нужно ли говорить о том, что зоркий глаз машиниста поезда не дал погибнуть товарищу Нур-Клычу, и поезд остановился в пяти шагах от такового! Машинист, разозленный трудностью и опасностью ответственного пробега, выбежал на путь, дабы отругать человека, остановившего поезд, однако сам был остановлен восклицанием Нур-Клыча:

— Вижу, вижу!

— Свои-то вы поступки видите? — заорал на него машинист.

На таковое орание Нур-Клыч ответил:

— И еще как! Нет ли у вас клочка белой бумаги?

Обостренный вид Нур-Клыча остановил мое внимание, и я протянул ему свой блокнот, в котором Нур-Клыч провел несколько черточек и сказал:

— Да, несомненно, что на материке имеется озокерит.

В поезде наша бригада изучала материалы по полезным ископаемым на острове Челекен, который намеревалась посетить и провести там два-три производственных совещания, и поэтому естественно, что восклицание об озокерите чрезвычайно заинтересовало меня, и я спросил:

— Это что такое: ваши утверждения, товарищ, или ваши предположения о возможности добычи озокерита

на материке? Озокеритная проблема имеет не только союзное, но и мировое значение.

Нур-Клыч ответил мне твердо:

— Это мое утверждение!

И по голосу я его понял, что такому человеку верить не только можно, но и должно верить. В наш полезный разговор вмешался машинист, который вскричал:

— Прекрасно, но какое отношение для скорого поезда имеет ваша озокеритная проблема и почему вы толкаетесь на путях, как в клубе?

Нур-Клыч, ни слова не говоря, взял машиниста под руку и подвел его к шпалам.

— Можете ли вы, товарищ, провести через такие шпалы ваш паровоз новой сверхмощности?

Машинист пощупал шпалы и сказал:

— Я, товарищ, уже перенес более или менее благополучно девять крушений, а в данном случае думаю, что это крушение из всех мною перенесенных было бы самым неудачным!

Естественно, что пассажиры начали ужасаться, и некоторым из них даже стало дурно, а гражданка одна из соседнего с нами купе, везшая на спекуляцию яйца, вернувшись от разговора, с растерянности и перепуга села на таковые.

Машинист обернулся к пассажирам, продолжающим издавать крики, и сказал:

— Но вы же все требовали, чтобы я нагонял скорость, а теперь шипите? Мещанство! Садитесь в вагоны по местам, я медленно и по главному пути повезу вас.

По требованию пассажиров и машиниста товарищ Подорожников велел перевести состав с водой на второй путь, и не успел туда двинуться таковой, как шпалы затрещали, и рельсы под паровозом лопнули, и паровоз остановился. Что же было бы с нами, спрашивается?.. Все начали жать руки Нур-Клычу, а товарищ Подорожников сказал:

— Здесь нет никаких чудес, просто он получил какую-то инструкцию, которая еще до нас не дошла, иначе чем же можно объяснить такой факт, что по обходному пути три года ходили поезда всех размеров и дистанций, а здесь лопнули шпалы и рельсы оттого только, что в них инженер Нур-Клыч постучал палкой, и лопнули как: на глазах у всего скорого поезда.

По моему предложению бригада спешилась с поезда, настояла и произвела досрочную чистку на станции Н., где нашла нужным немедленно сменить телеграфиста Давли по первой категории за преступное отношение к своим обязанностям, в результате которых могло быть крушение скорого поезда. Преступное отношение выразилось в том, что он покинул свой пост в ответственнейший момент, когда узловая станция спрашивала товарища Подорожникова о состоянии пути. Товарищу Подорожникову дать строгий выговор с перемещением на низшую должность, а всему остальному персоналу поставить на вид их халатное отношение к работе...

Как? Дальнейшее? Дальнейшее развивалось естественным путем.

ОЧЕРЕДНЫЕ ОХОТНИКИ ЗА ЧЕРЕПАХАМИ

1

Направляясь вверх по Амударье к городу Керки, довелось нам завернуть в некий кишлак Хасарик, в окрестностях которого мы осмотрели несколько колхозов.

Постольку, поскольку многие из нас не ездили всадниками, нам чисто по компанейским чувствам пришлось много ходить пешком. Ходьба в Средней Азии затруднительна, главным образом из-за жары, а также из-за рельефа дороги, который изрезан арыками и покрыт слоем легкой пыли.

В полях гудели тракторы, и кое-где лес наливался водой.

Социалистический сев шел вовсю. Я много размышлял по сему поводу.

Возвращаясь к нашим транспортным средствам, мы видели, как на главную дорогу отовсюду на разнообразных ослах, этих незаслуженно осмеянных животных, между прочим пахота на которых стоит двенадцать рублей гектар, к которым мы еще когда-нибудь вернемся, выезжали, говорю я, туркмены.

Мы интересовались всем, так как население этой окраины нуждается в самом элементарном инструктаже

со стороны, и посему я спросил у сопровождавшего нас колхозника, с какой целью направляются они в одну и ту же сторону.

Колхозник мне прямо сказал, что завтра, мол, в кишлаке Хасарик намечается очередной районный базар.

— Не пожелаете ли, московские товарищи, остаться на тот районный базар и провести частичное собеседование с населением? — продолжал он.

Мы спешили и вынуждены были отказаться, но, придя в чайхану, нам пришлось пересмотреть наше решение.

К пересмотру нашего решения нас привлекла Енэ Колиева, пожилая туркменка из керкинского женотдела, которая встретила нас возгласом, указывая на женщину, сидевшую с ней рядом:

— Было бы прямым преступлением перед интересами социалистического строительства, если б мы не помогли ей в ее действительно тяжелых затруднениях.

Мы со всей категоричностью заявили, что никогда не предавали и не предадим интересы социалистического строительства, мы по возможности наиболее эффективно используем как телесные, так и душевные возможности, которыми располагаем.

— Как вас зовут, гражданка? — обратился я к молодой женщине, явно обнаружившей возможность большой красоты.

Гражданка подозвала мужчину, который стоял несколько поодаль, и, вежливо поклонившись, начала так:

2

— Зовут меня Меле-Беке, а этот человек, дабы не было излишних недоразумений, называется Гассан Хей-вязи, и если позволят природа и население нашей республики, то он намечается быть моим вторым и последним мужем.

«Почему же вторым?» — спросите вы.

«А потому, — отвечу я, — что первый муж мой, — имя его не важно, но важно знать имя его отца, а его зовут Файзулла Бакши, — первый муж мой умер неделю тому назад»,

Еще ранее я бы вам должна сказать (дабы был порядок в изложении причин), что я была единственной дочерью и год тому назад мой отец, не имевший наследников, оставил мне белого с дымчатым пятном на лбу жеребца, который вошел в дом моего мужа и составлял гордость моей семьи, принося в то же время почетный и легкий заработок, так как жеребец был любвеобилен и славился прекрасным потомством.

После того как умер мой муж, тесть мой Файзулла Бакши, между прочим злоупотреблявший терьяком и другими наркотиками, сильно обеспокоился и стал рыться в адате и без труда всякого нашел там, что жена по смерти мужа передается в наследство его брату.

А брату моего мужа, Хазрату, всего, граждане, четырнадцать лет и несколько месяцев!

Файзулла Бакши и его ближайшие помощники, без сомнения, подозревают, что я люблю Гассана Хей-вязи и буду второй и последней его женой.

Почему последней? Потому что и он меня, и я его будем любить до смерти, когда бы она и как бы она ни явилась.

Я долго размышляла!

Я знала адат, по которому туркменка не должна посещать город, но я решилась — и вот пришла в женотдел, который и посоветовал мне обратиться в суд.

Я написала заявление, и не успел еще суд разослать повестки, как я уже имею последствие, то есть все последние дни Файзулла Бакши и его ближайшие соратники по терьяку ведут между собой различные переговоры, часть и смысл которых подслушала я, а другую часть — Гассан Хей-вязи единолично либо через своих друзей, таких же бедняков, как и он, и более или менее колхозников. Выяснили мы, что они намерены убить меня!

Убить меня нетрудно: уже предварительно про меня пущен слух, что я занимаюсь проституцией, и, следовательно, убийство можно взвалить на какого-нибудь из моих неудачных любовников.

Выяснилось также, что убийство мое они намерены осуществить завтра, поскольку будет базарный день, во-первых, и, во-вторых, появится из пустыни фактический исполнитель убийства, небезызвестный Валид-бей.

Вышеозначенный Валид-бей уже неоднократно приторговывался к нашему жеребцу, но мой муж, целиком

стоя на платформе советской власти, ненавидел Валид-бея за его темное прошлое и за вскрытое участие Валид-бея в белогвардейских карательных отрядах.

Теперь Валид-бей официально торговец «нассом» — туркменским табаком, а неофициально, думается, возит из Афганистана терьяк, который и продает в курильне возле базара. Точно, где помещается курильня, сказать не могу... но и это можно вскрыть, если приняться как следует за дело.

Валид-бей обещал быть непременно, не из-за замысла терьячников, так как он еще не знает, на какую его задачу хотят привлечь старики, но он мчится на черной любимой своей кобыле, которую давно уже мечтает оплодотворить от нашего жеребца, а старики намечают отдать ему жеребца за дешевую плату в том случае, конечно, если Валид-бей согласится убрать меня с дороги!

Я нарушила адат. Да, я буду нарушать его. Я подам в тысячу судов!! Я выпущу жеребца, и он будет завтра на базаре крыть всех кобылиц, которых ему заблагорассудится,— и старики ничего на этом не заработают!!!

3

— Успокойтесь, гражданка Меле-Беке,— сказал я ей. — Московская бригада подумает и, несомненно, найдет и безопасный и почетный для вас выход из задуманного столь широко преступления. Точно ли старики, возглавляемые Файзуллой Бакши, задумали вас убить и, главное, твердо ли они решили?

Меле-Беке опустила почти до полу густые свои ресницы.

«Эх, Марья Потаповна, Марья Потаповна,— подумал я про жену,— не будь мне пятьдесят годков, черт меня знает, может быть, я и пожелал бы посоперничать с Гассаном Хей-вязи!»

Но я тщательно вытравил эти не достойные рабочего бригадира мысли и переспросил:

— Непреклонно ли?

— Так непреклонно, что и повторить страшно. Вчера еще я слышала, как старики разговаривали под тенью базарного сарая, опираясь костлявыми и гнусными своими спинами о деревянные подпорки. Я, повторяю, слы-

шала, как они в один голос проговорили: «Легче нам превратиться в эти деревянные столбы, нежели отступиться от своей идеи».

— Легче — говорят?

— Легче.

— В столбы превратиться?

— В столбы.

— Старикам?

— Старикам.

— Так... Каково же население относится к приезду рабочей бригады и каково к старикам и, в частности, к адату?

— Адат, несомненно, далеко еще не вытравлен, но почва для этого подготовлена и подготовляется ежечасно. Старики населению порядком надоели, и, если бы рабочая бригада смогла отнестись к старикам не только с негодованием, но и со смехом,— несомненно, население хохотало бы совместно и долго. Что же касается белого с дымчатым лбом коня, то я...

— Успокойтесь, гражданка Меле-Беке, успокойтесь!...

— Вот производится набор в Красную Армию, и я отдам туда коня.

Женщина, видимо, волновалась сильно. Смех, конечно, оздоровил бы ее состояние, и не только ее, но и состояние всего поселка, который, под влиянием темных слухов, был нездорово настроен. И я тогда, посоветовавшись с бригадниками, сказал ей уверенно и неколебимо:

— Что же, гражданка Меле-Беке, попробуем посмеяться и совместно и долго!

Здесь в разговор вмешалась Енэ Колиева:

— Каким путем вы, товарищ Синицын, не зная местных условий, намерены смеяться упорно и долго?

— А вот пути-то мы и обсудим совместно,— ответил я ей, и голос мой был таков, что она почувствовала, что и в данном случае, как и во всех иных, на бригаду можно опереться.

4

— Спросила я вас, товарищ Синицын, о путях потому,— сказала мне в конце длинной беседы с местными работниками Енэ Колиева,— что нам бороться

за светлое будущее чрезвычайно трудно. Судите сами хотя бы по такому примеру. Тысяча девятьсот двадцать первый год был победоноснейшим годом революции не только для Средней Азии, но и для всего СССР. Республики перешли к мирному строительству. А в течение всего двадцать первого года нам удалось вырвать из наглых когтей адата и сделать поборницей женских прав только одну туркменку — Шах-Султан Караджаеву, которая побывала в Баку на съезде женщин-восточниц и своими глазами видела и слышала великого товарища Ленина. А через два года, в мае месяце, на первой конференции восточниц Туркменской республики присутствовало лишь пять туркменок, но и те были старухи, за исключением одной, которую сопровождал муж! Мало того, и старух-то на конференцию завлекли обещанием подарков.

В легкой, но категорической форме я прервал ее размышления:

— Мало ли как мы начинали работу, но важно, чтобы она была развернута, что вам и удается; переходя же к вопросу, интересующему нас, мы, видимо, должны признать, что план в общем принят, и теперь перейдем к обсуждению веселых мелочей.

— Перейдем,— согласилась Енэ Колиева.

5

Теперь вернемся к тем старикам, которых возглавлял Файзулла Бакши. Стариков, не считая Файзуллы, было трое: Осман, Бирман и Никбулла.

Несмотря на браваду, которую они гордо проносили по кишлаку, старики все же были очень обеспокоены приездом бригады и, главное, тем, что она осталась на районный базар, что никак не входило в их планы. Они понимали, что бригада может им насолить или поднять соответствующую бучу.

Рано вечером они направились в притон, который находился возле самого базара, под вывеской сапожника.

Терьяк — это, товарищи, громадное зло для Средней Азии, особенно в местах, близко соприкасающихся с империалистической границей! Терьяк — это, можно сказать кратко, тот же опиум, только не очищенный,

насколько я понял, но вред и употребление его столь же обыкновенны, как и в Китае.

Всю ночь обеспокоенные старики курили терьяк и раскидывали планы, и так как, по мере приближения утра, беспокойство их все ширилось, то они для успокоения курили все большее количество трубок, и, естественно, под утро они были, что называется, под дурманом или, другими словами, — с похмелья.

Говорят, я сам не читал, что некоторые писатели, поэты то есть, восхваляют опиум, а я скажу как очевидец, что последствия от него хуже, чем от водки, гораздо заметнее и гораздо отвратительнее, и восхвалять опиум этот нельзя, так же как если бы мы вздумали восхвалять водку (все бы над нами издевались!); поэтому восхваления эти я отношу в сторону буржуазных писателей, поэтов то есть.

Вот выходят наши старички поутру, а жара там начинается еще до восхода: от жары и от света совсем они одурели.

Стали они тень искать и направились под навес еще пустующего базарного сарая, так как население только-только начало выходить. Прислонились они к столбикам, и так это муторно им, так муторно, что мне терьячников тех со стороны жалко.

Вдруг видят они, идет мимо них Меле-Беке и под уздцы белого с дымчатым лбом жеребца ведет.

Окрикнул ее Файзулла Бакши, самый ехидный старик:

— Куда ты идешь, Меле-Беке, и куда ведешь жеребца?

А та проходит мимо, как будто не слышит.

Разозлился Файзулла и повторил:

— Лучше нам в подпорки деревянные обратиться, чем отказаться от ее смерти!

И все старики осоловело повторили за ним эти слова и стали с нетерпением ждать, когда появится из пустыни черная кобылица Валид-бея.

Смотрят, а Меле-Беке уже возвращается, и теперь жеребец на поводу у ней, дико пляшет и ушами скребет, и глаза кровью налились.

Файзулла ее и окликать не стал, но только показывается навстречу ей базарный глашатай, мужчина в этакой папахе, похожей на глиняную. Он постановления Совета выкрикивает на базаре.

Поравнялся он с Меле-Беке, кланяется ей и спрашивает:

— Почему ведешь жеребца. Спит, что ли, тесть твой Файзулла?

— Да,— отвечает,— утомился, спит.

Старички смотрят друг на друга, не во сне ли, мол, да не может во сне голова так болеть.

И обращаются они к глашатаю:

— Каковы есть новые законы и скоро ли полную свободную торговлю нам развернуть удастся?

А глашатай идет мимо них, смотрит на них с недвижным лицом и разговаривает сам с собой:

— Испортились столбы: скрипят... Пока народ не собрался, починить мне, что ли?..

И норовит он прислониться к столбу, возле которого Файзулла стоит, — то есть фактически облокачивается на самого Файзуллу.

Тот его оттолкнул и кричит:

— Проснись!

А глашатай отходит от столба и говорит опять про себя:

— Опасно прислоняться, как бы не обрушились эти ветхие столбы, скрипят.

У старичков и от злости и от жары совсем ноги свело, им бы к другому сараю перейти, к другим столбикам, а они не могут и только друг на друга искоса загадочно посматривают.

А глашатай от них отвернулся и еле смех держит в себе. Декрет, который очередной должен был выкрикнуть, забыл. «Обалдели от терьяку старички!»

Здесь появляется на осле верхом Гассан Хей-вязи, трусит легонечко возле сарая и песню про себя жалобную поет.

Файзулла размышляет: «Если, мол, я обращусь к Гассану Хей-вязи, с которым ранее, из-за бедности его, никогда не разговаривал, то Гассан, будучи польщен, несомненно, разъяснит мне мой бред, и даже если и упрекнет в излишнем курении, то и упрек можно перенести».

С мыслями такими кричит Файзулла:

— Заверни сюда на минутку, Гассан! Имею к тебе некоторое предложение!

Перед Гассаном Хей-вязи стояла, как важнейшая задача, сдержка всех чувств, которые вспыхнули в нем

при возгласе старика и которые этот ехидненький старикашка предвидел.

Нечего скрывать, трудно было Гассану, но он преодолел свою слабость и по-прежнему трусил на своем корявом ослике мимо лавки.

Если и были какие-либо сомнения у Файзуллы, после того как не отозвались глашатай, Меле-Беке и Гассан, то теперь, после того как на базаре стал появляться народ и все проходили мимо и все толкались о столбики, задевали стариков и не отзывались на их призывы, — то теперь старики пришли в глубокий ужас.

Файзулла спросил Османа:

— Не чудится ли нам, Осман?

И Осман ответил:

— Где там чудится!

Правда, им как будто послышался смех, но теперь, после такого происшествия, они уже не верили своим ушам, и самый робкий из них, старик Бирман, обратился к другу своему Никбулле:

— Дожили мы до того, что вот стоим у столбов и сами, кажется, способны по чувствам своим обратиться в столбы!

И когда старик Никбулла, самый хитрый из всех заговорщиков, не ответил на этот вопрос и подумал, что не произошло ли так, что они, согласно клятве своей, начали уже легко превращаться в столбы, когда и все остальные подумали, так же, как хитрый Никбулла, и смятение охватило их и сомнение во многих своих мыслях.

В это время подошел к столбику, возле которого стоял Никбулла, молодой туркмен и, разговаривая со своим приятелем о том о сем, как бы между делом стал привязывать осла, причем вместе со столбом захватил и Никбуллу.

Никбулла по хитрости своей, когда туркмен стал привязывать осла, решил было следить за выражением лица туркмена, дабы определить, не шутит ли тот.

Лицо туркмена было неколебимо, но, пока Никбулла следил за этим лицом, он оказался крепко привязанным, и тогда туркмен воскликнул, как бы пугая осла:

— Ты у меня стой смирно, а то шалить любишь!

И пребольно ударил плеткой — «камчой» — и по столбу и по старику Никбулле. Никбулле было больно, но он стерпел, чтобы не показать, что сглупил, а что

на этот предмет у него имеются в запасе кое-какие расчеты. Он высморкался скорбно на весь базар.

И здесь некоторые вспомнили, что тоже не привязали своих ослов, и повели ослов к столбикам и тоже, боясь того, что ослы станут играть, привязывая, слегка стращали, то есть слегка задевали бичами стариков.

Конечно, старики молчали так же, как и молчал Никбулла, потому что они верили, видите ли, в его хитрость и далекие замыслы.

Файзулла, приняв на свою долю положенное количество ударов, сказал:

— Для меня является совершенно бесспорным, что только появление Валид-бея может несколько разъяснить и освежить атмосферу.

Старики смолчали.

Файзулла обиделся было, так как подумал, что старики уже разочаровываются в заговоре, но здесь все услышали топот, и на базар выскочил на черной кобыле своей отважный Валид-бей. Мужчина рослый, нос ястребиный, посадка на коне гренадерская.

Восхищенно смотрели на него старики. А он окинул этаким козырем базар, приподнял голову: дескать, есть ли мне кто супротивник и, дескать, плевал я на все ваши рабочие и крестьянские бригады; я желаю и буду защищать интересы Файзуллы Бакши.

Но не тут-то было!.. Откуда-то из переулка глиняного выскакивает белый с дымчатым лбом жеребец. Пена на устах; глаза исподлобья горят; прыжки по десяти метров, прямо как с картины Брюллова! Остановился, весь дрожит.

Все на базаре думают: «Сбесился он, что ли?», а он — к одной кобыле, а та от него, он ко второй, вторая тоже, и видят все: обежал жеребец площадь, пронесся опять по каким-то улочкам, мостика два-три проломил, возвратился и остановился против самого знаменитого джигита Валид-бея.

И вдруг валидовская кобыла, которая до сегодня ждала и жаждала любви белого жеребца, внезапно начинает пятиться, водить ушами и выражать широкое неудовольствие.

«Что ж, он на самом деле взбесился?» — думает Валид-бей, и не успел он толком додумать своей мысли, так как думать ему, по неспособности, трудно было, как белый жеребец взметнется да как обрушится на

черную кобылу и прямо копытами в седло к Валид-бею!

А кобыла — из-под белого, а тот на двух ногах за ней, — и так, понимаете, скачут они через весь базар, а между конями в великом позоре лежит и вопит Валид-бей!

Дали они этаким манером круга два по площади, пока наконец Валид-бей из-под белого жеребца не вывалился; и вывалился-то он как раз неподалеку от старичков, привязанных к столбикам. Вывалился он прямо в пыль, лежит, не шелохнется, позором страдает.

А базар заливается, хохочет:

— Вот так воин, вот так джигит!..

Мулла на мечеть поднялся было, и то вынужден был спуститься вниз со смеху; женщины покрывала сняли — чадры, что ли, по-ихнему, так как под чадрой смеяться невозможно, — и мужья со смеху никак и не смогли этого заметить.

Ослы хохотали; курицы, тауки по-ихнему, извините, тоже смеялись!

Продавец «насса» — нюхательного табаку, который туркмены вместо носа за щеку кладут, упал в свой табак, и так как табаку перед ним была навалена огромная зеленая копна, то чихал он после того шесть недель без одного дня.

Многие не только халаты свои, но ковры, на которых сидели, со смеху порвали.

Да, похохотала Туркмения!..

И сам Валид-бей, понимая, что не хохотать нельзя, все же не мог рассмеяться сам над собой, и дикая злость вдруг овладела им.

Вскочил он — и вспомнил вдруг другой запах, который, кроме пота, издавал белый с дымчатым лбом жеребец. Отчего бы это жеребцу пахнуть волком? И со страху такой запах не может померещиться!

Присмотрелся он, а жеребец все еще носится и прыгает, и заметно, что страсть в нем любовная поиссякла, а прыгает он больше уже с того неведомого запаху. Да, точно, висит на узде у жеребца кусок волчьей невыделанной шкуры.

Чем опозорили джигита! Какой глупой выдумкой можно убить человека и буквально сбросить его с вершины гордости в пыль!

Плакать бы, но слезы не лились! Валид-бей сел, и взор его упал на топоры, которые продавал какой-то унылый кузнец.

Валид-бей вскочил, схватил топор и ринулся на позорище свое: белого с дымчатым пятном жеребца.

Чья-то спокойная рука взяла его за плечо. Валид-бей обернулся: перед ним стоял некто. Этот некто — человек всеми уважаемый, председатель районной ревизионной комиссии, сказал:

— Нельзя обижаться на коня, если и ему и тебе навредил волк. Его он отогнал от любви, а тебя от славы! Подожди, ты еще молод, слава может прийти и в иной форме, а ты вот поучись на старике Файзулле, которому уже своей порции славы никак не дождаться!

Файзулла и его сподвижники смотрели столь тупо, как будто уже действительно стали деревянными столбами.

Джигит попросил рассказать о происшедшем — и ему рассказали, и, надо сказать, он все-таки оказался парнем благоразумным, потому что эта история показалась ему еще смешнее, чем происшествие с ним,— и он долго и упорно хохотал, а затем в шутку схватил топор, подскочил к Файзуллиному столбику и с показной яростью закричал:

— Я упал с коня исключительно только потому, что кобыла моя всегда боялась странных этих и диких по форме столбов. Я всегда требовал от кишлачного совета срубить таковые столбы. Их не рубят, так я срублю их сам!..

Услышав такие возгласы и увидав сверкание нового топора в руках Валид-бея, четверо стариков с криками «гит, гит!» — значит: «прочь, прочь», — развязались и кинулись вначале по площади, а затем и по переулкам и дальше!

Народ опять долго и упорно хохотал и затем повалил в чайхану, где, по нашему предложению, должна была развернуться последняя часть вышеначатой картины.

Прибежав в дом Файзуллы, отдышавшись, старики вначале поссорились, даже отчасти задели друг друга, причем выяснилось, что тела их порядком помяты, а затем старики разошлись по своим закутам, но тут-то их и посетили некоторые мысли.

Первому пришла мысль хитрейшему Никбулле:

«Виноват, — подумал он, — а если кто-нибудь из четырех первым, чем я, прибежит в исполком и сознается в замышлении на убийство Меле-Беке и свалит всю вину, признанием выбелив себя? Кроме того, он еще может приплести бог знает что!»

Никбулла обеспокоился и поспешил в исполком: и так как был обеденный перерыв и весь исполком был в чайхане, то Никбулла поспешил туда. Он вбежал как раз в то время, когда к чайхане приближались остальные старики. Никбулла воскликнул, указывая на приближающихся:

— Смотрите, как они идут! Вот до какой слабости могут довести человека мысли, направленные против любимой мной советской власти! Да, я с ними соглашался, но для чего я соглашался? Чтобы выявить и раскрыть кулаков и подкулачников. Мне удалось. Слушайте меня!

Файзулла Бакши воскликнул, почти падая на доски нар:

— Не слушайте его, граждане прекрасной Страны Советов! Он придумал убить Меле-Беке, как нарушившую адат. Я сопротивлялся, как мог, но они стращали местью рода и местью родов не только Советского Туркменистана, но и персидского, но и афганского...

Трусливый Бирман тихо сказал:

— Они так врут, что мне пропасть теперь самое легкое дело, — и, опустясь на колени, сказал: — Вяжите. Сознаюсь.

6

Тем же вечером на собеседовании дехкан и московской бригады в чайхане кишлака Хасарик, анализируя происшедшие события, которые закончились столь удачно (Меле-Беке соединилась в тот же день с Гассаном Хей-вязи, обещая, — и я знал, что она исполнит свое обещание, — принять напряженное участие в социалистическом строительстве: белого с дымчатым лбом жеребца она отдала в колхоз), я высказал некоторые соображения, которые я приведу вам сейчас.

Я сказал:

— В том организованном выступлении туркменского дехканства, которое мы наблюдали сегодня, есть залог того, что «джинотделы» (отделы дьявола) быстро сме-

нились женотделами и пользуются полной поддержкой населения. Все ясно увидали, что старики-терьячники, которых могли бы несколько лет назад, глядишь, и послушаться, ныне оказались просто дураками, способными столь легко поверить в то, что они могут превратиться в деревянные столбы. Были в вашем выступлении и недочеты, к таковым я отношу то, что стариков камчой бить не следовало бы... Но игра иногда заходит далеко, а даже на этой игре можно видеть, как далеко население ушло в смысле объединения, и нас не удивляет, что так быстро продвигаются в жизнь организационно-производственные планы и программы, использование средств производства, объединение труда... Впрочем, ко всему этому разрешите мне вернуться в следующее наше собеседование. Одно скажу: на первое марта тысяча девятьсот тридцатого года в колхозах числилось около пятидесяти процентов общего числа крестьянских хозяйств, а это значит, что очередные «охотники за черепахами» (понимаемые в смысле темпов) будут появляться все реже и реже!..

ОСТРОЗУБЕЦ ИЗ СОВХОЗА БАЙРАМ-АЛИ

1

По всей среднеазиатской территории Союза преобладала в день нашего знакомства с рабкором Аба-Он-Беги облачная или пасмурная погода с дождями, например, в районе совхоза Байрам-Али за сутки выпало от восьми до тринадцати миллиметров. Аба-Он-Беги, маленький и худенький туркмен, внешне и внутренне мне очень понравился. Но, прежде чем переходить к обстоятельствам его жизни и причинам, по которым он получил прозвание Острозубца, я не премину вам рассказать о знакомстве нашем с неким Егором Петровичем Зотовым, завхозом в педагогическом техникуме совхоза Байрам-Али, мужчиной саженным, носатым, головастым, волосатым исчерна, имеющим красавицу дочь, Валентину.

Шла, как известно, посевная кампания хлопка; народа всяческого в громадный совхоз Байрам-Али съеха-

лось много, и когда мы, запыленные и усталые от стоверстного на конях пробега, явились в исполком, то нам сконфуженно сказали, что, мол, простите, ребята, а ночевать сегодня ночуйте, где и как придется, в частности же направляйтесь к завхозу Зотову, в педтехникум: он очень обязательный и сможет вас устроить! Мы вторично заявили, что ничего особенного нам не нужно, лишь бы над нами не моросил дождь, который надоел и в европейской территории Союза.

Педтехникум находится в бывшем княжеском дворце (Байрам-Али раньше именовался Мургабским государевым имением и управлялся каким-то отставным князем). Ведет нас завхоз Зотов, недовольно сопя, по светлому, выложенному первосортным изразцом коридору, в какую-то полутемную комнатенку, сплошь заставленную черными столами, и говорит, указывая на столы:

— Придется вам, дорогие товарищи, спать на столах, так как ни матрацев, ни подушек, а уж тем более простынь в нашей пустынной стране нет. Нас гложет саранча и печет солнце по Реомюру в пятьдесят градусов, — судите, какая у нас жизнь.

Против таких выводов по усталости и запыленности мы возражать не стали, но только обратили внимание, что в углу полутемной комнаты стоят два скелета в в полный человеческий рост с оскаленными зубами. Был среди нас такой товарищ Медведев, мужчина среднего роста, лицом красивый, с усами, но очень впечатлительный и, больше того скажу, прямо нервный, хотя и большой выдумщик. Содрогнулся этот Медведев, посмотрев на скелеты, а содрогнувшись, возразил завхозу:

— Неужели по такой гадости учат ребят свободной Туркмении? Зубы вы хоть скелетам позолотили бы, что ли, для придания вежливости, а вообще от имени всей бригады, дабы обеспечить ей глубокий и сладкий сон, я прошу вас, Зотов, вынести таковых окаянных скелетов!

Завхоз Зотов с присущей ученым сторожам наглостью ответил, что вынести и некуда и нельзя по той простой причине, что разобрать их может только профессор по скелетному делу, так как сложность винтов в них преобладает, а вытащить их просто в коридор, не говоря уже о неприятности прикосновения, тоже нельзя, ибо рабочие, окончив свой восьмичасовой день, покинули педтехникум.

— Учеников я не имею права привлечь; вас, бригадников, тем более; а чугунная болванка у подножия скелетов, дабы интересующиеся наукой детишки не растаскали их по косточкам, весит не менее полутораста или двести кило.

Медведев разозлился, приосанился, а приосанившись, он всегда ощущал, что вот-вот утеряет свою осанку, и оттого в таких случаях орал раньше сроку и времени, так как не успевал еще собрать необходимых слов и мыслей. Вот и здесь. Приосанился он да как гаркнет:

— Так ли нужно говорить с московскими!..— но пыла дальнейшего в нем не хватило.

И вовремя, выходит, положил я ему руку на плечо и с обычной своей непреклонностью, но в то же время и самокритикой, поправил на серьезной моей голове шапку и хотел сказать — и завхозу, и всем товарищам,— что мы — простые рабочие бригадники, не будем горячиться и заноситься к чертовой матери, а совместно обсудим, куда нам девать этих окаянных скелетов! Но тут завхоз вдруг пристально, пристально взглянул на Медведева и в момент скис и смылся из комнаты. Уже из коридора слышим его мощный и заискивающий голос:

— Я вам, товарищи, скелетную комнату показал с умыслом: дескать, мы не только педагогию преподаем, но и анатомию и земли и человека! Что же касается комнаты, то я вам даю другую, соответственно вашему чину и сану, а вы пока пройдите и осмотрите наш парк, в котором воздвигается почечный санаторий.

Признаться сказать, мы все очень изумились такому мгновенному переустройству чувств в человеке, высоченном и страшном, каким представлялся всем Зотов (позже только поняли мы, что Зотов обладал робким и сомневающимся сердцем). Ходим мы, осматриваем парк, и верно — все как на курорте: деревья круглые, тропинки песком посыпаны. И вот видится нам: по песчаной тропинке навстречу нам идет девица с книжкой в тонкой руке и с таким лицом, что у меня, старика, возник некоторый рецидив душевного волнения, а Медведев, будучи впечатлительным, совершенно заволновался и, меня за руку взяв, сказал:

— Вот это девушка!

А в это время слышим мы голос завхоза, подошедшего к нам:

— Да, здесь перед вами только что прогуливалась, дорогие московские товарищи, единственная моя дочь Валентина, которая очень любит и страдает душой за поэзию жизни.

2

Приводит вслед за тем завхоз Зотов нас в светлую и чистую комнату с пружинными кроватями, с наволочками и подушками, с полотенцами, и каждому даже, простите за нескромность, чистое ночное белье. Над кроватью зеркальца висят, и вообще комната еще живым человеком пахнет. Выселил он кого, что ли, мгновенно, но так как, повторяю, проскакали мы верхами почти без передышки сотню верст, то нам было не до соображений рационального использования жилплощади: мы мгновенно и сладко заснули.

Не успело забрезжить пасмурное утро и не успели мы открыть глаза, как завхоз уже стоит раболепно в дверях и ласково так говорит:

— Не желаете ли вы, дорогие московские товарищи, в баньку? Но так как баньки в ее истинном значении в Средней Азии не встретите, то могу вам предложить некоторый горячий душ, каковой применяется у нас на хлопкоочистительном заводе в целях гигиены и пульверизации. Есть у меня там близкий знакомец Аба-Он-Беги, по прозванию рабкор Острозубец, который стал держать теперь руки по швам, а раньше все держал их у сердца.

Заинтересовались мы и горячим душем, и тем, почему это рабкор Острозубец стал вдруг держать руки по швам, когда раньше он их держал постоянно у сердца. Значит ли это преобладание душевной слабости? Несомненно. А чем она вызвана и как ее изжить? Вопросы эти и подобные этим чрезвычайно интересовали нас, бригадников, когда администрация и также рабкор Аба-Он-Беги, прозванный Острозубцем, показывали нам завод. На заводе, как известно, отделяют хлопок и зерна в разные стороны. Хлопок пакуют в громадные пачки, а семена тискают, пока они не превратятся в масло и в жмыхи, которые могут служить превосходным топливом; они и служат.

Прошли мы в душевую, пустили наигорячей воды, и Аба-Он-Беги тоже вознамерился принять душ. Собой внешне он был мужчина достойный, но на мир смотрел как-то, а в особенности на завхоза Зотова, несколько растерянно. Моргнул я здесь Медведеву, и говорит тут Медведев на вопрос Аба-Он-Беги:

— Спали мы хорошо, но вот никак не ожидали, что в Средней Азии могут быть такие злые и, главное, громадные клопы!

Завхоз вонзился между нами:

— Какие такие клопы? Нет у нас клопов! Они от среднеазиатской пыли мгновенно дохнут.

Медведев возражает спокойно, что — как нет, когда они и по сие время на стенках и по кроватям ползают. Завхоз схватился за голову и за живот, покачался, сомневаясь, а затем устремился травить этих несчастных клопов. Посмотрел ему в широкий след Медведев и говорит Аба-Он-Беги, что, мол, не пригласите ли вы нас, товарищ рабкор, после душа чайку попить, а по правде, мол, сказать, не столько нас занимает вопрос чая, сколько критический разговор с вами. Аба-Он-Беги необыкновенно обрадовался такому предложению, привел нас в свою комнату, в которой с первого разу поразило нас обилие старой газетной бумаги: в пачках — еще нетронутой, и резаной на различные фасоны, и склеенной по нескольку листиков в какие-то коробочки не коробочки, подстаканники не подстаканники. Спрашиваю я с присущим мне упрямством и неколебимостью:

— Скажите мне, Аба-Он-Беги, почему вас прозвали Острозубцем и чем вызвано, что вы раньше держали руки подле сердца, а теперь держите по швам, каковое я и невооруженным глазом заметил. Отнеситесь к жизни и к своему положению в ней наивозможно критически!

Аба-Он-Беги пожал нам руки.

— Мы с вами разных национальностей, но сердце у нас рабочее одно. Посмотрите вокруг себя и на дощатые полки. Что вы видите? Вы видите много газетной бумаги, изрезанной на различный манер, но я не нашел ни нужной мне формы, ни нужного мне внутреннего содержания! Вы можете подумать, что я вырезаю из газет свои корреспонденции? Нет! Я бросил писать корреспонденции, за которые я получил почетное звание

Острозубца и которое нес до самого последнего времени с честью и со славой неиссякаемой. Я поднимался уже на гребни, а теперь должен опуститься на дно, самое вонючее и грязное, какое может быть. В чем же заключается мое опускание? Не подумайте, что в опускании рук. Отнюдь нет! Оно заключается в опускании сердца. Время от времени по инерции мои руки еще режут бумаги и газеты, разыскивая необходимый для стаканчиков контур. Я время от времени думаю, что смогу докончить свою выдумку, от которой совхоз Байрам-Али выдвинется на первое место среди хлопководческих совхозов, но мое сердце тщетно ищет поэзии жизни. Товарищи, ваши уста шепчут ее имя! Действительно, ее зовут Валентина, и ее отец — завхоз педтехникума. Она может полюбить только возвышенного человека, а мою возвышенность она нашла в том, что я могу писать стихи. Я действительно написал о Первомае стихи, но над этим стихом я трудился три года. Прослушав этот стих, она сказала, что, принимая во внимание исключительное место, где мы сейчас имеем честь жить, а именно совхоз Байрам-Али, расположенный возле развалин Мерва, которым не меньше как шестьсот или семьсот лет; кроме того, мое родство с туркменскими предками, некогда населявшими этот древний Мерв, — все это обязует меня написать поэму о старом и новом Мерве, воспеть мавзолей султана Санджара, могилы Байрами и Али, остатки крепости! Спорить не стану: я мужчина крепкий и упорный, — идя даже такими темпами, какими я написал стих о Первомае, я мог бы написать поэму в течение ближайших пятнадцати лет, но это меня бы не страшило, а меня страшит казан.

— Какой казан? — спросил я (хотя мне известно было, что казаном здесь зовется у кочевников чугунный котел в полметра приблизительно ширины, употребляемый для варки пищи, молока главным образом). — Казан есть котел, и какой может от него произойти позор, скажите мне, Аба-Он-Беги?

— Действительно, товарищ Синицын, какой на первый взгляд может быть позор от казана? Но если вдуматься, то позор может быть очень и очень большой. Как вам известно, мы, туркмены, стихи сочиняем, избегая по возможности и рифмы, и европейского размера.

Естественно, что нам трудно усвоить чуждый нашему слуху ритм русской речи! Валентина же говорит, что никаких трудностей в этом нет и что все трудности происходят оттого, что я, слушая ее чтение стихов, вместо того чтобы следить за ее голосом, слежу за ее лицом и глазами. Любуюсь то есть! Последний наш разговор на эту тему происходил за кухней педтехникума, где на песчаной лужайке, если вы заметили, лежит, облокотясь на два камня и сушась, громадный казан. Выговаривая мне, Валентина стучала о казан палочкой, и он издавал протяжные и длинные звуки, и, прислушиваясь к ним, она сказала: «Завтра будет противопасхальный карнавал. Я думаю, Острозубец, вам необходимо начать свою славу с того, что вы начнете воспевать в своей поэме красоту нового карнавала, а затем уже перейдете к старому Мерву. В первый день бывшей пасхи вы принесете мне начало поэмы, а если вас смущают ритмы, то мы можем, дабы вас не волновало мое лицо, преподавать вам ритмы через звуки, которые слышатся в казане. Вы ляжете под казан, а я вам буду читать какого-нибудь Пушкина и в ритм бить по казану палочкой. Вы будете слушать звуки и четко улавливать размеры». Товарищ Синицын! Допустим, что при посредстве казана я уразумею размеры, но ведь после этого позорного лежания под казаном — мне жить невозможно. Я уже не спал три ночи, ища по парку педтехникума и в иных местах необходимого мне размера для поэмы... Разрешите вам прочесть для суждения мои стихи о Первомае.

Он прочел нам стихи. Я в литкружке на нашей фабрике не бывал. Хаживал туда, интересуясь литературной жизнью, Медведев. Он и слушал главным образом стихи Острозубца.

— Ведь стихи плохие? — спросил Острозубец после чтения.

— Плохие, — ответил Медведев. — Любите ли вы ее или в вас самолюбие разыгралось, неизвестно, но скажите по совести, из-за какого происшествия или с чего другого опустили вы руки по швам, когда в иное время вы их держали у сердца?

— Только с такого происшествия, выхода из которого не вижу, — ответил Аба-Он-Беги, прозванный Острозубцем, низко склоняя скорбную свою голову.

3

Главные задачи, которые возлагает на Туркменскую ССР новая хлопковая программа, заключаются в следующем: 1) выполнение пятилетнего плана в четыре года; 2) доведение посевной площади хлопчатника в настоящую посевную кампанию до ста шестидесяти тысяч гектаров вместо засевавшихся в прошлом году ста восемнадцати тысяч гектаров, каковая программа, как вам известно, выполнена; 3) доведение к концу пятилетнего плана, то есть к 1932—1933 году, хлопковой площади ТССР до трехсот тысяч гектаров, то есть увеличение ее почти в три раза по сравнению с прошлогодней площадью! Естественно поэтому, что к хлопку и к его проблемам и у нас, и у населения республики был повышен интерес. Для исчерпывания такового после душа и разговора с Острозубцем, который остался грустить, мы направились на хлопковые опытные поля совхоза Байрам-Али с тем, чтобы, осмотрев таковые, съездить затем на минутку к развалинам древнего Мерва. Обыкновенно хлопок сеют просто, как пшеницу, скажем, а здесь на опытном поле некий агроном придумал садить этот хлопок через рассаду (вроде как бы капусту), а так как в поле трудно и хлопотно отделять одну расcадину от другой, то агроном задумал выводить рассаду отдельно каждый росток в таких бумажных чашечках с тем, чтобы сразу, когда выйдет время и погода, сажать их в почву, обильно к тому времени подготовленную, но оказалось, что чашечки, или — как нам сказали — «стаканчики» эти бумажные делать и хлопотно и трудно и что хорошо вот садить рассаду в бумажных чашечках, но центр не высылает соответствующей бумаги, да и есть ли она вообще — неизвестно. А уже в течение одной весны воздвигнуты для хлопковой рассады на полях громадные парники, отапливаемые всеми способами — до электрического включительно. Работают тракторные единицы, и гудят автомобили!.. Начальник фактории № 3 стал нам жаловаться на отсутствие стаканчиков.

— Привлеките рабочую общественность, — сказал я.

Начальник фактории № 3 сказал:

— Привлекли, товарищ Синицын, но вот — что же получилось? Взялся один товарищ, и взялся довольно успешно за стаканчики, но тут!..

— Позвольте, — прервал я его, — вы не про Острозубца ли говорите?

— Да, про Острозубца и про то, что он и клей нашел, по которому можно безболезненно, не ожидая милости центра, применить вместо дорого стоящей заграничной бумаги свою газетную, и уже достаточно использованную. Но не может он найти нужной формы для выкройки стаканчиков!

— Нет, не в форме тут дело,— воскликнул я,— дело совсем в другом, и возможно ли воздействовать в этой области на Острозубца, я посмотрю.

— Главное,— сказал начальник фактории № 3,— необходимо, чтобы он держал руки у сердца, а не по швам; а как только он начнет держать руки у сердца, так он и закончит нам полезную и важную работу. Он многим для нас был полезен. Он устроил электрическое отопление парников... и вообще!

Опечалились, но выхода не видели, и с таким все еще опечаленным сердцем, осмотрев парники и прочее, направились мы к развалинам старого Мерва. Проехали развалившуюся цитадель феодализма, а затем по широкой дороге направились к мавзолею султана Санджара. Осколков и щебня по нашей дороге виднелось страшное количество. Мавзолей над могилой бывшего сатрапа ничем особенным нас не поразил, разве что, нужно сознаться, древние мастера здорово кирпичи обжигали и умели употреблять замечательный цемент, а мавзолей в общем похож на такую громадную шкатулку с опухолью. Встретили мы также охотника за змеями — старичка туркмена в оборванном халате. Старичок расхвастался: говорит, за последний месяц триста штук змей ушиб и продал их Госторгу, который будто бы их за границу отправляет. Относительно Госторга и его выдумок я не сомневаюсь, но старикашка ввел меня в думы, так как он явно кичился страшным своим ремеслом и много врал, а вернее, что это был просто босяк, люмпен-пролетарий, и, кроме того, у него из кармана явно торчало полбутылки, и в кошельке для змей лежала одна жалкая шкурка. Я не спорю, может быть, эта полбутылки была и с водой, и вся эта чисто туристская поездка была б не важна и не достойна воспоминания, если б на обратном пути нам не встретился Аба-Он-Беги, который, видимо, шагал в старый Мерв для поисков вдохновения. Мы смутились, так как выход

нами все еще не был найден, и, только обменявшись мыслями (что невозможно, мол, допустить Острозубца-рабкора до такого падения, когда он в поисках пищи, отучившись работать, займется заготовлением змей для Госторга!), свернули на соседнюю тропу. И Острозубец тоже свернул, чтобы не встречаться с нами. Какие заковыки выпускает жизнь!

4

Развертывалась опять среднеазиатская ночь. Комсомольцы бродили с факелами вокруг педтехникума и, нарядившись в разные костюмы, организовывали противорелигиозное шествие. За день мы порядком устали, но еще надо было выступить ночью на митинге с соответствующими случаю речами и сообщениями. То и дело у ворот слышались голоса: «Где же митрополит?» Сердца наши радовались. Всюду кипит жизнь и всюду свергаются наглые устои подлого быта!

Закусив чем пришлось в плохонькой совхозной столовке, отдыхали мы на скамейке парка и, отдыхая, обсуждали разные проекты, которые могли бы так или иначе вывести на истинный путь запутавшегося Аба-Он-Беги. Медведев задумчиво и хитро улыбался. Он, видимо, нашел какую-то свою формулу, и, когда я с присущей мне нетерпимостью решил перенести острозубовский вопрос на общественную почву, то есть поставить его на обсуждение рабкоровского собрания совхоза и хлопкозавода Байрам-Али, он мне сказал:

— Обожди, старик, кое-что в жизни можно делать и по личной линии,— после чего немедленно свернул в аллейку, по которой шла, гуляя с книжкой, Валентина, прекрасная дочь завхоза.

Совершенно ясно для меня сейчас, что дальнейшие события приблизительно развернулись по такой программе: Медведев, между прочим молодой и красивый мужчина, остановился против Валентины. Она посмотрела на него и тихим своим голосом спрашивает, что, мол, как вы, товарищ, из столицы и многие области человеческих знаний вам известны, в частности, имеется ли у вас на предприятии литературный кружок и посещали ли вы его? Если бы Медведев хотя бы

на минуту растерялся, если б он не обладал соответствующими данными в этой области, которые зачастую изумляли, то, несомненно, наше дело затянулось бы и заканителилось. Не моргнув глазом, он ей ответил, что да, он любил и любит поэзию и правду жизни и был всегда усердным посетителем не только кружка, но и всех литературных вечеров в красной столице, мне, мол, даже знакомы некоторые имена... За истекший период своей жизни девица, видимо, томилась не только душой, но и телом, так как она тесно приблизилась к Медведеву и сказала:

— Взяла я на себя обязанность разъяснить размеры стихов одному начинающему поэту, но вот уже третий день, как я сама в этих проклятых размерах спуталась и не могу отличить ямба от хорея и гекзаметра! Теоретически как будто все понятно, но как приступить практически...

Медведев посмотрел на учебник, который она держала в руках, и сказал:

— Отсталый автор! Размеры стихов — вещь очень трудноуловимая: здесь нужно иметь дар не только слуховой, но и телесный, то есть чтобы организм мог воспринимать соответствующие ухищрения!

Нужно заметить также, что позади нас, особенно беспокоясь из-за Медведева, коего он принимал за важную личность, суетился завхоз Зотов. Шатался уже в парке и Аба-Он-Беги, который все еще не мог применить толком обстоятельств, стесняющих его бытие. Завхоз видом своим был громаден, и потому наблюдать за ним было не трудно,— вот и шли мы следом, покуривая и рассуждая о различных как высоких, так и низких материях. Тем временем Медведев продолжал, делая руками соответствующие жесты, против которых Валентина Зотова не возражала.

— Только оппортунисты всех мастей могут преподавать теорию, не изучая практики, так как они в силу своего подлого духа боятся этой практики, и зачастую мы вынуждены сами доходить до нужной точки. Возьмем данный пример. Что вы перед собой имеете? Теорию. А практика стихов и размеров известна мне, потому что во всем и всегда я начинал с практики!

Валентина Зотова сказала ему, что она готова сделать все от нее зависящее, дабы добиться практических

результатов по размерам; было бы желательно, мол, немедленно узнать: как, по-вашему, практически звучит хорей и как гекзаметр?

— Хорей,— сказал, несколько подумав, Медведев,— хорей, по-моему, звучит так!

Общий итог хорея, должно быть, понравился Валентине Зотовой, потому что она не возражала и против практического звучания гекзаметра, хотя ее стесняла несколько обстановка, и она предложила Медведеву удалиться от прохожих, которые своими разговорами и шныряниями мешали мыслительным рассуждениям. Медведеву не нравилось такое схоластическое рассуждение о прохожих; он был парень решительный, а кроме того, он опасался, что Валентина попросту хочет от него удрать. Однако она провела его на полянку, что расположена была возле педтехникумовской кухни, пустовавшей по случаю карнавала. Здесь, на камнях, лежал вверх дном громадный казан, и, указывая на этот казан, Валентина сказала с грустью и с пренебрежением к себе:

— А я думала, что через казан можно передать размеры! Какая близорукость!

Трудно было с ней не согласиться, и Медведев спросил: какие же она размеры находит близкими своему сердцу — ямбические или чисто хореические? Она пожелала ознакомиться сначала с хореическими размерами стиха. Ночь посветлела. Луны еще не было, но некоторый розовый глянец показался на небе. Тень громадного казана совсем почти прикрывала любителей стиха!

Завхоз Зотов и Аба-Он-Беги — с разных сторон и с разными намерениями — подошли к полянке возле кухни. Зотов стремился потому, что думал: дочь может сообщить бригаде некоторые его, завхоза, проступки в отношении государственной и в частности педтехникумовской собственности (завхоз был воспитан на боязни, и стремления его дочери, хотя бы в области стиха, казались ему темными и подозрительными). Аба-Он-Беги все еще не мог решить, любит ли он Валентину или же стремится к познанию размеров чисто по спортивным и честолюбивым целям, Вышел он на полянку более машинально, чем по замыслу: его влекла сюда мысль, как — позорно или нет лежать и познавать размер стиха под казаном или не позорно. Медведев, когда

на полянке тихо появился Зотов и еще тише — Аба-Он-Беги, в преподавании своем дошел уже до гекзаметра,— есть такой греческий размер; превозношение такового размера показалось Зотову до чрезвычайности подозрительным, но он не хотел активно вмешиваться в дела московского бригадника. Он тихонько накинул прорезиненный свой плащ на плечи, и так как он мог испугать своим солидным ростом, то ему не показалось позорным поползти по полянке. Он подполз беспрепятственно и услышал, как Медведев говорит устало:

— Такие-то у нас стихи и размеры в красной столице.

Слова эти, а главное — жесты, возмутили Зотова, и он, желая подползти еще ближе, не рассчитал своего размера и плечами своими, легонько и незаметно, раздвинул камни, и тут казан с грохотом обрушился ему на голову и на плечи. Он вскочил! Черные тени, которые падали от казана на стихолюбителей, сползли, и Аба-Он-Беги увидал многое, чего он не желал бы видеть ни в каком случае, даже если б он сам не интересовался стихосложением! Но это естественное смущение моментально сменилось в нем другим чувством (он был настоящим работником хлопкового дела, товарищ!): он сразу понял, глядя на некоторые расплывчатые белизны, которые промелькнули перед ним, куда ему необходимо направиться, и воскликнул:

— Форма! Мы над ней работаем, мы ее организуем. Вот конкретная действительность и вот конкретная форма.

Казан, плотно прилегая к прорезиненному плащу Зотова, увлекал его наклониться к земле, но завхоз боялся, что тогда откроется его инкогнито, и потому, с казаном на голове, он направился к выходу. Валентина, разозленная усложнившимися обстоятельствами и тем, что Аба-Он-Беги толкует с нами о форме стаканчиков, которую он только что придумал, а Медведев уже собирается на митинг, устремилась за высоким человеком, который так не ко времени вмешался в чужие дела. Валентина была девушка решительная и злая, нужно отдать ей справедливость, да и трудно быть не злой, когда она хотела подшутить над Аба-Он-Беги, который много дней держал руки по швам, а сей-

час на ее глазах поднес руки к сердцу. Хотела она незаметно и легко ознакомиться с размерами стихов, а вышла ерунда и хохот! Наполненная такими мыслями и злыми пожеланиями, схватила она обломок кирпича и, подбежав к уходящему человеку с казаном на голове, который, помимо позора ее, уносил еще и казенное имущество, — трахнула она этим кирпичом по казану! Человек присел, охнул глухо, но устремился вперед еще более быстро. Так, колотя по казану и по прорезиненной спине, гнала она человека с казаном до самой ограды, где ее встретили блески факелов и крики карнавального шествия.

— Буржуя привели,— закричали ей,— буржуя!

— Нет, — ответил кто-то на крик, — не буржуя, а митрополита!

Многие согласились, что похоже и на буржуя, и на митрополита, и вообще на многих духовных особ, а кто-то заинтересовался более конкретно и сказал:

— Вот здорово гримируется, кто бы мог это быть, ребята?

И, сказав так, паренек пожалел, что в темноте будет тяжело идти вышесказанному гримировщику до трибуны с казаном на голове,— и они сняли тогда казан и увидали завхоза Зотова. Староста карнавала пожал ему руку:

— Мы всегда думали, что тебе, товарищ Зотов, пора приняться за общественную работу, и ты правильно сделал, что выступил именно сейчас!

И начали качать тут завхоза, а дочь его, посмотрев на такое безобразие и на то, что завхоз с перепуга даже не сопротивляется, плюнула и пошла домой заснуть по возможности, дабы во сне утопить свои обиды и огорчения.

5

Перед митингом, анализируя события, связанные с изобретением Аба-Он-Беги, прозванного недаром Острозубцем, стаканчиков новой формы и практического применения, я сказал:

— По хлопку мы имеем на пятьдесят шесть восемь десятых процента, по свекле на тридцать процентов превышение посева прошлого года, а это еще не все.

дело еще только вступило в свои начальные рамки! Мы видим всюду трудовой пожар, и вот тебе доказательство: победа Аба-Он-Беги над личными чувствами в пользу коллектива. Сегодня и в дни последующие мы будем чествовать Аба-Он-Беги! Он на верном и правильном пути, и на мещанскую узенькую тропку он теперь уже не свернет.

И мы честно сдержали свое слово, и совхоз Байрам-Али и его руководители как в хлопковом деле, так и в иных остались довольны нашей бригадой.

1930—1931

РАССКАЗЫ

БАРАБАНЩИКИ И ФОКУСНИК МАТЦУКАМИ

Услышав голос нищего, я внезапно понял, почему меня раздражила его жирная грязная рука и закрученные кверху усы. Легкий страх,— подобный тому, когда в книге прочтешь те мысли, которые взволновали тебя перед чтением и которые вслух сказать невозможно,— страх охватил меня. На лице моем нищий увидал и понял сострадание. Сострадание это относилось более ко мне, чем к нищему, и оттого-то оно было более заметно и более выгодно! Нищий думал приблизительно так: «Страдая над прошлым, своим или чужим — не важно, сострадая своим мыслям, этот человек, идущий мимо закоптелой кузницы, переделанной из старого царева кабака, мимо кладбища и мимо меня, страстно желает остаться один! Он верит в свои силы, и ему кажется, что он разорвет ледяное кольцо, день и ночь лежащее у него в груди. Каждую минуту человеку кажется, что он нашел или вот-вот найдет мысль или совершит поступок, который уничтожит его холодные страдания! Если же с ним заговорить, то, как бы ни был он скуп, он купит мое молчание!» Я с утомленной боязнью следил за нищим. Он же следил за моими глазами: на чем я их остановлю? «Пусть он мне рассказывает об умерших,— подумал я.— Мне не нужно будет утомляться и ждать развязки истории. Развязка известна, если я стою подле могилы».

Нищий направился к холмику, украшенному двумя бурыми крестами и черной доской, по которой вился длинный белый иероглиф. Трава подле холмика была сильно утоптана, должно быть, много любопытных посещало это место. Многие размышляли здесь над смертью. Возможно, что мне суждено выслушать областную историю мести, или гнева, или революционного подвига! А жирный нищий с рыжими закрученными усами вдруг

рассказал мне о любви двух барабанщиков и фокусника Матцуками — чудесных и веселых людей, работавших некогда со мной в цирке «Братьев Азгарц».

— Ваше благородь, ваше благородь, товарищ рыцарь. Ты сначала туда вон посмотри, за овраг. Там, за оврагом, туман, а в тумане, верь моему слову, есть деревня Вяземы, а в деревне той рукодельничал по сапожному делу мужичок-старичок по фамилии Николай Осипыч. И вырастил мужичок дочь: красивую, здоровую, поповского роста, одним словом. Характер у нее только неизвестный, а кроме — от нее счастье: вот он рукодельничает, скажем, и рукомесло у него не лучше, чем у других сапожников, а подойдет к ботинку Варвара Николавна, по гвоздям ногтем проведет — и сразу люди платят вдвое дороже за ботинок. Шить бы да шить, каждый день по три пары, а только кожи тогда было еще меньше, чем сейчас, и времена были широкие: от деревни Вяземы до Москвы езды полдня, лес у нас — кошка заблудиться не сможет, а получалось тогда до Москвы езды пять суток, а если на шоссе, так при каждом шаге из-за каждого куста по пять чернобандистов! Пока ходили эти бандисты толпами, без атаманов, терпеть было можно, но не увидели они в том выгоды, и тут явилось у них три властителя: барабанщики Митя да Саша и японец такой, ласковый глазами, — православный по имени... по имени своему Вол.

— Забыл, дядя. Звали его Матцуками! Матцуками этот был...

— Нет, то тебе другую историю рассказывали, про другого японца, а этого я сам видел, и зову я его правильно: Вол. Так! Вот и воюют эти бандисты и промеж советской власти, и промеж себя, и стало бандистским властителям скучно: убивают много, а ни почету, ни денег...

Сучит раз сапожник Николай Осипыч дратву особого состава, так как, вишь, подгонял он подметку под милицейский сапог. Дочь Варвара Николавна самовар раздувает, карасину, как и сейчас, нету, — и в окне и в ограде луна да от самовара искры. Посмотрел на эту луну Николай Осипыч, а она пологая какая-то, как чугунок, — и стало сапожнику тревожно! Обернулся сапожник на дочерню красоту, а у ней брови тоньше и черней дратвы: совсем заныла у него душа. Смотрит

Николай Осипыч на сапог, а сапог страшный, на подметку чуть ли не аршин кожи требуется, такой сапог, кажись, и через болота и через моря поведет тебя невредимым, а милицейский, сказывают, сам у бандистов служит. «Что же это такое, — думает Николай Осипыч, — жили-жили, крошили-крошили, а тут даже у сапога вид тревожный». И только подумал так, а за оградой уж бандистские телеги поют.

У бандистских телег тогда пенье было особое, легкое, бандисты дегтю не жалели, а мужицкие телеги выли в ту пору голодно. Бежит Николай Осипыч к воротам, почет оказывать. Сидят в телеге Митя-барабанщик в розовой гимнастерке, Саша-барабанщик в голубой, а православный японец Вол — при сюртуке и галстухе, а лицо у него добрей всех русских лиц. Говорит японец Вол так ласково Николаю Осипычу:

— Ты, старая карга, моментально чтоб четверть самогона на стол!

Прежде бы в деревне самогону в долг Николаю Осипычу не поверили, — водка, она твердый расчет любит, — а тут вся деревня поняла: по тяжелому делу приехали бандистские атаманы, и сразу три четверти получил старик.

А на столе у него уже скатерть праздничная синяя, а над ней три рожи: две малиновых, а одна ласковая желтая. А под рожами стаканье сияет, а перед стаканами наганы. «Ну, — думает старичок, — все надежда на Варвару, какой у ней при таком событии характер скажется и как ответят ей разбойники». А Варвара ходит одинаковой походкой для каждого и каждому одинаково приятные слова говорит. Упало, замерло сердце у старика, когда заговорила ласково желтая рожа, отставляя от себя стакан и переставляя к себе наган:

— Мы, старик, не для самогона приехали! Нам на любой деревне и на любой поляне бочки самогона приготовлены! Приехали мы за славой.

— Какая ж у сапожника слава, господа чернобандисты? Убивайте старика, если в нем приготовлена вам слава.

— Дочь у тебя приготовлена для славы и для счастья! Вот воевали мы, воевали, вот убивали мы, убивали, а вдруг подумали: Митька убивает оттого, что всем завидует, Саша — потому, что радостно ему быть таким сильным и храбрым и людей крошить, а мне

людей жалко, люди плохо живут, зачем им страдать лишнее, а умирать все равно придется, раз родились.

— Это ты правильно,— отвечает ласковому японцу Николай Осипыч.

— Правильно, конечно. И стало нам сразу веселей от таких мыслей! А потом начали мы думать — своим характером, мол, мало утешаться: надо и жену себе такого же характера подобрать. И помирает тут один человек и говорит нам: «Жалко мне вас, идите к сапожнику Николаю Осиповичу, есть у него дочь, и найдете вы с ней славу и счастье». Вот мы и пришли.

— Правильно, — говорит им старик. — Вот перед вами ходит моя дочь: пускай кого она хочет, того и выбирает.

Скосила Варвара глаза, лицо смиренное, рот дура дурой, говорит:

— Ваш выбор, мой выбор, Николай Осипыч! Вы — отец, я привыкла вам подчиняться.

Ну, тут старик напугался совсем: бандисты сидят широкоплечие: Митя неизвестно чему завидует, Саша неизвестно чему радуется, а японец Вол ласково и страшно на всю землю смотрит. Барабанщика Митю выберешь, — Саша убьет; Сашу выберешь, — Митя убьет; а про японца лучше не думать! Заскучал старик Николай Осипыч. Сидит, плачет, а бандисты смотрят на него с сочувствием и даже не улыбнутся, а ждут. Встал старик к дверям, а японец ему вслед:

— Ты особенно не беги, на улице наши телеги милицейский стережет. По пути и тебя ему приказано постеречь, да к тому же ты на ухо слаб, а милиционер громко кричать не любит,— вот и не услышишь ты солдатского окрику, и пальнет в тебя верный часовой.

А старик им разъясняет, что, мол, и с милицейским у него несчастье — нету в комнатах второго милицейского сапога. И тут даже бандисты подивовались размеру милицейского сапога! А старику не столько милицейский сапог нужен, сколько помолиться перед смертью, и не то чтоб он очень в бога верил, но коли умирать — так умирать по обычаю, а то треснут тебя как собаку и человеческой души показать не успеешь. Стоит Николай Осипыч во дворе, луна сияет еще больше, а сама мокрая вся, в слезах,— и жалко старику и на луну смотреть и на себя. Подле крыльца сапог милицейский валяется, а за воротами сам милицейский с

ружьем ходит, босиком! Гвозди в сапоге как слезы, а подметка будто шелковая, и думает старик: «Вот шил я сапоги людям на свое горе, без сапог бы они меньше по земле ходили, сидели бы они на одном месте и думали бы да заботились о своем счастье, а не занимались бы устройством чужого». Думает он так и смотрит на сапог с укоризной, и вдруг зашевелился сапог и говорит ему басом:

— Ты, старик, не сердись на себя, что меня починил, я тебе за хорошую починку совет могу благодарный дать.

Стыдно старику от сапога советы слушать, но все-таки тихо спрашивает:

— Говори, если путное что можешь.

— Возьми ты, старик,— говорит ему сапог торопливо,— возьми ты дочь и запри ее на ночь в сарай.

— Да как же я запру дочь в сарай, если там свинья и кобыла стоят?

— Вот и запирай их всех вместе, — отвечает старику сапог.

Вернулся старик к бандистам и попросил у них милости подумать до утра: за которого ж из троих выдать Варвару. Бандисты от спору устали, спать им хотелось, легли они в перины, а старик повел дочь свою в хлев. Варвара больно не удивилась, полагала, надо думать, что от свалки ее бережет,— расстелила она тулуп и легла на сено подле кобылы. А кобыленка была молоденькая, поплясывает, а свинья была из свиней грязнущая — грязью брызжет, и вонь и шум в сарае. Варвара как легла, так и заснула, старик даже и посоветоваться и вместе поплакать не успел!

Будят бандисты утром старика, наганы ему под усы суют:

— Куда спровадил дочь?

Идет старик с бандистами к сараю и про себя решает так: вот распахну дверь,— который из бандистов будет ближе к девке стоять, за того и отдам. Да к тому же утро, помирать не так страшно! Открывает старик замок, тянет дверь, и выходят тут, ваше благородие, товарищ рыцарь, сразу три Варвары, одна с другой — как икона в точности списаны! На всех троих шагреневые ботинки одинаковые; на плечах тулупы с заплатой у локтей синими нитками; и даже в бровях у всех по одинаковой соломинке застряло. И напугался

и обрадовался старик: бандистов действительно утешил, а самому — сплошной убыток, потому что в сарае ни кобылки, ни свиньи нету, и опять же обидно, не разберешь... которая Варвара, а которая свинья Хаврониха. А тут дождь пошел, бандистам удивляться некогда, забрали они трех Варвар и от радости, не говоря ни слова, уехали в дождь. Милицейский взял сапоги, и остался Николай Осипыч один. Был сначала ему большой почет в деревне: как же, три зятя, и все бандисты, а попозже, когда слава бандистская за леса да за горы укатилась и тише стала грохотать, а потом и совсем замолкла,— начали со стариком об цене за починку торговаться, в кооператив членом правления не выбрали, и самовар новый, за пятнадцать рублей купленный, потускнел,— затосковал старик Николай Осипыч и об Варваре-дочери стал все чаще и чаще думать. А мысли невеселые, нечеловеческие какие-то! Думает, как Варварушка живет,— а вдруг хорошо не Варварушка живет, а кобылка или свинья, и разозлится старик в конце своих мыслей. Разозлился он так раз крепко, слез с лавки, забрал кошель и пошел.

Времени прошло много, а на шоссе все такая же грязь и даже как будто больше: около каждой деревни как ни остановишься — все рассказывают, что пастух Ермила или Афанасий в грязи утонул. Ну долго ли, коротко ли, подходит старик к Р. — город собой большой, красивый, а народ все какой-то хилый и смутный, и все страх как друг друга хоронить любят. Живет человек ничего, никто на него не смотрит, а как помер, тут и начнут: и музыку, и книжки пишут, и как в могилу несут — на каждом перекрестке плачут, и на каждом перекрестке памятники обещают поставить, и каждую улицу, по которой несут, тут же в честь покойника переименовывают. Идет тут мимо Николай Осипыча человек с портфелем, собой хмурый и тощий. Гимнастерка на нем выцветшая, а на лице что-то барабанное есть. Спрашивает его старик:

— Не вы ли Митя-барабанщик будете?

— Я, — отвечает, — Митя-барабанщик.

Спрашивает его старик:

— А не помните ли вы, не отдавал ли я за вас дочь свою Варвару?

Отвечает ему Митя слабым голосом:

— Отдавали, верно, а вон и ваша дочь на лугу веселится перед домом.

И смотрит старик — выстроен новый дом, и перед домом луг разбит с сосеночками. Окна у дома такие широкие, как будто людям некогда и на солнышко выйти посидеть. Варвара-дочь по лугу бегает: юбка до пупа, глаза шальные, грива подстрижена. Перед ней мяч катится, и рожа у мяча тоже шальная. Побегает-побегает Варвара, да как захохочет! Вокруг нее парни, один другого плечистей и мясистей, посмотрят на нее, да как загрохочут тоже. А барабанщик Митя тощий, глаза уставил на нее и завидует: и мясу чужому, и хохоту, и самому себе, что от Варвары оторваться не может. А вокруг Мити р — ские жители ходят и смотрят на него, скоро ли хоронить его можно, и вспоминают, какие он подвиги совершил. Спрашивает барабанщик Митя:

— Как, Николай Осипыч, изменилась ли ваша дочь Варвара?

— Не моя это дочь Варвара,— отвечает старик.— Кобылка это из сарая, а пойду я дальше, в С., погибайте около нее одни.

И пошел старик верно в С.

С.— город большой, красивый, а народ в нем тревожный и занятой. У каждого в руке карандаш, и каждый на заседанье спешит, а на заседаньях тех буржуев признают друг в друге и немедленно друг на друга доносят. Если не работает: буржуй. Удивляются и заседают! А если работает — тоже удивляются и тоже заседают. А посредине города площадь, и на площади заседает нищий, грязнее всех и радостнее всех. Нищий тот еле ноги передвигает, потому что никто ему не подает,— да и кому радость такому счастливому человеку подавать: сам с собой заседает и сам на себя доносит. Обрадовался нищий, увидав Николая Осипыча, тут же на него донос написал и кричит радостным голосом:

— Здравствуй, дорогой тестюшка, сапожник! Жена у меня хорошая, преданная, не то что мои сотоварищи. Все на места поступили. Прихожу я к ним, еле добрался и рассказываю им: вот, мол, вели Ваньку Каина на казнь его бывшие разбойнички, которые в полицейские ушли, ведут мимо рощи, а среди кустов соловей поет, и говорит им Ванька Каин: «А не уйти ли нам, разбойнички-полицейские, в лес соловья послушать», и скинули

полицейские мундиры и ушли с Ванькой Каином в лес! Сотоварищи из учрежденья мне и отвечают: «Зачем же нам, мол, в лес уходить, когда у нас граммофон есть, который и исполняет соловья гораздо натуральнее». Покличьте, дорогой тестюшка, тележку, так как сам на своих ногах я передвигаться не могу.

— Отчего же ты не можешь передвигаться на ногах? — спрашивает старик.— За грехи у тебя отняты ноги, что ли?

— Какие же мои грехи,— отвечает барабанщик Саша.— А не передвигаюсь я оттого, чтоб меня буржуем не сосчитали и заседанье насчет меня соседи не сделали. Соседям моим скучно. Картины, говорят, в кинематографе идут героические, им тоже героических подвигов хочется, а какие в С. героические подвиги: разве что посудишься да об знакомых заседание устроишь?

Торопится старик к дочери, себя не чувствует, и всетаки вдруг как-то тяжело ему стало идти, а барабанщик Саша радостно говорит:

— Ничего, шагай, это моим домом пахнет. Жена у меня опрятная, аккуратная, а вонь — это все соседи ко мне накидали, со злобы...

Смотрит старик: Варвара растолстела, грудастая, глаза заплыли, в избе вонь, грязь, к мужу подскочила, бабах его по морде.

— Когда же тебе будут подавать милостыню, не хочешь ли ты, чтоб я работала?

А барабанщик Саша смотрит весело и говорит старику:

— Редкая у тебя дочь, теплая у тебя дочь, радуюсь я человеческому мясу и теплу, благодарю тебя, сапожник.

Отвечает ему Николай Осипыч:

— Умирай, барабанщик Саша, рядом со своей свиньей, так тебе и надо, а я пойду в А.

И пошел старик верно в А.

А.— город большой, красивый, а народ там прямой по росту и гордый по голосу. Народ там любит праздники устраивать! Наводнение — они праздник устраивают. Десятое, говорят, по свету наводнение! Человек пятьдесят лет за столом сидит, бумажки подписывает, — они праздник устраивают, и речи говорят, и венки плетут: такой редкий случай. Посреди города зданья для

торжеств приготовлены и сад разбит с памятниками, народу в саду том — тьма. Спрашивает старик:

— По какому случаю празднование?

— А вот,— отвечают ему,— помер японец Вол, и оказалось, что пятидесятый японец у нас помер в городе, и к гробу того японца пятисотый посетитель подошел, — вот мы и устроили общенародное гулянье. А кроме того, жена на него донесла, что бандист он и предатель. И донос тот у нас по счету мильонный!

Отвечает сапожник Николай Осипыч:

— Не могла жена донести! Жена у него — моя дочь Варвара, и спешил я к ней с большой радостью. Не спала она, как другая Варвара, как только с мужем.

Отвечает ему сосед:

— Этому я верю, хотя и был у ней случай со мной.

— И со мной! — говорит какой-то рядом.

И еще голоса раздались. Тут старик и закричал:

— Была она здоровая баба, почему ей с мужиком не поспать, зато чистая, опрятная...

Захохотали злорадно все и указали старику пальцами на Варвару и на лицо японца Вола. А было у японца лицо такое, что вот, мол, удрал я, извините; к вам я отношусь ласково, но жену с собой не возьму — вот в этом и заключается мой последний фокус. И была у него еще на лице ласковость такая, что жители А., вглядевшись, решили японский праздник в честь японца Вола устроить. Ищут предлога, чтобы речи предпраздничные начать говорить, и так заговорились, что про японца и забыли, а он лежит и ласково улыбается. Вот он лежит день, лежит другой, а жена его Варвара уже нового мужа нашла, а за мужем возлюбленного выглядела, и муж ей уже не нравится, и написала она на него заявление, а в доме и грязь и жир... И сказал тут старик Николай Осипыч:

— А дочь-то моя оказалась подлей свиньи и глупей кобылы! Пойду я, братцы-товарищи, в город...

И вспомнил старик, что нет уже зятьев, нет у него городов, в которые пойти можно! Жалко ему стало бандистов, забрал он японца Вола и направился к городу С., а там над Волгой крики и беспокойства.

— Умер,— кричат,— нищий Саша, не посетивший ни одного заседания, умер и не успел кару получить.

Забрал старик нищего Сашу и направился к городу Р...

Я поднял голову. Шоссе и кладбище были пустынны. Жирный и пьяный рассказчик давно ушел.

Где я прервал его? С какого места я сменил рассказчика? Где сейчас старик Николай Осипыч? Не сам ли он подошел ко мне, и, обидевшись на то, что я прервал его (иначе почему ж нищему не спросить у меня милостыни?), Николай Осипыч покинул кладбище, покинул меня, не досказав истории о двух барабанщиках и фокуснике Матцуками.

1929

КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЧИК М. Д. ЛОБАНОВ

1

Кожевенный заводчик Михаил Денисович Лобанов владел многими предприятиями в Москве и других городах. Он имел длинный и низкий дом с таким огромным количеством комнат, что в нем постоянно путались, и все же супруга Михаила Денисовича, которую он прозвал Софьей Премудрой, всегда жаловалась, что в доме не хватает одной комнаты. У него было много коммерческих связей, большой и заслуженный кредит, но он как-то мало верил в мощность своего дела, хотя для сомнений не было и не могло быть причин. С женой своей он жил дружно; поссорился он с ней только однажды, когда жена, обладавшая просторными хрустальными глазами, в которых неизменно отражались и блистали газетные истины, прочитав статью какого-то именитого профессора, доказывавшего, что России пора выйти на американский рынок, воодушевилась этой статьей и потребовала, чтобы Лобанов немедленно вышел на американский рынок, и так как они давно уже собирались за границу, то чтобы внес на иностранные предприятия соответствующие суммы. Лобанов отказался вложить деньги в иностранные дела, но, чтобы не продолжать ссоры, он предложил жене обоюдоудобное решение спора: он вносит определенную сумму на текущий счет в один из американских банков, сумму, которая как бы показывала возможности его участия в американских предприятиях. Жена согласилась. Немедленно явился господин Ристер, представитель американского банка, немолодой уже человек, с пухлыми и короткими седыми бровями, чем-то похожими на пилюли. Господин Ристер оказался очень услужливым и очень осведомленным человеком с плавной

речью, доказывавшей, что спасение людей только в том, чтобы вложить в «Экспресс-банк» соответствующие их общественному положению суммы, и Лобанов не без удовольствия согласился участвовать в этом спасении. Все же крупной суммой он не рискнул!

Его постоянно грызла забота, он даже боялся хворать, потому что тогда в доме окончательно уже невозможно было ни в чем разобраться, и становилась понятной страшная для всех домашних истина, что в кожевенном деле никто, кроме Михаила Денисовича, ничего не понимает и боится даже понять. И ему было тревожно и боязно лежать в кровати и думать, что ж произойдет без него с заводами и куда потекут деньги, и этих дум даже не облегчала мысль о радостях работы, о том, как на склады привозили растрепанные тюки грязных и дурно пахнущих кож, на которых еще лежали куски земли Монголии, Туркестана или Урала, земель, куда он все собирался съездить, но съездить туда все не хватало времени. И вот эти грязные и противные кожи быстро превращаются в тяжелые и сияющие, как бронза, куски его славы, и марка его заводов гремит на полмира!..

Иногда, чувствуя, как невыносимо тяжело заглушать в себе заботы, Лобанов запивал, и тогда его тусклое лицо цвета пропускной бумаги с нездоровым румянцем и отвислыми щеками, его сильно худое и длинное тело, за которое приказчики называли его подсвечником, наполнялось ясностью. Софья Премудрая, блистая хрустальными глазами и помахивая пальчиком,— во всей ее фигуре запоминался этот указательный опрятный пальчик, похожий на пшеничный колос,— приходила его укорять. Она скорбно смотрела на пачку писем, лежавших без ответа, на сор и грязь, которые почему-то только сейчас замечала!.. Но водку он переносил с трудом, а самое трудное было опохмеляться. Он долго смотрел на водку, которую, чтобы выпить залпом, он наливал в стакан, и, только заслышав осторожные шаги жены, вспомнив ее восторженные хрустальные глаза с отблесками газетных истин, он зажимал пальцами нос, чтобы не чувствовать запаха, и глотал долго, пока опять все не становилось для него ясным и простым. Тогда он садился у окна своей рабочей каморки, и ему опять казалось странным, что огромный и низкий дом, с бесконечным количеством безвкусно обставленных

комнат, могут занимать люди, почти неизвестные ему, хозяину, а он живет и работает в самой маленькой комнатушке, и редко ему приходит желание выйти в так называемые «парадные». Вот дети, дочь и сын, неизвестно зачем и чему учащиеся, верхом въезжают в ворота. У них плохая посадка, но дворник, собиравший скверной метлой в железный совок замечательного цвета листья с осенних лип, не понимая того, что эти люди сидят очень некрасиво и тускло, кланяется им приниженно, низко... Дети проскочили через ворота, а дворник продолжал собирать необыкновенно прекрасные листья, думая, как и все, что листья эти — мусор и чепуха.

2

В революцию Лобанов потерял все: заводы, дом, жену и детей. Но через некоторое время, которому даже трудно дать сроки, потому что у одних людей страдание живет год, а у других — месяц или день, Лобанов начал разбираться в том, что произошло. Дольше всего и больше всего мешала ему в этом разборе мысль о покойной жене Софье Премудрой с ее маленьким отставленным пальчиком. Сына его убили на фронте, а дочь уехала с летчиком на Украину и жила там, по-видимому, столь счастливо, что не интересовалась отцом. Его давно выселили из длинного дома, с которым он расставался скорбно и от которого долго не мог отвыкнуть, он все путал переулки и все выходил на Пятницкую. Давно заняли его заводы и захватили его сейф и его знаменитую чековую книжку «Экспресс-банка», из-за которой произошла его единственная ссора с женой. Понемногу Лобанов успокоился. Один из его прежних приказчиков рекомендовал его, и он поступил на службу по своей прежней специальности в соответствующий трест. Он женился на вдове Марии Ивановне, некогда ухаживавшей за покойной его женой Софьей Премудрой. Мария Ивановна была женщина простая, с обширной спиной, за которую все ее называли грузчиком, с ней не надо было спорить о газетных истинах, она имела одну истину, к которой нетрудно было приспособиться: человек должен в первую очередь быть сытым, одетым, надо, чтобы ему было тепло, а обо всем остальном лучше не думать. Лобанов привык и даже

полюбил коммунальную квартиру с ее постоянными ссорами и с возможностью наблюдать, как растут дети, как меняются взрослые и как люди постепенно овладевают искусством собственного достоинства, тем искусством, которое столь свойственно людям нашей страны.

Лобанов быстро увлекся своим новым делом и быстро превратился в крупного специалиста. Он много бывал на различных заседаниях, писал доклады, высказывал свои соображения, и он стал быстро замечать, что теперь отметено многое, что раньше мешало его работе, и в первую очередь отметены деньги, ибо то жалованье, которого ему хватало только на одежду и тепло, — разве можно считать деньгами, когда прежде, например, он игрушки мог детям своим дарить вроде железной дороги по восьми комнатам с рельсами и со стрелками и с настоящим паровозом. Он понял, насколько путало его мысли его прежнее богатство, которым к тому же пользовались другие люди, его окружавшие, и пользовались неразумно, и вот это-то неразумие, как он понял теперь, больше всего и злило и заботило его. Поэтому-то он раньше запивал, и поэтому-то часто срывались те дела, которые он намеревался исполнить в ближайшие сроки. Теперь он постепенно отвык от водки и, случись захворать, мог хворать уже спокойно и не сопровождать свою болезнь выпивками и вздохами. Он лежал. В комнате было тихо. Он нашел покой. От всего его былого богатства и великолепия уцелели нелепые бамбуковые ширмы, за которыми и спит его жена Мария Ивановна. Цапли с длинными-длинными шеями сторожат ее сон, цапли на розовом шелке, проданные ему когда-то как древняя японская работа и на которых он недавно нашел немецкую марку, и то, что раньше разозлило бы его, теперь только насмешило... В коридоре играют дети, и на улице тоже играют дети, а под окном, как только распахнешь створку, дворник жалуется, что рождаются везде и сплошь двойни, и у него был такой обиженный голос, как будто эти двойни рождаются у него. В окно Лобанов видел небо, похожее на дерево, долго лежавшее в воде. Ему думалось, что в тресте плохо ли, хорошо ли, но замещают его и не сетуют на его болезни, и забавно было подумать, насколько там, в прежней жизни, боялись его болезни и насколько теперь моло-

дые специалисты даже рады его заболеваниям и рады попробовать без него сами вести сложное и ответственное дело.

Одно только несколько смущало Лобанова: он теперь, как и раньше, считал самым прекрасным достижением человека возможность передвигаться и видеть океаны, неизвестные острова, людей, леса и степи, но путешествовать,— что он желал сделать давно и чего, как ему думалось, по недостатку времени он не успевал сделать,— он и теперь не мог. Но и эта смущавшая его мысль получила внезапно свое разрешение: ему сказали, что трест желал бы направить его, Лобанова, в Париж для переговоров с французскими фирмами, которые хотели заказать на огромную сумму партию телячьих шкур, только что тогда входивших в моду. Из шкур этих выделывали манто и сумочки для парижских дам, а значит, и для дам всего так называемого цивилизованного мира. Лобанов, выслушав и согласившись на предложение, впервые после многих лет подошел к зеркалу в передней треста, где он мог увидеть себя во весь рост (дома он видел себя, только когда брился, и видел только свою бороду и свои несколько выпученные глаза), и здесь, разглядывая себя, он должен был признать, что он помолодел и кожа его с нездоровым румянцем, раньше похожая на пропускную бумагу, разгладилась и посвежела.

3

В Париже его, как и всех приезжих, знакомые повезли на площадь Звезды, где лежит прах Неизвестного солдата и куда двенадцать улиц непрестанно вливают двенадцать потоков автомобилей. Неподвижными показались ему эти двенадцать улиц, все странно похожие друг на друга, и неподвижно катились в запахе бензина похожие друг на друга автомобили. Улицы эти напомнили ему лица предпринимателей, которых он встретил немедленно после приезда и с сознанием превосходства над которыми он разговарил сегодня о кожах и торговле. Он чувствовал в их лицах то беспокойство, которое владело им раньше, и он понимал, что эти люди так же, как и он раньше, мало видят жизнь и мало ее, хотя бы плотски, воспринимают. Все они

обладают отвратительным пищеварением, глянцевитые лица их старательно выбриты и напудрены, духовно они замкнуты и одиноки. Лобанов знал очень мало истин, но те, которые он знал, он знал теперь твердо, он мог твердо и уверенно наслаждаться своим знанием, а они знали еще меньше его...

Он купил раскрашенную открытку с могилой Неизвестного и решил послать открытку жене. И на открытке неподвижно и странно торчала толпа раскрашенных автомобилей, и Триумфальная арка походила на подкову. Лобанов распрощался со знакомыми, несколько удивленными тем, что он не высказал удивления и восторга перед площадью Звезды, и зашел в кафе. Он хотел было купить галстуки, так как все сослуживцы в Москве просили его привести возможно больше парижских галстуков, но в витринах, мимо которых он проходил, лежали такие неприятные и пестрые ткани, что ему казалось странным и смешным, что в Москве можно было бы надеть такие пестрые и безвкусные тряпки на шею. И в кафе многое показалось ему смешным и странным, и он с удовольствием вспомнил, что Мария Ивановна ничего из Парижа себе привезти ему не заказала, да и вообще Парижа для нее не существовало, а Михаил Денисович в ее представлении уехал в какую-то длительную командировку чуть дальше Волги. Лобанов выпил стакан плохого и крепкого кофе, от которого он давно отвык, и решил, что галстуки надо купить в магазинах, расположенных где-нибудь на окраине. Он встал, чтобы спуститься в подземную дорогу, но тут впереди себя, неподалеку от Оперы, он увидал здание с вывеской «Экспресс-банк».

Сначала ему стало неприятно, но затем он развеселился. Он вспомнил смешного господина Ристера со странными бровями, похожими на пилюли в облатках, он вспомнил, как у него ножеподобно разглажены были брюки, как он тогда гордился своей Америкой. Ему захотелось узнать: жив ли этот господин Ристер и узнает ли он своего бывшего клиента. Он зашел. Ему немедленно и чрезвычайно любезно сообщили, что Ристер здоров, благоденствует, получил большой пост, и, если угодно, он может принять господина Лобанова через три минуты. И точно через три минуты его попросили

пройти и любезнейше раскрыли перед ним дверь. Господин Ристер принял его с вежливостью, но уже более сдержанной и более достойной, чем вежливость служащих, встретивших Лобанова внизу. Забавные брови Ристера теперь уже совершенно походили на пилюли в облатках, причем, если можно так сравнить, в облатках, порядком заплесневевших от времени и невнимания. Одет он был теперь небрежно, в стандартный американский костюм, которыми так гордятся американцы, но он еще более гордился своей заокеанской страной, своим благополучием и тем, что ни черта не понимает, что происходит в России, и не обязан понимать. Господин Ристер сразу же сказал:

— Вот видите, господин Лобанов, как хорошо, что вы послушались своей жены и положили деньги в наш банк.

Лобанову неприятно было сознавать, что американец переменит тон и разговор о деньгах, как только узнает, что клиент его советский подданный, и Лобанов сказал по возможности проще:

— Что же хорошего — все равно пропали.

И тогда Ристер сказал то, что решил сказать сразу же, когда узнал, кто к нему пришел:

— Если бы даже на земле произошел потоп, то и тогда ваши деньги остались бы у нас целы. Правда, я знаю, у вас конфискованы документы и, может быть, даже у вас теперь и фамилия иная, но я знаю и помню ваше лицо, а этого достаточно, чтобы вы могли хоть сегодня же получить лежащие на вашем текущем счету семьдесят пять тысяч долларов.

Он с удовольствием осмотрел обстановку кабинета и повторил:

— Да, семьдесят пять тысяч долларов с соответствующими процентами.

4

— Семьдесят пять тысяч долларов?

— Да.

Господин Ристер изумился, что Лобанов даже не знает, сколько у него лежит на текущем счету, но незнание это он приписал тем душевным волнениям, которые пережил и теперь переживает Лобанов. Господин

Ристер почувствовал почтенье к тем воображаемым заплатам, которыми был покрыт костюм Лобанова. Ристер взволнованно прошелся по длинному и узкому кабинету, обставленному той широкой и неудобной мебелью, которая так характерна для всех больших предприятий и банков и про которую все знают, что она и некрасива и неудобна, но которой все-таки продолжают обставлять. Ристер остался со своим мнением и впечатлением даже и тогда, когда Лобанов, как-то вкось оправив и без того удобно сидевший на нем пиджак, сказал, что он зайдет в банк на днях.

Лобанов сидел в метро скучный и усталый. Мир уже не казался ему теперь таким ясным и простым, каким он был недавно, он уже разветвлялся на несколько ручейков, и каждый ручеек медленно начинал шириться, и Лобанов вспомнил лица предпринимателей, которых он должен был встретить сегодня вечером, и лица эти, подумалось ему, конечно, более человечны и менее отчужденны. Усталость и духота метро овладевали им, мир же от этого не уменьшался в объеме, но как-то болезненно уточнялся. Мир опять наполнялся заботами и теми разговорами, которые Лобанов вел с предпринимателями, которым он мог выгодно продать кожи, но которым теперь не продаст, потому что он не сможет вести переговоров с прежней легкостью, а главное, с презрением, чем, собственно, он и поразил предпринимателей. Ему казалось, что он должен прекратить бессмысленное повторение: «семьдесят пять тысяч, семьдесят пять тысяч», хотя он ничего и не повторял, а все время думал об ином, главным образом о покупателях телячьих шкур. У входа в отель он остановился, и ему пришла забавная мысль, что он может потребовать сейчас на семьдесят пять тысяч долларов все, что бы ни пожелал, а что он может пожелать, он и сам не знал!.. Он уже старый и достаточно утомленный человек, а стоит, словно мальчишка, на улице и гадает, что же он может потребовать на семьдесят пять тысяч долларов. Ему стало неловко и стыдно.

Улица шла мимо него, разношерстная и развязная: люди целовались и плакали,— от счастья или несчастья, и никто на них не обращал внимания или притворялись, что не обращают, потому что почти все люди в этом го-

роде постоянно и каждый день твердили себе: «Мы в Париже»,— и постоянно им казалось или старалось казаться, что они все иные, чем они есть на самом деле. И Лобанов подумал, что вот он стоит на улице и размышляет над собой только потому, что он в Париже, а в Москве бы он так никогда не остановился.

Он вошел в свой номер, оклеенный невероятно яркими французскими обоями канареечного цвета с лиловыми пятнами. Но и в номере ему опять подумалось, что он может купить все, что хочет, и, так как легкое, хотя и тревожное удушье мгновениями охватывало его, он решил, что легче всего отвязаться от этой мысли, если заказать что-нибудь. Лакей с втянутой верхней губой, настолько, что нижняя совсем подходила к носу, вошел шумно. Лобанов стоял, долго раздумывая. Лакей привык ко всему, он стоял, наклонив голову, рассматривая сапоги Лобанова, которые тот все собирался почистить с того часу, как переехал пограничную станцию, и которые все еще были не чищены. Он попросил наконец воды. Лобанов вынул открытку с могилой Неизвестного. Лакей принес ему воду. Лобанов прислонил открытку к стакану с водой, и ему почему-то подумалось, что с вещами теперь надо обращаться осторожнее. Он скинул сапоги. Удушье, сладкое и легкое, опять пронеслось по его телу, он прилег, как был, в платье на кровать. Неподвижно и косо отражалась в воде стакана Триумфальная арка, и неподвижны и неправдоподобны были раскрашенные автомобили. Лобанов прислушался, и вот что встревожило его: он уже не слышал осторожного шипения парижских улиц, точно город весь шел в калошах. Он подумал: не подойти ли ему к окну, но внезапно он понял, почему и что его особенно беспокоило в этот вечер: теперь опять нельзя будет хворать! Но как только он это подумал, ему сразу же стало ясно одно: он не сможет остаться здесь, за границей, вдали от родины и от теперешней своей работы и еще другое — ведь трудится-то он теперь гораздо больше и с большей любовью, чем прежде, чем в прежней жизни. И, наконец, как бы он ни старался мысленно уменьшить и унизить значимость производимого им сейчас труда, дабы найти этим умалением оправдание своей прежней жизни, но оправдания ей не было и не могло быть! И от этой охватившей его ясности и от уже принятого им внутренне решения вернуться скорей домой ему

стало легко, и он глубоко и свободно вздохнул, и тогда вдруг почувствовал остренький и хрустальный, все расширяющийся холодок у сердца.

Он обрадовался этому холодку. Он лег и вытянулся во весь рост. С полным удовлетворением он вдохнул в себя воздух и протянул руку за стаканом. Нестерпимая жажда овладела им, он задел за что-то рукой, что показалось ему чужим. Ему все вдруг стало просто и ясно, словно бы прорвало плотину, и его понесло, высоко и легко вздымая...

От его последнего в жизни движения вращательно колыхнулась вода в стакане, и поплыли вокруг арки, автомобили, приобретая теперь истинный необходимый им цвет, и сама Триумфальная арка тоже поплыла, постепенно линяя... Официальная врачебная наука, представленная старim и подагрическим доктором отеля, признала, «что советский гражданин М. Д. Лобанов умер от так называемого разрыва сердца».

1929

Б. М. МАНИКОВ И ЕГО РАБОТНИК ГРИША

1

Встрече Бориса Митрофановича Маникова с его бывшим работником Гришей предшествовали многие размышления. Размышления эти особенно остры стали с того дня, когда он однажды, идя по Москве, подумал, что люди, населяющие сейчас Москву, для него существуют, а он для них нет. Может быть, они замечают его тело, которое говорит, питается, спит и которое они иногда могут даже назвать Борисом Митрофановичем Маниковым, но понять его или даже попытаться понять они не могут. И он ощутил, проходя по этим знакомым с детства улицам, что улицы вот уже десять или пятнадцать лет как заселены иным народом и от прежнего города остались только здания: так же мало меняется посуда, когда в нее наливают разноцветные жидкости... Борису Митрофановичу было уже свыше шестидесяти лет; сухой и жилистый, он походил на гребенку с поломанными зубцами, громадные и прозрачные уши делали его лицо внимательным, приглядывающимся даже каким-то, а на самом деле он был рассеян и видел и слышал очень мало. Он жил за городом, в подмосковной деревне, вместе с сестрой своей Натальей Митрофановной с востреньким лицом и забытыми от юности черными бровями, и хотя она совсем стара, намного старее Бориса Митрофановича, часто прихварывала, любила знахарок и бабок, но по-прежнему в ней было много властолюбия, по-прежнему она любила думать и была уверена, что в теперешней жизни к богатству и славе все же можно найти, если поискать внимательно, ловкую лазейку и что ей еще не поздно найти эту лазейку.

Прежде, в прежней знакомой Москве, Борис Митрофанович Мапиков содержал «семейные бани» недалеко от Арбата, в одном из переулков. Дело это приносило большой доход и почет, да и отец передал ему это дело в исправности и без долгов. Борис Митрофанович выгодно женился, выгодно и быстро выдал сестру за торговца мебелью, почтенного и богатого человека. Этот почтенный человек и во времена нэпа лавировал вначале весьма искусно, но времена уже были не те, и он умер, говорили, от водки, но, надо думать, больше от огорчения, что не может угнаться за более молодыми и беззаботными. Имел этот торговец и зять Бориса Митрофановича забавную семейную тайну, которая и переехала даже с Борисом Митрофановичем в подмосковную деревню: как-то еще до революции приобрел торговец редчайшую кровать с редчайшими четырьмя миниатюрами по углам, а затем так ее ловко закрасил, так прибеднил, что десятки опытнейших финансовых инспекторов, много раз описывавших его имущество, на эту кровать не обращали внимания, а один даже спросил презрительно: «И зачем вы такую дрянь держите?» И сам торговец смеялся, и жена его Наталья Митрофановна смеялась, и когда-то смеялся и Борис Митрофанович.

Неподалеку от улички, на которой они жили, протекала под мохнатым обрывом Москва-река, напротив стояла каменная церковь, мимо, в дачные местности, проносились автобусы, а если взять от улички влево, то сразу развертывались лиловые картофельные поля, и когда поднимался туман или метель, то не видно было Москвы, ее дыма и света, и казалось, что они живут далеко в провинции. Наталья Митрофановна, поглядывая на эти поля, любила упрекать Бориса Митрофановича в бездеятельности, а он хлеб свой действительно добывал с большим трудом, перепродавая различную чепуховину на толчке, с лицом и взором аристократа, а больше всего он любил сидеть у окна и маленькими ножницами вырезать коньков из газетной бумаги, а затем, подрисовав им красным карандашом глаза и брови, уходил гулять и там незаметно разбрасывал этих коньков по дороге или по берегу Москвы-реки.

Весной тысяча девятьсот двадцать девятого года сидел, как всегда, Борис Митрофанович у окна и вырезал своих коньков. Конек за этот день был уже десятый по

счету, когда он увидел подле палисадника человечка в стеженом картузе, с коротенькой ищущей походкой. Сестра сразу же догадалась, у кого может быть такая походка, и сразу же скрывающе заворошилась в спальне, и Борис Митрофанович отложил ножницы.

2

Борис Митрофанович вначале подумал то же, что подумала и его сестра: это новый, назначенный на место прежнего, видимо, непригодного, фининспектора, потому что тот, прежний, с белокурым чубом, похожим на крендель, даже сам любил говорить: «Возможно, что, и учитывая вас, ошибаюсь я, граждане». Но прежде чем Борис Митрофанович успел сложить свои мысли в одну фразу с тем, чтобы их передать сестре, он с острой неприязнью вспомнил длинную и волосатую шею человека, стоящего подле палисадника. И еще больше неприятно ему было вспомнить свою гадость, которая так выпукло обозначилась в этом деле с наглым и самолюбивым номерным Григорием Гущиным. Гриша Гущин был нагл и скуп, он получал отличное жалованье и все же, несмотря на запрещение Бориса Митрофановича, подрабатывал у гостей, приводя им в номера «девиц».

И вот не кому иному, как этому Грише он, Борис Митрофанович, предложил отдать замуж племянницу свою Веру, которая воспитывалась у него в доме. А пожелал он отдать ее Грише, а не чиновникам-женихам, обильно посещавшим его дом, потому, что Вера была опозорена: возвращалась она от подруги как-то домой одна. Подле «семейных бань» строился чей-то громадный дом, стояли леса, и пьяные хулиганы затащили ее на постройку. Вера была сильна и высока, она лихо отбивалась и кричала, о лицо какого-то хулигана она сломала зонтик свой. Ее изнасиловали. Позже на крики ее прибежал полицейский, засвистал, и дело огласили... Стыд упал на дом Бориса Митрофановича. Женихи и раскрашенные открытки, которые посылались ей во все дни двунадесятых праздников, исчезли. Подруги покинули ее. Она сразу стала шлюхой, сразу же в ее походке и в ее сильном теле, которым раньше так восхищались, увидали похоть и сластолюбие. Знакомые отворачивались от нее.

Борис Митрофанович вспомнил, как его мучила гордость, никудышная гордость, которая и посейчас мучает его сестру, и она, так же как и он тогда, думает, что способна и своей гордостью, и своим умом пересилить весь мир. Страдая этой гордостью, он подумал тотчас же о Грише. Гриша, наглец и жулик, один мог без спора и разъяснений понять его. Грише Гущину было лет тридцать, он уже подумывал о возвращении в деревню, на покой и на солидное хозяйство. Борис Митрофанович призвал его и предложил ему получить две с половиной тысячи денег и Веру в жены. Гриша, погладив свою длинную и волосатую шею, склонил голову и со всегдашней своей привычкой прибавлять почти к каждой фразе «да» поспешно проговорил:

— Когда прикажете благословляться прийти?

И еще горше вспомнил Борис Митрофанович, как они пришли благословляться. Вера, рослая, грудастая и с розовыми щеками, которые за месяц сплошных слез все же не побледнели, стояла шага за три от своего жениха и все отодвигалась еще дальше, подергивая левым плечом. Был морозный канун Нового года. В окно Борис Митрофанович видел, как на углу переулка извозчики из торб, подвешенных к оглоблям, кормили коней овсом. Овсинки, окруженные пушистыми каплями пара, катились из розовых морд коней. Голубой, звенящий, как новая сбруя, снег крутился над окнами, над крышами. Борис Митрофанович передал задаток — полторы тысячи — и сказал, что остальные получит Гриша после венчания.

У ворот толпились номерные, приятели Гриши, они смеялись, подталкивали друг друга, но, когда Гриша шел мимо со своей нареченной, сутулый, хмурый, в новом пальто с барашковым воротником, номерные не осмелились пошутить и как-то неумело замолчали. Невеста посмотрела на них смело. Они ушли в ворота. Невеста махнула рукой.

Извозчик, натягивая большие, похожие на чемоданы рукавицы, подал им коня.

3

Борис Митрофанович знал, что племянница ничуть не осуждает его; для нее все исчезло: и женихи-чиновники, и наследство от Бориса Митрофановича, который

не имел детей, и легкая жизнь, которую она вела до этого,— и тогда видеть это ее понимание было приятно и лестно даже Борису Митрофановичу, но теперь вспоминать об этом ему было стыдно. Вспомнил он и то, как он радовался, что люди теперь уже не осудят, что испорченная девушка живет в его доме, и как ему было приятно узнать, что он был прав, она и впрямь дурна: повенчанные Вера и Гриша часто ссорятся. Гриша пьет и чуть ли не говорит о разводе. Слухи эти доходили до Бориса Митрофановича стороной, так как Вера, приходя, сама никогда не жаловалась на плохую жизнь и по-прежнему была румяной и стройной. Затем она забеременела и перестала посещать дом Бориса Митрофановича, а еще позже слышал он, что Гущины переехали в Самару и что родила она мальчика. В Самаре, говорили, Гриша открыл чайную, стал спокойнее, а мальчонка рос лихо. Тем временем Борис Митрофанович тоже рос капиталом, строя дома и бани. Он ходил на биржу и с несколькими друзьями разрабатывал план постройки огромных бань на манер римских, и даже очень умный архитектор подыскался... Но тут подоспела война, революция... «И сами мы попали в баню»,— так любил он и его приятели подшучивать, сидя за чаем и обсуждая свои проекты в начале революции. Но шуточки эти продолжались недолго...

Во время нэпа несколько раз неудачно пытался подняться до прежних своих подъемов Борис Митрофанович, и во время одного из этих подъемов он узнал, что племянница его Вера умерла здесь, в Москве. Какой-то прыщеватый мальчонка, в лохматой бараньей шапке и коротком тулупчике, принес ему записочку от Гриши, который приглашал на похороны. Борис Митрофанович торопился куда-то с ходатайством; прочтя записку, он попытался вспомнить походку, лицо и голос Веры и ничего не мог вспомнить, кроме широкого румянца на щеках. И о записке он забыл через полчаса, а сейчас, глядя на Гришу, рассматривающего палисадник, и на свою сестру, суетящуюся в соседней комнате, он вспомнил эту записку: написана она была карандашом на листке, вырванном из тетради «для арифметических упражнений», и Борис Митрофанович, дабы забыть эту записочку и свою тогдашнюю ничтожную суетливость и дабы освободиться от зрелища теперешней ничтожной суетливости сестры, пошутил:

— Ты вот, Наталья Митрофановна, хвасталась, что удачно обвела фина, смотри, на его место нового назначили! — И он указал на Гришу.

— Так я же тебе об этом и говорила! — ответила она, пугаясь того, что даже и незадачливый Борис Митрофанович догадался о новом фине.

— Ты нашего Гришу помнишь, Наталья Митрофановна?

— Который Верку взял? Злодей был мужик,— ответила она, еще более пугаясь своих слов о злодействе, сказанных только потому, что лицо нового фина показалось ей знакомым, а знаком, значит, потому, что он мог когда-то и где-то их весьма успешно притеснять.

— Ну, так ты и присмотрись, Наталья Митрофановна, Гришу-то этого и назначили нам в фины!

Она так и ахнула. Тотчас же она вспомнила, что покойный ее муж рассказывал еще при Грише, какую он замечательную и бесценную кровать купил. Она, охая и потирая по привычке ладонью отвисшие и дряблые свои щеки, подбежала к окну. Точно, там стоял Гриша Гущин. Та же у него отвратительная и волосатая шея и тот же наглый и в то же время светлый взгляд, и нового в нем была только какая-то неощутимая пустота, та страшная пустота, о которой, как думала Наталья Митрофановна, она многое знала в людях, поднявшихся высоко.

Борис Митрофанович, накинув ватную свою тужурку, сшитую из солдатского сукна, вышел на крыльцо. С крыльца видна Москва-река, тающая и блестящая тем напряженным блеском, которым блестит олово, начинающее расплавляться. Деревья в палисаднике были тоже блестящи и как бы готовились к прыжку... Борис Митрофанович глубже вдохнул воздух.

— Входи, что ли,— сказал он Грише.

4

Да, несомненно, это был Гриша!

И Гриша, видимо, сразу узнал своего бывшего хозяина. Гриша не глядел ему в лицо, он касался своим взглядом только края, его взгляд скользил где-то подле прозрачных и больших ушей Бориса Митрофановича, и этот взгляд в первые мгновения был очень непри-

тен Борису Митрофановичу, но дальше он понял, что не только взгляд Гриши, но и вся их последующая и замечательная беседа происходила не здесь и не для Бориса Митрофановича и Натальи Митрофановны, а происходила и производилась она у кого-то и для кого-то в пространство; и эта манера, и это скольжение разговора, и путанность хотя и сильно раздражали Бориса Митрофановича, но в то же время неудержимо влекли его за собой. Он тоже, как Гриша, говорил быстро, путаясь и волнуясь.

Но прежде чем начался этот примечательный разговор, Борис Митрофанович и его гость прошли мимо церкви на высокий берег Москвы-реки. Здесь подул им в лицо весенний ветер, пахнущий тающим льдом; низкие горы, видневшиеся вдали, как бы раскрывались от солнца, и лес на горах весь дрожал и поднимался на цыпочки... Но они, не замечая ничего этого и не видя, как Наталья Митрофановна машет им рукой и кличет их в дом, подготовляясь, как бы разбегаясь для будущей беседы, быстро миновали ограду, каменную и потрескавшуюся, потрогали чугунную плиту на могиле какого-то почтенного протоиерея, умершего, как сообщала плита, совершенно в неправдоподобно преклонном возрасте. Правую руку Гриша постоянно держал за пазухой, а левой поглаживал свою шею, и рука эта у него была вся обветренная, красная и в дегте.

— Постарел ты, Гриша,— сказал Борис Митрофанович, и Гриша обрадованно как-то подхватил:

— Да ведь как же, да, пятьдесят пять, да, пятьдесят пять...

И он улыбнулся длинной своей улыбкой, которая вначале всегда казалась жалобной, но совсем неожиданно переходила в наглую, и тогда глаза его светлели... Борис Митрофанович вспомнил эту улыбку, но наглости у Гриши не вышло, и тогда Борис Митрофанович сам улыбнулся и подумал, что улыбается он тому, что, как и двадцать лет назад, Гриша все еще повторяет эти свои приставочки «да, да»; и Борису Митрофановичу подумалось: «А ведь может статься, что Гриша не фининспектор, да и почему они решили, что он фин, формы же на них пока нет... просто Гриша впал в бедность и явился за помощью, и здесь-то вот нужно ему сказать с большим умением, что дать они ему ничего не могут и самое большое их угощение — морковный

чай. И сказать это лучше всего сразу, чтобы Гриша не стеснялся и мог сразу же проявить свою злобу или радость, смотря по тому, какой в нем теперь преобладает характер».

5

Гриша вдруг широко раскрыл глаза, и по лицу его стало понятно, что он только теперь увидал Москву-реку, что он не знает, что это за река, и у него даже губы раскрылись, чтобы спросить: какая и почему здесь река, но тотчас же весь внешний мир спутался, и выбрать слова для этого внешнего мира ему настолько было тяжело, что шея его туго налилась кровью, потемнела, и он быстрыми шагами направился к палисаднику, возле которого его и окликнул Борис Митрофанович и возле которого он, Гриша, приготовил уже все, что ему нужно и что должно сказать и сделать.

Когда они входили в дом, Наталья Митрофановна припрятывала последние свои тряпки, те, которые она считала своим долгом спрятать, и в поисках места для их укрытия она бегала все время, пока они гуляли: более надежного места, как под кроватью, она не могла найти, и она укладывала их под кроватью. Она вылезла потная, багровая и тупо уставилась на Гришу; и то, что он ее не узнал и даже не смотрел на нее, испугало ее неимоверно.

Гриша быстро опустился на лавку и заговорил так, как будто он давно уже начал:

— Ну вот, плывут они среди лесов один день, другой плывут, а кругом берега с церквами, а народу нету и нету армий...

— Кто плывет? — спросил Борис Митрофанович.

— Ну, флотилия плывет. Сын-то мой, звали его тоже Гришей, поступил матросом во флотилию, которую, слышь, прозвали Волжской и направили против Казани, в которой, говорят, весь наш золотой запас хранился и на который, говорят, все буржуи мира сбегались. Плывут они, говорю, и плывут они ни больше ни меньше как в подводной лодке прямо по Мариинской системе из Петербурга. А из плаванья этого, Борис Митрофанович, получал я в эти времена от Гриши очень многое объясняющие письма...

— От Веры сын-то, что ли, был? — спросил Борис Митрофанович, волнуясь.

— Как же, от нее, в Самаре родился! Рослая была женщина, и все любила с палочкой ходить, и сын получился рослый и тоже с палочкой в матросы пошел, а тогда дисциплина свободная была, лишь воюй, а там с палкой ты ходишь или с бревном — безразлично. Однако какой-то главнокомандующий похохотал над ним: «Ты, говорит, молодой и революционный матрос, почему у тебя, как у старика, для выхода палка?» А он и ему ответил, и нам в письме написал, что палку ему для революции бросить нетрудно, что он ради революции не только палки, но и жизни своей не пожалеет. И кинул он тут на глазах всего флота палку в Волгу, и поплыла она в Каспий!.. Очень трогательно! А я, как вам известно, Борис Митрофанович, бани тем временем бросил и промышлял извозным, и чайная у меня в Самаре, на берегу Волги, была. Самара — город отличный, хотя и запьянцовский. Сам я никогда, как вам известно, не пил и сына приучил; сын только, действительно, признавался, что когда подводная лодка опускается в воду и как весь инструмент, и весь воздух, и все стены вокруг начинают по мере опускания холодеть, то тогда даже и непьющему выпить хочется. Кончатся это наши чайная, извозные расчеты, выйдем мы с женой на берег и думаем, что для нас с некоторого времени Волга стала страшным синим морем. Никогда мы не думали, что она настолько страшна может быть, а текла она в те времена мимо всех пустая, и разве только щепка с какого-нибудь потонувшего парохода качается — проплывет. А ведь раньше, бывало, стоишь в праздник, ведь от большого чая до обеда мимо твоих глаз пароходов пятнадцать проплывет! И чем ближе наш сын подходил к Казани, тем больше мы думали: есть в этом Ленине что-то такое от справедливости и касательно того, что буржуев было необходимо уничтожать и уничтожать окончательно, что всегда он был в этом прав!

Здесь Наталья Митрофановна не удержалась. Она приоткрыла дверь и, просунув голову, боязливо и в то же время стараясь быть веселой, спросила:

— Ты что же, по финансам работаешь?

Гриша встал, поклонился и ответил с торжественной и жалкой улыбкой:

— Нет, я в полной и откровенной отставке! Да, да... Я грудь сломил на своем ломовом деле, да, и действительно, поступать так азартно на старости лет не годится. Заспорили мы, слышь! Я им говорю, что подниму пятнадцать пудов, и верно,— поднять-то поднял, но тут произошло в груди встрясение и стало мне как-то тесно дышать...

— Что же с твоим матросом-то? — спросил Борис Митрофанович. Ему хотелось и узнать, зачем пришел Гриша, и не любил он разговоров о болезнях.

— С матросом-то нашим? Известно, что может произойти с матросом! Идут они ночью, и наткнулись они ночью на мину, и взорвались, и кончились с того дня письма от него... Год с той смерти или три, я уж не знаю, мы все в чайной своей орудовали, торговали, и кони наши ходили по Самаре, так вот через год, что ли, выходим мы с Верой Ивановной на волжский наш берег. По нему пароходы идут, как и раньше, народ в буфетах стерлядей ест, а мы перед самым нашим выходом на Волгу письма Гришины перечитывали. Очень, скажу вам по совести, возвышенные письма, и даже, если их с площади прочесть бы вслух, как теперь есть такое вслух говорящее радиво, многим бы пользы дали... Рассуждаем мы и дальше: вот, мол, Вера Ивановна, сын-то наш шел правильно, за спасение погибающих, а мы живем как-то неточно, и вот ведь и женился-то я на тебе, говорю, Вера Ивановна, тоже неточно, не по любви, а потому, что банщик Борис Митрофанович дал мне за тобой в приданое или, лучше сказать, чтобы успокоить свою банную гадость, две с половиной тысячи рублей. Купил, одним словом, говорю, мужа тебе, Вера Ивановна!

Борис Митрофанович сказал мучительно и торопливо:

— Ну о чем говорить, Гриша! От этого же никакого вреда не произошло. Если сын твой умер, то он, наверное, не знал же обстоятельств твоей женитьбы.

— Сын не знал, конечно, Борис Митрофанович.

— Да ведь и прошло этому двадцать с лишком лет, и что вспоминать то, что было двадцать с лишком лет, а?

— Двадцать с лишком лет прошло, верно, Борис Митрофанович. Но вот двадцать-то с лишком лет

спустя и началось самое мое от этого главное несчастье.

— Двадцать лет, Гриша?..

— Да, двадцать лет,— ответил Гриша с болью и гордостью.

6

Гриша заговорил плавно и быстро, и Борис Митрофанович понял, что Гриша теперь только подошел к тому, что уже давно и плотно засело в нем, в чем уже нельзя изменить или переставить слова и что есть то главное, до чего он добирался с такой явной всем болью и трудом...

«Так вот и путник,— подумалось Борису Митрофановичу,— долго бредет топями, болотами, пока не выйдет на ровный и чистый луг, и здесь перед ним внезапно и плавно катится река, гудят пароходы, и плоты весело несут весенние свои бревна, и на бревно опускается синица, бревно влажное, на него только что накатилась волна от парохода, оно блестит, и синица, подрагивая хвостиком, оправляет свои перья...»

— Да, Борис Митрофанович, так вот мы и рассуждаем с Верой Ивановной! Говорю я ей: «Живем мы с тобой в отличном Самаре-городе, и большое у нас с тобой хозяйство, и четыре громаднейшие, может быть, самые громаднейшие и выносливые ломовые во всем самарском крае, и работники у нас к этим коням замечательные, и живем мы с тобой замечательно, и чай у нас по всему волжскому берегу самый крепкий, и при чайной у нас квартира из двух комнат с отдельной кухней и даже, как у любого попа, есть у нас собственный комод и буфет!»— «И верно,— отвечает мне она,— замечательно живем!»— и сама смотрит в землю, а немного погодя поднимает на меня глаза и говорит: «Думать ли нам об этом?... Борис Митрофанович как следует наказан за свою гордость!.. Вот кабы сынок наш вернулся, все бы узнав, он смог бы тебе посоветовать, а сейчас так думаю: вот мы с тобой, муженек, продержали весь военный коммунизм вплоть до свободной торговли четырех лучших коней в городе и самых лучших работников и дальше теперь хотим свое дело развивать,— правильно ли это?» Я ее еще тогда не понял, сознаюсь, я ответил, как, мол, теперь не развивать! Те-

перь овес куда легче, чем при военном коммунизме, доставать! Она тут сразу замолчала, и только румянец у нее вековой так и полыщет по лицу. Она это молчит, а я говорю: «Очень мне нехорошо, Вера Ивановна, думать я не привык, а главное — придумаешь, только бы сказать, а тут вместо настоящего слова либо обругаешься, либо выпить захочется, но только смотрю я на свое развивающееся хозяйство и полагаю, что купленная у меня жизнь». Она мне и говорит: «Полагать мало, надо делать...» И сама отошла, как бы обиженная.

— На что же ей обижаться, Гриша? — спросила Наталья Митрофановна.

— ...И очень сильно с того разговора затосковал я, Борис Митрофанович, так затосковал, что откровенно и сказать-то неловко; и по сыну так не тосковал. Все, бывало, в кровати ворочаюсь, а кровать у меня богатая, с металлическими шишками и на пружинах и с замечательным богатым ситцевым пологом. И вот раз вскакиваю я, под рукомойник, умыться не мог, а на дворе еще темно, и дождичек такой осенний, на всю жизнь, кажется... Говорю я: «Вера Ивановна, решился я и телеги, и коней, и работников рассчитать!» Жена-то на меня смотрит и говорит тихо: «Что же, сколько на конях ни вози, сколько ни скачи, а от своего сердца не ускачешь и горя своего никуда не увезешь. Продавай!» Отправился я на базар, кони тогда в цене были, да и народ видит: коней привел продавать Григорий Гущин — разорился! И каждому, конечно, лестно меня унизить и коней моих купить. Продал я и в своей чайной какое снаряжение и посуду, рассчитал своих работников и кухарку, и осталось у меня тогда ровно девятьсот сорок рублей. Выложил я эти деньги перед женой и говорю: «Вот, мол, и деньги за моих коней и за телеги, и выходит по этим деньгам, что ты сама немногим была дороже моих коней и моей чайной». Она опять молчит и только дня через два так, мельком, сказала, что, верно, тяжело дожить до старости и понять вдруг такие мысли... Но и тогда-то, Борис Митрофанович, не дошли мы до самой главной нашей думы, что и мою жизнь загубила, и Веру Ивановну в могилу свела. Положили мы деньги те в сберегательную кассу, перебрались в Москву и поселились в Петровском парке, поближе к Савеловскому вокзалу, там много в улочках нашего ломового брата живет. Сараи есть в одном дворе, раньше лес,

что ли, там сушили, а теперь на жилье переделали, нагородили собачьих конур, перегородки дощатые, глинобитные стены, сырость, мороз, зато дешево...

7

— Глупости это, — сказал, несколько оправляясь от своего волнения, Борис Митрофанович, — глупости это — деньги копить!

— Зачем глупости? — еще больше заволновался Гриша. — Мученье никогда не глупости. Поселились как только мы в этой сырости, как только расставили наше имущество и стол клеенкой накрыли, так и понял я: не хватит нам уже сил из этой комнатешки выбраться, и не хватит еще и потому, что если мы друг другу свои мысли полностью не откроем и что если открывать, так поскорей. Дрова я в эту минуту накладывал в печку, Борис Митрофанович, так я бросил дрова, встал и говорю: «Завтра мне на работу уже простым ломовым идти, Вера Ивановна, с завтрашнего дня мне, от усталости, может быть, али от злости, уже и говорить-то будет трудно, так я сегодня скажу. Я так думаю, Вера Ивановна, что те две с половиной тыщи, которые мне за мою совесть дал Борис Митрофанович, мне эти две с половиной тыщи надо ему вернуть целиком».

— Отдаст она, Верка-то, как же, — отозвалась из-за дверей Наталья Митрофановна. — Жадна она была всегда, как черт!

Сказала она это не оттого, что действительно была уверена, что Вера жадна, — Наталья Митрофановна всегда была занята главным образом только собой, и если думала о том, каковы люди, то она их всех, кроме себя, считала дураками, — а сейчас о жадности Веры она сказала потому, что ей хотелось поскорей узнать, почему она согласилась возвратить своему бывшему хозяину его деньги... Борису Митрофановичу было стыдно смотреть на ее потный и жадный старческий лоб, покрытый седыми и редкими волосами. Она отстранила Бориса Митрофановича и села перед Гришей к замасленному и грязному столу. В комнатах была пыль и слякоть, никак не хотели убрать, почистить, все надеялись на лучшее будущее. Наталья Митрофа-

новна смотрела прямо в рот Грише, но тот по-прежнему ее не видал.

— А она еще раньше меня, надо думать, возмечтала столь же гордо. Как я ей только сказал эти мои слова, так у ней лицо-то еще больше воспылало, и она мне быстро, так быстро сыплет: «Отдать, отдать непременно, Гриша». А у меня от тех ее слов даже как-то дышать тяжело стало, сел я на табуретку, а она сама начала дрова в печку кидать. Я на нее смотрю и вслух думаю: «Позволь, Вера, мой сын буржуев уничтожал и лодку в том уничтожении и свою жизнь потопил, а тут выходит, что мы им поможем вновь на ноги подняться, когда мы их обязаны топить, как они нашего сына утопили». А она мне, напротив, тоже вслух думает: «Я у них воспитывалась, жила и ими облагодетельствована, я их жизнь прекрасно, лучше своей понимаю. Они эти деньги получат и, верно, употребят их на свое возвышение и поднятие, а этому возвышению никогда уже в нашей стране не быть, и получится им от этого еще большее уничтожение, а нам полное освобождение наших мыслей». И так меня ее слова разожгли, что я обошел комнатешку нашу, и без того пустую, с мыслями, что бы еще продать можно, и вышло так, что сундучки и чемоданчики наши, в которых мы наше барахлишко привезли, вполне продать можно, так как никуда нам уже из этой комнатешки не выехать. И, верно, выручил я с этой продажи пятнадцать рублей, которые и отвез на книжку. Пошла моя Вера приходящей прислугой, ночами стирала артистам, которые снимаются в бывшем Яру и живут неподалеку от нас, а я днем в ломовых ходил, а вечерами, — вспомнив детское свое обучение, мой батюшка-то из сапожников происходил, — починял ломовикам валенки и сапоги, одежда, сам знаешь, у ломовиков как огонь горит, брал я дешево, и было у меня заработков достаточно. А в хибарке нашей холодище, ветер, вечером натопишь, а к утру смотришь и выстыло, а я поспать люблю, а Вера-то, обо мне заботясь, поднимется раным-рано, затопит печку, чтобы мне на работу из тепла идти. А стены, как я вам говорил, у наших казарм глинобитные, и от глины по утрам уничтожительный и мерзкий запах идет, и я из запаха-то на какой-никакой чистый воздух выхожу, а Вера, перед тем как на приходящую уйти, еще и кушанье сготовит, и починит для меня что... всю захватил ее этот запах, ко-

торый, знаешь, пошел на сердце, а с сердца в кровь, что ли... подлинно мне вся тонкость эта докторская неизвестна, но начала моя Вера Ивановна сначала покашливать, с румянца спадать, а там и чахнуть. Доктора пришли, которые к нашему ломовому делу приставлены, но только у нас, у ломовых, болезни грубые, им, докторам, лечить их трудно, иной, смотришь, даже в слезу пробьется, а ничего с нашей болезнью понять не может, мы больше сами лечимся, есть у нас и такие-разные знахарочки, из цыганок, которые петь по случаю революции прекратили. Пришел такой доктор один, посмотрел; пришла попозже и цыганочка, тоже пощупала и посмотрела. Жалостливая такая цыганочка, и с голоском как весной сосульки ледяные на землю падают, и оба они сказали: «Выздоровеет!» А моя Вера Ивановна все чахнет и чахнет и только мне не забывает повторять: «Ты, говорит, деньги копи, а я и так поднимусь, самое главное — человеку захотеть подняться, а он уже поднимется, сколько б ни лежал». Ну, как она ни хотела подняться, как ни отрывала голову, а прошлой осенью, вернулся я это как-то с работы поздно — смотрю: нет у ней больше румянца, и лицо от этого хоть и страшное, но легкое какое-то, как будто зимой лист вынесет когда из-под снега и поднимет ветром. Посмотрела она на меня и, как вам известно, будучи прославлена своими улыбками, улыбнулась мне по-знакомому и говорит: «Сколько у тебя скоплено, Гриша, на сберегательной?» А я ей отвечаю, что, мол, Вера Ивановна, скоплено нами очень много: без малого две тыщи. Тут она подумала и говорит: «Ты, Гриша, на мои похороны больше полутораста рублей не трать, ты пышность любишь. Я, Гриша, теперь скажу тебе по правде, плохо вижу, но все-таки тебе советую и на себя как-нибудь хоть в осеннюю лужу посмотреть, если зеркала не подвернется, и по виду тому своему ты и поймешь, что едва ли ты больше двух тысяч скопишь, да и, кроме того, времена, как мне известно по приходящей службе, такие для буржуев подходят, что лучше с ними сейчас рассчитаться, пока с ними окончательно кто-то за нас не стал рассчитываться...

— Я говорю: злюка! — сказала Наталья Митрофановна.

— ...И верно, израсходовал я из тех денег почти что полтораста на похороны, и то ли от ее слов, то ли, вер-

но, пора ко мне такая подошла, но по утрам вставать все труднее и труднее стало, и решил я тогда навалиться на работу. Ну и навалился же. Пар от меня за версту идет, мяса я съедал по три фунта и хлеба почти по пять за день. Ребята мне: «Куда ты рвешься, старик?» А я им: «Поддай!» Да вот, как я вам уже и изволил говорить, Борис Митрофанович, чтобы не столько удаль показать, а чтобы назначили меня на самые труднейшие работы, на которых я смог бы побольше заработать, и произошло у меня от подъема пятнадцати пудов внутреннее рассечение груди. Послушал меня доктор через такую трубочку с двумя резиновыми концами, головой качает в такт того, как я грудью свищу, и сказал этот доктор: «Старик ты резкий, так и я с тобой резок буду и говорю тебе: махни на все и кончай скорее все свои земные дела». Вот это доктор, настоящая душа! Он, оказывается, военным был, оттого у него и понятие жизни такое справедливое. Сильно я его поблагодарил, пошел в тот же день в кассу и взял оттуда все, что там нами скоплено, а оказалось этого всего две тысячи сто десять рублей. Сильно мне хотелось накопить до полной суммы, и тут бы я мог и справедливому доктору не поверить и работал бы до суммы, но сказал тут один человек: «Больно некрасиво живет Борис Митрофанович, под Москвой и без дела, как бы он в другие места не уехал...» А где мне вас искать в других местах, Борис Митрофанович? Как-никак, а у меня злостное рассечение груди!

И он больше из вежливости, чем из своего суждения, разворачивая грязный пакет из газетной бумаги, сказал о здоровье и жизни Бориса Митрофановича:

— Однако же соврал человечек, живете вы отлично и собою все здоровы. Получайте, пожалуйста... да, да!

Но здесь на деньги навалилась всем своим рыхлым телом Наталья Митрофановна. Пришепетывая, путая слова, то говоря, что пересчитывает, то что считать некогда, она закутывала деньги опять в бумагу. Бумага у ней ползла меж рук, она сорвала рваную и грязную шаль с головы, седые и жидкие ее волосы на висках были мокры. Нестерпимое отвращение овладело Борисом Митрофановичем.

8

Борис Митрофанович понимал, что он не должен и не может принимать эти деньги, но он чувствовал и знал, что он не скажет этого. Он отвык от ссор, от брани по денежным делам. Он понимал, что это слабость, но от понимания этой слабости он и ненавидел эти комнатенки с их запахом картофеля и кошек, с киотом в углу и с плохими и некрасивыми иконами. Он ненавидел и Гришу, который, высказав все, что его томило и влекло сюда, сидел теперь, тупо и бессмысленно улыбаясь; когда Наталья Митрофановна, несколько поуспокоившись, все же начала пересчитывать деньги, он следил за счетом, и губы его безмолвно двигались за губами Натальи Митрофановны.

Борис Митрофанович поднял свою тужурку из солдатского сукна, и здесь Гриша, торопливо сказав Наталье Митрофановне: «Правильно, все правильно сосчитано», — торопливо схватил стеженый картуз и пошел за ним. В тужурке этой, вымененной на барахолке за отличные серебряные часы, всегда Борис Митрофанович чувствовал себя уютно и тепло. Ее никто у него не отнимает, ей цена самое большее полтинник, но она удивительно греет и бережет тело. Гриша сломил веточку из палисадника, но держать ее он не мог: по-прежнему он совал правую руку за пазуху, а левой почесывал волосатую свою шею. Он испуганно как-то оглянулся, видимо отыскивая столб, подле которого останавливается автобус, нашел и радостно замычал. «Зачем,— думал Борис Митрофанович, — я, старик, не отказался от денег, которые мне совершенно не нужны, а этот, другой старик, отдал все свои деньги, на которые он мог жить отлично, лечиться и не страдать, и зачем третий старый человек, Наталья Митрофановна, думает, что Гриша принес эти деньги, чтобы поддержать прежних хозяев, и даже думает, что и Вера-то не умерла!»

Подошел автобус, синий, высокий, со светлыми окнами. В этом автобусе сидели веселые и молодые мужчины и женщины, они ездили снимать дачи, чтобы летом ходить при луне, целоваться, говорить глупости и плакать от этих глупостей. У них быстрая и широкая жизнь. Кондуктор взмахнул сумкой. Гриша, с осоловелыми глазами, не попрощавшись, вскочил на подножку и дернул внутрь дверь. И в автобусе он так же, как

и все прочие, сел бочком, голову откинул назад!.. Долго стоял подле остановки Борис Митрофанович. Несколько автобусов промелькнуло мимо него.

Стыдно и скучно возвращаться ему домой!

И тогда его посетила мысль, которая ему показалась сначала чудовищной и нелепой, но, по мере того как он подходил ближе к домику, в котором он жил, и по мере того как солнце согревало его спину, эта мысль уже не казалась ему столь грубой. Он подумал, что Гриша никогда бы не мог и не принял бы обратно этих денег и тем нелепее принимать им эти деньги, так как они ни по каким законам не могут принадлежать Б. М. Маникову и его сестре, и еще более — нет и нельзя придумать такого оправдания тому, чтобы на эти деньги опять пытаться кого-то обманывать и с кем-то плутовать. Но Наталья Митрофановна будет на эти деньги плутовать и кого-то обманывать! И еще более укрепило его мысли то, что, когда он вошел в дом, его сестры там не было. Она, наверное, ушла прятать полученные деньги. Она испробует несколько мест, ей придется вырыть несколько ямок, прежде нежели она решится закопать эти деньги. Она устала, она стара, ей тяжело копать кухонным ее ножом, она с усилием роет мокрую весеннюю землю... Омерзительно!

И Борис Митрофанович направился к фину. Фин жил рядом со школой. В сени к Борису Митрофановичу вышел рослый, немного заспанный человек с белокурым чубом, похожим на крендель. Он вежливо,— как он уже привык разговаривать и как это льстило и ему и другим,— спросил, чего желает от него гражданин Маников. И гражданин Б. М. Маников, с огромными ушами и сухим телом, расставив широко ноги, стоял перед ним и безмолвно смотрел, как фин зажег папироску, быстро искурил, посмотрел в сенях — нет ли пепельницы, и погасил папироску о подошву своего сапога. Подошва та была новая, и то, что фин помнил о ней, так как иначе он не стал бы гасить о нее папироску, а погасил бы, скажем, о порог, показало Борису Митрофановичу, что ничто в жизни не изменилось и мир по-прежнему не понимает и не замечает его. Что может сделать старуха на эти две тысячи, столь нелепо приобретенные ею? Да и никто и ничего не сможет сделать на эти две тысячи! И здесь у фина если он, Борис Митрофанович, попробует рассказать о двух тысячах, то фин решит,

что Б. М. Маников просто выдает сестру из мести, или, что, может быть, еще хуже, решит, что у них скрыты еще большие деньги. И Борису Митрофановичу стало жалко того, что люди, отлично понимая друг друга, все же не могут понять его, Бориса Митрофановича, и что он не может и не знает того, что есть в нем такого, что люди должны понять. И ему стало нестерпимо жалко себя. Он зарыдал. Фин подхватил его под руки, свел с крыльца, наивежливейше пожал ему руку и сказал, что просит зайти попозже, успокоенным.

Борис Митрофанович пошел. Но он скоро понял, что идет от своего дома в другую сторону, и это его огорчило, но не остановило, потому что чем он дальше шел, тем все легче и легче ему было. Он дышал быстро и ровно. Он на ходу отломил ветвь березы, но оторвать от этой ветки более молодые побеги было уже трудней. И он буквально их отвинчивал. Они были очень забавны, эти побеги, мягкие, налитые жизнью, молодые! И ему было и страшно, и легко, и смешно подумать, что он никогда уже не возвратится домой. Страшно,— ведь ему за шестьдесят! Смешно, что к этому решению он пришел на пороге смерти. Легко,— так как в той иной жизни он даже и подумать бы не мог об уходе, а теперь он идет веселым в молодой и широкий мир!

Он шагал долго. Уже далеко остался позади город; уже давно с какой-то горы последний раз он увидал купол Христа Спасителя, похожий на золотой набалдашник трости, и обозы крестьян уменьшились, и реже стали попадаться деревни, и усталость стала овладевать им, и он обдумывал о ночлеге,— как его обогнал какой-то бродяжка, очень легкий по ходу, с припухшим и бородатым лицом и голубыми глазками. Бродяжка пропустил его, опять обогнал, закурил папироску, свистнул, высморкался и заигрывающе спросил:

— Куда направляетесь, дяденька?

— В Самару,— почему-то ответил Борис Митрофанович, и так как ему это слово понравилось, то он подумал: «А ведь действительно неплохо пойти в Самару. Город хлебный, течет там Волга, да и давненько он не видал больших, за зиму сияюще-отремонтированных пароходов, которые весной похожи на вставшие дыбом льдины, и дым их похож на остатки зимних метелей».

— В Самару,— повторил Борис Митрофанович.

Бродяжка кивнул головой и, тоже, должно быть, подумав, что Самара — хороший город, добавил:

— Что же, и я, пожалуй, дяденька, могу направиться в Самару, а вот только... — Он прошел несколько шагов рядом и затем спросил быстро: —А вот только много ли ты, дяденька, денег имеешь, чтобы с тобой идти не страшно, а то, знаешь, то-се, бандиты отберут!

— Полтинник имею,— ответил Борис Митрофанович.

Бродяжка подпрыгнул, обрадовался необыкновенно, полез в карман и, вытаскивая чудесно замасленный рубль, воскликнул:

— Ну, я же куда тебя, дяденька, богаче! Качаем, что ли?

И они шли, равномерно и весело раскачиваясь.

1930

ЧЕТЫРЕХГЛАЗЫЙ

Пятнадцать лет назад я вступал в Бухару другим человеком...

Самое главное в моем бухарском прошлом — это молодость, огромная, нескончаемая, казалось. Мне теперь не жаль этой молодости, она была довольно беспокойна и суматошлива, но что в ней было прекрасно, так это наблюдательность, беспощадная наблюдательность, которой у меня сейчас нет, несмотря на записные книжки и беспрерывные упражнения. Достаточно сказать, что, приехав теперь в Бухару 10 апреля 1930 года, я не нашел ничего лучшего, как взять, при осмотре города, огромный справочник. Жара продолжалась. Я устал, на мне были громадные ботинки, пальто. И я мысленно упрекал себя: «Что же, ты уже перестал надеяться на свои глаза, на свое умение расспрашивать? Что это, неверие в свой разум, если ты хочешь смотреть в толстую книгу?» Я присел на обрыве у развалин эмирского дворца. У подножия обрыва тарахтела электрическая станция, вдали голубовато плыли минареты, в крытых базарах торговались узбеки. Застучал барабан. Из ущербленных лун базарных лавок вышли пионеры. Рыжеволосый человек запнулся о камень, остановился, задумался. Я окликнул его. Он поднял близорукое лицо и недоуменно посмотрел. Этого человека звали Семен Кузьмин, узбеки прозвали его Терт-Козь (Четыре глаза). История его жизни чрезвычайно занимательна. Мне хочется рассказать часть этой истории,— о том, как Терт-Козь помогал строить бухарский водопровод.

Дворец эмира, расположенный на высоком холме, посреди города, разрушен и сожжен восставшим народом в 1919 году. Еще и посейчас мальчишки роются

в развалинах, добывая обломки посуды, железную утварь, монеты. При мне один нашел зеркальце в оловянной оправе с дворянским гербом и с робким вензелем «НБ». Так вот, против остатков этого дворца, на площади воздвигнута огромная водонапорная башня. Башня эта поставлена года два-три назад. Европейцу, наверное, покажется смешным желание поставить башню на главной площади города. Но всякий, кто знает Восток, поймет восторг людей, поставивших башню на главной площади, а кто был в Бухаре, кто видал эти «хаузы» — грязные пруды, из которых и посейчас еще водоноши таскают в турсуках — мешках из бараньих шкур — воду по домам, кто видел эти пруды и кто нюхал эту вонь от прудов, тот знает, что в ином месте башню поставить невозможно: вода для Бухары самое важное для жизни, самое дорогое.

Терт-Козь родился в Казани. Он знал слегка татарский язык, а в татарском языке есть отдаленное сходство с узбекским. Терт-Козь провел войну на западном фронте, он служил в одном из тех полков, которые Николай II послал через Владивосток во Францию. Там, попав в газовую атаку, Терт-Козь потерял зрение. Через год оно слегка восстановилось, так что если носить очень сильные очки, то Терт-Козь мог видеть кое-какие крупные движущиеся предметы. Но читать ему было нельзя. После долгих мытарств Терт-Козь возвратился в Казань. Здесь он работал, под городом, в совхозе заведующим конюшней. Должно прибавить, что Терт-Козь был хорошим рассказчиком и обладал прекрасной памятью. В Казани еще до войны Терт-Козь имел приятеля узбека, Мурата. Приятель этот давно уже возвратился в Узбекистан, работал там по ирригации, по изысканию и распределению воды. Потеряв способность писать, Терт-Козь еще больше, чем прежде, полюбил печатное слово, книги и особенно переписку. Он писал, то есть, вернее, диктовал секретарю ячейки письма ко всем своим прежним друзьям. Многие отвечали ему, и в числе этих многих ответил Мурат. Мурат был человек «конкретный», он попросту предложил Терт-Козю приехать работать к нему в Узбекистан. «А что ты подслеповат, пустяки; во-первых, у нас воздух целительный, а во-вторых, здесь столько отсталости и душевной темноты, что зрячему жить труднее». Возможно, что последний довод был для Терт-

Козя самым убедительным, потому что, несмотря на отговоры, Терт-Козь собрался в два дня.

Терт-Козь приехал в кишлак Байбиче, неподалеку от Душанбе, верстах в пятистах за Бухарой, в горах подле бешеной реки Вакш. Но Мурат уже не жил в кишлаке Байбиче, Мурат был переведен на работу ближе к Бухаре. Нужно сказать, что деньги иссякали у Терт-Козя, тратиться ему на железную дорогу не хотелось, и так как была весна, все цвело и благоухало, а Терт-Козь очень любил природу, то он направился просто пешком, по тропам. Идти ему вначале было легко, дорога была торная, многолюдная, его часто подсаживали на высокие узбекские арбы, он двигался медленно, не утомляясь, и быстро стал осваиваться с языком. На его беду у одного дехканина, который его вез, сломалось колесо, арба упала, вывалив седоков. Терт-Козь уронил и сломал очки. Запасных у него не было, он опять ослеп. Дехканин довез его до ближайшей чайханы, помог слезть и сказал: «Мне обратно». Терт-Козь вошел в чайхану, попросил чаю. День был праздничный, чайхана была набита битком. Чайханщик по профессии своей должен интересоваться жизнью своих клиентов, поэтому чайханщик с отменной вежливостью спросил:

— Чем ты промышляешь, путник?

— Рассказами,— ответил Терт-Козь.

— Э, сказки нам надоели, путник. Притом самая удивительная сказка произошла на наших глазах: эмир многие годы бедствует в Афганистане, а нам без него куда легче. Во всех сказках эмиры мудры, а этот полный дурак: ему давно сдохнуть пора, а он этого не понимает.

— Моя сказка о моей жизни.

— И лжецов мы давно умеем распутывать.

— Так попробуй распутать меня!

— Расскажи свой клубок.

— Знаешь ли ты такого Мурата, работника по ирригации?

— Нет. Чем же он знаменит, что я должен знать его?

— Он знаменит тем, что я, слепой, найду его так же, как если бы был зрячим.

Чайханщик захохотал. Смеялся он — все из отменной вежливости своей — заразительнейше.

Вокруг Терт-Козя собрались дехкане.

Раньше при эмире в Бухаре не было регулярной армии. Русское правительство разрешало эмиру держать две сотни бухарских казаков и батальон пехоты, причем для упражнений всему этому воинству выдавалось по одному патрону на человека в год. В 1912 году, по свидетельству полковника Лагофета, человека в среднеазиатских делах очень авторитетного, царское правительство подарило эмиру горную батарею. Но снарядов было отпущено тоже по одному на орудие. Естественно, что во время гражданской войны бухарцы порезвились и постреляли вволю. А так как бивуаков было много, много и бесед и рассказов, то и сказки все скоро иссякли, поблекли и надоели. А узбеки очень любят сказки. Вот чем,— отчасти, конечно,— можно объяснить недоверчивость чайханщика к словам Терт-Козя.

— Знаете ли вы, какие страны лежат за Москвой?

— Знаем,— ответил один из дехкан, самый опытный, уже побывавший в Ташкенте и Баку,— там лежит Герман-страна, там лежит Француз-страна, там лежит много стран, и все они нас хотят слопать. Мы все знаем!

— Вот и прекрасно, что вы все знаете. Слушайте, какую я видел войну, узнайте, как нас хотят слопать, узнайте, какие там поля, какие кишлаки, какие колодцы и как я там воевал...

Терт-Козь начал рассказывать. Собственно, имя Терт-Козь пошло за Кузьминым с того вечера. Он по привычке доставал сломанные очки и все накрывал ими свою переносицу. Вначале дехкане подсмеивались: «Вот, дескать, повезло, шутник забрел в чайхану, есть о ком бабам рассказать дома». А так как в рассказе Терт-Козя не было ни чудесных коров, ни золотых птиц ростом выше верблюда, ни царских дочерей, влюбляющихся в бедных пастухов, ни хитрых визирей, а было только неустанное мученье тысячи тысяч людей, которых оторвали от родного крова, кинули в чужую и злобную страну и заставили убивать неизвестных мужиков, гнать пожар по их пашням, взрывать их хаты и резать скот, были чудовищные машины, истребляющие людей, была полная и беспросветная несправедливость, то дехкане, глядя на это истерзанное, слепое лицо, сами начали испытывать страдание. Терт-Козь, начиная свой рассказ, думал, что люди послушают его, выскажут

одобрение, а затем кто-нибудь из знающих Мурата объяснит точно, где же этот Мурат находится. В чайхане было тихо, слышно было, как плескался чай в пиале (чашке) рассказчика, когда он окончил свой рассказ.

— Разошлись, что ли? — спросил Терт-Козь.

— Сидят, — ответил чайханщик. — Все рассказал?

— Не все, но главное.

Толпа мгновенно вскочила на ноги. Кто-то крикнул:

— Остальное по дороге расскажешь, давай винтовки.

— Какие винтовки?

— Такие винтовки. Бить будем, — которые войну такую придумали. Этих самых главных, о которых рассказывал. Зачем нам арыки проводить, хлопок сеять, если прилетит машина и всех убьет? Давай нам винтовки! Зачем тебе иначе приезжать?

Терт-Козь уверял меня позже, что он струсил. Терт-Козь любил несколько приукрашивать свои рассказы, но, в общем, он был человек искренний и простой. Если он говорил, что струсил, — я верю ему. Нужно сказать, что дехканство во время гражданской войны перенесло невероятные муки: эмирские нукеры, белогвардейцы и просто бандиты платили за свои боевые неудачи полной монетой беззащитному населению, и теперь, когда Терт-Козь пришел и стал рассказывать неумело, на чужом, еще не вполне освоенном, языке про империалистическую войну, не предупредив, что рассказывает о прошлом, то дехкане подумали, что война еще *продолжается,* что пришел раненый с войны, что война скоро подойдет к Бухаре и кто-то скрывает от них эту войну, а раненый проговорился. Дехкане кричали друг на друга, кто-то кого-то упрекал в трусости, кто-то отказался идти, а кому-то непременно было нужно две винтовки, он был, видите ли, столь ловкий и смелый, что желал стрелять обеими руками! Терт-Козя тормошили, перетаскивали из угла в угол, и он окончательно потерял оправу своих очков.

— Дайте мне сказать! — попробовал кричать он.

Чайханщик оказался самым красноречивым и самым воинственным; он хотел идти впереди всех. На просьбу Терт-Козя он ответил:

— Но ты же сказал самое главное, теперь и нам дай сказать. Мы тебе объясним, почему мы желаем воевать.

Терт-Козь признался мне, что самой блестящей мыслью во всю его жизнь была та, когда он вздумал попросить чаю покрепче у чайханщика. Чайханщик заторопился, а Терт-Козь успел проговорить.

— Я вам сказал, верно, главное. Ну, бейте меня по уху, если то, что я вам скажу дальше, менее интересно, чем сказанное мной прежде.

Когда дехкане узнали, что войны еще нет и что Терт-Козь был ранен давно, то мгновенно Терт-Козь был признан самым замечательным рассказчиком. Мгновенно все решили, что самое любопытное он не высказал и что теперь пойдет истинный рассказ о его любви и о его женитьбе на иностранной девушке. Терт-Козь объяснял мне это желание дехкан просто жаждой послушать о более легком и более веселом: освободиться, так сказать, от своего воинственного и, главное, смешного теперь желания воевать. Они очень горды, эти дехкане подле Душанбе!

— Ну и что же, вы им рассказали о своей любви?— спросил я Терт-Козя.

— Но у меня не было никакой любви на западном фронте, так же как и на восточном. Меня женщины вообще мало любили, вернее — совсем не любили. Я угрюмый.

— Однако вы им рассказали?

— Рассказал,— стыдливо сказал Терт-Козь.— Пришлось употребить один из вариантов сказки. Без выдумки не обошлось. Я им рассказал давно известную сказку о том, как царская дочь влюбилась в бедного пастуха... этим пастухом был я, извините... Они и не заметили, что я им рассказываю давно известное. Правда, я приставил несчастный конец: бедная принцесса утонула во время свадьбы: она гуляла со своим женихом по саду, переходила ажурный мостик и свалилась, и так как была вся увешана тяжелыми драгоценностями, то немедленно пошла ко дну. А царь меня сразу же выгнал. Сказка им очень понравилась.

— И вас повезли от кишлака к кишлаку, Терт-Козь?

— Не совсем так. Меня привезли сначала в соседний кишлак и познакомили с кассиршей из кооператива Айгузой Нуранбековой. Она считалась передовой и ученой женщиной, а важнее этого — недоступной. Мои друзья, и особенно чайханщик, решили, что если я по-

корил принцессу, то Айгуза Нуранбекова не устоит. А в общем им всем хотелось попировать на свадьбе. Я полторы недели жил и рассказывал в кишлаке Учумкале о западном фронте... и прочем. Днем, в свободное время, конечно, Айгуза читала мне любопытнейшие книжки.

— И вы женились на ней, Терт-Козь?

— Женился, — стыдливо сказал Терт-Козь, — женился, а затем мы вместе поехали искать друга моего Мурата. Собственно, не искать, а просто поехали к нему.

— Так вы уже узнали точно, где он живет?

— Точно, — опять застыдился он. — Здесь, видите ли, самое странное в этой истории — Мурат, собственно, долго ухаживал за Айгузой, а она раздумывала, идти за него или нет. И книжки-то, которые лежали у ней, принадлежали Мурату. Вначале, когда он узнал, что Айгуза вышла за меня, он, признаться сказать, дал мне по уху, но затем раздумал и согласился, что сам виноват, не дождался моего приезда.

— Вы с ним рассорились, Терт-Козь?

— Нет, зачем же. Мы с ним еще больше подружились. Он вскоре тоже нашел себе невесту, и мы все пировали у него на свадьбе. А когда я нашел подходящее стекло к моим очкам, то я поступил в Ирригационное управление и помогал ему проводить воду в Бухару. Меня по кишлакам любили, и мне легче было организовывать разные земляные работы. Мне на воде легче работать, я ее больше вижу, она больше *движется*, чем, скажем к примеру, кони в конюшне, возле Казани, знаете...

— Знаю.

Вот он каков, кусочек огромной истории о Терт-Козе и его друге Мурате, истории, которая еще ждет своего описателя. Мурат, показывавший мне сооружения бухарского водопровода, когда я его спросил о Терт-Козе, сказал восторженно:

— Ох, какой это человек! Какой это дальновидный человек, вы только присмотритесь к нему, яллаш, и вы сами ухнете, как обвал!

1931

ХРАНИТЕЛЬ МОГИЛЫ ТИМУРА

Глубоко погрузите ваши руки в песок! Перед вами не желтый песок московских рек, не голубовато-серый песок морских побережий, перед вами,— вспомните,— песок среднеазиатских пустынь. Вспомнили вы ощущение мгновенного холодка, когда вы едва погрузили руку до кисти, холодок, который быстро переходит в сухую теплоту, а затем в онемелую неподвижность всего вашего тела? Песок течет у вас между пальцев, и вы пытаетесь определить его цвет, хотя бы для того, чтобы задержать в себе мгновенное чувство отчужденности и ненависти к нему. В яркий полдень вы поднимаетесь на бархан-холм. С бархана песок совершенно тигрового цвета, а когда вы спуститесь с бархана, низко опять склоните голову, может быть, даже ляжете на него, он опять вспыхнет перед вами всей своей неуловимой сущностью. Вы опускаете в него ваше зрение и все ваше внимание. Его ослепительная тревожность и сладость подобна сказке, слышанной в детстве, и теперь, когда у вас подросли дети, поднятой из глубин вашего сознания для передачи им. Они открыли глаза, их ротишки полуоткрыты, они ждут... Он совсем не круглый, пытаетесь определить вы, в нем вы видите различные формы — от цилиндра до шара, различные цвета — от медно-брусничного до темно-серого — и, наконец, он не так многочислен: если рассортировать все его формы, то их наберется два-три десятка. Каждая из этих форм, соединившись вместе, представила б единую непреодолимую мощность, единый камень, но неутихающий ветер гонит их вперед. Спешите приглядеться, спешите определить свое чувство,— ветер, угрожающе подняв широкую костлявую ладонь, увенчанную колючками, ждет за соседней горой! Таково приблизительно первое чувство при встрече с песком, властителем пустыни, ее

волей. Но у него есть сестра: это благодетельная лессовая пыль. Он бежит людей, он озлоблен, одинок, холоден. Она всегда с нами, она отяжеляет арыки, она течет на нивы, она дает хлопок и рис, она смягчает дороги, она спорит с ветром, она овеществляет вашу тень, она делает ее грозной и высокой, она всегда одного цвета — цвета созревшего колоса.

Точность извиняет ошибки стратегии, беллетристической, конечно. Вот отчего я считаю нужным датировать вышеприведенный абзац. Он записан 5 апреля 1930 года.

Пятнадцать лет назад я вступил в Самарканд другим человеком. Во-первых, я входил босой и пеший, то и другое при горячей лессовой среднеазиатской пыли чрезвычайно неприятно; во-вторых, я искал чудес, вернее — я искал, как мне научиться делать чудеса. Тогда я был факиром, то есть выступал на грошовых подмостках, показывая различные удивительные вещи. Так как учителей у меня не было, приобрести их за отсутствием средств я не мог, а даром из-за моей застенчивости и молчаливости меня никто учить не хотел, то все эти удивительные вещи я старался придумать, изобрести сам. В Средней Азии я рассчитывал найти их множество! Я прошел пешком от Семипалатинска до Верного, по всему пути, где теперь лежит Турксиб, от Верного я прошел на Ташкент, от Ташкента на Фергану и оттуда на озеро Иссык-Куль и затем обратно, па Самарканд и Бухару. Пищу я себе зарабатывал тем, что в наиболее крупных городах поступал в типографию наборщиком. Жара была такая, что мы непрестанно лили в кассы — ящики, в которых лежат буквы,— воду, иначе буквы жгли руки. Весь этот путь я проделал совершенно напрасно, я не нашел чудес и сам не изобрел ни одного чуда. Могилу Тамерлана в Самарканде я тоже не видал,— по малым моим тогдашним знаниям я не знал даже, кто такой Тамерлан и почему нужно смотреть его могилу; площадь Регистана мне не понравилась: слишком там толкались, а старый город был отвратительно грязный, к тому же меня там за ногу укусила собака. Я обошел весь город, ночевал в караван-сарае за три копейки, съел плов за семь копеек порция, всю ночь не спал, потому что в дрянном

войлоке водилось неимоверное количество блох, а узбеки, спящие вокруг меня на кошмах и коврах, так неимоверно храпели, что заглушали даже рев дерущихся ослов вокруг «хауза» — пруда, водоема, заменяющего здесь колодцы. Утром я ушел из города.

И вот пятнадцать лет спустя, 5 апреля 1930 года, я подъезжал к Самарканду. Я уже много знал, я уже понял, что чудес без знаний не бывает, что самые лучшие факиры выходят из Германии, где для них приготовляют прекрасную аппаратуру, и самое главное было то, что мне уже не была нужна ни аппаратура, ни факирство, ни чудеса. Я уже знал, кто такой был Тамерлан и почему мне немедленно же по приезде необходимо ехать на его могилу. У меня были с собой две пары башмаков, я ехал в международном вагоне, для того чтобы не забыть свои мысли, я имел «вечное» перо, пишущую машинку, запас бумаги, а если б моих мыслей мне б не хватало, со мной были умные, многосведущие книги, а вокруг меня не менее многосведущие сидели мои приятели. Прекрасная, животворящая среднеазиатская пыль стлалась над городом, солнце походило на медный кунган, из которого льется мутная амударьинская вода. Иначе говоря, мне было тридцать пять лет.

Все извозчичьи экипажи на Советском Востоке парные. Тому есть, наверное, важные причины, но я их не знаю. Из беседы с извозчиком я понял, что Самарканд больше, чем могилой Тимура — «Железного хромца», гордится новой гостиницей в три этажа и гигантским водохранилищем, которое строится возле города, в горах.

— Все туда ездят. Смотреть,— добавил возница.— Ты тоже поедешь?

— Непременно, — ответил я ему.

И я не обманул его гордости. Я, точно, ездил к водохранилищу и жил в его любимой гостинице и пил «ай, какой хороший кофе».

Древняя Азия уходит. Да ей и пора уходить, она заметно зажилась на плодоносных лессовых полях. Уходят халаты, меняясь на прорезиненные пальто фабричной выработки; уходят чалмы, особенно быстро зеленые — признак хаджи, паломника, побывавшего в Мекке; уходят бесстрастные «азиатские» лица, ибо бесстрастность вырабатывалась безнадежностью, а сейчас

надежд сколько угодно и в любой отрасли; уходят примитивные орудия: мотыги и омачи — плуги. Могила Тамерлана числится за Музейным управлением, а мулла, который ежедневно совершает намаз на могиле Тамерлана, питается тем, что продает открытки. У меня с ним был любопытный разговор.

— Ты важный человек или не важный если, то просто умный? — спросил он меня, лениво рассматривая темно-зеленую нефритовую плиту Тамерлана, и, не дождавшись ответа, сказал: — Сын у меня желает учиться и не верит ни в аллаха, ни в Магомета. Он говорит — ни того, ни другого не было. А самое главное, они — аллах и Магомет — мешают ему учиться и быть другим человеком. «Я хочу отказаться от тебя, отец,— говорит он,— но где мне найти такого человека, подешевле, который бы мне написал прошение, что я отказываюсь от отца». Может быть, ты, раз ты умный и важный, напишешь ему прошение?

— Нет. Тебе лучше идти в юридическую консультацию.

— Сколько же они возьмут за совет?

— Рубль возьмут за совет.

— Рубль можно. И напишут за этот же рубль прошение? Дешево стало судиться, очень дешево.— Мулла оживился, потянул меня за рукав.— Будет тебе смотреть. Здесь, я тебе скажу по правде, нет совсем Тимура. И камень не тот. Одни открытки остались. Пойдем со мной в консультацию.

Признаться сказать, я удивился.

— Где же Тимур?

— Тимур где? Тимур в Париже.

Я удивился еще больше.

— В каком Париже?

— В городе Париже. Есть такой город в Улькуа Европа (Большая Европа)? Есть. Так вот, когда Ак-Паша (Белый царь) Николка увидал, что у него пушки не хватает и одежи не хватает воевать, то написал Ак-Паша большое письмо в город Париж: «Так, мол, и так, помогайте, за помощь все, что хотите, отдам». А они оттуда пишут: «Поможем, если ты нам прах Тимура отдашь, и камень нефритовый с его могилы, и все знамена, которые здесь хранятся». А я тогда был главным муллой при могиле, и сколько было тогда знамен, ах, если б ты видал, сколько было знамен, ты бы

был еще важнее, урус! Ну вот, Николка Ак-Паша думает: «Что же мне, пропадать из-за могилы и праха Тимура». Пишет им обратно в Париж: «Хорошо, отдам вам прах и камень Тимура, присылайте только побольше оружия». А видишь, есть предание такое, что кто владеет прахом Тимура, тот непобедим. А Ак-Паша Николка был неученый и глупый, он об этом предании не знал, он и отдал прах и камень, а вместо этого из Парижа прислали поддельный камень. Я в те дни сильно хворал, большим тифом хворал. Пока я хворал, знамена и сняли. Встал я, смотрю, камень не тот и Ак-Паши Николки нету, а вместо него исполком, а большой город Париж всех победил.

Старик, по-видимому, тифозный бред свой спутал с действительностью и воровство знамен приплел к бреду.

— Одни открытки остались.

Мимо нас в европейском платье, с портфелем быстро прошла узбечка. Взглянув на муллу, она улыбнулась и затем кивнула ему головой. Мулла важно и с почтением ей поклонился.

— Ты посмотри. Очень умная баба прошла. Зовут ее Кызымиль. Механиком служит в кинематографе, жалованье получает. Моя бывшая баба.

— Как баба?

— А так. Жена бывшая. Большой калым за нее заплатил во время нэпа. Очень ее любил, хорошие туфли покупал. Глаза стали болеть у ней, к доктору водил, очки стала носить, книжки читать, очень красивая стала, ото дня в день больше. Паранджу только не любила: «Зачем, говорит, женщина в сетке ходит — и неудобно и глупо. Нельзя, говорит!» Я ее по морде съездил и книжки отобрал. Ой, какая советская власть хитрая в Москве. Что, там бабы сидят, что ли, мужикам столько неприятностей. Устроила праздник для баб Восьмое марта, очень хитрый праздник. Бабы соберутся, про мужей сплетничают, паранджи снимают и на площади жгут. Вот моя баба Кызымиль говорит: «Ты на меня, мужик, не сердись, я тоже буду паранджу снимать и от тебя совсем прочь уходить, потому что ты кровью народной живешь».— «Как же это так, говорю, кровью народной живу, когда я за вас всех, глупых, аллаху молюсь и для вас могилу Тимура храню, чтобы вы на ней молились?» А она мне: «Плевать мне, говорит,

на твоего аллаха и на могилу Тимура плевать». Я ее опять по морде. Тогда она к дверям и от дверей к воротам. Ну, у ворот я ее удержал, но баба сильная, крепкая, я ее кормил хорошо, каждый день мясо жрала, ухватилась она рукой за столб, никак я ее оторвать не могу от столба. Кричит: «Пусти, все равно уйду и паранджу сниму». Очень я рассердился, я горячий, топор тут лежал неподалеку, я тот топор схватил и ее по руке — раз. Так три пальца и отскочило. Но до чего ж сердитая баба, с отрубленными пальцами на площадь пошла и все-таки паранджу сожгла. Бабы сильно ругались, пришли к нашему дому, били меня по морде и хотели совсем убить, а у нас в городе отличная милиция. Очень отличная милиция, взяла она меня и совсем не била.

— Что, судили тебя?

— А как же, судили.

— И что тебе было?

— Три года в тюрьме работал. Циновки в тюрьме плел, отлично зарабатывал, лучше чем дома. Кормили хорошо. Выслать хотели в Сибирь, а затем говорят, очень стар и глуп, помрет скоро, пускай в Самарканде доживает. Оставили. Я про них ничего плохого не скажу; пустили опять к могиле Тимура молиться. А вот теперь еще сын Аматкул бунтует. Такого сына прирезать бы надо, обязательно прирезать, но ведь опять неприятности будут. Посадят в тюрьму, а то, может быть, и парни, его тамыры (друзья), раньше того убьют. Плюнул я на все, пускай уходит.

— Что же, у тебя еще жены есть?

— Еще две было. Тоже ушли. На фабрику в Ташкент поступили. Шелк мотают. Жалованье хорошее, говорят. Я им писал, вышлите хоть мужу. Не отвечают. Бабу совсем избаловали.

Я провел старика в консультацию. Объяснил, в чем дело. Ему написали прошение. Старик был очень доволен. Видимо, он надеялся, что за такую сговорчивость сын будет впоследствии ему помогать. Мы расстались. Юридическая консультация помещалась на площади Регистана. Вы знаете, наверное, эти гигантские скосившиеся купола мечетей; эти огромные своды; эту толпу — кричащую, звенящую — на площади; эти лавки, в которых работают кузнецы; эти чайханы с коврами и с медными кунганами; этих мшистого цвета осликов; это

тигровое небо; и затем, если пройти немного переулком, вы увидите Биби-Ханым, мечеть, которую, говорят, Тамерлан соорудил в честь любимой своей супруги. Вы помните, там на дворе есть каменный пюпитр для Корана, на нем может поместиться конь вместе с всадником, — и над всем этим реет золотая лессовая пыль.

Я шел в этом грохоте умирающей, уходящей Азии, в этом крике — веселом и простом,— в этой пыли, шел с величайшим наслаждением и довольством, и мне думалось, что все-таки самое главное из всех чудес, которые я нашел на земле, это то, что жизнь неустанно движется вперед, неустанно украшается и неустанно совершенствуется, и чем дальше, тем быстрее и легче пойдет это совершенствование. Всадник на вороном коне — длинноногом карабаире — проскакал мимо меня. Это был узбек. В его петлице был ромб. Принцы и сам эмир бухарский в царское время не поднимались в чинах выше полковника. Проскакавший мимо меня, по прежней терминологии, назывался бы генералом. Я знаком с этим всадником. Его зовут Мустафа Юсупов. Он командует бригадой — и отлично командует! По происхождению он бывший пастух, а его дед был раб, захваченный туркменским племенем теке в Персии. Мустафе Юсупову двадцать восемь лет.

1931

МЕЛЬНИК

1

Федор Панфилович Пронышко ехал на свою мельницу так же, как он ездил туда много раз. День облачный, сухой. Легкий ветер дул в спину Федора Панфиловича, отгоняя оводов с тощей спины каурого коня, шагавшего, как всегда, широко и выносливо. Федор Панфилович перебирал свои мысли; он начинал перебирать их всегда, как только каурый конь выходил за городской базар, миновал сосновую рощу с лужайкой возле дороги, на которой постоянно, и зимой и летом, церемонно склонив головы набок, гуляли вороны.

Федор Панфилович — сын мелкого лавочника. Шестеро детей имел старый Панфил Пронышко: четыре парня, две девицы. Истории их жизни очень различны, хотя и удивительны каждая в отдельности. Федор Пронышко служил сначала приказчиком, затем мастером в маслодельной артели, а во время войны разжился и выстроил мельницу за городом — водяную, кирпичную. Начал он строить и дом подле мельницы, но помешала революция — так и остались торчать на полтора аршина от земли кирпичные стены. Сам он не жил на мельнице, а жил его сын Костя — и пришлось Косте жить пока в деревянном, наскоро сколоченном, одноэтажном домишке.

Базар был еще пуст, но уже по нему бродил милиционер в шинели внакидку. Так же, как и милиционер, голуби возле весов готовились к завтрашнему съезду мужицких подвод.

Роща встретила мельника и весело и серьезно — обманчиво серьезно, — словно она шутила, что вот, мол, какая она: делает вид, что сразу же за ней начнется густой непролазный лес, а на самом деле луга и

осиновые колки, обильные грибами. В роще раздавался стук топоров. Но и стук топоров, и то, что он знал о необычном деле, ради которого они стучали, не мешали мельнику заниматься своими мыслями.

Он был глубоко убежден — и повторял это сейчас про себя,— что только он, мельник Федор Панфилович Пронышко, понимает по-настоящему жизнь и как ее надо устраивать. Отчего бывают революции и междоусобные брани? Оттого, что народишко вместо войны с природой воюет между собой, ссорится и ворует. А главное-то и забывает! А главное в том, что надо хватать и сдерживать природу.

Вот пока он, Федор Панфилович, занимался службой, разными спекуляциями и оборотами, пока обманывал хозяина или своих заказчиков, так никакого спокойствия и не было, а как только запрудил реку, поставил плотину — двинулись жернова, так сразу и стало спокойно, и веселая уверенность в самом себе поселилась в нем. Что же получится, если он вдоль всей реки водрузит пять или шесть мельниц, а водрузить их вполне возможно: и воды хватит, и зерна хватит. Тогда прямо хоть проповедуй!

А проповедовать людишкам следует. Людишки за войну совсем измочалились и опаскудились. Вот, к примеру, стучат они в роще топорами, пугая церемонных воронов. Ветер согнал легкую тучку, и солнце осветило синие ситцевые спины плотников, потные и широкие. Ходит среди плотников хмурый подпрапорщик. И чего ради стараются плотники и подпрапорщик, вместо того чтобы пить чай или обучать солдат, расхлябанных и вялых, зачем понукает плотников? Виселицу строят, изволите видеть, виселицу! Тьфу! Стыдно за людей!

Федор Панфилович знал и никогда не сомневался в том, что бандитов и грабителей надо уничтожать и наказывать. Конечно, и бандита можно заставить работать, его возможно и уговорить на разумное, но не в такое время, не сейчас. Сейчас, пожалуй, самое лучшее уничтожать их поскорей. Но зачем,— когда городок наполнен слухами, что с той стороны гор — того и гляди — спустятся красные, да и бандиты-то, пожалуй, оттого и увеличили свои безобразия, что надеялись на безнаказанность, — зачем нанимать плотников, сооружать виселицу, приглашать попа, устраивать публичный суд для того только, чтобы уничтожить одного

бандита? Вздерни его на первый попавшийся сук — и не мешай людям заниматься делами.

Федор Панфилович отвернулся от виселицы и понукнул коня. Конь мотнул головой, как бы одобряя деловые мысли своего хозяина.

Мельник думал: если воевать, так воевать лучше всего с природой, а люди, даже ближайшие родственники, непременно надуют! Он не любил сам служить, не любил и нанимать к себе. Он желал работать семьей. А вот не повезло. Разбогател, построил мельницу, а сын родился только один. Вскоре после постройки мельницы жена умерла. Он мог бы жениться и на второй, но, разбогатев, а главное, почувствовав уважение к своим мыслям и затеям, он уже не доверял людям, а значит, не доверял бы и женщине, на которой женился бы. Женщина кинется на его богатство, даже притворится работящей и хорошей, пожелает иметь от него детей, а непременно всюду и везде будет обманывать. Да и баба после войны пошла какая-то неработящая, говорливая, суетливая!

Жениться следует только тогда, когда построишь пять или шесть мельниц, когда окончательно разбогатеешь, когда богатство будет запугивать людей, когда его деньги запугают жену, заставят ее смириться, как бы она ни была суетлива. И мельник, если им нестерпимо овладевала тягота, спал с бабой, которая работала в городском его домике стряпухой. Спанью этому он не придавал никакого значения, да и баба тоже не придавала ему значения. Она была придурковата, кривобока, с постоянно открытым ртом, и везде, где она раньше ни работала, с ней поступали так же, как поступал Федор Панфилович, то есть ночью ложились рядом с нею на некоторое время, а затем, толкнув ее легонько кулаком в бок, говорили: «Ну, ладно, а я пошел»,— и уходили. «Что ж поделаешь, весь человеческий род глуп вроде этой стряпухи!»— думал Федор Пронышко.

Непременно надо построить шесть мельниц, заарендовать луга, купить скотины, построить конюшни, пригоны. Приятно водрузить плотину, где река по колено. Плотина встанет вокруг тебя, как воротник барашковой шубы,— наполнится она водой, подует легкий ветер, поплывет птица, возле шлепающих колес начнет шмыгать плотва, рыбаки придут с удочками, а ты, покрякивая,— хотя, казалось бы, тебе крякать совершенно не

к чему, но ты, все-таки покрякивая,— будешь стоять на плотине, возле спуска, и ветерок будет относить легкий дым твоей трубки. Тебя уже выбрали городским головой и тебя спрашивают — не открыть ли здесь банк?

Уже виднелась мельница, доносился стук ее колес, и на пригорке, возле мельницы, желтели подсолнухи. Еще год назад здесь возвышался лес. Мельник его выжег и засеял подсолнухами!

Иначе, чем мельник, думал о повешении бандита Алешки Урнева командир расквартированного в городке белогвардейского полка Савкин. Командир жил за четыре дома от Федора Панфиловича. Человек он был уже не молодой, но с нежным и каким-то клейким голосом. Жизнь его текла однообразно и хотя без особых волнений, но и без особых удач. Он полагал, что вряд ли выслужится выше чина капитана, но война помогла ему и по службе, и в устройстве семейства.

Прежде всего его не убили, хотя многие из его товарищей, тоже не отличавшиеся особой смелостью и тоже не очень ловко разбирающиеся в окружающих обстоятельствах, погибли. Его назначали на их места. Затем он, приехав в отпуск, женился на девушке, на которой при обыкновенных обстоятельствах он никак бы жениться не мог: ее жених, сделавшись офицером, отказался от нее и женился на другой, более богатой, и она с досады стала целоваться с Савкиным, а затем, прислушавшись к его нежному голосу, сказала самой себе: «Э, пускай!» Он уехал с женой в провинцию, как уезжали многие офицеры, когда произошел Октябрьский переворот. Здесь его мобилизовали в белую армию. И опять кого-то убили, и опять его повысили. И тогда Савкин начал думать: «А быть мне генералом! Непременно быть. К тому идет». Да и дальний родственник его жены имел отношение к штабу командования армией.

И вот из-за этих ли родственных отношений, или же просто послать было некого, но часть, которой командовал Савкин, послали в очень опасное и смутное место фронта, каким являлся городок, где жил мельник Пронышко.

Собственно, никакого фронта не было. Стояли села, собирались базары, работали мельницы, пилили лес,

снимали хлеба, и по тем же дорогам ходили солдаты с винтовками, провозили орудия, пулеметы, стреляли, жгли, топили людей и скот. И вот это-то отсутствие фронта смущало Савкина больше всего. Воевать, так воевать в окопах, так, как учили его. Зачем здесь путаются мужики, рабочие? Как с ними обращаться и чего от них требовать? Ему стыдно было, но приходилось сознаваться, что он знает очень немного, но и это немногое он знает очень плохо, и поэтому он цепче ухватился за то, что, по его мнению, он знал хорошо. А знал он хорошо судебную процедуру да игру на балалайке. К судебным делам он имел склонность с детства, к тому же отец его был судебным следователем и даже умер на посту, во время следствия, от разрыва сердца; что же касается игры на балалайке, то она ему помогала, пока он командовал ротой, но когда он стал повышаться, то только вредила ему. Он знал, что за его спиной офицеры говорят: «А, это тот, который на балалайке!» — и невеста, когда давала ему согласие на брак, сказала: «Но чтоб без балалайки».

Получив командование полком, он устроил оркестр балалаечников, но разве это могло ему помочь разобраться в том, что сейчас происходило в городке, вокруг городка, и в нем самом, и в его солдатах? Он с радостью исполнял бы все приказания командования, но связь была отвратительна, и к тому же приказы часто противоречивы. Сегодня: «Ловите бандитов!», а завтра: «Ловите дезертиров, которые бегут к красным!», а еще через день: «Прекратите ловить дезертиров, отражайте красных!» Но не было, если сказать по совести, ни бандитов, ни дезертиров, ни красных. И сводки, получаемые из уезда, тоже были совершенно противоречивы.

Вот хотя бы взять случай с Урневым: бандит он или просто дурак. Поймали в поле шестерых мужиков. Трое с винтовками, трое с косами. Говорят, что отчасти пошли на охоту — уточек захотелось, а отчасти боялись нападения, так как луг, который они хотели скосить — отава, — лежит далеко от села, а «народ балуется». Странно, что у трех ружья, хотя и дробовые, но ведь известно, как мужик способен стрелять и из дробового ружья, когда ему надобно стрелять. И что это за покосы в конце осени, и почему с ними Урнев, когда по всему округу известно, что Илья Урнев «идейный бандист», то

есть грабит с тем, чтобы имущество богатых отдавать бедным, короче говоря, пробирается к власти!

Бесспорно, Савкин умел допрашивать. Уже на другой день мужики начали говорить разное, и если они раньше говорили, что этот Алешка Урнев никак не Илья Урнев, а только однофамилец, то теперь выяснилось, что он брат бандиту. Савкин уже собирался в порядке полевого суда расстрелять всех шестерых, но тут пришло приказание из штаба дивизии «направить все внимание на поимку дезертиров», а с населением, хотя бы и заподозренным в бандитизме, поступать осмотрительнее и снисходительнее, но в то же время строго, «особенно строго наблюдая за перебежчиками».

Прочитав это, Савкин достал балалайку из кожаного футляра, пахнущего рыбой, сыграл попурри — и снова перечел приказание. В комнате находился полковой врач Галанин, высокий и лысый, постоянно страдающий кашлем и постоянно поддакивающий Савкину, в котором он видел необычайно преуспевающего и необычайно умного человека с высоким будущим.

— Суд устроить! — сказал Савкин, укладывая балалайку обратно. — Публичный суд. Оно, знаете, и снисходительно и полезно. Посудим, разберемся. И повесим.

— Что ж, полезно иногда и повесить,— подтвердил Галанин, кашлянув. Он подумал и спросил: — Как же, и вешать публично?

— Если с красными связь имел, то непременно публично. Я бы даже под барабанный бой повесил. И снисходительно! И полезно! И дезертирам наука!

— Полезно и дезертирам наука,— повторил за ним Галанин, хотя и не понимал, какая же наука дезертирам, если повесят публично бандита, хотя бы и под барабанный бой? Но он смолчал, попросив Савкина сыграть на балалайке.

Савкин сыграл опять попурри, еще раз перечел приказ и предложил Галанину взять на себя организацию публичного суда. Галанин кашлянул — и согласился.

2

Пока шестерых мужиков собирались судить, они сидели в бане. Городская тюрьма при последнем налете красных сгорела. Под тюрьму дума велела переделать

городскую баню, низенькое, одноэтажное здание. Мужиков, как наиболее важных преступников, посадили в самый большой номер. В предбаннике, на куче хвороста, караулил их солдат, а другой солдат, построже, ходил перед их номером с винтовкой на плече.

Алешка Урнев, длинноногий и худой мужик со вздутым животом и с лохматой цыганской бородой, черной и в завитках, приходился братом тому Илье Урневу, который считался в округе «идейным бандистом». Илья действительно отнимал у богатых мужиков деньги и скот и раздавал их бедным. Говорили про него также, что он с красными спознался и что мнит о себе, будто он справедливейший человек на земле, способный исправить неправду и ложь. Собой он был ловок, весел, говорлив и из всех людей, кроме богатеев, презирал только брата своего Алешку.

Правда, и разнились они сильно. Илья много страдал, был восемь раз ранен, хромал на одну ногу, сидел в дисциплинарном батальоне, тогда как Алешка даже и от военной службы был освобожден по скудоумию и полному непониманию того, что вокруг него происходит. Жизнь он видел словно бы через постоянную липкую и вялую дремоту, и лишь неутолимая потребность в еде вносила в эту дремоту некоторую перемену и оживление. Но едва лишь ему удавалось поесть, как дремота — медовая и легкая — совсем заливала его, и он засыпал. Даже здесь, в бане, перед судом и даже перед смертью, он ел по-прежнему, без разбора и быстро, и спал по-прежнему много. Остальные мужики трусили и плохо ели,— Алешка с радостью съедал их порции и хотя не насыщался, но был доволен. Растянувшись на полке, он, похлопывая себя по животу, говорил, засыпая: «А хорошо я, ребята, пожрал-то».

Мужики с отвращением и злостью смотрели на него, особенно ненавидя его бороду. Бороду он отпустил по совету брата, который пошутил, что бородатого считают за разбойника, боятся и лучше кормят. Алешка поверил. Именно эта борода показалась разъезду, арестовавшему мужиков, подозрительной.

Злило мужиков и то, что они, побоявшись идти на покос, возле которого часто проходили отряды Илюшки Урнева, взяли с собой для безопасности Алешку, обещав накормить его там досыта и даже мясом, для чего и захватили с собой дробовики. Мужики были из

состоятельных, недавно обзавелись по дешевке скотом и опасались, что им не хватит сена, и потому хотели скосить отаву. Чем чаще их допрашивал Савкин, голос которого нежнел с каждой встречей с ними, тем сильнее валили они всю вину на Алешку Урнева, который на всех допросах молчал или отвечал пустыми фразами, отзываясь полным незнанием, да он и действительно ничего не знал, а в конце допроса, когда Савкин спрашивал о претензиях, Алешка неизменно повторял, что кормят плохо, а чаю совсем не дают.

Вот эти-то претензии больше всего и убеждали Савкина, что Алешка Урнев и есть тот самый бандит, который раздает награбленное имущество бедным. Правда, смущало несколько то, что по всем показаниям Илья Урнев хром, но кто его знает, не притворяется ли он хромым с тем, чтобы когда попадется, то главным доказательством своего неучастия в бандитизме выставить свою исправную ногу?

Судили мужиков во дворе городских бань. Зрителей собралось много. Председательствовал на суде Савкин. Ему впервые пришлось председательствовать на таком большом суде, и он остался доволен собой.

Процесс вел он быстро, умело, задавал наводящие и лихие вопросы, публика часто смеялась, и к подсудимым не было никакой жалости, хотя видом они были тощи и серы, особенно теперь при ярком солнечном свете. Врач Галанин, член суда, тоже проявил отменные наклонности к судебным делам. В общем, как у судей, так и у публики было полное впечатление необходимости, важности суда и справедливого наказания бандитов. Через день должен был в городке состояться обычный недельный базар. Мужики разнесут весть о наказании бандитов по уезду, и — кто знает — не вызовет ли казнь бандитов возвращение дезертиров.

В конце суда для всех стало ясно, что главным зачинщиком и бандитом был Алешка Урнев. Пять мужиков в голос показали, что Алешка уговорил их пойти в шайку к своему брату, а тот небось с красными связан, недаром ведь Алешка обещал мужикам полную сохранность их имущества и скота. Запуганные и темные, они согласились на его уговоры. Правда, они не совсем еще решились перейти в бандиты и поэтому-то взяли с собой косы. Они даже предполагали отговорить шайку Ильи от бандитизма, уговорить порвать с крас-

ными и вернуться к мирной жизни, потому что в городе теперь такой справедливый начальник, командующий справедливым полком... Савкин прерывал мужиков. Савкин не любил лести, так как сам не умел льстить, хотя ему и казалось, что он многое потерял в своей жизни от этого неуменья.

В конце двора, под дощатым навесом, кони из холщовых торб ели овес. Воробьи шмыгали у них под ногами. Кони ели солидно, не торопясь, а торопливый шелест воробьиных крыльев донесся через затихшую толпу к столу председателя, когда Алешка Урнев начал свои показания. Его черная кольцеватая борода раздражала не только судей и публику, но и остальных подсудимых. Вспученный живот колыхался, а серенькие глазки смотрели в сторону.

— Чего они болтают...— начал он, хватаясь руками то за живот, то за бороду.— Ружья у меня нету. И никогда-то у меня ружья не бывало.

Ему подумалось: судят за то, что он шел с ружьем, потому что когда мужики услышали топот за колком, то один из них, самый трусливый, передал свое ружье Алешке. Алешке лестно было идти с ружьем. Он и взял.

— Сроду у меня ружья...— повторял он.— Кабы мне ружье... я бы непременно разрешение выхлопотал... будь бы у меня ружье, разве я бы такой тощий был? Я бы каждый день уток бил и щербу варил бы... Ей-богу. Я бы женился, кабы у меня ружье!

Затем ему подумалось, будто его судят за то, что он не женится. Как-то брат сказал ему, тоже шутя, как и в случае с бородой, что теперь скоро неженатых судить будут, потому что народу за войну перебили много и всем тайно приказано: рожать каждый год по ребенку. Из-за этого и междоусобица идет: одни хотят рожать, а другие говорят, что кормить нечем и раньше накормить всех надо, а затем уж и рожать.

— Ты мне невесту найди,— сказал Алешка, торопливо разглаживая бороду на две стороны.— Ты вот начальник. Вот и прикажи, чтоб за меня вышла. А то девки без приказания если и пойдут, то кормить меня не будут. Скажут: «Это ты врешь, какой ты больной?» А у меня все болит. Мне жениться самое время, ей-богу.

И публика, и председательствующий, и даже судимые мужики ухмыльнулись, понимая, что бандит

притворяется неумело, а главное — зря. Но понимали они также, что добиться правды от бандита нелегко.

— Самое время? — переспросил Савкин с тем, чтобы последней шуткой закончить опрос.— Мало остается тебе времени для женитьбы.

— А вот и мало, — обрадовался Алешка тому, что его наконец-то поняли и что вся эта неразбериха сейчас кончится и его отпустят, предварительно досыта накормив и дав выспаться.

— Садись,— сказал резко Савкин.— Суд удаляется на совещание.

Вернувшись, он громко прочел постановление суда, кивая головой во время чтения и этими кивками как бы выражая полное свое соболезнование подсудимым, но и в то же время полное преклонение перед законом, неумолимым и справедливым.

Суд приговорил бандита Алешку Урнева, он же Илья Урнев, к смертной казни через повешение, а пятерых его помощников, полностью раскаявшихся, к пяти годам тюремного заключения и к церковному покаянию. Пункт о покаянии внес врач Галанин, который хотя и не был религиозным человеком, но всегда считал религию очень полезной для общества и особенно для мужиков.

3

Федор Панфилович осмотрел мельницу, плотину, пригоны для скота, даже фундамент каменного дома, заросший сплошь крапивой и лопухом. У колеса плавали рыбки! Он закурил трубку. Сын Костя с почтительной самостоятельностью всюду ходил за отцом. Невестка ловкими и крепкими руками развешивала по веревкам подсиненное белье. Когда Федор Панфилович мельком взглянул на ее розовые, тоже слегка подсиненные руки, он щемяще подумал: вот ему бы такую бабу. Без зависти подумал, считая себя несравненно ловчее и опытнее сына, значит, более достойным награды. А что Костя? На что он способен? То отцу поддакивает, то жене... Но в общем все шло хорошо, исправно. Сам Федор Панфилович еще молод, сын помогает и слушается — и будет у них богатство и шесть мельниц на реке, а затем они еще такое придумают — весь округ охнет... На склоне слегка колыхались под-

солнухи. Казалось, бородатые их лица тоже радовались удачным начинаниям Федора Панфиловича.

Подошла Маша, невестка, стряхивая с рук синие капли воды.

— В городе-то бандиста вешают,— сказала она жалостливым голосом, но лицо ее и все ее движения указывали, что она не столько жалеет от сердца, сколько из желания показать мужу, который так же, как и отец, считал повешение бандита необходимым и важным делом, что она думает по-своему.

— Из одной деревни с ним разве? — полуязвительно, полушутя спросил невестку Федор Панфилович и тотчас же добавил: — Бандита непременно вешать надо. Только виселицу ни к чему строить. Поленом по голове — и весь разговор.

Они шли по меже вдоль подсолнухов. Невестка пригнула подсолнух, громадный, мощный, лицом в человеческий обхват, и сразу, забыв не только о повешении, но и о машине, посредством которой будут вешать бандита,— похвалила умную затею сеять подсолнухи. Федор Панфилович обрадовался этой похвале, хозяйственным мыслям невестки и тут же рассказал сыну о том деле, ради которого он сюда приехал. Он запродал подсолнухи и получил задаток. Деньги — известно — бумажки, а серебро есть серебро. Вот он и купил по случаю у приехавшего из голодных мест кое-что из серебра. Спрятать его, пока на мельнице посторонних людей нету.

Невестка и сын молчали, потупившись в землю. Они всегда молчали, когда Федор Панфилович говорил о хозяйстве, потому что при малейшем сопротивлении он багровел, резко и грубо ругался — да и к тому же он поступал всегда правильно. Вот и теперь. О чем тут спорить? Деньги действительно бумажки, а серебро действительно серебро. Кроме того, им было даже приятно молчать сейчас и соглашаться с ним. Сыну — потому, что отец признал хозяйственность за невесткой, найдя необходимым поделиться с ней своими замыслами и предположениями. Невестке — по тем же причинам, по которым приятно было Косте, и еще потому, что она правильно поступила, когда похвалила посев подсолнуха, хотя про себя она всегда думала, что лучше всего сеять пшеницу, а для баловства мак. Она любила цветы, и в горнице ее рос в кадке фикус. Правда, она похвали-

ла подсолнухи искренне: очень уж они велики и крупны уродились. Она уважала всякую крупную зелень и всякий крупный ум. Уважала она и Федора Панфиловича и мужа своего Костю уважала за то, что тот умом пошел в отца. «А на следующий год уговорю посеять маки», — подумала она с уважением о самой себе, и ей стало весело и легко.

Перед ними лежала равнина, пепельно-синяя, далекая. Снизу, из мелкого сосняка, качаясь, выходила на равнину дорога. Она разрезала равнину, как стальной нож разрезает булку хлеба. По обеим сторонам дороги, как везде в Расеи, колыхались колосья и звенели птички. А совсем далеко, словно облако, стояли горы, и пена фиолетово-золотистого дыма клубилась там. Они сразу поняли, что значит этот дым, и Федор Панфилович повернул обратно.

— Дома строить надо, а они — жгут. Али виселицы строят,— сказал он, широко шагая. И таким же широким и тяжелым шагом шли за ним его сын Костя и невестка его Маша.

Они плотно и не спеша пообедали, выпили чаю — чашек по десять,— и Федор Панфилович велел сыну принести лопату. Когда они закопали серебро и возвращались обратно, невестка опять какими-то невысказанными словами пожалела бандита и, главное, пожалела тех баб, которые живут в городе и должны видеть повешение.

— А ты не ходи, — сказал Федор Панфилович.

— Как же не пойдешь, если все идут! Это вы, Федор Панфилыч, умеете заняться хозяйством и не смотреть. Всякий другой непременно пойдет.

Федор Панфилович не понимал, смеется она над ним или говорит с уважением. «Ой, завладеет Костькой баба,— подумал он,— непременно завладеет». Он опять подумал не без удовольствия: в общем, хорошо, что старуха умерла и он вновь не женился. Обман вся эта бабья плотность! С виду как будто держишь в руках, а вглядишься — пустота. Вот чего ради баба охаяла город: в городе, дескать, как не пойдешь, если все идут. В городе ей жить не хочется, что ли? Хочется. Охаяла потому, что вы, дураки, живете в городе и получаете бумажки, а мы на мельнице, а получаем серебро.

«Ой и жадна ж ты, баба!» — продолжал думать Федор Панфилович, смотря, как невестка быстро и ловко

запрягла ему коня, лихо открыла ворота, ловко саданула ногой прыгающих у морды коня собак. Федор Панфилович оглянулся. Она шла к дому. Ее крепкая и розовая шея была покрыта крупными каплями пота. Федор Панфилович вспомнил ее голос, когда пересыпали опилками серебро и она взяла в руки чернильницу. «Тяжела»,— сказала она, и ему показалось, что голос ее дрогнул, как никогда не дрожал.

Затем он подумал, что ему надо много и неустанно работать, наживать добро для того, чтобы крепко держать в необходимом для него спокойствии тех людей, которые стоят вокруг него и будут стоять. «Построим шесть мельниц,— подумал он,— построим. А там держитесь!»

4

Была глубокая ночь, и в небе высоко стояла луна, когда мельник, Федор Панфилович Пронышко, подъезжал к лесочку, за которым начинался городской базар. Мельник крепко сидел в таратайке, опустив одну ногу к земле. Серебристая пыль, как мерлушковый мех, стлалась возле колес. Конь, каурый, тощий, но сильный, так же, как его хозяин, знал свою дорогу и знал, как по ней идти. Спина коня, острая, костлявая, чем-то напоминала рыбу. А рыбы в воде прозрачны, словно алебастр. И про алебастр вспомнил Федор Панфилович. Давно, когда он облюбовал место для мельницы, нашел он в овраге, возле которого теперь растут его подсолнухи, несколько глыб алебастра. Придет время, и алебастрик-то поможет ему выстроить шесть мельниц. И камни раскрывают свою душу для умного человека.

Мельник взмахнул кнутом. Конь недовольно вильнул задом: почему он должен скакать галопом через лесок? Чем этот лесок опаснее поля и шоссе? И мельник подумал, что конь прав. Федору ли Панфиловичу трусить перед мертвецами, да и к тому же бандита, наверное, давно закопали, а если не закопали, то у виселицы стоит часовой, и не один небось, а несколько. Военные люди, а как хозяйничают! Плохо хозяйничают, как будто война не самое тяжелое дело на свете. Виселицу, видите ли, построили! Ломом его по шее — и весь разговор.

Мельник раскурил трубку и, чтобы самому себе показать, что он не боится мертвецов, остановил коня, не спеша уложил в пиджак табак и спички. Мысли о бандите мешали его мыслям об алебастре и мельницах. Алебастр привозят в губернский город за восемьсот верст, а он будет его привозить за шестьдесят. Вот как только кончится война, начнут строиться, — десять мельниц он построит, а не шесть. А тут какой-то бандит...

Колеса крутились тихо, беспыльно, и конь ступал тихо, беспыльно. Вокруг сосен столпился теплый воздух, и теплота его явно видна была под луной. В шагах трех от сосны стояли другие, но уже холодные воздушные столбы, голубовато-молочные, а среди них мелькали еле уловимые глазом влажные вихри. Если сверху падала иголка хвои, то она падала по спирали, как бы с одной световой ступеньки на другую. Лунный свет бился вокруг исчерна-малахитовых сосновых теней, а тени тревожно метались по дороге, и весь лесок от этого был наполнен тревогой.

Тележка отлично смазана. Удары копыт сухо отдавались в лесочке. Мельник был доволен. Уже видны крыши базарных балаганов. Лесок кончался. И тут-то он и услышал стон. Вернее, он не услышал, а вначале конь повел ухом в сторону полянки, на которой стояла виселица. Конь повел ухом и отвернулся, не придавая стону значения. И опять-таки, дабы не упрекать самого себя в трусости, Федор Панфилович остановил коня. Стон, сопровождаемый хрипом, повторился. Мельник, свесив обе ноги и выколачивая трубку о передок, смотрел на полянку.

На полянке стояла виселица, очень основательно сколоченная из пятивершковых бревен. На перекладине, совсем как в песне, висел разбойник. Ни часовых, ни людей, ни даже бродячей собачонки. Какое дело мельнику, кто там стонет: разбойник ли, часовой ли, уведя вдову в кусты! Мельник идет твердо к своим мельницам. Все знают, что он недобр, и ему самому лучше всех известно, что он недобр, а кроме того, бандитов, конечно, надо вешать.

— А вешать надо умеючи,— сказал мельник вслух и вдруг очень рассердился на командира полка Савкина.

Мельнику хотелось спать, а выспавшись, он пожелает действовать, он готов сопротивляться любому на-

пору, но ему тяжело томиться в неизвестности. Он если делает свое дело, так делает хорошо, а тут...

Мельник повернул коня и вплотную подъехал к виселице, так что край его тележки находился против босых ног повешенного бандита. Под колесами шуршали щепки, и мельник подумал: «Вот, даже щепок не могли отмести. Хозяева!» От щеп несло смолой, и луна стояла как раз напротив перекладины.

Теперь было ясно, что хрипел повешенный. Свежая веревка была натянута, как струна. От лунного света его дрянные подштанники и холщовая короткая рубаха сияли необычайно бело. Ступни его ног чуть-чуть шевелились, а оба больших пальца судорожно вздрагивали. Мельник вскочил в тележку и, упершись руками в бока, смотрел на повешенного. Голова Федора Панфиловича доставала теперь до пояса Алешки Урнева.

«Вот ведь тоже работнички,— думал мельник с озлоблением,— выстроили! Будто тысячу человек собираются вешать, а одного по-настоящему повесить не сумели. За ноги дергать нужно, за ноги, если уж вешаешь».

И он смотрел на эти чуть вздрагивающие ноги. Веревка, по всей видимости закинутая неумелыми и торопливыми руками, попала на загривок, а кроме того, под веревку попала и борода, так что Алешка Урнев упирался теперь подбородком в веревку, и было такое впечатление от лунного света, что у бандита две бороды. Рот у Алешки был крепко закрыт, и хрип шел через нос.

«Убивать бандитов надо,— продолжал свои мысли Федор Панфилович,— так ты убивай умеючи, а если не умеешь, так и не берись. Шило и то дурак не наточит, а непременно себе палец поранит. Или велико дело засыпать пшеницу, а сколько раз я Костю мордой тыкал, пока не научил».

И сейчас он понял, что надо ему поучить немного людишек, даже в таком стороннем ему деле, как повешенье бандита. Особенно его возмутило то, что с поляны исчезла стража. Во время войны, думал он, самое важное уметь охранять. По всему было видно, что народ только что разошелся — и глупые караульные побежали за народом. Юбчонку какую-нибудь приподнятую учуяли. Вот и Костя, когда за Машкой бегал, так зерно забывал засыпать. Подвести и ткнуть мордой

в такое безобразие! Какая народу наука от подобного повешения? Один соблазн. Всякий скажет, и полное его право сказать: «Если вы бандита не способны повесить, то как же вы предполагаете управлять нами. А еще офицеры. А еще гласные городской думы!»

Строгий был человек этот мельник, строгий и упрямый. Лучше его не сердить! А если рассердится, так сам на свою сердитость любуется, не остановишь его.

Федор Панфилович достал было трубку, но сунул ее обратно и, сказав коню: «Ну ты, стой!» — хотя конь и без того стоял смирно,— уперся грудью в Алешкин живот, руками подхватил под мышки и, приподняв, вынул Алешку из петли. Приподнять легко, но едва он освободил его из петли, как Алешка огрузнел и раскис, так что мельник едва не упал с ним. Все-таки он смог его положить на плечо и, держась рукой за тележку, скрипящую и шатающуюся, перетащил на землю.

Вначале Алешка лежал, неподвижно вытянувшись, даже ноги его перестали шевелиться, а затем он застонал, его вытошнило, и он стал сильно дрожать и биться коленками. Живот его вздуло еще сильней. Мельнику противно было смотреть. Он перешел на другую сторону тележки и, достав трубку, закурил.

Он досадовал на свою горячность и постоянное стремление к отпору. Ясно, что большого вреда поступок его ему не принесет, но все-таки получается некоторая чепуха.

Если теперь мельник направится жаловаться на плохих работников, не сумевших повесить бандита, то в это время бандит, очухавшись, просто-напросто удерет. А кто поручится, что в кустах не сидит с девкой часовой или просто спит или не спит, а все видит, но не желает почему-то выходить? И кому же неизвестен в городе конь мельника Пронышко и сам мельник Пронышко? Кроме того, снятие с петли — само по себе незаконное дело, и бандит есть бандит, и его надо доставить к Савкину.

Алешка Урнев исходил в испарине, был скользок и мокр. Мельник с большим трудом положил его в таратайку, а сам сел на облучок. Ему было противно сидеть рядом с бандитом. Но когда мельник проезжал через базар, он все-таки пересел в таратайку, и сделал это он вот почему. Ему подумалось: нелепо сейчас появиться перед Савкиным, будить его и, главное, не на-

рочно ли повешен бандит с таким расчетом, чтобы подольше мучился?

И чем дальше обдумывал свой поступок Федор Панфилович, тем ему становилось ясней, что люди не поймут его, а скорей всего подумают, что мельник заодно с бандитами, вынул Алешку по их наущению, но почему-то не мог зашуровать свое предприятие, а привез бандита обратно. Он посмотрел на Алешку со злобой.

Алешка лежал навзничь на сене, упершись пятками в облучок. Глаза его, очень равнодушные и спокойные, были раскрыты. Даже тогда, когда ему накидывали на шею петлю и поп давал целовать крест, Алешка не верил, что его повесят, а полагал, что это опять баловство его брата Ильи, а главное, что его, Алешку, после всего этого необыкновенно плотно накормят. Мельник махнул на него рукой:

— Лежи, если лег.

И Алешка закрыл глаза. «Накормят, — подумал он,— теперь-то непременно накормят».

Городок лежал в том тусклом и в то же время необычайно тревожном лунном свете, в каком пробегал перед мельником сосновый лесок. Палисадники обвевала тускло-золотистая пыль.

Баба-стряпуха открыла ворота. Она зевала и ничего не видела. Развевая длинную белую рубаху и мелко шагая жилистыми ногами, она равнодушно вернулась досыпать, едва хозяин сказал ей, что сам распряжет коня, едва ли не так же равнодушно, как она способна была сама распрячь или же лечь спать с хозяином. Алешка, тоже зевая, слез с тележки. Мельник резко сказал ему:

— Чего уставился? Отведи коня.

— Шея болит,— хрипло сказал Алешка.

Мельник достал из колодца ведро, велел Алешке наклониться и вылил ему на голову воду. Алешка как стоял, согнувшись и держась руками за живот, так и остался, пока мельник не распряг коня. Вода стекала у Алешки по бороде сверкающими синими каплями.

— Прошло, что ли?

— Вроде прошло.

— Ну, чего гнешься? Прямись.

Алешка выпрямился.

— Вот сапоги сняли, дьяволы. Я говорю: зачем сни-

маете? А они: на том свете и без сапог весело. С братом, говорят, встретишься, потому ты сам себе Илья, значит, пророк и сапоги добудешь.

Алешка сказал это вяло, не со зла, а просто ему было лень думать, что откуда-то теперь надо доставать сапоги, поэтому-то он и жаловался на то, что отняли сапоги. Ну, сапоги пропали, туда-сюда, и босиком не беда, а вот как без штанов, если подштанники рваные. Он вспомнил, с каким трудом он достал те штаны, которые отняли у него солдаты. Пришлось проработать попу весь покос, да и то поп не желал давать штаны и, только услышав, что брат его Илья орудует где-то неподалеку, отдал Алешке штаны. Штаны были хорошие, суконные, без единой заплатки и с двумя глубокими карманами, в каждый из которых входило по два голубя. Алешка любил гонять голубей.

Мельник повел Алешку за собой. Они прошли мимо кухни. Оттуда доносился уже храп стряпухи. Вдоль стен стояли лавки, а посредине — высокая кровать с никелированными шишками по углам и громадными подушками. Один ставень полуоткрыт, мельник всегда оставлял его так, чтобы не проспать. Мельник взял подушку, решив лечь на лавке, ему противно было ложиться в кровать при бандите. Федор Панфилович лег на лавку, которая была поближе к дверям, возле печки, указал Алешке противоположную лавку. Алешка зевал и чесался.

Алешке нестерпимо хотелось спать, но еще более нестерпимо хотелось есть. А богатая обстановка, окружавшая его, и особенно металлическая кровать с круглыми, пожалуй, серебряными шишками ослепила его. В углу он увидел божницу и богов в серебряных ризах. В другом углу — граммофон с неимоверно широкой трубой. А на полу лежала дорожка. Как тут попросишь каши? Простой гречневой каши и кусок хлеба, фунта в два, а лучше в три. И каши горшок такой, чтоб не поднять. Лицо у мельника было злое, и Алешка лег на спину, подложив под голову кулаки.

— Слушай... ты... бандит...— сказал вдруг, садясь на лавку, мельник.

«Накормят,— поспешно подумал Алешка,— непременно накормят».

— Жалко... мне... тебя... стало... Вот и вынул! А вот, через час-другой, луна... скроется... так ты... того... уби-

райся! Я б тебя и сейчас выпустил, да светло. Скажут, от мельника бандиты выходят! А ты из города подальше подайся, тогда здесь, глядишь, и подумают, что бандиты тебя унесли хоронить, вроде Иисуса Христа сняли тебя с виселицы, как его с креста снимали. Дам я тебе штаны, верхнюю рубаху, ну и сапоги, черт с тобой. Пожалел я тебя, пойми. Дам я тебе даже три рубля денег. На дорогу хватит... Ты только обо мне молчи. Понял, что ли?

— Понял, дяденька,— тонюсеньким и растерянным голоском отозвался Алешка, поверив в мельникову жалость и особенно испугавшись сравнения с Христом. Он даже подумал: не поп ли мельник? И он посмотрел на его волосы. Он вспомнил, что поп, который не отдавал ему штаны, часто ходил без рясы, в длинных сапогах и в пиджаке. Впрочем, мысли эти быстро исчезли. Ему очень хотелось есть. Особенно каши.

Он принял штаны, натянул сапоги, которые только три дня назад подбил мельнику сапожник. Сапожник, конопатый франт, по праздникам даже надевавший котелок, обманул мельника на рубль. В результате разговоров с сапожником вышла крупная ссора, и мельник обозвал его шпаной. А вот теперь приходится отдавать сапоги, иначе как этого черта спровадишь: он так зевает, что суток на пять завалится спать.

— Пожалел я тебя, понял? Через два часа уйдешь. А пока подремли. Я разбужу.

Алешке очень хотелось сказать: «А ты пожрать бы дал», — но голос у мельника был такой злой и он с такой силой кинул ему сапоги, что Алешка опять пропищал не своим голосом:

— Да я и то сосну, дяденька.

5

Однако ни мельник, ни Алешка не смогли заснуть. Мельник считал свой поступок справедливым и верным, но все люди, окружавшие его, творили такое количество глупостей, что даже самый прекрасный, справедливый поступок превращался тоже в глупость. Обидно было ему и то, что он сказал бандиту, будто жалеет его, в то время как он чувствовал к нему не жалость, а все увеличивающуюся злобу. Бандит притво-

ряется дураком, ворочается, не спит, а кто его знает, что он замышляет?

Алешка Урнев продолжал думать о пище. Громадный сизый горшок с кашей, покрытый черной коркой, с плавающими поверх кусочками масла. Эх!..

Алешка начал обижаться. Обиделся он вдруг и на мужиков, которые сидели вместе с ним в бане. Мужики, узнав, что его ведут вешать, начали горевать о нем; один рыжеусый даже прослезился и, утирая слезы, попросил у Алешки «на память» серебряный крестик. «А то ведь все равно отымут», — сказал он жалостливо. А на самом-то деле, думал теперь Алешка, мужики радовались его гибели, поняв, что их-то вешать не будут.

Рыжеусый, получив крест, дал Алешке краюху хлеба, и Алешка вышел к конвою, жуя краюху, и старший конвоир сказал с уважением: «Вот это бандист так бандист».

Обижали Алешку и тесные сапоги, подаренные ему мельником. Те сапоги, которые отняли у него солдаты, были куда свободнее и легче. А больше всего было обидно, что никак он не мог заснуть и, главное, выкинуть из головы мысль о каше.

Все, о чем ни пытался подумать, как-то очень убедительно мешалось с кашей. Вот дал ему мельник деньги. Ловкий мельник, складный. Ловко наклонившись, с широкими плечами, узким задом и с русыми, слегка вьющимися на шее волосами, рылся он в сундуке, доставая Алешке деньги. Ночь светлая, и затылок у мельника светлый-пресветлый, и словно ветерок бежит по русым волосам. А сколько каши можно купить на эти данные мельником деньги? «Мало,— думал Алешка,— мало я куплю каши. И чего ему жалеть? Раз тебе поручили, ты не жалей». Алешка не знал и не хотел знать, кто и зачем поручил мельнику вынуть Алешку из петли, но что поручили его вынуть и даже дать денег, в этом для него теперь не было сомнения. И чем Алешка больше чувствовал себя проголодавшимся, тем ему несправедливее казался мельник. Алешка претерпел все, что ему было приказано, исправно, а теперь за претерпленные страдания он желал получить настоящее и стоящее вознаграждение: сон досыта, еду досыта.

Ему хочется есть! А для того чтоб вволю поесть, ему надо много и много денег. А мельник скрыл те

деньги, которые он обязан был выдать целиком Алешке. А в сундуке небось денег-то уйма! Свет луны густел, становясь молочно-оловянным. От крышки сундука он вползал на потолок, а щепа, которой мельник подпирал крышку сундука, чтобы она не стукнула его по шее, щепа из тех, что много лежало возле печки, рядом с несколькими березовыми поленьями, щепа, лежащая на сундуке, отражалась на белом потолке очертаньями черного петуха. Петух этот толстел, густел, луна, видимо, склонялась, пора бы и уходить. И тут в комнате явственно запахло кашей. Алешка знал, что никакой каши нет, что запах каши чудится ему, а все-таки привстал на локте.

Раньше он никогда не интересовался деньгами, да и сейчас думал о них вяло и неумело, но ему казалось, что как только он возьмет в руки деньги, так немедленно же и будет сыт, немедленно же получит свою кашу. Он с опаской посмотрел на сундук, который казался ему еще шире и богаче, чем раньше. И ключ торчит в сундуке словно нарочно. И мельник спит.

Лучше и легче, казалось ему, подойти к печке, отодвинуть заслонку и вдоволь наесться каши. Не может же быть, чтобы запах мерещился ему? А вдруг загремишь заслонкой? Ведь печка-то чужая, кабы дома. А что она загремит, так это наверняка. Сколько он раз пытался потихоньку достать дома из печки горшок с кашей, и постоянно гремела заслонка, и постоянно просыпалась мать, постоянно его била, даже взрослого. Хотя Алешка всегда считал себя ловким и оборотистым, но вот с кашей всегда получался грохот.

Он сел, почесал спину, зевнул. Сапоги сильно жали ноги, особенно левую и особенно левый большой палец. «Али уйти с этими деньгами, которые получил?» — нерешительно подумал Алешка.

— Дядь, а дядь,— сказал он пискливым шепотом.

Мельник лежал неподвижно. «Наелся и спит. Небось каши-то три горшка съел. Да штей еще...»

Но мельник не спал. Раньше, до Алешкиного возгласа, он так же, как и спасенный им бандит, смотрел на лунное сияние, на тень щепы, ползущую по потолку, а когда Алешка приподнялся на локте, он решил притвориться спящим, посмотреть, что задумал бандит. Он почти закрыл глаза, и Алешка виден был ему теперь сквозь серую прыгающую сетку. И вспомнилось

ему, что, когда он полез в сундук за деньгами, Алешка, натягивавший за его спиной тесные сапоги, пыхтя и сопя, вдруг, когда мельник взял в руки деньги,— затих. Тишина эта и тогда мельнику показалась подозрительной, он поспешно захлопнул сундук и даже от растерянности забыл вынуть ключ, но так как все свои поступки он считал правильными, то этот поступок с ключом он постарался забыть, а вот теперь, кто знает, не ключ ли тому виной, что Алешка приподнялся на локте и сказал: «Дядь, а дядь?..»

Прикрикнуть бы сейчас на этого бандита, чтобы не мешал думать, но то ли от презрения — от человека всегда жди пакости! — то ли он поопасался, что, совершив одну оплошность с ключом, он, крикнув сейчас на Алешку, совершит вторую, — как бы то ни было, мельник продолжал лежать с полузакрытыми глазами. И в серой сетке, танцующей и теплой, плыл перед ним Алешка.

«Если встать и сказать, что пора идти,— продолжал думать мельник, — так рано». Надо еще обождать не меньше часу, когда заснет весь город, вплоть до собак и кошек. Он хорошо знал этот час непробудного сна, час, чем-то напоминавший ему детство. Он обычно в этот час отправлялся к стряпухе, толкал ее кулаком в бок, она вставала грудью вперед, вытирала рукавом рот и непременно спрашивала: «А день-то сегодня не постный?»

Алешка по-прежнему сидел, почесываясь и сплевывая. Затем он еще раз окликнул мельника, и мельник не отозвался. Тогда Алешка встал и нерешительно шагнул к дверям. «Ну и сыпь», — подумал мельник. Он решил не останавливать бандита и не провожать. «Заарестуют, так пусть».

Но Алешка остановился в дверях. Пошевелил скобой. Вернулся. Сел. Вяло вздохнул. Живот почесал. Затем несколько минут рассматривал живот свой, вздувшийся и острый, справа и слева.

И вдруг Алешка уверенно и быстро шагнул к сундуку.

Скрипнула половица.

Алешка остановился.

И в сердце у мельника тоже что-то скрипнуло и засосало. И это скрипение и тягота перекинулись в голову и бесчисленное количество раз зажужжали в голове: «Вот тебе и на!.. вот тебе и на!»

Алешка повернул голову. Но не к мельнику, а к печке. Его черная и громадная, вся в завитках борода была какой-то особенно черной, какой-то пустой. И мельнику стало жалко: зачем он вместе с сапогами дал Алешке еще и сатинетовую рубаху. На этом выцветшем голубом сатине особенно громадной кажется бандитская борода. И случаются же такие бороды! Но где-то, позади этих мыслей о бороде и сатинетовой рубахе, стучало: «Вот тебе и на!.. вот тебе и на!..»

Алешка присел у сундука. Щелкнул ключом. Крышка поднялась. Алешка подпер ее щепой. Он уже совсем не обращал внимания на хозяина: шумно открыл крышку, шумно сопел, стучал каблуками, словно сознавал свою силу и страх, внушаемый им.

А на самом-то деле Алешке казалось, что он действует чрезвычайно неслышно, осторожно, так, как не действует ни один вор в мире. Да он себя и вором не считал. Он просто желал взять то, что ему не доплатил хозяин. И взять он тоже хотел немного, рублей десять, пятнадцать. Но ему попадали под руку только какие-то длинные и узкие тряпки. «Все небось шелка»,— подумал он. Ему даже показалось обидным, что вот первый раз в жизни встречается с шелками, а не может их разглядеть — да что разглядеть, пощупать по-настоящему не удается. Он быстрей и быстрей двигал руками, но бумажника с деньгами так и не попадалось. Ему стало скучно.

Попался поминальник, его Алешка узнал по металлическим углам переплета и бархатной обложке; затем попался большой металлический крест. А денег так и не было. Э, плюнуть, захлопнуть сундук и лучше поискать в печке каши. К тому же и ноги затекли, и начало покалывать в икрах, и еще подумалось: «Где же и кто же ночью продаст ему каши?» — «Нет, — ответил он сам себе, — за большие деньги непременно продадут».

И как только он опять подумал об этой каше, ему захотелось лечь прямо в сундук, в эти шелка, и заснуть там надолго-надолго. Он даже испугался и поспешно захлопнул сундук, вырвав щепу, поддерживающую крышку. Он махнул этой щепой, чтобы отбросить ее в сторону, и вдруг щепа раскололась у него в руках на бесчисленные искры, впереди сверкнул ослепительный и страшно знакомый свет, и Алешка почувствовал себя необычайно сыто и покойно.

Мельник положил полено к остальным березовым поленьям и наклонился над упавшим Алешкой. Федор Панфилович метил в то место, где голова соединяется с шеей, он опасался, что если ударить в голову, то брызнет кровь, надо мыть, скоблить, стряпуха хотя и не болтлива, но кто ее знает до конца? — и верно попал в то место, куда метил. Парень не дышал. Мельник пощупал его сердце. Оно остановилось. Мельник был очень спокоен. Это спокойствие пришло к нему, как только он ударил поленом Алешку. «Ну, вот тебе и на! — последний раз повторил он и больше не повторял этой фразы, добавил: — Жалеют вас, а вы воруете».

Как ни посмотри, а он поступил правильно. Спас жизнь человеку, отпустил, а вместо благодарности человек лезет к нему в сундук. А попробуй окрикни его,— ножом бы хватил, а если не ножом, то руками бы задушил. Экие вон они, ручищи-то, раскинулись, неблагодарные. Экий острый животище, неблагодарный. Хорошо, хоть полено под руки попало.

Мельник подошел к окну. Наступал тот час, когда Алешке следовало бы уходить. В горле у Алешки что-то клекнуло и стихло. Федор Панфилович еще раз пощупал его сердце и голову. Сердце не билось, а кровь из головы не шла. Все в порядке. «Вот и шел бы ты теперь, дурак, полем...— подумал мельник, не без сожаления посматривая на труп.— А теперь вот лежишь, и никакого от тебя толку».

Он степенно и не торопясь надел брезентовое пальто и синюю праздничную фуражку, посмотрелся в зеркало, но ничего не разглядел, так как луна почти совсем скрылась. Закапывать труп негде, да и когда теперь успеть вырыть яму?

Он быстро вывел коня. Конь фыркал, задирал голову и с неохотой, боком входил в оглобли: стряпуху Федор Панфилович решил не будить. Сам открыл ворота. Подвел тележку к крыльцу, с трудом впихнул труп в тележку. Все время почему-то под руки попадала громадная, черная борода. Он с силой хлестнул коня. Конь удивился, даже попятился от удивления: его никогда так не били, к его труду всегда относились с уважением. Федор Панфилович хлестнул второй раз. Конь рванул.

Было совсем темно, свежо. Пала роса. Полянка, где стояла виселица, была вся покрыта как бы сивой

мерлушкой. Федор Панфилович быстро и ловко подпятил таратайку под виселицу. Конь фыркал, даже пытался тронуться, но Федор Панфилович так прикрикнул на него, что конь замер в совершенной неподвижности и так стоял все время, пока мельник поднимал труп и накидывал петлю на шею.

Влажная от росы веревка выскальзывала из рук, голова Алешкина моталась из стороны в сторону — куда ловчей было снимать. Но все-таки Федор Панфилович изловчился, откинул несколько в сторону петлю, и, когда она летела обратно, он и вставил Алешкину голову бородой поверх веревки. Труп солидно вытянул руки по швам, качнулся и поплыл от дрожек, а с перекладины виселицы посыпалась роса, и несколько капель упало на лоб Федора Панфиловича. «Это верно,— подумал он,—надо умыться». Он не то что полюбовался на труп, качавшийся возле дрожек, но все-таки был доволен и когда трогал коня, то напоследок дернул труп за ноги, вниз. «Вот тебе и на! — сказал он себе, поплотнее усаживаясь в таратайку. — Неблагодарный ты дурак. Жалеть тебя не стоит».

Городок спал по-прежнему. Федор Панфилович не спеша закрыл ворота, не спеша распряг коня, подсыпал ему овса, вымыл у колодца холодной голубой водой руки, голову и грудь. Он был доволен собой и бодр. Он, ухмыляясь своей отличной выдумке, улегся в постель с никелевыми шишечками, потянулся и, не успев договорить про себя: «Вот так надо вам вешать...» — мгновенно, твердо и настойчиво, как он все делал в жизни, заснул. Снов ему не снилось.

6

День праздничный, базарный, и слухов оттого в городке — как и следовало ожидать — появилась тьма. Подвод съехалось много, приехали и перекупщики из губернского города, а перекупщики самые что ни на есть сплетники из всех сплетников, но даже и они не поверили тому, что принесли мальчишки. А принесли они совсем странный рассказ: повешен был вчера бандист Алешка, он же Илюшка Урнев, и повешен был в одном нижнем белье без сапог, — это все ясно помнили, и из-за этого конфуза многие порядочные женщины, как им ни желалось, не смогли присутствовать

при повешении,— а сейчас этот бандист висит в сапогах, в штанах и голубой сатинетовой рубахе.

Крайнее любопытство овладело городком. Многие устремились на полянку.

Савкин всегда вставал рано, всегда окатывался холодной водой, хотя и страдал от этих окатываний часто насморком, но придерживался он этого решения, надеясь согласно книгам получить от этого бодрость и жизнерадостность. Пришел врач Галанин, смущенный происшествием, однако надеющийся, что оборотистый Савкин найдет в этом нечто полезное для командования полка и для солдат. Но растерянные глаза и побледневшее лицо Савкина вдруг указали ему, что Савкин не способен рассуждать и разбираться в происходящем. Савкин способен исполнить приказание, да и то не всякое. Галанину хотелось сказать Савкину, что настроение солдат тревожное, что солдаты болтают о мужиках, будто бы те потому приехали на многих подводах, что собираются устроить внезапное нападение на город. А к городку еще идут воза. Савкин тер спину мокрым полотенцем, мычал, глаза его делались все тревожней и тревожней, и Галанин все больше и больше понимал, что напутал он в своем определении Савкина, что погибнуть ему...

— Что же намерены предпринять, Григорий Осипович,— спросил он, кашлянув, все еще не решаясь высказать вслух свои мысли,— в смысле бандита Урнева?

— Предпримем,— сказал Савкин, свертывая полотенце,— вы считаете, мужики одели бандита?

— Что же вы думаете предпринять?

— Предпримем,— ответил Савкин, уходя в дом.

Галанин шел за ним, переспрашивал, и это не раздражало Савкина. Он полагал, что у Галанина есть свой замысел, но он его почему-то желает сказать последним. Иначе чем же объяснить его резкий разговор: резкий не словами, а голосом, и каким-то неуловимым покашливанием, каким-то нарастающим отупением.

— Зачем же вешали в белье?

— Я не отдавал приказания.

— Кто же отдал?

— Кто знает,— ответил растерянно Савкин.— Бог один.

Приказание это отдал командир той роты, которой поручено было повесить бандита, подпрапорщик Гера-

симов. Герасимов был мечтательный и юный парень, влюбленный в дочь хозяйки дома, где поселили его. Ему было стыдно сознавать, что он исполняет обязанности палача, но не мог же он отказаться: служба, к тому же он доброволец, он и приказал повесить бандита в нижнем белье, правильно рассчитывая, что стыдливые девушки не придут, а значит, не придет и его любовь. Она и не пришла.

— Обследовать! — воскликнул Савкин. Всегда раньше, когда он восклицал эти слова, сложная обстановка становилась понятной, но сейчас такого ощущения не было. Он совсем расстроился, не стал пить чаю и велел оседлать коня.

Подпрапорщик Герасимов, кляня себя за ошибку, растерянно стоял перед виселицей. Его любовь была в первых рядах толпы и явно гордилась тем, что жених ее герой.

Дело в том, что этой ночью Герасимов сделал ей предложение стать его женой. Она согласилась и уважала его за то, что он не пытался уговорить ее сделать одолжение в том, в чем просят женщин сделать одолжение все военные, женящиеся в походном порядке. За это хорошее отношение к ее нетронутости она и палачество его рассматривала как геройство.

Два солдата с саблями наголо стояли по обеим сторонам трупа. Настороженно и молчаливо смотрела толпа.

Савкин остановил коня позади толпы. Он растерянно смотрел на вытянутое лицо покойника, и как ему всегда думалось при виде черной окладистой бороды, так и теперь он подумал, что вот хорошо бы иметь такую бороду раньше, когда на бороды еще была мода. Затем он подумал, что для устрашения покойник повисел достаточно, что пора и закопать. Вот соберется побольше мужиков, и тогда нужно произнести речь, а по ходу речи выплывет что-нибудь такое, объясняющее причины, по которым бандит оказался одетым... Но он никогда не произносил речей, а из всех людей, которых он уважал и которым он подражал, тоже никто не произносил речей. Он смущенно похлопал коня по шее. Толпа, думая, что он хочет подъехать поближе, расступилась. Он не знал, подъезжать ли ему к виселице или говорить отсюда.

Выручил его сапожник, тот конопатый щеголь с мясистым носом, который по празникам надевал

котелок. Он и теперь был в котелке. Сапожник, только и дожидавшийся начальства, поднял котелок над гладко приглаженной, с прямым пробором, головой и крикнул:

— Ваше превосходительство! Братцы! Так это же сапоги мельника. Я ему их третьего дня подбивал.

И точно. Все сразу узнали тогда сапоги мельника, и штаны мельника, и голубую рубаху мельника.

А солнце поднялось уже высоко.

Деревья пылились от многих проходивших мимо возов.

Вели мельника к виселице. У него было решительное и настойчивое лицо. И все-таки, когда он рассказывал, по каким причинам он снял бандита, он соврал, сказав, что снял не потому, что плохо повесили, а оттого, что пожалел его.

— Все мы христиане,— добавил он не без удовольствия,— и всем нам сказано господом: не убий.

Врач Галанин попросил разрешения снять труп. Савкин растерянно кивнул головой. Галанин ощупал труп и сказал:

— Все данные, господин мельник, указывают на то, что преступник умер не от удара поленом, а от последовавшего затем удушения.

— Невозможно этому быть,— сказал Пронышко.— Я же у него сердце щупал после полена.

— Почему же невозможно? В обмороке он был от вашего полена. Сюда вы его привезли в обмороке. Понятно?

— Невозможно этому быть,— опять сказал Пронышко.

Галанин обернулся к Савкину. Тот развел руками.

— Зачем же тебе было его одевать?

Федор Панфилович повторил свой рассказ. И понял он, что ни толпа, ни офицеры, ни врач, ни даже враг его, сапожник, не верят ему и не понимают его. Не могут они понять и никогда не поймут: как так, если ты убежден, что бандитов надо вешать, как же способен ты вынуть бандита из петли? Костя, сын, поверил бы разве? Да нет, и сын не поверит. Невестка, крепкорукая Маша? Нет, и она не поверит. Никто никогда не поверит Пронышко! И все-таки он повторил свой рассказ от начала до конца. И опять Савкин спросил:

— Но зачем же тебе его было одевать?

Беспомощно и нелепо, выпятив живот и черную бороду в кольцах, стараясь оправдать видом своим бандитское звание, качался на веревке Алешка Урнев.

Базар был плотно забит возами. Съехались туда разные мужики, и не столько торговать, сколько узнать, что же такое происходит в городке, почему дым за горами.

Безостановочное прибытие крестьян беспокоило солдат. Беспокойство это скоро превратилось в шум. Несколько солдат, наиболее сознательных, из тех, что держали связь с красными, не дожидаясь конца шума, прошли к тюрьме, где были заперты бандиты, приговоренные к пятилетнему заключению, и, прогнав караул, выпустили всех заключенных.

Тюрьма хлынула на базар, на базаре решили, что ворвались красные. Мужики, которых судили вместе с Алешкой Урневым, чувствовали себя героями, они требовали водки, им поднесли по стакану.

Тем временем подле весов сочувствующие красным сооружали помост из бочек. Уже кто-то тащил багровое знамя. Возле пулемета с телеги уже распоряжался большевик, подпольно работавший в городке. Толпа мужиков и солдат, рабочие с лесопилки и из типографии побежали ловить офицеров.

Савкин по-прежнему стоял возле мельника, держа в руке повод узды, и по-прежнему спрашивал:

— Зачем же ты его одел?

Мельник повторял рассказ.

Толпа хлынула от виселицы. С головы сапожника упал котелок, его немедленно растоптали. Толпа, подняв кверху руки, бежала навстречу солдатам, крича:

— Здесь они. Здесь!

— Кто?

— Офицера! Всех ловите. Вот они, которые вешают.

Врач Галанин вырвал у Савкина повод, вскочил на коня и поскакал в лес. Рыжеусый мужик ударил прикладом в затылок Савкина, а затем, когда тот упал, приткнул его штыком к земле. Вытер о голенище штык, качнул Алешку и сказал:

— Зря ты погиб, Алешка! — И повернулся к мельнику: — Здравствуй, Федор Панфилыч.

Рыжеусый желал сам слышать от мельника истину. И рыжеусый сказал, поглаживая кончиком штыка усы:

— Ну, рассказывай-ка, дядя.

Но и рыжеусый и другие слушавшие так и не поняли, в чем тут дело, и не поверили мельнику. Мельника в числе других представителей и заложников буржуазии посадили на подводу и повезли навстречу далеким дымам.

Опять дорога шла через лесок. Виселицу уже убрали. Алешку похоронили. Опять мельник увидел шоссе, колки, луга. Все это было такое же, как и раньше, но Федор Панфилович был совсем другой, рыхлый, вялый.

Он сидел в телеге, свесив ноги, и вымазанные в дегте травы касались его подметок. Полк обгонял подводы, возвращавшиеся с базара. Кое-кто с подвод кричал «ура», кое-кто провожал испуганными глазами.

Подводы встретили мельницу. Горы подымались вдали. Горы синие, а дым желтый. А раньше как будто было наоборот: желтые горы, а синий дым. Солдатик в рваной гимнастерке, перетянутой зеленой опояской, шел рядом с телегой, опираясь на оглоблю. За опояской у него рукавицы. Нос у него похож на венский стул. Отличные имел стулья Федор Панфилович, отличную стряпуху, отличную таратайку и пиджак. А теперь едет в рваной и уже загрязнившейся нижней рубахе.

Мельница. Пустынно. Вода течет с прежним шумом, и по-прежнему играет плотва. Где же Костя? А и хорошо, что не увидел Костю. Кто его знает, как бы он подумал об отце? Но и это не беда, а беда в том, что мельник Федор Панфилович Пронышко не знает: как же ему самому о себе думать. Если горечь, и слякоть, и пустота внутри тебя? И нет еще осени, а уже мерзнешь.

Миновали мельницу. Федор Панфилович достал трубку. Набил. Закурил. Опирающийся на оглоблю солдатик с носом, показавшимся мельнику похожим на венский стул, поправил рукавицы за опояской, легкой рукой вынул изо рта мельника трубку и вставил ее в свой рот.

— Мог бы ты и получше табаку завладеть. А не махорку,— сказал он, догоняя оглоблю.

Смолчал мельник.

И легкий ветерок легонько уносил легкий дымок.

1933

КОММЕНТАРИИ

В 3-м томе собрания сочинений Вс. Иванова помещены повести, написанные в 1924—1931 годах, а также рассказы 1929—1933 годов. Этот период отмечен в творчестве писателя все возрастающим интересом к большим жанрам. Рассказ, почти полностью поглощавший внимание художника в 1924—1928 годы, уступает место в самом конце 20-х годов повести (интересно, что многие рассказы Иванова этих лет при первой публикации имели подзаголовок «повесть»). Тяготение к большому жанру нашло свое завершение в «Путешествии в страну, которой еще нет» (1930) — большой повести, именовавшейся автором первоначально романом, и романе «Похождения факира» (1934—1935).

Для повестей и рассказов данного тома, при всем разнообразии их содержания, характерна определенная тематическая общность, бросающаяся в глаза в сравнении с ранними произведениями Иванова. Они рисуют мирный этап преобразования нашей страны. Художник идет за самой жизнью: в 1924 году («Чудесные похождения портного Фокина») он открыто декларирует переход к новым темам, а в 1925 году создает одно из первых в советской литературе произведений о борьбе на трудовом фронте — «Хабу». От «Хабу» тянутся нити к книгам о социалистическом строительстве: «Путешествие в страну, которой еще нет», «Повести бригадира М. Н. Синицына, рассказанные им в дни первой пятилетки», а также к рассказам, посвященным борьбе старого с новым в будничной, но полной внутреннего движения жизни.

Произведения, представленные в томе, демонстрируют многообразие и разнонаправленность жанровых и стилевых поисков Вс. Иванова этого периода. Внутри одного жанра — повести — писатель находит оригинальные жанровые модификации: это сатирическое обозрение, впитавшее в себя множество других жанровых образований («Чудесные похождения портного Фокина»); большая повесть, ассимилировавшая в себе так называемый «производственный роман» и детективное повествование, созданное на экзотическом материале («Путешествие в страну, которой еще нет»); цикл небольших

повестей, родившихся на очерковом материале и сохранивших генетическую связь с приметами иронико-юмористической новеллы («Повести бригадира М. Н. Синицына...»).

Произведениям тома присуща и определенная интонационно-стилистическая общность. Стихия иронии дает о себе знать с редкой силой почти в каждом из этих произведений. Господствуя в вещах с явным сатирическим зарядом («Чудесные похождения портного Фокина», «Барабанщики и фокусник Матцукали»), эта стихия своеобразно, подчас неожиданно проявляется и там, где доминирует пафос утверждения: «Хабу», «Путешествие в страну, которой еще нет», «Повести бригадира М. Н. Синицына, рассказанные им в дни первой пятилетки». Источник иронии — в самой творческой эволюции художника; она является естественным средством преодоления лирической безудержности и открытой пафосности, присущей его ранним вещам. Другая причина появления иронической интонации — стремление писателя в злободневной тематике избежать банальности, «казенности», внося мудрый, чуть снисходительный авторский подтекст.

Повести и рассказы, помещенные в томе, переиздавались в 20—30-е годы, затем в конце 50-х — в 60-е; включались в оба прижизненных собрания сочинений. При включении во 2-е собр. соч. подверглись большему или меньшему редактированию, анализ результатов которого дается в комментарии к каждому отдельному произведению.

Произведения в томе располагаются в соответствии с жанрово-хронологическим принципом.

Принятые условные обозначения: Вс. Иванов. Собр. соч. в 7-ми тт. М. — Л., Госиздат, 1928—1931 — 1-е собр. соч.; Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт. М., Гослитиздат, 1958—1961 — 2-е собр. соч.; Вс. Иванов. Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969 — «Переписка с Горьким».

ПОВЕСТИ

«Чудесные похождения портного Фокина» — впервые «Прожектор», 1924, № 12—16. Отдельные издания: Вс. Иванов. Чудесные похождения портного Фокина. Л., Госиздат, 1925; то же. М. — Л., Госиздат, 1928. Повесть включалась в кн.: «Гафир и Мариам». М. — Л., «Круг» [1926]; «Обыкновенные повести». Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.

16 июля 1924 года К. Федин писал Горькому: «Говорят, что он (Иванов. — *Е. К.*) написал хорошую повесть о похождении порт-

ного — в необычном для него стиле и духе» («Литературное наследство», т. 70, с. 474).

Повесть вместе с произведениями других «серапионов»: Каверина, Никитина — в рукописи, видимо, рецензировалась Горьким. Он писал:

«Повесть о портном».

Вещь интересная, сделана не без грации, но — местами чувствуется торопливость, несдержанность в словах. Некоторые приемчики отдают запахом старины, реставрировать кою едва ли следует. Напр[имер]: «будем далее называть его N».

И — не слишком ли хорошо помнит автор Гоголя, который в рассказах этого стиля беззастенчиво подражал Гофману? Засим: эпитет «легкомысленный» — не оправдан. Нарочито и шутливо запутанное расположение частей очень выиграло бы, будь все части равномерны, а так архитектура рассказа несколько тяжела» («Литературное наследство», т. 70, с. 560).

«Необычность стиля и духа» повести, оригинальность традиций, на которые опирался Иванов, свидетельствующие о смелости его исканий тех лет, сразу обратили на себя внимание критики. Одни рецензенты писали о «тонком и сложном, нигде не ослабевающем остроумии, иногда подернутом некоторым налетом трагизма» («Красная новь», 1926, № 4, с. 229). Другие увидели в повести «вещь, построенную «по Шкловскому», с нарочитым обнажением сюжетных швов», авантюрно-символический реализм который «не в стиле кряжистой и неуклюжей походки Иванова» («Новый мир», 1926, № 4, с. 184).

Современники даже не предприняли попыток обнажить глубинный пафос «необычной повести», подчас аттестуя ее как «шалость пера», произведение, в котором «не чувствуется серьезного авторского отношения к этому жанру, сколько-нибудь глубокой сатиры в этом рассказе нет» («Красная новь», 1926, № 4, с. 229).

Современные исследователи сатирических жанров в советской литературе видят в «Чудесных похождениях...» самобытное использование Ивановым самых разных жанровых традиций: плутовского романа, сатирического обозрения, повести-памфлета, подчеркивают связь этого произведения и с фольклорной стихией: «Фокин усваивает облик традиционного фольклорного героя, этакого Иванушки, остраненного средствами «орнаментального сказа» (А. З. Вулис. Советский сатирический роман. Ташкент, «Фан», 1965, с. 41). Но сатирический пафос повести Иванова еще ждет своего научного истолкования.

Жанровое и стилевое своеобразие этой повести в исключительной раскованности, свободе повествования. Автор не раз идет на нарочитое «обнажение приема», демонстрирует, «как делается вещь»,

но само «обнажение приема» оборачивается зачастую иронией над любыми литературными приемами, а стремление показать лабораторию писателя — усмешкой над замысловатой «писательской кухней», так как все это произведение пародийно-ироническое в своей основе.

Повествование о приключениях Фокина не раз прерывается авторскими размышлениями, излияниями чувств; автор вторгается в текст, чтобы высказаться, пусть вскользь, по поводу сугубо профессиональных вопросов, откомментировать обстоятельства литературного быта тех дней. Эти замечания (намеки), иронические реплики легко расшифровывались современниками и вызывали повышенный интерес к повести. Обозреватель «Комсомольской правды» отмечал: «В рассказе этом («Чудесные похождения портного Фокина». — *Е. К.*) интересно еще частое кивание автора в сторону литературной современности с упоминанием собственных имен кое-кого из писателей и критиков и т. д. — ряд моментов так называемого обнажения приема. Проделывается все это очень легко, безобидно, забавно и совершенно в тоне всего рассказа в целом» («Комсомольская правда», 1925, 21 октября).

Сегодня эти «намеки» и «имена» уже требуют историко-литературного комментария.

Стр. 12. *«Мне надо ехать на Кавказ, Воронскому надо лечиться, а он должен редактировать твой путь, и Лазарь Шмидт и Зозуля в «Прожекторе» должны следить за тобой...»*

Воронский А. К. (1884—1943) — критик, редактор, писатель, публицист, в 1921—1927 годы редактор журнала «Красная новь», где печаталось большинство произведений Иванова этого периода; в эти же годы возглавлял издательство «Круг», в 1923—1927 годах редактировал также журнал «Прожектор».

Вспоминая о своем знакомстве с Воронским в 1921 году, Иванов замечает: «...видя, что писатели не только желают учить, но и сами желают учиться — у новой жизни, у революции, у новых книг, Воронский постепенно влюбился в молодую советскую литературу и в литераторов, — и мы влюблялись в него». Интересен комментарий Иванова к его отношениям с Воронским в конце 20-х годов: «Впоследствии кое-кто из нас, как я, например, разошелся с Воронским, который приобрел к тому времени способность рассуждать безапелляционно, а может быть, и я приобрел эту способность» (Архив Вс. Иванова).

Шмидт Л. Ю. — журналист, редактор. О нем вспоминал Иванов в «Истории моих книг»: по приезде из Петрограда в Москву «сначала я обитал в доме «Правды» ⟨...⟩ в комнате Л. Шмидта, секретаря и фактического редактора двухнедельника «Прожектор»,

Л. Шмидт обладал хорошим вкусом и умел привлекать в журнал и настоящих литераторов, и превосходных графиков. Поэтому «Прожектор» пользовался большим успехом не только у читателей, но и у писателей: сочетание редкое по отношению к так называемым «тонким» журналам».

Зозуля Е. Д. (1891—1941) — писатель-сатирик, журналист, один из редакторов журнала «Прожектор».

«Один из нас только портной, а другой только попутчик». — Распространенный в советской критике 20-х годов термин «попутчики» широко употреблялся наряду с терминами «пролетарские писатели» и «крестьянские писатели». Сами эти термины были условны и, конечно, не могли раскрыть всей сложности отношения большинства писателей к советской действительности. К попутчикам относили писателей, стремившихся служить идеалам революции или сочувствовавших ей, но в своем мировоззрении не всегда стоявших на уровне пролетарской идеи (художники, входившие в литературные группы: «Серапионовы братья», «Перевал», «Леф», «ЛЦК» и т. д., а также не входившие ни в какие группы: Л. Леонов, Б. Лавренев, А. Толстой, В. Шишков и др.).

Стр. 20. *«Как душа у пана Пилсудского».* — Пилсудский Юзеф (1867—1935) — диктатор Польши в 1918—1935 годах.

«По словам Пильняка...» — Пильняк Б. А. (1894—1937) — советский писатель; видимо, имеются в виду его «Английские рассказы» (1924).

Стр. 26. *«Я гашу лампочку в своей комнатке в «Круге», в комнатке, которую Бабель зовет предбанником».*

«Круг» — издательство артели советских писателей «Круг», основанное в августе 1922 года, в 1929 году влилось в изд-во «Федерация». Иванов, переехав в 1923 году из Петрограда в Москву, за неимением жилплощади, обитал в помещении этого издательства.

Бабель И. Э. (1894—1941) — советский писатель, в тот период большой друг Иванова.

Стр. 28. *«Уговоримся же все говорить по-русски и выкинем скверный обычай, введенный серапионами, — имитировать речь областную и заграничную».*

«Серапионовы братья» — литературная группа, возникшая в 1921 году в Петрограде при издательстве «Всемирная литература». В нее входили: Вс. Иванов, М. Слонимский, В. Каверин, М. Зощенко, Н. Никитин, К. Федин, Л. Лунц, Н. Тихонов, Е. Полонская, И. Груздев. Близко к группе стоял В. Шкловский. Молодые художники ставили перед собой цель овладеть техникой писательской манеры, профессиональными «тайнами» и навыками. Большинство «серапионов» (Иванов, Зощенко, Никитин) увлекла в начале 20-х годов стихия устной народной речи (областной, мещанской), которую они бурно

вводили не только в диалоги героев, но и в авторскую речь посредством популярного тогда «сказа» — повествования от первого лица (как правило, представителя низов), вносящего в свой рассказ приметы присущего ему особого говора. Имитация устной речи в диалогах и в «сказе» доходила подчас до прямой ее фонетической записи.

Стр. 28. *«Сентенции в стиле Чуковского».* — К. И. Чуковский (1882—1971) — писатель, переводчик, критик. Иванов имеет в виду последнюю его ипостась.

Стр. 40—41. *«Найдутся ведь такие люди, даже из братьев моих серапионов (Каверин, например), упрекнут-таки меня в отсутствии бытовых особенностей страны, в коей путешествует Фокин...»*

Каверин В. А. (род. в 1902 г.) представлял в группе «Серапионовы братья» вместе с Л. Лунцем так называемое «западное» крыло. Его увлекала более всего проблема сюжета (Иванов принадлежал к «восточному» крылу, которое влекло к себе «слово», — см. комментарий к стр. 28). В некоторых ранних рассказах Каверина (например, «Хроника города Лейпцига за 18.. год») замысловатый сюжет развертывается в Германии, бытовые приметы которой тщательно воссозданы.

В этой авторской реплике, как и в предыдущей, содержится спор Иванова со своей собственной художественной манерой периода 1921—1923 годов, когда Иванова, наряду с живописанием посредством красок и запахов, имитацией устной речи, увлекало и изображение быта: деревенского, мещанского (см. «Цветные ветра», «Голубые пески»). Так, в «Чудесных похождениях Фокина» приоткрывается «лаборатория» художника, в 1923—1925 годах переживающего определенный творческий перелом.

Стр. 41. *«Из прежних моих книг возьмите немного красок и запахов».* — В ранних произведениях Иванова: «Партизанские повести», роман «Голубые пески», сб. рассказов «Седьмой берег» — критика отмечала «обилие ярких красок, пряных запахов и резких звуков» («Современник», 1922, № 1, с. 165). Краски и запахи были у Иванова этой поры главным средством портретной и пейзажной характеристики.

Стр. 47. *«Формальный метод приучил нас к другому».* — Формальный метод — метод, выработанный так называемой «формальной школой» в литературоведении. Сторонники подобного метода все внимание направляли на анализ формы, рассматриваемой в качестве основного носителя специфики искусства. Отсюда следовало основное положение «формалистов» — «искусство как прием». В 20-е годы «формальную школу» представляли ученые и писатели: Б. Эйхенбаум, В. Шкловский, Ю. Тынянов, В. Жирмунский и другие.

Стр. 47—48. *«Та ли работа изобразить Монгольские степи или,*

скажем, Самарскую губернию». — Намек на собственные ранние произведения, где действие происходит в Монголии и в Поволжье.

Стр. 48. *«Если по совету критика Правдухина...»* — Правдухин В. П. (1892—1939) — активный в 20-е годы литературный критик, организатор и редактор журнала «Сибирские огни».

«К такому способу прибегали Сейфуллина и Л. Толстой». — Сейфуллина Л. Н. (1889—1954) — советская писательница.

Стр. 53. *«И Фокин поднялся за ее словами, хотя и пропахли они насквозь запахами газеты «Накануне».* — «Накануне» — газета, издававшаяся в 1922—1923 годах в Берлине группой «Смена вех» (получила название от сб. «Смена вех» — июль 1921 г.). «Накануне» была одним из печатных органов сменовеховства — общественно-политического течения среди русской буржуазной, преимущественно белоэмигрантской интеллигенции, призывавшей к сотрудничеству с советской властью в расчете на постепенное перерождение Советского государства, связываемое с нэпом.

«Я люблю в России ее буйное начало... Ты вызвал во мне все, что так давно таилось во мне, тоску и таинственность российских просторов». — Сильно звучавшая в сменовеховских изданиях тоска по утерянной родине — России — соединялась с явно книжным мифологизированным представлением об этой России, как таинственной Азии, хранительнице неведомой старины, где обитает некая буйная и в то же время смиренная вечная русская душа.

Стр. 54. *«Фокин не читал «Накануне» и потому ничего не понял».* — См. комментарий к стр. 53.

Стр. 57. *«Крепости в ней совершенно достаточно, как в Алексее Максимовиче...»* — С Алексеем Максимовичем Горьким связывала Всеволода Иванова большая любовная дружба. Горький высоко ценил Иванова, художника и человека, помогал становлению его дарования (см.: Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969, а также статью: Вс. Иванов. Встречи с Максимом Горьким. — 2-е собр. соч., т. 8).

«Чудесные похождения портного Фокина» печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Обыкновенные повести. Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.

«Хабу» — впервые «Красная новь», 1925, № 2. Отдельные издания: Вс. Иванов. Хабу. Повесть. М., «Московский рабочий», 1925; Вс. Иванов. Хабу. М. — Л., Госиздат, 1926. Включалась в кн.: «Гафир и Мариам». М. — Л., «Круг» [1926]; «Избранные сочинения 1920—1930 гг.». М. — Л., Гослитиздат, 1931; «Обыкновенные повести», Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1933; «Избранное в 2-х то-

мах», т. 2. М., «Художественная литература», 1968. Вошла в 1-е (т. 4, 1928) и 2-е собр. соч. (т. 2, 1958).

При включении во 2-е собр. соч. повесть редактировалась. Исправления были призваны несколько «приглушить» иронический элемент в характеристике Лейзерова, снять некоторые натуралистические детали, освободить повесть от тех цифровых данных и экономических выкладок, которые привязывали ее непосредственно к середине 20-х годов. Дополнения, внесенные в текст, преследовали цель углубить внутреннюю характеристику главного героя.

Повесть «Хабу» была написана летом — осенью 1924 года во время пребывания Вс. Иванова в Крыму и на Кавказе. В «Истории моих книг» писатель вспоминал: «Здесь же, на юге, написал я повесть «Хабу», действие которой происходит на севере, в Сибири. Кавказ, Монголия, Сибирь! Красногранитные пески Монголии, серые камни Кавказа, белые снега Сибири — легко и радостно писал я. Эта легкость и радость позволяла мне описывать людей с искренним восхищением. Написав, я читал самому себе вслух написанное, и мне казалось, что не только я сам, но и все другие прекрасно видят, что я думаю, а думаю я только хорошее!»

4 декабря 1924 года Иванов сообщал Горькому:

«Написал я забавную повесть. Сейчас ее перепечатывают, и на днях я ее смогу послать Вам прочесть. Шкловский ее хвалил» («Переписка с Горьким», с. 24).

«Хабу» — произведение актуальной тематики (одно из первых о мирном строительстве нового общества), важный этап творческой эволюции Иванова — вызвало большой интерес критики.

Повесть была почти единодушно признана «одной из лучших вещей Всеволода Иванова» («Комсомольская правда», 1925, 21 октября), в которой писатель достигает «наибольшей идейно-художественной высоты» («Художественная литература», 1933, № 3, с. 5). «Последнее произведение Вс. Иванова — пов[есть] «Хабу» — представляет из себя шаг вперед, сделанный автором по пути уяснения сюжета и увязки своего мастерства с задачами трудового жизнестроительства» («Октябрь», 1925, № 6, с. 159).

Особое место «Хабу» в творчестве Иванова, отмечала критика, связано с переосмыслением художником двух жизненных типов, уже давно интересовавших его. В «Хабу» «излюбленному герою писателя — простому, мужественному и немного беспорядочному человеку» (Егору. — *Е. К.*) противопоставлена победительная «энергия фанатика Лейзерова, в одно и то же время величественного, смешного и трагичного» («Новый мир», 1926, № 4, с. 184): «Хабу» «является своего рода героической балладой, панегириком энергии, преданности, самоотверженности ⟨...⟩ по внешности слабого, даже несколько смешного Лейзерова, панегириком, застенчиво спрятанным

за добродушной усмешкой» («Печать и революция», 1925, кн. 4, с. 148). Правда, подчеркивалось, что «подвиг (Лейзерова) еще слишком индивидуален. Исключительна прежде всего самая его обстановка» («Октябрь», 1925, № 6, с. 159).

Критика уловила и определенную эстетическую уязвимость самого центрального персонажа: «Образ Лейзерова не совсем выдержан. Некоторые юмористические подробности определенно мешают целостности образа» («Печать и революция», 1925, кн. 4, с. 149). Источник этой художественной противоречивости критики находили в сложном, непоследовательном отношении автора к своему герою: «И не знаешь, с кем автор — с Лейзеровым против Егора или с Егором против Лейзерова... — писал В. Полонский. — Рассудком, волей автор с Лейзеровым. Лейзеров должен победить. Но чувствами, симпатиями он против Лейзерова» («Новый мир», 1929, № 1, с. 226). Поэтому и гротескна его фигура, напоминающая «чудака-утописта» («Октябрь», 1925, № 6, с. 160).

Но, признав сложность отношений автора к герою, основной пафос «Хабу» ее современники увидели все же в утверждении победы Лейзерова, способного обуздать человеческую и природную стихию: «Пусть Иванов не с Лейзеровым, пролагающим через тайгу кратчайшую «птичью дорогу», пусть маленький и хрупкий Лейзеров со своим «портфеликом» менее близок автору, чем неуклюжие и сильные фигуры сибиряков, — художник не развенчивает стремление человека к культуре, к победе над стихией. За первой отбитой атакой вторая и третья — и маленький Лейзеров все же окажется победителем» («Новый мир», 1926, № 4, с. 184).

Были замечены и особые стилевые приметы при сопоставлении новой повести с ранними вещами Иванова.

«Стиль Вс. Иванова, — писал А. Лежнев, — стал проще, несколько потеряв в яркости и узорности. Сюжет разработан тщательней. Выступила прежде незаметная черта — юмор. Юмор своеобразный, мягкий, негромкий, иногда с лирическим оттенком. Есть в нем что-то детски добродушное и забавное.

⟨...⟩ в соединении юмора и героической идеализации — отличительная особенность повести Вс. Иванова» («Печать и революция», 1925, кн. 4, с. 148).

Художественную специфику «Хабу» в ряду произведений Иванова стремился определить и Д. Горбов: «...язык В. Иванова, нередко испытывающий затруднения (и заставляющий читателя их испытывать) именно в силу богатства, здесь находит нужное сочетание возможного и необходимого, ту гармонию, которая диктуется ясно сознанным художественным заданием. Природа, подчас надвигающаяся тайгой на страницы писателя, здесь заключена в границы социального, вступившего с ней в успешную борьбу. Сюжет устрем-

ляет свои зигзаги к некоторому единству. Все это делает повесть произведением продуманно-реалистическим» («Октябрь», 1925, № 6, с. 160).

Повесть переведена на чешский язык в 1961 году (сб. «Десять русских повестей XX столетия»). Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 2. М., Гослитиздат, 1958.

«Путешествие в страну, которой еще нет» — впервые «Красная новь», 1930, № 2—5 с подзаголовком «Роман». Отдельное издание: Вс. Иванов. Путешествие в страну, которой еще нет. Роман, изд. 2-е. Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1932. Вошел в «Избранное» [в 2-х тт.], т. 2. М., Гослитиздат, 1938; в 1-е (т. 7, 1931) и 2-е собр. соч. (т. 2, 1958). При включении во 2-е собр. соч. произведение подверглось небольшой стилистической правке и было названо повестью.

В марте 1930 года Иванов сообщал Горькому:

«Написал я роман «Путешествие в страну, которой еще нет», оный роман начал печататься с февральской книжки «Красной нови», — прочтите, если время будет» («Переписка с Горьким», с. 54).

Создавался этот роман долго и нелегко. В нем сошлось несколько замыслов и воплотилось много разнообразных впечатлений от жизни страны во второй половине 20-х годов.

Летом 1925 года Иванов впервые увидел Баку — центр южной нефти. 30 ноября он писал А. М. Горькому:

«Кажется мне — это самый удивительный город в России. Там такая смесь чадры и автомобиля, нефти и винограда, и так это вкусно пахнет — я прямо влюбился в этот город...

Среди прочего дела строят там город. Этакий нефтяной Петербург — со смешным названием поселок Стеньки Разина. На пять верст проложили тротуары и бульвары, взрывают гору — утес Стеньки — и из горы этой строят...» («Переписка с Горьким», с. 32).

Баку и его окрестности (суровые горы, плодородные, спрятанные в горах долины) породили у Иванова сложные, надолго захватившие его творческие замыслы, в их числе существующий в нескольких вариантах незавершенный роман «Сокровища Александра Македонского» и произведения об открывателях и добытчиках южной нефти.

Позднее Иванов вспоминал: «Я написал пьесу «Верность» на основе того, что я видел в долине Тба, на нефтеразведке и в селении, где было много духоборов. Я прожил там, кажется, недели две или три...» (Архив Вс. Иванова).

При создании этой пьесы в нее влился и еще один замысел.

«Однажды я разговаривал со Шкловским, — писал Вс. Иванов. — Мы знали, — или, вернее, я знал, — трех человек, которые очень дружили между собой в 21 году во время кампании против белополяков, но потом разъехались и дружба распалась. Возникло такое положение: приятели разъехались, профессии у них стали разные, но когда-то у костра, после боя, во время которого они думали, что погибли, обрадованные тем, что уцелели, и уцелели только благодаря тому, что оказали друг другу поддержку, приятели дают обещание — если впоследствии в мирной жизни, которая, по-видимому, скоро придет, одному из них будет тяжело, он имеет право вызвать своих друзей на помощь. Отговоров не существует. Приятель должен приехать.

Не помню, что произошло дальше. Кажется, мы хотели писать вместе сценарий, но сценарий не получился. Недавно перед тем я со Шкловским написал вместе роман «Иприт» (1925 г. — *Е. К.*). Несмотря, как нам казалось, на удачное соединение сюжетиста В. Шкловского и бытописателя В. Иванова, соединение, которое должно было принести блестящие плоды, плодов никаких не принесло. Роман не пользовался никаким успехом. Я думаю, что именно этот неуспех помешал дальнейшему нашему сотрудничеству.

Но, кажется, мы предполагали, что действие романа будет происходить на Кавказе: романтические традиции влекли нас туда. Резкие изменения в имущественном положении, в психологии людей обуславливали быстрые изменения характеров, а значит, остроту положений сценария» (Архив Вс. Иванова).

Написав пьесу «Верность», Иванов предложил ее для постановки МХАТу, где уже были поставлены его пьесы «Бронепоезд 14-69» и «Блокада». «Там ее нашли чересчур романтичной и совершенно всерьез предложили мне переделать ее в оперу, найдя для этого соответствующего композитора. К сожалению, я очень плохо знаю музыку и поэтому не представлял свое произведение как оперу, я решил, — замысел мне очень нравился, чтобы сделать произведение более реалистическим, переделать свою пьесу в роман» (Архив Вс. Иванова).

При сопоставлении опубликованных отрывков из пьесы «Верность» («Танки и нефть» (две сцены из хроники «Верность») в кн. «Московские мастера», I. Л. — М., «Жизнь и знание», 1929; «Танк верности» (сцены из пьесы). — «30 дней», 1930, № 1) с романом «Путешествие в страну, которой еще нет» становится очевидным, что при переделке пьесы в роман изменилось многое: состав действующих лиц, мотивировки важных событий (в пьесе Павликов попадал в долину Тба случайно), но два главных мотива, запечатленных в образах «Танк верности» и «Танки и нефть», из пьесы перешли в повесть, как и сама мысль идейно и сюжетно связать «время танков»

(1921 год) и «время нефти» (1928) — два значительных этапа жизни страны.

Писатель отдавал себе отчет в том, что особый (не прямой) путь написания «Путешествия...» сказался на этом произведении: «...Отсюда, м. б., и недостатки романа?

Я переделывал роман в пьесу («Бронепоезд 14-69». — *Е. К.*), а пьесу в роман переделывал впервые» (Архив Вс. Иванова).

Как родилось название произведения, Иванов поведал в «Истории моих книг»:

«Повесть о днях первой пятилетки, о геологах, нефтяниках, которые в далекой глуши строят новую жизнь, я хотел первоначально назвать «Они идут в страну социализма»! Не понравилось: что-то вроде газетной статьи! И я остановился на несколько туманном названии — «Путешествие в страну, которой еще нет». Ведь туманное название будет ясным, если сказать в конце повести, что страна уже найдена, страна уже есть, социализм в главных очертаниях построен».

«Путешествие...», в отличие от всех предшествующих крупных произведений Иванова, было почти не замечено критикой.

В. Я. Кирпотин, обозревая достижения советской литературы к 15-летию Октября, отметил это обстоятельство и подчеркнул, что в данном произведении своеобразие ивановского таланта мобилизовано на то, «чтобы показать борьбу за рост производительных сил страны, чтобы показать классовую борьбу, которая разворачивается при изыскании новых источников нефти, и через победу коммунистов и рабочих показать вовлечение долины Тба в социалистическую промышленность» (В. Я. Кирпотин и Л. М. Субоцкий. Литература на новом этапе. М. — Л., Госиздат, 1933, с. 23).

Однако было отмечено, что именно в «Путешествии...» «едва ли не впервые у Всеволода Иванова героем оказывается человек мысли, интеллектуальной и волевой сосредоточенности, человек науки, знаток нефтяного дела — Павликов». Подчеркивалось, что повести присущ пафос утверждения «правды Павликова», но «Вс. Иванов совсем не питает слабости к претенциозным декларациям. Его непосредственные «публицистические высказывания» не пришиваются искусственно, нарочито и безвкусно к ткани его художественного произведения. Мысли Павликова лишь договаривают идеи, вложенные в ситуации и людей, созданных в «Путешествии...». Слабой стороной «Путешествия...» критика посчитала его «стиль с трудом раскрываемых намеков и нарочитой недоговоренности» («На литературном посту», 1930, № 20, с. 57—59).

В архиве Иванова сохранились его размышления о судьбе «Путешествия...»:

«Роман этот не имел никакого успеха по причинам для меня совершенно непонятным, быть может, он казался тогда чересчур

романтическим, то есть неправдоподобным. А мне он тогда нравился, я его считал и считаю не только правдоподобным, но и правильным до сих пор. Может быть, он грешит излишним развитием интриги и требовал бы большего психологического углубления. Может быть, атмосфера Кавказа — отняла у меня необходимую работу над его психологическим углублением, а может быть, он просто нуждается в некотором сокращении».

В наши дни исследователи констатируют, что «повести Иванова начала 30-х годов («Путешествие в страну, которой еще нет» и «Повести бригадира М. Н. Синицына, рассказанные им в дни первой пятилетки». — *Е. К.*) органично вошли в «общий поток» произведений о социалистическом строительстве в литературе того времени» (Л. Гладковская. Всеволод Иванов. М., «Просвещение», 1972, с. 90).

«Путешествие...» переводилось на чешский язык в 1931 (вышло под названием «Долина Тба») и в 1960 годах.

Стр. 174. *«...ни черта, не сдохнет кошка...»* — В ранних изданиях «Путешествия...» фигурировала многозначительная песенка Павликова: «Не сдохнет кошка. А сдохнет мышь», — которая получила отзвук в последующих репликах героев. Реплики эти сохранились и в последнем прижизненном издании, где сама песенка снята.

Повесть «Путешествие в страну, которой еще нет» печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 2. М., Гослитиздат, 1958.

«Повести бригадира М. Н. Синицына, рассказанные им в дни первой пятилетки» — впервые «Бухгалтер Г. О. Сурков, честно погибавший за свою идею» — «Красная новь», 1930, № 7, под названием «Бухгалтер Г. О. Сурков, честно погибший за свою идею»; «Очередные охотники за черепахами» — «30 дней», 1930, № 7; «Острозубец из совхоза Байрам-Али» — «Красная новь», 1930, № 8; «Ответственные испытания инженера Нур-Клыча» — «Красная новь», 1930, № 11; «Кисляй, или жизнь в шутку» — «30 дней», 1930, № 10—11; «Хм» — «Красная новь», 1931, № 1.

Отдельное издание, где впервые все повести печатались вместе: Вс. Иванов. Повести бригадира М. Н. Синицына. Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1931. Повести «Ответственные испытания инженера Нур-Клыча» и «Бухгалтер Г. О. Сурков, честно погибший за свою идею» вошли также в книгу «Избранные сочинения 1920—1930 гг.», М. — Л., Гослитиздат, 1931, вышедшую ранее отдельного издания. Все повести были включены в альманах первой писательской бригады ОГИЗа и «Известий ЦИК СССР», совершившей поездку по Туркменистану весной 1930 г. — «Туркменистан весной», М. — Л., Гослитиздат, 1932. Все повести под названием «Повести

бригадира М. Н. Синицына, рассказанные им в дни первой пятилетки» включались во 2-е собр. соч. (т. 2, 1958).

«Повести...» редактировались автором дважды. Готовя их отдельное издание, Иванов лишь переделал конец рассказа о Г. О. Суркове. Видимо, почувствовав, что «драматический элемент», присущий финалу, вступает в противоречие с иронико-сатирическим изложением событий, автор сделал его более благополучным (отныне Сурков не погибал, а отделывался лишь ранением). Соответственно было изменено в названии слово «погибший» на «погибавший». Перед включением «Повестей...» во 2-е собрание сочинений Вс. Иванов отредактировал стиль произведения. Были также исключены из текста цифровые данные и сведения сугубо производственного характера, сближающие повести с очерками и привязывающие их к конкретному периоду — 1930 году.

«Повести бригадира М. Н. Синицына, рассказанные им в дни первой пятилетки» родились как непосредственный результат поездки Вс. Иванова в Туркмению в 1930 году.

«Литературная газета» сообщала 17 марта 1930 года: «Госиздатом, Наркомпросом Туркмении и «Известиями ЦИК СССР и ВЦИК» организована *первая ударная бригада писателей.* В бригаду вошли Вс. Иванов, П. А. Павленко, В. А. Луговской, Н. А. Тихонов, Л. М. Леонов и Г. А. Санников. В ближайшие дни писательская бригада выезжает на 2 месяца в Туркмению для ознакомления с колхозным строительством и культурно-общественной жизнью республики. По возвращении в Москву писателями будут изданы две книги — *первый опыт коллективного творчества...*»

Перед поездкой Вс. Иванов писал А. М. Горькому:

«А через три дня я уезжаю в Туркестан, сроком месяца на два, на три, посмотреть и народы и жизнь, а затем, если удастся, то и поприсутствовать на открытии Турксиба, где, мечтается мне, увижу кое-что и забавное и трогательное, понеже чрез Турксиб думаю спуститься на родину, на Иртыш. Компания наша смешная и большая, тут и Леонов, тут и Тихонов Николай, и Луговской, и Санников. Предприятию этому присвоено звание Первой Ударной бригады Госиздата. Почти армия» («Переписка с Горьким», с. 54).

«Для чего мы приехали в Туркмению». Под таким заголовком газета «Туркменская искра» (Ашхабад) напечатала 1 апреля беседу своего корреспондента с первой бригадой писателей. Приводим ответ Вс. Иванова: «Более чем когда-либо я считаю чрезвычайно важным делом как для писателей, так и для читателей изучение богатств наших республик не только со стороны их земных недр, но и причин того творческого энтузиазма, который охватил весь СССР, изучение революционного прошлого наших республик, изучение наших побед и поражений. В этом изучении коллективный труд нашей бригады

о Туркменистане при том горячем содействии, которое мы встретили от местных организаций — надеюсь, сможет оказаться полезным».

Письма Вс. Иванова близким интересно характеризуют впечатления-настроения писателя, во многом определившие пафос, даже сам стиль «Повестей...»

Из писем от 3 и 5 апреля 1930 года:

«Видим мы много, но описать все это в письме совершенно невозможно, потому что все в голове спуталось и смешалось. Прямо и не знаю, как все это рассортировать! ‹...› вчера, например, в доме Кр. Армии нас встретили и провожали под «Интернационал» и говорились такие пышные речи, что и не рассказать и не описать невозможно. А на представлении «Бронепоезда» (в гостеатре. — *Е. К.*) меня так качали, что порвали штаны и затем пришлось мне уйти в костюмерскую, где костюмерша дрожащими от волнения руками зашивала штаны любимого «автора».

«Представление о крае мы получили полное. Мы видели и крестьянство, и Кр. Армию, и местный пролетариат — и все прочее. Отношение к нам местных работников замечательное и предупредительное елико возможно, но из-за этой предупредительности совершенно нельзя работать» («Вс. Иванов — писатель и человек», М., «Советский писатель», 1970, с. 297).

Итог впечатлений Иванов подвел в письме Горькому:

«Побывал я в Ср. Азии. Видал там удивительнейшие и приятнейшие вещи. Какой народ! Какие герои! Буде удастся, расскажу вам лично, но в эти два месяца я увидал то, что не удавалось мне увидать во все последние пять лет — и увидел хорошее и не показное, а, так сказать, корни хорошего, настоящего и важного» («Переписка с Горьким», с. 55).

Начиная с июня 1930 года в печати начали появляться произведения участников бригады, созданные по итогам поездки: Л. Леонов — повесть «Саранча» («Саранчуки»), Г. Санников — роман в стихах «В гостях у египтян», П. Павленко — повесть «Пустыня», цикл очерков «Путешествие в Туркменистан», Н. Тихонов — книга очерков «Кочевники» и цикл стихов, В. Луговской — цикл стихов «Большевикам пустыни и весны». Вс. Ивановым на основе туркменских впечатлений написана была также пьеса «Компромисс Наиб-хана» (1931) (в переделанном варианте — «Защита Кабиля»).

Из названных выше и еще некоторых произведений участников бригады сложился альманах «Туркменистан весной», один из двух планируемых перед началом поездки коллективных сборников.

Статья Вс. Иванова, напечатанная в «Литературной газете», сразу по приезде в Москву 19 мая (статьи-интервью участников бригады Вс. Иванова, Л. Леонова, Г. Санникова печатались под шапкой: «Великая стройка СССР — лучшая школа писателей»),

может рассматриваться как самый первоначальный этюд к созданию «Повестей...». В ее заглавии («Соображения о поощрении и нужде, высказанные возле Узбоя, что течет в пустыне Каракумы»), тоне, языке предвосхищены направленность, стилевое своеобразие «Повестей...». Кроме того, в этой статье писатель начинает прямой диалог со своим будущим читателем, которого он стремится подготовить к восприятию «Повестей...». (Этот диалог будет продолжен в авторских примечаниях к публикации «Повестей...» в периодике.)

В «Истории моих книг» Вс. Иванов рассказал о встрече во время поездки по Туркмении в г. Керки с бригадиром московской бригады, присланной на стройки первой пятилетки, Саницыным, своим давним приятелем по «Софрам», «литературному «цеху» в Омске» первых лет революции: «За три дня, которые мы провели вместе, я его расспрашивал усердно, но еще более усердно он отвечал мне. Говорил он охотно, весело, немножко греша газетными оборотами, часто приводя цифры, всякого рода технические термины так и сыпались из его рта ⟨...⟩ А какие с ним случались замысловатые истории, каких сложных людей он встречал и как напряженно и в то же время возвышенно думал он над их судьбами».

Иванов на основе своих туркменских впечатлений сумел бы легко создать серию очерков. Знакомство с газетами Туркмении начала 1930 года убеждает, насколько актуальной была та тематика, которую избрал Иванов для художественного осмысления. Газеты пестрели заголовками: «Выше знамя культурной революции!», «Восстание женщин», «Пасха побеждена, но еще не добита» и т. д. Но Вс. Иванов искал особых художественных средств передачи своих впечатлений. Встреча с Саницыным, видимо, и подсказала писателю решение показать жизнь так, как ее увидел бы и как рассказал бы о ней рядовой участник этой жизни, к примеру Саницын, ставший в повестях Синицыным. Прием сам по себе не новый, но новый в творчестве Вс. Иванова и неожиданный для читателя 30-х годов, привыкшего получать от любого писателя, совершившего поездку по стране, очерки или что-то близкое к ним. Вс. Иванов предчувствовал недоумение или некоторую растерянность читателя и возможную предубежденность рецензентов: «После яростной критики «Тайного тайных» журналы, плотоядно ища в писаниях моих следы Бергсона и Фрейда, стали относиться ко мне внешне — приветливо, внутренне — отрицательно» (Архив Вс. Иванова).

Уже журнальные публикации повестей имели авторский комментарий. Так, публикация рассказа «Острозубец из совхоза Байрам-Али» сопровождалась таким примечанием: «Настоящая повесть, как и предыдущие, является записями со слов М. Н. Синицына, спускавшегося вместе с несколькими писателями на каюке (лодке) вниз по реке Амударье. Естественное желание, что говорится, «не ударить

лицом в грязь» заставило М. Н. Синицына перед лицом писателя несколько олитературить, вернее, стилизовать свои впечатления о Средней Азии, так как ни в коем случае нельзя рассматривать серьезно некоторые передаваемые им подробности. Например, история с казаном и пасхальной ночью и т. п. В очерке своем «Амударьинский апрель», который скоро будет напечатан, я более подробно освещу личность М. Н. Синицына, так и его литературные приемы. Автор».

Публикация рассказа «Кисляй, или жизнь в шутку» сопровождалась специальной «врезкой», где, в частности, говорилось: «Рассказ ведется от имени бригадира Синицына, и этим объясняется своеобразный язык рассказчика».

При публикации последнего рассказа цикла — «Хм» — автор вступил уже в аргументированную беседу с читателем, чтобы объяснить избранную форму повествования. Публикация имеет два постскриптума. I. От имени рассказчика — Синицына; II — от имени автора (составителя) — Вс. Иванова.

I. «Не спорю: смысл изложения моей истории был несколько в классическом роде и некоторые из начинающих писателей упрекнули меня, что «Хм» очень, говорят, на какого-то Опискина похож и текстуально даже, если сравнить. Не знаю, про Опискина не читал, так как за последнее время оторван от центральной прессы. Что же касается текстуально, то этим обстоятельством я даже горжусь. Пока я сам не превратился в текстуальность и не привожусь в цитатах, то мне приводить других не только не совестно, но даже следует. Один ум хорошо, а с соответствующими цитатами уже получается несколько умов, а несколько умов есть уже твердость, уверенность, красота и цельность жизни во всех ее направлениях. Теперь касательно неправдоподобия или, по-простонародному говоря, анекдота. Я их вижу как сложно выраженные явления жизни, выкрутасы и т. п., а не как издевку. Если вы не так меня поняли, то стыдно мне с вами плыть в лодке, товарищи, а еще стыднее рассказывать! Ставлю штемпель, подпись: «М. Синицын» — и больше ни звука. А вы уже рады упрекнуть! Сдрейфил, мол, старикашка, старый партизан и красногвардеец. Отделался анекдотами — и в кусты. Нет, слушайте, я вам расскажу широкое и вполне героическое полотно, которое мы для краткости назовем «Компромисс Наиб-хана». В совхозе Кабиль, неподалеку от афганской границы, жил и работал малоизвестный кому пастух Халм Кеное.

II. От составителя. В ближайшее время мы печатаем повесть в диалогической форме, написанную со слов и при ближайшем участии бригадира М. Синицына, «Компромисс Наиб-хана».

Этой повестью бригадир Синицын закончил свои рассказы, которые он нам передавал в лодке, влекомой стремительным течением

Амударьи. Я пользуюсь случаем поблагодарить товарища М. Н. Синицына за его любезность, выразившуюся в разрешении напечатать его рассказы, изложенные, может быть, мною не совсем точно, не столь правильно, как он говорил, но с полным уважением к принципам его рассказа, чего он и сам не отрицает.

Я позволю себе также выразить благодарность моим товарищам по путешествию первой писательской бригады ГИЗа тт. Г. Санникову, Л. Леонову, Вл. Луговскому, Ник. Тихонову и П. Павленко, много помогавшим мне своими советами и дополнением к тем событиям, которые излагал товарищ М. Синицын. Пусть каждая весна будет для нас так же великолепна, как была она в 1930 году на Амударье! Привет!

Вс. Иванов

29/III-31 г. Москва» [1].

В критических отзывах на публикацию повестей в периодике и отдельное издание почти единодушно отмечалась «актуальнейшая для нашего реконструктивного периода тематика» («Книга и пролетарская революция», 1932, № 1, с. 129). Критика увидела в «Повестях...» и очередное «новое явление в стилевой манере» постоянно ищущего писателя («Художественная литература», 1933, № 3, с. 9).

Но небезосновательны были и опасения Вс. Иванова: критика в целом подошла к «Повестям...» с критериями обычного очерка и, не найдя всех очерковых примет, выразила неудовлетворенность новым произведением Иванова: «Никакого показа соцстроительства в плане культурно-бытовом и экономическом ⟨...⟩ повести, написанные В. В. Ивановым, не дают» («Литературная газета», 1931, 2 октября).

Явная нетрадиционность ивановских повестей, если и признавалась органичной для такого писателя, как Вс. Иванов, то явно неподходящей для воплощения актуальнейшей тематики. Б. Брайнина, к примеру, писала: «...выбор острых и эффектных положений, шутливых подробностей, гротескное смещение планов великого и смешного свойственны композиционной манере Иванова (см. «Возвращение Будды»). Однако эти особенности в туркменских новеллах, сильно акцентированные в сторону комического, вернее пародийного начала, являют новое качество: остро неожиданная ситуация становится самоцелью, замыкается сама в себе, в своих шуточных мотивировках, и новелла начинает перерастать в анекдот. В результате комизм положения героев снижает их героику, исключительность окружающей обстановки, лишает ее типичности, акцентация уродли-

---

[1] «Повести бригадира М. Н. Синицына», Л., 1931, с. 73—74.

вого и смешного снижает тематику социалистического строительства» («Художественная литература», 1933, № 3, с. 9).

Предпринятый Ивановым в «Повестях...» поиск особого стиля и своеобразной сюжетики справедливо связывался в отдельных отзывах с тем, что писатель «хотел дать вещи актуальные и не казенные», но и в этом случае результаты поиска оценивались в основном негативно, так как этот поиск якобы привел к «окарикатуриванию положительной тематики» («Литературная газета», 1931, 9 января).

Специально обсуждалось отношение автора к рассказчику «Повестей...», определяющее весь их пафос. Оно характеризовалось и как «соединение любования и усмешки, любви и иронии» («На литературном посту», 1930, № 20). И как двусмысленно-иронические, в итоге которых Синицын «становится прямо пародией на советского строителя» («Литературная газета», 1931, 2 октября). Иванов сам вступил в этот спор:

«Мне Синицын казался воплощением идеала. Говорит он немножко по-газетному, даже с цифрами, но это нисколько не мешает красочности речи, а придает ей современный колорит» (Архив Вс. Иванова).

Дискуссия вокруг избранного Ивановым приема — использовать рассказчика для передачи собственных впечатлений — и вокруг своеобразной фигуры рассказчика ивановских «Повестей...» продолжается на страницах сегодняшних историко-литературных работ. В книге «Русский советский рассказ» читаем: «Ведя повествование от имени рабочего, Вс. Иванов настолько стилизует его речь в ироническом, порой даже в пародийном плане, что подобный прием низводит героя до образа почти анекдотического, чрезвычайно напыщенного, нелепого и недалекого человека да еще с болезненным пристрастием к высокому «штилю».

Что же касается роли рассказчика как посредника между действующими лицами и читателем, то она свелась, главным образом, к вовлечению последнего в прослушивание целой серии анекдотических происшествий адюльтерного характера» («Русский советский рассказ. Очерки истории жанра» (Л., «Наука», 1970, с. 357—358), автор раздела о рассказе 30-х годов — А. А. Смородин).

Оценивая опыт Иванова — автора «Повестей...» — в контексте всей литературы 30-х годов, современные литературоведы отчетливо видят итоговый положительный эффект ивановского эксперимента. Стремление Иванова воссоздать дух первой пятилетки в его своеобразном восточном варианте через восприятие рядового участника преобразований «дало писателю возможность проникнуть в самую гущу жизни, в самую глубину быта и избежать внешней экзотичности в изображении Туркмении. Вместе с тем Вс. Иванов очень отчетливо показал (именно с точки зрения приезжего русского бри-

гадира) своеобразие туркменской природы и нравов, сложность преобразования сознания и обычаев, искоренения предрассудков и верований» (Т. К. Трифонова. Русская советская литература тридцатых годов. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 92).

«Повести бригадира М. Н. Синицына, рассказанные им в дни первой пятилетки» печатаются по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., 2. М., Гослитиздат, 1958.

РАССКАЗЫ

«Барабанщики и фокусник Матцукам и» — впервые «Заря Востока», 1929, 10 февраля, одновременно «Красная новь», 1929, № 2. Вошел в кн.: «Избранное» в 2-х тт., т. 2. М., «Художественная литература», 1968.

Печатается по тексту журнала.

«Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов» — впервые «Известия», 1929, 29 ноября с подзаголовком «Повесть». Включался в кн.: «Избранные сочинения 1920—1930 гг.», М. — Л., Гослитиздат, 1931; «Повести великих лет», М., «Федерация», 1932; «Избранное» [в 2-х тт.], т. 2. М., Гослитиздат, 1938; «Рассказы», М., «Советский писатель», 1963; «Избранное» в 2-х тт., т. 2, М., «Художественная литература», 1968, в 1-е (т. 7, 1931) и 2-е собр. соч. (т. 4, 1959). При включении во 2-е собр. соч. редактировался. Правка за одним-двумя исключениями была стилистической.

По публикации рассказа критика справедливо увидела в нем «особый этап идейно-творческого пути Вс. Иванова. Здесь важно отметить переход к обыденной, будничной тематике» («Художественная литература», 1933, № 3, с. 8). В то же время орган РАПП журнал «На литературном посту» объявил ошибкой саму публикацию на страницах «Известий» этого рассказа, аттестовав его как «художественное произведение, представляющее собой объективно проповедь классового мира» («На литературном посту», 1929, № 23, с. 33). Такое искажение произведений Иванова было нередким в рапповской печати конца 20-х годов.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

«Б. М. Маников и его работник Гриша» — впервые «Новый мир», 1930, № 10 с подзаголовком «Повесть». Включался в кн.: «Дикие люди». Рассказы. М., «Academia», 1934; «Избранное» [в 2-х тт.], т. 2. М., Гослитиздат, 1938; «Рассказы», М., «Советский писатель», 1963; «Избранное» в 2-х тт., т. 2. М., «Художественная литература», в 1-е (т. 7, 1931) и 2-е (т. 4, 1959) собр. соч.

При включении во 2-е собр. соч. фактически была создана новая редакция рассказа. Полностью был изменен его конец; мотивированный всем предыдущим изложением уход Маникова из дома был снят — герой с нежеланием, но возвращался домой. Подобный финал снижал пафос рассказа, утверждающий неминуемость разрыва с прошлым для душевно сильных его представителей.

Показательно, что в критике рассказ был высоко оценен именно как произведение о решительном разрыве с прошлым. В. Шкловский писал в статье «Семена жизни»: «Величайшей заслугой его (Иванова — автора рассказов конца 20-х годов. — *Е. К.*) является то, что, показав тину мелочей, их холодный, раздробленный, повседневный характер, он показал и вдохновение сегодняшнего дня, вдохновение, делающее и слабых сильными тогда, когда они попадают на дорогу времени» («Литературная газета», 1939, 15 февраля).

Известно, что Вс. Ивановым создавались вторые и даже третьи редакции многих произведений, писатель признавал равноправность их существования, при этом подчеркивая значение первых как оригинала и первоисточника. Исходя из этого, комиссия по литературному наследию Вс. Иванова приняла решение печатать в кн.: «Избранное» в 2-х тт. (М., «Художественная литература», 1968) рассказ в его первой редакции по тексту: Вс. Иванов. Избранное [в 2-х тт.], т. 2. М., Гослитиздат, 1938.

По тексту этого же издания рассказ печатается в нашем томе.

«Четырехглазый» — впервые «Красная новь», 1931, № 12, под шапкой «Три рассказа». Вошел в кн.: «Новые рассказы». М., Жургазобъединение, 1932; «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932, в цикле «Три рассказа», 2-е собр. соч. (т. 4, 1959).

В основе рассказа впечатления от поездки Вс. Иванова в Туркменистан в 1930 году (см. комментарий к «Повестям бригадира М. Н. Синицына...»).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 4. М., Гослитиздат, 1959.

«Хранитель могилы Тимура» — впервые «Красная новь», 1931, № 2, под шапкой «Три рассказа». Вошел в кн. «Новые рассказы». М., Жургазобъединение, 1932; «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932 в цикле «Три рассказа», 2-е собр. соч. (т. 4, 1959).

В основе рассказа впечатления от поездки Вс. Иванова в Туркменистан в 1930 году (см. комментарий к «Повестям бригадира М. Н. Синицына...»).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 4. М., Гослитиздат, 1959.

«М е л ь н и к» — впервые в кн. «Год шестнадцатый». Альманах I. М., «Советская литература», 1933. Включался в «Избранное» [в 2-х тт.], т. 2. М., Гослитиздат, 1938, 2-е собр. соч. (т. 4, 1959), в кн.: «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Избранное» в 2-х тт., т. 2. М., «Художественная литература», 1968. При включении во 2-е собр. соч. правился стилистически.

Рассказ был написан в 1933 году и сразу передан для публикации в альманах первый «Год шестнадцатый» (см. «Творческий год Вс. Иванова» — «Литературная газета», 1933, 23 апреля). В архиве А. М. Горького хранится машинопись рассказа Вс. Иванова «Мельник», названного «Не убий», с правкой А. М. Горького стилистического характера. Горький, будучи инициатором создания и одним из редакторов альманаха, просматривал все принятые рукописи, проявляя большую требовательность к авторам, чьи произведения предполагалось напечатать в альманахе (см. письмо Иванова Горькому от 14—21 февраля 1933 г. — «Переписка с Горьким», с. 64).

Печатается по тексту издания: В с. И в а н о в. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Иванов Вс.

И 20 Собрание сочинений. В 8-ми томах. Т. III. Повести и рассказы 1924—1933. Изд. осуществляется под ред. Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова, С. В. Сартакова. Подгот. текста и коммент. Е. Краснощековой. М., «Худож. лит.», 1974.

528 с.

В третий том собрания сочинений Вс. Иванова вошли повести и рассказы, созданные в период с 1924 по 1933 год: «Похождения портного Фокина», «Хабу», «Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов», «Мельник» и др. Несмотря на стилевое и жанровое разнообразие произведений, помещенных в томе, их объединяет тематическая общность — все они рисуют мирный созидательный труд советского народа.

И $\frac{70302-195}{028(01)-74}$ подписное **Р2**

ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ

Собрание сочинений

Том 3

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *В. Горячев*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректоры *З. Тихонова* и *Н. Усольцева*

Сдано в набор 4/XII 1973 г. Подписано к печати 22/VII 1974 г. А02249. Бумага тип. № 1. Формат 84×108$^1/_{32}$. 16,5 печ. л. 27,72 усл. печ. л. 26,41 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1172. Цена 1 р. 55 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

